

Алексей Чапыгин

# Гулящие люди



## Предисловие

*Алексей Павлович Чапыгин вошел в литературу в бурные годы первой русской революции. Вошел не юношей, не литературным мальчиком, за ним стоял громадный жизненный опыт. Он родился 18 октября 1870 года в деревне Закумixinской Каргопольского уезда Олонецкой губернии в бедной крестьянской семье. Тринадцати лет отправился в Петербург, в ученье к маляру. Лишь через пять лет пробился в подмастерья «живописно-малярного ремесла» и полтора десятилетия проработал в этом звании, отдавая все свободное время писательству. Однако первый рассказ был написан лишь в 1895 году. Д. В. Григорович, признав опыт молодого прозаика неудачным, увидел в нем ростки таланта интересного. Разговор с мастером гоголевской еще «натуральной школы» окрылил начинающего писателя. Своим литературным учителем Чапыгин называл В. Г. Короленко, который бережно, но и критично наставлял молодого автора: лишь в 1903 году он дал «добро» на первую публикацию очерка «Зрячие», который появился в рождественском приложении газеты «Биржевые ведомости».*

*Рассказы А. Чапыгина о жизни петербургской бедноты, составившие впоследствии сборник «Нелюдимые», отличало прочное, на своей шкуре испытанное знание быта, характеров обитателей столичных трущоб, недавних крестьян, подавшихся в город с мечтой вырваться из беспросветной нужды. Стихийным был их уход в неласковый, жестокий Петербург, стихийным был их протест, когда рухнули последние надежды на сколько-нибудь сносное существование среди «черной громады городских домов», где фабричные трубы представляются человеку огромными метлами, которыми смерть «сметает в могилу людей».*

*Ярче, самобытнее раскрылся талант А. Чапыгина в рассказах сборника «По звериной тропе», повестях «Белый скит», «На Лебяжьих озерах». Здесь писатель обратился к своей родине – глухой северной деревне, затерявшейся в дремучих сказочных лесах. Рассказы и повести А. Чапыгина о деревне погружают читателя в стихию народной речи, сохранившей древние формы русского языка. В тех краях, где прошло детство писателя, еще неприкосновенны оставались обряды, предания седой старины, как о вчерашнем рассказывали деды о вольном городе Новгороде, о Змее Тугарине и Микуле Селяниновиче, о войнах Ивана Грозного и персидском походе Стеньки Разина. История мешалась с былинной, сказкой, а XX век тихо, малозаметно еще подмывал устои домостроя. Мощные, богатырские характеры сламывались нищетой, их добивало патриархальное невежество, и лес, природа не спасали: в дореволюционных произведениях А. Чапыгина природа при всей своей красоте встает такой же мрачной силой, как и холодный, бездушный к слабому человеку город.*

*Дореволюционный период творчества А. Чапыгина был периодом интенсивного ученичества. Еще в 1900 году молодой писатель познакомился с теоретиком символизма Вячеславом Ивановым, участвовал в его литературных «средах», читал свои произведения в салонах законодателей литературных течений. Высокая культура кружков художественной интеллигенции, атмосфера требовательности к слову, царившая в них, многое дали вчерашнему подмастерью. В строгих анализах, в спорах о форме оттачивался эстетический вкус, обострялось чувство языка.*

*Правда, атмосфера пессимизма, разлившаяся по стране в годы реакции, мистические искания русских декадентов оказали свое влияние и на Чапыгина. А. М. Горький, с которым Чапыгин познакомился в 1915 году, высоко оценил повесть «Белый скит», прочитанную позже в рукописи «На Лебяжьих озерах», но отказался переиздавать написанную в мистических тонах повесть «Смертный зов», не напечатал созданную в том же духе повесть «Сувенир». С первого дня знакомства и до последних дней своей жизни А. М. Горький с пристальным и одновременно требовательным вниманием следил за развитием таланта А. Чапыгина и материально и духовно поддерживал одаренного писателя, пришедшего в литературу «из людей».*

*После Великой Октябрьской революции в творчестве А. Чапыгина наступает перелом.*

Сначала он активно помогает А. М. Горькому в деле организации новой, социалистической культуры, сотрудничает в журналах «Альбатрос», «Грядущее» и др. В 1919 году едет в Харьков, где по предложению А. М. Горького собирает материал о Киевской Руси. Здесь он получает широкий доступ к старинным русским летописям, в нем пробуждается азарт историка-исследователя, исторические замыслы рождаются один за другим. Чапыгин пишет драму «Гориславич» о князе-бунтаре, князе-изгое Олеге Святославиче языком древних литературных памятников. Драма осталась в рукописи, но А. Блок, прочитавший ее, высоко оценил работу автора.

В 1920 году А. Чапыгин отправляется на родину, и три года имя его не появляется в печати. Это был не творческий кризис: в сознании писателя, пережившего революцию, гражданскую войну, увидевшего громадное движение народных сил, шло интенсивное осмысление могучего исторического процесса. Накапливался новый материал: на глазах А. Чапыгина перестраивался тысячелетний уклад русской деревни. С 1923 года А. Чапыгин включается в литературную жизнь страны, в разных журналах публикуются его новые рассказы. Во второй половине 20-х годов А. Чапыгин создает большой труд, поставивший его в ряд основоположников советского исторического романа, – «Разин Степан» (1925—1927). Уже в первом историческом полотне А. П. Чапыгина раскрылись лучшие стороны его таланта: умение воссоздать в деталях быт далекой эпохи, ее сочный язык, воспроизвести, казалось бы, навеки утраченную атмосферу России XVII века; показать не только героев минувшего, а всю широту народной стихии. Здесь сказался богатый исторический опыт писателя, сына своего времени, и его с юных лет развивавшийся интерес к преданиям и легендам глубокой старины, и вкус к яркой народной речи.

Успех «Разина Степана» воодушевил автора на новый замысел, тесно связанный с первым романом, но гораздо обширнее и глубже. Тема русского бунта в XVII веке оказалась не исчерпанной в одном произведении, обнаружилось новые ее пласты, обещающие немалые художественные открытия. С начала 30-х годов и до самой смерти А. П. Чапыгин работает над романом «Гулящие люди».

Как не раз бывало в русской литературе, художнику удалось первым увидеть, предугадать истину, обросшую предрассудками многовековой официальной исторической науки. А. Чапыгин разрушил, легенду о благостном и спокойном правлении Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим (1645—1676). В самом деле, на третий год воцарения Алексея Михайловича на престол вспыхнул Соляной бунт (1648), в 1662 году – Медный бунт, а спустя восемь лет разразилась неслыханная Крестьянская война во главе со Степаном Разиным, постепенно складывались условия для «хованицы», стрелецкого бунта, разразившегося через шесть лет после смерти царя. Реформы Никона породили сложное, неоднозначное общественное движение – раскол. Изнурительные войны с Польшей (1654—1667) и Швецией (1656—1658), набеги крымских ханов на южные границы государства тоже не способствовали спокойствию царствования Тишайшего.

В своих исторических романах А. Чапыгин стремился показать не столько факт восстания, сколько историческую неизбежность его, постоянную готовность угнетенного, темного, бесправного народа к бунту, а царя и его окружение – к жесточайшей расправе над своими подданными. Поэтому в «Разине Степане» много места отдается описанию Соляного бунта, его условиям, предвосхитившим будущую Крестьянскую войну. Автор смело идет на нарушение документальной хроники героя, смещение событий, делая Разина участником событий 1648 года, и своеволие его художественно оправданно: концепция автора вырастает из всей образной системы романа.

В «Гулящих людях» автор свободнее и увереннее чувствует себя в мире летописных фактов. Уже обретен колоссальный опыт и своей работы, и работы современников – Юрия Тынянова, Алексея Толстого, Ольги Форш, Андрея Платонова. Создалась традиция советского исторического романа, опиравшаяся на достижения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого.

Главный герой «Гулящих людей» – Сенька, стрелецкий сын, лицо вымышленное. Выбор

героя из стрельецких детей не случаен: это позволяло автору вместе с героем проникать в общественные сферы, простому народу недоступные; к тому же стрельцы, несмотря на достаточно привилегированное положение, представляли собой массу неуравновешенную, в ней тоже исподволь заваривался бунт. В незавершенных планах А. Чапыгина предполагалось довести роман до стрельецкого восстания 1682 года. В то же время из среды стрельцов нередко выходили в разряд «гулящих людей», т. е. горожан, не прикрепленных к тяглу – налогу, которым облагалось посадское и торгово-ремесленное население.

«Гулящие люди» – термин юридический, но в романе А. Чапыгина он стал художественным образом, наполненным глубоким социально-историческим содержанием: это та среда, в недрах которой развивается, бурлит народное волнение, в которой тлеет искра восстания даже тогда, когда оно жесточайше подавлено, готовая вспыхнуть вновь с прежней силой. Из недр гулящих людей явился подстрекатель бунтов Таисий, наставник Сеньки. И сам Сенька, которого поначалу влекут большие обстоятельства, чем разум, формируется как сознательный борец за справедливость, организатор народного движения именно в этой социально неопределенной среде.

Следует, правда, отметить, что под влиянием собственной концепции А. Чапыгин заметно модернизировал идеологию бунтарей XVII века. По выходе романа в свет критика справедливо упрекала автора в том, что в Таисии наивный авантюризм сочетается с высказываниями о целях и тактике революционной борьбы, выработанными уже в ходе революций XX века. Едва ли достоверны и атеизм Сеньки, главного героя, его явно сознательные антимонархистские воззрения.

В целом же бунтарская среда, сподвижники Сеньки и Таисия изображены точно, в духе своего, допетровского, времени. Предводитель разбойников с большой Ярославской дороги Ермилка восстает против помещика, обманувшего крестьян своей деревни и упивавшегося своей безнаказанностью. Богатыря Кирилку привели в стан бунтовщиков гонения правительства и официальной церкви на раскол. Чапыгин мастерски передает противоречия раскольнического движения: наивный религиозный консерватизм в сочетании с социальным, политическим протестом. Великолепен образ Домки, разбойничавшей сначала в пользу барина своего по его же наущению и обернувшей в конце концов оружие против угнетателей.

Лесное олонецкое детство не прошло даром для писателя. Сказочные, былинные, песенные богатыри, удалые добры молодцы, отдельными своими чертами проявившиеся еще в ранней прозе Алексея Чапыгина, развернулись в полную живописную мощь на страницах его исторических романов. Характеры их выписаны сочно, щедро, но и с несказочной достоверностью. Автор увидел и воссоздал их историческое время, с любовью целеустремленного знатока выписал детали их быта, яркую, самобытную речь.

В духе складывавшихся при его участии традиций советского исторического романа Чапыгин воссоздает исторические личности. В построении каждого исторического образа видна четкая и последовательная авторская позиция.

Своеобразна чапыгинская интерпретация царя Алексея Михайловича. В противовес легенде о кротости и благостности Тишайшего, кстати сказать, человека для своего времени образованного (он первым из русских царей самолично подписывал указы, редактировал, исправлял их), незаурядного политика, Чапыгин убедительно, не обламывая характер под тенденцию, но, последовательно претворяя ее, изображает правителя ленивого и мнительного, трусливого и безвольного, компенсирующего слабости характера коварством и жестокостью и по отношению к заподозренным в покушении на власть боярам, патриарху, и по отношению к народу. Здесь явно проглядывают черты далекого потомка, последнего из Романовых на русском престоле. Качества, малопривлекательные в обыкновенном человеке, оказавшиеся свойством главы государства, становятся источником потрясающих кровавых преступлений. Чапыгин, переживший дни после Кровавого воскресенья, хорошо знал цену таким качествам царского характера. Быть может, потому и удалась ему с необычайной выразительной силой сцены расправы властей

с участниками разинского восстания.

Пристрастный к характерам сильным, незаурядным, Чапыгин с большим мастерством исполнил образ патриарха Никона. В начале романа перед читателем предстает могущественнейший государственный деятель, главный советчик царя, организатор церковной реформы, успех которой разжигает властолюбивое тщеславие патриарха, он уже мечтает превзойти в Русском государстве и самого царя. Здесь-то и подстерегает Никона крах, перед собственной амбицией пасует глубокий, тонкий ум отца церкви, в конфликте с Алексеем Михайловичем, не терпящим соперничества, патриарх проигрывает. Но природная мощь этой интереснейшей фигуры в нашей истории поднимается во всю силу в тех сценах романа, где появляется Никон, поверженный в опалу. Грозно звучат его проклятия царю и боярам, жалким в своем шутовстве перед монолитным достоинством унижаемого, но не униженного Никона.

Рядом с Никоном в изображении А. Чапыгина заметно проигрывает его идейный противник протопоп Аввакум. С ним в романе связываются отрицательные стороны раскольников: религиозный фанатизм, кликушество, консерватизм и невежество. Такая трактовка Аввакума вступает в очевидное противоречие с великолепным литературным памятником XVII века – «Житием» протопопа Аввакума Петрова. Писателем упущены многие яркие стороны личности вождя раскола. Впрочем, в романе место Аввакума скромно, он появляется лишь в двух эпизодах, в основном это «внесценический персонаж».

А. Чапыгин и не ставил перед собой цели рассказать историю раскола, для «Гулящих людей» эта тема посторонняя, но в жизни Русского государства той эпохи борьба вокруг церкви занимала одно из центральных мест. Поэтому следует вкратце восстановить основные события, связанные с ней, иначе многое в романе будет непонятно.

К середине XVII века русская православная церковь стала распадаться в силу больших различий в обрядовой практике, серьезных разночтений в богослужебных книгах, произошедших из-за слишком вольных переводов Ветхого и Нового заветов. В среде высшего духовенства и бояр образовался «Кружок ревнителей благочестия», к которому принадлежали протопопы Аввакум, упоминающийся в романе Даниил, Иван Неронов, а также боярин Ф. М. Ртищев, Никон и другие. Целью кружка было укрепление церковной организации, унификация обрядов, устранение разночтений и исправление богослужебных книг.

Однако среди членов кружка не было единства взглядов относительно путей, методов, окончательной цели реформы. Аввакум, Неронов и другие считали, что церковь должна хранить «древнее благочестие» и унификацию обрядов следует проводить, опираясь на древнерусские богослужебные книги. Окольничий Ф. М. Ртищев, духовник царя Стефан Вонифатьев, присоединившийся к ним тогда еще архимандрит Новоспасского монастыря, позже митрополит Новгородский Никон предлагали опираться на современные греческие источники. Уже тот факт, что сторонниками реформы были приближенные царя, говорит о ее политическом характере.

Реформированная церковь должна была стать мощным средством централизации Русского государства, объединить под эгидой московского патриарха православную русскую церковь и церковь Украины, укрепить связи с православными восточноевропейскими народами, находившимися под властью Турецкой империи. Так что инициатором церковной реформы был сам царь.

В 1652 году Никон (1605—1681) стал патриархом и уже с марта 1653 года начал при поддержке Алексея Михайловича осуществлять реформу: исправлялись по греческим образцам богослужебные книги, изменялись обряды (двоперстие заменено троеперстием, «аллилуйя» возглашалась трижды, а не дважды, вместо семи просфор – просвирок – стало употребляться в богослужении пять и др.). Церковные соборы 1654—1655 годов одобрили нововведения.

Однако сторонники старого обряда во главе с Аввакумом не смирились с реформой. Протопоп Аввакум (1621-1-682) выступил с резкими проповедями против патриарха, был

схвачен, бит и в 1653 году отправлен в ссылку в Сибирь. После падения Никона Аввакум был возвращен из ссылки, но в 1666 году неукротимый раскольник был расстрижен, посажен на цепь и через год отправлен в заполярный город Пустозерск, где и стал писать свои гневные «сказки», распространившиеся по всей России. 14 апреля 1682 года Аввакум был сожжен.

Хотя споры о реформе носили сугубо схоластический характер, она вызвала широкое общественное движение. Вскоре после ее осуществления выявилось стремление Никона усилить власть патриарха, возвыситься над властью светской. Он стал именовать себя, как царь, «великим государем», в два с половиной раза увеличил патриаршие вотчины. Все это вызвало недовольство боярской верхушки и самого царя. В 1658 году Никон снял с себя патриарший сан, а в 1666 году осужден церковным собором и сослан в Белозерский монастырь. Однако и после падения Никона продолжались гонения сторонников «старой веры». Последователи Аввакума обнаружались во всех слоях русского общества. Раскол объединил всех недовольных: лишенное былых привилегий боярство, страдавшее от конкуренции с иноземными торговцами купечество, стрелецкое войско, значительная часть духовенства, особенно беднейшее, безместные, т. е. не имевшие приходов священники. Но большую часть староверов составляли посадские люди и крестьяне. Народные массы связывали усиление феодально-крепостнического гнета и ухудшение своего положения с нововведениями в церкви.

В «Гулящих людях» раскольнический фон повествования ярок и многокрасочен. Чапыгин по-разному относится к носителям этой своеобразной и неоднозначной идеологии. Симпатии автора явно не на стороне духовной и светской верхушки раскола: в этой среде он показывает мелкое интриганство одних и фанатичное мракобесие других. Обращаясь к бедноте, Чапыгин вскрывает политическую суть ее протеста, принявшего столь причудливые формы;

Выросший на русском Севере, Алексей Чапыгин прекрасно знал быт и нравы раскольников, сохранивших в целостности не только «древнее благочестие», а многие формы старинной жизни. Видимо, отсюда идет такое доскональное знание писателем мельчайших бытовых деталей, лишенных экзотики в его прозе.

Писатель свободно чувствует себя в атмосфере далекого XVII века, легко владеет его языком, наслаждается старой русской речью. Правда, сегодняшний читатель не без труда воспримет иные страницы «Гулящих людей». Это предвидел еще А. М. Горький, который советовал автору дать подстрочные примечания к тексту. А. Чапыгин исполнил совет Алексея Максимовича, но в дальнейших изданиях (уже посмертных) издатели значительно расширили словарь устаревших и диалектных (в основном севернорусских) слов. В нашем издании словарь дается в конце книги.

Свой роман «Гулящие люди» А. Чапыгин печатал частями, по мере написания. Первая часть была опубликована в 1934 году в журнале «Литературный современник». Вторая и третья части печатались в журнале «Октябрь» с 1935 по 1937 год. Летом 1937 года публикация романа была завершена в журнале «Звезда». Готовя роман для издания книгой, А. Чапыгин внес немало изменений, учитывая замечания друзей и критики. В архиве Писателя сохранились два варианта конспектов окончания романа: его эпилог должен был происходить во время стрелецкого бунта 1682 года. Но написать эту часть Чапыгину было не суждено. 21 октября 1937 года он скончался и был похоронен в Ленинграде на Волковом кладбище.

А. П. Чапыгин, писатель, вышедший из глубин народной жизни, был одним из тех, кто создавал советскую литературу, закладывал и развивал традиции социалистического реализма. Без него непредставима наша литература 20-х и 30-х годов.

М. Холмогоров

## Часть первая

### Начало Сенькиной жизни

Сенька, стрелецкий сын, рос под материнской строгостью и заботой.

Рос парнишка не как все – тянулся не в ширину, вышину, а как-то вперед и назад. Иногда думали, что будет с горбом. Кости лопаток выдвигались гораздо вперед, оттого было холодно спине без запояски; если же Сенька опоясывался высоко, под грудями, то мать била его:

– Вяжи пояс по чреслам, противу того, как святые отцы запоясывались... не немчин ты, сын стрелецкий!

Сенька не знал, кто такие святые отцы, но уж не любил их и боялся: «А неравно как они к матке в гости придут?»

– Нелепые у тебя, парнишко, руки, ниже колен висят, персты тоже будто у матерого стрельца, – говорил Лазарь Палыч, ощупывая сына, особенно когда был старый стрелец во хмелю, но про лицо белое, будто девичье, про кудри на голове Сеньки и глаза ничего худого не сказывал.

Сенькин отец, Лазарь Палыч, – пеший стрелец, белокафтанник Полтевского приказа<sup>1</sup>, старший брат Сеньки – ездовой стрелец<sup>2</sup>, и Сеньке по роду быть в стрельцах. Голова уж не раз говорил Лазарю, чтоб Сеньку записать в приказ, но Лазарь Палыч медлил. Сеньку часто тянуло утечи из дому, куда глаза глядят, опричь того, что мать Секлетее Петровна за ленивую молитву била, а еще и потому, как тать Лазарь получал еду за караул в Кремле натурой, не вареную – Сенька носил к нему обед ежедень и сткляницу водки. Мать, отпуская Сеньку к отцу, наказывала:

– Хмельное пуцай пьет с опаской!

Тать после еды делался добрее, тогда Сенька его спрашивал о татарских послах, он видал, как татаре, выходя от царя, за пазухи пихали дареные кубки и чаши:

– Тать, пошто поганым еще кубки дают?

Тать, оглянув посторонь, чтоб кого не было близ, сказывал:

– За те чаши с халатами вольность свою продают...

– Тать, а пошто поганых иным путем, да в другие ворота пуцают... не в те, отколь в Кремль заходили?

– Экой ты у меня зёркий, – а чтоб в Кремле были, да дороги прямой не ведали...

– А пошто их за городом держат? В город за караулом водят? – И боялся Сенька, тогда он пятился от татя.

Тать кричал на него:

– Пшол, дурак! Много знать будешь.

Сенька опасался и никогда татю не говорил, что, когда шел в Кремль с едой, на него насакивали посадские ребята скопом, навалом... Сенька их бил; иногда за них лез в драку кто большой, – Сенька и больших бил. Про драки Сенька матке Секлетее тоже не сказывал, боясь, думал: «Слушать в Кремль не будут».

Видал Сенька за городом, как послы татарские на коней скачут. Скочит поганой, подогнет ноги, стремена-то коротки, и с глаз долой – ни коня, ни всадника, только пыль пылит.

---

<sup>1</sup> ...пеший стрелец, белокафтанник Полтевского приказа... – Стрелецкие полки, созданные при Иване Грозном и просуществовавшие до Петра I, назывались приказами, каждый приказ носил имя начальника – головы. Стрельцы имели свое хозяйство и, помимо службы, занимались торговлей и ремесленничеством. Налоги стрельцы не платили, но должны были вносить в казну оброк со своих промыслов. Стрелецкая служба была наследственной.

<sup>2</sup> Ездовые стрельцы. – конные. Полтев Федор Алексеевич (ум. в 1679 г.) —стрелецкий голова, постельничий Алексея Михайловича.

Сеньке хотелось нарядиться в такой халат, нахлобучить островерхую шапку, вздеть за спину саadak с колчаном да лук с тетивой и ускакать с погаными куда придет. Рос мальчишка в шумное время, когда Москва с пригородом гудела как борть<sup>3</sup> пчелиная. Все говорили, и Сенька слышал:

– Никон патриарх веру изломил!

Матушка Секлетя Петровна у икон в углу шепотом ежедень проклониала Никона, а поминала с молитвой какого-то Аввакума.

Не на шутку ленив был к молитве стрельчонок, и за то матушка тонким батогом трудилась над ним поутру и вечером, но Сенька рос быстро – скоро его так растопырило на стороны, что матери между ног влезать не стал, тогда матка стала докучать татю:

– Побей ты его, Лазарь Палыч!

Лазарь Палыч, – черная борода с проседью легла ниже грудей и на Никона, изломившего веру, дородностью лика схожий, – отнекивался:

– Буде того, Петровна, что ежедень в Кремле на козлах зрю чужие зады – кого за дело, а кого и так разнастав бьют. Добро будет, мне время не сходится, сведи-ка лиходельницу<sup>4</sup> к мастеру на Варварский крестец, азам учить... старшего обучил, этого мыслю против того же. Там и побьют. Без боя наука не стоит.

Суров видом отец был, но любил Сеньку, а когда во хмелю, так и гневался за одно дело: Сенька звал его вместо тятя – тать.

– Чего брусишь, песий сын? Вразумись!

– Лгешь, тать, я сын стрелецкой.

– Ты сказывай! Я стрелец?

– Стрелец, тать!

– Ты ведаешь, что тать – это грабежник, а я что, хищением чужого живу?... – И называл Сеньку лиходельницей.

Тут уже за Сеньку вступалась Секлетя:

– Хозяин! Лазарь Палыч, пошто парнишку лаешь?

– Пушай закинет татем брусить!

– Недоумок еще он!

– А ну, сведи к мастеру – там в ум придет, когда на горох в угол поставят.

Из упрямства или привычки худой Сенька продолжал отца называть татем. Лазарю некогда было заниматься сыном. За плеть он не привык браться, боялся шибко убить, и жену свою Секлетю, против того, как другие делали, стрелец никогда небил. Да и служба у Лазаря Палыча была в служилую неделю маетная, а в свободную Лазарь в лавке стоял на торгу.

Утром, до свету встав, едва успевал Лазарь по конюшням пройти, по хлевам и, как хорошие хозяева делали, лошадей, коров покормить куском хлеба из рук, а уж время придвинулось, надо в Кремль в караул идти.

Старший сын Лазаря, ездовой стрелец, коему боярские дети даже завидовали, натянув на плечи малиновый кафтан, цветом похожий на кафтаны приказа Головленкова, раньше отца выбирался на службу, зато Стремянной полк<sup>5</sup>, и провожал Петруха, сын Лазаря, – либо царицу на богомолье, а то и послов каких нарядят встретить. Шел Петруха по службе впереди отца: полк Лазаря был вторым, а Петрухин – пятый, полковника Маматова, и все потому, что грамотен Петруха, лицом пригож и телом и силой удался в Лазаря. Немало в

---

<sup>3</sup> *Борть* – улей.

<sup>4</sup> *Лиходельница* – публичная женщина.

<sup>5</sup> *Стремянной полк* – конный стрелецкий приказ, составлявший личную охрану царя и участвовавший в торжественных церемониях.



свое время денег Лазарь мастеру за Петрухину учебу передал, да съестного к праздникам короба большие. Сеньку Лазарь любил и думал: «Надо обучить, денег не жалеть на детище!»

– В рост не идет парнишка! – докучала Лазарю жена.

– Под твоим шугаем<sup>б</sup> чего вырастет; ужо как выберется, потянется, – отвечал Лазарь, а Сенька все же рос только на зад, на перед и еще стало его распирать на стороны.

– Што бы ему горой расти, а то кучей идет! – сокрушалась Секлетя Петровна. Она решила найти знахарку: – Пущай-де в бане его попарит.

Мать рано, еще до свету, повела Сеньку к мастеру.

Пришли, долго на образа молились, после того низко кланялись на все стороны. Потом мать Секлетя Петровна рядилась с мастером, да спрашивала, как будет учить. Наконец, мастер, тряся лапами мухотярового потертого халата рыжего с полосами, ответил сердито:

– День начался неладно! Замест мужа забрела женка – должно, не крепко ее хозяин держит, что доверил единородного сына вести наукам обучать? А перво начнем с того, что паренек до наук уж, поди, не охочий – велик ростом... еще год минет, его не учить, а потребно будет женить... ты же того не разумеешь – не всяк мастер за сие дело учебы большого возьмется...

Мать не отставала, рядилась с упором. Мастер махнул рукой, от него пахло водкой:

– Да не торг у нас! Ну, пущай учиться за гривну в год и три чети ржи... К часослову перейдем, тогда мастеру принесешь горшок каши, гривну денег, да в дому твоём молебен чтоб пели...

Мать ушла, покрестив Сеньку.

– Такого и бесу не уволокчи – не крести, не бойся... – проворчал мастер. В углу у образов замигала восковая свечка. Мастериха, румяная, толстая баба, громко икая, зажгла эту свечку, боком глядя на образа, перекрестилась, уходя к себе в повалушку, сказала мастеру:

– Козел худой! Чула я, што ты рядил? Учить ведь надо такого жеребца.

– Иди, не мешай, Микитишна! Поучу – накинута... вишь, стрелец с парнем наладил женку; с баб много не уторгуешь... разве что насчет... – он пьяно подмигнул.

– Тьфу, ты, козел худой!

Все ученики, их было шестеро, встали на молитву, в один голос пели «отче наш», после молитвы еще громче и не крестясь тянули славословие розге:

Розгою детище дух святой бити велит...  
Розга убо мало здравия вредит,  
Розга разум во главу детям вгоняет,  
Учит молитве и злых всех встягает,  
Розга послушны родителям дети творит,  
Она же божественному писанию учит,  
Розга аще бьет, но не ломит кости,  
А детище отставляет от всякие злости...  
Розга учит делать вся присно ради хлеба,  
Розга детище ведет вплоть до неба...  
Вразуми, правый боже, матери и учителя  
Розгою малых детей быть ранители...  
Аминь!

Ученики расселись за длинный стол на скамью. Учитель поместился в конце стола на высоком стуле. Ноги упер в низкую подножную скамью. С мастером бок о бок за столом возвышалась горка с грязной посудой – ученикам она казалась иконостасом, так как на горке

---

<sup>б</sup> *Шугай* – род полукафтаны с круглым воротом.

лежала книга, именуемая «Азбуковник», в ней поучение всяким премудростям. «Азбуковник» давался ученику лишь в конце учебы за то, что ученик грамотностью доходил почти до самого мастера. Когда мастер сел на стул, Сенька заметил у него за пазухой две вещи: посудину с вином и плетень.

«Эво он чем учит, мочальная борода», – подумал Сенька.

Потирая руки, усевшись, мастер крикнул:

– Женка! Эй! Микитишна! Принеси-ка нам для борзого вразумления стрекавы!<sup>7</sup>

За приотворенной дверью повалуши побрели шаги, они скоро прибрели обратно: мастериха принесла большой пук крапивы, кинула под ноги мастера, на руках у ней были замшевые рукавицы.

– Иршаны кинь тут! – приказал мастер. Мастериха сбросила рукавицы на пук крапивы и еще раз покосилась на Саньку. Сеньке показалось, что она улыбнулась ему.

«Чего толстая ощеряется?» – подумал Сенька. Вынув посудину, мастер потянул из горлышка, закупорив хмельное, сказал, кладя за пазуху стклянку:

– Благословясь, начнем!

Ученики, кроме Сеньки, торопливо закрестились. Все раскрыли писанные старые буквари.

Вдвинув глубже за пазуху посудину, мастер оттуда же выволок ременную указку, она-то и показалась Сеньке плетью.

– Детки-и! Очи долу – зрите грамоту... – помолчав, мастер прибавил: – А-а-а-з!

– Аз!

– Аз, – повторили ученики. – Буки-и, веди-и, глаголь!

– Сия есте первая буква, именуемая – аз! Что есте аз?

– Сия первая буква!

– Та-а-к! Сия первая буква знаменует многое для души христианина... означая сие многое переходит в букву буки... в букву есть и мыслете! «Аз есмь господь бог твой»,

– Аз господь твой!

– Аз есмь господь бог твой!

– Аз есмь господь твой!

– Бог, бог твой – истинно! И тако сие определяется: уразуметь должны – где же сие изречено суть?

Ученики молчали.

– Сие изречено суть в заповедех господних, данных Моисею на горе Синае.

– Сие изречено на горе Синаю!

– Ну, лги дальше!

– Данных горе Синаю!

– Гнев божий на меня за вас, неразумных и малогласных, ибо уды мои от трудов великих тяжки, а надобе первого лжеца стрекавой вразумить... Ну же, отыди нечестивый, мало внимлющий учителю, на горох пади в углу. Ты иди! – указал кожаной указкой учитель.

Ученик отошел в угол и медленно опустился на колени. Учитель пьяно возрился на ученика:

– Прямись! Не гни хребет! – Он сердито пошлепал кожаной указкой по столу.

Переминаясь коленями, тонявый ученик в белом кафтанишке мялся и вытягивался в углу. Мастер говорил:

– Сей упряг благословясь рассудим о букве добро! Что есте добро?

Ученики молча ждали. Помолчав и приложив палец ко лбу, учитель продолжал:

– Буква добро пятая по счету есте буква великая, а тако – с прилежанием молити бога – добро! Ходити в церковь божию, внимати службе и поучению божественному – есте добро! Почитати отца и матери своих – добро! Чести молитвы, а тако – первая молитва за великого

---

<sup>7</sup> Стрекава – крапива.

государя нашего Алексея Михайловича и его государев светлый род – добро! Вторая молитва-за святейшего патриарха всея Руси, за великого иерарха, отца церкви нашей, от грек приемлемой, Никона – добро велие! Ведомо мне, – продолжал мастер, вновь потянув из посуды, – что все вы дети стрелецкие, альбо посацкие, и, ведомо, стрельцы – потатчики Нероновой и Аввакумовой ереси<sup>8</sup>, проклятой собором российских и греческих иерархов, и добро ваше, дети мои, наипохвальное, когда станете доводить мне о родне своей – како отцы ваши и матери, молясь богу, персты слагают... двуперстно, альбо по-иному?

Мастер поник головой к столу. Очнувшись, сказал икнув:

– Фу, утомился аз! – потряс головой, отгоняя сон, и прочел без книги стихиру в поучение:

В дому своем, от сна восстав, умыйся,  
Прилунившегося плата концом добре утрися.  
В поклонение святым образам продолжися,  
Отцу, матери низко поклонися...

Мастер поднял руку с ременной указкой и повысил голос!

С трепетом к учителю иди,  
Товарища веди,  
В дом учебы с молитвой входи,  
Тако же и вон исходи!

Грузно поднявшись, мастер запел молитву, ученики, поглядывая на его фигуру, вторили пению.

Когда от мастера парнишки вышли и побрели грязными улицами, скользя на поперечных бревнах, накиданных там и сям, иногда упираясь коленями, цепляясь руками, перелезали рундуки, проложенные к соборам, то на лицах их, на плечах тоже, как бы лежала тяжесть учебы пьяного учителя, только Сенька шел бодро – он ничего не боялся. Мать перестала его бить, отец никого не бил, про мастера Сенька думал:

«Худой, пьяной... ползет, так сунуть его кулаком в брюхо – отвалится... ежели погонит, то бес с ним, неладно учит – татя с маткой велит доглядывать...»

Все пробирались к Замоскворецкому мосту. Трое ребят жили за Кремлем в Слободе, они убрели в сторону. С Сенькой в Замоскворечье идти остались двое. Все трое были стрелецкие дети, кафтаны на двоих длиннополые, новые, набойчатые, на Сеньке – кафтан торговый, мухтояровый, сапоги иршаные<sup>9</sup>, их Сенька любил марать в грязи, оттого что становились тесны.

И только лишь перейти парнишкам на мост, как из-за бани, недалеко к кабаку цареву от ларя, где лежали веники, вышли навстрет им два рослых парня в улядах<sup>10</sup>, привязанных к онучам, в протертых на грудях кафтанах.

– Гей, ходячие буквари со Спасского моста, стой! Сенька сказал:

– Пошто?

---

<sup>8</sup> ...потатчики Нероновой и Аввакумовой ереси... – раскольники. Иван Неронов (1591—1670) – видный деятель раскола, протопоп Казанской церкви на Красной площади. В 1653 г. сослан в Вологду, затем в Кандалакшу. В 1656 г. бежал из ссылки, тогда же осужден собором. На соборе 1666 г. принес покаяние и в 1669 г. был поставлен архимандритом Данилова монастыря в Переславле-Залесском.

<sup>9</sup> Иршаный – замшевый.

<sup>10</sup> Уляди – опорки, чаще валяные.

– Стой! То зарежу.  
Двое ребят встали, Сенька пошел.  
– Ты чего же, песий сын?!  
– А лжешь – я стрелецкой!  
– Мне хучь боярской – ище лучше, – скидай кафтан, убью! Большой и грязный дернул рукавом, в рукаве был нож.  
– Лихие? А, ну!  
Лихой взмахнул ножом, Сенька, сдвигая рукав к плечу, увернулся, ударив лихого кулаком в грудь.  
– Чо-о! – охнул лихой и попятился, уронив в грязь ножик. Сенька шагнул на него, ударил еще в лицо и грудь, – лихой упал.  
– Надо скоро! – он кинулся к другому, схватил лихого поперек туловища, подняв, повернул в воздухе так, что с ноги у него сорвался опорок, отлетел, а Сенька сунул лихого шапкой в грязь.  
Парнишки дрожали, плакали, они были полураздеты, кафтаны валялись на дороге.  
– А ну – оболокись! – Сенька стал им помогать одеться. Лихие не наскакивали, не до того им было, – один искал нож в грязи, другой наглядывал опорок. Когда нашли свое, и даже не погрозив Сеньке, отошли к ларю. Тот, с ножом, громко сказал, плюнув:  
– Лез на теленка, попал быку на рога – черт! Другой, бороздя по лицу рукавом, утираясь, ответил:  
– На больших пошли, да с малыми не управились...  
– Черт с ними! Другой хабар<sup>11</sup> найдем! Сеньке хотелось избыть молитву дома.  
Матка, как придешь, в угол поставит: «молись!» Он, проводив парнишек по мосту, вернулся к Кремлю и, обойдя его, пошел в сторону Слободы. Остановился Сенька, услышав крики, обогнул тын Протопопова дома, за углом увидал большой народ. Люди кричали, подымая кулаки, грозились. Женки были тоже, те пели молитвы. Молитву покрывали матюги. Люди собрались посадские да мастеровые Колокольного и Кузнечного ряда, блинники, калашники также. Все они напирали на стрельцов. Стрельцов вел площадной подьячий<sup>12</sup>, у него с пояса сорвали медяную чернильницу с пером и в грязь утоптали.  
В стороне, опершись на бердыш, стоял отец. Сенька к татю своему не подошел:  
– Службу ведет!  
Подьячий, поправляя колпак, надувая красное лицо, закричал татю:  
– Эй, служилой! Чего зришь, не поможешь?  
– Не мое то дело! – гукнул тать. – Я из Кремля с караула иду!  
Люди отгесняли стрельцов от высокого попа, он, в черной камилавке, надвинутой на самые глаза, с лицом, замаранным грязью, кричал время от времени, и голос из него шел, как из медяной трубы:  
– За веру отцов и дедов! Ратуйте, детушки! Разгоним антихристовых выроdkов! Ужли не разгоним?! Да един я угнал седьмь скоморохов, бубны им изломил! Ратуйте во имя Иисуса за шестиконечный крест противу латинского крыжа-а!  
Сенька видел в правой руке попа деревянный черный крест, высоко поднятый, в левой поп держал тяжелое кропило и так им махал, что двенадцать стрельцов не могли с попом совладать. Сеньке хотелось подраться, но он не знал, за кого идти: за попа или стрельцов, и еще тать в виду... Подьячий привел стрельцов, много их было, они навалились на попа, сбили с ног. Поп глухо, как из бочки, бубнил, когда его распластали в грязи:  
– Добро су! За волосы волокут Никоновы доброты... ребра ломают! Так-то нам за веру Иисусову...

---

<sup>11</sup> *Хабар* – удача.

<sup>12</sup> *Площадной подьячий* – писец, промышлявший составлением челобитных и других частных документов.

Толпу разогнали. Попа привязали к телеге вервями.

Сенька заспешил домой, сторожа запирали по городу<sup>13</sup> решетки. Когда он пришел, то мать Секлетя Петровна заставила умыть руки и стать на молитву:

«Чего боялся – на то налез...» – подумал Сенька, но скоро кончил молитву – пришел тать и брат Петруха, а с ними приволокся хромой монах.

– Будь гостем, отец Анкудим! – сказал тать.

– Спаси, сохрани... укрыли от темной ночи, от лихих людей. Можно на Иверское мне на подворье<sup>14</sup>, да там перекрой идет...

Брат Петруха, ставя мушкет в угол, спросил:

– Нешто ты их боишься, лихих-то? Что с тебя, святого, содрать!

Тать сказал:

– Не святой! Чего грешишь! Был купец, государев акциз<sup>15</sup> утаил, а за то на Ивановой на козле бит кнутом<sup>16</sup> двожды...

– То, Лазарь Палыч, горькая правда! Животишки мои до едина пуха отписали на великого государя<sup>17</sup>...

Все помолились и сели за стол.

– Ну, и дело у тебя, я чул, отец, было с протопопом...

– Дело, Петруха, дело – колесом задело... не мое то дело – я глядел только, как бились стрельцы иного приказа...

– Поди теперь далеко угонят Аввакума?

– Ковать зачали да за приставы взяли, чай, не близко утянут.

– Ой, бедной, ой, страдалец! – сказала мать и перекрестилась.

– Молились бы по старине, спаси, богородице, а то, вишь, Никон указал старые служебники жечь... Оле! добрые хозяева – лют Никон и монасей не милует, величает бражниками...

Тать слушал монаха, зевнул, покрестил рот:

– Гордостью обуян аки сатана!

Мать отошла к печи, вернувшись, подала чашку шей.

– Чернцу, – он ведь смиренник, – надо бы постное, – прибавил тать. Монах замахал руками:

– Живу в миру... вкушаю, что сошлось – грех не в уста, из уст идет он.

– Тата, ешь да молчи больше, – сказал Петруха, – брусишь о патриархе не ладно.

– Ништо, Петра! Анкудим на меня «слова государева» не скажет.<sup>18</sup>

– Ой ли?

– Много сородников моих Никон погубил, богородице, храни – сам зол я... зол... мне ли с наветами на добрых людей идти?

---

13 ...запирали по городу решетки. – Московские улицы на ночь запирались решетками.

14 *Иверское подворье* – в больших городах монастыри имели свои дворы; речь идет о дворе Иверского монастыря.

15 *Государев акциз* – налог с дохода, в отличие от таможенной пошлины – налога с перевозимого товара.

16 ...на Ивановой на козле бит кнутом.... —Ивановская площадь в Кремле была местом публичных наказаний.

17 *Животишки мои до едина пуха отписали на великого государя...* – Животишки – имущество; отписали на великого государя – конфисковали.

18 ...«слова государева» не скажет. – «Слово и дело государево» – форма политического доноса.

Мать Секлетея к концу ужина сходила в подклет. Сенька боялся подклета – там крысы. Принесла малый жбан пива. Кроме Сеньки, всем разлила пиво в оловянные ковшики. У монаха, – видел Сенька, – дрожали руки, он пиво плескал на скатерть, крестился, пил и наливал сам, а потом громко, будто себе, хмельным голосом заговорил:

– Иконы, мощи волокет на Москву... сие деет все чести для своей... уже изойдет от того Никонова велеумия зло велие – оле-о! Изошла когда-то неправда при деде царя Грозного Ивана ересь<sup>19</sup>, жидовинами рекомая... Богородицу не почитали, креста животворящего не признавали же, а лаяли о кресте, что оный есте виселица...

– Ужли, отец честной, были таковые богохульники? – мать Сенькина перекрестилась. – Спаси, сохрани!

– Были, хозяйюшка! Духа свята чтили яко кочета на нашесте...

Сенька спросил монаха:

– Дедо, а уж не с руками ли тот святой-то дух?

– Паси, богородице! Тебе пошто оное пытать?

– Да вишь ты! На учебе мастер нам чел стихиру – в ей сказано, что святой дух робят биет розгой...

– Лазарь Палыч! Ты слышишь? Побей его хоша плетью... Тать молчал, монах ответил матке:

– Хозяйюшка... не тронь молодшего! Ум в ем бродит.

– Вот и надобе худой умишко на место загнать – не сказывай лиха.

– Не я, учитель чел – мастер!

– И мастер тож богохульник.

– Жено! Хозяйюшка хлебосольная! Паси, богородице, хто на Руси под боярином ли, воеводой и патриархом стоит, тому боя не миновать. Сыщет младой – коли в рост войдет... Бояр и тех биют, ежели государь повелит, недалек день, когда боярина у всех в памяти на Ивановой на козле били за боярскую девку, что растлил ён... Едино лишь царей не биют, а главу и им усекают.

Тать поднял кулак, крепко ударил им по столу, аж суды все заговорили:

– Анкудим! Ни слова боле... – тать глянул к узкому окну, – ладно, что из подклета повалушу соорил, окон великих не нарубил, а то зри, кто ушами водит по подоконью... нам, чернен, чести мало за тебя на дыбе висеть!

– Спаси, спасе! Прости, Лазарь Палыч, Христа для – с хмеля язык блудит! Дай за слово твое укоротное в землю тебе постукаю... дай!

– Сиди! Скамлю свалишь... пей во здравие и не бруси кое не к месту.

– Не лгу я, хозяин, – истину поведал...

– Такой истины о государях не рони в народ, а мы с Петрой на тебя не доводчики...

– С попами, хозяин, нынче заварен великий бунт... спаси, не разросся он, разрастется, когда попов широким вверх постаноят... укажет патриарх попам чести служебники новые, а они и по старым едва бредут! В Иверском-Святозерском<sup>20</sup> нынче их печатать зачинают, старые книги жгут... Дионисий архимандрит и иные старцы главу повесили, торопко посторонь глядят, кто по вере идет постригаться, пытаются – грамотной ли? Ежели грамотной, то постригают, не свестясь с Макарием митрополитом... во-о!

---

<sup>19</sup> ...ересь, жидовинами рекомая... – Ересь – учение, несогласное с догматами официальной церкви. Здесь говорится о «ереси жидовствующих», возникшей в Новгороде в 70-х годах XV в. Ее последователи отвергали поклонение иконам, не верили в троицу и божественное происхождение Христа, требовали «самовластия души», т. е. нравственной свободы, отрицали церковную иерархию и монашество. Вожди ереси, осужденные церковными соборами 1490 и 1504 гг., были казнены через сожжение или посажены в тюрьмы.

<sup>20</sup> В Иверском-Святозерском ныне их печатать зачинают... – Иверский Святозерский монастырь был основан Никоном в 1652 г. на Валдае. Патриарх приписал к нему многие вотчины, создал обширную библиотеку, перевел туда типографию.

– Вот это, чую, правду ты сказал – нам, стрельцам, уже дела будет, как ныне с Аввакумом... во Пскове, чул, воры шевелятся, в набат бьют, а звон тот катится до Нову-города... Ну, буде! Тебе, я зрю, Секлетейя моя Петровна лавку устроит со скамлей, нам с Петром пора тож... Петра в горнице спит, я же в клети, где родня моя пиры водила, а ты уж внизу заусни...

Сенька долго не спал, слышал, как пьяный монах бормотал во сне, да матка поминала Аввакума, шептала молитвы. Парнишка думал:

«Матка не бьет – силы мало... тать едино что грозит... Татя, матери не боюсь, а грамоты страшно... Утечи бы с этим монахом в монастырь, там, сказывают, чернцы живут ладно... вот, как только... и каковы святые отцы? Они в монастыре, мыслить надо, водятся...» – С тем парнишка и уснул.

Поднялись далеко до свету – в шесть часов<sup>21</sup>. Монах над книгой бормотал, крестился, капая воском на пол и на страницы книги. Матка с ним тоже и Сеньку заставила ползать перед образом. Потом, постукав лбами о пол, все еще крестясь, сели за стол, ели не пряженную, холодную баранину с чесноком и пиво допивали. Тать сказал:

– Служить тяжко! В караулах не ворохнись, головы сыскивают строго. Ладно большим служилым, а малой стрелец хоть в землю копайся.

Монах ответил, шурясь на татя:

– Бывает, паси, богородице, – я лгу! И ты лги, хозяин! – Пошто, отец, я лгу?

– Да вам ли не жить? От государя подъемные емлете, тяготы податные, пашенные вас не давят...

– Оно, конешно, Анкудим, податей мы не платим, зато с нашей торговли, альбо ремесла побор... Ну, выпьем да о бунтах посудим.

Петруха, из-за стола вставая, сказал:

– Мамо! Прибери-ка со стола хмельное, а то батька зачнет брусить, в железы ковать придут – ты, отец, прости, правду я молыл!

– Ой, младший, пошто так? Паси, богородице.

Мать убрала со стола пивной жбан, куски и кости... Отец с братом ушли. Мать заставила Сеньку еще раз молиться, а потом он уловил во дворе большого гуся, посадил его в пазуху, пошел к мастеру. Гуся снести в поминки мастеру Сеньке приказала мать.

Гусь у Сеньки за пазухой топырился, шипел, норовил вырваться. Сенька его уминал глубже, но гусь вываливал из-за пазухи шею и голову.

– Навязала матка, экое наказанье! – ворчал Сенька, пихая в пазуху гуся, а когда он, не доходя Варварского крестца, остановясь, завозился с птицей, кто-то сунул ему палку меж ног, Сенька упал. И мигом по стуку каблуков узнал ребят, тех, что с боем часто наскакивали. Его, упавшего, к земле пригнести не успели. Сенька вскочил на ноги. Парней было семеро, он сказал им:

– Слышьте, парни! Кой от вас наскочит, буду бить смертно. Парни свистели, махали кулаками, а один размахивал батогом.

– Гришка, бей! Нынче замоскворецкой не уйдет.

– Гусь бою ему вредит!

Гришка, завернув длинный рукав к локтю, готовясь, кинулся на Сеньку, норовя сбить под каблук, но Сенька наотмашь так ударил парня в грудь, что парень, пятась далеко, упал навзничь, и лицо у него посинело, – лежал недвижимо.

– Держись, я вот! – крикнул Сенька, уминая за пазуху горячую птицу левой рукой, правой, готовый ударить, кинулся на бойцов, а они разбежались в стороны. Оттого Сенька к мастеру опоздал. Знакомо было стрелецкому сыну видеть мастера, как всегда, во хмелю... Сегодня также изрядно хмельной мастер стоял по конец стола. Сенька, войдя, низко поклонился мастеру, сдирая с кудрей шапку.

---

<sup>21</sup> По нашему времени в два часа.

– А, молитва где твоя, собачий сын?! – закричал мастер.

– Вот-те замест молитвы поминок матка шлет! – Сенька, растопырив пазуху кафтана, толкнул гуся на стол.

«Го-го-го!» – загоготал гусь, топорща крылья и расправляя шею. Гусь ходил матерый, как и всякая животино в дворе Лазаря Палыча. Гусь махал крыльями, тая по столу желтыми лапами, – со стола повалились на пол чернильница, буквари и песочница. От стука по полу закричали утки. «Ко-ок-кого! Ко-о-к!» – тревожно бормотал под столом петух. Ловя крошки, по полу перебежали курицы.

Оказалось, матка не напрасно навязала Сеньке гуся – сегодня был день, в который ученики дарили мастера. Сам же мастер, видимо, не знал ни о каком дне и забыл о посулах – в руке его нынче не указка, а настоящая кожаная плеть.

– Што сие есть? Поминки! Эй, Микитишна! Прими добро, нам же дай простор молитве и учебе – «от жены бо начало греху, и той все умираем!» Эй, хозяйка!

Дверь повалуши приоткрылась, мастерица, стыдясь показать волосы<sup>22</sup>, прятала их под синий плат, громко выкрикнула:

– А ну ты, козел, с твоим достатком! Куда их столькопустишь? У меня портомоя разведена, полы тож зачну прати... – Увидав Сеньку, особенно румяного от ходьбы и боя, прибавила уже добрее: – Ты, несмышленьш, грамотой самой молодой, иди мне в помощь!

Сенька, не сводя глаз с мастера, чертя спиной и лопатками по стене, пробрался в повалушу, дверь за собой плотно запер. За дверями мастер, не понижая голоса, выкрикивал:

– Кто азы постиг, тому аз-раз! – Слышался удар плети. – А кой тут лжет по книге, кто в углу плачет – по тому плеть скачет! Теперь же обороти всяк и иди на новый бой...

Слыша шлепки плети да голос мастера, Сенька подумал: «Худой... тоже за плеть держится... меня не побить ему, только неладно ежели погонит. Тать с маткой бранить зачнут...» – и поливал пол из ведра. Мастерица, высоко подтыкав подола, растирала грязь с водой вехтем. Сивого цвета густые волосы выпирали из плат, потом рассыпались по жирным плечам. Ей было жарко в красной рубахе с поясом по широким бедрам...

– Ах, грех какой! – она отстегнула пояс, раскрыла ворот.

– Плечи, девка красная, шевелись! Бел, пригож и никуда не гош! – она прижала Сеньку широким задом к дверям повалуши... – Ну же!

У Сеньки горели щеки, в голове трезвонило, и был он как пьяный.

«Что она со мной?... Тут, вот бес!» – он не посмел или не хотел ее оттолкнуть...

– Ну, ну, грех не твой, моя душа и голова моя в ответе...

– Ой, как студно!

За дверями истошным голосом кричал мастер:

– Микитишна! Хозяйка моя, подавай сюда новца-юнца на бой и учебу.

Мастерица быстро повязала по рубахе пояс, поправила на голове плат, подобрал волосы и открыв дверь, из щели сказала:

– Тебе, козел, кой раз сказывать надо? По дому он мне опрично всех помогает.

Приперла дверь, мокрая и потная, кинулась на Сеньку

– Ой, ладной, сугревной мой...

Сеньке было стыдно, скучно и нехорошо, а она лезла целоваться. За дверью мастер топал ногами, кричал:

– От жен-бо царства распадешся! Муж, кой дает жене своей повольку, сам повинен в погублении души ее; и огню геенны адовой предан будет за окаянство! Фу, упарился! Стадо мое, воспой хваление розге, богу молитву и теки в дома своя.

Мастерица, задними дверями отправляя Сеньку домой, шепнула:

– Имячко твое?

---

<sup>22</sup> ...мастерица, стыдясь показать волосы, прятала их под синий плат... – По древнерусским обычаям замужней женщине не полагалось открывать волосы.



– Сенька!

– Помни, ладной, с сегодня я твоя заступа. Матке не скажи чего...

– Студно мне... не скажу.

Пошла Сенькиной учебе девятая неделя, но мастериха его мало от себя отпускала, оттого он редко брался за букварь.

– К козлу моему поспеешь, – говорила она и находила Сеньке работу. Сама же стала одеваться нарядно. Тать, чтоб Сенька не голодал, указал снести мастеру харчей. Мастериха еду сготовляла будто завсегда к празднику. Сеньку сажала за стол раньше мужа. Хмельной мастер, пересыпая насмешки руганью, поговаривал:

– Микитишна! Учинилось с тобой лихо, не выросло бы от лиха брюхо... хо, хо!

– А ты, козел, пей, ешь да молчи! Никто те указал вдовцу худому на молодой жениться, век чужой гробовой доской покрыть...

– А и сука ты! Сготовляешь пряжено ество да маслено – ну, а как же, от сих мест мне, старому, хмельного не испить? Изопью! Но уж постерегу я вас, лиходельники, да плеткой того, другого – раз, а кому и два.

Мастер пить стал больше, Сенька осмелел и едва замечал мастера, что он учитель и хозяин.

За пять недель Сенька в рост пошел, усы стали пробиваться.

Пора была недосушая, Секлетее Петровне стало времени мало – с раннего утра уходила в церковь, а там на торг – послушать, что народ говорит, и не дале как вчера провожала по Ярославской дороге протопопа Казанского собора Аввакума. Сенька по разговору знал, что был тот поп, который со стрельцами дрался. Еще мать Сенькина сказывала, как видела – у Николы Гостунского по Никонову слову ободрали митрополита, митру с него сорвали да в чернецкое платье одели и следом за Аввакумом тоже в колодках на телеге направили по той же дороге.

Сегодня вечером пришли тать с Петрухой не одни, а привели с собой хромого монаха, того, коего звали Анкудимом.

За ужином разговоры вели против прежнего – о царе, Никоне да боярах. Петруха брат сказал татью особо:

– Отец! Скоро ли, нет, того не ведаю, нарядят меня встречу патриарху<sup>23</sup>, едет из греков...

– С востока, чул и я, хозяева хорошие... за милостыней, спаси, сохрани, – будто у нас своих нищих мало...

– Не скоро, Петра, то дело, ведомо мне, он еще в Валахии<sup>24</sup>, да наша ростепель пойдет, борзо не поскачешь... гати дорожные размоет, где не хошь... удержишься...

Монах сидел рядом с Сенькой, погладил его по спине, в лицо заглянул, попивая из ковша пиво, ухмыльнулся:

– Судьба, должно, младый, идти тебе со мной к Иверской... Здесь, зрю, азам не научат.

– Пошто так, отец? – спросила монаха мать.

– А уж так, жено... по монашескому обету таково мне сказывать и ведать не гоже... а только как числился я в купцах, то оное познал на подручных моих... Бывало, очи от них отвел, а они к лиходельницам-бабам шасть!

Сенька видел, как мать поглядела на него долгим взором и губами пожевала, – утерла глаза, сказала монаху:

– В Иверской монастырь неладно, отец, он никонианской, кабы иной, где по старым книгам поют обедню... и учат тоже...

---

<sup>23</sup> ...нарядят меня встречу патриарху, едет из греков... – В 1655 году антиохийский патриарх Макарий приехал в Москву для участия в соборе по поводу исправления богослужебных книг.

<sup>24</sup> Валахия – часть современной Румынии.

– Богородице дево! Да по дороге отрочь-обитель... мимо пойдем к Нову-городу!...

– Вот и остойся ты, отец, бога доля в отрочь-обители, не порти парнишку никонианством! Грех моей душе... грех...

– Уведу, хозяйюшка хлебосольная. Тать засмеялся:

– Аль то будет чернец, а не стрелец? Хоша парень осьмнадцати годов не изошел, да в книгах приказной избы записан со всеми нами, семейно, – хватится об ем голова – худо на вороту! Мать заступилась:

– Сам ведаешь, Лазарь Палыч, рано ему в стрельцы, поспеет намотаться.

– Рано, конечно... шесть на десять, а поручимся с Петрой, мушкет дадут, вишь, в рост малого потянуло...

– Истинно рано, жено, младому во стрельцах быть... два года, а в теи года в монастыре легонько постигнет грамоту. Здесь же он ее постигает не верхом, вишь низом.

Сеньке хотелось уйти из дому от молитвы маткиной, от грамоты и мастерихи, которая его совсем охапила, как мужа. Тать, тот думал свое и говорил упрямо:

– Эх, отец Анкудим! Как зазнался Никон, давно ли в Новгороде молебны пел, нынче же родовитых бояр в приказе стоя держит, сести не указывает им.

– Не пойму я патриарха! Нас, монасей, от бояр и боярских детей не боронит, а над боярами властвует... Тут не далеко время был я в старцах в Щапове селе досмотреть патриарши борти, пчелы и мед... Там меня гонял пьяной сын боярской, чуть саблей не посека, большую ногу мне извредил, а Никону патриарху я челобитье подал – меня же и обвинили: «Сам-де с озорником бражничал!»

– Сломают ужо Никону рога бояре – вот мое слово.

– Сломают, Лазарь Палыч! В памятях того не держу, чтоб боярин кому обиду спущал...

Скоро все разошлись спать. Отец с Петрухой вверх, монах уклался внизу. Сенька тоже хотел идти в повалушу. Мать заставила с ней молиться дольше, чем всегда, а потом со свечой в руке подступила к Сеньке:

– Сдень рубаху!

Сенька покорно содрал с плеч рубаху.

– Скидай портки!

– Студно мне, мамо!

– Чай я тебе мать – не чужая, скидай.

Сенька неохотно обнажил себя. Мать оглядела его и плюнула, крестясь:

– Оболокись! Сказывай, блудом грешишь? С мастерихой?

– Мне студно, да она виснет...

– То и есть! Поди спать в подклет, буде на перине, поспи на голом полу.

– Там крысы, мамо, боюсь!

– Женок бесстыжих не боишься, твари, гнуса спужался, – подь!

Сенька покорился, пошел спать в подклет. Туда ставили кринки с молоком да на стене вешали всякую рухлядь.

Мать старательно заперла дверь подклета за Сенькой, положила в крюки три железных поперечных замета и замком замкнула.

Сенька боялся крыс, ему казалось, что сонному они объедят нос и уши. Он решил не спать, сел на холодный пол, прислонясь лопатками спины к стене. Спать ему давно хотелось, брала дремота. В дреме он помышлял о своем бумажнике<sup>25</sup> и подушке. Крысы, как стихло все, завозились близко. Сенька вскочил, крысы исчезли. Когда вскочил Сенька, то уткнулся в дверь, он плечом налег на нее, дверь крякнула.

– Ага! – Он навалился грудью. Она еще как будто подалась, и снаружи ее задрезжали заметы.

Тогда Сенька ударил по двери обоими не по годам тяжелыми кулаками, а дверь

---

<sup>25</sup> *Бумажник* – матрац, набитый хлопчатой бумагой.

трещала, звенела, но не пускала его. Крысы смело шныряли у Сеньки под ногами. Он в ужасе присел и фыркнул:

– Ффы-шт, беси!

Крысы отбежали, но возились в дальнем углу.

– Да, черт же ты, матка!

Сенька ударил еще раз по двери кулаками, послушал – никто не шел выпустить его. Тогда он изо всей силы навалился на дверь и слышал: затрещали дубовые стойки, еще налег покрепче – ага! – стало заметно, что крючья и пробои подались из гнезд, образовалась щель, но рука не пролезала, тогда он снова навалился на дверь до боли в грудях и просунул руку наружу.

– Ага!

Нащупал замок, железо не гнулось, он понатужился, сломал у замка дужку – замок выдернул, бросил, а погода немного, ощупав, отодвинул заметы, иные снял с крючьев и, распахнув дверь, вышел.

– Черт! Спать охота... – И тут же недалеко от подклета кинулся на сенник, положенный для казачихи-девки<sup>26</sup> на двух кованых сундуках, заснул, но рано утром слышал шаги и голос матери Секлетеи Петровны:

– Да, Лазарь! Испортит вконец лиходельница-мастериха парня!

Тать, видимо, торопился в караул:

– Эх, ты, Петровна! Мала охота спущать парня в монастырь... Не в попы идти, станет стрельцом, азам обыкнет...

– А нет уж, Лазарь Палыч! Бабник стал, того дозналась, а там и бражник будет, то близко стоит.

– Поздаю я с твоей говорей... пождала бы моей неделанной недели<sup>27</sup>, тогда я отвез бы их, хоть за монастырь Троице-Сергия... не близок путь пеше идти... Ну, коли стоишь на своем, то гостю Анкудиму накажи определить куда ладнее и доле осмнадцати лет чтоб не держали парня... Подумаем, что будет...

– То и будет, Лазарь! Услать парня надо – беда на воротах. Заперли в подклет, а он, глянь-ко, двери выломал...

– Будет сила в малом! В меня уродился. Тать ушел.

Матка без доуки за то, что ушел из подклета, разбудила Сеньку.

– Здынься, сынок! Умойся, помолись.

Сенька послушался, он уж давно не спал. Когда, умытый, вышел, монах у стола допивал остатки пива в жбане. Видно, матка до его прихода говорила с монахом.

– Так ты его, отец, не покинь, доведешь – перво грамоте чтоб обучили, а иное делал бы, что на потребу обители.

– Перво дело – обучим... это уж, спаси, спасе, завсегда так.

– По старинным обителям, отче, много поди праведников обитает?

– Есть и такие, мати, не столь праведные, но бессребреники и постники великие есть!

Сенька спросил:

– А ты, старче, скажи – монахи бражники в монастырях есть?

– Сам узришь, спаси, сохрани, будешь в обители – узришь. Тебе сие пошто?

– Да вишь – на Варварском крестце, когда я к мастеру ходил учебы для, сидели монахи и завсе хмельные... иные дрались тамо.

– Да замолчи ты! – вскинулась мать. – Вот мне, за грехи, видно, уродилось детище.

– Зело пытливого ум! – сказал монах, мокрая его борода зашевелилась, и, растопыривая грязные персты, он продолжал: – Жено богобойная! Изрек младый истину... Сам великий

---

<sup>26</sup> *Казачиха-девка* – работница, служащая по найму.

<sup>27</sup> *Неделанная неделя* – свободная от караульной службы.

государь писал к строителям и игумнам, а паче митрополитам, «что многие монахи, сидя на крестцах улиц, побираютца, меняют с себя чернецкое рухло на озям мужичий, едят скоромное, не разбирая дён, и по кабакам бражничают». Человек, жено, зело грешен, и ризы монашеские не укрывают греха, а споспешествуют ему... Един бог без греха... един, и силы бесплотные...

– Ну вот, отец Анкудим! Я малому в путь собрала суму, в суме той портки, рубаха и убрусец лик опрати... веду его чисто, и чистым он придет к обители. Да тебе вот рупь серебряной – Иисусу на свечку и иным угодникам о здравии нашем. Теперь же благослови, отче!

Монах покрестил матку двуперстно. Она Сеньку поцеловала и тоже покрестила, после креста сунула Сеньке за пазуху кису малую с деньгами.

Когда уходили, мать с крыльца кричала Анкудиму:.

– Будешь на Москве, отец, не ходи на подворье, там построй идет, гости к нам и о малом моем весть дай-й!

– Чую, жено! Да мы еще не борзо оставим град сей... – проворчал монах.

Вместо Дмитровской дороги монах пошел на Серпуховскую, а там на Коломенскую, потом стали они колесить без дорог, спали на постоялых да кое-где. Сеньке надоело, он спросил Анкудима:

– Старче, чего ты ищешь?

– Отрок! Ищу я спасения в забвении, не все, вишь, кабаки монашескому чину приличествуют.

– Так вот те кабак!

– Непристойный он, то царев кабак!

– Зри дале – може, вон тот?

– Не наш... Были, вишь, в одном месте да перешли... а по тем путям наши кабаки, должно, дошли, и вывели кабацкие головы<sup>28</sup>, вот эво, то будто и наш!

Анкудим повернул круто с дороги к старинному дому, вросшему в землю.

– Этот, спаси, спасе, кажется, с приметой... – разговаривая, подошел к дому, постучал в ставень закрытого окна, воззвал громко: «Сыне божий, помилуй нас!»

– Идут – наш, не идут – не наш!

Сенька слышал далекие шаги, потом заскрипел замок в калитке ворот, над которыми ютилась облезлая, черная, с пестрым ликом икона.

– Аминь! Шествуй, отче, да пошто не один?

– Отрок сей – мой спутник к обители.

Они вошли во двор, потом спустились в подвал по гнилой лестнице.

– Эки хоромы древни, спаси тя, выбрал, Миколай! В прежнем месте было краше, – ворчал монах, волоча хромую ногу. – В кои веки на козле палач пересек кнутом жилу, маюсь... да еще неладной боярской сын погонял, извредил ступь, ты не спешно иди, мне тут незнакомо...

– Ништо, под ногой плотно! Из старого места целовальники выжили – бежал... да и то, в древних тепла боле, а свет тому пошто, хто зрит свет истинный?

– Праведник ты, спаси, спасе...

Узким, вонючим от ближней ямы захода<sup>29</sup> коридором с тусклым светом фонаря прошли в сени, из сеней, нагибаясь в осевшей двери, в избу с лавками и русской курной печью.

В обширной избе с высоким, черным от курной печи потолком для хозяев прируб, там

---

<sup>28</sup> ...наши кабаки... вывели кабацкие головы... – Кабацкие головы и целовальники ведали казенными кабаками и преследовали содержание тайных кабаков.

<sup>29</sup> Заход – отхожее место.

они вино курили, а под полом в ямах хоронили брагу и мед – мед держали на случай, если объявится такой питух, кто водки или браги пить не станет, тогда, как на кружечном дворе, отколупывали кусок меду, клали в ендову и разводили водкой.

При огне сальных огарков, еще плошки глиняной с жиром, дававшей вонючий свет, за длинным столом Сенька увидел троих питухов да двух женок. Одна – молодая, похожая на мастерицу, румяная, другая – с желтым лицом и ртом поджатым, в морщинах.

Анкудим сел на скамью к питухам.

– Благословенна трапеза сия – мир вам!

– Кто ты, не зрю, да будь гостем! – прохрипел один питух, сисясь, руками упершись в стол, поднять согнутые плечи и голову.

– Вкушаем – то мирны бываем! – сказал другой, плешатый, питух.

Третий, сутуловатый, широкоплечий, похожий ростом и туловом на него, Сеньку, молчал, только потрянул темно-русыми кудрями. Анкудим как уселся, так и сказал хозяину громко:

– А ну, спаси, спасе, лейте нам в чары хмельного! Да чуй, хозяин хлебосольный, лей мед в одну чару, а водку в другу – мой отрок не вкушает горького...

– Подсластим, обыкнет! – мрачным голосом изрекла худая женка.

Молодая встала со скамьи, шатко подошла к Сеньке. Он, ошеломленный непривычным видом притона, стоял и не садился. Кабацкая женка накинула ему на шею руку, пахнущую чесноком и водкой, вползла на скамью рядом с монахом, хотела Сеньку посадить силой, но он мотнул головой, и вся скамья с питухами зашаталась.

– Тпрр-у! Экой конь... садись, младший... базенькой. Сенька, подвинув ее, сел рядом с Анкудимом. Молодая женка хмельным голосом затянула:

Подарю тебе сережки зеньчужные  
Да иные, золотые с перекрутинкою.

Другая мрачным голосом подхватила:

Дашка с парнем соглашалась,  
Ночевать в гостях осталась!

Сенька все еще не оправился, притихнув, слушал песню. Молодая задорнее прежнего выпевала:

Ей немного тут спалоси,  
Много виделоси!...

Опять с хриплым горловым присвистом пристала пожилая:

Милый с горенки во горенку похаживает,  
Парень к Дашиной кровати приворачивает...

Молодая, обхватив талию Сеньки, стараясь покрыть говор кругом, выкрикивала:  
Шелковое одеялышко в ногах стоптал. Рубашонку мелкотравчату в клубок скатал...

– Эй, женки! Паси, сохрани – не надо похабного.

– А ты, чернечек, чуй дальше!

Тонка жердочка гнетца, не ломитца,  
Со милым дружкой живетца, не стошнитца!

Дальше Сенька не слушал, подали на стол разведенный водкой мед. Из кувшина

Анкудим налил две оловянные чашки.

– А ну, младый! Паси, богородице, хотел я горького, дали сладкого, приникни – горького в миру тьмы тем...

Сенька отодвинул свою чашку, его дома берегли от пьянства:

– Не обык!

Плешатый питух через стол крикнул:

– Ой старячище-каличище! Младый стал молодшим, аль не зришь? Перво дай ему, чтоб большим быть, испить табаку! – Обратясь к питуху с темными кудрями, прибавил осклабясь:

– Эй, Тимошка, царев сын<sup>30</sup>! Дай им рог.

Молчаливый питух сдвинул брови, ответил тихо:

– Чую и ведаю, плешатый бес, тебе раньше меня висеть на дыбе. «Слова государева» не долго ждать...

– Умолкаю – дай им рог!

Рог с табаком Тимошка разжег трутом, дал Анкудиму. Сенька видал, как тайно от матки Петруха с татем пили табак<sup>31</sup>, ему давно хотелось того же.

– Може, спаси, сохрани, такое занятно? Я так не бажу оного и меду изопью... Кису, кою мать сунула тебе в дорогу, дай мне – за твой постой с хозяевами сочтемся, отдача – в монастыре, не сгинет за Анкудимом.

Сенька отдал монаху кису с деньгами, рог с табаком взял, сунул в рот. Рог бычий – на верхнем конце его дымилась трубка, в середине рога, когда Сенька тянул дым в себя, хлюпала вода. Он потянул раз и два... подождал и еще потянул столько же, закашлялся и сплюнул густую слюну:

– Горько!

– Паси, спасе! Да испей меду.

Сенька выпил чашку меду и снова уже охотнее начал тянуть табак. Анкудим налил ему еще меду.

– Житие наше слаще андельского, да вишь краток век человечесий...

После тошнотворно горького табаку Сенька без просьбы охотно выпил свою чашку меду, а когда Анкудим наполнил чашку, он и третью выпил.

После выпитого меду стрелецкий сын почувствовал в груди что-то большое, смелое и драчливое. Ему хотелось, чтоб женки играли песни, тогда и он пристанет, а если помешают им играть, так Сенька похватает из-за стола питухов и будет их бить головами в стену. Чтоб ему не сделать чего худого, Сенька съежился, подтянул под скамью ноги и крепко зажал рог с табаком в широкой ладони.

– Питух не мне – Анкудиму дал рог, пушай-ко отымет! Но кудрявый питух не подходил к Сеньке и рог обратно не просил.

Пьяная женка, рядом сидя, не унималась, тянула к себе и что-то не то наговаривала, не то напевала.

– Чего она виснет? А ну! – Сенька встал. Когда разогнул ноги, всунутые под скамью, то монах и женка свалились со скамьи, а кудреватый питух пересел на лавку. Он сказал, Сенька слышал:

– И молод, да ядрен!

Стрелецкий сын пошел в избу. На широких лавках лежали грязные бумажники, Сенька подошел, лег на лавку, уронив длинную руку с лавки на пол, не желая, разбил рог, черепки его тут же кинул, а липкое с ладони растер на груди.

---

<sup>30</sup> *Тимошка, царев сын.* – Отдаленным прототипом образа Сенькиного наставника Тимошки-Таисия, А. Чапыгину послужил беглый подьячий Тимошка Анкудимов, выдававший себя за сына Василия Шуйского. Казнен в 1654 г.

<sup>31</sup> *Пить табак* – курить через воду, в рог наливалась вода, конец трубки был сверху.

– Эх, табак уж не можно пить?! – он это громко сказал и плюнул. Женки, обе пьяно ворочаясь над ним, тянули на пол. На полу к ночи раскладывали в ряд несколько бумажников. Как от мух, Сенька отмахнулся от женок.

– Ой, мерин! Молодая уговаривала его:

– Базенький! Для леготы ляжь, ляжь для леготы... скатишься с лавки...

Он перелег. Холодный бумажник на полу жег его, и чувствовал Сенька, как рядом подвалилась молодая женка, обняла, руки ее стали по нем шарить.

– Бес! Задушу – уйди!

Голос у него был не свой, женка отодвинулась. Сенька думал одно и то же:

«Анкудим – сатана! Замест монастыря эво куда утянул! Маткин рупь на свечи – пропил, кису из пазухи взял, деньги тож... куда дел?»

Сеньку не зашибло беспамятством, ему показалось только, что он слышит каждое слово и каждый шорох. Теперь Сенька прислушивался, зажмуря глаза, о чем говорят. Анкудим спорил с питухами:

– Патриарх Никон все чести для своей деет, паси, спасе, а ежели кой монастырь возлюбит, то и украшает... нече лихо сказать...

– Чужим красит...

– Спуста молвишь – чужим... Все, что на Руси, – свое, не чужое, спаси, сохрани...

– Да ты, чул я, чернец из Иверского?

– Иверского Богородицкого Святозерского монастыря... чо те?

– Мне зор застишь – хвалишь?

– Правду реку – спаси, спасе...

– Откеле Никон икону ту Иверскую уволок – с Афона горы?<sup>32</sup>

– А и добро, что перевез! Списали икону, перевезли к нам... изукрасили лалами...

– А еще... пошто мощи митрополита Филиппа<sup>33</sup> потревожил? Уволок из Зосимовой обители.

– Не место ему в Соловках... Святитель был он бояр Колычевых, на родину в Москву перевезли.

– Ладны вы, старцы Иверского! Многие вотчины загребли под себя – мужик от вас волком воет...

– Спаси, спасе-мужик везде воет, та и есте доля мужицкая... Мы зато всякого пригреваем не пытаючи... грамотеев ежели, так выше всего превозносим...

«Ишь, сатана, бес», – подумал Сенька. Питух не унимался.

– Чул, чул – разбойников укрываете!

– Спаси, сохрани – разбойник человеком был в миру, а нынче, я чай, на соляных варницах робит в Русе.

Сенька услышал голос питуха Тимошки, кой дал ему рог с табаком:

– Впрям, чернец, у вас всем дают жильё?

– Дают и не пытаются, хто таков, ежели работной, а пуще коли грамотной... Воевода не вяжется к нам... у нас свои суды-порядки, стрельцы свои и дети боярские тож.

– А патриарх бывает почасту?...

– Как же, как же, книги в монастыре печатают – назрит сам.

– Так, а ежели меня бы с собой взяли? Я грамотной...

---

<sup>32</sup> *Афон* – полуостров в Восточной Греции, где расположена гора Афон (по-гречески «Святая гора»). Место паломничества православных с X века, когда там стали основываться монастыри, в том числе и русский – Ксилгуру (начало XI в.).

<sup>33</sup> *...пошто мощи митрополита Филиппа потревожил?* – Гробница митрополита Московского и всея Руси Филиппа – в миру – Федора Степановича Колычева (1507—1569) – была перевезена из Соловецкого монастыря в Успенский собор Кремля по настоянию Никона в 1651 г. Колычевы происходили из рода Романовых, так что здесь виден расчет Никона, добивавшегося расположения Алексея Михайловича.

– Нет, уж ты иди один... ждать долго, спаси, сохрани, мы еще тут побродим...

– Та-ак...

– А вот как, спаси, плоть немощна, подтекает... надо убрести в заход – э-э-к, огруз!  
Сенька слышал, как спороватый питух остановил Анкудима.

– Ты изъясни, чернец, пошто Никон назрит свое – чужое зорит?

– Про што пытаешь?

– Я о святынях!

Анкудим, было поднявшийся, снова сел.

– Не нам сие уразуметь, спаси, сохрани... Да зорит ли? Поелику украшает.

Сенька, мотнувшись, встал, пошел в сени, нашарил дверь в коридор, ощупывая ногами землю, прошел к яме захода. Когда миновала надобность, уходя, сломал перед ямой жерди.

– Забредет, сатана... маткин рупь будет помнить!

Монах шел по сеням навстрет, обняв, узнал Сеньку, погладил его и свернул от слабого света фонаря во тьму к яме.

Сенька вернулся. Лег, хотел слушать, а стал дремать. Сквозь дрему слышал, как в прирубе всполошились хозяева, кто-то пришел за ними, они, хлопая дверьми, ушли, потом оба вернулись. Хозяйка охала, хозяин матюгался. В избе притащенное ими воняло и булькало... Сеньке хотелось поглядеть, но глаза смыкались... Он слышал еще голос женки:

– Ой, хозяин! Кто это у ямы жерди изломил? Чуть не утоп чернец Анкудим...

– Должно, погнили жердины, надо чаще менять.

После этого слышанного Сенька заснул каменным сном, ночью с груди он отталкивал тяжелое, и губы жгло, как огнем. Снилось ему мастерица. Проснулся – в избе темно, лишь одно выдвижное оконце светит – отодвинули ставень. В избу дуло утренним. Из избы уходили питейные вонь. Близко где-то московским звоном звонили к ранней, да у дороги на Дмитров за окнами он слышал голоса нищих: «Ради господи и великого государя милостыньку, кре-е-щенные!»

Светало больше. Питухов, кроме Анкудима и женок, в избе не было. Молодая женка сидела на лавке у его изголовья, балуя ногами, закидывала ногу за ногу – глядела на него. Сенька отвернулся. Старая ела у стола и не успела дожевать, как в избу заскочил солдат<sup>34</sup> в сермяжной епанче, без запояски. Молча кинулся на старую женку, сволок ее за волосья, опрокинув скамью, распластал на полу и начал бабу пинать, она взывала, будто волчица, заляскала зубами.

Из прируба вышел хозяин с рубцом под правым глазом, левый был тусклый, сказал солдату:

– Ты ба, служилой, в избе бой не чинил, неравно убьешь, волок ба за ворота!

Солдат замахнулся на хозяина:

– У, ты! Гукну вот своему полковнику немчину, тоды тебе правез, а шинок поганой опечатают...

– Бей, коли! Ты в ответе...

Солдат за волосья уволок женку на двор. Сенька слышал, как он выкрикивал:

– Убью! Рухло по кабакам зоришь, робяты голы!

Баба выла и затихла. Хозяин стоял, не то слушал, не то в окно глядел. Из прируба вышла хозяйка, подошла к мужу.

– Солдату отпусти хмельного... денег сунь, а то наведет расправу – хоронись тогды в ино место. Слы-ы-шь?

– Чую – не толкуй... пуцай угомонится. – Хозяин скрылся из избы. Анкудим вышел из прируба с кувшином, в сермяжном озяме, сел к столу допивать мед. Его одежда, вымытая от навоза, висела над черным устьем печи на ухватах – рубаха, ряса и скуфья. Наливая в чашку

---

<sup>34</sup> *Солдат.* – Солдатские полки были созданы при Михаиле Федоровиче по образцу западноевропейских войск. Офицерами нередко служили наемные иностранцы.



оловянную мед, Анкудим говорил:

– Спаси, спасе, все исходит к ладному концу! Быть бы в пути нынче, да грех лег у порога храмины сей... хозяева же зело хлебосольны...

Молодая женка пристала к Анкудиму с говором:

– Чуешь, чернечик, как увечно бьют бабу? Вот она, доля паша... Сунусь домой, и мне против того тое терпеть.

– Бражничал да мылся – и всю ночь очей не сомкнул, спаси... а зрел zde и не дале окаянство твое, лиходельница, как ты, будто бес, спутника мово блазнила. Срам твой зрел... учить тебя пуще той надо – бить!

– А пошто он кудряш? А пошто базенькой? Такому от баб покою не будет... Чуй, отец, примите меня с собой – убреду хоть на край света...

– Богородице, храни... дале врат монастырских не убредешь!

– Отец, ты молодшего спусти, монахом не будет, – ведаю крепко.

– Оле-о! И мать его сыщет с меня, коли проведает... От греха угнала, а я, недостойный, навел на худчий...

– Не лгу, отец! Спусти со мной молодшего, а я в холопки продамся, его же буду питать и обряжать.

– Запри гортань, блудница! Спаси, спасе, сказываешь такое с глупа ребячьего разума, – закону о себе не ведаешь! Перво – куда бы ты ни утекла, муж сыщет, привяжется, господарь, у которого муж в холопех, тоже, и тебя со стыдом и боем домой оборотят. Едина твоя бабья доля – у мужа в руках аль в монастыре в черницах, иного пути не ищи!

После слов монаха Сенька видел, что бабу как бес с лавки толкнул, она зачала плясать по избе да кричать:

– А я в гулящие бабы пойду! А я нищей стану у церкви! Анкудим ей строго прибавил:

– И закон тебе тогда будет как собаке – плеть да обух! – и закрестился, читая молитву: «Грех мой пред тобой есть, выну...»

По всем путям серпуховским, коломенским и другим ходил Анкудим, отыскивая тайные кабаки. Прихрамывая, принимался, как пес, но изошли все деньги, тогда он с последнего ночного постоя однозначно повернул в Новгородский уезд.

Когда Сенька спрашивал монаха:

– Пошто Анкудим так поспешает? Монах обмолвился:

– Деньги пропиты... по полям ветер, волци да лихие люди... а пуще того, ежели ввечеру, то поспешать надо; из Богородского села на остров к ночи лаву разберут... Добро спать в келий, да и монаси имутся, яко Митрофаный, хмельного добудем...

Когда ночевали в монастыре, то Сенька от монахов проведал, что самый большой в нем грамотей – некий недавно постриженный Тимошка, при постриге названный Таисием, к нему и архимандрит с письмами ходит, ежели надо дать кому отписку. Монахов Таисий тоже учит проповедническому складу, в печатном деле он же назрит правильное титло в новопечатных книгах и в правке книг с греческого понимает борзо.

Сеньку в монастыре сдали на послушание. Парень матерый, что ни день – в рост идет, а грамоте не обучен. Святейший монасей тупых грамотой не любит. Анкудим по уговору с Сенькой – «что быто, то забыто» – решил ему выговорить почет и известил монастырское главенство: «Приведенный мной отрок не смердяго рода и не мещанина тяглого сын, сын он стрелецкий, отец его при государе стоит – Стремянного полка ездовой».

Решено было отдать новца Таисию в послушание и поучение.

Сенька признал в Таисий того молчаливого питуха, коего кто-то в тайном кабаке назвал царским сыном.

Таисий, взглянув на Сеньку, усмехнулся, сказал поучительно и складно, благо послухов кругом не было, были они одни в келье:

– Как стояли мы по запретному делу на тайном кабаке и за тайное питие, кабы нас уловил караул, сошлось бы платить кабацкому голове полтину, а воеводе, по уложению, приучилось бы ставить спину нашу под батоги. Мы же утекли добром, так видно, брат

Семен, и нынче против того суждено нам, как брат брату, делать заедино по-тонку, ибо монаси – царские богомольцы, в миру они те же кабацкие головы.

– Мне чего желать, брат Таисий? Я, коли гожусь делать что для тебя по-тонку, туда и иду!

– Вот так-аминь!

– Грамоте, вишь, не обучен и по-тонку делать мало годен.

– Грамота – дело великое... и ежели ты будешь всюду идти за мной, то грамоте обучу, зачнешь борзо чести. Идем!

По дороге в монастырское книгохранилище Сенька говорил:

– Был я, брат Таисий, у мастера, да он завсегда хмелен – учил худо по букварю...

– Нам букварь не надобен! – Таисий повозился мало с грудой книг и выволок одну, Сеньке показалось – самую толстую.

– Вот зри! Аз, буки, веди, глаголь, добро. – Таисий перекидывал тяжелые листы и снова возвращался на прежние. – Спервоначалу зачнем складывать – аз, буква первая, но ты ее переставь на любое место, вот буки впереди: будет ба, буки аз – ба! Веди впереди будет: веди аз – ва. Буквы не стоят на одном месте, и ты их переставляй – вот еще: добро и аз – будет да!

– Это вразумительно и легко.

– Что понял, то и легко. Запомни на глаз: аз буква – домик с поперечиной, добро – домик на ножках, глаголь – едино что кочерга вверх крюком, иже – две палки стоячи, поперечиной наискось связаны, наш – буква, как иже, только, зри, поперечина едино, что кушак по кафтану, прямая, и одна палка с круглой шапкой наверху. Мыслете – два домика рядом. Нынче возьмем мыслете и аз, будет – ма, еще рядом поставим против того же мыслете и аз – будет мама.

– Ой, и ладно же!

– Теперь закорючка петлей вниз с палкой за ней – будет еры, а без палки – ерь.

Потом новый учитель показал Сеньке титлы и счисление до десяти, объяснил, что аз – один, буки – не числится<sup>35</sup>, а веди – два, глаголь – три, добро – четыре, есть – пять!

Ежедень ходили они в книгохранилище. Время шло скоро, и Сенька неожиданно для себя оказался способным чести книги, он замечал, что с каждым днем узнает новое... Сразу не далась ему только, грамматика и просодия, но и тут он приналег изрядно, стал понимать. Одного лишь понять не мог и думал: «Да как же так? Мастер годы учит ребят, бьет их, пугает, а Таисий обучил шутя, будто играл песни, по книге».

Поучившись, шли они в монастырскую трапезную, где Таисий посреди трапезной на тот день читал жития святых. За столами обедали розно: за одним – монахи, за другим – бельцы и миряне. Сеньку Таисий оставил у себя в келье. По ночам после службы тайно пили из рога табак, а дым пускали в печную трубу. Таисий, поучая Сеньку, рассказывал ему о своих бегах за рубеж.

Бывал он в Литве и у турчина. Мало-помалу уяснил Сенька, что его учитель пуще всего хочет собрать денег сколь можно больше и даже верит в клады, схороненные в старых могилах. В заговоры, разрыв– и плакун-траву не верит.

– Пошто много денег? – любопытствовал Сенька.

– Деньгами, брат Семен, можно откупиться от воеводы и палача. Дьяков да подьячих купить еще легче. Это завсегда помни!

К чтению Сенька так пристрастился, что после службы стал прятаться на полати собора, где без приберега лежали многие книги. Монахи, бражники кои были, те стали подшучивать над Сенькой, а тот монах, именем Илья, который в Иверской заведовал ключами соборов, даже лял Сеньку не единожды. Таисий, прознав это, упросил настоятеля,

---

<sup>35</sup> ...буки – не числится... – В древнерусской азбуке числа обозначались буквами, но буква Б не имела числового значения.

чтоб послушнику его Семену не поперечили ничем быть книгочием. Когда же проверил Сеньку по всем правилам чтения, то поставил вместо себя читать за обедом в трапезной. Таисий так же успешно обучил Сеньку письму.

Анкудиму, спутнику Сеньки в Иверский Святозерский, от правил монастырских стало скучно, он уговорил власти монастырские пустить его в Москву.

Монахи с Анкудимом к святейшему<sup>36</sup> послали челобитьецо малое: «Пожалуй нас, великий государь, святейший патриарх, угодьями, кои лежат впусе круг Валдай-озера».

Анкудим сказал Сеньке:

– В Москве буду, твоих навещу, кому иному, а матери дай отписку и благословение испроси!

Сенька, чтоб порадовать матушку Секлетею, написал ей письмецо в трапезной в присутствии двух-трех монахов как послухов над письменностью послушника.

В кельях, по правилам монастырским, чернил, перьев держать не разрешалось.

В ночь, когда отошел из Иверского Анкудим, лежа на постелях, Таисий поучал, как всегда, Сенька слушал:

– Отсюда уйду, только, брат Семен, я тебя еще с тайного кабака приметил и полюбил. Тебе тоже с чернцами быть не след – уходи и ты за мной, мало медля. Мир дуракам широк, умным узок он – встремемся в миру и будем заедино.

– Я тебя тоже люблю, брат Таисий.

– Запомни, брат: в миру, о коем я чел многие книги, нет святости.

– А чудотворные иконы?

– Чудотворные или иные иконы рук иконников, ученых тому, и монахов изловчение, да еще вера ослепленных попами людей. С чудотворными деется тако: старцы юрода изберут, угрожат ему узилищем альбо денег дадут и указуют: «Делись!», «Прорицай!». Народ же, узрев дивное и признав святость в юроде, течет толпами к монастырю, несет деньги. Помирая, иной вклады деет на помин души. Царь и бояре тож за монахов стоят и им поблажки деют на тот случай мног, и в уложении царевом роспись есть – сколь платить церковнику, ежели обидишь его: за обиду патриарха и голову секут. Как брату своему, тебе открою ныне, что втай держу. Замыслил я царем стать. Внимай: был такой малоумный царь Федор, Грозного царя Ивана сын, рождена от него едина дщерь, да и та скоро кончилась. Я, как время тому изошло немалое, назовусь сыном того царя... ежели по летоисчислению сын Федора царя и много старее меня был бы, но кому стукнет в голову оно исчислять? Был уж один самозванец, сыном Федора звался, – это после Гришки Отрепьева, но дьяк иной, может, и ведает такое по книгам, да народ дьяку не верит. Бояра к летоисчислению и летописанию тупы и безграмотны, да и боярам народ не верит. Верит народ истцу да удалому молодцу! Так как время то было до Никоновой правки служебных книг, я, где прилучится, буду сказывать о старой вере, а старая вера живет крепко в польской Украине<sup>37</sup>, среди казаков и запорожцев... думку мою, как душу свою, храни крепко.

– Верь мне, брат Таисий...

– И вот, посмекаю денег – кинусь в Запорожье, хохлачи не единого самозванца к Москве выводили и царем звали и чести ему требовали... при хабаре добром и я царем стану...

– Ой, страшно так-то, брат!

– Что мне бояться? Голову потерять не страшно, так что ее и без того потерять ежечасно можно... Хабар изломится – удачи не будет, сбегу в Литву, ляцкий язык свычен

---

<sup>36</sup> *Святейший* – титул патриарха.

<sup>37</sup> *Польская Украина* – в Московском государстве Польской Украиной называли южную, степную окраину (от слова «поле» – степь) государства. Автор же имеет в виду Украину, находившуюся до воссоединения с Россией (1654) под властью Польши.

мне... не впусте нынче трудился над польской книгой, кою прислал в монастырь патриарх, требуя переложить ее на наш язык. Там, коли что, утеку в турчину, проберусь в индийское царство – за рубежом дорога широкая... Денег надо поболее.

Таисий сорвался с одра, кинулся к двери и, осторожно приоткрыв ее, выглянул в коридор. Ложась обратно, сказал:

– Почуялось, будто кой раб у двери стоит.

– Мне слышалось тоже, – ответил Сенька.

– Одно дело сорудуем на днях, а дело такое – для ради денег, – деньгами легко купить кого мне надо, и везде тебе ворота отперты – разрыв-трава – это деньги! Перво дело, мыслил я, до казны монастырской досягнуть, но то нам несручно, крепко берегут ее старцы посменно. Нынче иное; сыскал чертеж церквам: старой деревянной и каменной, коя еще строится. В том чертеже каждый угол и столб мне ведомы... В деревянной Иверская пядница в церковь положена при освящении, на ей риза золотная, дробницы звездами по венцу. Противу того, как риза у образа цата с большим камением<sup>38</sup>. Еще имется Иверская Афонская, и та икона с царем на войну пошла. Но с богородицей после – перво дело подсоби мне – залезем под паперть, под полом ухоронен корыстной чернице Нифонт.

– Но, брат Таисий, плита Нифонта у алтариков на паперти, меж столбов, – я не единожды чел то рукописание по камени.

– Пожди, брат Семен, и чуй – старец тот был казначеем во многих киновиях и строителем церковным был же. Денег имал, ведомо мне, тьмы-тем, ложен в колоду в праздничном клобуке, серебром шитом. Мекал я, в том клобуке его деньги, родни не знал, монахов таился, монастырю и на помин души пулы<sup>39</sup> медной не дал... Плита на паперти, кою зришь ты, чести для его и памяти. Керста Нифонта под полом в каменном гнезде, под плитой многопудовой. Перед смертью ему ее соорудили каменщики, иные от них нынче новую церковь устрояют... По-тонку я тех каменщиков допрашивал и все познал...

Прошло немало времени. Сенька, уставая на монастырских работах, забыл разговор с учителем Таисием, но он, Таисий, видимо, от замысла не отступился, сказал перед сном:

– Сею ночью взбужу, брат...

Оба они лежали в тонком сне. Сенька смутно мечтал, Таисий выжидал поздних часов ночи. Позвал тихо:

– Бодрствуй, брат, – и не дал Сеньке надеть монастырские уляди, онучи указал окрутить вервью и сам был в онучах. Он прихватил с собой короткий лом, на конце лома, чтоб не бренчал, была намотана перщата. Подошли к паперти темного собора – в углу Таисий нагнулся и из фундамента, на котором лежало нижнее бревно, вынул с помощью Сеньки плиту. Под плитой оказалось отверстие. Когда Сенька вслед за Таисием пролез под паперть, в лицо его пахнуло смородом мертвых. Таисий раскинул полы подрясника, под полой был скрыт маленький слюдяной фонарь. Сквозь слюду тускло озарилось низкое подземелье. Между деревянными столбами, которые верхом своим доходили до сводов паперти, под полом было в ряд расположено три гробницы. Сеньке кинулась в глаза корявая надпись на серой плите: «Иеромонах смиренный Нифонт». Таисий молча указал рукой в деревянной потолок, оба они стояли недвижимо и слушали. Из собора еще не ушел соборный старец Илья, пришедший досмотреть негасимые лампы. Старец ушел и долго звенел ключами, сперва у дверей, потом по двору.

– Теперь орудуй, вот лом! Сдынь плиту. Сенька ответил:

– Не потребен лом – я руками, – понатужившись, приподнял многопудовый камень, потом повернул его боком...

Монахи, видимо, узнали, что кто-то ходил в усыпальнице под старым собором, и едва

---

<sup>38</sup> Цата с большим камением – венец внизу лика иконы с крупными драгоценными камнями.

<sup>39</sup> Пула – очень мелкая монета.

лишь окончилась служба, архимандрит Филофей с древним настоятелем Паисием пошли под собор, их сопровождали старцы-строители – патриарший Евфимий и монастырский Максим. Монахи не узнали, что решили у гробницы Нифонта власти, только гробница показалась им тронутой мало. Архимандрит распорядился пол в усыпальнице посыпать толченой известью. Все знали, что это «для следу». Ключи от усыпальницы вместе с ключами собора хранились у старца Ильи.

Кругом монастыря на острове, где собор и икона Иверской, залегали стена и город. Городом звались все кельи, житницы и башня, рубленая в шесть углов, печатная и малая с ней о бок квасоваренная. Трапеза и еще патриарша палата с кельями тоже патриаршими. Эти же кельи служили приказом. Стена прозывалась городской оттого, что на сажень с пядью была кладенная кирпичом и камнем, а сверху рубленая. В стене трое ворот – Пречистые находились против собора, лицом к лаве, что перекинута с острова в село Богородское, Кузнечные – против квасоваренной башни, и Водяные ворота стояли лицом и иконой к широкой стороне озера.

Зимой сквозь них ездили за водой. Летом через них же таскали воду на коромыслах,

В деревянной части стены у монахов, особенно старых и заслуженных, были кельи. В кельях – печи. Хотя в кельях стенных позволялось обитать только летом, но монахи запрещений не исполняли. Для келий были устроены заходы, а чтоб дух шел от заходов и не смородил, то заходы таковые поделаны были вверху стены, и к ним из-под Кузнечных ворот шли лестницы.

В стенной келье в три клетки любил жить сам наместник, древний Паисий, с келейником старцем Митрофанием. Митрофаний числился изрядным бражником, но так как наместник его неизреченно любил, то Митрофанию грех его прощался, а кроме того, и все старцы более или менее не прочь тянули от хмельного.

Заходы вверху стены кое-где погнили, благодать чрева в тех местах текла наружу, а потому и спасение от сморода вонючего верхотурьем мало достигалось.

Начальство монастырское приказывало чистить ямы под каменным фундаментом, чистились ямы исправно, да и это не спасало.

Сколь времени истекло после хождения под собор, Сенька не помнил. Учитель Таисий хотя и пугал его своими затеями, но власть над ним имел большую. Сегодня после всенощной Таисий тихо поучал:

– Брат Семен! Мыслил я тебя вапами<sup>40</sup> украсить под свой лик да на мало время учредить в чине своем диаконском, и думу ту кинул... а ну как ты сбился бы в службе, то и делу конец! Старцы уяснили бы все – я утек, а тебя замест меня пытать и судить – суд их немилостив... Крест на грудь да затеи бесовы... Но вот на днях дам тебе сткляницу хмельного... ты оную посуду старцу келейному Митрофанию тайно снесешь и не таись перед ним: «Кто дал питье?» – укажи на меня. Наместник его господин Паисий древний – в ночи его крепко сон одолевает и скорбен ухом – за дверями спит. Ты пожди, когда Митрофаний дар изопьет, то повадки его ведомы: позовет свести на городню, ты сведи Митрофания до захода. У захода лавица есть, на ней он уснет. Не мешкая, тогда шибись вниз, дрова, что у Кузнечных ворот, костры – запали, бересто сухое. К иным поленицам приткни огню, пасись, чтоб кто не углядел тебя. Время изберем глухое, позднее. Когда хорошо займется, ты побежи из кельи в нижних портах, ударь в набат. Я тем временем в соборе с пядницы Иверской посрываю узорочье. Покуда монахи тушат пожар да лаву соберут, из Богородского народ двинется на пожар. С народом я утеку, и ты цел будешь. Митрофаний прост умом, ежели его построже опросить, то все примет на себя.

Вскоре глубокой ночью монастырь загорелся. Пожар залили Богородского села мужики. В патриарши палаты, они же приказ, стали звать и опрашивать всех монахов, даже скитников с ближних островков вызвали, но один из всех не явился: книгочий, справщик

---

<sup>40</sup> *Вапами* – красками.

книг диакон Таисий.

Власти монастырские заволновались. Строитель Евфимий сказал архимандриту:

– Отец Филофей, оный монах пакостный был... не единожды за Таисием я доглядывал и слушал – вредно он научал своего послушника Семена...

Архимандрит еще указал позреть казну монастырскую.

– Казна цела! – ответил отец казначей.

– Не все цело в соборе! – К голосу монахов пристал и соборный старец Илья. Справились и нашли: на иконе Иверской пядницы срезаны золотые дробницы, украдена цата жемчужная с большим камением.

Архимандрит указал накрепко опросить всех старых монахов, а послушника Таисиева Сеньку, так как он молчал, велел кинуть в тюрьму. О пожаре патриарху Никону написать, об убытках от пожара все исчислить и договорить; о покраже с образа умолчать до времени... О поимке Таисия написать в Новгород воеводе князю Юрию Буйносову-Ростовскому.

На извещение о пожаре монастыря иверские власти получили от патриарха письмо и чли его после службы в соборе...

«Прошлого-де... сентября... в третьем часу ночи неведомо каким обычаем, на городе у вас меж житниц и квасоваренною башнею, у Кузнечных ворот, загорелися дрова – от дров город и кельи, которые были построены в городе – шесть келий сгорели. Да городу от тех келий выгорело четырнадцать сажен. Да нового городу выгорело сорок сажен, а от поваренной-де башни по Водяные ворота город и трапезу отстояли. Монастырская-де казна цела, только у братьи и на городе в летних чуланах немного погорело, а из нижних-де келий все выношено. От кого пожар учинился, и вы сыскать не могли. Только первым увидали на городе против чулана соборного старца Ильи горят дрова, и вы спрашивали келейников старцев с большим пристрастием и наместников-де, старец Митрофан повинился: „Как-то пожарное дело учинилось не нарочно“. И вы того иеродиакона Митрофана, заковав в железа, отдали за караул до нашего великого господина святейшего патриарха указу. Но ведомо да будет вам, старцы, что не тот виноват, кто для нужника с огнем ходит на сторону, а тот виноват, кто в городской стене строит кельи, чего нигде не водится.

С дьяконом как хотите правьте, а отныне в городской стене везде бы вам печи порушить и впредь в городской стене отнюдь бы жилья не было и на городню для нужника ходить не велеть!

Стыдно слышать, что стены городские вами огажены... Еще всяк служилой люд грозитя на вас за лихоимство! «Уже мы сильно собрався, иверских старцев порубим и монастырь весь разорим... от насильства иверских старцев житья не стало, многими-де нашими землями завладели. Полоненники-де бегают в Иверский монастырь, иверские старцы их постригают, а иных неведомо куда отпускают, только окромя-де Литвы некуда отпускать»...»

По прочтении письма старцы иверские задумались, подумав крепко, порешили:

– Цату, срезанную с богородицы, тайно справить – жемчуг есть запасной, а кой можно, неприметно и ободрать с меньших икон...

– Там был в середке лал доброй, такого лала не подберешь, – вставил свое слово отец казначей.

– И лал сыщем! Меньший, да сыщем.

– Митрофания слобонить надо, братие, – попросил соборный старец Илья.

– Паисий докучает по нем... надо расковать Митрофания! – указал архимандрит.

Про Сеньку никто из братии не упомянул, а Тимошку, или дьякона Таисия, умышленно не вспоминали.

Сенькина судьба становилась зловещей, как и многих других послушников, заточенных в монастырские погреба и навеки забытых. Чтоб изгладить память о пожаре и покраже соборной, старцы решили переменить игумена. Замест Филофея избрали архимандрита Дионисия, а в управление монастырем поставили в замену древнего Паисия – старца Филарета.

Новые властители монастырские заспешили с постройкой храма каменного; для досмотра за рабочими потребовали из Новгорода от воеводы стрельцов. Пока они хлопотали, переделывая городню и выламывая печи из келий городской стены, получилось извещение святейшего, «что сам он жалует в Иверский-Святозерский».

Это было для старцев необычно и неожиданно. Начались приготовления – лаву из Богородского села сделали как мост на временных быках с поручнями, поручни украсили фиолетовым сукном, любимым цветом святейшего.

В золотых ризах, с распущенными волосами, подобрали в певчие мальчиков, взятых из сел монастырских и приученных к согласному пению, ненавистному старообрядцам-раскольникам.

Под колокольный звон всех церквей иверских патриарха ввели в его келью (на погребках) со сводами, расписанными иверскими иконниками и знаменщиками: по золоту синие и красные кресты в переплет с цветами, а в цветах – лики херувимов.

Никона власти монастырские усадили на его расписное кресло в палате и поясно поклонились. Земно кланяться Никон воспрещал. Посох свой патриарх отдал келейнику диакону Ивану, тот встал с патриаршим посохом за креслом господина. Патриарх оглядел чины монастырские, сказал с некоторой насмешкой в голосе:

– А ну, отцы праведные, сказывайте о том, о чем мне писали и что писал я противу того, да пошто не вижу близ себя тех, кто верховодил делами монастыря в пожарное время?

– Паисий древен – не может с одра встать, замест его новый у нас избран старец Филарет – не обессудь, великий господин святейший патриарх!

– А, так... то новые власти все грехи принимают на свои головы? – проговорил Никон и подумал кратко: «Патриарши богомольцы! Упади я, на меня же кинутся, аки псы...»

– Пожог, великий государь святейший патриарх, случился глухой ночью и не опознанный от кого... Митрофания иеродиакон по слову твоему, пригрозив, освободили...

– Но куда же делся тот дякон, книгочий и правщик книг Тимошка и где ныне тот Тимошка?

Архимандрит Дионисий выдвинул впереди себя прежнего старца Филофея:

– Сказывай, отец Филофей! Я того дела не ведаю.

– Казни меня или милуй, святейший патриарх, а Тимошка утек из монастыря в ночь пожара. – Филофей упал земно перед патриархом.

– Встань! – строго сказал Никон и продолжал: – Зачем вы, старцы иверские, неведомого бродягу и шпыня постригли и пошто возвеличили до сана диакона? Он у вас литургисал, а потом он же, учинив пожар, утек!

– По указу твоему, великий господине святейший патриарх, постригли того Тимошку! Писал ты к нам, богомольцам твоим: «послушников-де и грамотных постригать, не отказывать им в получении благодати и чина церковного». Тимошка был зело грамотен и малый вклад принес монастырю и жизни был постной, смиренной... По всему тому и послушника ему дали малоумка, но послушничонко, должно, воровал с ним заедино, ибо ни единым словом не оговорил его, а за то мы того послушничешка, стрелецкого сына, заковав, держим в порубе под караулом... – медленно и, показалось Никону, хитро глядел и говорил бывший архимандрит Филофей.

С Филофеем заговорили многие старцы, соборный Илья даже вскрикнул, воздев правую руку вверх:

– Все мы на сих словах брата Филофея крест святой челуем!

Патриарх, нахмурясь, слушал, потом большой рукой погладил на груди панагию с диамантами, расправил черную пышную бороду, сурово спросил:

– Ведомо ли вам, старцы, про «Номоканон<sup>41</sup>» государев? И ежели ведомо, то в нем

---

<sup>41</sup> «Номоканон», или «Кормчая книга», – сборник церковных правил и светских законов, служивших руководством для церковных судов. Здесь упоминается «Кормчая книга», изданная в 1653 г. под редакцией Никона.

есть статья: «Поп, кой клятвенно поцелует крест святой, отрешается от службы в храме!» Так еще вопрошу – ведомо ли вам про то?

Игумен Дионисий смущенно ответил:

– Хотя и не указано нам ведать того, но ведомо, великий господин патриарх! Сбрусил тебе старец Илья и иные с ним...

– Так вот, чтоб вы впредь не брусил... – Никон слегка сдвинул належный на глаза крылами золотого херувима белый клобук, – хочу видеть того Тимошкина послушника, как сами вы говорите, он малоумок, и суды ваши мне ведомы, давно ли писал я вам об иконнике, коего в тюрьму кинули за то, что с крестьяны вашими пить вина не захотел, крестьяне его избили, а вы еще и заковали... Ведите сюда малоумка.

– Как его вести, господине, – в кайдалах или расковать?

– Ведите каков есть! Сами идите в собор, учредите службу, опрошу парня, буду к пеню.

Архимандрит Дионисий и прежний, Филофей, радуясь, что гроза миновала, пошли в собор, велели продолжать звон, начатый встречей патриарха и остановленный, когда он воссел в палате да заговорил.

– Уст парнишка не разомкнет, – проворчал Филофей, – дела монастырские святейшему не все ведомы.

– Анкудимко довел! В пожар видали его у квасоваренной башни! – сказал старец Илья.

– Анкудимко – пес! Он все пронюхал, – прибавил Дионисий.

Сеньку в оковах в палату привели стрельцы, один шепнул ему:

– Поклонись, дурак, патриарху!

Сенька, громыхая кандалами, поклонился Никону земно, когда разогнулся, взглянул и подумал: «Будто сам царь!» Таких попов Сенька не видал, видал иных, что приходили к матушке Секлетее тайно – лохматые и ругатели, если спрашивали о чем, то матушка велела им говорить правду, не таясь: «Этому надо тоже все сказать! – решил Сенька, – вишь, сам – патриарх!»

Патриарх, взмахнув рукой, откинул на клобук крылья херувима и самый клобук сдвинул далеко на затылок, колюче глядя карими глазами в лицо колодника, проговорил жестко:

– Сказывай, чернец, как на духу, без утайки – каким воровством грешен?

Сенька глядел смело, хотя и был пуган огнем, приведен к пытке и изнурен тюрьмой:

– За собой, великий господин, не ведаю воровства. Мой грех лишь в том, что как послушник исполнял волю отца Таисия...

– Тимошки, не Таисия! Монах, кинувший чернецкие одежды, не отец, а расстрига и бродяга.

– Тимошка, великий патриарх, был мне едино что отец. Он меня обучил грамоте, от него я познал много, чел книги и радость себе в том великую нашел... Ему я не мог ни в чем отказать...

– Образ чудотворный владычицын с ним подымал ли? Дробницы золотые и цату богородичну не срывал ли с ним?

– То дело одного Тимошки, но ежели б позвал, то власть надо мной имел он великую, пошел бы с ним!

– Ты о сем ведал?

– Не таю, великий господине, – все ведал! – Властям монастырским не довел пошто? – Нет, не довел!

– А потому святотатство твоё таково же, как и самого еретика Тимошки... это первое воровство, за него пытка и смерть! Второе твоё воровство... – Никон понизил голос, от того он стал у него зловещим, – прежнего строителя старца Нифонта могилу вы с Тимошкой разрыли и пошто разрыли?

– Истинно, великий патриарх! Оно было так – взбудил меня Тимошка в ночь... со сна я худо помнил, куда иду... Привел он и указал вход под собор... я не пытал его, пошто идем



– сам Тимошка мне по пути сказал: «Клобук-де на нем с деньгами, в том клобуке и зарыт старец!»

– Старец бессребреник был, постник великий, что ж вы обрели в том гробу?

– Во гробу том, великий патриарх, нашли мы многое множество червя... лика, главы Нифонтовой от червя мы узреть не могли... от смрада и червя Тимошка задрожал весь, указал мне плиту заронить, кою я поднял... сам он малосилой, и ему бы той плиты не сдвинуть.

Ставшее грозным лицо патриарха в густой бороде шевельнулось улыбкой, глаза засветились добрее, он подумал: «Нифонта ставили в поучение – бессребреник, постник!» Подумав, переспросил Сеньку:

– Не лжешь ты, будто черви одолели гроб того праведника?

– Ни единым словом не лгу, великий господин святейший! Тьма-тем черви и дух смердящий.

Никон громко вздохнул, сказал тем, кто был в палате:

– Идите на молитву! – Обернулся к своему келейнику: – Ты, Иване, тоже! Дай посох, иди.

Иван Шушерин патриарший передал посох, Никон принял и глазами проводил всех уходящих. Когда за последним дверь палаты закрылась, сказал:

– Детина! Стань ближе ко мне. – Сенька торопливо шагнул к креслу патриарха, споткнулся о кандалы, они волоклись со звоном, тогда он нагнулся, руки были скованы спереди, разжал кольца кандалов и, свободный от железа, подошел,

Никон удивленно спросил:

– Ты всегда так гнешь железо?

– Кое не гнется – ломаю.

– Пошто не ушел из тюрьмы?

– Я старцев не боюсь – то разве надо было?

– Смерти боишься?

– Ужели то страшно, великий патриарх?

– Умрети младым много страшно! Помысли – ссекут голову, кинут в яму, в остатке черви съедят, как Нифонта, коего колоду зрел ты!

– Пошто, великий господине, черви, може, псы, – а я, ежели главы нет, и ведать того не буду!

– Пытки боишься?

– Пугали меня старцы огнем и дыбой, но не боюсь.

– Худо пугали – палач нажмет клещи, вретище с тебя сорвут и за бок калеными щипцами?... Кровь, смрад, боль непереносимая.

– Того не ведаю, а вот когда я недоростком был – в ту пору не единожды зубами мерзлое гвоздье гнул, так от того дела за ухами скомнуло, потом ништо...

– Ништо?

– Ни... как подрос, забредал в конюшню с каурым баловать... конь был четрилеток, так я... надо ли сказывать?

Никон, опустив голову, думал, и вспомнилось ему его детство, как сам он бился на кулачки лучше всех, а подрос, то укрощал диких лошадей, вязал их, валил с ног.

– Чего умолк?

– Да надо ли такое сказывать?

– Все говори.

– Так я, великий господин святейший патриарх, каурого за хвост, а он лягаться... как лягнет – я ногу ево уловлю, и не может лягнуть... Тяну за хвост одной рукой, другой ногу зажму, он ногу из руки дерет и до крови подковой надирал... мало-таки больно было... Да еще крыс, святейший патриарх, гораздо боюсь!

– Не могу умом по тебе прикинуть... Сказывал ты, книги чтешь и то ты сказывал разумно – про учителя злодея Тимошку говорил с разумом, а ныне яко юрод и дурак

говоришь...

– Винюсь, великий патриарх, худо обсказал, но молыл правду.

– Как имя тебе, раб?

– Семен буду.

– Знай, Семен, от меня ты тоже ведаешь правду – по воровству твоему, хотя ты и был лишь помощником злодею, уготована пытка, в полный возраст придешь – за святотатство казнь смертная.

– Чую, великий патриарх.

– Но... если я тебя возьму за себя, спасу от смерти и пытки, так будешь ли честно служить мне?

– Ты волен в моей жизни, великий патриарх, и если захочешь, чтоб служил тебе – буду служить, не щадя живота, куда хошь пошли меня, без слова пойду!

– Добро! Сказанному тобой верю... Вдень себя в кайдалы, жди.

Сенька отошел к дверям и старательно заклепал себя в кольца желез.

Никон громко позвал:

– Эй, войдите в палату! – Когда вошли стрельцы с монахами, прибавил: – Раскуйте колодника. Беру его с собой. Если вы дали какую-либо грамоту воеводе, то отпишите: «Святейший имаєт „дело государево“ на себя! Вора Тимошку будет сыскивать своими людьми и судить его будет великий государь сам с бояры».

Никон зашел в собор к службе, потом, не сядя за трапезу, уехал.

Монастырские власти думали долго, «кто довел патриарху о всех делах тайных монастыря?» Потом окончательно решили: Анкудимко монах! И хотя он ране пожара ушел из Иверского, но у него есть доглядчики и доводчики в селе Богородском, а ведомо, что в село он к пожару заходил и ночевал. Они на том же собрании отписали воеводе: «Дивное содеялось, боярин князь Юрий! Сам святейший патриарх будет имать утеклеца своими людьми патриаршего разряда и судить того вора Тимошку будет сам же, и тебе бы, воевода, в то дело не вступаться!»

Когда пришла первая отписка от монахов к воеводе, то князь Юрий Буйносов-Ростовский вскочил и матерно выругался, он только что затеял дать пир своим друзьям, а тут «дело государево».

– Прнючают в монастыре чернцы хмельные всяких воров и бродяг, но когда их покрадут или худче того, подойдет им к гузну, узлом пишут: «Берись, воевода, правь дело государево!»

Пока он расспрашивал дьяков<sup>42</sup>, да стрельцов подбирал, да подводы готовил, и сыскных людей налаживал, получилась отписка вторая: «И тебе бы, воевода, в то дело не вступаться!» Тогда князь спешно приказал закинуть все сборы по делу государеву, позвал ездового.

– Гей, холоп! Садись на конь да скачи борзо, извести моих друзей – воевода князь Юрий просит пожаловать на пир! – Про себя прибавил: «А и благо тебе, Никон! Не люблю я тебя, да спасибо, что от лишней работы избавил!»

С Ивана Третьего вплоть до Петра всяк выходящий из Кремля, идя Спасскими воротами к Красной площади, переходил через овраг по мосту. Тот Спасский мост по дьяческим записям «был длиною двадцати сажен с саженью, а поперег пять саженей».

Под этим мостом в шестнадцатом веке, во время пожара Москвы от хана Перекопского Менгли-Гирея<sup>43</sup>, убежав из железной клетки, сгорел лев, любимец Ивана Грозного; его

---

<sup>42</sup> Дьяки – высшее чиновничество в Московском государстве; ведали делами центральных учреждений – приказов; в крупных городах – помощники воевод.

<sup>43</sup> ...во время пожара Москвы от хана Перекопского Менгли-Гирея... – Ошибка автора. Крымский хан Менгли-Гирей (конец XV – начало XVI в.), союзник Ивана III, на Москву не нападал. При Иване Грозном в 1571 г. напал на Москву и сжег ее крымский хан Девлет-Гирей.

православный царь часто кормил трупами казненных.

Велик и страшен был тот пожар деревянной Москвы: на колокольнях плавилась колокола, «жидкая медь, аки вода, текла по кровлям церквей». Мост сгорел, но его перестроили, а после Смутного времени на Спасском мосту по ту и другую сторону объявились лавки книжников. Торговля шла бойко лубочными картинками, печатанными на досках. Картины изображали «Страшный суд», «Хождение богородицы по мукам», лики чудотворных икон, но столь безобразные, что патриарх Никон поднял на бумажные иконы гонение.

Продавалось тут и рукописанье, сочиненное заштатными попами, дьяконами или же просто грамотеями. Покупалось оно явно, продавалось книжниками из-под полы тайно, а потому и за гроши. Тут же покупались сказки «Бова Королевич<sup>44</sup>», с фряжского переложенные, и другие. На мосту всегда шумела, толкалась толпа от раннего утра и до отдачи дневных часов. По мосту в возках не ездили, разве что редко проедет царь верхом или важный боярин. Толпу разгоняли стрельцы, лавки тогда запирали. А дальше моста, если убрать толпу, за площадью Красной ряды полукругом, и видно в каждой лавке, кто чем торгует: на виду покупателя развешаны сукна, сбруя, образа и утварь церковная, парча, позументы с бусами, канитель и кружево золотное для обшивки сарафанов и кафтанов боярских.

За первым рядом, лицевым, – второй и третий, там торгуют рыбой, мясом и курями, а еще дальше вглубь – колокольный, каретный и лапотный ряды. Сегодня, как всегда, в стороне, прячась за углами лавок, стоят подкрашенные бабы, пестро одетые и чаще хмельные, у каждой такой во рту закушено по кольцу. У одних с бирюзой, у иных со смазнем<sup>45</sup> голубым или алым.

К таким торговам подходят только мужчины, женщины, проходя, косятся на них, плюют в их сторону, а какая не удержится, то и ругнет:

– Бесстыжие!

– Лиходельницы!

Связываться с такими бабами боятся. Драться умеют хорошо, а пуще того матерным лаем устыдят. Мужчины, подходя, говорят тихим обычаем:

– Молодка, продаешь кольцо? – Кольцо изо рта исчезает, оно либо на пальце блестит, или зажато в ладони.

– Прода-ю-с.

– Сколь дорого?

– Тебе как – с медом хмельным ай насухо? С медом-то за сласть полтина!

– Буде четыре деньги.

– Тогда без сласти... Тишае иди... я догоню!

В толпе продираются скоморохи, медведя волокут на цепи с кольцом за губу. Кто из потешников с козьей, иной с бараньей харей.

К скоморохам пристают из толпы, смеются:

– Плясать ноги есть, сыграть – ни, всю вашу музыку патриарх Никон за Москвой-рекой на болоте пожег.

– Пушай жгет! На губах сбубним.

– На гребне чесальном посвищем!

Кто-то, злобясь на патриарха, кричит, чтоб многим дошло в уши:

– Никон, братие, не то скомрашью кабацкую музыку сжег, он летось святые иконы в

---

<sup>44</sup> ...сказки «Бова Королевич», с фряжского переложенные... – Французский рыцарский роман о Бюэве из Анстона получил широкое распространение в Европе. В Россию проник с итальянского издания в середине XVII в. и очень быстро перешел в фольклор.

<sup>45</sup> Смазень – стекло, подложенное цветным сукном.

церкви поколол да огню предал!

- Иконоборец!
- Иконам указал глаза прободать да по Москве носить окалеченные!
- Истинно! Зрели сие, плакали люди, гляючи.
- Ужо сыщется ему от бога.
- От людей не пройдет тоже!
- Берегись, народ! Уши есть, Фроловска<sup>46</sup> пытошна за мостом!
- Эй, гляньте, – бирюч.
- Чуйте его, не шумите гораздо!

Четверо стрельцов приказу Кузьмина в голубых кафтанах батогами разгоняли толпу, очищая дорогу бирючу. Бородатый бирюч, в шапке шлыком, загнутом за спину, в мухтояровом зеленом кафтане, бьет палкой в литавру, привешенную на груди. Уняв барабанным боем шум толпы, кричит зычно:

– Народ московский! Кто из вас будет куплять у торгованов скаредных бумажные листы с иконами немецкими, кальвинскими, еретическими или же неправо печатать мерзко и развращенно таковые листы, тому быть от великого государя святейшего патриарха Никона в жестокой казни и продаже!

Стрельцы с бирючом проходят, литавра и голос звучат в отдалении.

- Вишь, робята, Никону стали нынче бумажные иконы за помеху!
- Так будут худче печатать деля смеху-у!
- Сказываю вам – уши есть! Фроловска пытошна близ...
- Во Фроловой нынче негде пытать, около пытошные отводные башни стены осыпалось с двадцать сажен!
- У набатного колокола во Фроловой у палатки свод расселся!
- Запоешь не хуже у заплечного во Константиновской!
- В Константиновской тож – в воротех вверху расселось в трех местах!
- Да вы каменщики, што ль?
- Мы с Ермилкой в нарядчиках были, меру тащили – подьячий стены списывал!
- Воно вы каки, робяты! А я в стенных печурах щелок варил... Идем коли в кабак – угощу!
- Ермилко! Идешь, царь зовет?
- Оно далеко да грязно...
- А ништо! Прoberемся.

С серого неба сеет не то дождь, не то изморозь, но крепок хмельной полуголодный народ. Бродят люди с утра по грязи, по слякоти, едят с лотков блины, оладьи, студень глотают, утирают мокрые рты и лица шапками. Ворот у многих распахнут, болтаются наружу медные кресты на гайтанах, иные шутят о крестах наружу: «Крест мой овец пасет!» Пытошные башни многим знакомы, разговор о них не умолкает. Никон государит немилостиво, при нем еще крепче пытаются, а царь на войне с Польшей.<sup>47</sup>

- Куда ни ставь башню, хоша на гору Синайскую, – пытка однака!
- Никон нам рай уготовал, патриаршу палату подновил, кельи пристроил!
- Подвалы под палатой изрыл, там жилы тянут!
- В хомутах железных народ гнут!

Вместе с влагой воздуха к ушам толпы липнет колокольный звон. Шапки с голов сползают, люди крестятся.

---

<sup>46</sup> *Фроловска* – старое название Спасской башни Московского Кремля.

<sup>47</sup> ...*царь на войне с Польшей*. – Война с Польшей за освобождение Украины и Белоруссии началась в 1654 г. и закончилась в 1667 г. Андрусовским перемирием, по которому России возвращался Смоленск и окружающая его территория, а также Левобережная (по Днепру) Украина. Первые два года войны Алексей Михайлович находился в войсках, оставив за себя в Москве Никона.

Отдачи дневных часов еще не было, но уже прошла в Кремль новая смена стрелецкого караула, а на Красной площади и у Спасского моста толпа гуще, озорнее и шумливее. Народ московский вслед за патриархами исстари говорит: «На Спасском крестце до поздня часа безместные попы торгуют молебнами!» Близ церкви Покрова (Василий Блаженный) чернеет сумрачной крышей патриарша изба<sup>48</sup> – канцелярия безместных попов. В ней всем попам, служащим по найму, кроме попов подсудных, призванных в Москву за грабежи и буйства, дается разрешение служить – знамя, всякому, в ком есть надобность в попе, на дому. За знамя идет с попов плата в десять денег, а с иного, просто смотря по достатку, и не меньше трех алтын. Но приезжие попы и игумны озорны, всегда полупьяны от бродячей жизни в большом городе, они все «никому же послушны», иначе своевольны – в патриаршу избу не идут, знамен не берут, а, увидав того, кто нанимает попу, подымают меж собой шум и драку:

– Эй, хрещеный! Памятцу твою беру и шествую в дом твой!

– Борзо чту синоди-ики! Синоди-ики. Плата на дому по сговору, с хлебным и питием!

Мохнатый от заплат на рясе, схожий на медведя, лезет поп. Кто не посторонился его, тот либо в грязь упал, или получил ссадину на лбу... Длинные, с седыми клочьями, волосы попа прижаты железной цепью наперсного медного креста тяжелого, будто на веригах. Таким патриарх воспрещает держать крест в руке или носить на груди, крест должен быть носим на торели, то и на блюде. Только на Спасском крестце и патриарха не слушают. Пол, сокрушая толпу, басит замогильным с перепоя голосом:

– Чуйте меня, православные! Худое, гугнивое пенье не избирайте, то разве попы? Они же комары с болота. Меня, попа Калину, наймите, я когда пою в храме, то свечи меркнут!

Озлясь, попы отвечают Калине:

– Разве ты поп?

– То, крещеные, убоец с большой дороги – явлен в Разбойном приказе.<sup>49</sup>

– Паситесь его, он везен в Москву с приставы!

А там по краю того же Спасского оврага под большим хмелем трое велегласно поют о кабацком житии:

– «Пьяницы на кабаке живут и попечение имут о приезжих людях – како бы их облупити и на кабаке пропи-и-ти!...

И того ради примут раны и болезни и скорби много-о...

Сего ради приношение их Христа ради примут от рук их денежку и две денежки и, взявши питья, попотчую его... и егда хмель приезжего человека переможет и разольется...

И ведром пива голянских найдет и примет оружие пьянства и ревностью драки и наложит шлем дурости и примет щит наготы, поострит кулаки на драку!...

Вооружит лице на бой, пойдут стрелы из поленниц, я ко от пружна лука, и камением, бывает, бьем...

Пьяница вознегодует и на них целовальник и ярыжные напраслины с батоги проводит...

Яко вихор развиеет пьяных и, очистя их донага, да на них же утре бесчестие правят, и отпустит их с великою скорбию и ранами...»

Те, что трезвее и степеннее, попы, между которыми есть и московские, безместные, собралась особой кучкой у крыльца патриаршей избы. У них наперсные кресты попряваны за пазуху, только цепочки шейные видны. На попах камилавки старые или скуфьи. У каждого в руках знамя. Маленький попик, не обращая внимания на безобразия, шум и бой

---

<sup>48</sup> Она же тиунья.

<sup>49</sup> *Разбойный приказ*. – Приказами в Московском государстве называли центральные учреждения, ведавшие различными отраслями государственного правления. Существовали до введения коллегий Петром I. Разбойный приказ ведал сыском и судом над разбойниками.

пьяных попов, говорит:

- Гляньте, отцы, то безотменно деля лихих дел ходит дьяк и наймует подсудных попов!
- Нужное, бате, нам то? Да, може, он ставленников ищет, хочет попам дать работу...
- То истинно! Поживиться на поповский доход хочет.
- И не дьяк он, батька, что в котыге да с батогом будто дьяк, а глянь под котыгой на кушаке что...

– А что?

– Чернильница, песочница да каптурги<sup>50</sup> с рукописаньем, то подьячий<sup>51</sup>, може, он судного приказу судейской ярыга.

Кто-то в толпе степенных попов бубнит:

– Не суди, не судим будеши... Яко да воссудят тя нечестивые судилища, аще да уподобишься куче наво-о-зной!

– Хмельных среди нас нет, а вот, отец, испил-таки!

– Плюнем!

– Не едино ли нам – дьяк ли, ярыга ли?

В толпе пьяных попов у моста ходит степенно курчавый подьячий в синей котыге, с дьяческим посохом и в дьячей шапке с опушкой из бурой лисицы, по тулье шапки канитель золотная с малым жемчугом.

– Ну, отцы духовные, здравствую!

– Здравствуем тебе, блазнитель наш!

– Уговор помните?

– Какой уговор? В пьяной главе все молитвы истлели!

– Сыскали, нет ли деля меня попов подсудных?

– Сыщутся! Только до тюрьмы нам мала охота.

– Иными-таки граблено, да маловато, авось бог пронесет!

– Я по своей службе, опрично других дьяков и не судного приказу!

– Ты это насчет грамоток? Чли, дьяче, твои грамотки о государевых пирах – ладно едят патриарх с боярами!

– Сытно!

– Эй, поп Калина-а! Сюды-ы!

– Чого? А, подьячий! – Бурый поп с медным крестом лезет к подьячему. – Угощаешь?

– Подсудной?

– Такое имеется за Калиной – по разбойному делу зван!

– Иные с тобой есть?

– Есть! Вон те семеро – все по суду везены к Москве.

– Идем в кабак!

– Дьяче! Нас пошто не зовешь?

– Кого надо сыскал – вы лишние! – Скупой бес!

– Лихое дело, знать, замыслил!

– Рясы-то подогните, кресты попрячьте, а то с кабака вон пого-ня-ат!

Девятеро с подьячим попы сидят в царевом кабаке, в кружечной избе. Подьячий угощает. Разговор тихий, похожий на сговор по-тонку.

– Ты, Калина, их поведешь... знайте! Патриарх нынче патриаршу палату перестроил – горница с крыльца первая, холодные сени... вторая – теплые сени... В патриаршей палате на рундуках со ступенями лавки, полавочки – бархат зелен, четыре окна – на подоконках бархат золотной, – хватит вам на кунтуши!

– Оно бы ладно, да стрельцы там патриарши с секирами...

---

<sup>50</sup> *Каптурга* – металлическое украшение у пояса, похожее на футлярчик.

<sup>51</sup> *Подьячие* – чиновники приказов; под наблюдением дьяков вели делопроизводство.

– Стрельцы до едины в разброде, дети боярские угнаны к государю в сеунчах говорить, патриарший боярин – и тот в отлучке, в патриарших хоромах двое: любимой патриарш дьякон Иван да келейник, а кой тот келейник – не доглядел я...

– И доглядывать его нече! Лишь бы на стрельцов не пасть...

– Я иду с вами, а пошто мне под беду голову клонить – сказываю правду, сказке моей верьте... стрельцкие дозоры от палат уведены, стрельцы все у ворот в Кремль. Слух шел, что болестъ объявилась худая<sup>52</sup>, так от лишних прохожих в Кремль ворота пасут... Попов караулы не держат – колико скажете: «Идем к патриарху чествовать бывшее новоселье!»

– В твоих грамотах чли, дьяче, о патриаршем новоселье, сытно едят попы, кои царю близки...

– Эй, молодой! Дай-кось еще кувшинчик в подспорье к вечеру праведной!

– И еще прием, братие, за здравие дьяка государева-а!

– Тише с гласом своим!

– Имечко твое скажи, дьяче... чтоб... ну хоша ба за обедней помянуть...

– Имя рцы! Коли-ко вздернут на дыбу, то язык чтоб молил правду-у!

– Струсили, попки?

– Нам чего терять? Спали под Спасским мостом, будем спать в тюрьме на полатах... голодно, да тепле!

– На патриарха идти готовы... Никон – пес цепной! Попов малограмотных указывает гнать взащей... вечные деньги давать-де епископам без утайки... утаил грош – правож! – батоги по голенищам.

– Вдовых попов от службы в монастырь гонит – служить нельзя... И монаху из попов до семи годов служить не указывает...

– Сами дошли, что идти к патриарху надо... чего боитесь? Бояре будут вам потатчики, многие злобятся на Никона... еще то – что заберете из его рухляди, тащите в стенные печуры, теи печуры, кои заделаны кирпичом, инде щелок варили, в иных кузнецы ковали, нынче они закинуты, а двери есть... те, что с севера...

– Вот то ладно! Не в ворота – в печурах разберемся, ино что припрячем.

– Когда идти, дьяче? Долго не тяни.

– Знак дам, выйду к Спасскому, колпак сниму да помолюсь на ворота, и вы годя мало за мной поодиночке, сбор на Ивановой.

– Добро!

– Вы в палате хозяйничайте, я же патриарши кельи пошарпаю.

– Щучий нос тину чует – там поди деньги?

– Деньги? Патриарша казна в патриаршей палате за рундуком, у алтаря в кованой скрине...

– Истинной ты, дьяче, грабежник!

– Веди со святыми биться.

– Я так не иду, пушай скажет имя!

– Да, имя, оно ты скажи!

– Имя Анкудим! Был купцом, утаил государев акциз, бит кнутом на Ивановой... именье в продаже на государя. Шибся в чернцы в Иверский-Святозерский. Сошел с чернцов, а нынче в дьяках сижу...

– Приказ именуй – приказ!

– В Посольском приказе<sup>53</sup>...

– Добро! Не страшно нам, коли такая парсуна идет с распопами.

---

<sup>52</sup> ...болестъ объявилась худая... – эпидемия чумы, начавшаяся в Москве летом 1654 г. и бушевавшая до зимы.

<sup>53</sup> *Посольский приказ* – приказ, ведавший иностранными делами.

- Только уговор – кроме нас, никому же слова об этом.
  - Первый раз, что ли, по грабежу идем? Пьяницы мы, да язык на месте...
  - Мы никому же послушны, на пытке бывали – молчали.
  - Ну, братие, решеточные сторожа шевелятся.
  - Ворота скрипят!
  - Благослови, дьяче, расходимся и богоявления твоего ждем!
- Подьячий пошел в сторону, подумав, вернулся:
- Калина поп!
  - Чого?
  - Вот те денег на топорщишки...
  - То ладно! Без топора не шарпать, едино что курей ловить!
  - Чтоб под рясой прятать!
  - Не учи, прощай!

Подговорив попов идти на патриарха, Тимошка в сумраке, осторожно сняв шапку, вошел в горницу дьяка Ивана Степанова, его покровителя. Дьяк был не у службы ни сегодня, ни завтра, а потому за обильным ужином с медами крепкими и романеей, без слуг, угощался единый.

Тимошка истово двуперстно помолился на образа с зажженными лампадами, поклонился дьяку, круто ломая поясницу, не садился, шарил глазами.

Дьяк тряхнул бородой:

– Садись, Петрушка! – и шутливо прибавил, делая торжественное лицо: – Нынче без мест!

Тимошка сел. Дьяк налил ему чару водки – пей, ешь, бери еду, коли честь и доверие от меня принял...

Тимошка, бормоча: «За здравие Ивана Степаныча, благодетеля, рачителя великого государя», выпил и закусил.

– Молвю тебе, Петрушка... Расторопен ты, грамотой я востер, ты же еще борзее меня, а худо за тобой есть – не домекну, кто ты?

Дьяк поднял волосатый палец с жуковиной, пьяно тараща глаза на Тимошку. Тимошка выжидал, закусывая, подумал: «Я тебе Петрушка, так и ведать не надо больше...» – Не-е домекну! – Дьяк, опустив палец, сжал кулак. – С тобой мои дела в приказе Большого дворца<sup>54</sup> расцвели аки вертоград кринный<sup>55</sup> и все же... зрю иной раз и вижу тебя схожего со скоморохом, у коего сегодня харя козья, а завтра медвежья... Ответствуй мне, пошто такое? Противу того и дела твои тьмою крыты...

– Не ведаю такого за собой, Иван Степаныч... и то скажу – трезвый обо мне слова не мольшь, а в кураже завсегда сумленье...

Дьяк ударил по скатерти рыхлым кулаком, в желтом сумраке сверкнул перстень. Свечи нагорели в шандалах, заколебались, с одной упал нагар, стало светлее.

– Шныришь ты по делам, кои и ведать тебе не гоже! Мои подьячие сыскали грязное дело за тобой... и вот то дело: в пору, как с дозволения моего помог ты в письме и чёте боярину дворцового разряда<sup>56</sup> хлебные статьи о послах расписать, а что вышло из сего дела – ведаешь?

– Подьячие твои, Иван Степаныч, от зависти на меня грызутся и поклепы, ведаю я, возводят.

– Годи мало! Те статьи многие в твоей суме под столом сыскались, иние же в каптургах

---

<sup>54</sup> *Приказ Большого дворца* – один из главных приказов, управлявший дворцовыми, т. е. царскими, землями

<sup>55</sup> *Вертоград кринный* – сад цветочный; крин – цветок (древнее слово).

<sup>56</sup> *Боярин дворцового разряда* – высокий чиновничий ранг в Московском государстве.



упрятаны – пошто тебе тайные статьи? Пей, ешь да сказывай – я тебе едино что духовник.

– Дьяче! Иван Степаныч, благодетель... озорство оное ненароком сошлось – замарал, вишь, листы бумажные – бумага немецкая с водяными узорами – и думал не показать, как убитчил казну государеву! В том и вина моя... в тай мыслил скрыть рукописанье, сжечь и сжег...

– Да сжег ли? Такого берегчись надо! Инако за тайну государева столованья и посольского тебе висеть в пытошной, да и мне, того зри, стоять у допроса с пристрастием... Пасись, Петрушка!; Ну, седни будет! Тебе ведомо и мне понятно, хоша сумнительно. Нынче давай пить, есть да, помоляся, почивать до иных дел... Еще скажу – не марай себя! Мне ты дорог знанием и старой верой пуще того... Никонианства, новин его не терплю! Как тебе, противу того и мне: отец наш праведной Аввакум – в его благодати будем обретаться. Аминь!

Тимошка придвинулся к дьяку ближе:

– Чуй, благодетель, дай мне денег поболее...

– Пошто деньги?

– Дело истинное – святого учителя нашего по молению у государя великой государыни Марии Ильинишны<sup>57</sup> из ссылки вертают...

– Ну-у?!

– Уж боярин Соковнин Прокопий<sup>58</sup> место устроит ему на Кириллово в Кремль; привезут отца Аввакума, тощ он, скуден, великие муки претерпел в дальних Даурских странах<sup>59</sup>... ему потребны порты и брашно особое и суды тоже, не серебряны, конечно, а и то, на все деньги...

– Сума у Прокопья потолще нашей, но постереги и мне доведи, когда привезут учителя... ай то радость! А денег не дам! Постой, чуй вот што!

– Чую...

– Завтре я не у дел! В церковь чужую, опоганенную Никоном, идти не мыслю, в приказ тоже – пить буду, – ведомо тебе, бражничать на досуге люблю! – ты же за меня стань в приказе, в приказ купцы придут... и... дать должны на мое имя посул<sup>60</sup>, ты тот посул от купцов прими, роспись им от имени моего дай... Вот те деньги приветить учителя! Сполни, да пуцай купцы не скупятся, будет им та промыта в науку – не ставить падали на государеву поварню-у!

– Не поверят мне купцы, Иван Степаныч! Что им моя роспись без твоей, а тебя оповестить и долго и далеко...

– Али тебе мою жуковину дать? Перстень – орел двоглавый с коруною, дар государев? Боюсь дать...

– Да раньше верил, и я печатал твоим перстнем, благодетель, пошто сегодня вера в меня пала?

– Сегодня весь ты чужой какой-то. – То подьячие поклеп тебе навели.

– Оно так! А видали тебя робята на кабаке с попами крестцовскими, попы те все грабители, пьяницы! Не марай себя, Петрушка. Печатай купцам, бери перстень...

---

<sup>57</sup> Великая государыня Мария Ильинишна – Мария Ильинична Милославская, первая жена Алексея Михайловича (ум. в 1669 г.).

<sup>58</sup> Соковнин Прокопий Федорович (ум. в 1662 г.) —влиятельный боярин, противник никоновских реформ. Его дочери – боярыня Морозова и княгиня Урусова – известные деятельницы раскола; сын Алексей впоследствии участвовал в заговоре против Петра I и был казнен.

<sup>59</sup> Даурские страны – Забайкалье.

<sup>60</sup> Посул – взятка.

Тимошка, почтительно приняв перстень, с низким поклоном проводил дьяка, снова сел за ужин. Сидел он долго, будто наедался в дорогу, и думал:

«Хорош, ладен странноприимец гулящих людей государев дьяк Иван! Только, Тимошка, знай край, не падай – сгореть в этом доме, едино что от огня, легко... Ну, а ты завтра кончи... Перво – с купцов деньги получи и рукописание им на помин души припечатай... Жуковина дьячья с коруною и впредь гожа... Другое дело – попов поднять... У патриарха узорочья бездна – не зевай только! Третье – путь тебе, Тимошка, вон от Москвы...»

Выпил переварного меду с патокой крепкого, отдышался и прошептал вставая:

– В дому твоём, богобойный дьяк, заскучал я... Табаку у тебя пить не можно и опасно!

Обновленная Никоном патриарша крестовая палата обширна, как и дела в ней – патриарши, нынче и государевы.

Когда идут церковные сговоры, тогда на Ивановой колокольне звонят для зову протопопов и игуменов, тот звон церковники издалека чуют, спешат не опоздать.

У патриаршей палаты проход в келье завешен персидским ковром. В переднем правом углу палаты иконостас с иконами греческого письма, близ его резное кресло патриарха с подушкой сиденья из золотного бархата, с ковровым подножием. В первых от крыльца палаты, холодных сенях у дверей стрельцы с батогами, – сегодня их нет, сняты к воротам в Кремль. Во вторых, теплых сенях на лавках, обитых зеленым сукном, – всегда патриарший любимец дьякон Иван. Только в сей день, учредив в полном порядке патриарший стол питием и брашном, Иван благословился у патриарха пойти в монастырь к ТроицеСергия. В полном доверье у Ивана Шушерина оставлен в патриарших сенях Сенька, стрелецкий сын, взятый Никоном из Иверского-Святозерского, бывший колодник. Слуг у патриарха довольно<sup>61</sup>, одних детей патриарших боярских<sup>62</sup> с двадцать наберется, бывает и больше. Патриарх, негодуя на расстройство в делах государевых, разослал боярина патриаршего Бориса Нелединского и детей боярских с указами – кого к воеводам, кого к губным старостам<sup>63</sup>, к кабацким головам и попам, нерадиво кинувшим церкви без пеня.

Сам он всегда при делах и хлопотах, чтоб не навлечь на себя попрека от царя и с честью государить, а нынче приспешал. Слухи один хуже другого – то об одном родовитом боярине, то о другом: «готовят-де тебе, великий государь патриарх, лихо», разозлили и утомили его, а пуще и злее всякого зла – собралась малая боярская дума опрично патриарха с Морозовым, Милославским, Салтыковым<sup>64</sup> и другими, решено было той думой, «что патриарх-де уложение государево лает<sup>65</sup>».

---

<sup>61</sup> *Слуг у патриарха довольно...* – Двор патриарха был независим от царского, имел свои приказы: Духовный, Церковных дел, Тиунский, Дворцовый, Судный. Служили патриарху свои бояре, дворяне. Патриарх раздавал им за службу в поместья церковные земли.

<sup>62</sup> *Боярские дети* – один из разрядов служилого дворянства.

<sup>63</sup> *Губные старосты* – должность местного управления; выбирались из дворян или назначались правительством и ведали борьбой с разбоями, иногда заменяли в уездах воевод.

<sup>64</sup> *Морозов* Борис Иванович (1590—1661) – боярин, видный государственный деятель XVII в. Был «дядькой», т. е. воспитателем Алексея Михайловича, в первые годы его царствования возглавлял правительство, но после московского восстания 1648 г. вынужден был на четыре месяца отправиться в ссылку. После возвращения своего влияния не утратил. Был женат на сестре царицы – Анне Ильиничне Милославской. *Милославский* Илья Данилович (ум. в 1668 г.) — боярин, тесть царя, возглавил правительство после Соляного бунта. *Салтыков* Петр Михайлович (ум. в 1690 г.) — боярин, родственник и любимец царя, возглавлял ряд приказов; в 1662 г. возглавил комиссию по расследованию «всяких вин» Никона.

<sup>65</sup> ...«*патриарх-де уложение государево лает*». – Никон называл Соборное уложение 1649 г. «проклятой книгой». Уложение запрещало духовенству приобретать вотчины, учредило Монастырский приказ, ограничивший привилегии духовенства и власть патриарха.

Сегодня патриарх решил пировать, а порешив, указал на сенях его келейнику и постельнику Сеньке:

– Не принимать! Ни боярина, ни игумена, тож и протопопа.

В большой хлебной келье, за палатой с иконостасом, с софами, обитыми шелком, для послеобеденной дремы, с поставцами из золотых и серебряных суден – ендовых и кратеров с рукомошкой и кадью медной в углу за ширмой штофной – на тот грех, ежели гостя какого нутром проймет.

Сегодня у Никона «собинные» гости – боярин Никита Зюзин<sup>66</sup> с боярыней своей Меланьей. Перед ними гордый патриарх, грозный не только епископам, но и боярам, лишь смиренный инок и хлебосольный хозяин. Никон выпил три ковша малинового крепкого меду, но он едва в легком хмеле. Боярин Никита пил те же три ковша, прибавляя к ним чару ренского, а стал развязен и огруз. Боярин бородат, сутуловат, широк костью, ростом он в плечо патриарху.

Боярыня Меланья пила лишь романею чаркой малой. Ей было весело и хорошо. Против обычного, она чаще смеялась, да казаться стало, что кика с малым очельем в диамантах застит ее большие светлые глаза. Боярыня кики все чаще подымает холеной рукой в перстнях так высоко, что уж волосы как огонь начали гореть под кикой, чего замужней боярыне казать мужчинам нельзя, правда, чужих тут нет – муж и ее наставник. Грудь тоже стала вздрагивать под шелковой распашницей, да сквозь наносный легкий румянец проступил на убеленном лице свой, яркий...

Никон, сдвинув к локтям рукава бархатного червчатого кафтана, гладил левой рукой пышную бороду, отливающую темным атласом. При блеске многих пылавших лампад и свечей в серебряных шандалах глаза его особенно искрились. Внутренние ставни двух окон были закрыты наглухо, и день не казался днем. На голове Никона, как говорили ревнители старины, срамной греческий клобук с деисусом<sup>67</sup>, шитый жемчугом, с бриллиантовым малым крестом. Пиршество учреждено с рыбными яствами, хозяин и гости едят руками, кости кидают в мису под столом. Половину патриарша стола занял пирог сахарный, видом орел двоголавый, в лапах орла – обсахаренный виноград с вишенью. Боярин много раз пытался говорить, наконец, тряхнув мохнатой головой, выкрикнул:

– Дру-у-г, благодетель, великий господин патриарх, не осердись на молвь мою...

– Сердца моего нет на тебя, боярин Никита! Сказывай! Все приму...

– Чаю я, великий господине, от того дела, что учинил летось нелюбье многое... иконы фряжского письма поколол и в землю изрыл... до пошло сие в глазах всего народа... чернь, господине, буйна и дика...

– Боярин Никита, друг мой, вина наряжай сам, потчуй себя и жену и говори – внемлю...

– Пью за здоровье, за долгое стояние за церковь и государство друга моего великого государя патриарха всея Рус-си-и-и, во-о-т!

– Пью я за твое здоровье, боярин! За работу твою на известковых, копях, за соляные варницы, кои от сего дня дарю тебе! И ты, дочь моя духовная, Меланья, краса, пей, не ищи поклонов хозяина... А ну, боярин, еще раз – сказывай!

– За подарки такие поклон тебе до земли, великий друг, богомолец... И то неладно, господине, что слуги твои худородные с шумством и гомоном доселе ходят по горницам родовитых бояр, рвут с божниц, со стен тоже, от твоего имени парсуны и новописанные иконы...

---

<sup>66</sup> *Никита* Алексеевич *Зюзин* – боярин и воевода, с 1652 г. назначен царем патриаршим боярином к Никону; с 1654 г. был воеводой в Путивле, затем в Новгороде. За переписку и пособничество опальному Никону приговорен в 1665 г. к смертной казни, но помилован и сослан в Казань.

<sup>67</sup> *Деисус* – икона с изображением Христа в центре, богородицы и Иоанна Предтечи по сторонам.

Никон грозно сверкнул глазами, сдвинув брови.

– Про иконы, боярин Никита, молчи!

– Ох, великий патриарх, друг мой! Вот ведь какой я пес – то язык блудит, даришь ты мне, а я мелю прежнее, иконы фряжские, парсуны – тьфу им!

– Про иконы ответят за меня тебе, боярин Никита, сам святой Симеон Метафраст<sup>68</sup> и Дамаскин Иоанн<sup>69</sup>...

Никон, чтоб потушить злой блеск в глазах, сжал рукой бороду, нагнул голову и, налив меду полковша, не переводя дух, выпил. Боярыня испугалась лица патриаршего, оно стало мрачным. Привстав за столом, сказала, трогая рукой кичу и кланяясь:

– Учитель светлый! Боится господин мой, боярин Никита, за тебя! Ведь родовитые бояре сильны, своевольны, инде сам великий государь Алексей Михайлович трудно справляется, а ну, как они от злобы из-за икон на тебя черной народ поднимут? И, не к ночи будь сказано, убойцов на голову твою светлую наведут... боярам не впервые ведаться с гулящими людьми корысти ради да вершить лихие дела... Мы, сироты, ужасны за твое богомолье...

– Во-о-т! С тем и жену мою на пиры твои, великий господине, волоку... друг мой! Ведает она, о чем я скорблю душевно, и радуется дарам твоим и... еще пью за долголетие друга патриарха! А все же скажу... уложение государево тобой, великий патриарх, попрано... на том стоят бояре, и то будут они поклепом клепать великому госуда-а-рю-у Алексею!... И еще спасибо на подарке...

– Перестань, боярин Никита, – осадила мужа боярыня.

– Умо-лка-ю! Пью за долголетие друга!

Патриарх ласково погладил по спине боярыню... Потом сам с собой, но громко, будто кого убеждая, заговорил:

– Долголетие мое едино что лихолетие. Бояр не боюсь, всех потопчу! – Он примолк, наливая снова в ковш меду, потом продолжал: – Иных изрину от церкви! Все в моей власти, покуда заедино со мной правит великий государь...

Боярин поднял над столом непослушную голову, сидя, он коротко вздремнул, но слух его сквозь пьяный угар ловил голос патриарха.

– Друг ты мой собинный! А как отступится от тебя великий государь? Тогда, что тогда? А, во-о-т! Псы цепные видом Сеньки Стрешнева<sup>70</sup> да лисы старой государева дядьки Бориса сглодают... Сглонут тебя! Во-о-т!

Не обращаясь к захмелевшему боярину, Никон говорил, как бы убеждая кого-то: боярыню он не считал знающей людские дела:

– Государь вкупе с врагами моими, боярами, клялся в соборе, когда шел я на стол патриарший – все клялись быть в моей воле! Так ужели венценосец, помазанник на царство, государь, презрит клятву над крестом честным? Да, я не почитаю уложение, ибо оно не государево, а боярско-холопское. Едино лишь в писании и утверждении его попы были дураки, а бояре всегда хитрость лисицы и жадность волка имут. По уложению тому хотят вязать нас без суда духовного; нет, не бывать тому! Церковь из веков выше царей... Церковь пошла от святых апостол, и я, патриарх, не мир вам несу – меч!

---

<sup>68</sup> *Симеон Метафраст* – византийский христианский писатель, составитель «Житий святых».

<sup>69</sup> *Иоанн Дамаскин* (ок. 675—753) – византийский философ, богослов и поэт, стоял во главе движения «иконопочитателей», автор многочисленных богословских сочинений и церковных гимнов.

<sup>70</sup> *Сенька Стрешнев* – Стрешнев Семен Лукьянович (ум. в 1666 г.) боярин, дядя царя Алексея Михайловича по матери, возглавлял ряд приказов, играл видную роль в военных действиях 1654—1657 гг. Враг Никона, был обвинен им в богохульстве и проклят, позже проклятие было снято, а сам Стрешнев стал известен своим горячим участием в деле низложения патриарха Никона. Он составлял вопросы о разных обстоятельствах дела Никона, на которые Паисий Лигарид писал казуистические ответы.

Боярыня перестала пить; поглядывая на грозное лицо патриарха, она прислушивалась. Ей послышалось – прошли шаги за дверью и повернули вспять. Сказала:

– Учитель мой светлый, кто-то бродит за дверью.

Никон тяжело поднялся, умыл руки в углу, поливая из серебряного стенного рукомойника, утер их рушником, тут же с полки, завешенной тафтой красной, взял гребень, расчесал бороду и, повернувшись к иконам в угол, перекрестился широко троеперстно, потом подошел и отворил дверь. За дверью стоял Сенька в новом кафтане scarлатном алом, он молча низко поклонился.

– Тебе, парень, не надобно быть тут... Не зван ты...

– Святейший патриарх! Два боярина в холодных сенях ждут давно и гnevаются на меня... я и не смею без зова, да не стерпел – один боярин лает смрадно!

– Указано всем на сей день меня не видеть! Пушай их изрытают лай.

– Лезут, сказывает один, дело не мешкотное, указ от великого государя из Смоленска.<sup>71</sup>

Никон тряхнул головой, засверкал бриллиант на вершке клобука:

– Скоро дай мантию, панагию и посох!

Сенька быстро прошел в ризничную, вернулся, стал облачать патриарха. Обыденно. Хотел снять кафтан, патриарх указал:

– Надень мантию на кафтан! В палате прохладно. Сенька, облачив патриарха, подал ему на блюде золоченом панагию, потом рогатый посох черного дерева с жемчугами в серебре в узорах по древку.

– Зови бояр! Введешь, пройди сюда к гостям, прибери стол, как Иван делает, налей из кратеров в енды меду – исполни все с вежеством и безмолвием.

Сенька в ответ также поклонился, патриарх торжественно вошел в крестовую, сел на свое кресло. Два боярина в распахнутых кармазинных ферязях, под ферязями кафтаны золотного атласа, оба вошедших в горлатных шапках, стуча посохами, шли неспешно по сеням, войдя в палату, сняли шапки, стали молиться, держа в левой руке посох и шапку. Один вошел по ступеням рундука, сел на лавку, надев шапку, он оперся на посох и, не глядя на патриарха, глядел в пол. Другой, не надевая шапки, подошел, говоря: «Благослови, владыка святыи», и нагнул рыжеватую голову.

Патриарх, встав, благословил его. Сел и молча ждал.

Рыжеватый надел шапку, вошел по рундуку, поместился на лавке рядом с первым, молчаливым боярином. Молчал патриарх, оба боярина тоже. Наконец, сдвинув брови и тыча в пол рогатым посохом, Никон заговорил:

– Все ложь! Сказывали – дело неотложное, так пошто же язык ваш нем, бояре?... Кому благословенье патриарше непотребно, тому уготовано будет отлучение церковное... оно любяе и ближе... Тогда благословенный боярин сошел с лавки, встал перед патриархом, сказал ласково:

– Не до чинов нынче, великий государь святейший патриарх! Пришли мы наспех с боярином Семеном Лукьянычем говорить тебе о деле важном, да узрели иное: пришли-де не вовремя. Ждали долго в холодных сенях... оттого и мысли не увязны и язык нем...

– В чем, боярин, нужда ваша?

– Ведомо ли святейшему, что в Коломне солдаты, кои вербуются на войну, и датошные люди шалют?

– Туда посланы нами стрельцы и дети боярские, и сыщики...

– Добро! А ведомо ли государю патриарху, что в той же Коломне да и на Москве в слободах, там инде объявилась невиданная болезнь?

– И то нам ведомо, боярин! За грехи ваши, бояре, за безбожие многое, растущее день от

---

<sup>71</sup> ...указ от великого государя из Смоленска. – Алексей Михайлович был в войсках при освобождении Смоленска в 1654 г. от поляков, захвативших город в 1611 г.

дни, идет на вас кара божия... Вот он, – патриарх поднял посох в сторону угрюмо сидевшего боярина, – боярин Семен Стрешнев! Патриарх для него не патриарх – поп черной, и худче того. Ведомо мне, что чинит он в дому своем.

Угрюмый боярин неторопливо встал, не сходя с рундука, заговорил звонким, отрывочным говором:

– А ты, ты, святейший патриарх? Чтишь ли нас, сородичей государевых? Не обида ли то, что держишь нас, бояр, в холодных сенях со своими холопами, не считая часов?... Не ты ли срываешь парсуны в наших хоробах? Не ты ли указуешь нам меру мерити чиноначалие?

– Властью, данной от бога и великого государя, изметаю я латинщину и кальвинщину в домах ваших, сие, аки короста и парш смрадный, идет на Русь православную! Через вас идет сей разврат...

– Оберегатель, ревнитель старины недреманный, так пошто же избил и избиваешь ты Аввакума, Павла Коломенского<sup>72</sup> и иных? Пошто потрясаешь жезлом против восстающих на новопечатны е книги и троеперстное сложение знаменующих крест перстов?

– Не крест знаменуют персты – троицу, боярин Семен! Не за старину ополчился я на худых попов – за невежество их гнети! Вы же басурманскими новшествами гоните заветы и презрите законы святых отец... С ними не удержитесь, ибо издревле сказано: «А которая земля переставливает порядки свои, и та земля не долго стоит». Вы что же деете? Боярин Борис Иванович вознес на божницу образ спасителя в терновом венце, письмо фрязина Гвидона<sup>73</sup>, списанное боярскими иконниками, и тот образ не образ – латинщина<sup>74</sup> суца. Вот он, боярин Прокопий, сын Соковнин, укрыватель расколычников, не таясь, с похвальбой весит в хоробах своих распятие господне немчина Голя-Бейна<sup>75</sup> и его Иисуса в гробу простерта, и то есть кальвинщина<sup>76</sup>. Христос – бог, у него же, Бейна, Христос-гнушный мертвец, и распятие его таково же. Таких кунштов я не терплю, бояре! Такое и подобно сему измету, яко сор и падаль!

– А ну, господин святейший патриарх! Не прати о вере пришел я, пригнан от Смоленска послом великого государя к тебе с повелением: «Еже объявится на Москве худая какая болесь липкая к людям, то тебе бы, патриарху и градоправителю, пекчись крепко о государевом семействе, оі лиха опасности немешкотно!» Мне же укажи, што отвечать на тот спрос к тебе великого государя?

– Великий государь, царь всея великие и белые и малые Руси, самодержец Алексей Михайлович пушай положится на меня, друга своего собинного, надеется на попечение мое о роде государевом и не опасается.

– Прощай, патриарх! Уезжаю, гневись или милуй, но и теперь в бытность мою на войне воеводой не благословлюсь!

Боярин сошел с рундука, Никон сказал:

– Тому, кто не верит в чины святительские, благословение творить впусе.

Рыжеватый боярин Прокопий Соковнин поясно поклонился патриарху, спросил с хитрой лаской в голосе:

---

<sup>72</sup> *Павел Коломенский* – епископ, один из вождей раскола. В 1656 г. лишен сана и сослан в Палеостровский монастырь.

<sup>73</sup> *...письмо фрязина Гвидона...* – Итальянский живописец Гвидо Рени (1575—1642) был автором картины «Распятие», о которой идет речь в романе.

<sup>74</sup> *Латинщина* – католичество.

<sup>75</sup> *...распятие немчина Голя-Бейна и его Иисуса в гробу простерта...* – картины Ганса Гольбейна Младшего (1497—1543).

<sup>76</sup> *Кальвинщина* – кальвинизм, протестантское вероучение, основанное Жаном Кальвином (1509—1564).

– Что замыслил, великий государь патриарх, о наносной болести и того ради што укажешь орудовати?

– Сегодня, боярин, что замыслил я, пошто знать? Завтра ведомо да будет всем!

Патриарх встал. Бояре ушли.

Патриарх стоял на подножии своего кресла. Он проводил глазами бояр до выходных холодных дверей и был доволен, что спесивцев, государевых ближних, никто не провожает. Они сами отворили и затворили тяжелые двери на крыльцо:

– Служите себе, как я иной раз сам себе служу, сие ведет к смирению...

Патриарх сел в свое кресло – тишина и одиночество, в котором он пребывал редко, делали приятной минутой, он ничего не думал. Но вот в голове его против воли ожили, прозвучали слова его друга боярина Зюзина: «Тогда псы цепные видом Сеньки Стрешнева».

– Да! На войне такие нынче владеют помыслами царя пугливого, ревнивого к своей власти... Ну, я попробую избыть ворогов! Бояре, затворив дверь, сходили неспешно с крыльца патриаршей палаты, они не оглядывались, зная, что никто за ними не следит. Стрешнев сказал:

– Мордовское отродье, смерд! Влез в глаза и уши государевы лестью... опоил будто отравой сладкоглаголением о божестве, и царь возлюбил его в простоте души. Он же, Никита Минич<sup>77</sup>, возлюбил выше царской власти свою власть – ковать, вязать, судить и миловать, будто природный грозный государь! С этой дороги он свернуть не мыслит, ежели ему оглобли не изломят...

– Крепок он, Семен Лукьяныч, на своем столе! Великий государь, сказывать не надо, утонул в ем, в его велегласном благолепии... У государя денег и на войну недочет, он же на монастыри стройку берет, а своих доходов девать некуда... И ты бы, боярин, поопасился споровать с ним ясно, злить его...

– Ништо! Мы с Борисом Иванычем да Салтыковыми ему оглобельки подсечем – на ухабе тряхнет Никонов возок под гору!

– Эх, и ладно бы! Зри, боярин, сколь попов по Кремлю бродит с нищими, и те попы все с «крестца».

– Впервой, что ли, видишь, боярин? Царевны ежедень тунеядцев кличут наверх...

Никон позвонил в колоколец серебряный, висящий сбоку иконостаса. Из кельи вышел Сенька.

– Семен! Запри двери на крыльцо и сени и будь там. Сенька помог патриарху подняться с кресла, поддержал, но входная дверь отворилась, в первые сени вошел боярин. Патриарх сказал:

– Прими боярина... Этот надобен мне!

Сенька встретил боярина в теплых сенях, принял от него посох и шапку.

Вошедший боярин сановит, стар, высок ростом и толстобрюх. Одет в охабень зеленого бархата, на полях охабень низан жемчугом бурмицким. Под охабнем, распаханутым широко, с закинутыми за спину длинными рукавами, виднелся кафтан зербарфный<sup>78</sup> с голубыми травами. По кафтану кушак алый с кручеными кистями, на концах кистей искрились яхонтики малые. Боярин помолился на иконостас, опустил ся земно, а когда нагнулся, чтоб лечь ничком, под охабнем у него будто что лопнуло и запищало длительно. Сенька, держа посох и боярскую шапку, помог боярину встать на ноги. Широко крестясь, старик подошел к патриарху под благословение. Никон стоя благословил и сел, сказав:

– Садись, боярин, на скамью близ...

Боярин сел на почетную скамью, предназначенную для иностранных послов.

– В добром ли здоровье живет боярин Артемей Степанович?

---

<sup>77</sup> *Никита Минич* – мирское имя патриарха Никона, выходца из мордовских крестьян.

<sup>78</sup> *Зер* – золото; *барфт* – ткань; слово персидское.

– Благодарствую, государь великий патриарх! По богомолению твоему жив и бодрствую!

– Не впусе звал тебя, боярин! Жду давно, и гость ты желанный.

– Благодарствую, святейший патриарх!

– Внимай, боярин, Артемей Степанович, и верь мне!

На лице боярина отразилось почтительное внимание, он сказал:

– Внемлю, господине!

– День-два, много три, помешкаю и уеду с государевым семейством. Людно в городе, и не дале как вчера призывал я к себе немчинов дохтуров и лекарей, пытал их о болезни, кая объявилась в людях нынче. Довели мне те дохтуры такое: «чтоб люди, у коих объявится та болезнь, призывали бы в дом свой не одного лишь попа с церковной требой, а пуще искали бы лекаря и слушались того... в одной бы хате с больным не жили, и ежели больной умрет, рухлядь его сжигали бы». Так вот, уезжая, тебе, боярин Артемей Степанович, оставляю я оберегать город и слободы<sup>79</sup>, и первое дело – пустить бирючей кликать по площадям то, что довели дохтуры и лекари... Еще от себя заповедую тебе, чтоб всяк человек – тяглою ли, посадской, или дворянин и боярин – крыс, мышей убивали, ибо эта тварь жадна к мясному, она будет поедать смрадных мертвых, а оттуда и хлеб в домах, муку и харч... От той поганой, гнусной твари, мыслю я, беда, аки огонь злопышущий!

Боярин опустил на руки и посох седую голову, сказал, не подымая глаз на патриарха:

– Великий патриарх! Из веку наши люди упрямы... Чаю я, все они примут за наказание господне, а против божьего наказания и перстом не двинут...

Никон, как бы не слыша боярина, продолжал, в голосе его звучала торжественность:

– Благословляю тебя, боярин Артемей Степанович Волынской, на всякую брань за порядок! Во имя отца и сына и духа свята... Избери себе помощников бояр, тех, кои не будут котораться, считаться с тобой родовитостью! Беда идет не на одного человека, беда идет на всех нас, не разбирая ни боярина, ни смерда... Ополчитесь дружно против нее... Завтра дам тебе грамоту на градоправство и о том объявлю через бирючей всенародно!

– Для чести такой, святейший патриарх, стар я, но умолкаю перед твоей святительской десницей и делу всенародному готов служить!

– Спасибо тебе, боярин! Не за одно ко мне благорасположение, а и за народное благо... Укажи еще, Артемей Степанович, чтоб нищих и юродов разогнать от церкви приставам без всякой милости... Смрадны они и не бога для рубища и раны свои показывают, а волю алчную свою творят!

Боярин, так же не глядя на патриарха, еще ниже склонил голову на посох, заговорил:

– Великий патриарх святейший! Ведомо тебе и всем из старины дальней, что нищие у государыни царицы и царевен, а также у боярских боярынь вверху живут, и там наша власть досягнуть не может...

– Я уж о том не раз докучал государыне царице Марии Ильинишне, и за то она на меня гневна и еще гневна, когда я гнал от нее сверху отца расколыщиков Аввакума, но гнева не страшусь, ибо утишу его через великого государя, а нищих гнать буду! Вот слушай, боярин.

Патриарх выдвинул из широкого резного кресла, из ручки его, малозаметный ящик, куда складывались им все челобитные, также поклепы друг на друга церковников. Никон развернул длинный свиток:

– Доводят мне епископы многих градов, протопопы и попы:

«Во время служб по церкви бегают шпыни человек по десяти и больше с пеленами на блюдах, собирают на церковь, являются малоумными. В церкви смута, брань, визг и писк и лай смрадный, драка до крови, ибо многие приносят с собой палки с наконечниками». Иные, боярин, пишут так: «По улицам бродят нищие, притворные воры, прося под окнами

---

<sup>79</sup> *Слободы* – части города, пользовавшиеся особыми правами или льготами; к середине XVII в. многие слободы утратили привилегии и сохранили лишь свое название.



милостыни, примечают, кто как живет, чтоб, когда тому время, лучше обкрасть. Малых ребят крадут. Руки, ноги им ломают и на улицах их кладут деля умиления человеков».

– Прости меня, великий патриарх, но и ты нищих кормил в своих палатах и питием и одеждой их благотворил же.

– Прошло тому время, боярин! Душой я иной раз кривлю – дею так, ради преданий древних, до меня делали сие великие иереи, а нынче в церквах все иконы с юродами я сорву и пожгу! Кривлю душой – уложение государево иной раз в монастырях толкую монахам и старцам, указуя в нем статьи, сам я не чту сего уложения государевым.

– Нелюбье государево и гнев по сему делу неминуем тебе будет, великий господине патриарх!

– Не убоюсь гнева того!

– Спаси тебя господь!

– И еще, боярин, укажи стрелецким головам, пятидесятникам тож, худых попов со Спасского крестца разогнать, знамен им отныне не давать, в дома служить не пущать – те попы, как крысы, с больных улиц понесут гниль в хоромы. Кои непослушны будут указу – брать повели на съезжую<sup>80</sup> и рассылать с приставы по отчинам их!

Боярин поднял голову, взглянул на патриарха и крепче налег на посох:

– Ох, великий господине патриарх! Многотрудное, чаю я, и неисполнимое дело сие... Попы крестцовские из веков гонимы, но они никому не послушны, сила их в черни народной, чернь стоит за них и посадской народ тьма-тем, все за попов... быть оттого смятеню!

– Боярин Артемей Степанович! Беда идет великая, огребаться от той беды надо всякими мерами сильными, опричными иных времен, или погибнет весь народ!

– Что за болезнь пришла на нас, святейший владыко?

– Черная смерть, боярин! Тело человеков кроется в один день волдырями синими, гнойными, тот человек, аки в огне, сгорает вкратце...

– Спаси, господь!

– Господь не воинствует, он лишь направляет дела людей... Укажу еще, если явного бунта не будет: народу, чтоб к чудотворным иконам и мощам в болезни не течь! Больные зачнут марать гноем те чудотворные пелены и болеть пуще... и вера у многих оттого падет!

Боярин, уронив посох, зажал руками уши:

– Святейший патриарх, что слышу я?! Ты против божественного чуда?

– Не против, боярин! Против смрада я и невежества человеков воинствую... Теперь отпускаю тебя, боярин, на брань с невежеством! Нынче скоро служба всенощная у государыни царицы на сеньях, и я зван к тому.

Боярин встал, подошел к руке, поцеловал руку патриарха. Никон ответил ему целованием в голову и широко перекрестил. Вслед боярину патриарх приказал Сеньке:

– Проводи боярина до возка! Боярин приостановился:

– У меня, святейший патриарх, возок на полозьях летних, в запятах и переду есть люди – самому тебе потребно беречься, слуга один, пусть будет в хоромях.

– Ништо нам! Да чуй, боярин, – ворота в Кремль укажи затворить все, опричь Боровицких.

– То будет исполнено, господине!

Сенька, поддерживая боярина, свел его с высокого крыльца. Боярина подхватили его люди. Когда сажали в возок, он снова пискнул низом живота и громко сказал:

– Ох, господи!

Старика укутали от сырой погоды плотными тканями. Тройка белых, сереющих в сумраке коней подхватила и унесла возок.

Сенька коротко глянул вслед и повернулся уходить. Из мокрой полутьмы кто-то

---

<sup>80</sup> Съезжая изба – канцелярия воеводы.

шагнул к нему. Этот кто-то, в армяке, шайке шлыком – признак не простого рода, – бородатый, с длинными кудрями, сказал:

– Брат Семен!

У Сеньки дрогнуло внутри, голос напомнил Таисия– Тимошку, учителя из Иверского монастыря. Воспоминание странно очаровало. Сенька, поднимаясь на крыльцо, глядел на идущего сбоку, не узнавал лица:

– Ты ли, брат Таисий?

– Видом не тот – делами он, Таисий... Ой, грех, брат Семен! Стал ты саянником – сарафанником бабьим... Уговор забыл?

– Какой?

– Быть в миру заедино!

– Меня тогда монахи заковали... Патриарх призвал, расковал, дал я слово служить ему, сколь сил хватит.

Сенька не остерегался и не оглядывался, но слышал, как трещит от многих шагов лестница.

Тимошка колдовал над ним воспоминаниями, он чувствовал свою власть над Сенькой, поднимаясь вместе с ним в патриаршу палату, попрекал:

– Сатане в зубы пошел мой труд! Никону довел на себя и старцов иверских про пожар и цату богородичну напрасно. Тебя лишь не марал, а ты, чую я, ушел от меня навсегда?...

– Знай и ты, Таисий! Меня за твои дела ковали... причислили к святотатцам, смерть предрекали...

Когда Сенька вошел в сени, сел на лавку с Таисием, тогда опомнился – он увидел, что следом за ним вошел огромного роста поп в кропаной рясе, с большим медным крестом на груди, за первым влезли еще два попа, таких же полупьяных и оборванных.

– Не входи! – крикнул Сенька, вскочив на ноги. Первый поп нагло ответил:

– Ого, миляк! Дал шубу, скидай и армяк. Не своим и злым голосом Сенька сказал:

– Побью, как псов!

Тимошка, боясь, что попы испортят ему ловко начатое дело, крикнул:

– Подождите входить!

– Пошто, Таисий, навел бродяг?!

– Брат Семен! Чуй, пришли мы...

Большой поп не выждал конца Тимошкиной речи, выхватил из-под рясы топор. Кончая речь Тимошки, заорал:

– С благословением отчим! – и шагнул вперед.

Когда сверкнул топор, Сенька кинулся к попу так быстро, что минуту видеть ничего нельзя было: сверкнул топор, мелькнули кулаки, поп упал навзничь, ударился головой в стену палаты, перевалился на колени, уронив топор, Сенька нагнулся быстро, еще сверкнул топор последний раз. Сенька обухом ударил попа в голову – у него вывалились оба глаза, повисли на кровавом лице, и поп распластался на полу обезображенным лицом вниз. Сенька оглянулся. Тимошки в сенях не было, в щели дверей мелькнула ряса одного из попов, а тот, третий поп, что остался, ползал на коленях по полу и, воздев вверх руки, восклицал:

– Не убий! Не убий!

Из теплых сеней неспешно раскрылась дверь. Никон в полном облачении стоял на пороге.

Крыльцо патриаршей палаты содрогалось, с грохотом вниз волоклись ноги – будто обвал камней с утеса.

– Отец! Святейший! Грабить пришли – мой грех – убил! Сенька уронил топор. Поп на коленях взывал к Никону:

– Святой отче! Кто почему, а я нищ, за милостыней! Ты щедроимец, праведный наш!

Сенька одной рукой встряхнул попа, как ветошь. У попа изпод рясы вывалились крест медный на порванной ржавой цепи и топор:

– Вор тоже! Патриарх сказал:

– Подойди ко мне, Семен!

Сенька подошел. Никон поцеловал его в голову, сказал еще:

– Заметом закрой сени... У иконостаса палаты, где колоколец, возьми ключ, отопри на северной стене дверь, вернись и забери этого попа, сойди с ним в подклет, сдай палачу Тараску... Я изыду к службе постельным крыльцом в государев верх, в переходах прикажу стрельцам дать к крыльцу палаты караул. Пададь в поповском платье, битую тобой, кинь за крыльцо. Вернись в хлебленную келью к столу, уложи боярина опочивать – я чай, упился он? Усни, меня не жди! Диакон Иван поздает, будет к утрене...

Патриарх, не входя в холодные сени, повернулся, ушел в Крестовую палату.

В хлебной от храпа боярина мигали свечи в шандалах. Голова его была на кресле, а ноги под столом. Сенька погасил свечи, оставив гореть один неяркий масляный шандал. Тяжелого боярина в расстегнутых малиновых портках, шитых по швам до голенищ жемчугом, он перенес на софу, положил навзничь. Не снимая с боярина ни сапог, ни кафтана, оставил. Погасил лампы у образов, боясь пожара. Боярин лежа засвистел, заулюлюкал, как на охоте по зайцу, сжал кулаки и, раскинув руки, ноги, потянулся так, что захрустели кости, Сенька, уходя из кельи, подумал:

«Все едино, что на дыбу вздет!...»

У себя Сенька разделся до гола тела, поправил заскочивший за спину материн серебряный крест и, хотя не верил после Тимошкиных сказок ни в кресты, ни в иконы, крест с ворота не бросал. Раздеваться и мыться на ночь обучил патриарх, когда оглядывал его тело, чтоб в дом патриарший болезнь какая не попала. Патриарх нашел, что Сенька добролик, а телом могуч и чист, но мыться на ночь благословил и тело его в грудях помазал церковным маслом...

В углу из медного рукомыльника умыл лицо, руки, грудь. Крепко утерся рушником, надел чистую хамовую рубаху длинную, почти до пят, подошел к иконе, поправил огонь большой лампы, отошел, не крестясь. Крестился он и поклоны отбивал только для виду. Чтоб лучше слышать приход патриарха и помочь ему в ложнице, дверь кельи своей не запирает. Ложась, подумал о Тимошке:

«Для ради денег на грабежи пошел... а я вот убивец!» Руки были вымыты, но Сенька оглядел их, ждал шагов, слушал. Уснул неожиданно, будто с горы упал в мягкую тьму. Спал без снов, долго ли, коротко – не знал. Потом приснилось страшное и соблазнительное, из сна объявилось явью.

К постели его в темном армяке, в кике с алмазами пришла женка, двинув грудью, плечами, уронила армяк, сняла кикку и опустила туда же на пол. Упали длинные, лисьи волосы, засверкали будто огонь... тело нагое до блеска гладкое. Села к нему на постелю, сказала:

– Ты спишь, холоп?

Сенька в удивлении подвинулся и приподнялся вверх на подушках, ответил тихо:

– Сын стрелецкой... не холоп я...

– Едино, кто ты... уснуть не могу – горю вся... боярин хмелен и мертв до утра, употчевала его – хи! не сплю, маюсь, пожар во мне – полюби, усну тогда...

Сенька тронул себя по лицу, потом погладил ее нагое плечо, отдернул руку, подумал: «Не сплю?»

– Патриарх... страшусь его слова...

– Учитель мой? Он-то страшен тебе?

– Да... едино, что отец мой!

– Так знай же. Я... вольна над патриархом! Внимай: если укажу, поклеплю на тебя – любил меня, сильно взял, а ты и не любил вовсе... и я за позор попрошу у него твою голову, святейший сам подаст мне голову, как захочу, – в руках или на блюде – вот!

– Угрожаешь? Я смерти не боюсь...

– Пошто некаешь? Я хочу так! Знаешь – патриарх вверху, палач внизу... чего ты хочешь – смерти или любви?

– Тебя боюсь!  
– Я хмельна, но лепа! А ты?... Тебя заметила в палате за столом, в послугах... Она медленно, но упрямо склонилась на его изголовье и легла поверх одеяла.  
– Ты боязливой, богобойной?  
– Не...  
– Чего бояться? Нас двое – боярину мал чет...  
– Прельстишь, уйдешь навек, и гнев патриарха... в его палатах блуд...  
– Я за тебя... Прельстишь? Хи-хи-хи... бояться не надо! Сенька хотел говорить, она не дала, целовала его, как огнем жгла губы, глаза, щеки...  
«Беда ежели, то к Тимошке и заедино с ним!»

Ни во сне, ни наяву таких женок Сенька не видал и будто опьянел – забыл себя, патриарха, даже ее всю не видал, видел только большие глаза, слышал ее вздохи, похожие на плач.

Она крепко спала, вытянувшись на его постели... голая рука с пальцами в перстнях висела с подушки. Сенька, положив голову к ее голове, у кровати на коленях стоя, будто в хмельном сне спал, ворот его рубахи распахнулся, оголилось могучее плечо, и рука в белом рукаве лежала на ее груди, другая была глубоко всунута под подушки. Губы их не прикасались, но волосы его спутались с ее волосами.

В сумраке желтеющем и трепетном, в золотой фелони, сияющей яхонтами голубыми и алыми, стоял над кроватью, слегка сторбившись, патриарх. Желтело лицо, поблескивала пышная борода, под хмурыми бровями глаз не было видно. Он не вздрогнул, не заговорил, только подумал:

«Окаянство твое, Ева, от змия древлего...»

У лампы нагорел фитиль, нагар упал, лампада слегка вспыхнула – по волосам сонной боярыни засверкали огненные брызги... Тогда патриарх шагнул к образу, на полу ногой толкнул кикю: «Брошена! Власы срамно обнажены» – и вскользь подумал о палаче... Взглянул на лик темный черного образа, занес руку перекреститься, но пальцы сжались в кулак. Никон дунул, потушил лампаду.

Патриарх, когда Сенька с дьяконом Иваном облачили его в торжественные одежды, вышел в палату, сел на свое патриаршее место:

– Иди, Иване, в сени, а тот, – указал на Сеньку, – останется для спросу... Уезжаю, надобно малоумного поучить.

Иван дьякон, положив перед патриаршим местом орлец, чтоб, когда встанет для благословения патриарх, то было бы по чину, благословился и вышел, плотно затворив дубовые двери в палату. Патриарх сидел, опустив голову, пока не вышел дьякон, теперь же поднял, погладил привычно бороду сверху вниз, взглянул на Сеньку сурово; тихо, но голосом недобрый заговорил:

– Поп, кой дан был тобой палачу, на дыбе сказал... – патриарх, держа посох в левой руке, правой из ручки кресла, из ящика, вынул желтый листок, запятанный кровавыми пальцами; читал негромко: «А тот парень, что убил распопу нашего вора Калину, с грабежником подьячим, кой вел нас и был в атаманах, – в патриаршей палате в сенях, первых с крыльца, сидел на лавке и ласково говорил с им... и помекнул я, подумал собой, что они с атаманом нашим приятство ведут, и, може, тот патриарший служка наводчик сущий. Пошто тот парень Калину убил и нас не пушал, того не вем... А сказался тот подьячий, кой был у нас в атаманах, – Иверского монастыря беглой чернец... имя свое нам проглагодал на сговоре, кое было на царевом кабаке на Балчуге, а сказал: „Зовусь-де Анкудимом, грамотой-де вострой гораздо и нынче сiju Посольского приказу в дьяках...“ Писал сие, снятый с дыбы, без лома костей и ребер, привожженный к огню и допрошенный с пристрастием безместной поп Данило с Ильинского крестца своею рукой. Показую все истинно, положи руку на крест святой».

– Чернец Анкудим ведом мне – не раз приносил из Святозерского челобитные... Хром, мало горбат и стар – не он был!

– Святейший патриарх, тот атаман был Таисий, он же Тимошка.  
– Так и я знал! Пошто вошел с ним в сени?  
– Великий патриарх, отец!... Сам не ведаю, как изошло... – заговорил он, – и будто сон пал на меня...

Сенька видел, что брови патриарха еще больше сдвинулись.

– Как же так? Святотатец, супостат государев и всяческий вор дружбу с тобой ведет?... Улещает, и ты послушен ему – не мог взять его, дал утечи!

– Великий государь патриарх! Был я один – с ним же по разбойному делу попы крестцовские, взять не мочно было, и оружие под рукой не сыскалось – убил грабителя их же топором...

Патриарх задумался. Помолчал, заговорил еще тише:

– От сих мест, может быть, ты и оправил себя, а что наводчик ты, в то не верю... одно в тебе неоправно – вор, безбожник прельщает тебя, как и в Иверском... Прелесть его хитростей укрощает твою силу...

– Я как проснулся, меня покинула его прелесть, когда вошли бродяги...

– Теперь о снах! – Патриарх снова как бы задумался и, подняв голову, стуча негромко, дробно посохом в пол, заговорил зловеще. Сеньку проняло холодом.

– Скажи... если бы раб прокрался в ложницу государеву, и блуд бы совершил с женой царя, и его бы уловили? Что, скажи, уготовать тому рабу?

Сенька молчал, щеки загорелись, он потупился, патриарх продолжал:

– Казнь! Жестокая казнь! Не подобно ли тому рабу, что содеял ты прошлой ночью под моим патриаршим кровом?

– Великий государь патриарх! Спал я, взбудила меня женка...

– Жена боярина, холоп!

– Сказала мне...

– Говори, как на духу, – что сказала она?

– Сказала, великий государь: никого нет, нас двое – вверху патриарх, внизу палач, так поклеплю на тебя патриарху, если не полюбишь, и даст он мне твою голову на блюде или в руках принесет...

– И ты поверил ей?

– Я не испугался, но поверил...

– Ты не поверил в меня, поверил ей! Теперь так: хотел тебя взять с собой, но за тот и другой грех – не возьму! Не взял и оставив тебя на Москве, укажу тебе – изымать того вора Тимошку, сдать палачу, как сдал попа... в подклетах палаты места довольно... Вернусь, призову наплечного мастера, он тебе сошьет красную рубаху и черный кафтан, и станешь ты заплечным мастером, а топор тебе подберем!

Сенька упал ниц перед патриархом:

– Великий государь святейший патриарх! Не могу я стать палачом.

– Ты будешь тянуть твоего учителя на дыбе за то, что не убоился мою душу на дыбу вздеть! Замарал любовь мою... Я дам тебе лист с моей печатью и подписом, с тем листом пойдешь искать крамольника Тимошку, и еще: зайдешь в дом со стрельцы к боярину Борису Ивановичу Морозову – снимешь у него с божницы спасителя фряжского в терновом венце и унесешь сюда.

– Боярин Морозов большой, государев... и как в его дому по тому указу, святейший отец, чинить учнем, а он будет дратца?

– Не своевольство или наход – мой закон! Чини, если надо будет, сильно, зови в хоромы стрельцов, в ответе за то я, божиею милостию святейший патриарх всея Руси Никон! Тот лист с моею печатью и подписом найдешь завтра здесь! Жить будешь там же... беречь палату и кельи по-прежнему с Иваном диаконом.

У Сеньки горела голова, холодели руки, он хотел уйти, но патриарх не кончил наказа ему. Встав с кресла на орлец, спросил Сеньку, поднимая гордо голову:

– Веришь ли мне, что я, великий государь и патриарх, всемогущ?

– Верю, владыко...

– Десница моя выше и крепче царевой, ибо за меня бояре, стрельцы и иные служилые люди и попы... Ежели укажу кого сыскать, то сыщут, хотя бы тот, кого ищут, в землю закопался...

Сенька умел сказать невпопад, за что в детстве был много бит матерью Секлетеей... теперь, будто и не слыша патриарха, проговорил:

– Блуд мой – незаменимой грех! Только с кого искать похул дому твоему, великий патриарх, когда под домом ежедень пытка, а иное и казнь?

Патриарх застучал посохом в пол, гневно сказал:

– Для супостатов моих и великого государя иной храмины искать не надобно, ибо суд царев в палате идет! Тебе же в назидание еще скажу: ежедень ты у часов Спасских зришь вверху и округ болванов, стройно уделанных, с удами и очами яко люди, наряжены те болваны в платье: мужие – в кафтаны scarлатны, женстии – в кики, распашницы и саяны<sup>81</sup>... Они будто живы, ноне говорят... Наряжены сии болваны в платье на тот древний обычай, «что болвану не подобает, как и человеку, срамной наготою прельщать...» Поясню притчу: ежели ты, холоп, хоть един раз придешь еще к той боярыне ради блуда и сыщется про то допряма, то знай, что я тебя уподоблю единому из идолов той Фроловской башни. Палач оставит тебе все уды целостными, кроме единого, потребного чадородию... Подойди – благословлю! Уйдешь, буду молиться на путь...

Сенька благословился и вышел.

Боярин Никита Зюзин сидел один, ел баранину пряженную с чесноком, запивая тройной водкой, настоянной с кардамоном.

Боярину прислуживал юркий дворецкий, человек средних лет, с жидкой русой бородкой, с красным носом, плоско нависшим над верхней губой.

– Ты, холоп! Я чай, повар Уварко хмелен нынче?

– Есть грех, боярин! Мало-таки хмелен, только в та поры не сподручнее, бойчее...

– Гм, бойчее? Ты гляди за ним, чтоб телятины в пряженину не сунул.

– Спаси, господь! Что ты такое молвишь, боярин? Да телятины на всех торгах с собаками не сыскать... Уварко не таков, чтоб погань совать господину в зубы.

Боярин выпил большую серебряную стопу водки, крикнул, подул на ломоть хлеба, сунул в рот кусок баранины, прожевав, заговорил:

– Потому пихнет, что, как падаль, телятина идет за грош! – Да и баранина копейки малой стоит. Нет, боярин, Уварко не таков!

– А что мой медведь последний? Двух псов, мохнатой черт, задавил тогда – сам того не стоит... Эх, и псы были!

– Смурой... сидит на цепи, не ел долго, нынче зачал, должно, голод – не тетка.

– Добро! Пуцай сидит в подклете.

– Дух от его худой идет, боярыня бранилась, в светлицу худой дух заносит!

– Боярыня! А седни что делает она?

– Почивает... все не может отоспаться с пиров святейшего, завсегда так, а нынче еще пуще сонна...

– Ты ее девкам скажи: боярин кличет. Да чтоб долго не белилась, пускай ее наскоро окрутят. Ты же поди на поварню, принеси на стол остатки яства и уходи... боярыня послужит... Годи мало! – Слуга приостановился. – С Уварком на поварне берегись бражничать, закинь! А то он черт знает чего в яства запечет.

– Спаси, господь! Мы, боярин, бражничаем с ним на досуге...

Слуга ушел.

– Ах, Малка! Малка... – Боярин еще выпил водки, потом, пододвинув ендову с крепким медом, потянул всей утробой через край, как иные пьют квас. – Доброй мед! Инбирь в ем и

---

<sup>81</sup> Саян – сарафан особого покроя.

еще?... Доброй, черт возьми, мед! Эх, Малка-а! – Боярин стукнул мохнатым кулаком, дрогнул дубовый стол, на столе енды с медами заколыхались, серебряная стопа, подпрыгнув, упала на пол.

Слуга вернулся с кушаньем, поставил, убрал кости, одернул складки сарпатной<sup>82</sup> скатерти, устроив все в порядке, поклонился боярину, пошел, но, подняв с полу стопу, поставив ее на стол, еще оглядывал: нет ли-де беспорядка?

– Уходи, холоп!

Слуга исчез, как и не был.

Боярин по старой привычке никнул к столу мохнатой головой, подложив под бороду тяжелые кулаки, щурился, будто дремал. Ждал.

Боярыня пришла, легко ступая, подошла к столу в розовой распашнице из веницейской тафты. Широкие рукава распашницы с вошвами<sup>83</sup> червчатого бархата.

Боярыня высока ростом, статна, на ее красивой голове кика с жемчужными рясами, под кикой – волосник с заушными тяжелыми серьгами. Сегодня она не белилась, лицо и без того бледно, глаза большие, светлые, веселые.

– Здравствуй, господин мой! Звал, аж допочивать не дал... Вместо приветствия боярин зарычал медведем, вскочил и замахнулся обоими кулаками.

– Убью, лиходельница!

Боярыня слегка пригнула голову и, будто танцуя, глядя на носки бархатных башмаков, отступила, пятась к двери:

– Убьешь голову – руки, ноги иссохнут, боярин!

– Малка! Ты... змея...

Боярин тяжело упал обратно, дерево скамьи крякнуло, спинка скамьи, крытая зеленым ковром, трещала, боярин ворочался, вытаскивая из зепи<sup>84</sup> порток бархатных, синих с узорами, письмо, скрученное трубкой. Большие руки дрожали, голос хрипел и срывался – боярин, развернув цедулу, читал:

«Друже, Никита Алексеевич! Благословение тебе, боярин, мое, патриаршее, из пути в Вязьму...

Боярин, не впусе предки наши нарекли женщину по прелестям ее сосудом сатанинским и по домострою учить ее повелели, смиряя в ней разум робячий, и указали закрыть лепотные тела ее обманы в ткани шелковые или же ряднину суровую. Малка, жена твоя, книгочийка и учена от моей мудрости, но женстя хитрость не равна мудрости мужей, законами правды согбенных... инако сказуем – выше всех мудростей и благ ценнейших, жена, от Евы праматери изшедшая, любит блуд! Да ведомо будет тебе, боярин Никита, что содеялось той ночью, когда спал ты хмельной гораздо в нашей хлебной келье: Малка боярыня блудила с моим постельничим и ризничим<sup>85</sup> Семкой.

Сам я ее зрел срамно обнаженну, без рубахи! Власы блудницы, грех молыть, распущены были поверх наготы ее. Главы покров покинут был у ложа! И тебе бы, боярин, друже, помня власть свою и ее женстее дело и чтя жену яко младеня, поучить бы плеткою. Беды от того не бывает, но память малопамятному уму вложить довлеет. И так бы я содеял с ней, вздев в рубаху хамовую, мокрую, и посек бы без людей в спальне ее. Скрозь мокрое тканье ран, а паче рубцов на теле не бывает, то ведано мной, не единожды было пытуемо...

---

<sup>82</sup> *Сарпатная*, т. е. серпянка полосатая или клинчатая.

<sup>83</sup> *Вошвы* – вшитые цветные лоскуты.

<sup>84</sup> *Зепь* – карман.

<sup>85</sup> ...с моим постельничим и ризничим... – постельничий – прислужник в спальне, ризничий – в ризнице, т. е. комнате, где хранились церковные облачения и утварь.

Всяко лишь силу свою умерь, себя не возожжи и на плеть налегай не шибко! Никон».

Бледное лицо боярыни порозовело, она сказала негромко, шагнув к столу:

– Он меня указывает плетью бить? Он, кой меня увел от честна мужа, кто первый обнажил мою наготу от волос до пят, шадил лишь кичу на голове, а обнаженны груди и брюхо мазал маслом, крестил и... клал на свое ложе... да, все...

– Малка! Умолчи, умолчи же! – Боярин приник над столом, скрыл глаза.

– А, нет! Если разожгли – вот... Брата Григория Зюзина сняли с воеводства, били кнутом по государеву указу... да разве быть Григорию силой в брата Никиту?... Кто помогал Григорию сильно брать казну государеву, напойную, грабежом у голов кабацких и целовальников? А пошто Никиту не били? А пошто Никита покрыт и кем покрыт? И за што покрыт?

– Умолчи, змея!

– Святейший, он второй государь! А дары? Соляные варницы, поташные, будные обжиги... боярин Никита знает, за что ему те дары?...

Боярин поднял голову, кулаками стукнул в стол и крикнул:

– Замолчи! Уйди от меня! Бить тебя не буду, но ежели прилучится захватить в твоём терему какого-либо шиша, то обоих вас свяжу и кину на яство медведю живых, как царь Иван Васильевич досель наряжал.

Боярыня ушла. Зюзин принялся пить меды хмельные, мешая с водкой, ворчал под нос:

– Ума не занимать святейшему, а вот поди – должно, ревность и умника дураком ставит?... – Поглядел на свои лапы боярин, подумал: «Таковыми клещами только медведей брать добро, жену, да еще любимую, да еще умницу... нет, патриарх, нет!... А ну-ка, поглядим, как там полоняник?» Боярин встал.

Зюзин, хмельной, но твердо и тяжело стоящий на ногах, вошел в безоконный подклет к медведю. Было темно и вонюче, только калеными угольками горели в темноте глаза зверя.

– Гой, доезжачий!

– Тут я, боярин!

– Огню дай, да прихвати кожаные рукавицы с завязками у пястья, да чуй – гуж сыромятной дай!

– Даю, боярин!

В синем кафтане, зеленеющем от огня двух факелов, в иршаных желтых сапогах осторожно вошел малобородый доезжачий. Он воткнул факелы, вонявшие копотью, за жердь, приколоченную к стене с зарубами для гнезд огню. Подал боярину, вытащив из-за кушака, рукавицы и длинный гуж. Медведь зарычал, звеня цепью, встал на дыбы.

– Берегись, боярин, ударит зверь!

– Крепко бьет?

– Да зри – пол выдрал корытом, ежедень щепу отгребаем, уносим...

– Ты, советчик, поди к столу, где ел я, мясо там есть и кости – неси сюда!

Доезжачий где-то прихватил решето, в решете принес кости с кусками баранины. Боярин натянул на руки кожаные рукавицы, шагнул к зверю и крикнул:

– Го! – сунул зверю кусок мяса.

Зверь поднял лапу ударить и опустил, фыркнув носом, жадно схватил кусок, сглотнул не жуя.

– Го, – другой кусок протянул боярин.

Зверь схватил кусок уже не так быстро и жадно, потом переданные в решете кости выбрал лапами, как человек, дочиста, иные грыз, иные проглотил не жуя.

– Филатко! Скажи Тишке, чтоб кормил зверя, – голоден! – и пить ему в корыте ежедень давать...

– Он, боярин, когда наестца, то озорничает, – ответил доезжачий, – пол рвет, рычит да цепью брякает на весь дом, чует, что собаки на псарне заливаютца, и пуще тамашится... сторонись – ударит!

Медведь занес лапу, ударил, боярин отвел удар. Зверь разозлился и быстро снизу вверх



мазнул лапой, но боярин и этот удар отвел.

– И-и... ловок, боярин!

– Ты что же, скотина, не зришь хозяина?! – Боярин разозлился. В злобе Зюзин был дик, зорок и быстр. Он сдернул с плеч кафтан прямо в навоз на полу, взмахнул гужом перед глазами зверя, зверь присел, отвернул морду, а Зюзин уже сидел на медведе верхом. Медведь еще ниже присел и засопел злобно.

– Гей, Филатко, подразни его!...

– Ужо, боярин! Я рогатиной... – Доезжачий вывернулся из подклета.

– Годи да жди! Он те в то время переест руки, ноги... – ворчал боярин, вдавливая гуж в пасть зверю. Вдавлив, завязал узлом на шее сзади.

Доезжачий пришел с рогатиной. Боярин, косясь на него и загибая упрямую лапу зверя, надел рукавицу, затянув ремень запястья.

– Ослоп принес на черта! – Загнул другую лапу медведя, сделал то же. Потом отошел спереди, взял за цепь, поставил медведя на дыбы. Обхватил свободной рукой зверя, сказал:

– Будешь ужо и хозяина почитать! Филатко, зови парней – выгрести навоз и соломы чтоб...

Боярский кафтан подняли, навоз выгребли, настлали соломы, принесли корыто с водой...

– Уберись! С цепи спушу!

Зверь дрожал и злобно вертел головой, чая себе беды.

Холопы ушли. Боярин с цепи не спустил медведя, но гуж с него развязал и рукавицы сдернул.

– Ништо! Так мы с тобой повозимся, будем приятство вести, тогда с цепи спушу, плясать заставлю...

Доезжачий, стоя у двери, глядел, и странно и страшно казалось ему, что зверь боярина не ударил и зубом не тронул, а только косился, ощерялся, как собака.

И еще доезжачий про себя смеялся – боярин ушел из подклета, весь обваланный медвежьим навозом, шерстью тоже. На дворе Зюзин заорал во всю глотку:

– Холопы! Баня как?

– Готова баня, и пар налажен, боярин! – ответил чей-то голос в узкое окно повалуши.

И еще спросил боярин:

– Сорочка и рухлядь чистая есть ли?!

– Все есть – мойся на здоровье!

– Чтоб парельщиков, да смену им сготовить! – И про себя сказал: – Эх, сегодня запарюсь до ума решения!...

Боярыня Малка знала повадки мужа: когда разозлится на нее, то либо на охоту уедет, или уйдет на псарню. Забавляется со псами до глубокой ночи, а после в баню залезет и там же в бане заночует до утра. Квасу, ему туда носят со льдом, а то и меды хмельные, тоже стоялые на льду.

Боярыня, как лишь смерилось и зазвонили ко всенощной, покликала сватьюшку. Так прозвали сенные девки приживалку в доме боярина Зюзина.

Когда явилась сватьюшка, боярыня угнала девок к себе.

Сватьюшка играла роль добровольной дурки (шутихи). Она же по торгам и людным улицам собирала всякие вести – боярыне пересказывала. Одета была сватьюшка в кармазинный темный армяк, шитый по подолу кружевом золотным, а по воротнику и полам – шелками в клопец и столбунец<sup>86</sup>. Под армяком – саян на лямках, усаженных соврулинами голубыми. Саян черной, плисовой. В шапке – вершок шлыком, а на маковке вершка – бубенчик серебряный.

– Сватьюшка, что я тебе молвью...

---

<sup>86</sup> *Столбунец* – вышивка особого узора.

– Не ведаю, боярыня светлоглазая...  
– Прискучил мне муж мой богоданной, укажи – что делать?  
– Ой, боярыня, чай, сама ты без меня лучше ведаешь, что делать... только молвю: пора ему, медведю мохнатуму... тьфу ты! говорю неладно... пора прискучить... Жену мало знает – зайцев гоняет да девок в избы загоняет, золотом дарит и с любой спит...

– Ну так вот! Наглядела я молодца из окна с крыльца – хочу с ним любовь делить...  
– Ништо! Сердце зори, да не проспи зари, боярыня!  
– Ох, и хитрая ты! У тебя слова краше моих – укладнее...  
– С зарей, светлоглазая горлица, люд честной шевелитца, поп отзвонил да за питье садитца... Помни, дочь, ночь, любовь через край не пей... к дому поспей... утречком, ежели придет боярин с охоты, о жене заботы... грабонет да глянет, чтобы постелька была нагрета – вот те все спето!

– Ох, все-то она понимает... Сватьюшка! Дай-ко мне вон там из сундука, что под коником<sup>1</sup> стоит, кованой, чернецкую одежду. Черницей наряжусь, куколом черным кикю закрою, да башмаки черные, мягкие дай...

– Все подам, боярыня, окрочу, обверчу – только личико умыть потребно, черницы, горлица, не белятца, не вапятца, под глазками подчерним да тоненько угольком морщинки намажем...

– Нет, сватьюшка! На ворону походить не мыслю... в сутемках сурьму кто разберет?...  
– Твое то дело, разумница... учена от меня и будет! Давайко крутиться, рядиться...  
– Еще вот там, у зеркала, в ящичке, сватьюшка, патриарший змеевик<sup>2</sup>, византийской с архангелом, подай, а то забуду... и неравно стража, а мне Кремлем идти.

– А пошто он страже надобен?  
– Знак патриарший... стража знает его, не удержит... Проводи, ключи есть у тебя, запри дверь... у меня два ключа, к своей и патриаршей палате...

– Поди, поди, моя светлоглазая... Надо ежели, то постерегу... Помочь раздеться?  
– Ну... разденусь сама – не пекись...

– Да будет тебе, моя горлица, пухом дорожка уложена... Боярыня ушла задним крыльцом. Сватьюшка заперла за ней дверь на ключ, подымаясь обратно лестницей, думала: «Муж за делами да забавами... молодой, пригожей пошто тайком не погулять... И царевны наверх, уж крепко их держат, а чернцов да уродов зовут в рядне, в веригах, скинут рубища да хари писанные, глянь – под ними молодцы – веди в терем!» Потрепала себя шутиха за бородавку большую на подбородке и тихо вслух сказала:

– А коя боярыня явно мужа в блудном деле сыщется, той плетка по телу холеному...  
Боярыня дверью под крыльцом вышла, прошла дверкой сквозь тын... На дворе в дальнем углу залаляли собаки и скоро утихли.

На ширине кремлевской площади боярыне жарко сделалось.

**1 Коник – конец лавки.**

**2 Змеевик – плоский медальон, с одной стороны архангел, с другой – змея.**

Она потрогала на груди под покрывалом змеевик: «Недаром тебя византийцы сочли талисманом... он, он горячит...»

За кремлевской стеной, в стороне Москвы-реки, далеко полыхал пожар – мутно розовели главы кремлевских церквей, зубцы стены то рыжели, то вновь становились черными.

В Кремль чужих не пускали, но в Успенском шла служба для бояр и служилых людей. В тусклом свете чернели, шевелились головы...

– Бояре у службы, неладно, если кто увидит. А, да я – черница! Наряд свой забыла, будто хмельная...

Прошел, мутно светя остриями бердышей, стрелецкий караул, на женщину в черном не обратил внимания.

Когда отпирала тайную дверь на лестницу в крестовую палату, Малке стало холодно:

– Иду незваная... и имени не знаю, к кому иду...

Смутно помнила, что лестница приведет ее в коридор, туда, где кельи.  
В коридоре у самых дверей со свечой в руках встретил ее патриарший дьякон Иван.

– А... боярыня! Разве того тебе не сказано, что святейший уехал?  
– Не к нему пришла я... Вот возьми и молчи!

Боярыня сняла с пальца дорогой перстень. Дьякон отстранил ее руку:  
– Посулов не беру... Кого надо тебе?...  
– Не тебя! Но вас тут двое. – Семен спит.  
– Вот его дверь... я войду к нему.  
– Нет, не можно. Святейший знает все!  
– Я ничего и никого не боюсь! Боюсь преград на пути моем... Берегись, диакон Иван Шушерин! Моя власть выше твоей.

– Твоей власти, боярыня Меланья, не боюсь я!  
– Ты берегешь меня, как эвнух, для ради святейшего?  
– Нет! Берегу отрока от грозы и кары! Ему и так дана работа свыше сил... Ты не помышляешь, что будет с парнем, если еще раз соблазнишь его?  
– Пошто знать, что будет со мной, с вами завтра? Так я хочу делать сегодня! Разве мы не во мраке ходим? Завтра ни ты, ни я не знаем. Чего ты сторожишь его? Он не женщина...  
– Да, но через тебя зачнется так, что он перестанет быть мужем. Уйди, боярыня!  
– Ты несчастен, Иван! Иссох, глаза впали, волосы ронишь, скоро будешь плешат... Тебе завидна любовная радость других?  
– Нет, боярыня, я счастлив... У меня любовь – книги, иму борзописание, я благословлен в своей доле.  
– Послушай мало, Иван диакон! Не будем врагами... я не пойду к нему, но ты разбудишь его, он меня доведет к дому – одной опасно.  
– Дай слово, боярыня, не увлечь к себе парня.  
– Слово тебе даю, – отпустить его вскорости. Дьякон разбудил Сеньку.

Не доходя тына, боярыня сказала Сеньке:  
– Погаси факел! Здесь молвим слово...  
– Чую тебя, боярыня.  
– Завтра, Семен, когда ударит на Фроловской час с полудня, приходи на Варварский крестец в часовню Иверской. Буду одета черницей...  
– Прощай, боярыня, приду!  
– Чтоб ты не забыл, дай поцелую.  
– Ой, то радостно, да боюсь...  
– Бояться не надо! Вот! Ну, еще – вот! А теперь – идешь ко мне?  
– Нет... слово дал Ивану.  
– Ивану твоему колода гробовая и крест! Не забудь – завтра...  
Боярыня скрылась в темноте.

Утром Сенька справился в путь по городу. Диакон Иван сказал:  
– Жди мало... Святейшему по сану его не дано опоясывать себя мечом... едино лишь меч духовный дан ему, но у него имеется келья под замком – ключ тоя кельи у меня...  
– Какая та келья, отец, и пошто она?  
– Оружейная келья... Святейший дарит из нее бояр и детей боярских патриарших тем, что помыслит... Пойдем в нее – тебя он благословил двумя пистолями.

Войдя в келью узкую с узким окном, Сенька увидел на стенах сабли, бердыши, пистолы. На длинном столе тоже разложено оружие.  
– Вот твоё, Семен! – сказал диакон. Сенька потрогал подарок, отстранил:  
– Чуй, отче Иван, благослови взять вон ту палицу!  
– Не можно... боюсь рушить волю патриарха.  
– Пистолы заряжать долго, кремни, зелейный рог, свинец беречь надо, пойдем – ничего не беру я!  
– Экой парень! Ну что тебе люб шестопер?

– У него, шестопера, вишь, рукоятка с пробоем, в пробой ремень петлей уделан, будто для меня... подвесить у пояса под кафтан – и добро!

– Дурак ты! Пистоль пуще устрашает, к пистолю не всяк полезет, к шестоперу с топором мочно, он не боевой, а знак военачалия... Што с тобой – бери, коли потребует господин – вернешь.

– Едреной он, харлужной! Вот те спасибо...

– Не зарони... еще вот – это от меня. – Иван подвел Сеньку к сундуку под окном, большому, окованному по углам железными узорами. – Тут, парень, пансыри... под кафтаном не знатно, сила у тебя есть такую рубашу носить – будет она тебе замест вериг...

– Пошто мне, отец Иван?

– Берегчись надо... могут ножом порезать сзади, а мне жалко тебя... – И как бы про себя прибавил диакон: – На трудный путь послал отрока господине наш!

– Уж разве угодное тебе створить? Дай, отец, вон тот, что короче, с медным подзором.<sup>87</sup>

Сенька, сбросив кафтан, надел кольчугу. Под кольчугой – она была короткая – по рубахе натянул ремень, к ремню привесил шестопер. Повязался голубым кушаком по скарлатному розовому кафтану.

– Добро, Иван! Диакон перекрестил его:

– Мир болеет, и злой он! Иди в него, отрок, яко да Ослябя инок.<sup>88</sup>

Они обнялись, Сенька ушел...

Чем ближе подходил он к Варварскому крестцу, тем сильнее била в голову кровь, и весь он раскраснелся. В ушах звенело. Сенька боялся, что не услышит Спасских часов. Он думал и не мог прибрать мыслей-что отвечать ей... боярыне, что? «Манит... и я не могу терпеть без нее... Беда от патриарха! А ну, уйду с Тимошкой!»

Время тянулось долго... Потом ударило на Фроловской башне получасье с полдня, и Сенька увидал, как высокая черница с лицом, повапленным белилами да сурьмой, вошла, помолвившись, в распахнутую часовню, зажгла свечу к образу Спаса.

Он подошел к дверям. Она, едва сдерживая себя, шагнула к нему... В дороге боярыня спешила больше и больше. Когда не было встречных, ловила его руку тяжелую, непослушную и прижимала к своей груди. Рука его содрогалась от ударов ее сердца. Они ничего и никого не замечали, а навстречу им шли люди с носилками, на носилках лежали, стонали больные, носилки приносились к ближней церкви, ставились у паперти, выходил из церкви поп с напутствием, бормотал отходную. Заунывно звонили в разных концах города...

– Долго, долго! Ходить борзо не умею...

Обошли часть Кремля по-за стены, пришли в слободу Кисловку. В Кисловке жили царицыной мастерской палаты швеи и рукодельницы. Старая опрятная баба отперла им.

– Кто? Кого бог дает? Крещеные ли? Боярыня сдернула с кики куколь.

– Радость ты моя! Матушка боярыня! Вот кому молиться буду, как богу, о Феклушке сестрице...

– Горницу нам, Марфа! Да чтоб чужой глаз чей не видел...

– Ой, матушка, кому нынче доглядывать? Все текут к церквам, кто богобойной, а тот, кто лихой да бражник, – у кабака до сутевок... болеть кого куда гонит...

Они прошли в горницу. Старуха ушла, боярыня заперла дверь на щеколду. Спешно падали на пол черные одежды, а на черное – комком и боярское платье вместе с шитым золотом повойником.

– Ух, какая на тебе рубаша! Сколь звону в ней, сколь весу... Сенька стащил с плеч

---

<sup>87</sup> Подзор – низ, оторочка

<sup>88</sup> Ослябя инок —Родион (светское имя Роман) Ослябя монах Троице-Сергиева монастыря, вместе с Александром Пересветом сопровождал Дмитрия Донского на Куликовскую битву 1380 г. Умер после 1398 г.

панцирь.

– Семен! Месяц мой полунощный...

– Боярыня!

– Кличь Малка! Меланья... Малка, Малка!

– Ты как в мале уме...

– Хи, хи... Я и впрямь малоумна... от тебя малоумна, месяц мой!

Боярыня раскраснелась, будто кумач. Кармин да белила с нее наполовину сошли, притираньем замарало Сеньке щеки и губы.

Когда садились к столу, Марфа сказала Сеньке, помочив рушник у рукомойника:

– Оботрись-ко, счастливчик писаной! – И сама обтерла ему лицо.

Она с поклонами угощала боярыню гвоздишным медом, сахарными коврижками, вареньем малиновым, садилась не к столу, а на скамью в стороне, потом куда-то, хромя на одну ногу, шла, приносила настойки, фрукты в сахаре и говорила без умолку:

– Боярыня матушка! Беда с моей Феклушкой, лихо неизбывное... Бабила Феклушка царевичев Симеона да Ивана Алексеевичей<sup>89</sup> и царевен, она ж, Феклушка, коих бабила... и сколь годов вверх у царицы Марьи Ильинишны выжила... Ты кушай, пей – молодца потчуй... Экой он красавец!

– Смиреник мой... Не пьет, не ест, сыт любовью... Сказывай!

– И... и что злоклучилось! Феклушка, мать боярыня, с глупа ума взяла в мыльне государевой со сковороды царицыной гриб... завсе для царицы, царевен тож грибы в мыльне жарят, а то и лук пекут, а боярыня у жаркова да по банному делу была Богдана Матвеича Хитрово<sup>90</sup> жена, сказывать тебе нече – злая да хитрая, допросила Феклушку, потом царице в уши довела, царица указала: «Взять-де ее на дыбу! На государское-де здоровье лихо готовила». А то позабыла, что Феклушка двадцать лет при ей живет... да еще: «Поганая-де холопка, посмела имать яство с государевой посуды!» И бабуку мою Феклушку, мать боярыня, на дыбу подняли, у огня пекли – руки, ноги ей вывернули да опалили, волосье тож, а нынче сидит старуха за приставы и прихаживать к ей не велят... Попроси, матушка боярыня, святейшего, пуццей заступит, пропадет сестрица за гриб поганой...

– Худое дело, Марфа! Из пуста государево дело сделали. Пуще гордость тут царская: «Смела-де поганить посуду». Я попрошу за бабуку! Человека ниже себя родом за собаку чтут, и бояре оттуда ж берут меру почета и гордости – холоп, смерд не человек есть, пес и худче того, сами без холопей шагу не умеют ступить... наряжены в бархаты, а хмельны и будто пропадужина вонючи...

– Вот так, матушка боярыня, так...

– Бери, бабица Марфа, деньги! Это тебе за привет, брашно и уют...

– Ой, благодетельница! Пошто мне с тебя деньги? Благо, что другие дают... с них соберу – я уступаю иной раз горницы кое-кому попить, погулять, полюбовиться мало...

– Бери и молчи, как о других молчишь. Да берегись поклепа... поклеплют, и тебя на правеж<sup>91</sup> потянут...

– Пасусь, матушка, незнамых людей не пуцаю...

– Ну, мы еще пройдем наверх в горницу, побудем мало – и в путь.

– Пройдите, погостите, да задним крыльцом, благослови вас господь, в путь-дорогу.

---

<sup>89</sup> ...царевичев Симеона да Ивана Алексеевичей... – Авторская неточность: Симеон родился в 1665 г., Иван – в 1666 г., спустя несколько лет после описываемых событий.

<sup>90</sup> Богдан Матвеевич Хитрово (1615—1680) – боярин, заведовал рядом приказов, возглавлял посольство в Польше, участвовал в походах 1654—1658 гг.

<sup>91</sup> Правеж – Слово употреблено автором в значении «следствие», «расследование»; точное его значение – наказание, битье батогами, которому подвергались должники и неисправные плательщики податей.

Боярыня с Сенькой ушли наверх.  
 Боярин Никита Зюзин заспался в бане, а вышел-хватился боярыни.

– Зови, холоп!  
 – Ушла она, боярин! – ответил дворецкий.  
 – Ушла... в каком виде?  
 – Черницей обрядилась, ушла одна.  
 – А сватья?  
 – Дурка-т? Та в терему да в девичьей...  
 – Давай яство! Костей собери на поварне, мяса, кое похудче, поем, попью – медведя наведу... По пути кличь ко мне сватью!

– Чую, боярин! – Дворецкий ушел.

Сватьюшка пришла в новом наряде. На ней был шушун. Половина шушуна малинового бархата, на рукавах вошвы желтые, другая половина желтого атласа, а вошвы малиновые, на голове тот же колпак-шлык с бубенчиком. Чедыги на сватье сафьяна алого, на загнутых носках тож навешаны бубенчики.

Дворецкий принес любимое кушанье боярина – пряженину с чесноком.

– Садись, сватья, испей да покушай с боярином.  
 – Не хотца, боярин батюшка!  
 – Чего так?  
 – Не след сидеть дурке за столом боярина.  
 – Знаешь порядок, баальница!<sup>92</sup>  
 – Ой, боярин, да што ты, батюшка! Не колдовка я, спаси бог...  
 – Не баальница, так сводница... не впусе сватьей кличут, потатчица!  
 – И такого нету за сватьей...  
 – А ну-ка, сказывай, куда пошла боярыня Малка?  
 – Помолиться, боярин, нынче все к богу липнут...  
 – Расплодила вас, бахарей, Малка, нищие с наговорами ходят – ужо всех изгоню... к воротам поставлю ученого медведя, и будет он кого грабать, а кого и мять!  
 – Ой уж, а чем я тебе не угодна содеялась?  
 – Потатчица затеям боярыни... ну вот! Покуда боярыня спасается, ты мне потехи дуркины кажи, кувырнись, чтоб подолы кверху!  
 – Стара я, боярин, через голову ходить.  
 – Ништо! У меня вон медведь из лесу взят, вольной зверь, да чему захочу – обучу... Человека старого плясать мочно заставить. Ну-ка, пей!

Боярин зачерпнул из ендывы стопу крепкого меду.

– И, боярин батюшка... худо и так ноги носят, с меду валитца буду.  
 – Не отговаривай!  
 – Не мочно мне – уволь!  
 – Архипыч, – спросил боярин стоявшего у дверей слугу, – медведь кормлен?  
 – Не, боярин! Тишка ладил кормить, да ты от сна восстал, он и закинул: «Сам-де боярин то любит!»

– Добро! Должно, судьба – укормить зверя этой бабкой...  
 – Мохнатой бес, охальник, медвежье дитё – не боярин ты, вот кто!  
 – Лаяться?  
 – А то што глядеть? У меня, зри-ко, родня чутку меньше твоей – захудала только...  
 – Вишь, она захудала, а ты в дурки пошла, честь тебе малая нынче. Пей!  
 – Широк Ерема, да ворота узки – не вылезешь!  
 – Не вылезу?

Скамья затрещала под боярином. Сватьюшка замахала руками.

---

<sup>92</sup> Баальница – колдунья.

– Не вставай, не вставай, боярин!

– Пей!

Шутиха выпила стопу крепкого меду, закашлялась, утерлась полой шушуна, отдышалась.

– Все едино колесом не пойду!

– Шути, чтоб складно было, а то царь Иван Васильевич одного шута, как и ты из дворян, щами горячими за худую шутку облил да нож в бок ему тыкнул. Играй песни альбо стань бахарем! – Боярин, подтянув тяжелую ендову с медом переварным, глотнул из нее через край, утер усы и бороду рукавом бархатного кафтана, прибавил: – Играй песни!

– Ужли первой день меня чуешь? Голоса нету – хошь, кочетом запою аль псом завою... еще кошкой мяучить могу...

– Не потребно так, зачни бахарить.

– Вот то могу – сказывать, и не укладно иной раз, да мочно... Только дай слово боярское медведем не пужать!

– Черт с тобой, баальница, – даю!

– Тьфу ты, медвежье дитё.

Села сватьяшка на скамью в стороне, положила колено на колено, в верхнее уперла локтем, на ладонь прислонила щеку, поросшую бородавками, и начала негромко бахарить:

Шел по полю, полю чистому  
Удалой молодец, гулящий гулец...  
А пришел тот детина к столбу  
Тесаному, камню сеченому...  
А на том столбе на каменном  
Рукописание висит писанное, неведомо кем виранное...  
И читал молодец надпись реченную...  
«От меня ли, столба подорожного, Кой пройдет ли, проедет  
человечище,  
Стороной ли пройдет, едет шуйцею,  
Аль пройдет, проедет он десной страной —  
То по шуйцей стране быть убитому,  
По десной стране быть замученну,  
А как прямо пойдет, стретит бабицу!»  
Ухмыльнулся тому гулящий молодец,  
Ухмыляясь стоял, про себя гадал:  
«А и нет со мной меча булатного,  
Шелепуги<sup>93</sup> – клюки не случилось...  
Со крестом на шее бреду по свету.  
Мне со смерткой встречаться корысти нет,  
Мне мученье терпеть, лучше смерть принять.  
Да в миру молодец я грабал женушек,  
На пиру веселых, все приветливых,  
Так ужели во поле укатистом  
Ужилась какая баба пакостна?»  
И пошел молодец дорогой прямоезжею.

Боярин пил, ел, со стуком кидал под стол обглоданные кости. Сватьяшка будто вспоминала сказку – как дальше? Боярин крикнул:

– Зачала лгать, так кончай! Лги, куда пришел детина?

---

<sup>93</sup> Шелепуга – плеть, палка, дубина.

А идет молодец дорогой прямоезжею,  
Он бредет песком, в ногах шатаетца,  
Убрести боится в худу сторону.  
Шел он долго ли, коротко, то неведомо,  
Да набрел на стену смуру, каменну...  
Городной оплот детинушка оглядывал,  
За оплотом чьи насельники, не познано...  
Он гадал, судил, себя пытал:  
«Уж не тут ли моя кроется судьбинушка?  
Уж не здесь ли он, мой Китеж-град?  
Нету лаза к стене, нету мостика».  
У стены же овражек глубоконой,  
Да на дне овражка частич, тычины дубовые...  
Походил, посмекал и набрел на ворота высокие.  
В тех воротах стоит велика, широка баба каменна,  
И помыслил гулебщик удал-голова:  
«Вот-то баба, так баба стоит!  
Растопырила лядви могучие...  
Ох, пролезть бы до бабы той каменной?»  
Он позрел круг себя да и посторонь,  
Ни мосточка к ней нету, ни жердочки...  
«Как и всех иных, ждала и тебя...» – .  
Взговорила тут баба воротная...  
Шевельнулись губы тяжелые,  
Засветились очи углем в светце:  
«Всяк идет ли, едет, ко мне придет,  
От меня ему путь в самой Китеж-град,  
А из града того поворота нет —  
Там и пенье ему, там и ладаны...»  
Опустилась утроба камень-кремень,  
И еще сказала баба на последний раз:  
«Ты гони, скачи да ко мне вскочи!»  
Разогнался парень по сыру песку,  
Как скочил он к бабе через тот овраг,  
Как вершком главы он ударил в пуп,  
И убился смертно до смерти,  
Как упал он в яму на колье дубовое,  
Он пропал, молодец, без креста,  
Без пенья панафидного...

– И поделом дураку! Без пути не ездят, не ходят... Скамья затрещала. Сказав, боярин встал.

– Теки к себе, баальница! Не скормил медведю, да берегись, следи за боярыней, а нынче вот медведя с цепи спущу... Эй, Филатко! Огню дай.

Из сеней голос доезжачего ответил:

– Даю, боярин!

Боярыня шла медленно, шаталась. Сенька сказал! – Дай, моя боярыня, я понесу тебя!

– Нет, месяц полуношный, не можно, всяк встречной скажет: «Гляньте, мирской человек черницу волокет!» – и тут уж к нам приступят...

– Кой приступит, я шестопером оттолкну... Дай снесу, ты ослабла.

– Нет, не можно!... Скажи, Семен, мой боярин – он книгочий, гистории любит чести, а



ты грамотен?

– Я учился... в монастыре Четьи-Минеи<sup>94</sup> чел и еще кое-что... ведаю грамматику и прозодию мало учил...

– Вот ладно! А я так «Бову Королевича» чла-там есть Полкан богатырь, потом чла книжку, с фряжского переложенную, как и Бова, – в той книжке о полканах много писано, будто они женок похищали, и как их потом всех перебили, только по-фряжскому полканы зовутся кентаврами... Обе эти книжки – Бову и о кентаврах – узрел святейший да в печь кинул, в огонь, а мне дал чести «Триодь цветную<sup>95</sup>».

Не доходя Боровицких ворот, разошлись на толпу. Толпа все густела, были тут калашники, блинники, мастеровые каретного ряда, кузнецы и кирпичники, а пуще гулящие молодцы с попами крестцовскими. Один из крестцовских попов кричал, другие слушали, сняв шапки...

– Никон, братие, повелел кремлевские ворота запереть!

– То ведомо! Не Никон, боярин Волынской да Бутурлин<sup>96</sup>...

– Те бояре Никоново слово сполняют... они городом и слободами ведают по Никонову решению!

– Ишь ты, антихрист!

– В Кремле, братие, укрыта святыня, срачица христова, присланная в дар великому государю Михаилу Федоровичу от шаха перского.

– То ведомо!

– И нынче, братие, болеет народ, а срачица христова в Успенском соборе сокрыта, и туда люду болящему пути нет!

– Сломать ворота в Кремль!

– То своевольство! Бояр просить, Артемья боярина да Бутурлина.

– Поди-ка, они те отопрут!

– Они те стрельцов нарядят да бердышем в шею!

– А что я не впусте сказываю об исцелении от той срачицы господней, так вот она, древняя баба, и еще есть, кто про то скажет...

– Говори, старица!

Впереди толпы вышли двое: молодая девка, кривая, и старуха в черном. Девка заговорила, слегка картавя:

– С Углича я, посадского<sup>97</sup> человека Фирсова дочь, Яковлева, девица я, Федорой зовусь, и еще со мной старица Анисья... Не видела я, Федора, одним глазом десять лет и другим глазом видела только стень человеческую, а старица Анисья не видела очами десять же лет и в лонешнем году...

– Ты кратче молви, кратче!

– Обе мы в лонешнем году, на седьмой неделе, после велика дни, обвещались прийти к Москве в соборную церковь пречистые богородицы к ризе господней, и мне, Федоре, от того стало одному глазу легче, а старица...

– Была одноглаза – кривой осталась!

---

<sup>94</sup> *Четьи-Минеи* – собрание «Житий святых» русской православной церкви, расположенных в порядке поминания их в церковном календаре; составлено в первой половине XVI в.

<sup>95</sup> *«Триодь цветная»* – собрание гимнов и псалмов, предназначенных для весенних церковных служб; составлено в XIV в.

<sup>96</sup> *Бутурлин* Василий Васильевич (ум. в 1656 г.) – окольный. Одержал ряд побед над поляками. Приводил в подданство России Богдана Хмельницкого.

<sup>97</sup> *Посадский человек* – горожанин, записанный в тягло, т. е. обязанный платить подати и нести службу, записанную на посад.

– Высунь, батя, инога, кой скажет кратче!

– Вон он, говори, сыне!

Вышел бойкий русоволосый мужик малого роста, без шапки, заговорил, кланяясь перед собой:

– Я Новгородского уезду, государевы дворцовые Вытегорские волости...

– Кратче! Время поздает.

– Крестьянин Исак Никитин! Был немочен черною болезнью четыре года, кои минули от рожества Ивана Предотечи, учинилось мне на лесу, как пахал пашню, и мало тут меня бил нечистый дух...

– Ты и теперь худо запашист!

– Чего зубоскалите?!

– В огонь меня не единожды бросало – вишь, руки опалены... гляди, православные!..

– Впрямь так!

– Верим, говори!

– Ходил я, православные, ко пречистой в Печорской монастырь, и там мне милости божией не учинилось... И после того учинилась весть в великом Новеграде, что на Москве есть от ризы христовы милость божия, и я пошел в Москву полугодье тому назад, и пели молебен в храме Успения, и я исцелился, перестало бить!

– Вот, вишь, исцелился!

– И нынче исцелимся от срачицы той...

– Ворота в Кремль сломать! Сенька сказал:

– Лгет мужик! Дайте пройти, крещеные.

– Пошто лгет? Ты, боярской кафтан!

– Дайте пройти!

– Нет, ты скажи, пошто лгет?

– Не имай за ворот!

– А за што тебя брать?

– Лгет оттого, что в Киеве не помогло, а в Москве исцелился – не едина ли благодать господня, ежели она есть?

– Нет, не едина! Кремль вы, боярские прихвостни, заперли.

– Нам подавай ход к Успению!

– Он, робята, гляди, не один – черницу с собой волокет!

– Правда!

– Эй, черной шлык! Бога молитесь, а бес в боярском кафтане на вороту виснет.

Кто-то дернул боярыню по чернецкому куколю. Куколь соскочил на спину, под ним заблестел повойник, шитый золотом с жемчугами.

Пропойца поп, седой и грязный, заорал, указывая на Малку:

– Вишь, крещеные, для че надобны боярам чернецкие ризы! Для глума...

– Да штоб людей зреть, а себя не казать!

– Кончай с молодым! – сказал кто-то в толпе.

Из толпы выдвинулся низкорослый широкоплечий парень в валяной шапчонке, в епанче замаранной, шагнул к Сеньке, подскочив, ножом ударил его между лопаток. Нож прорезал кафтан, скользнул и согнулся. Сенька вполоборота наотмашь мелькнул шестопером, хрястнуло по черепу. Парень упал навзничь, засучил ногами, также дрыгала правая рука, блестел в ней нож с загнутым вбок концом.

– Убил?

– Убил Демидка, шиш боярской!

Сенька, подхватив боярыню на левую руку, махая правой, сверкая шестопером, гнал на стороны толпу.

– Чего зрим? Бей его, робята!

В толпе появился еще поп, такой же потрепанный, как и тот, что ораторствовал, крикнул:

- Пасись народ! Этот убил Калину, он патриарший служка!
- У патриарха, браты, бес из Иверского привезен!
- Ну-у?!
- Правду сказываю! Никон его в рукомошнике закрестил.
- То Иоанн Новгородской!<sup>98</sup>
- Никон тоже... сказываю...

Сенька унес боярыню в Боровицкие ворота.

Из караульного дома вышел навстречу им решеточный, но, увидав Сеньку, которого знал по приметам, ушел обратно. Сенька, пройдя ворота, хотел опустить боярыню на ноги, но она была в обмороке. Не думая долго, понес ее к дому Зюзина.

– Где ты нагляддел боярыню, паренек? – спросил ласково боярин, когда Малку слуги унесли наверх.

– У Боровицких! Зрю, шумит толпа, с боярыни ободрали чернецкие одежды и того гляди стопчут, а она едва жива... Я ее из толпы унес, а с ней худо...

– Так, так, добро. А как звать тебя?

– Пошто тебе, боярин?

– Как пошто? Такой старатель, да пошто?

– Семеном зовусь...

– Так, так... А не тебя ли зрел я у святейшего в хлебной келье? Питие нам разливал... кратеры с медом сдымал?

– Я – слуга святейшего.

– Так, так... угощал боярина с боярыней, да еще послуга нынче, оно все такое дорого стоит, пойдем ко мне, и я угощу! Эй, Архипыч!

– Чую, боярин!

– Принеси-ка нам с паренком меду да яства, какое сойдется...

– Чую, боярин, я митюгом, борзо!

– Садись, садись! Хорош, пригож... Не ровня боярину, старому, мохнатому, когтистому, едино медведю... Меня вон пакостница-дурка кличет «медвежье дитё»!

– Мне бы к дому, боярин! Я сытой...

– К дому? К дому поспеешь!

Подали мед, боярин налил Сеньке большую чару, себе тоже.

– Давай позвоним чарами! Родня ведь мы, да еще и ближняя родненька... Во-о-т!

Сенька, чокнувшись, выпил ковш меду, подумал:

«Этот, как святейший, знает все!»

Он мало ел за день, взял кусок баранины, жадно проглотил, кровь заходила по телу, Сенька решил: «Пуцай слуг зовет – узрит, что будет!» На боярина он посмотрел, как на врага.

– А ну – по другому ковшу!

– Мне, благодарение тебе, пить будет – к дому пора!

– Похвалил бы тебя за память, что холопу за боярским столом долго быть не гоже, и не хвалю – мыслю иное: оттого-де у него спех велик, что яство мясное у боярина уволок, так брюхо ноет?

– Я не холоп!

– Кто ж ты есте?

– Стрелецкий сын!

– Хо, хо! Да малый служилой тот же холоп! Ну, ежели пора, – дай провожу с почетом!

Боярин шел обок и слегка отжимал Сеньку к стене коридора. Недалеко засветлел

---

<sup>98</sup> *Иоанн Новгородской* – новгородский епископ Иоанн, живший в XII в. С его именем связана повесть XV в. «О путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим», где рассказывается о поимке беса в сосуде с водой при помощи крестного знамения и молитвы. Мотив использован Н. В. Гоголем в «Ночи перед Рождеством».

выход, боярин сильно толкнул Сеньку в плечо, парень ударился головой в верх двери, в доски, дверь распахнулась – Сенька, потеряв опору, запнувшись о высокий порог, упал, на него пахло хлевом.

– Го, го! – заорал боярин и, поймав дверь, захлопнул... На дубовый зуб накинута замет.

«Свиньи съедят!» – наскоро решил Сенька. Хотел встать на скользком полу, но почувствовал, как сел на него кто-то тяжелый. По сопенью и сильному дыханию понял, что кинут зверю. Зверь вцепился ему в плечи, на кольцах панциря трещали когти, скользили, Сенька, упершись ногой в порог, оттолкнул зверя и выдернул шестопер. В серой мути по сверкающим глазам и горячему дыханию понял быстро, куда ткнуть шестопером, и по локоть всунул руку вместе со сталью в глотку зверю. Когда зверь стал давиться, слабо кусая его руку, с храпом попятился от него, то Сенька, выдернув руку, вскочил на колени и изо всей силы шлепнул впереди себя, попал по мягкому, повторил удар, – зверь не лез больше. Сенька встал на ноги, навалился на дверь, вспомнил, что она отворяется внутрь... Тогда он плечом погнул доски, пошатал и с треском дерева в щель просунул рукоятку шестопера.

– Ага! – сказал он, налегая сильно. Шестопер выдержал, а дубовый зуб наружу двери сломался, замет упал, он перешагнул порог и вылез в коридор.

Когда Сенька проходил, то вид имел страшный. Доезжачий, прижавшись к стене, светил факелом: он вышел, дожидаясь зова боярина, думая, что тот возится с медведем. Сенька, не задевая слуги, шагнул на двор. На плечах его блестел панцирь, а кафтан ключьями висел. Ключья кафтана болтались на кушаке. Голове было прохладно, – Сенька в подклете боярском потерял шапку.

– Ладно, что лист патриарший на груди за панцирем – тож потерял бы!

Боярыня лежала нераздетая на кровати, в повойнике и башмаках, чернецкая одежда валялась на полу.

Боярин вошел в светлицу, перекрестился на образ в углу, сел на скамью к столу, положил большую лапу на бархатную скатерть. Боярыня глядела гневно, молчала. Боярин заговорил:

– Где была, о ком поклоны била, боярыня Малка?

– Не по тебе, боярин Никита!

– Не мешает и по мне молиться, да еще прибавь нынче в синодик молитву за душу раба Семена.

– Что ты сделал с ним?

Боярин молчал. Дурка сватьяюшка возилась у коника в сундуке. Боярин крикнул:

– Пошла вон, баальница! Дурка ушла.

– Боярин Никита, что сделал ты с парнем?!

– Что сделал, то сделал... Довольно того, что делю ложе с одним святейшим чертом!

Нужа велит...

– Скажи же, боярин! – Боярыня приподнялась на подушках, сорвала с головы повойник, кинула в ноги. – Знай, что я его влекла, не он липнул ко мне...

– Закрой волосы! Скажу.

Боярыня покорно надела повойник, вдавила под него пряди волос

– Ведаешь ли, Малка, такое: холоп сидел за боярским столом, пил мед с боярином... А чем ему платить? Денег не беру, в гости к нему не пойду... так за честь столованья в боярских хоромах пушай платит шкурой... И еще за тело белое чужой жены, то и головы мало...

– Ты его куда дел?!

У двери завопились робкие шаги, дверь приоткрылась, голос дворецкого спросил:

– Можно ли к боярину?

– Можно ли к боярыне, холоп! К боярину можно...

– Хоть черт – пушай приходит!

– Входи! – крикнул боярин.

Слегка хмельной дворецкий вошел, покрестился на огонь лампы, поклонился поясно

боярыне, сказал, поправляя пальцами косою фитиль горевшей перед боярином свечи:

– Меня, боярин Микита Олексиевич, доезжачий Филатко направил... сам я не пошел бы тамашиться в боярыниной светлице... не чинно, а ежели не чинно, то и не след ходить куда не можно...

– Ну, что Филатко?

– Так Филатко, как малое робятко, мольт такое, что и слушать срамно.

– Сказывай толком! Опять с Уварком бражничали?

– Мы, боярин, маненько – за твое здоровье...

– Скажи толком, кратко: что Филатко?

– А Филатко мольт: «Подь, Архипыч, к боярину и доведи ему немешкотно, что гость-де, кой боярыню вынес, медведя твоего убил... и мимо ево шел-де такой страшенной, весь в, крови да навозе, худче-де, чем сам боярин...»

Боярин вскочил так, что у скамьи лопнула одна нога:

– Черт это был, не гость!

Боярин быстро шагнул вон из терема, хлопнув дверью. Когда его шаги опустились по трескучей лестнице, боярыня встала с кровати, сняла повойник, разгладила волосы и перекрестилась, припадая к полу земным поклоном.

В патриаршу палату Сенька поднялся по лестнице заднего крыльца. Дьякон Иван встретил его в коридоре со свечкой. Свеча в руке патриаршего церковника заколебалась и чуть не погасла.

– Сыне мой! Что злоключилось?

– Ништо, отче! Умоюсь да одежду сменю – и все.

– Где тебе кафтан ободрали, лицо и рука в крови?

– Забрел к боярину в гости, да вишь убрался цел! Сенька снял с себя панцирь и в своей келье зажег свечи, стал мыться, раздевшись донага. Церковник не гасил свечи, стоял около.

– Ножом резали, не порезали, медведем травили или кем, не разобрал, не затравили... Зверь мне руку ел, кафтан ободрал, а я ушел жив, и тебе, отец Иван, поклон земной!

– За што мне?

– За пансырь... ежели не он, то не ведаю – жив был бы ай нет?

– Вот, сыне! Радуюсь я, что домекнул...

– Нынче, отец, надо быть готовыми стоять за палату, кою оставил нам патриарх беречь... Думно мне, что народ сломает ворота, залезут в Кремль, а там неведомо, как будет...

– Ой, сыне, пошто народ полезет?

– Бояться нам не надо, заготовим кади многи воды, на случай пожара, багор да топоры и упасемся.

– Сыне мой, Семен, как же стрельцы, караул завсегдашний? Оно, правду молить, мало учинилось стрельцов, – кои перемерли, а иные разбрелись, болящие. Нынче зрел – семь стрельцов увезли болящих.

– Вот оно так, а кои остались, будут шатки – хлынет народ мног, они к нему, гляди, приткнутся. Народ на Кремль идти подбивают крестцовские попы, а пуще, мыслю я, – Тимошка мутит...

– Кто, сыне, тот Тимошка?

– Мой учитель по книгочийству, кой учил меня в Иверском канорхат<sup>99</sup>, коего святейший указал имать мне же.

– Не пришел час имать его, сыне, ежели народ с ним!

– Да, отец, народу того много, сам зрел, и еще поднимаются.

– А как им не подняться, когда бояре Бутурлин да Волынской разогнали с крестца попов и нищих от церквей, – то от веков грабежники... Ты молыл, к боярину в гости залез, –

---

<sup>99</sup> *Канорх* – церковный чтец, канонархат или канорхат – читать в церкви.

кой боярин тот?

– Зюзин, отче Иван.

– Никита Алексеевич? Ну, тогда все знатко! Он, сыне, за жену тебя имал. Скажи: ты до того был с ней?

– Был, отче Иван.

– И... любился?

– Да, любился и вел ее, а потом в дом принес!

– Эх, и богатырь ты у меня, какое у тебя дивное телесо... А ты бы, сыне, кинул эту боярыню. Увязала она тебе и угроза жизни твоей.

– Отче! отче! Не могу я ее покинуть.

Сенька упал церковнику в ноги, как был голый.

– Встань, сыне, оденься!... Я не доведу на тебя святейшему, но сам ты на нож тычешься... Боярин Никита мне давно ведом, – упрям, себя не щадит, своенравен и горд до ума помрачения... Зlobится он! Да как ему не зlobиться? Жена пошла любить раба!

– Я гулящий, но вольной человек, отец Иван!

– Ты вольной, да для него – раб! Боярыня Малка – ух, баба! Она еще боле его своенравна... Изведут они тебя, моего лепого отрока!

– Отче Иван! Когда убил я первого человека – попа, кой лез на меня с топором, страшно было... Руки, ноги тряслись, – волок его под крыльцо... Нынче убил еще, тот с ножом кинулся ко мне, и было не страшно убить... А ежели боярин Никита приткнется, как те, то и его решу!

– Пасись, сыне, он друг святейшего.

– Теперь, отче Иван, ничего не боюсь я!

– Эх, сыне, сыне! Когда разгулялась твоя рука и сердце загорелось, мне все будто-те в тонце сне видится... Иной раз думал я, а нынче прозрел: худо и беда наша, что мы служим патриархам, а через них подколенны боярам и царю... Они высшие помытчики, приказчики дел наших, и мы, трудясь на них, их кормим... Мы терпим от них не едины лишь обиды, а и смерть, когда они того возжаждут... И мыслил я: можно ли иное? Можно ли рабу, кой телом прекрасен, как ты, – можно ли быти господином? Да, сыне, можно! Но можно, когда народ правду познает, что не господин казнит и милует, а он – раб – народ! Ведать той правды не дают ни царь, ни патриарх, ни бояре, а покуда народ той правды не спознает, быти нам рабами и на все обиды молчать, крепко сомкнувши уста... Ту правду народу сказывать надо тайно, а кто силу свою чует, показывать явно... За ту правду имают, ибо от нее не стоят ни царю, ни патриарху. Аминь!

– Тимошка, отче Иван, говорил подобное...

– Не ведаю того Тимошки... Вот зрю – правая рука у тебя кровоточит, дай раны твои посыпшем толченым сахаром.

– Зверь изъел, когда в глотке его крутил шестопером... Ништо, я платом обверчу.

Иван поцеловал Сеньку в голову.

– Почивай, сыне, и мне ко сну. – Церковник ушел.

– Так сказываешь ты, Иван, сын Бегичев<sup>100</sup>, дворянин захудалой, что мног люд помирает в твоей вотчине Коломенской?

– Много мрут, Семен Лукьяныч, а что я захудалой, молыть лишне, сам ведаю...

– Пришел ко мне на обиду свою печаловаться... Так? Агафощка! Панцирь и бехтерцы<sup>101</sup> в сундук клади – поеду, не надену...

– То знамо, боярин, – в сундук, да я приложил туда немецкой доспех с пупом... Ладно

---

<sup>100</sup> Иван, сын Бегичев – историческое лицо. Сохранилось его письмо боярину Семену Стрешневу, в котором тот обвиняется в вероотступничестве.

<sup>101</sup> Бехтерец – панцирь, металлические пластинки, связанные железными кольцами.

ли?

– Добро! Теперь иди. Слуга поклонился, ушел.

Дворянин Иван Бегичев в армяке нараспашку, под армяком потертый скарлатный кафтан, запояска, цветной кушак. Он ерзал на скамье, ворошил, пригибая сзади наперед, бороденку с проседью, и без того торчащую клином, думал:

«Дядя государев, а неумной! Ратной царев советчик – судьба вишь, а я захудал – то моя судьба!»

– Чего примолк, Иван?

– Думаю, Семен Лукьяныч!

– Пустое думать, себя томить... шел бы на поварню да кушать велел дать... с дороги, я чай, брюхо гудёт?... Прати о боге нынче некогда – возки наладят, стрельцы да холопы уряд соберут, и едем!

– О боге испишу особо, как оборотит боярин с похода.

– Пиши! Не первый раз обличительные письма чту от тебя...

– Мало обличаю, а вот ты, боярин, даром ославил меня богоотступником христовым... Это тебе Верейский с товарищи в уши надул?

Боярин помолчал и прямо на вопрос не ответил, начал стороной:

– Борзописание твое, Иван, не осмыслено для меня. Нарядные письма<sup>102</sup> делать, изография твоя худая... иное испишешь, я до конца и честь не могу.

– Пошто мне нарядные письма, Семен Лукьяныч? Не подъячий я! Не крамольник, не зломыслитель...

– Послугу я тебе не малую кой раз учинил – упросил великого государя по нездоровью твоему отпустить и службы с тебя не брать, и ты, как боярин на покое, да и боярину чести такой нет, – служи; поехал: бей челом о той езде царю. Ты ж за то, чул стороной, бражничая с друзьями, скаредные вести про меня пустил: Семен-де Лукьяныч и в своем доме чинит безбожие. Да и Никону, чаю я, довел тоже?...

– Вот он – поклеп! Вот что вороги мои вложили тебе, боярин, против меня... Нет, такого за Бегичевым не бывало... Не велика моя честь, но честью клянусь, – поклеп, Семен Лукьяныч!

– А к Никону, врагу моему, ушел в подворотники, или куда еще? В истопники мыльны<sup>103</sup> патриаршей?...

– Никона, Семен Лукьяныч, святейшего патриарха, почитаю...

– Почитай! От меня же прими нелюбье... Кого возлюбил? Смерда в поповском платье! Скорбен ушми, не чуешь, как весь народ зовет его иконоборцем? Византийскую правду древних царей и святителей ищет, а она, та правда, давно попрана новыми греками... Греки свои священные книги у веницейцев, латинян печатают и ныне по тем книгам наши древние переправливают. До Никона жили люди по старине. Молись, как было, и все тут...

– А нет, боярин! Никон узрел правильно, – худые попы церкви заронили... священное писание завирали.

– С чего мятеж зачинается и тишина рушится, то правдой я не зову! У Никона, Иван, дело не в молитве... не в крепости церковных правил – это лишь видимость – власть ему прельстительна и самовозвеличье... Не впусе расколыщики учат о двух апокалипсических рогах зверя: «Един рог – это царь, другой – Никон!» Власть свою он ставит выше государевой...

«Ужели ошибся я? То, что про Византию молвил, – разумно...» – подумал Бегичев.

– Мрут люди, сказываешь, а от кого? От Никона!

– То лжа, боярин! Прости меня...

---

<sup>102</sup> *Нарядные письма* – поддельные грамоты.

<sup>103</sup> *Мыльня* – баня.

– В отъезде кого оставил Никон Москвой ведать? Старика Волынского да Бутурлина, еще дьяка какого?

– Рыкова, боярин, – дельной дьяк!

– Пошто Никон своеволит? А по то, что хочет быть превыше царя, – малую<sup>1</sup> думу выборных государевых людей упразднил, посадил бояр и неродовитых, да угодных ему, оттого расправные дела запустели... Вот, ты видишь, поди, что чинят на Коломне рейтары<sup>104</sup> и датошные люди?

– Своевольство и грабежи, боярин, но дело то не прямое патриархово... По тому пути боярин Илья Данилович<sup>105</sup>... Пришел я, боярин, с тобой не о вере прати и не обиду свою излить...

– Так зачем же пришел, Иван, сын Бегичев?

– А за тем пришел, что мыслил так: делал-де он мне послуги – может, и ныне гнев на милость переложит, поговорит за меня великому государю...

– О чем еще?

– Дело малое, только путаное, – чтоб великий государь дал мне, холопу, быть беломестцем<sup>106</sup> своей слободы на Коломне...

– Пошто тебе надобно?

– Суконная сотня<sup>107</sup> меня, боярин, принимает и избрать ладит в кабацкие головы... Я же захудал, сидя без службы...

– Головой кабацким садись – место веселое, Иван, только бороду отрасти, чтоб драть было за что!

– Глумись, боярин, а помоги! Покуда я дворянин, не беломестец, головой не изберут... без тягла.

– Впрягись в тягло!

– Тогда с черными уравниюсь...

– Да, уж так...

– Посрамлю свой род!

– Он и без того не высоко стоит, местничать не с кем.

– Упроси, боярин, великого государя не ронить дворянство – быть беломестцем, беломестцы без тягла живут...

– Служилые... казаки и боярские дети, а ты не служилой...

– Пригожусь, боярин, головой послужу честно, альбо на таможеню сяду.<sup>108</sup>

– Никаких дел тем, кто ушел к Никону, не делаю... никаких послуг!

– Что я тебе о книге «Бытия» впоперечку сказал, – не сердись... доведи государю...

– Поди и попроси Никона, а не меня!

– Да кабы святейший был на Москве, тогда иное дело... к нему ба, не к тебе пришел!

– К нему поди! И мне пора, люди ждут! В головы кабацкие садись – род свой захудалой поднимешь...

Дворянин Бегичев, трогая боярскую шапку с запоной, из которой вынут и продан на торгу яхонт добрый, встал и пошел, не кланаясь Стрешневу. Боярин крикнул ему вслед:

---

<sup>104</sup> *Рейтары* – наемная конница, сформированная в XVII в. по западноевропейским образцам.

<sup>105</sup> *Илья Данилович* – Милославский.

<sup>106</sup> *Беломестец* – горожанин, свободный от тягла.

<sup>107</sup> *Суконная сотня* – один из разрядов привилегированного купечества.

<sup>108</sup> ...на таможеню сяду. – Таможенные сборы взимались не только на границе, но и внутри страны. Как и кабацкими сборами, ими ведали головы и целовальники.



– Чуй, Иван! Не бежи.  
– А, ну? – Бегичев, нагнув голову вперед, мотаясь, встал, не оборачиваясь.  
– Ты ба не носил боярскую шапку: и драна, да не к лицу тебе она.  
– Тьфу, бес! – шагая в сени, отплюнулся Бегичев. В сенях, не запирая дверей, повернулся к Стрешневу лицом, сняв шапку, стал креститься надверному образу.  
– Ормяк ба сменил! На корове седло – шапка боярская, ормяк – холопий.  
Бегичев не раз ругался с боярином за насмешки, теперь, разозлясь, крикнул:  
– Чтоб тебя там под Смоленском поляки удавили-и! – и вышел, громко стуча по лестнице.

Боярин смеялся, ему нравилось, когда злились:

– Ха, ха, ха! Иван, чуй же, упрощу великого государя. Доведу ему, что ты просишься в тягло черной сотни!<sup>109</sup>

Бегичев с улицы крикнул:

– Глуменник окаянный! Безбожник!

А Стрешнев смеялся:

– Развеселил, пес! Борода твоя и на куделю не гожа-а! Идя по палате, боярин крикнул:

– Эй, холопи!

– Чуем, боярин!

– Без меня, чтоб пожара не случилось, погасить лампадки!

– Сполним!

Иконы в просторных горницах Семена Лукьяныча висели не в углах, а на стенах попеременно с парсунами. Боярина потешало то, что гость, придя, искал икону, не найдя в углу, молился на стену, стоя боком к хозяину, и смущался. Одетый в чугу малинового бархата, Стрешнев шел к выходу. Спросил дворецкого, молчаливо стоявшего в стороне:

– А как моя Пеганка?

– Живет здорово, боярин, ныне у ней родины.

– Опять мешкота? Влас! Приготовить кадь с водой...

– Кадь готова, – не впервой, ведаем...

– И свечи?

– Ту свечи, боярин!

– Лепи и зажигай! Да прикажи настрого холопам не говорить, что ведется в моем дому, – скажут, дам на дыбу!

– Немотны все! Кто посмеет, боярин?

К медной кади прикрепили церковные свечи и зажгли. Девку приставили – куму, а Мартьянка истопника – кумомг

– Где щенята?

– В зобельке, боярин, – вот!

Корзину открыли, выволокли четырех щенков, трех пестрых, четвертого лисой шерсти. Боярин, накинув поверх короткорукавой чуги коц<sup>110</sup> дорожный бурого бархата с прозеленью, делая руками, будто одет в фелонь, погружал щенков, утопив, передавал русому парню с круглым в рябинах лицом и девке также. Парня и девку боярин по очереди спрашивал:

– Отрекаешься ли Никона?

– Отрешаюсь, боярин!

– Боярин – лишне! А сказывать надо не отрешаюсь – отрекаюсь. Ну, дунь, плюнь!

– Отрекаешься ли Никона?

---

<sup>109</sup> ...просишься в тягло черной сотни! – Черная сотня – основная масса непривилегированного населения. Сотня – административная единица.

<sup>110</sup> Коц – плащ с застежкой на плече, старинное слово XI—XII веков.

– Отрекаюсь!

– Дунь, плюнь! Так. – Лисого щенка боярин погладил, не утопил. – Родильнице снести, радости для. – Боярин вышел в сени.

С крыльца, мотая хвостом, ласково осклабясь, бежал черный песик с курчавой шерстью. Боярин строго спросил:

– Никон, ведаешь ли свой чин? Песик, встав на задние лапы, ответил:

– Гау! га-у!

Боярин опустил ся, привстав на одно колено.

– Благослови!

Песик передней правой лапой помотал перед боярином.

– Влас! – позвал дворецкого боярин. – Покорми его тем, что он любит... и береги!

– Будет сполнено, боярин! Стрешнев вышел на крыльцо.

Борис Иванович Морозов, наслышавшись об ужасах моровой язвы, не выезжал из дому. Надо бы боярину совсем покинуть Москву, да боярыне занемоглось крепко, а хворую куда повезешь, и Борис Иванович, вздев на нос очки, чаще всего сидел в своей крестовой, читал «Златоструй<sup>111</sup>», «Смарагд» или же Четьи-Минеи. У боярина в крестовой большой иконостас, весь светящийся позолотой, ризами, украшенными драгоценными камнями, образа темные греческого письма, их мрачных ликов не могли оживить огни многих лампад. Рядом с иконостасом на стене висит образ Христа в терновом венце, списанный боярскими иконниками с картины итальянца Гвидо Рени. Перед этой копией с фрязя теплилась особая цветная лампада.

В крестовую к боярину без зова не шли, а сам он никого не звал. Сегодня часу в третьем утра<sup>112</sup> дворецкий, приоткрыв дверь, тихо сказал:

– Боярин! Пришла молодая братца твоего Глеба, Федосья Прокопьевна.<sup>113</sup>

– Пусти, Петр, невестушку.

Боярыня сняла с себя опашень объаринный, темно-коричневый, струящийся золотыми полосами, передала своей служанке, вошла в крестовую к боярину в черном бархатном повойнике, очелье повойника в жемчугах и лалах, в распашнице вишневого бархата. Повойник плотно закрывал волосы боярыни, лишь на висках тонкие пряди чуть золотились. В ушах не было серег.

Боярыня молча низко поклонилась Борису Ивановичу,

– Здорово ли живешь? Каково радуешься, невестушка? Боярин встал, поцеловал невестку в щеку:

– Здравствуй, здравствуй!... Брат Глеб старый охотник, ни кречета, ни сокола не пускал в поднебесье, а лебедушку белую поймал...

На бледном красивом лице боярыни между густыми бровями складка будто от тяжелой думы, оттого глаза, большие, отливающие голубизной, казались серьезными и грустными...

– Захвалил меня, боярин, родненька моя, – дело забыла... Боярыня шагнула к иконостасу, начала истово двуперстно креститься, плотно пригнетая персты ко лбу и груди, а когда кланялась она в землю, ее тонкая фигура казалась монашеской. Помолившись темным образам, боярыня покосилась на образ Христа и отвернулась.

---

<sup>111</sup> «Златоструй» — собрание проповедей константинопольского патриарха, причисленного к лику святых, Иоанна Златоуста (347—407). «Смарагд» — «Измарагд» — сборник религиозно-нравственных поучений византийских и русских проповедников.

<sup>112</sup> В восьмом по нашему времени.

<sup>113</sup> Федосья Прокопьевна — боярыня Морозова (1632—1675) дочь П. Ф. Соковнина, жена Глеба Ивановича Морозова, брата Б. И. Морозова, сподвижница протопопа Аввакума. В 1671 г. арестована, в 1673 г. подвергнута пыткам, позже сослана в Боровск, где ее уморили голодом в земляной тюрьме. Ей посвящена известная картина В. И. Сурикова.

– Садись, садись, золотая! Помолилась, а тому образу, кой избегаешь, я пуще молюсь – лепота дивная...

Боярыня села на обитую бархатом скамью, боярин не садился, она заговорила:

– Свет ты мой, родненький боярин! Не люблю еретического, фряжского, латынского: так заповедал учитель наш блаженный Аввакум... Клянёт он, батюшко, никонианские новины...

– Хе, хе! Невестушка – и Никон тож не любит фряжского да немецкого письма, а от сих мест и батюшко твой Аввакум лжет по иконному уряду. Никон норовит срывать такие иконы, как мой фряжский образ... Я же образ тот, за красоту его, укажу ко мне в гроб положить... Ну, што молышь еще?

– Боярыню бы мне, Анну Ильинишну поглядеть...

– Боюсь к ней тебя повести... крепко недужит, уехать бы нелишне отселе, да с того вот мешкаю...

– Ну, бог даст оправится боярыня... Пришла я ее поглядеть да еще от мужа, моего господина, Глеба Ивановича и от батюшки Прокопия к тебе, боярин Борис Иванович, поклоны воздать и с великой докукой, штоб ты, большой боярин, побил государю челом за учителя нашего Аввакума, и может статья, великий государь нелюбье с него снимет, содеет нас с праздником, воротит из дальних мест праведника...

– Да, лебедушка белая, невестушка, боярыня моя, ай неведомо тебе, что государь под Смоленском, как ему туда докучать и не о том нынче его забота.

– Ведаю, ох ведаю, боярин! Да хоть бы поослабили ему там в житье, в странствии по Даурии дикой... И ты бы, Борис Иванович, сам отписал туда дьякам да воеводе – кому ближе... Студено там, тяжко и голодно...

– То, Федосья Прокопьевна, боярыня моя, дело несподручное – от великого государя люди к тому данные ведают протопопа... Воеводы, паче дьяки, ослабить или нагнести в житье Аввакумовом и мало не могут...

– Боюсь, Борис Иванович, боярин, – изведут они, злодеи, нашего батюшку.

– Ну, ты, невестушка, не печалуйся! Оборотит государь, бывает, што труды ратные прискучат, – вернет к нам, тогда исполню просьбу твою, попрошу царя, а только, прости ты меня, родненька милая, – юродивой твой Аввакум батько! Ой, юродивой...

– Святой он! За Иисусову истинную веру гоним от антихриста – страждет отец наш...

– Уж и Никон гордость безмерная, да и батько ваш Аввакум и малость не погнется.

– Гнуться, боярин, в антихристову правду – грех творить, губить душу...

– Вот видишь, Прокопьевна, черное на головке юной, панафидную зуфь<sup>114</sup> указуешь своим наплечным кроить на распашницы – худо это... Едва успела в замужество пасть, а глядишь в монастырь... От зуфи и до власяницы близко...

– Государь мой, боярин родненька, не из зуфи мой наряд, бархат двоєморх, а што о власянице молышь, то власяница святое дело, близкое мне.

– Попрошу за батьку протопопа, только свет ты мой, Прокопьевна, сердце чует – наделает тебе бед Аввакум! Ох, бед наделает. Помысли: великий государь возлюбил Никона, протопоп клянёт, плюется Никону, а проклиная, Аввакум и волю царскую попирает! Ты же и весь ваш род Соковниных с младых лет в ученье и послушестве Аввакумовом... Ой, беды от того, золотая мод, много, много... Нынче умы метутся; тот, кто и о вере не помышлял, поднялся, ропщет... День ото дни смут церковных множится, распрей двоится, троится... ой, беда! А тут еще гнев божий – моровая язва... Горе народу и всему царству.

Боярин круто зашагал по крестовой. По темному кафтану его бархатному прыгали кольца серебристых кудрей, тряслась курчавая борода, руки, вздетые за спину в замок, хрустели пальцами.

– Беда от Никона по гордолюбью его безмерному и от Аввакума по великому его

---

<sup>114</sup> Зуфь – шерстяная ткань.

юродству!

Боярин остановился, глядя на Федосью Морозову зорко, строго спросил:

– Пишет што Аввакум? Пришла ко мне за тем, – письменна его уязвили твое сердце?

Боярыня потупилась и неохотно сказала:

– Пишет...

– Что он пишет, неистовый поп?

– Ох, не надо так, боярин! Отселе ничего не скажу я.

– Не буду – говори, лебедушка!

– Пишет он, родненький наш, чтоб мы с сестрой Авдотьей не убоялись пути христова, страдного, и ежели надо, то прияли бы все...

– Што же все? И нелюбье великого государя?...

– Может быть... Готовы бы были и крепко стояли за перстосложение... И нищих да юродов пригревали бы, ибо в них живет благодать господня...

– А ведомо ли тебе, невестушка, што Никон повелел разогнать нищих от церквей?

– Никон – антихрист! Он делает все угодное сатане...

– Да... Вековые устои ломает... а среди убогих есть-таки пакостники всякие, тати и худче того, чул про то...

– Ох, бояринушко, и ты, понимаю я, погнулся к Никону...

– Погнулся ли нет, но о беде твоей – Аввакуме – буду просить великого государя...

Слово мое крепко!

– И за то благодарение тебе вековечное, боярин Борис Иванович!

– И еще: прими мой совет, невестушка, не помрачай красоту свою нарядами черными, поспеешь обрядиться христовой невестой!... Благодетие хвалимо и богу угодно, не надо лишь юродствовать, о земном помнить потребно, и богу помыслы о храмине и порядке, домоустройстве людском, я чай, не отвратны есть...

Дворецкий, снова приоткрыв дверь и не показываясь, сказал:

– От патриарха Никона детина пришел со стрельцы, боярин! Боярин спокойно, тихим голосом ответил:

– Пусть ждет, когда уйдет боярыня! Федосье Морозовой боярин прибавил:

– О вере и Христе, Федосьюшка, чуй Аввакума, не рони только сана своего и не опрощайся... В том ему отпор дай, а теперь иди, иди другим выходом к возку своему, – там тебя и одержут слуги. \_\_

Направив Морозову внутренним ходом, не тем, которым вошла боярыня, Морозов пошел в горницу перед крестовой, там у дверей стоял Сенька в новом кафтане и темном армяке, накинутом на широкие плечи.

Сенька поклонился боярину.

– Пошто явился в дом мой, холоп?

– Не холоп я!... Ризничий великого государя святейшего патриарха!

– Што потребно патриарху в моих хоробах и пошто явился со стрельцы?

– Стрельцы, большой боярин Борис Иванович, на крыльце, а взяты они мной по указу святейшего на тот случай, ежели ты не будешь сговорен и не отдашь с божницы своей спасителя фряжского, работы твоих боярских иконников.

– Есть у тебя с собой указ патриарха, холоп? – Боярин подошел к большому столу, сказал еще: – Подойди ближе.

– Указ есть, вот патриарший лист... – Дай, буду честь его!

Сенька подал боярину лист. Боярин читал медленно, лист оглядел, даже с исподки, сказал:

– Добро! Не навалом пришел, не самовольством, но вот!

Боярин от креста и начальных букв до подписи и печати патриаршей лист разорвал, потом разорвал поперек и каждую часть малую разорвал в клочки.

Сенька остолбенело глядел, опустив тяжелые руки.

– Скажи своему пастуху с Мордовского заполья, штоб ведал он, к кому идет! К кому

холопей шлет своих, и еще скажи – обиды этой я не прощу ему! И добро, парень, что ведешь себя мирно и тихо, а то бы мои слуги наладили тебя под крыльцо в шею...

– Слуг, боярин, твоих не боюсь я... Лист изодрал – то худче для меня самой лихой беды!

Он ушел и, выйдя, распустил стрельцов: – Не надобны! – идите к себе.

Сенька спешно вернулся в патриаршу палату, сбрасывая армяк, сказал дьякону Ивану:

– Беда, отче Иван!

– Ну што опять, сыне?

– Пришел я в дом боярина Морозова фряжскую икону забрать, а боярин вышел тихой, да, чулось мне, сговорной, попросил патриарший лист, и я его дал, а он подрал тот лист в ключья... Чаю я, – от того дела гневен на меня учинится святейший: «Заронил-де, и все тут!»

– Оно-таки худо, сыне, а што при том молвил боярин?

– Облаял святейшего пастухом мордовским и еще: «обидыде такой ему не прощу, што он холопей шлет в мой дом...»

– Ну вот, слова боярина, сыне, в оправдание твое, боярин – он таков, от слов своих не отречется, а патриарх на него за обиду будет бить челом государю... Худо едино тут, нынче и указанного тебе злодея взять не можно... Как его там? Тимошку... или?

– Он же Таисий... Не можно, отче, – стрельцы без указа не пойдут... Я нынче помешкаю мало и отлучусь родню навестить.

Сенька побыл с Иваном до отдачи дневных часов, а когда зазвонили ко всенощной, поднялся и вышел из кельи:

– Отче Иван!

– Чую, сын мой!

– Дай мне те пистолы, кои святейший дарил!

– Вот, вот, сыне!

Дьякон принес два небольших пистолета, рог пороху и кожаный мешочек с кусками рубленого свинца.<sup>115</sup>

Сенька оглядел кремни, зарядил оба пистолета. Приправу сунул в карман армяка.

– И где ты, сыне, обучился с оружием ладить?

– Дома, брату Петрухе не раз заправлял пистоли... Думаю я, отец Иван, от гнева патриарша уйти куда... Добра мне не зреть, с ним живя...

– Ой, сыне! Пошто? Я буду сколь сил хватит говорить за тебя святейшему... Уймется... Не помышляй, сыне, да вот, когда будет тебе опасно, – я тебя упрежу, покуда не входи во искушение боязни...

– Зрю – лицо у тебя стало иное, и очи похмурились... голосом тож не весел...

– Полюбил я тебя, сыне, сказывал уж, а еще помышляю: беда твоя не в том, что изодран лист... В том беда, когда боярин Зюзин поклеплет на тебя святейшему, тогда и тяжко мне, да придется моего богатыря отпустить в неизвестное... ныне же спи спокойно, Иван дьякон и днем и ночью в храме патриаршей опасет главу твою...

Сенька вышел на Иванову площадь. Поравнявшись с дьячьей палаткой, приткнутой задом к Ивановой колокольне, увидел стаю голодных собак. Собаки часто разрывали прохожих на улицах. Их расплодилось много, так как хозяева домов перемерли, также перемерли и дворники постоялых дворов. Псы накинулись на Сеньку, отбиться нечем, шестопер короток, он выдернул из-под scarлатного армяка пистолет и гулко выстрелил. Двух собак повалил выстрел, одному псу разворотило череп, другому сломало переднюю лапу.

Собаки кинулись от Сеньки прочь.

Сверкая лезвиями бердышей, на Сеньку от Архангельского собора спешно двинулись трое стрельцов в красных кафтанах, издали кричали:

---

<sup>115</sup> Пули не лили – рубили.

– Стой, детина! Сенька остановился.  
– Указ ведом? В Кремле не стреляют.  
Всегда тихий, миролюбивый, Сенька, удивляясь сам себе, гневно закричал:  
– А вы, служилые доглядчики, чего зрите?! Псы от застенков в Кремль лезут, заносят моровую язву.  
– Ах ты, собачий сын! Уволокем в Стрелецкий приказ, у пытки станешь, будешь знать, как рушить государево слово, – вскидывая с плеча бердыш, заорал один.  
– А ну, пытай, волокчи – увидишь, кто в ответе будет! – Сенька шагнул навстречу стрельцам. Смелость выручила: один сказал миролюбиво:  
– Проходи, не стрели больше. Сенька ушел; стрельцы говорили:  
– Должно, переодетый пятидесятник, караулы доглядывать вышел?  
– Никонов приспешник, боярской сын!... Зрел его не раз.  
– Да караулы от нас таки худы стали, много стрельцов в нетях.<sup>116</sup>  
Сенька, проходя Боровицкими, пролезая решетку, сказал сторожу:  
– Не забудь меня, решеточный, запоздаю, –пусти.  
– Иди, пуцу – ведаю тебя!

Пробираясь в Стрелецкую слободу, Сенька глядел на зеленеющее к морозу небо. В небе на всех крестцах высились резные деревянные колоколенки, то на церкви, то отдельно, они казались ему отлитыми из льда. Щипало ветром лицо, был беснежный октябрь, голая земля стучала под ногами, трещал сухолед в выбоинах. Комковатая грязь застыла глыбами... Идя, стрелецкий сын думал:

«И не пойму, што мне сердце гложет? Пошто стал я такой, рука бою просит, попадись кто немирной ко мне, – убью... чую крепко, – убью!»

Потом показалось будто отражение на воде – красивое лицо – и расплылось, а вот, колеблясь, засиял боярский кокошник золотом и заушными тяжелыми серьгами...

– Малка, лик твой?! Ой, то опять глава колокольны... Чудно! Сколь мыслил не думать о ней, Малке... Иван тоже молыт: «Закинь боярню, сыне!» Эх, не могу! Не могу я... не кинуть...

Когда Сенька добрался до дому, то в нижней клети увидел старуху в черном, будто черницу. Она кормила за знакомым ему с детства столом двух грязных нищих, кланялась им:

– Кушайте, божьи люди, страннички, насыщайтесь. – Ты ба сменила нам чего иного, матушка!

– Беда моя, што постного боле нету, а скорому вам грех вкушать.  
– В миру – везде грехи, вкушаем, мати наша!  
– Вкушаем и скоромное! Сенька поклонился матери:  
– По добру ли живешь, матушка Секлетя Петровна?  
– Зрю, зрю тебя, антихристов слуга! – сказала мать, как будто чужому.  
– Антихристов!  
– Антихристов?! Тьфу ты... – оборванцы плюнули под стол.  
– Да, вот, блаженненькие, сын был, а нынче худче чужого – Никону служит!  
– Поганой, мати, поганой никонянец! Какой те сын!... – Што не молишься? Позрю, как ты персты слагаешь. Сенька, чтоб не злить старуху, стал молиться.  
– Не крепко он, мати, слагает персты!  
– Худо ко лбу гнетет! – уплетая жареное мясо, ворчали нищие, наблюдая за Сенькой.  
– Вы, дармоеды, молчите! – сказал Сенька, – кабы моя воля, я бы вас за ворот взял и вышиб за дверь.  
– Ой, ой, мати, боимся!  
– Он у тебя бешеной!

---

<sup>116</sup> В нетях, т. е. дезертиры.

– Умолкни, антихристов слуга... Ишь возрос! И то молыть, сколь лет блудишь по свету... Чего лепкой к молитве, поди бражник да бабник стал?

Нищие вылезли из-за стола, оба, неистово колотя себя в плечи и грудь, стали креститься, расстилаясь по полу:

– Спаси, богородица!

– Спаси, боже, благодетельницу, рабу твою Секлетею!

– Где же отец, матушка?

– Пожди – придет! Отец тож потатчик... в вере шаток, все ему служба да торг, будто уж мирское дело больше божьего... Шпынял меня сколь за тебя: «В стрельцы-де парня надо, а ты угнала в монастырь!» Ой, греха на себя кучу навалила, с бражником чернцом Анкудимкой пустила недоумка... зрела нынче того Анкудимку у кабака, в шумстве лаял мне с глумом великим: «Ужо-де, Секлетя, никониане обучат твое детище в посты конину жрать!»

Пришел отец, скупно покрестился, снял с себя мушкет, поставил в угол, покосился на нищих, потом взглянул на Сеньку, улыбнулся и развел руками:

– Мекал-ужли Секлетухе моей новой какой кормленник объявился, ан то Семка! Дай же поцелую.

Сенька с отцом поцеловались. Отец умылся, потащил его за стол:

– Хмуро в клети – надо свечи! Эй, хозяйка! Секлетуха... у меня праздник, а у тебя как?

– Чему радоваться мне? Антихристов слуга, да еще на странных божьих людей грозит, а того не ведает, как большая боярыня Федосья Прокопьевна нищих призывает, они за нее бога денно и ночью молют!

– Огню давай! Не ропоти даром... Ай да Семка! Ростом велик, лицом краше Петрухи будет! Пра, краше!

– Тятя, пошто нет тебя в Кремле у караула? Как ни гляну – все чужие бродят...

– Указ есть, Семушка! Не ведаю, от кого он – только старых стрельцов всех перевели в караулы к монастырям, где любит молитца великая мати, Марья Ильинишна, государыня... Да мне нынче легче – неделанную мою неделю удлинити в половину, я чай...

Секлетя Петровна зажгла две свечи в медных подсвечниках, сунула на стол.

– Эй, баба старая, подавай нам с сыном яство, волоки питье к тому делу, меду, пива – чего найдется.

– Помешкаете... вот уже блаженных спать уложу...

– Порхаешься в навозе, как кура в куретнике... Торопись, нынче, сынок, безотменно в стрельцы запишу, мушкет на тебя возьму, поручусь!

– Не можно, тятя, – я патриарший ризничий... Секлетя Петровна, возясь в стороне, плюнула:

– Вишь, он кто?!

– Ой, не может того быть!

– Я не бахарь! Правду сказываю.

– Чул я, да не верил... хотел пойти до тебя, дела мешали и помощи нет – Петруха уехал с Никоном царицу провожать, може, скоро оборотит. Старая баба, чего ты тамашисься, не подаешь яство?!

– Поспеете... Опоганили вот последыша, теперь к столу не сяду, опрично от вас пить, есть буду!

– Ешь хоть под печью – нам же давай чего погорячее.

– Подсудобил родителям пакостник Анкудимко! Увел малого – погубил навек...

– Анкудим монах доброй, бражник лишь, да и то около бога ходит, таковому ему и быти подобает!

– Ой, рехнулся старой! Богохульник, ой, Палыч! Плотно поужинав и выпив гвоздичного меду, отец с сыном пошли наверх в горницу:

– Сними-ка ормяк, сидишь в верхней одежке, будто к чужим пришел.

– А, нет, тятя, сижу и мыслю – повидал своих, пора к дому – там у меня патриарше

добро стеречи остался единый отче Иван! Ныне опас большой... много развелось лихих людей... навалом лезут. Давай на дорогу попьем табаку – у нас того делать не можно.

Сенька вынул рог с табаком, они выпили две трубки добрых.

– Хорош ты, и лицом красен! Эй, сынок, неужели тебе в стрельцах не быть?

– Может статься, буду, а ты, батя, не давал бы матушке примать в дом нищих, нынче такое опасно... занесут, зри, моровую язву – беда!

– Ну как их непустишь? Из веков вся родня нищих звала и чествовала...

– Як тому сказываю, что слышал, как патриарх наказывал боярину: «Не примать и гнать их, заразы для!»

– Ох, и Секлетея моя Петровна...

Старый стрелец не кончил речи, мать, подслушав их, ворвалась в горницу. Горница плавала в табачном тумане. Старуха закашлялась, заплевалась и, топая ногами на сына, погнала его вон из дома:

– Вон, еретик! Антихристово отродье, – я тебе от сих мест не мать!

– Ну, полно, старуха! – пробовал примирить сына с матерью Лазарь Палыч.

– Ты-то молчи, потатчик... Не уйдет, побегу к боярину Артемью Волынскому, все обскажу, нос ему, еретику, выродку, отрежут за табашное зелье<sup>117</sup>, палочьем избыют по торгам. Уходи по добру – тьфу, сатана!

– Уйду, матушка!

– Я тебе не матушка, окаянному! Блудник-на убогих людей наговаривать!...

Сенька обнял отца, спустился вниз и, не глядя на мать, вышел за ворота. Отец остановил его:

– Стой-ко, сынок, возьми фонарь, без фонаря натычешься носом – дорога ухаб на ухабе...

– Убреду авось, фонарь дай.

Отец зажег слюдяной фонарь, дал Сеньке, а когда сын шагнул от ворот, крикнул:

– Чуй, Семушка?!

– Ну, батя, – чую!

– Заходи к Новодевичьему, – эту неделю мой караул там.

– За-ай-ду-у!

После светлой горенки, где давно горели свечи и теплилась большая лампада, Сеньке показалось, что он идет к черной стене. Фонарь светил слабо, освещал только место, куда ногой ступить. В одном кочковатом пространстве, не заметив глубокой выбоины, он провалился одной ногой и упал. Фонарь ударился в мерзлую грязь, слюда разорвалась, огарок свечи, забелев, укатился куда-то в сторону. Сенька бросил фонарь.

– Палочья не надо – пистоль за кушаком! – Он ощупал, не выронил ли оружие.

Когда погас фонарь, идти стало не под силу, но Сенька различил мутно белевший перилами мост и, держась за перила, мост перешел. Угадывая в черном кремлевские стены, пошел, держась близко, рискуя упасть во рвы. За стеной он слышал гул кабака, что стоит недалеко от моста, и не пошел в кабак. В кабаках гуляли лихие люди да гольцы и тут же многие от моровой язвы валялись насмерть. Медленно идя, натолкнулся на балясины крыльца часовни, взглянув вверх, увидел высоко у образа в фонаре огонек лампадки. Тогда он вспомнил, что это та часовня подворья Богородского монастыря, о которой патриарху была челом смотрительница подворья, «что-де часовню срыть надо... строена она из байдашных<sup>118</sup> досок, сгнила, а кабак стоит близ, то питухи – мужие и жоны пьянии –

---

<sup>117</sup> ...нос ему... отрежут за табашное зелье, палочьем избыют по торгам. – По Уложению 1649 г. виновных в торговле табаком надлежало пытать и бить кнутом, а за «мнигие приводы», урезав нос, отправлять в ссылку.

<sup>118</sup> Байдашные – барочные.



остаиваются у часовни и скаредное творят под образами, блюют и матерне лают...»

Идти было дальше опасно – упасть в ров или просто падать и изорвать одежду. Сенька поднялся на четыре ступени крыльца часовни, ощупью добрался до дверей, сел перед дверьми у порога, решил дожидаться рассвета. Он встал на ноги, пригнул голову, под крышей крыльца увидав огни факелов... Черная тень человека с факелом шла впереди, а две таких же черных фигуры сзади, с боков воза. Воз тащили две лошади.

«Сойти, купить у них огонь?...»

Но, взглядываясь в воз и людей с факелами, понял, что божедомы собирают мертвецов, павших на улицах от моровой язвы. Воз был битком набит мертвецами.

«Нет, того огню не надо!» – Сенька снова сел.

Воз исчез в черной хмари.

Слышал царапающие по гололедице шаги и голоса. Шаги прибрели к крыльцу часовни.

– Тут, милый, того, садись!

– А, не – я... лягу!

– И ложи-и-сь! Эка ночь, хоть рожей в рожу-у!

– Тверезым беда, хмельным полгоря – убредем!

– Так сказываю тебе про Анкудимку... чуешь?

– Ну-у?

– Указал он нам троих подъячих, того, сказывает, – они сыщики...

– Ну-у?

– Они, того, сказывает, подъячие-де дьяка Ивана Степанова, их кончайте...

– А вы ка-а-к?

– Кончили, того... Головы собаки растащили... Тулово кто найдет – одежду содрали...

– Хе-хе-хе... тьфу!

– Ты чего?

– Ни-че-го-о! Только тот Анкудимко – не Анкудимко... дознал я, – звать Тимошкой...

– То как?

– И еще... при ем звать Тимошкой бойся-а... – Пошто?

– Кто ё знат, как кой обзовет Тимошкой, так и сгинул...

– Сгинул? Во!

– Сгинул, потому имя-то его – колдовское... Колдун ён... баальник.

– То ведомо, того, – колдун, а нам сказал: «Как Фроловское часомерие загорит<sup>119</sup>, тогда кидайтесь в Кремль!»

– Да, ворота?

– Ворота, сказывает, Боровицкие да Чертольские не опускаютца... колеса спускные сбиты, одни решетки в их... того...

– А кой час идти в Кремль?

– Ночью указал – а ночи нет указа... «Там-де в боярских домах узорочья много!»

– Ну коли побредем до иного кабака!

Сенька хотел было тоже идти, а когда встал, то показалось, что ночь еще чернее. Ему дремалось, он сел, сидя согрелся, только панцирь, надетый на кафтан, холодил.

«Тимошка от своего не отступается», – подумал он, склонясь затылком головы к притолоке двери, а как только голова коснулась опоры, почувствовал, что устал за день, и спать давно пора, да еще по обычаю и в полдень не спал...

«Вот теперь бы под шубу, и дело крыто... Кого я видел во сне? Ко-ко-ко-ш-ни-ки... то – колокольня?» – Как бывало часто, Сенька неожиданно и быстро уснул.

Когда Сенька, направляясь в Стрелецкую, вышел из Кремля, в то время боярин Никита Зюзин с псарями и доезжачими выехал на охоту. Протрубили рога и замолкли. Боярыня

---

<sup>119</sup> ...как Фроловское часомерие загорит. – Часы на Фроловской (Спасской) башне Кремля установлены англичанином Христофором Галовеем в 1625 г. 5 октября 1654 г. во время пожара часы обрушились. Позже были восстановлены и просуществовали до пожара 1701 г.

Малка подошла к окну, а в это время в светлицу, мягко ступая сафьянными чедыгами, прокралась сватьяшка. Прибрела сзади к боярыне, тронула осторожно госпожу по мягкой спине.

– Ой, кто? А, сватьяшка!

– Уж не хочет ли касатка моя светлоглазая погостить да милого навестить?

– Хочу, сватьяшка, только боюсь, а ну, как оборотит мой медвежатник?

– Не оборотит медвежье дитё! Выслушала кое, иное выглядела, третье выведала: на три дня провалом провалится – засиделся, и охота опять ведьмеда залучить...

– Тогда давай одеваться в черное, и если меня Ивашко Шушера не пустит к нему, то уманю к себе, а ты, сватьяшка, прими нас и девок с дороги убери...

– Все, моя светлоглазая, будет спроворено, только с молодым управься...

Как лишь смерклося, боярыня знакомой лестницей поднялась в патриаршу палату. Там же со свечой в руке ее встретил дьякон Иван.

– По-здорову ли живет патриарший верный слуга?

– Спасибо, боярыня! Семена нету. Боярыня зашаталась на ногах:

– Где же он, Иване?

– Не час, боярыня, чтоб тебе в ногах шататься... но тот час прийти может! Пойдем...

Она покорно пошла за патриаршим служкой. У иконостаса в большой палате Иван-дьякон снял ключ, отпер северную дверь, они спустились в пытошный подклет.

При свете в углах пытошной пылавших факелов боярыня увидела кровь на стенах, дыбные ремни и веревки, бревна под дыбой, замаранные человеческим навозом с кровью, клещи, хомуты железные с винтами, куда с головой и ногами для свинчивания в кучу мяса сажали упорных раскольников, все это ужаснуло боярыню, она остановилась и попятилась.

– Куда ведешь, Иване? Пошто глумишься?!

– Чего боишься ты? Твоя любовь похожа на эту клеть!

– Нет! Я люблю светло и крепко.

– Да... но ты любишь раба, – рабу в боярской ложвицебыть едино, что у пытки... С великим господином живешь в блуде, то ты ведаешь – так ведай же и дела его... Гнева патриарша не страшишься, чего же бежишь вспять от мертвых вещей, оставленных палачами?

– Едино знала я, – внизу палач, вверху патриарх!

– Ныне зри и познай множае...

– Зачем же привел меня? Испугать?

– Нет! Здесь есть патриарший покой, где он живет, чтоб чуть сказку у пытки... седни палачи ушли, им нет работы, а твой боярин ходит как дома по всей храминe, едино лишь тут не бывал...

– Мой боярин в отъезде – к патриарху не вернет... – Время опричное ныне, боярыня Малка! В сие время, может статья, и отсутствующий оборотит. Глухой станет чуть и слепой попытает узреть.

Иван привел боярыню в келью, увешанную коврами, в углу образ, свечи и лампы. Дьякон из ящика у иконостаса вытащил толстую свечу, воткнув перед образом Спаса в подсвечник, зажег. Покрестился, сказал, указывая на софу, обитую фиолетовым атласом:

– Жди Семена тут и за огнем гляди пожара для! – Он придет?

– Должен быть... Иван ушел.

Боярыня, ложась на софу, подумала:

«Недаром любит его патриарх... мудрый этот дьякон!»

Сеньке приснилось, что стоит под колоколом, бьет в набат, и слышит Сенька: много людей говорят и шаги многие слышит, а спина ноет, будто на спине лежит пласт льда. Он потянулся, голова скользнула на порог часовни, Сенька, ударившись затылком, проснулся, панцирь холодил спину. Проснувшись, услышал в самом деле набат, а когда вышел из-под навеса часовни, то увидел, что в Кремле горит и мимо часовни идет толпа людей, спешит в Кремль. Он тоже заспешил туда же.

Добравшись до Боровицких ворот, нашел их выломанными, вспомнил, как пьяные лихие у часовни говорили о Тимошке. Не разглядев пожара, спешно пошел к патриаршей палате. В рыжем сумраке увидел приставленные к окнам две лестницы, а на них по два человека, лихие вырубали ставни у окон. Двое их помощников держали лестницы. Вывернув шестопер, он подобрался к одному, ударил. Ему в лицо брызнуло густым, горячим. Другой с криком:

– Зри, братья! пасись! – убежал во тьму. Сенька опрокинул лестницы, трое сломали ноги, а четвертый тоже убежал во тьму, рыжеющую от пожара все больше и больше. Упавших и не могущих уйти грабителей добил тем же своим оружием. Отперев ключом, найденным не сразу в кармане кафтана, прошел в коридор, где, к стене прислонясь, закрыв руками лицо, взывал дьякон Иван:

– Чур меня, чур! Спаси, богородице, спаси! Толстая свеча, брошенная им, пылала на полу, от нее тлел цветной половик.

– Отче, это я, Семен!

– Ой, сыне! Ой, спаси бог! А мыслил я – идут убить разбойники.

Сенька поднял свечу, затоптал половик.

– С грабителями кончено. Позрю пойду, нет ли иных?

– Поди, сыне! Ой, бог тебя навел вовремя.

Сенька вышел, поглядел вдаль, у кремлевских стен и башен и церковей мелькали стрельцы с факелами, они тушили пожар Фроловой башни, иные тащили воду к церквам, но церкви не горели. Сенька ушел к себе, заперев дверь ключом. Иван-дьякон, приоткрыв из хлебной кельи подрубленный ставень, глядел в темноту, пеструю от пожара.

– Спас бог! Еще пождем... а потом тебе радоваться. Сенька Ивана не слушал, он ждал шагов к дому и, наконец, сказал:

– Можно, отче Иван, опочивать мирно, – грабители скончались, смена караула стрелецкого пришла!

– Грабители, сыне, спалили Фролову башню, давно она им пытошным местом глаза мозолила... Часомерие пало, и колокольца часовые побились... то-то горе великому государю... Любил он сие часомерие...

– Новое состроят...

– Нет, сыне, многих тысячей стоило то дивное творение рук человеческих... Сними панцирь, смени одежду, умойся и выходи... Спать будешь в иной келье... Пожду я.

Сенька всегда повиновался дьякону, исполнил все, они пошли.

– Куда идем мы, отче? – спросил Сенька, когда спускались под палату.

– Не говори, сыне...

Они прошли пытошный подклет, Иван открыл дверь патриаршей кельи, слегка толкнул Сеньку вперед, сказал:

– Тебя для грех примаю с отрадой! Любишь, но погаси огонь.

На высоком месте построен коломенский кремль, – он широко раскинулся, скрыв за своими стенами пять каменных церковей, женский монастырь и деревянные большие палаты епископа на каменном фундаменте. На главной въездной башне – многопудовый набатный колокол, когда пожар, грабеж или воинское нашествие, тогда гул набата из коломенского кремля почти до Москвы слышен, а до Москвы от Коломны девяносто верст.

Стены кремля в четыре яруса. Ярус над другим высится саженными зубцами. Зубцы и стены кирпичного цвета. Башни сделаны наклонно, кои глядят на Москву-реку, иные – на Коломенку.

Въездные – осьмиугольные, их четыре башни, остальные – затинные<sup>120</sup>, круглые, они ниже въездных, но из них глядят жерла пушек.

Над воротами въездных башен образ, вделанный в стену, за стеклом, перед каждым

---

<sup>120</sup> Затинные, т. е. с пушками, вделанными в стену.

образом фонарь с зажженной в нем лампадой. Над образами навес железный, по низу навеса узор золоченый. На главной въездной – икона Христа в рост человека с поднятой благословляющей рукой, но от непогоды и копоти, приставшей к стеклу, кажется, что бог с башни грозит кулаком в сторону Москвы-реки. Кругом кремля рвы, бока рвов выложены камнем.

В кремль против въездов мосты каменные.

На Москве-реке широкая бревенчатая пристань, на ней каждый четверг и понедельник торг большой с возами и переносными ларями. Много в торг толпится людей тутошних и приезжих.

По обычаю, издревле площадные подьячие собирают тамгу на «государя, монастыри и ямы<sup>121</sup>». Тут же воевода со стрельцами имает «сволочь»<sup>122</sup> – беглых мужиков, пришедших из лесу на базар купить снеди. Немало мужиков живет в бегах и промышляет разбоем, так как тяготы пахотные да повинности ямские и дорожные и хлебные стали выколачиваться безбожно и без совести, а воеводина налога и того хуже. Дьяки, выколачивая поборы, приговаривают:

– Воевода боле самого царя! Воевода – бог... мясо ему дай, калачи тоже, а богу лепи свечу да кланяйся, чтоб помиловал.

На то народ отшучивается:

– А чего богу молиться, коли не милует!

– Да бог-то ништо – живет и голодом, а воеводе пить-есть надо сладко, в золоте ходить потребно, он-то царя кормленщик!<sup>123</sup>

На речке Коломенке много мельниц – шумит вода, работы требует, но колеса не плещут, не бегают колотовка по жернову, с нар из мешков не течет зерно:

– Черная смерть!

– Панафиды петь некому! – говорит народ.

Из-за зубчатых стен кремля неизменно каждые полчаса бьют колокола с осьмигранной, с шатровым куполом колокольни. Звон часов разносит ветром над унылыми посадами и слободами, их улицы серыми широкими полосами лежат от кремля и до окраин. В кремле что ни день все печальнее напев монастырский, и день ото дня все реже и тише он.

Моровая язва! Черная смерть! Она ходит по кельям, не пугаясь молитв и заклинаний, бредет по боярским хоромам, заглядывает и в царские палаты... Мрут монахины в кремле, не кончив напева «богородична». Их часто увозят, закинутых дерюгой, – попы бегут от могил.

– Забыли попы бога!

– За свое пьяное житие боятся... – шутят иные.

– Оттого и торг запустел!

– Целовальники с бочкой вина выезжать перестали...

– Пить некому – солдаты своеволят!

Не меньше чумы коломнички боятся солдат, они отнимают у питухов купленное на кружечном дворе «питие», переливают в свои фляги и вместе со своим, куренным на становищах, продают чарками. Если заспорит питух: «Мое-де вино – двояды не хочу покупать!» – то пинают и бьют по роже.

– Да, братья, ныне воля солдацкая.

– Все оттого, что маюр Дей норовит солдатам!

– Ужо на того немчина бесова управа придет!

---

121 *Ямы* – ямские дворы.

122 «*Сволочь*» от слова волочь. Опутывали веревкой и волокни.

123 *...царя кормленщик!* – Корм – подбор с населения в пользу должностных лиц (кормленщиков). Хотя воеводы получали жалование, а не кормы, их тоже за поборы с народа звали кормленщиками.

– Ну-у?!  
– Да... сказываю вправду!  
– Прохоров Микифор, кабацкой голова, грамоту послал боярину Милославскому...  
– Эво-о!  
– Да... Илье боярину – в Иноземской приказ!<sup>124</sup>  
– Вам все бы водка! Воза с харчем на торг не везут.  
– Едино, што и водку, солдаты воза грабят!  
– То верно, крещеные! Ныне избили – тамгу отымали – подьячего, и воевода не вступаетца...

– Бойтца солдат, а може, как и маюр Дей, норовит им! Поговорив, расходятся засветло, а по ночам после барабанного боя по площадям и улицам ходят только солдаты.

Боярыне Малке ночь была коротка, под утро она сказала:

– Я так тебя люблю, мой месяц полунощный, что сердце ноет, и будто я ныне тобой последний раз люблюсь.

Сенька, ласкаясь к ней, не сказал, что, может быть, видит она его последний раз. Он твердо решил идти искать Тимошку и быть с ним по слову его «в мире заедино». Думая медленно и нескладно, Сенька набрел на мысль, что не один боярин Зюзин, а все бояре враги ему, оттого боярину не жаль толкнуть его в пасть зверю, в огонь или воду... И не потому лишь, что Сенька отбил боярскую женку: «Не я к ней – она пришла...» – понял Сенька, что от законов царских и от гордости боярской мира и дружбы меж ним с боярами быть не может, а не может, то и служить им все одно, что воду толочь, и хоть живот за них положи-им все мало... патриарх тот же боярин, служить ему – лишь себя изнурять.

Как только пал и осел сумрак над Кремлем, помог боярыне надеть свое черное платье поверх боярского, пошел проводить боярыню Малку.

Иван сказал ему на путь:

– Сыне! Виду и следу своего близ дома боярского не кажи.

– Слушаю, отец!

Вернувшись в патриаршу, Сенька провел ночь, и лишь утро заалело зарей на кремлевских зубцах, оделся в армяк, повязался кушаком, спрятав под широкой одеждой пистолы и шестопер.

– Отче! Благослови – иду по Тимошку. Иван, не зная всех мыслей Сеньки, обнял его. – Иди, пасись лиха! Злодей один не живет.

– Лихо, отец, в сем дому худшее идет на меня... – Так ли это? Узрю, скажу.

Проходя Красной площадью, Сенька увидел пустые торговые лари и лавки. Передний полукруг рядов зевал на площадь, как рот гнилыми зубами, черным десятком незакрытых помещений.

Пробегали страшные Сеньке крысы с оскаленными зубами, иные падали и корчились. Бродили голодные свиньи, серые от грязи, волоча рыло по земле. Кое-где мычали покинутые, одичавшие коровы.

Сперва Сенька решил пройти в Стрелецкую, проститься с отцом и родным домом, поглядеть каурого, поиграть с ним. Было еще рано, Сенька знал, что отец не вернулся с караула, а мать не примет и выгонит.

Он пошел плутать без цели, чтоб убить время, а вместе с тем поглядеть вымирающую Москву. Шел, прислушиваясь к голосам редких прохожих. Перед ним брели двое – старик вел такую же древнюю, одетую в черное, старуху. Сенька слышал слова, старуха была глухая, старик кричал ей:

– Сказываешь, ваша боярыня попам, чернцам на монастыри да церкви свое добро отписывает?

– Да... да, Саввинскому монастырю.

---

<sup>124</sup> *Иноземский приказ* – ведал делами иностранцев, нанятых на службу.

– Пиши! Все едино смерть попов тоже не щадит... Ох, дожили до гнева господня!

– Все оттого, что патрярх – антихрист суший! Куда ведешь-то, вож слепой?

– А, чего?

– Того! вот того! Тут гнездо сатаниилово-кручной двор. Старик остановился, взгляделся:

– Знамо так, – идем-ка посторонь!

Они свернули прочь от Кузнецкого моста, а за мостом шумел кружечной. Сеньке смутно послышался оттуда знакомый голос, он решил:

– Може, там и Тимошка? – прошел воротами тына к питейным избам.

На кружечном собралась нищая братия и лихи «люди.

Будто глумясь над моровой язвой, пестрое собрание пило, плясало и пело. Тут же пристали и бабы-лиходельницы – оборванные, пьяные, грязные от навоза и блевотины.

– Меня мать не родила – изблевала-а! – услышал Сенька, подымаясь по лестнице.

Он увидел, что поддерживал этот адский шабаш хромой монах Анкудим, тот, что когда-то свел его в Иверский.

Анкудим был за целовальника, разливал водку, черпая и поливая ковшом в железные кружки. За спиной Анкудима на стене висела грязная бумага с кабацкими законами:

«Питухов от кабаков не гоняти», дальше было оторвано – остался лишь хвост конца, где можно было разобрать:

«В карты и зерню не играти, не метати» – еще оторвано, и на конце обрывка стояло: «а скоморохов с медведи и бубны...»

Если кто бросал на стойку кабака по незнанию или пьяной привычке деньги, Анкудим подбирал деньги, сбрасывал их за стойку в целовальничий сундук. Наливая всем, кто подходил, монах кричал через головы питухов хмельным басом:

– Люди хрещеные и нехристи! Часомерие боем своим показывает яко да целостна башня, в коей угнездено часомерие... Сердце человекав трепытанием указывает, цело ли телесо наше праведное, а цело телесо, то жива и душа, алчущая пити, чтоб здравой быта!

По бороде у него текло, Анкудим время от времени рукавом подрясника бороздил себя по лицу. Кто-то сказал:

– Анкудим сей, будто дьяк на лобном месте читает и кричит указы государевы.

Другой, сильно хмельной, заорал к Анкудиму:

– Бес ты в монашьей шкуре! Не ведаешь, што ли? Часомерие кремлевско рушилось, колоколо пало – сокрушило палатку-у!

Двое, потрезвее, видимо бывалые люди, говорили про себя. Сенька их слышал:

– Ладной был пожар учинен, Фролова сгорела, да поживиться добрым в Кремле стрельцы не дали...

– Караулов не держат, бегут, царевы собаки, – на то они стрельцы, чтоб мешать шарпать нам!

– Пусто нынче в Кремлю! В царевых палатах, сказывают, и то двое – карла попугаев кормит, да дурак, прозвищем Ян...

– А што такое попугай?

– Птича... перье зеленое...

– Слышь-ко!

– Ну-у?

– Анкудим объявился, да не тот, кой в Кремль вел?

– Тот, чул я, – в Коломенском<sup>125</sup>... Он Тимошка... Солдат мутит... К ему ба... Там

---

<sup>125</sup> *Коломенское* – дворцовое село под Москвой, где стоял знаменитый деревянный дворец Алексея Михайловича. Автор наделяет его топографическими признаками города Коломны, расположенного при впадении в Москву-реку реки Коломенки, в 115 км от столицы. Таким образом, в романе объединяются по месту действия события 1654 г. в городе Коломне, когда взбунтовавшиеся солдаты майора Цея разгромили царев кабак, и основные эпизоды Медного бунта 1662 г., происходившие в селе Коломенском.

кабаков много, а здесь последний зорим...

– А, давай коли течем к тому Тимошке в Коломенско!

– Тише... чтоб нас кто?

– Ништо, тут все пьяны...

Сенька осторожно отошел к двери кабака.

Крыша и потолок с питейной избы сорваны, разрыты, печь за переборкой раскидана по кирпичу, видимо, целовальники боялись пожара, водку они успели наполовину вылить, у иных бочек были вышиблены уторы, но толпа отбила у целовальников кабак.

Среди бочек, пустых и огромных, тоже пустых кадей с пивом кривлялся пьяный скоморох, припевая:

Сани поповы!  
Оглобли дьяковы,  
Хомут не свой,  
Погоняй, не стой!

– А худо играешь, дай подвеселю тя! Питух дал скомороху по уху.

– Ты его за што тюкнул? – Чтоб ходил веселяе!

– Так вот же тебе!

Началась драка. Кто плясал, иные дрались. Сеньку задели грязные лохмотья, – он вышел на двор.

«Черная смерть и в платье живет!» – подумал он, сходя с крыльца, у которого осталась только платформа, перила были сломаны.

По двору валялись люди с почерневшими лицами, иные умерли от моровой язвы, иные залились.

С крыльца сыпались во двор люди и падали. Сеньке стало казаться, что весь двор покрывается мертвецами.

Двери кабака сорваны, притворы и те выворочены, видимо, целовальники не сразу уступили царев кабаку питухам.

Стойка кабака против дверей, за стойкой в одну ступень рундук целовальничий, с него было видно далеко. Анкудим взгляделся, узнал стоящего на дворе Сеньку, закричал:

– Праведники, пьющие вино мое! Влеките ко мне на питейный помост сына моего духовного, ибо он восстал из мертвых в трет день по писанию, и тому, кой от нас вознесется на небо, подобает пити и в ангельских чинах быти! Того самого, в коричневом армяке-е!

На Сеньку потянулись руки пьяных, но, растолкав питухов, Сенька ушел за ворота.

Пробираясь в Стрелецкую, Сенька видел на крестцах улиц горевшие костры, в них божедомы сжигали платье умерших от моровой язвы.

«Сегодня постой сыщу дома... завтра надо узнать место, где нет загородок, – в Коломну пойти по Тимошку...» – думал он.

Деревянные дома, рубленные в лапу, крытые берестой и лишь редкие – тесом, гнилые столбы на перекрестках, верх таких столбов домиком с кровлей, в нем за рваной слюдой икона. Небо тусклое, как из овчин серых овец, небо без единого просвета, а в нем стаи воронья с картавым граем и воронье на заборах, а на перекрестках же недалеко от столбов с иконами огни, и у огней зяблые руки и лица нищих из божьего дома...

На сердце у Сеньки от неведомого будущего муть и тупая боль.

Вспомнились слова Ивана-дьякона: «Искал, сыне, я волю, да воля без куска хлеба завела в неволю».

– А, нет! Из неволи иду, туга моя оттого, что у чужих пригрелся... надо искать своих... В кинутый жисти один лишь Иван свой – его жаль...

От костров по улицам шел тряпичный смрад. Сеньке стало казаться, что и грязь густая, черная пахла тем же смрадом.

В одном месте, близ Москворецкого моста, дворянин-жилец<sup>126</sup> в рыжем бархатном кафтане и трое его холопов стащили с лошади какого-то горожанина, избивали плетьюми, приговаривая:

– Ты, собачий сын, шлюхин выкидыш, и перед митрополитом чинил бы свое воровство...

Горожанин, встретясь, не слез с лошади и шапки не снял.

Сенька сквозь кафтан потрогал шестопер, но не вступился за избитого: «Надо быть мене знаему и видиму столь же...»

Свой дом стрелецкий сын нашел пустым, зловеще молчаливым, с раскрытыми пустыми хлевами и конюшнями.

Он кинулся в клеть – никого. Взбежал по лестнице в горницу и у порога распахнутой настежь двери остановился: в большом углу под образами, где горели три восковые свечи, лежали рядом отец Лазарь и мать Секлетей, оба закинутые одним одеялом. У матери лицо завешено до глаз, у отца открытое, борода сплошь в крови.

– Сынок, не подходи... – сказал отец.

– Ах, батюшко ты мой! Родитель ты бедный мой! – вырвалось у Сеньки.

– Да вот, как мекал ты, так оно и изошло – все она со своими убогими... приволокла-таки падаль в дом, погибель всему добру и жисти...

– Божья кара... – глухо завешенным ртом с трудом сказала Секлетей, – погибаем за грехи антихристовы... – Помолчала кратко, прибавила: – Тебя, сын Семен, прощаю! Никона беги, борони душу!

– Ушел от Никона! Не он повинен в вашей смерти.

Сенька двинулся ближе, но из темного угла, разжегши кадило, разогнулся черный поп, помахал, дымя и посыпая искрами кадила, на Сеньку, проговорил:

– Не иди! Кончина их близко.

Сенька заплакал. Повернувшись, пошел на двор. Темнело, идти было некуда, но и в доме лечь спать он боялся. Нашел в конце двора у забора сарай, Лазарь Палыч хотел его скрыть, мать не дала. В сарае том она укрывала, ежели была какая тревога, раскольников.

Крыша того сарая по толстому слою дерна поросла травой, бревна снаружи позеленели, а изнутри поросли мхом. На стене сарая, но не в самом углу, а около, висел черный образ спаса древнего письма, к низу образа прилеплена восковая свеча, под образом две скамьи – на них затхлая солома.

Сенька срыл солому на середину сарая, наломал в конюшне у яслей перекладин и загородок, принес и запалил огонь, скинул армяк, вынул из-за ремня пистолеты, отстегнул шестопер, подостлал кафтан, сел на скамью, стал пить табак из рога. Рог с табаком бережно хранил завернутым в ирху.<sup>127</sup>

Он курил и слушал. Было тихо, но к полуночи затопали по лестнице в горенку, и послышалось, будто кто-то читал молитву.

– Поп божедомов послал хоронить!

Спустя часа два или больше снова топали по лестнице, но осторожнее, и слышал Сенька многие шаги по горницам повалуши и клетки.

– Грабь все, только берете, лихие, на лихо вам! Как-то, проходя по Москве, Сенька слышал говор:

– Лихие люди могилы с мертвыми роют – берут одежду!

– Ведомо так! Потому Волынской боярин да Бутурлин указали одежду ту палить огнем...

Мало спал Сенька. Утром вышел, не надеясь больше зреть родной дом.

---

<sup>126</sup> *Дворянин-жилец* – Жильцы – один из разрядов московского дворянства.

<sup>127</sup> *Ирха* – замша.



Пробираясь за город мимо караулов городской черты, вышел за земляной вал, подошел к церкви. Какая была та церковь – не знал и не спрашивал, только в ней не было колод с мертвецами и больных не видно было, которых привозили к церквям на покаяние. Зато у церкви собралось нищих с добрую сотню. Они спорили меж собою, дрались и лгали:

– Вы нищие не наши – вы Васильевские<sup>128</sup>! – кричала старуха четверем оборванцам.

– Врешь, дьяволица! Мы вчерась тут стояли, да тебя, вишь, не было...

– А теи воно успенские!<sup>129</sup>

– Коли успенские, так тех гони, а мы тутошние!

– Ужо вас побьют Христа для, вы и скажетесь откелешные! Нищие лезли из центра к окраинным церквям, полагая, что черная смерть не съест их, а она сторожила бродяг, прячась в их лохмотьях.

Уходя из Москвы, Сенька знал, что встреча с нищими была последней.

«Завтра буду в Коломне!»

В слободе, на берегу реки Коломенки, среди мелких домишек уселся двухэтажный деревянный дом с искривленными временем дверьми и окнами...

Тот большой дом дворянина Бегичева Ивана Трифоновича, захудалого, а в прежние времена богатого и хлебосольного. Дом Бегичева с садом, с большим двором и во дворе, обнесенном тыном, с гнилыми избами, сараями, мыльней, поварней и даже псарней, в которой давно уж перевелись собаки. Дворни у Бегичева много, только вся она голодна и ободрана.

Сегодня, в половине октября, хозяин зазвал гостей, которым за обедом решил прочесть цедулу, написанную им в укор и свое оправдание к боярину Семену Стрешневу.

Но гости, зная былую любовь и нынешнее нелюбие Стрешнева к Бегичеву, не поехали, а может быть, и потому не пожаловали гости, что знали наперед скудость в яствах прежнего хлебосола.

«Слова у него велегласные, да щи постные!» – думали все, кроме кабацкого головы и старого протопопа, – эти двое к Бегичеву пришли пеше.

Голову Прохорова зазвал Бегичев ради своей корысти: самого его думают выбрать головой кабацким, а дела того Бегичев не знал, да еще и солдат боялся, кои всю Коломну заволокли, – так до-тонку распознать, чтоб...

Протопопа зазвал хозяин затем, что без лица духовного никакой пир не живет.

В ожидании обеда гости угощались водкой. На многих тарелках оловянных была разложена политая постным маслом редька, резанная ломтиками, переложенная кружками резаного лука.

Стол длинный, дедовский, на точеных круглых ножках, дубовый, скатерть сарпатная, с выбойкой синих петухов. Тарелок с закуской и водки довольно, а на двоих гостей даже чрезмерно.

Говорить о кабацком деле хозяин не торопился, при протопопе даже и невозможно.

Протопоп сидел по чину под божницей в углу, голова рядом с ним, и меж собой негромко беседовали.

Сам хозяин не садился, пил с гостями стоя и, наскоро закусив, выходил в другую комнату с такой же убогой мебелью, как и эта: по стенам голые лавки, правда, чисто вымытые. Кругом стола для гостей скамьи, крашенные в бордовый цвет. Над одним из окон полка с рядом медных подсвечников с сальными свечами – на случай, если день помрачится.

– Медлят-таки с обедом! – сказал Бегичев и, выпив с гостями, снова пошел глянуть в окно: «Не едут ли иные кто?»

Выйдя в другую комнату, увидел человека, молящегося усердно в угол малому образу

---

<sup>128</sup> *Собор Василия Блаженного.*

<sup>129</sup> *Успенский собор.*

Николы. Человек длинноволосый, бородат изрядно, в левой руке дьячья потертая шапка с опушкой из лисицы.

Помолясь, ломая спину углом, человек Бегичеву низко поклонился.

– По-здорову ли живет почетный дворянин Иван сын Бегичев? – сказал незнакомый и левой рукой погладил бороду.

Бегичев, разглядывая, когда молился человек, не мешал, молчал, теперь же строго спросил:

– Спасибо, человек, но кто пропустил тебя в мои дедовские чертоги?

– Прошу прощения! Сам я, не видя твоих рабов, зашел и с тем явился, что слышал – искал ты борзописца искусного, так и буду я таковой...

– Так, и еще тако... борзописец ты? Хе! Борзописец мне не надобен – сам я бреду рукописаньем с младых лет, а вот не дано мне росчерком красовитым владеть.

– Потребен тебе писец, так росчерк мой полуустав, надо и скоропись – вязь с грамматикой, с прозодией...

– Добро! Только в цене за твое рукописанье сойдемся ли?

– В этом мы сойдемся! Што положишь – приму... не от нужды пришел к тебе, а так – люблю чинить послугу доброму дворянину, ты есть таковой – слава о тебе идет.

– Ну ин, милости прошу в горницу к столу! Пропустив впереди себя пришедшего, Бегичев покосился последний раз в окно, решив:

– Возгордились! Не удостоят...

Здесь, как и в первой горнице, человек дьячего вида помолился на образа, шагнув к лавке, положил на нее шапку и чинно, не без достоинства, перед тем как сесть, поклонился особым поклоном протопопу, потом голове. Хозяин налил ему стопу водки, он, приняв стопу, встал, сказал:

– За здоровье доброго дворянина Бегичева! – выпил и, не садясь, опрокинул посудину на макушку головы.

Дедовский обычай, да еще царский, всем понравился. Когда гость закусил, с ним пожелали выпить все трое. Хозяин, чокнувшись последним, спохватился:

– Я дворянин Бегичев Иван! А ты, борзописец и новый наш гость, кто будешь именем?

– Еган Штейн, хозяин доброй.

– Ты бусурманин, ай крещен по-нашему?

– Крещен я, хозяин, в младости, как и уподоблено православным, имя мое Иван, а так што служил в лонешних годах на немецком дворе в Новугороде, то русское имя свое забываю часто...

Тут уж вступился протопоп:

– Грех забывать! И ныне – пуший грех, сын мой, – кальвинщик сугубо на Руси укрепляется, не подобает нам множить имен, отметников чужестранных!

– Ошибся я, отец, простите все тут пребывающие...

– Зовись Иваном! Ну, моя учредительница пиршества таки мешкотна – томит... Иван, а как дальше?

– Иван Каменев, хозяин.

– Вот, Иван Каменев, пока управляются с обедом, идем ко мне в моленную, и ежели очи твои зрят, а рука тверда, то показуй борзописание, росчерк... ибо и самозванцев в сем деле довольно...

– С великим усердием к тому!

Новый гость пошел за Бегичевым. Бегичев привел его в малую камору. Под образом спаса, у которого тускло тлел огонь лампы, чадил деревянным маслом, из оконца лился дневной свет на крышку покатую небольшого стола под образом. На столе лежала бумага, перо, стояла на отдельном выступе из стены чернильница не поясная – большая и набедренная с ремешком песочница. В углу на столике раскрыта книга Четьи-Минеи с картинами житий.

Здесь Бегичев читал, молился, а пуще всего упражнялся в борзописании.

– Ну, Иван Каменев, указуй свое рукописание... Да-а. Бегичев пьяно, а потому подчеркнуто вежливо поклонился, привычно выдвигая левой рукой вперед острую, мохнатую бородавку.

Гость перекрестился на образ, подошел ближе, взял перо, оглядел чиненый конец и, обмакнув в чернилах, написал четко и красиво: «Благодарение великому имени твоему».

– Добро, добро... Только, гость ты мой случайный, едино буду править в тебе – у буквы твердо ты крылы вниз опустил, не спуцай! Когда крылы вверх, то лепее и древнему подобно.

– Спасибо, совет добрый и мудрый.

Они вышли к столу, у стола хлопотали два поваренка-подростка в белых фартуках, закрывающих синие крашенинные портки в заплатах, а среди них главная особа-красивая, статная баба в суконном белом сарафане, изрядно широком в талии.

Гость, Иван Каменев, глядя на бабу, подумал: «Ежели кая тревога, то хозяин под этим бабьим нарядом может укрыться...»

Рукава сарафана, как у боярской чуги, короткие, сквозь них пропущены длинные белой хамовой рубахи, у кистей рук узкие, плотно застегнутые, На голове особы кокошник синий камкосиный со очельем голубым, а по очелью бусы красные и смазни.

Особа с поварятами, стуча оловянными тарелками, бойко собрала обед из мелкой жареной рыбы, шей с осетриной да перед горячим к водке закуску – мелко резанную вареную брюкву, грибы вареные, посыпанные зеленым луком. Сказала, кланяясь:

– Бью челом, не обессудьте и перемен не ожидайте.

Хозяин на бабу махнул досадливо рукой, она с поварятами скоро ушла.

Бегичев с Каменевым сели за стол рядом, оба, крестясь, пропустили по большой стопе водки и принялись за яство.

Протопоп, любя столовый чин, встал, отряхнул серебристую, лопатой, бороду, крестясь, прочел «Отче наш», подняв свою стопу, чокнулся с головой, а так как хозяин, поучая гостя – как лепее выводить буквы твердо, добро и мыслете, не обращал на них в большой угол внимания, то они взялись за ложки, захлебнули выпивку. Голова, выпивая и закусывая, косился в окно, прислушиваясь к звукам улицы, и неожиданно приподнялся – ему показалось, что на дворе шумят, потом он потянул протопопа за широкий рукав его рясы, сказал тихо:

– Зри на двор, отец протопоп!

– Ой, рабе божий Микифор, течи нам немешкотно – маюр попов велит имать да в дом к ему волокчи...

Хозяин обратил внимание на протопопа с головой кабацким:

– Чего мои гости беспокойны?

– Как тебе, Иван Трифоныч, а нам с отцом протопопом новый гость, кой жалует сюда, страховит...

– Кто ж там?

– Маюр с солдаты! Укажи иной ход и прощай.

– Вот ты што-о! Сюда, за мной!

Иван Бегичев пошел вперед, за ним голова и протопоп. Он свел их вниз по лестнице, открыл окно в сад.

– Кустами проберетесь до тына, в ём дверка, и будете на берегу Коломенки, а тут близ мельница – до тьмы пождете, уйдете с миром...

– Спасибо, гости, Иван Трифоныч, к нам на кружечной... – Пожду быть на кружечном! Ныне же хозяина не обессудьте.

Когда Бегичев вернулся кончать обед, то увидел: его гость, Иван Каменев, стоял, обернувшись лицом к двери, откуда он еще недавно пришел.

За раскрытой дверью в прихожей горнице медленно шел на Каменева пьяный военный. Толстый, лысый, низкорослый, рыжие усы торчали на стороны, как щетки, темные глаза выпучены и не мигали. По синему короткому мундиру ремень, на нем привешена шпага в

металлических ножнах. Шпага откинута назад, при каждом шаге коротких толстых ног стучала и позванивала ножнами.

У входных дверей стоял солдат в серой епанче, в железной шапке, в берестовых лаптях – по серым онучам цветные оборки. Солдат держал барский шишак с коротким еловцем.<sup>130</sup>

– M&#246;ge der Geschw&#228;ndzte euch verschlucken, Ihr H&#246;llenge – w&#252;rm! Wo finde ich den Schenkengildenmeister? gebt ihn zur Stelle.<sup>131</sup>

– Euer Wohlgeboren! Ausser meiner Wenigkeit, als Gast dieses Edlen, eines Mannes von Adel, belieben Sie hier niemanden zu finden<sup>132</sup>, – ответил громко Иван Каменев.

Майор, нетвердо шагая, двинулся вперед, сказал:

– Was?! Er sei ein Deutscher?<sup>133</sup>

– Zu Ihren Diensten, ja, der bin ich.<sup>134</sup>

– Dann m&#246;ge der B&#246;se dich fressen! Wie ich, – Major Deiger – auch Du ein Narr seiest!<sup>135</sup>

– Euerer Worte Sinn kann ich nicht fassen<sup>136</sup>...

– Weil den Dienst bei Narren und Barbaren ich auf mich nahm, der Last nur s&#228;uferischen Buben ertr&#228;glich, den N&#252;chteren w&#252;rden Sie schrecken.<sup>137</sup>

Бегичев, не понимая немецкого говора, испуганно глядел и прятался за угол изразцовой печки у стены,

– Эй, казаин! – закричал майор, входя в горницу. Бегичев выскочил из-за печки, спросил:

– Что потребно маюру?

– Потребны? Ви, дюрak! – Он показал рукой на Каменева:– То mein камрад! И нам благородный немец ти давал пить вотка!

– Господине маюр, водка на столе, прошу сесть.

Майор отстегнул шпагу, кинул на лавку, тяпнул на скамью, неуклюже перетаскивая под стол тяжелые ноги, взялся за водку:

– Позвольте хозяину налить вам, маёр Дейгер?

– Казаину? Ти дюрak! На Коломна я казаин и мой золдат! Und, Kamerad, wie ist dein Name?<sup>138</sup>

– Stein... Johannes Stein, mit Verlaub.<sup>139</sup>

---

<sup>130</sup> *Еловец* – острый шпиль, иногда был с флажком.

<sup>131</sup> Черт побери страну дураков! Где тут голова? Черт вас побери, адское отродье. (*Переводы с немецкого печатаются по авторской рукописи.*)

<sup>132</sup> Господин майор Дейгер, здесь кроме хозяина и меня, его гостя, иных людей нет.

<sup>133</sup> Э, так ты– немец?...

<sup>134</sup> Да, господин майор.

<sup>135</sup> Так черт побери вселенную! Ты дурак, как и я – майор Дейгер!

<sup>136</sup> Почему, господин майор?

<sup>137</sup> Потому, что служу дуракам и варварам. Трезвому здесь жить невозможно. Пьяному все равно.

<sup>138</sup> Имя твое, камрад?

<sup>139</sup> Иоганн Штейн.

– Прием, Иоганн, о прием! Наш добрый немец писалъ о Москау шонес лид, прием, Иоганн, а то, хорошо помню и часто говорю, даже пою – о, хо-х!

Майор, не обращая внимания на хозяина, дворянина Бегичева, выпивая и чокаясь с Иваном Каменевым, мотая оловянной стопой и брызгая водкой, декламировал громко:

Kirchen, Bilder, Kreulze, Glocken,  
Weiber, die geschminkt als Docken,  
Huren, Knoblauch Branntewein  
Sein in Moscow sehr gemein.

– Вот что видалъ наш на Москау!

Потом, выпив водки, широкой лапой с короткими пальцами майор захватил с тарелки горсть мелких рыб, сунул в рот, прожевав, еще громче продолжал:

Auf dem Marckle m&#252;ssig gehen,  
Vor dem Bad entbl&#246;sset stehen,  
Mittag schlafen, V&#246;llerei,  
Rultzen, fartzen ohne Scheu,  
Zansken, peitschen, stehlen, morden  
Ist auch so gemein geworden  
Dass sich niemand mehr dran kehrt  
Weil man s t&#228;glich sieht h&#246;rt!<sup>140</sup>

Кончив декламацию, майор хлопнул по плечу Ивана Каменева, кричал:

– Solch Volk von Knechten und Barbaren nur der Verachtung w&#252;rdig ist! Je mehr Du sie bespeiest und mit Hieben traktierst, desto modestierter wird es, desto h&#246;her steigest Du bei ihm in Gunst und Ehr!<sup>141</sup>

Вспомнив цель своего прихода, майор закричал Бегичеву – он сидел в стороне на лавке:

– Ты долъжен казайт, куда шель колова Прогороф?!

– Прохоров – голова кабацкой? Не ведаю, маюр, того голову...

– О, ти лжошь! Голова на мине поклеп писал – я полутшил отписка. Hier lese Er, Landsmann<sup>142</sup>! Ти по Москау знаешь чести?

– Да, знаю, господин маёр!

– Чети-и! Мине жаловани тцар, кайзер клаль с клеймо цванциг талер, ефимков... Дияк

---

140

Ты везде в Москве увидишь  
Церкви, образа, кресты,  
Купола с колоколами,  
Женщин, крашенных как куклы,  
Шлюх и водку и чеснок...  
Там снуют по рынку праздно,  
Нагишом стоят пред баней,  
Жрут без меры, в полдень спят,  
Без стыда воняют громко...  
Ссоры, кнут, разбой, убийство —  
Так все это там обычно,  
Что никто им не дивится.  
Каждый день ведь снова то же!

<sup>141</sup> Этот народ надо презирать! Он варвар! Кто его бьет кнутом, того он больше любит и уважает.

<sup>142</sup> Читай, земляк!

кляль цеен – о, хо-х! Кто ист гроссер, рюски кайзер, одер дяк? Ихь прозиль Моросов, Зоковнин, то ист большой бояр и нейт! Диак не слушил... Welchem Hundsfott in Europas Landen gilt des Königs Wort und Siegel nicht mehr als eigen Leben?! Und hier in Barbarenlanden vermessen sich, als sei vom Kaiser besessen, dies Gewirm der Djak dem Zarenworte nicht Folg zu leisten<sup>143</sup>!! Во-о-т, из Москва...

Из внутреннего кармана синего с медными пуговицами мундира майор вытащил желтый измятый свиток бумаги, подал Каменеву. Иван Каменев, видимо привыкший читать указы, встал, читал громко:

«Лета 1654 октября в пятый день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси самодержца указу.

Память майору Ондрею Дею... Ведомо нам государю и великому князю всея Руси учинилось, что салдаты воруют, бражничают и зернью играют, людей побивают, грабят и всякую налогу чинят, а ты их от воровства не унимаешь и на Коломне у кружечного двора поставил салдатов, чтоб они вина не покупали для своей бездельной корысти, а ты с кружечного двора вино покупаешь и сам салдатам в деньги продаешь, и ты Ондрей ведомой винопродавец. И про такое дело велено на Коломне сыскати, и будет так, и ты то делаешь не гораздо...

И как к тебе ся память придет и ты б впред так не делал, смотрил и товарищам своим начальным людем заказ учинил накрепко, чтоб они того смотрили, чтоб салдаты, будучи на Коломне, жили смирно и бережно и воровства б от них к коломничам посацким и всяких чинов людем не было и сами бы они меж себя не дрались, жили смирно».

– И то колова! И я ему знать буду... Камерад Иоганн, идом до меня!

Провожая майора, радуясь его уходу, Иван Бегичев приостановил Каменева на крыльце:

– Когда оборотишь ко мне?

– Жди завтра, хозяин! На дворе майор кричал:

– Золдатен! Дай нога, – марш!

За тыном двора забил барабан, и слышен был тяжелый шаг солдат.

Утром Каменев, придя, сказал:

– Остаюсь у майора секретарем – иначе в дьяках! Иван Бегичев, приказав закуски и водки, ответил:

– Добро! А как тебе, Иван, спасибо говорить – не ведаю...

– За што, хозяин?

– Этакого пьяного беса вчера угомонил! Во хмелю он бедовой... Не седни ведаю его... хмельной бедовой, а тверезый редко живет... Голову кабацкого Никифора ненавидит, везде ищет – добро сказать – утекли-таки с протопопом в пору.

Они прошли в моленную, где были вчера для пробы почерка. Бегичев заботливо перед огнем лампы оглядел листы, лучший выбрал, дал Каменеву:

– Кое буду сказывать, иное честь по-писаному, гость Иван, а ты пиши... Эта цедула составлена мной не первая... Боярину, коему пишем, я писал не единожды... Ведаю, что не до конца чел он меня, пишу, вишь – иное и сам долго мекаю – как было? Твое он до конца изочтет!

– Сказывай, внимаю.

– Мешкай мало – вот оно, мое виранье, – пиши! «Большой боярин Семен Лукьяныч! Десять лет истекло, как мы спознались на лове зверином, и ты меня, малого дворянина Ивана Трифонова, сына Бегичева, любил и жаловал до тех мест, покуда у тебя не объявились ласкатели, а мои хулители. Пуще же загорелось нелюбие твое, когда патриарх Никон сел на свой стол главы церкви святой и меня приметил, а ты отметил сие и вознегодовал... От сих

---

<sup>143</sup> Какая страна в Европе есть, где канцлер смеет изменить слово короля?! А здесь, в этой стране варваров, ничтожный дяк осмеливается не выполнять приказаний царя!!

мест и зачал клеветать на меня... Обличаешь ты меня, что будто бы в некий день слышал ты от меня таковые богохульные глаголы, будто я возмог тако сказать, „что божие на землю схождение и воплощение не было, а что и было, то все действие ангельское“. Одно воспоминаю, когда с тобою я шествовал из вотчины твоей, зовомой „Черная грязь“, на лов звериной, тогда ты изволил беседовать со мною на пути и сказывал мне от „Бытейских книг второго исхода“, „что егда восхоте бог дати закон Моисею, и тогда сниде сам бог на гору и беседовал со пророком лицом к лицу; и показал ему бог задняя своя...“

Бегичев, поворачивая свой лист для дальнейшей диктовки, сказал:

– А ну, Иван, кажи, каково идет наше писанье?

– Гляди, хозяин.

– Эх и добро! Где ж обучился так красовито и грамотно исписывать?

– Много меж двор брожу...

– Людей; немало ходит семо-омамо, да мало кто может не то писать, а и прочесть толково. Пишем!

«...И тогда дерзнул я прекословием пресечь глаголы твои и сказал: „Коя нужда богу беседовать к людям и явиться самому, кроме плотского смотра. Возможно бо есть и ангела послати да тоже сотворити по воле его“. Ужели еще и за это, что я дерзнул молвить тебе встречно, ты поднялся на меня гневом своим и клеветою? И слепым мощно есть разумети, яко не только задняя или передняя при бозе глаголати и мнети, но и единые части не мощно есть не только телесным оком зрети, но и разумным ни мало уразумети... А ты дерзаеши тако рещи, яко Моисей задняя божия видел! Я человек простой, учился буквам единым, дабы мог прочесть и написать что-либо ради своей надобности и чтобы можно было душу мою грешную спасти, а дальнего ничего не разумею и с мудрыми философами и рачителями истины, которые искусны и благорассудны в божественных писаниях, никогда не беседовал... И не дивно, что возможно мне и погрешить, ради моего скудоумия и небрежения, но дивно то, что ты клеветою поносишь меня...»

– Стой, Иван Каменев!

– Слышу.

– А все же изография твоя дивна и мне годна гораздо, что только буду платить тебе? Разве что подарить кую девку? Есть красивые, едино лишь приодеть – от боярских не будет разнствовать, сработаем ей отпускную, объявим в Холопьем приказе<sup>144</sup> и с богом!

– Моя послуга, хозяин, не стоит того, и деться с ней некуда... Вот ежели ты, когда мне будет потребно, пустишь на постой меня или кого от своего имени пошлю тебе, то и благодарствую много...

– Тебя? – Бегичев замахал своим косо исписанным листом. – Да я тебе любую избу во дворе дам, или живи где любо – в горницах.

– Я на тот случай, что у майора ежели шумно будет...

– Кто с бражником маюром уживет? Пьян денно и ночью... жена от него ушла – в дому застенок завел, солдаты, что лишь сумрак, волокут к нему коломничей, кой побогаче... бой, шумство – приходи скоро, а ныне давай кончать!

– Готов!

...«Клеветою поносишь меня, не только...» – пожди, сам себя не разберу! – «не только о сказанном мною, но прилагаешь еще больше и свои умышления, а сам и в малой части не искусен в божественных писаниях, как и шепотники твои Никифор Воейков с товарищи. Сами они с выеденное яйцо не знают, а вкупе с тобою роптать на меня не стыдятся. И все вы, кроме баснословные повести, глаголемые еже „О Бове-королевиче“, о которой думается вами душеполезной быти, что изложено есть для младенец».

– Ныне сие пресечем! Я боярину много писывал, да вот нынче лишь до конца все

---

<sup>144</sup> ...сработаем ей отпускную, объявим в Холопьем приказе... – Холопий приказ ведал всеми делами о холопах; там составлялись и регистрировались свидетельства об отпуске на волю.

довежу... Глумился в доме своем, я и лаял его... Хорош тем, что породой не кичлив и на брань не сердится... Таких неспесивых бояр мало.

– Подпись надобна, хозяин!

– Подпишу и еще помыслю – припишу. О Никоне припишу. Поклепы одно, Никон пуще – Никона он ненавидит... Никон же меня и примечает мало, его я почитаю, что уложение государево царю в глаза лает – зовет «проклятою и беззаконною книгою». Уложение меня разорило – в гроб сведет. И за старину идет Никон по-иному, чем Аввакум и наш Павел Коломенской... Ну, будет! Идем вкусить чего и водки выпить.

Когда выпили, Бегичев, еще худо проспавшийся со вчерашнего, быстро захмелев, кричал:

– Право, бог тебя послал! Дай поцелуемся, Иван... – Царапая бородой, торчащей клином вперед, Бегичев полез целоваться.

Провожая изографа-борзописца, говорил, пуще кричал:

– Ведаешь немецкий язык, уломаем черта маюра, Никифора кабацкого голову, пуцай лишь отчитается с приказом Большой приход<sup>145</sup>, – сместим, сяду головой, а ты, друг Иван, со мной безотлучно будешь! И такие дела! Эх, только бы бог пособил, да будет его воля! Кому писали – с глумом говорил: «Садись-де кабацким головой, место веселое!» Сам, хитрец, ведал, что сести не можно – маюра с солдаты ведал и беспорядков не унял Никона для, чтоб государю лишнее поклепать... Маюра в руки заберем, тогда и сести можно!

Каменев ушел довольный. У него на уме было иное...

Сенька, придя в Коломенское и зная, что слухи розыска по Тимошке вернее всего добыть в кабаках, пошел на кружечный двор. По двору кружечного бродили без команды пьяные датшные люди, солдаты и пешие рейтары. Если заходил на двор питух, то окружали его и, вынув из-под полы епанчи фляги, предлагали купить вино чарками. Сеньку также окружили, он отговорился:

– Не за вином иду, послан по делу к целовальникам!

– Ежели лжешь, то наших все едино не миновать!

Среди кружечного двора Сенька избрал самую большую питейную избу, полуразрушенным крыльцом вошел.

В избе стоял густой дым от табаку. Солдаты темной массой облепили длинный питейный стол. Все они курили трубки, редкие пили табак из рога. Сенька вынул свой рог, стал тоже пить табак, чтоб не кашлять от вони едкого табачного и сивушного воздуха. Стены заплеваны, они черны от дыма, сруб избы курной. Большое дымовое окно вверху выдвинуто, из него на питейный стол, занятый солдатами, падали скупые лучи тусклого дня. На столе солдаты играли в карты. В глубине сруба за большой дубовой стойкой четыре целовальника в сермяжных кафтанах, запоясанных кушаками, – за кушаками целовальников по два пистолета. Целовальники хмуры и бородаты.

Служителей Сенька увидел много, они вооружены: кто с топором, всунутым спереди за кушак, у иного и пистоль торчал. Служители вертелись за спинами целовальников около поставов больших с полками, где стояла винная посуда мелкая и лежали калачи. На каждом поставе вверху черная закопченная икона, ликов не разобрать.

За стойкой был прируб и там печь, у печи тоже ютились служители. Вооружение кабацких слуг не обычное, так что боялись грабежа царева вина и напойной казны, по тому же и целовальников много.

– Народ-де в моровую язву дерзкой, да и солдатов тьмытем.

С левой стороны от входа, загораживая лаз за стойку, угнездилась шестиушатная куфа с пивом – у ней шумели питухи, пиво было приправлено водкой. За обруч кади цепью прикрепленна железная кружка вместимостью с добрую половину ендовы.

Питухи и кабацкие женки пили пиво, кидая за выпитую кружку деньги на стойку

---

<sup>145</sup> *Большой приход* – приказ, ведавший сборами с таможен, в некоторых местах и с кабаков.



ближнему к кади целовальнику, кричали, когда кружку брали в руки:

– Един круг!<sup>146</sup>

– Два круга!

– Пей! Чту, сколь пьешь, – отвечал целовальник.

У кади с пивом, на крючьях в стене и на веревках, натянутых вверху над кадью, висела заложённая рухлядь питухов. Пропив последние деньги, раздевались, крича целовальнику:

– Кафтан рядной – морх на морх, троёморх! Сколь пить?

– Три круга пей!

– Вешаю лопотье – зри!

– Пей, считаю я... – отвечал целовальник. Иногда с веревки или крюка повешенная рухлядь падала в кадь с пивом, широкая утроба куфы принимала грузную, пропитанную потом грязную одежду, она опускалась на дно...

Питухи, подступая к кади, шутили:

– Глянь, браты, на бабью исподницу! – Чего зреть!

– Да вишь огажена и в пиве утопла!

– Ништо-о! Митькины портки два дни в куфе мокнут, да пиво от того не худче...

– Целовальник подсластил, влил в пойло пивное ендову водки-и!

– То угодник нашему веселью!

– Добро – пиво с водкой, в ем што ни пади, все перепреет!

На стене сруба за стойкой и в углах коптели факелы, дым от них подымался столбами, сливаясь с табачным, люди при свете факелов, как в аду. Многие раздеты до штанов, тут же кабацкие женки, вывалив отвислые груди и закрыв срам чем попало, толпились, пили и обнимались, матерясь, с теми, у кого остались крест на шее да штаны на поясице.

Медные кресты ошалело мотались на жилистых шеях, как и руки, и взлохмаченные волосы. На грязном, мокром полу спали пьяные, безобразно кривились их лица и рты, когда наступали им на руки или запинаясь за них.

За стойкой между поставов с посудой висит крупная, замаранная и закопченная надпись. Сенька прочел: «В государевы царевы и великого князя Алексея Михайловича, самодержца всея Руси кабаки не ходити скоморохам с медведи, козы и бубны и со всякими глумы, чтоб народ не совращати к позору<sup>147</sup> бесовских скоканий и чутью душегубных плищей<sup>148</sup>».

Но теперь, когда целовальники в страхе от толпы и солдат, скоморохи в углу питейной избы собрались, звенит бубен, слышна плясовая:

Ой, моя жена не вежливая  
На медведе не еживала!  
На лисице не боранивала,  
Ох, подолом воду нашивала,  
Воеводу упрашивала...  
Не давай мужу водку ту пить!

Все в питейной избе сумрачно: стены, потолок в густой саже, лица, заросшие до глаз бородами, скупно озаренные огнем факелов... Лишь изредка распахнется с крыльца дверь, проскочит дневной свет, и опять сумрак, да в сумраке том взвякнет ножна шпаги рейтара, шагнет проигравший деньги от стола на избу, и белый блеск его оружия кинет изогнутые

---

<sup>146</sup> *Одна кружка.*

<sup>147</sup> *Позор* – зрелище, слово XII века.

<sup>148</sup> *Плищ* – шум голосов, крики, веселье.

полосы на мокрый пол, и снова сумрак. От сумрака почудилось Сеньке, что видит он сон тяжелый... Коротко мелькнуло в его мозгу воспоминание детства и тут же ввязалось прожитое недавно – любовь Малки, страшная смерть отца Лазаря и матери, возненавидевшей его за Никона. Он тряхнул кудрями:

– А ну, тоску-туту кину! – подошел к стойке, сказал: – Лей стопу меду!

Целовальник, поковыряв пальцем в бороде, спросил: – Малую те ай среднюю?

– Лей большую и калач дай!

Целовальник с поставом, где стояли с водкой штофы, достал медную стопу, позеленевшую, захватанную грязными руками, нагнулся в ящик у ног, зацепил грязными пальцами кусок меду, сунул в стопу, подавил мед деревянной толкушкой, налил водки и той же толкушкой смешал. Положил на стойку рядом со стопой калач крупитчатый, густо обваленный мукой:

– Гони два алтына!

Сенька, подавая деньги, сказал:

– Едино что скоту пойло даешь! Стопа грязная... – И, обтерев пальцами края стопы, выпил мед.

– Ты тяглой?<sup>149</sup>

– К тому тебе мало дела!

– Ормяк на те холопий, а тяглец и холоп едино что скот...

– Бородатый бес, кем ты жив? Народом! И не радеешь ему.

– Всем питухам радить – без порток ходить! – отшутился целовальник, зазвенев кинутыми в сундук деньгами.

Сенька оглянулся на шум у пивной кади, там один питух упал навзничь, лицо его смутно белело в сумраке, из горла, окрашивая седую бороду питуха черным, хлынула кровь.

– Худая утроба! Пиво пил, блюет кровью... Питуха, чтоб не мешал пить, отволокли за ноги. Сенька громко сказал:

– Пасись, люди, то черная смерть, мой отец схоже помирал – борода в крови!

– Детина, не мути народ! – крикнул целовальник.

От питейного стола к павшему с бородой в крови, гремя ножнами шпаги, шагнул рейтаренин, за ним повскакали еще солдаты с криком:

– Волоките ево на двор, а то все помрем!

Сенька пил редко, оттого выпитое его неожиданно взволновало и озлило – сила в нем запросилась к движению, глаза както по-иному впивались в сумрак избы-теперь в дыму под потолком он увидал черную доску образа:

– Везде грозят – царь и бог! Эй, люди, коломничи, кто поволокет палого, всяк помрет! А вот – зрите!

Подскочив к кади, Сенька шестопером выбил уторы, пиво хлынуло на пол.

– Ой, бес! Пить не дал.

– Так! Ай да молодой, – кричали солдаты, вскакывая за столом на скамьи, так как по полу разливалось мокро.

– Зрите на дно кади!

Много глаз уткнулось на дно кувшины, много рук протянулось туда и выволокли питухи раскисшее лохмотье.

– Кафтан!

– А во ище! Бабья рубаха с поясом, нижняя...

– Штаны!

– Пусти-ка, там ище есть!

– Полу-шу-ба-ак!

– Ах, сволочь! – закричал рейтаренин. – Чем поит люд крещеный...

---

<sup>149</sup> Ты тяглой? – Т. е. плательщик податей, горожанин или крестьянин, записанный в тягло.

– Утопим, товарищи, целовальников в бочках вина-а! – кричали солдаты.  
– Остойтесь! – крикнул Сенька. – Пушай ближний к кади целовальник выволокет хворобого...

– Какой те хворобой – мертвец!  
– Вот вам его! – Сенька, подскочив к целовальнику, схватив, перекинул через стойку на избу.

– О, черт! – Целовальника солдаты за волосы поволокли на двор, пиная.  
Один из целовальников выстрелил из пистолета в дверь на улицу и убежал, крича служителям:

– Спасайте казну государеву-у!  
Рейтаренин в ответ тоже выстрелил, попал в полку со штофами, с полки полилась водка, с потолка посыпалась сажа.

– Лови, лупи дьяволов, товарищи! – хлюпая лаптями, вскочив на стойку, заорал датошный солдат. Спрыгнув, он поймал одного целовальника, волок его за волосы к выходу, другого поймали солдаты и также за волосы утащили на двор. Иные норовили отнять у служек кабацких мешки с напойной казной.

– Маёру гожи, и нам перепадет!  
На дворе кружечного появился в черном мундире, с виду капитан в медном шишаке; он, выдернув прямую, тонкую шпагу, шагнул на крыльцо избы, где солдаты громили посуду и отбивали деньги у служек, иные наливали водку в свои фляги, носимые под полой.

– Гоже, продадим!  
За забором кружечного, за пряслем звена к слободам, кричал убежавший от побоев целовальник:

– Грабят напойну казну государеау-у! Бей в на-а-бат!  
В ближней слободской церкви ударили в колокол, медный звон завыл над посадами.  
Черный немчин, капитан, стоя в дверях, крикнул:  
– Солдаты, подбери ноги – борзо! Стрельцы с коломенцами двор окружат, имать будут.  
Когда грабили, Сенька стоял, глядел, он ничего не брал и не пил больше. Теперь на знакомый голос черного капитана кинулся с радостью.

– Таисий, брат!  
– Семен!  
– Тебя ищут! Заедино чтоб...  
– Давно жду – идем! Что это лицо и волосы в саже?  
– Стреляли... сажа с потолка, сухая – ништо-о! – Сенька выволок из-за пазухи шапку, отряхнув шапкой кудри, накрыл голову.  
– Мекал я, Семен, быть твоей голове под двором князей Мстиславских.  
– Это как?  
– Поспешай! Слышишь набат? Скажу о том после.

Ночью в моленной, сидя на скамье перед огнем большой лампы, горевшей у образа Пантократора, кабацкий голова писал в Иноземский приказ в Москву: «Боярину Илье Даниловичу Милославскому, да дьякам Василью Ртищеву, да Матвею Кулакову пишем мы, с Коломны кружечного двора голова Микифор Прохоров с товарищи:

По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси указу... Велено мне, холопу государеву, с кружечного двора казну – сборные деньги – сбирати на государя на веру в правду... Ныне в те дни, в которые продавать нам питье не велено – в великий пост, и по светлой неделе, и в успенский пост, и в воскресные дни – салдатского строю служилые люди приходят на коломенской кружечной двор и продают вино изо фляг явно, а в которые дни кружечной двор бывает отперт, и в те дни салдаты, ходячи около кружечного двора, на торгу, и по рядам, и на посаде в слободах на дворах, и на улицах вино продают беспрестанно, а маюр, как и доводили мы ранее сей отписки, от винной продажи салдатов не унимает и во всем им норовит... Многажды с вином к нему салдатов приводили, он их освобождает без наказанья... Салдаты по вся дни собираютца на кружечном дворе в

избах, играют в карты, а как салдатов учнут с кружечного двора сбивать, чтоб не играли, и они меня и целовальников бранят и хотят бить... А ныне вот в декабре в шестой день салдаты собрався на государев кружечной двор человек с двести учили в избах ломать поставы и питье кабацкое лить, и целовальников, волоча из избы, бить кольем, готовы и до смерти... а мы, Микифор с товарыщи, учили бить в колокола и едва государеву напойную казну отстояли...»

Голова приостановился писать, решив:

– Завтра с подьячими в казенной избе перепишем, да послать немешкотно!

Во дворе Ивана Бегичева ближе к тыну со стороны речки Коломенки стоит старая большая изба. Таких изб во дворе много и многие из них заняты полуголодной дворней – холопы Бегичева с солдатами по кабакам озорничают втай хозяина. Таисий, иначе Иван Каменев, эти проделки за холопами знает и Бегичеву не говорит, а потому Ивана Каменева вся дворня любит. В старой дальней избе Таисий упросил Бегичева его поместить, дворянин проворчал:

– Считаю, Иван, недостойным ученого изографа держать, как нищего!

Таисий отговорился:

– Тебя, хозяин добрый, станут беспокоить солдаты майора Дейгера! Они заходить ко мне будут, ближе всего с Коломенки... – и остался, а порядок в избе сам навел.

Из избы, где поместился Таисий, с заднего крыльца два шага до двери в барский заросший сад, из сада такая же малая дверь сквозь тын на речку Коломенку. Таисий чаще ходил в дом не главными воротами, а со стороны речки.

В дверке замок навесил и ключ с собой носил.

Сегодня к вечеру также вошел, привел с собой Никонова беглеца Сеньку, стрелецкого сына.

Сенька покосился на почерневший деисус в большом углу. Таисий пояснил:

– Хозяин этого дома обеднел, за деньги пускал в избу справлять свои службы аввакумовцев – от них и деисус...

Кроме деисуса, на Сеньку неприятно понесло запахом кабака и лохмотьем кабацких горян.

«Ужели мой учитель стал бражником?» – подумал Сенька. Но Таисий был трезв, а кабацкой посуды в избе не имелось, кроме одного зеленого стекла полуштофа водки, стоявшего на столе под образами... Стол липовый, с точеными ножками, без скатерти. На столе, щелкая кремнем по кресалу, Таисий зажег две сальные свечи...

Зашел в избу сам дворянин Бегичев и, трогая завороченную наперед острым клином бороденку, спросил Таисия:

– Сколь долго, думаешь ты, Иван, будут в Коломне грабежи от солдат?

– Я как могу то ведать?

– Ты многое ведаешь, а пуще маюра Дея, да и солдат ведаешь... Не устранился ли маюр? Уж, я чаю, не единый указ получил он от Москвы – «солдатское озорство унять чтоб».

Звуки набата отдаленно и слабо доносились в избу. Таисий спросил:

– Слышишь ли, добрый хозяин, сполох? А ведомо ли тебе, что на кружечном чинено солдатами?

– Ох, все ведомо, слышу, вижу... а ты бы ему на его песьем языке поговорил страху для...

– Говорить майору лишне есть, ведает он, что государь царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович много иностранцам спускает, а ежели наведут кую расправу, то сыскивать заводчиков начнут у солдат...

– Эх, и не к ночи будь сказано, наш хлеб бусурманы жрут и чуть не в рожу нам же плюют... Из рекомого тобою, Иван, уразумел я, что не время мне бывать на кружечном и учитывать, сколь в день копится государевой напойной казны... Заедино мыслил я и суды кабацкие поглядеть – поставы, кади и енды...

– Не время тому, хозяин добрый! А вот, глянь на лавку, мой друг пришел и здоровенек,

а я думал – извелся от черной смерти... Вместе росли, заедино богу молились!

– То радость тебе, Иван! Как имя его? Лепотной молочший...

– Лепотной и не лапотной, имя Григорей – не обидься, что приючу его у себя...

– Какая обида? Лишний добрый молодец дому укрепа... Бегичев пошел.

– А выпить есть, вон посуда!

– Нет, Иван, заходи ко мне – ближе старику спать брести хмельному...

– Ну, будь здоров! Казны твоей не схитим и не объедем... – провожая Бегичева сенями, шутил Таисий.

Бегичев только отмахнулся:

– Стал бы я, дворянин, кабацкое дело докучать, кабы разором не зорен?

Бегичев ушел. Приятели, открыв дымовой ставень избы, стали пить табак, заправив два рога. Потом из большой курной печи Таисий выволок две широкие торели жареной рыбы, нарезал хлеба, покрошил в рыбу чесноку, и оба плотно поели, а запили жареное водкой.

Пересели на ту же лавку, только к окну в сад.

– Теперь, Семен, будем говорить... здесь за углы прятаться и в окна заглядывать нужды нет, ушей чужих тоже нету... для того и построй этот избрал...

– Эх, брат Таисий, многому мне еще учиться у тебя... Двери заскрипели неторопливо. Из сеней низкой дверью пролезла объемистая фигура бегичевой домоуправительницы.

– Пришла я – мой Иван, пустой карман, молвил: «Новыйде жилец в дому!» – так я к тому.

– Жалуйте милость вашу, Аграфена Митревна! – Таисий, подойдя, кланялся низко. – По-здорову ли живешь?

– Живу, грех хвалить, маотно... бахвалить нечем, так кажика мне новца-молодца... – Баба села на лавку у двери.

– Гриша, подойди.

Сенька хотел поправить приятеля, но вовремя спохватился: подошел и тоже поклонился пышной бабе.

– Чур меня! Ух ты – чур, чур! Не гляжу боле... – Баба закрыла лицо рукавом распашницы, быстрее, чем надо, поднялась и, сгибаясь, шагнула в сени. Таисий шел за ней, она спешила, он догнал, взял ее за рукав.

– Митревна! Аграфена Дмитриевна, чего борзо утекаешь?

– Чур, чур – убежать надо!

– Пошто убежать?

– Да ишь – брат твой ай сват, коего я еженощно во снах вижу, восстанешь на ноги – сон спадет и ходишь да на рожи глядишь... прости-кось, больно он красовит, новец-то...

Таисий, вернувшись в избу, сказал Сеньке:

– Надо тебя, Семен, остричь и лик вапами подчернить, а то куда ни покажись, всюду кучу баб поведешь...

– Вот моя беда!

– Ништо... подмажу, и ладно будет.

– Ты сказал мне на кружечном: «Быть твоей голове под двором князей Мстиславских!»...

– Ты это впервой слышишь?

– Впервой...

– То старое присловье, а пошло оно с тех пор, как дед мой Иван Грозный боярам головы рубил, Лобное место было в Кремле, и надо смекать, что головы бояр катились под дворы тех, кого царь Иван хотел, шутки ради, запугать... Любил тот царь шутки шутить...

Таисий принес из прируба два бумажника, оба разостлал на лавку.

– Голова твоя цела и под боярской двор не пала, так будем спать головами вместе и думать станем заедино...

– Заедино думать и жить заедино, довольно боярам слу «жить»!

– Послужи народу! Голодное дело, да все же правое...» Сенька зевнул:

– Эх, и усну же я... почти не спал – шел к тебе...  
– Здесь мы цари и боги! Попьем табаку еще, потом спать... Сеньке дремалось. По привычке он сидел во всем своем наряде.

– Скинь кафтан, кольчугу, оружие, сними сапоги. Раздеваясь, Сенька продолжал:  
– Почему, брат Таисий, так в миру ведется? Чем бояре и боярские дети красятся, от того малому человеку беда!

– Ты это про себя молвил?

– Да...

– Дура эта баба, как постеля, хоть спи на ней, но тем и опасно, что такие, как она, ничего не таят – что на очи пало, то и на язык улипло... Отселе первая забота – изменить твое виденье! Инако, когда будет о тебе весть к воеводе или наместнику, а приметы в той вести приложены, без того не бывает, и тебя среди ночи хоть на ощупь имай... возьмут!... Нам же много дела – надо народ бунтам учить...

– А как мы за то возьмемся?

– Давай спать... после увидим...

– Еще скажи... ты много сердился, как я в патриарших сенях попа убил?

– Поп того стоил – разбойной, наглой и ярыга... Только с тех пор стал я за тобой доглядывать... доглядел, что ты связался с боярской женкой, что женка та и патриарху любя... а как все проведаль, сказал: «Теперь, Сенька, тебе одна дорога – ко мне бежать!»

– Ну, спим, брат Таисий...

Два дня дьякон Иван ждал Сеньку. Вечеру второго дня к патриаршей палате подъехал возок к воротам с тремя отроками из Воскресенского монастыря. За возком конный патриарший – боярский сын Васька. Он, войдя в сени большой крестовой палаты, подал дьякону Ивану грамоту от патриарха.

По чину принимая грамоту, дьякон перекрестился и печать патриаршу поцеловал, а у гонца спросил о здоровье.

Боярский сын сказал:

– Отец Иван, в грамоте что указано – не ведаю, отроков же прими, а я за Кремлем буду, лошадь устрою... Лошадь моя, и на патриаршу конюшню ставить не велено... Дня три годя наедут достальные дети боярские.

– Поди, сыне, отроков улажу. Поклонясь, боярский сын удалился. Дьякон, развернув грамоту, читал:

*«Так-то ты, плешатый бес, невежничает перед господином своим святейшим патриархом, что скаредное чинишь – веете мне, что ты сводником стал и боярыню Зюзину в патриаршу палату манишь для Семки, и спать ей даешь, и ночи она проводит с ним! Гляди, жидковолосый, как бы мой посох большой иерусалимский по твоим бокам гораздо не прошелся?... Нынче же, получив эписистолю мою, без замотчанья, не мешкав, бери Сеньку того со стрельцы к палачу и куйте в железа, да руки чтоб безотменно были назад кованы, да колодки дубовые, палач Тараска то ведает, кои крепче, на ноги ему и на цепь посадите...»*

*Юнцов монастырских устрой, овому ведать ключами от сеней и ему же в хлебной келье быть... овому в ризничной... Тому же, который млад, у спальны быть. Учреди все и пасись гнева моего... Никон».*

Бумага задрожала в руке дьякона, он, стоя у большого подсвечника-вододея, подпалил грамоту, ключья горевшей бумаги потопил в воде ночного светильника, пошел к себе и по дороге привычно вслух сказал:

– Вот, боярыня Малка, посул замест жемчугов! Глазата, хитра... только и за тобой уши чувуют, а очи блюдут...

Патриарх, перед тем как уйти в «спаленку», сидел в своей малой моленной за столом, покрытым красным бархатом. Перед ним серебряная чернильница, серебряная ж песочница и лежали чиненные лебяжьи перья. Бумага, клей для склеивания столбцов, печать патриарша тут же.

В углу большом и на стенах много икон письма его дворозых патриарших иконников.

Видные из образов: «Спас златые власы» – копия из Успенского собора, «Всевидящее око» и «Аптека духовная».

На передней стене между двух окон, закрытых ставнями, со слюдяными расписными в красках с золотом узорами, часы, тоже расписанные золотом, с кругом, который, двигаясь, подставлял под неподвижную стрелку славянские цифры; теперь стрелка стояла посередине букв «Ві» – по-нашему «полуночная».

Дьякон Иван внес патриарши любимые сапоги – красные сафьянные, с серебряными скобками на каблуках. Перекрестился, нагнувшись, стал переобувать Никона.

Подставляя ноги для переобуванья, Никон писал. Кончив писать, сказал:

– Ну-ка, сводник из патриарших причетников, доведи о своем новом звании – как сводил, поведай?...

– Святейший патриарх, сводить не надо было – боярыня Малка с видов ополоумела, прибежала сама, черницей ряженная, кричала: «Где он?!», а Семена не было, я сказал: «Нет его!», так она в лице сменилась и зашталась, готовая упасть... Пожалел – в том мой грех, проводил в келью...

– В мою ложницу свел ее?

– Нет, святейший господине, твоя спальня чиста от блуда.

– Чиста ли нет, о том от седни закинем глаголати... Потом пришел Семка?

– Семен отлучался к родным его, а перед тем шел выполнить твою волю к боярину Морозову, да боярин, едино лишь лаяя тебя, святейший, образа снять не дал и лист твой патриарший подрал, а обозвал он тебя, государь, мордовским пастухом и грозил, «что-де обиды этой не прощу!».

Никон нахмурился, взял перо и, что-то записав на бумаге, сказал:

– Ныне же отлучу от церкви, не свестясь с царем, бояр Морозова Бориса и Стрешнева Семена! Оба того давно ждут...

– Сенька, святейший патриарх, был отрок усердный к твоим делам...

– Чего сказываешь – ведомо мне...

– Послушный, не бражник и не зернщик. Ночью той же, когда боярыня его ждала, оборотив, избил четырех лихих, кои у большой крестовой с лестницы вырубали окошки... Опас нам был смертный – Кремль горел, и Фролова в ту ночь рушилась, – и нам бы без Семена однолично гореть... и был ли я без него жив ай нет – не вем... После, как парень отвел беду, спас мою жизнь и твое добро, – я и свел их... в том прошу прощенья... сказал, помню: «Грех примаю на себя!», и ныне готов казниться или миловаться тобой, господине...

– И надо бы в большую дворовую хлебню посадить тебя на цепь, да прощаю, ибо много к тому тебе искушения не будет!

Дьякон земно поклонился Никону. Патриарх в раздумье продолжал:

– Узнав про твое и Малкино воровство, я воспылил гневом... но, помолясь, позрел в душу свою, и глас, укоряющий нас за грехи, дошел до ушей моих: «Ты, блудодей и пес смердящий, – кто вина сему греху? Ты! Ибо нарушил обет святителей и замарал мерзостью любострастия своего ложе праведников...»

Никон поднял голову, глядя в угол на образ Спаса, продолжал:

– Бес, живущий в теле с костями и кровью, вопиет о наслаждениях скаредных, миру слепому данных, а тот, кто, восприняв сан учителя духовного по обету мнишескому, зане не оборет молитвой того беса – причислен есть к сонму сатанинину!

Патриарх встал, заходил по малой крестовой шагами высокого человека, отодвинул с дороги налой, крытый черным, с книгой, и, опустив голову, заговорил снова:

– Отныне бес, прельщающий меня, изгнан! Враги мои будут пытаться и искушать тебя, моего келейника, ответствуй: «Патриарх призывал боярыню Зюзину Меланью как врач духовный...» Вот он!

Патриарх перстом руки указал на образ большой, аршинный в квадрате. На нем было изображено: высокие шкафы справа и слева, между ними стол, за столом на правой стороне инок в черном, в мантии и клобуке, на левой стоит Христос. На ящиках шкафов надписи:

«Терпение», «Чистота духовная и телесная», «Благоприятство», «Кто же сея любви совершитель, токмо распятый на кресте», вверху мутно, в мутных облаках благословляющий Саваоф. Внизу от темного фона с изображением отделено светлым и по светлomu крупно написано: «Аптека духовная, врачующия грехи», дальше мелко идет повесть о том, для чего пришел сюда инок.

Пройдясь по моленной, патриарх сел к столу.

– Скажи, Иване, что имал с собою Семка?

– Святейший патриарх, дал ему я пистоли, коими ты благословил его...

– Еще?

– Еще взял он шестопер золочены перья и пансырь, юшлан короткий.

– Юшлан пластинчат, такого не было... Казны не имал ни коей?

– Сундуки в палате с казной твоей, господине, я запечатал, как лишь ты отъехал, казначей сказался больным, ушел в тот же день и, должно, извелся... нет его, а Семен не мздоимец – ушел от нас, видимо, навсегда!

– Оборотит – далеко не уйдет... Конюший как?

– Прержний, святейший господине, помер, я указал встать к тому другому старцу, справа сбруйная цела, и кони твои здоровы.

– Добро...

– Дворецкого ты с собой увез, а дети боярские и стрельцы с тобой же в пути были, пошто не вернулись все?

– Наедут все – не вопрошай, ответствуй! Нищие в избах есть?

– Нищих жилых угнал, а пришлых не звал...

– Чинил, как указано... Не время нищих призрывать, когда сами пасемся гроба! Московский князь Иван Калита по три раза подавал мзду одному и тому же нищему, полагая в нем самого Христа... Мы уж в то устали верить, а вот татей и лихих людей поискать среди убогих не лишне!

Свечи на столе нагорели, а в подсвечниках-водолеях перед образами восковые дьякон заменил на ночь сальными. Патриарх встал:

– Пойдем, раздень меня и отыди – утомлен я зело... Дьякон, взяв в шкафу из угла атласное вишневое, отороченное соболем одеяло, пошел за патриархом.

У порога «спаленки» лежал в крепком сне послушник, вывезенный недавно из Воскресенского, патриарх тронул его сафьянным сапогом:

– Страж добрый! Эй, пробудись... Но юноша лишь мычал и почесывался.

Дьякон Иван отволол его за ноги с дороги. Входя в спальню, патриарх, перед тем как молиться, еще приказал:

– Иване, завтра же учини парнишку строгий наказ: одежду менять чаще и мыться довольно...

– Исполню, святейший патриарх!

Утром рано патриарх, одетый в шелковую ризу, после обычного домашнего молитвословия сидел у стола и при свете масляного шандала выкладывал цифры расходов на листе, склеенном в столбец<sup>150</sup>. Перестав исчислять, прислушивался к пению за стеной обучаемых монастырским старцем певчих... Большие подсвечники-водолеи воняли салом, шипели, догорев доводы, и гасли. У образов становилось темно. Никон перевел глаза на боярина Зюзина, сидевшего за столом против патриарха.

– Так, так, Никита Алексеевич.

– Да... так, святейший друг великий патриарх... и я его, холопа, втокнул к медведю в лапы...

– Так! А он что?

---

150 ...на листе, склеенном в столбец. – В делопроизводстве того времени бумаги подклеивали одну к другой и сворачивали в свитки – столбцы.



– Да что! Медведя убил, ушел – сила его равна моей...

– Он не холоп, вольной парень, боярин Никита, а сила его неравна гораздо твоей...

Пошто же торопливо и гневно чинил так?

– А еще как, святейший друг! Холоп ложе имел с моей женой, то я изведал потом до-тонку... любуючись, издевался...

– Не впервой он издевался над честью твоей – извещал и я тебя.

– И над твоей, государь святейший патриарх!

– Моя честь пребудет со мной... Внимай мне, боярин Никита, отныне честью с тобой жить будем розно... От сего дня Малку-боярыню не ведаю как мою духовную дочь... ее врачевал я, как Христос пришедшего к нему инока. – Никон показал боярину на образ «Аптека духовная», тонуший в сумраке стены. – Спасал ее, помазуя священным елеем, мысля отогнать от жены опалывшего ее духа сладострастия...

Боярин гневно нахмурился, зная за святейшим другом иное кое-что с его женой, но про себя гнев смирил и умолчал без поперечки.

– Чтоб изгладить память мнимых грехов моих и возвеличить славу мою, я тебе, боярин, поручаю дело: заготовить, сколь потребно будет, извести и кирпичу на стены новых палат, а также строевого лесу на мосты к тому строенью. Зреть построй будешь вкупе с моими патриаршими старцами... Брусную хоромину патриархов умыслил срыть... Кое из Воскресенского, а пуще с Иверского монастыря переведем каменотесцев, плотников и скоро воздвигнем на даренном мне государем царем, моим собинным другом, месте кирпичные теремы. – Никон гордо над столом, слегка вытянувшись, поднял голову и вознес вверх правую руку с лебяжьим пером: – Мои палаты вознесутся превыше царских, ибо нашей славой цари опекаются, яко солнцем! Святительской благодатью нашей. Чем в харатеях, как первые князья московские твердили сей град... Для укрепы стола своего княжого манили и одаряли митрополитов... Отселе и царская слава идет, а до святителей приходу над Москвой Владимир и Тверь были почетней...

Боярин сидел угрюмый, втянув всклокоченную голову в расшитый козырь парчового кафтана. Через жену он имел немалое влияние на патриарха: «И вот – все рушилось!»

Никон догадывался, почему хмур боярин, ласково взглянул, сказал:

– Не тужи, друг мой, Никита боярин, не печалуйся за жену... в дружбе моей к тебе пребуду неизменным...

– Много обрадован тобой, святейший господин.

– Денег тебе дам довольно на построй. Казна моя не расхищена есте... В новых палатах возведем не по-прежнему... перво: верхний сад на смоляном помосте сгнил и завсе гниет... сыротов идет в потолки, портит подволочную живопись... по-старому устроить тот сад – будет то же, а мы разведем сад внизу. К ему лишь чердаки прибавим, вишню ли, груши, мак и другое как было, садить укажут садовники... Теперь для постройка нового у меня в Иверском есть строители искусные... делали они для приезду великого государя в Новый Иерусалим<sup>151</sup> как по-писаному скоро – ужели же ныне замешкаем? И повторим мы с тобой, Никита Алексеевич, время царя Бориса, когда он Иванову колокольню<sup>152</sup> поднял...! Мы же разоренному и застрашенному черной смертью люду вложим в уста и сердце радость – с работой хлеб и деньги дадим!

Никон встал.

– Теперь, боярин, прости – звонят к службе... Иду в Успенский, за обедней отлучу от церкви Морозова и Стрешнева за их смуту противу меня... Сенька четет на главы в дому своем мерзкое измышление пьяниц попов заштатных и скоморохов «Праздник ярыг

---

<sup>151</sup> *Новый Иерусалим* – Воскресенский монастырь, основанный Никоном в 1655 г.

<sup>152</sup> ...*Иванову колокольню поднял...* – Колокольня Ивана Великого в Кремле была воздвигнута по указанию Бориса Годунова в 1600 г.

кабацких<sup>153</sup>», Морозов же возлюбил кальвинщину, да зримо тянет к латынщине – свейцы его други, немчины.

Боярин тяжело поднялся, взмахнув рукой сверху вниз:

– Ох, поопаситься бы тебе их, святейший патриарх!

– Что молвишь – озлю?

– Истинно то и скажу!

– Препоясанному мечом славы, носящему клобук и мантию святителя должно наступить на змия главу и василиска!

Зюзин благословился, поцеловал руку патриарха и, отойдя к дверям моленной, встал:

– Так, не мешкая, пошлю доглядывать обжиг известки и кирпич готовить.

– Начало твое, боярин, благословляю... Никон перекрестил воздух.

В Успенском соборе продолжали звонить к службе. Патриарх пошел облачаться, но с дьяконом Иваном вошел в моленную патриарший подъячий, крестясь и кланяясь. Никон вернулся к столу:

– Напиши, Петр, воеводам – ты ведаешь кому куда, – а пиши грамоты так: «По указу великого государя святейшего патриарха всея Руси Кир<sup>154</sup> Никона... приказано иметь убеглого его человека Семку, стрелецкого сына московского». Приметы его, Петр, тебе ведомы?

– Знаю его на лицо, святейший патриарх!

– Приметы испиши, лета тож:

«...покрал тот Семка, будучи слугой у святейшего патриарха, перво – шестопер булатной, другое – два пистоля турецких малых, третье – панцирь короткий, подзор медяной, тот панцирь без зеркала. Изывав утеклеца и оковав, вести к Москве на патриарш двор под караулом».

– Седни же исполню!

– Испишешь, печать наложи, и разошлем по воеводам с детьми боярскими. Иди! Да... мешкай мало... окончу молебствие – пошли ко мне сюда же в малую моленную стрелецкого голову...

– Будет сделано, святейший господине.

После службы в Успенском соборе дьякон Иван, придя в свою келью, развернул сафьянную тетрадь, где стояло «На всяк день», записал:

«А. В сей день святейшим патриархом указано боярину Никите Зюзину готовить кирпич на новые палаты патриарши...

Б. В сей же день в Успенском соборе святейший патриарх Кир Никон всенародно отлучил от церкви бояр: Семена Лукьяныча Стрешнева и Бориса Ивановича Морозова.

В. В сей же день святейший патриарх указал патриаршему подъячему Петру Крюку написать воеводам – к поимке чтоб и возврату к Москве Семена, любимого моего. От сей день Семен причислен к татям и разбойному сонмищу гулящих людей... Пошли ему, всеблагий владыко, невинному отроку, покров и защиту – аминь!

Г. И ныне к святейшему господину нашему пришел голова стрелецкий, чтоб на Коломну стрельцов нарядить».

На крестце был харчевой двор, но от солдатской тесноты хозяин двор покинул.

Солдаты с разрешения майора Дейгера устроили в бывшем харчевом Съезжую избу. С вечера, после барабанного бою, всю ночь заседали – чинили суд над посадскими и попами, чернцов тоже не миловали – волокля.

---

<sup>153</sup> «Праздник ярыг кабацких» – «Праздник кабацких ярыжек», или «Служба кабаку», – памятник народной сатирической литературы, в котором жизнь пьяниц описывалась в форме пародий на церковную службу. Наиболее ранний из дошедших до нас списков «Праздника» датируется 1666 годом.

<sup>154</sup> Кир – титул патриарха, в переводе с греческого – «господин, государь».

На дворе жгли огни – в избу все не вмещались, и хотя зима малоснежная, но было студено.

В огонь кидали от постройка что попало на глаза: гнилые столбы тына, окружавшие обширный двор, колоды, ясли, ворота конюшен и даже двери из сеней в избу, чтоб не мешали широко ходить, искололи в огонь.

В углу избы стол большой, божницы и образов нет – в огонь пошли, висит только медная лампада.

За столом, замещая избранного слободой дворянина, сидит Иван Каменев, рядом с ним за старшину слободского рейтар, перед ними оловянная чернильница, гусиное перо и лист, склеенный из полос бумаги. У рейтара под рукой два пистолета. Перед черным немчином-так зовут солдаты Ивана Каменева – на столе его медный шишак. Черный узкий мундир застегнут глухо на все медные пуговицы. С правого плеча к левому бедру ремень, хотя шпага висит на поясном ремне. Сверх мундира черная же баранья шуба. Рейтар в броне, в шишаке, тоже медном. Шишак застегнут ремешком у подбородка.

Среди избы столб, а вместо матиц от верха столба веером во все стороны идут и упираются в потолок закопченные курной избой подпоры. Низ столба в четыре угла обит на сажень вверх досками. В сторону стола на столбе деревянный темный крест, шестиконечный, с адамовой головой у рукоятки. Под крестом ящик с накинутым на него черным кафтаном, то – налой. На тот налой солдаты добыли требник. Черный немчин требник подрал, раскуривая рог с табаком, сказал:

– Не боярский суд – наш, солдатский, и честь будем горянский плач...

Солдат Шмудилов, поставленный у креста, потихоньку говорил солдатам:

– Еретик, потому церковное хулит...

Черный немчин на налой кинул тетрадь в пергаментной обложке, а на ней писано: «Слезно восхваление кабаку государеву».

Воздух в избе пахнет застарелым дымом и потом.

– Эй, солдаты, огонь пора...

По голосу черного у дверей с треском загорелся факел. Другой, раскидывая искры, вспыхнул между окнами со слюдой в оловянных окончинах.

– Разбрелись, господине капитан, посадки... слободы тож... Нам ту сидеть прибытку мало... – говорит Каменеву рейтар.

– Правда твоя, служилый, а все же пождем...

– Ежели женок опять поволокут солдаты, так же с ними?

– Так же, чего обижать солдат? Посадские жены величают нас грабителями и всякое скарედство чинят... с ними по-ихнему будем!...

– Ну, так я стану строго судить!

В избу с шумом и топотом солдаты втащили толстого посадского в дубленой кошуле, в шивных с узорами валенках, в бараньем треухе.

– Вот, господине капитан и все товарыщи, лаетца, не идет... гляньте брюхо... вспороть ему, пуд сала мочно вынуть...

– Бедные мы коломничи! Куда волокут? Пошто? Кому учинил зло? Не вем!...

Солдаты шумели, присвистывали, рейтар крикнул:

– Гей, тихо, судить будем! В избе примолкли:

– Торговой?

– Торгую мало... – посадский, сняв треух, поклонился.

– Сколь имеешь торговли?

– Было три ларя на торгу – ныне один...

– В день от него прибытку сколь?

– Купят мало... вас, солдатов, народ бежит...

– Пущай! Сколь давать будешь на день государевым служилым людям?

– Век такой налоги не знал и дать што не ведаю!

– От седни ведай! Три гривны день.

- То много... мал торг!
- Давай две!
- Мало торгую... много так!

Дуло пистолета зловеще и медленно подымается. Посадский втягивает голову в воротник кошулы и приседает.

– Гей, товарищи, пушай он даст клятву! Солдаты кидаются к посадскому, волокут ко кресту.

- Будь сговорной или смерть у порога! – тихим голосом советуют.
- Оробевший посадский с трудом различает крест на столбе – у него рябит в глазах.
- Клянусь святым крестом, что ежедневно буду исправно платить служилым людям...
- Две гривны! – кричит рейтар, с треском взводя кремневый курок пистолета.
- Две гривны! Клянусь... – почти шепотом от страха говорит посадский.
- Клади задаток и будешь безопасен!

Посадский, держа шапку в зубах, идет к столу и из пазухи вынимает кису, платит вперед за неделю.

Рейтар макает перо в чернильницу, пишет для виду, спрашивает:

- Имя твое?
- Тинюгин... Петр Федоров сын...
- Шмудилов! Читай торговану отпуст.

Бойкий солдат с вороватыми пьяными глазами хватая с налоя тетрадь, читает звонко по-церковному: «Ныне отпускаеши с печи мене, раба своего пузанку... еще на кабак по вино и по мед и по пиво по глаголу вашему с миром!... Яко видеста очи мои тамо много пиющих и пьяных...»

Посадский, вынув из зубов шапку, не надевая ее, крестится, подходя к дверям.

– Солдаты, проводите безопасно торгового к десятскому слободы... – приказывает громко черный немчин.

Посадский исчезает в сенях.

Спустя мало с хохотом солдат и бабьим визгом в избу втащили толстую, приземистую бабу. Она в сапогах мужских, в полушубке, поволоченном рыжим сукном, поверх полушубка теплый плат с кистями до пояса.

– Во, братья, Кутафья, уловил-таки – взопрел да приволок... – кричал тощий датошный солдат в сером тягиляе стеганом и в лаптях.

- Кто такова?
- А наша хозяйка, где мы во двор господином маёром ставлены.
- Чем перед тобой повинна?
- Да завсе лает нас, солдатов, скаречно, родню мужню зовет на нас – сбить со двора штоб...

- А ты тут у чего есть, коли она всех лает?
- Рухло мое кое в огонь шибла, особно лает меня...
- Што платишь за бесчестье солдату?
- А нету у меня ничего! А и было бы, то такому възгряку – шиш!
- Язык у тебя колючий – вот стрелю! Башка полетит за порог! – грозит рейтар, берясь за пистолет.

Баба пугается:

- О, не стрели, отпусти душу на покаяние...
- Деньги есть заплатит рухло, кое пожгла?!
- Нету ни пулы, да лжет он, възгряк!
- Ты што получить хошь?
- Она, товарищи, Кутафья, заплатит может!
- Чем? – спрашивает черный немчин.
- Сами, товарищи, сведомы – чем, коли денег нету – в подклет со мной, а там получу...
- Было бы с кем иттить! Ни кожи, ни рожи – я, чай, мужняя...

Рейтар молча подымает пистолет.

Баба кланяется, вязаными рукавицами закрывает лицо.

– Ой, отпусти душу!

– Не убудет тебя – поди в подклет, а то и на неделю запрем!

– Ну, ты, бес лапотной, пойдём коли... терплю страх смертный.

Солдат с бабой уходят в подклет, где за сломанной переборкой клетей много. Мало спустя выходят, баба отряхивает полы полушубка.

– Кланяйся судьям! – советует солдат.

Баба кланяется, особенно низко тому, кто кажется ей главным, тому, кой с грудой до пула закован в броню, и пистолы у него под рукой.

– Простите, только пушай, коли замест мужа стал да от дому уволок, проведет в обрат – наш он, постоялец...

– Его воля – пушай!

По двору бабу провожает много солдат, зубоскалят:

– Мерой-то сошлись?

– У, беси, вам кое дело? – смело огрызается баба. Солдат уводит ее за ворота, остальные, придя к огню, где играют в карты, говорят:

– Нешто отбить у его бабу? Сабли нет, един лишь пистоль...

– Со своим бой маёр строго судит!

– Жаль... баба-т ядреная!

Меж тем на Съезжую волокут попа.

– Поди, батько, поди, ругу платят...

– Наг, яко Адам в раю... глаголал, не имут веры – тянут... Поп в черной однорядке, видимо, чужой. Солдат, который приволок попа на Съезжую, смущенно говорил:

– На улице тма! Волок – чайл, с молебна поспешает...

– Сними с него скуфью! – говорит рейтар, отодвигая пистолет. – Попа бесчестить добро, да камилавку не топтать ногами... на то есть «Уложение государево».

С волос попа, спутанных и грязных, солдат снимает скуфью, кладет на стол.

– И скуфья драна! – говорит он.

– Пушай у креста клятбу даст, что дать может, – говорит рейтар.

Попа подвели к налою:

– Клянись, што имешь!

Поп, поклонясь кресту, помотал рукой:

– Клянусь честным крестом, что наг, яко Адам, и гол, как Ной пред сынами своими!...

– Шмудилов, чти отпуст.

Солдат начинает тараторить с тетради. Поп звучно высморкался в кулак, очистив нос, сказал:

– Так это же наше московско, со Спасского крестца! – Громче и грамотнее солдата на память начал басить церковно: – «Что ти принесем, веселая корчмо? Каждый человек различны дары тебе приносит со усердием сердца своего: поп и дьякон – скуфьи и шапки, однорядки и служебники... чернцы – манатьи, рясы, клобуки и свитки и вся вещи келейные... Служилые люди хребтом своим на печи служат, князе и бояре и воеводы за меду место величаются... Пушкар и солдаты тоску на себя купили – пухнут, на печи лежа, сабельники саблю себе на шею готовят... тати и разбойницы...»

Солдат Шмудилов прекратил славословие кабаку, извернувшись, закинул подол однорядки попу на голову. Под рубищем обнажилось грязное тело, зад, замаранный навозом и сажей.

Рейтар ударил дулом пистолета по столу:

– Пошто горян волочите?! Вон попа!

Попа быстро вытолкали из Съезжей, так же быстро кто-то сунул ему на голову скуфью.

Черный немчин за столом встал, поднял со скамьи шубу, накинул на плечи, сказал рейтару:

– Товарищ, справляйся один – выйду я...

– Иди, господине...

Черный вышел во двор. Вслед за ним, крадучись по стене, шмыгнул солдат от креста Шмудилов. Черный немчин вспомнил Сеньку:

– Ужели здесь не будет? Должен прийти в избу... Солдаты у огня забавлялись кто как мог – иные курили трубки, иные балагурили, пили водку, а которые азартны, те играли в карты.

Черный немчин придвинулся к огню, сел, сказал громко:

– Эй, солдаты, хотите ли знать, как едят бояре? Как кушаете вы – говорить не буду.

– Еще бы! Сказывай про бояр... чуем.

– Солдатца ёжа знамая...

– Хлеб, вода, то и солдатца еда!

Черный немчин вытащил из кармана шубы длинный лист, мелко исписанный.

– А ну, чти, как едят бояры?

– Слышьте все!

– Чти, чуем!

– Вот, солдаты, как по приказу царя кормят иноземных послов!

«На приезде послов по памяти из Посольского приказу от великого государя отпущено:

С сытного двора<sup>155</sup> вина двойного пять ведр.

Вина доброго дворянского – романеи, олкану – по пять ведр.

Медов – малинового, вишневого по три ведра...»

– Стой, черный немчин, человекам-то скольким?

– Двум!

– Да што ты?!

– Не лжешь?!

– Выписка подлинная из дворцовых приказов – печать зрите – печать дьяка Ивана Степанова.

– Верим, чти дальше!

– «Патошного меду с гвоздикой и патошного другого десять ведр!

Двадцать ведр цыжоного...

С кормового двора сырем пять стерлядей, две белые рыбыцы...

Пятнадцать лещей на пар и в уху.

Десять щук на пар.

Десять судаков, пятнадцать язей...

Три щуки колотые, живые...

Белужка свежая, осетрик свежий же...

С хлебенного...»

– Да ужли все такое двум сожрать?

– Двум, солдаты! Слушьте еще...

– Чуем, дивно нам, как жрут!

«С хлебенного три хлеба ситных, по три лопатки в хлеб...»

– Три лопаты сажальных? Такой хлеб в нашу печь не влезет!

– «Три калача крупичатых, по полулопатки в калач...

Еще три блюда оладий с патокою, три блюда пирогов пряженных с горохом... Три блюда пирогов со пшеном сарачинским да с вязигую... Три блюда карасей со свежую рыбою...»

– Все ли там? Есть захотелось!

– Чуйте дальше! «Да им же отпущено понедельного корма с того числа, како к Москве

---

<sup>155</sup> С сытного двора... С кормового двора... С хлебенного... – Дворы, занимавшиеся изготовлением яств, напитков и хлеба для царского двора и рассылкой или выдачей их тем, кому полагалось кормовое содержание от двора.

пришли, первому и второму послу:

С сытного первому – по десять чарок на день вина боярского с зельем человеку... Третьему по восемь чарок да им же – романей, ренского, медов малинового, смородинного, обарного по три кружки, паточного с гвоздикой по ведру в день, паточного цыженого по ведру же. Пива доброго по два ведра на день человеку... Дворяном их...» – Умолкни, черный!

– Чего испугались?

– Тошно чуть!

– Лишнее перекинем! Чел вам, что шло с сытного да хлебленного, а вот жалованное от царя...

– Бодем его в гузно! Чти же, что от царя...

– «А как послы отъехали на посольский двор и по указу царя послан к ним стольник со столом, а в столе отпущано:

С сытного по две кружки вина тройного, три кружки на человека вина двойного, романей по три кружки, ренского шесть кружек, малмазеи шесть кружек человеку. Меду вишневого ведро, меду малинового ведро, меду обарного...»

– К черту-у! Перекинь на пряженину...

– «Ковш вишен в патоке, ковш яблок наливу в патоке ж...»

– И не обожрутся беси-и?!

– «Да в бочках – четыре ведра вина боярского с зельи... пять ведр вина с махом<sup>156</sup>, пять ведр меду патошного легкого, пять ведр пива...»

– Эй, немчин, перестань!...

– Валяй дале! – кричали датошные люди, сорвав с голов железные шапки, стуча ими по бревнам костра.

– Это все с нашей шеи идет!

– Чти, черт их побери, брюхатых!

– «С кормового...»

– Дуй, чего еще дали им!

– «С кормового лебедь под скрыли, жаравль под шафранным взваром жаркой, две ряби окрашиваны под лимоны, куря рознимано по костям под огурцы...»

– В брюхе ноет, черт!

– «Куря жаркое, рознимано по костям под лимоны, тетерев окрашивай под сливы...»

– Издохнешь на месте, чуя такое...

– «Утя окрашивается под огурцы, косяк буженины... лоб свиной»,.

– Ужо дадим крошеной лоб боярской в каше!

– «Лоб свиной под чесноком, гусь, утка, порося жаркие... куря индейская под шафранным взваром... блюдо сандриков из ветчины, почки бараньи большие, жаркие... середка ветчины, часть реберная говядины жаркой... гусь, утка под гвоздишным взваром, ножка баранья в обертках...»

– В онучах, что ли?!

– «Куря рафленое, куря бескостное, куря рожновое, гусь со пшеном да ягоды под взваром. Куря в ухе гвоздишной, куря в ухе шафранной, куря в лапше, куря во штях богатых, куря в ухе с сумачом...»

– Закинь, немчин! С досады кой еще и убьет тебя...

– Убить и надо, супостата государева!

Услыхал Иван Каменев как будто знакомый голос солдата Шмудилова.

– Бейте иных, кто вас морит на сухарях, а чужеземцев кормит до упаду!

– Так ведь то от великого государя!

– Откуда все собирают на корм царю?

---

156 С махом – с маком.

– От нас – то верно... только так из века идет.

– Пусть из века, только ваши руки в крови от работы, а бояре и боярские дети считают за бесчестье руки марать работой... Сказано в книгах: «В поте лица будешь есть хлеб!», а разве же бояре потом добывают хлеб?

– Палочьем замест пота!

– Кнутьем!

– Правежом!

– В ком сила царская? – спрошу я.

– В князьях, воеводах, наместниках!

– Лжете или не понимаете – в вас, мужики! Из вас, солдаты, без солдата и воевода едино что баба на печи! Куря во штях едят, а где берут?

– У нас на дворе!

– Правда, черной немчин!

– Солдаты, связать черного «по слову и делу государеву» и воеводе дать! – еще раз услышал Иван Каменев из темноты двора хотя и измененный, но уже явно голос Шмудилова.

От огня на голос в темноту крикнули:

– Ты дурак! Тронь-ка ево, он свойственник маёру-у!

– Маёр Дей, он те свяжет!

– Солдаты, я и четвертой доли не чел вам о кормах послам... сказывал неполно, что отпускано от царя... что дано дворянам при послах не чел, но к голоду и правежу вы привыкли – одного паситесь! День-два годя придут стрельцы имать и судить вас за кабаки и попов... будут искать среди вас заводчиков!

– Пушай придут! Стрельцов расшибем и пищали на них оборотим.

– Стрельцам на Коломне не быть!

– Берегись! Стойте меж себя дружно.

Иван Каменев встал с чурбана, где сидел, пошел в избу. В избе был Сенька, рейтар с ним тихо о чем-то говорил.

– Семен, двинься на край скамьи.

Сенька, уступив дорогу, передвинулся. Каменев сел.

Рейтар тяжелой рукой взял перо, стал писать, норовя свой почерк приблизить к полууставу. Он ничего не слышал и никуда, кроме бумаги, не глядел.

Таисий – Иван Каменев – придвинулся к Сеньке, тихо сказал:

– Позовут солдата... встанет у креста. Надо убрать его – сыщик, иначе нам не быть!

– Понимаю...

– Рейтар, судья. Рейтар поднял голову:

– Чую, капитан!

– Как ближний и верный нашему делу, ты должен вести порядок! Прикажи Шмудилову быть у наля...

– Верно, капитан! Эй, позвать Шмудилова!

Солдаты от дверей протеснились в сени, в дверях сеней раздались их голоса:

– Шмудило-о-в!

– Слышу-у!

– В избу зовут!

– Иду-у!

Солдат с вороватыми глазами, трогая на голове железную шапку и запахивая тягиляй, пролез к столу.

– Ко кресту стань! – приказал рейтар. – Не убегай – може приведут кого...

– Крест – ништо! Отпуст срамной...

– Делай!

– Чую, встаю. – Солдат встал у наля. Сенька, поклонясь Каменеву, вышел из избы.

В избу к Бегичеву Сенька вернулся ночью. Таисий не взглянул на него, он угощал водкой старика пономаря ближней церкви. Старик сидел за столом в большом углу, Сенька



на лавке близ стола.

– Я, Иванушко, ой чуток! Примерно кочет шевельнет крылом на седале, ай ветер веревкой язык колоколо шорнет, и сплю, да чую... А тут, как залез на свое верхотурье, покрестился, концы нащупал, звонить хотел и чую – Москва звонит, попрядничному звонит, давно такого звону не бывало... Э, мекаю, надо к Иванушке брести – просил. Я рад и он-де рад будет! Патриарх оборотил, а то паству кинул на сколь время... от черной смерти заступа – помолит, покропит, пройдет, може, напасть... сказывают, утихать стала.

– Пей еще кружку, дед Дмитрий!

– Пошто не выпить? Я чай русской, не кукуй<sup>157</sup>, аль кто – русской, значит, коли подносят, пей, еще почествуют – пей! А вот гляжу – твой постоялец пришел – лик в крови... ужели имали его лихие, альбо солдаты?

– Пей, чего на моего постояльца зреть! Места ему чужие, по темноте ежедень землю носом роет...

– Упал? Ну, за здоровье! Пью... хлеба опять с чесночком дай! Так... хи, я вот старой и хмельной бываю, да ночью дорогу ногой гребую, не убреду в яму – не-е-т!

Таисий взял со стола одну свечу, подошел к Сеньке:

– Умойся, бери огонь.

Сенька отошел в сени к рукомойнику.

– Может, дед, тот звон не патриарший, а к празднику? В Москве что ни день – звонят какому-либо святому...

– Сумнителен ты? Так вот те сказка: день спустя, век такого не бывало, солдатёнок забрел – шапка железна, тягилай с воротником стеганный, зрю датошный, как есть! «Пусти, гыт, дедушко, на колокольню...» – «Пошто?» – вопрошаю. «Да позреть, не шлет ли де патрярх стрельцов на Коломну». – «А зачем они, стрельцы?» – «Ты старой, пошто знать тебе?» – «Так, говорю, мне знать не надо и тебе на колокольню не надо!» А он смеетца... Пригляделся – узнал: московский человек, на Земском дворе в ярыгах служил... вон ты хто! «Ну, поди, коли знаемой...» Расстегнул, скинул тягилай и в кафтанишке полез – значит, верно учуял, патрярх! До пономарьства, Иванушко, был я дворником на постоялом, и ярыги к нам забредали... В пономарях не быть бы, да на постоялый церковники хаживали пропиваться... Хозяин-от в тай корчму держал, а дьякон сколь раз в той корчме спускал с себя все до креста, и я ему платышко ссужал укрыться... А как ярыги довели, что корчму прогнали, я к тому дьякону, он же меня сюды к попу... поп и благословил в пономари... Одначе, сынок, поднеси еще круг да в кулак кус хлеба, и побреду! Спать не лягу, чай, скоро звонить. – Пономарь выпил на дорогу, помолился на деисус и, поклонявшись, ушел.

Сенька, придя умытый, поставил оплывшую от ветра свечу на стол. Приятели поели и, выпив водки, заправили по рогу, стали пить табак. Сенька от водки выпитой не развеселился – глядел угрюмо.

– Чего, Семен, мой брат, не весел?

– Да, вишь, Таисий, радоваться мало чему... жить думал с тобой тихо, и углядел: круг тебя рожи боярских сыщиков, оплошал – и закуют.

Таисий хлопнул его по плечу:

– Эх, ты! С таким богатырем мы скрозь каменные стены пройдем...

– Богатырь я малый есть!

– Тебе видится малый – я же ведаю, ты богатырь большой, а что солдат?

– Кончено, доводить не будет...

– Из пистоля?

– Нет, шестопером... махнул раз – голова расселась пополам, а кровь мне в лицо...

– Он ведь датошный, в железной шапке?

---

<sup>157</sup> *Кукуй* – прозвище иностранца, идет от названия немецкой слободы в Москве за рекой Яузой, где жили иностранцы, служившие в Московском государстве.

– Шапка, должно, холодила, снял с головы, держал у пазухи, только шли они вдвоем, один потом свернул, а тот, кой у креста в избе стоял, замешкался – мне то было сподручно, – убил... Убитой того учил: «Пооди-де к воеводе, скажи „слово и дело государево“».

– Ну, а тот?

– Тот, что на крестец шел, отговорился: «Рано-де, когда стрельцы уймут солдат, тогда заводчиков укажем».

– Не добро нашим головам лежать под двором Мстиславских. Покуда стрельцы Коломну не окружили, мы утянем к Москве... Головушки наши гожи, не один бунт заварим... майоры Дейгеры в ином месте нам сподручниками станут...

– Ой уж эта Москва! Чайл век ее не видать и таже к ней... Любовь там кинутая, все знакомое, зримое и родных нет...

– А брат?

– Брат, чаю я, теперь в боярские дети верстан, и тот же дворянин, окажись ему – сдаст боярам!

– Пошто ране думать, там увидишь, скажешь... ну, теперь ты спи – дело сделал, иная забота за мной. Нынче в ночь надо бумагу написать. Печатью дьячей Большого дворца я запасся у дьяка Ивана Степанова... Бумагу справить, чтоб заставы пройти...

– Заставы дело мудреное, как пройдем, не ведаю.

– С нищими пройдем! Мой построю провонял худой одеждой – нищие ту бывали... женки особо... все жаждут к Москве идти. Упрашивали, я обещал... водкой их поил, любят меня, замест пророка чтут и все говорят без обману... с иными я ложе имел...

– Пошто тебе, Таисий, ужели не мерзко?

– Крепче так! На дыбу изымают, не скажут слова... Слух надо, через них добывал... служат честно.

– Мудро сказываешь...

– Никакой мудрости, едина лишь смышленость, и ты ее пойми – женка молодая ли, старая к тому придет – однака будет... Да и то – поживу с худыми, хорошая для меня станет вдвое краше... Безобразное, Семен, бесстыднее, а я бесстыдство возлюбил гораздо. Обвешаем тебя веригами, морхотьем завесим, будем калячить да стихиры петь. Пистоль на случай и шестопер в морхотье замотаем... Тут за Коломенкой, прямо, как пройти по плотине мельницы в поле с версту, кладбище – на нем избушка в крестах прячется, той избы все боятся, а нам впору... из нее и поход наш к Москве... Побредем скрозь заставы в Китай-город к церкви Зачатия святой Анны. – Туда царица на богомолье ходит?

– Туда... и оттуда легче всего быть нищим у царицы наверху.

– Смышлен ты! Ой, смышлен, Таисий.

– Ежели бы Коломна не зорена была, то могло бы статься так – стрельцы пришли, с солдатами не дрались, а сговорились – они всегда корыстны и шатки, помирать в бою кая корысть? Да городишко разграблен, заводчиков у солдат нет, майор не пойдет с ними, немцы капитаны тож, и стрельцы солдат одолеют – иных закуют до суда, кой-кто утекет от караула, а домой оборотить не можно – солдат без отпуска! Пойдут утеклецы в гулящие люди, и нас прибудет... надо больше людей на бунт готовых, удалый же заводчик, атаман найдется, тогда придет пора боярам шеи на сторону свернуть! Ты спи, набирайся силы.

Сенька покорно принес свой бумажник на лавку, лег и уснул.

Таисий зажег к двум свечам еще три, он до рассвета писал грамоту, как изограф искусный подделал почерки дьяков и печать восковую внизу приладил.

Прохладно в избе... Было рано. Ветер свистел в резном дымнике, постукивал дымовым ставнем. В слободской церкви звонили жидко к утрене... кто-то царапался в окно, не закрытое ставнем. Сенька, проснувшись, хотел подняться, чтоб узнать, кто просится в избу, но, когда стряхнул сон, понял – сухой снег, наносимый ветром, сыпался по слюдяным пластинам с частыми переплетами узорчатых окончин. Еще и то понял, что Таисий не спал: на столе горели свечи.

В сумраке у двери на лавке Сенька увидел двух нищих баб, у одной малая зобелька на

руке желтела дранками.

Сенька, прислушавшись, разобрал полусшепот бабы, потом другой:

– Родной ты наш!

– Колдун Архилин-трава<sup>158</sup> наша!

– Ну? – спросил громко Таисий.

– Поспешать надо...

– Куда?

– Самому ведомо – в Москву!

– А то не убралца!

– Што так?

– Солдаты круг Коломны рвы роют...

– Засеки заламывают!

– Капитанов дву немчинов убили!

– Пошто?

– Должно, мешали им на стрельцов пушки налаживать...

– Да где стрельцы? Немцев убили – ладно сделали...

– Сказывают, послушали мы у коломничей, стрельцы в пяти поприщах...

– Сказывают, идет Полтевский полк и еще кой другой – голубы прапоры!<sup>159</sup>

– Кафтаны добыли?

– Две однорядки трепаные, на нас будет свое...

– Денег дам, запаситесь питьем, едой – в избу приду бражничать...

– Запасемси-и...

– Будьте все!

– Мы ежедень вкупе – тебя лишь нет...

– Старцы поспешают, сказывают – идти в обход!

– Пойдем прямо по Коломенской... вирать худче.

– То зримо тебе...

– Вериги с крестами сыщите!

– Старцами то запасено!

Сенька, повернувшись к стене, слышал, как Таисий пошел к дверям, зазвенели деньги, он сказал: «Добудьте пития», потом заскрипели двери.

Сенька уснул. Проснулся засветло. Таисий сидел на лавке у его изголовья, а по избе, сухой и длинный, трепля свою бороду клином, мотался сам хозяин, дворянин Бегичев.

– И сказал мне, Иван, тот солдат: «Я-де временно боярином Милославским в солдаты верстан из ярыг земского двора. Меня-де слушаться, за ним до поры гляди, я власть! Когда солдатов усмирят, мы заводчиков укажем, великий государь нас похвалит за службу... меня боярин обещал из ярыг перевести в прикащики решеточные, и пушая власть буду! Тебе же тогда прямая дорога в головы кабацкие – великий-де государь за службу твою тебя повелит списать в беломестцы слободские».

«Как же, говорю, а куда ежеле уйдет?»

«Гляди за ним и знай куда шел – он большой заводчик, солдаты его слушают, и с ними на стрельцов пойдет, больше маёра любят – завсе говорит им противу великого государя воровские речи».

«А как-де убьют его?»

«Ну то нам ведомо будет! Служба твоя не пропадет. Дознано мной, говорит, что он подьячей Большого дворца – штрафной беглой...»

Таисий засмеялся:

---

<sup>158</sup> *Архилин-трава* – колдовская трава Ивановой ночи.

<sup>159</sup> *Прапор* – знамя.

– Вот дивно, хозяин хороший, солдат тот не во хмелю был?  
– Тверезый... пил-таки от меня, только мало... седни обещался прийти.  
– Все понял – водки ему в ином месте сколь хошь из-под полы... магарыч с тебя думал вывернуть! Аль ты впервой солдат ведаешь? Чего ни делают – отпускаи себе домой поддельвают, начальные люди – чужеземцы, худо знают нашу грамоту, так суют к подписи... Майор сколь таких листков им подписывал – меня упрасивал глядеть, чтоб... придет, приведи ко мне, и мы его кривду правдой покроем...

– Так и понимал я... ты, Иванушко, с солдатами не ходи на стрельцов – солдат унять надо!

– Своя голова, чай, дорога? Пошто мне без рубахи в огонь лезть!

– Берегись! Ты мне годен, ой, как годен!... Дело прибыльное головой быть, но дело то мало ведомое мне, один запутаюсь, иные крадут, а ты честен – верю! Едино лишь, чтоб тягло не наложили, не равняли с посадскими...

– Это уж так! Какой дворянин в тягле живет? Прощай родовитость, коли сравняли тяглом с худородными.

– С подлым людом, черным...

– Беломестцем устроят, и будешь в своей слободе богатеть... правда только, что слободские беломестцев не любят...

– Ништо-о! Как солдат придет – приведу.

– Веди, поглядим, в какие кости обыграть хочет? Бегичев ушел, следом за ним ушел и Таисий.

Было за полдень. Сенька встал, умылся, поправил складки рубахи и на рубаху натянул панцирь. Надев кафтан, стал ходить по избе. Рог заправил, попил табаку. На столе стояла большая сткляница водки, мало початая. Таисий за работой пил немного, кружка тут же. На торели оловянной недоедены рыба и хлеб. Сеньку если что-либо тревожило, то он целыми днями ничего не ел и теперь есть и водку пить не стал. Он тревожно ждал Таисия, боясь, чтоб не убили приятеля, как сообщали утром нищие про капитанов немцев, – говор баб Сенька ясно вспомнил и думал:

«Надо к Москве, коли что, скорее... стрельцы – кои на конях, будут скоро... в бой с стрельцами не пойдём, так и Таисий мекает...»

Завозились шаги в сенях, потом в избу просунулась голова поваренка, вошел парнишка в трепаной шубейке, в лаптях на босу ногу. Поваренок сунул на стол блюдо с оладьями в меду.

За поваренком вошла домоуправительница, вошла неторопливо, степенно помолилась в угол, спросила:

– Один ту будешь, Гришенька?

– Кого же еще Аграфене Дмитриевне надо?

– Мекала и черный твой с тобой... Я посижу, а ты дар от меня покушай...

– Ужо... после поем.

– Я вот надумала вам избу топить сама... сторож худо протопляет, ишь дымом смородит. – Она фыркнула носом, втянув воздух избы. Вывернув из-под шелкового шугая пестро расшитый по краям плат, утерла лицо.

– Сторожу сподручней... тебе с хозяйством, чай, немало дела?

– Велико мое дело! Чем править? Блоху напоить да вошь подоить...

Сенька имел привычку, когда упорно думал, тогда ставил одну ногу на лавку, глядел в окно.

Теперь он встал одной ногой на скамью, упер локоть в колено, положив на руку подбородок, глядел через стол на двор, изза тына неслись отдаленные звуки набата – не то грабеж, не то пожар. На фоне слюдяных пластин в темных окончинах другого окна рисовался ясно его профиль – упрямый лоб, кудри клочьями выстрижены Таисием, окрашены рыжим. Бороду ему товарищ также убавил, была окладистая, теперь же темно-рыжая, клином.

Аграфена глядела внимательно на Сенькин профиль с горбатым носом, сказала:

– Гляжу вот, Гришенька, на тебя – и по голосу ты, а по обличью будто мой Иван Бегичев... И, и... что сделали проклятые солдаты, как с ними на кружечной ходить стал... знаю все...

– Мы с тобой, Дмитревна, чужие, едино тебе, какой я... Был бы мужем, тогда переменная рожа досадлива...

– Ух ты, пропадай все... И так долго таила. Хоша ты, Гришенька, сны мои рушил – обличье сменил, да уж и такого тебя люблю! Столь люблю, что готова аже любодейчичей<sup>160</sup> плодить, пушай лакинью<sup>161</sup> лают...

– Я не люблю тебя, Аграфена Дмитревна, едино лишь – уважаю за порядню дома.

Она придвинулась к столу ближе:

– А не люби, да приласкай!

Сенька не успел ответить. С речки Коломенки через сад прошли двое рослых датошных.

– Несет черт гостей! Это к твоему черному, – сказала Аграфена и быстро ушла.

Сенька сел на лавку.

Солдаты вошли как хозяева, не снимая железных шапок. Один, подходя к столу, взглянув на Сеньку, сказал:

– Тот!

– Верно? Значит, ладно!

– Тут, брат, вишь, баба была – уплыла... принесла водки, оладей паровых, а мы выпьем и закусим!

– Перво допросим!

– Торопиться некуда – дело в железной шапке!...

Они были в ватных тягилях нараспашку, под тягилями серые кафтаны с кушаками, за кушаками у каждого по три пистолета. Сабель и мушкетов при них не было. Один сел за стол, другой на лавку с краю стола. Стали пить и есть – выпили всю водку, съели олады, хлеб и рыбу, тот, что за столом глубже сидел, спросил:

– Где твой черный капитан?

– А вы завсегда так?

– Как?!

– Жрете, не спрашивая хозяев?

– Это ты, что ли, хозяин?!

– Да хотя бы я!

– Ого!

– Видно, что не солдаты, а ярыги – на торгах да кабаках обыкли грабить!

– Ах ты, рыжая собака!

Сидевший за столом выволоч пистолет, взвел кремневый курок, дуло направил на Сеньку.

– Не грози пистолем, ярыга, убери!

– Я те уберу! Ты убил Шмудилова?

– Сказывай!

– Кого?

– Того самого – государева слугу?

– Сказывай! Шел будто пьяной, а как я завернул...

– Убери пистоль! Нажрались, уходите.

– Мы те уйдем! Сенька встал.

---

<sup>160</sup> *Любодейчич* – незаконнорожденный.

<sup>161</sup> *Лакиния* – кобылица, позже – гулящая баба (XII—XIII века).

- Он самой, широкоплеч, сутулой...
- Сказывай, где вор, черной капитан?!
- Дуй в ноги – скажет! А то я...

Другой тоже протянул руку к пистолету. Сенька круто прыгнул в сторону, солдат выстрелил, пуля прошлась по груди Сеньки, шлепнулась в стену. Сенька сделал прыжок к столу, ударил кулаком того, кто стрелял, сверху по железной шапке. У стрелявшего пошла из носа и ушей кровь – шапка села на глаза, пистоль, стукнув, упал.

Другой засопел, вскочив, ловил Сеньку за горло, – Сенька сунул его кулаком ниже груди, солдат присел, откинувшись на стену, съехал на пол, железная шапка, зацепив лавку, соскочила, покатила прочь, а солдат пополз. Сенька пнул его, хрустнули кости – угодил под ребро, он взвыл и перевернулся навзничь. Стрелявший сорвал с головы шапку, шапка стукнула о стол, со стола упала кружка. Извернувшись к окну, хлюпая кровью, ломал оконницу, силился закричать «караул» – мешала кровь, голос срывался.

– Не доел еще! – крикнул Сенька.

Со звоном посуды и треском стола за воротник тягиля выволок солдата, размахнув, кинул головой об угол печи. Остановился, слыша стон у порога, слова, похожие на бред:

– Спаси на-а-с...

Сенька шагнул, вытряхнул армяк, лежавший на лавке, на пол стукнул шестопер.

– Тебя надо!

Когда добил, кинул трупы солдат к печи, вспомнив, нагнулся – тому и другому всунул за кушак глубже их пистолеты. Подумал:

«На снег волоочь, народ соберу – увидят... помешают уйти».

В избе темно. Он смутно увидал – за печью блестит кольцо ставня в подполье.

– Так!...– Подошел, открыл окно в полу, перетащил трупы, сунул под пол, оглядел избу, нашел шапки и туда же кинул. Поискал, пригибаясь к полу, – не оставили ли солдаты из ярыг еще примет, и, кроме крови, ничего не нашел. Опрокинутый набок стол поправлять не стал, только передвинул тяжелый шаф из угла на ставень под пол. В сенях умыл лицо и руки, оделся, а когда переходил шумную, брызжущую ледяными искрами плотину мельницы, решил:

– В избу, на кладбище! Там ночью, пожду, придут... оттуда, сказал он, пойдём...

Когда поднялся на берег и его встретил ветер в лицо с колючим мелким снегом, спохватился: «Вот, черт, с возней рог забыл!» – торопливо ощупал себя, нашел за пазухой, но в рогу замерзла вода. Пошел скоро. Порошило снегом разогретую боем грудь, и спину холодил панцирь. С неба почти прямо на него сквозь белую муть мутно светил месяц.

– Не уйтить бы мимо? – Остановился мало и снова шел...

Сенька спешил, но все ему казалось, идет тихо. Шел ровно, а теперь стал спотыкаться и догадался, что попал на кладбище.

Под ноги попадались зарытые в снег могильные плиты. Увидал рощу деревьев малорослых в инее. Стал оглядывать кругом: заметил крест, потом другой и много крестов, скрытых доверху снегом. Он выбрал место повыше, начал прислушиваться и наглядывать избу, избы не увидал. Сняв шапку, пригнулся к земле – слух у Сеньки был звериный, глаза зоркие.

– Ежели пришли, то заговорят!

Долго слушал, недалеко услышал гул, будто из могил идущий... «Ага! Тут, близ...» Вглядываясь в белесый, волнуемый ветром сумрак, заметил в балке как будто крышу избы. Пошел туда, попал на тропу, тропа запорошена снегом, но ясная, она повела его вбок и назад. По тропе пришел к дверке в снегу. Стены избы, тоже крыша были густо облеплены снегом, оттого и на малом расстоянии не видны. За дверью ему почудились голоса, и даже как будто кто на струнах тренькал, он мало устал, но, остановясь, почувствовал, как панцирь жжет холодом грудь и спину. Стукнул тяжелым кулаком в двери избы. Голоса и звуки струн смолкли. Сенька повторил удар в дверь, от его удара ветхие доски задребезжали... Теперь слышал, будто кто стоит за дверью, – услышал дыхание скрипящее и прерывистое. Еще раз

ударил Сеньку, тогда за дверью голос спросил:

– Кто крещеной?

– Не опасись, отвори слуге Таисия.

Дверь была заперта железным замком, замок упал. – Един ли ты?

– Один буду!

Уцепил Сеньку за полу армяка, повел...

В избе, куда вошли, полутемно, свет заставлен чем-то, только вверх к черному потолку струилось мерцание многих огней.

– Сядь ту!

Сенька сел на лавку у двери, с ним рядом сел старик, белела борода. Два других, таких же старых, сидели ближе к огню. Один перебирал струны инструмента, тихо наигрывая плясовую песню.

Сеньку знакомо поразил запах в избе – он был тот, когда первый раз с Таисием пришли в избу Бегичева, изба пахла хмельным и одеждой нищих. Вглядываясь, стрелецкий сын увидел среди избы хоровод не то юношей, не то голых женщин. В мутной полутьме было не разобрать. За столом, призрачно отсвечивая, сидели три старухи в черном. Хоровод кружился, голые ноги мягко наступали на доски пола, иные, кто плясал, боролись меж собой.

– Да пустите меня! – вскрикнул женский голос. Старик, тот, что отпер и привел Сеньку, строго сказал: – Безгласны будьте!

Спустя мало свет открыли, десяток свечей, увидел Сенька, горели на столе, а между подсвечников были расставлены яства: мясные, рыбные и сахарные. Посередине стола большая кадья с пивом и во многих кувшинах вино. Таисий стоял в кутневом<sup>162</sup> кафтане распахнутом, под кафтаном белело голое. Он был только лишь в кафтане и шатался на ногах. Его поддерживали под локти две молодые женки. Когда открыли свет, женщины нагие хватили с пола черные смиренные кафтаны, накрывались ими от шеи до пят. Одна лишь, молоденькая, стройная, плясала кругом Таисия, женщины ей говорили сердито:

– Бешена!

– Укройся!

Старик от дверей медленно двинулся к середине избы – он тоже был одет в смиренный кафтан, – сказал глухо:

– При огне быть нагим отвратно!

Надернув к плечу длинный рукав кафтана, ударил плетью голую плясунью. Она, быстро уловив на полу свой кафтан, накрылась. Старик спросил:

– Кто тьму пробудил словом?

– Твоя дочь!

– Все она же!

– Обнажи спину!

Плясунья открыла стройную спину, сбросив кафтан до пояса. Старик наотмашь сильно взмахнул плетью, ударил ее по спине, прибавил:

– Дважды рушила завет братства – помни! – Пряча плеть, спустив почти до земли рукав кафтана, поклонился Таисию: – К тебе, атаман, сказывал – слуга...

– Григорей! Да как ты нашел нас!...

– Шел, шел и нашел...

– Дать ему братский кафтан!

Тот же старик, который впустил, повел Сеньку в прируб.

– В ночь тело подобает держати нагим... телу надобен отдых!

Сенька с большой охотой разделся – холодный панцирь в тепле был нестерпим.

– Все уды умыти подобает! – Старик привел его к куфе, в куфе была чистая теплая вода. Умывшись, стрелецкий сын утерся тут же висевшим рушником.

---

<sup>162</sup> *Шелк с бумагой* – бухарская ткань.

Старик накрыл его тонким без подкладки черным кафтаном. У ворота Сенька застегнул на крючки одежду.

– Иди на пиршество!

Старик пошел впереди Сеньки. Когда вошли в избу, Таисий крикнул:

– Завечаю пришельца ко мне избрать князем!

Старик снова подошел к Сеньке, повел его к столу, налил ковш вина.

– Пей, не рони капли!

Вино было настояно на каких-то травах.

Когда выпил Сенька, теплое пошло по всему его телу, отогрелись грудь и спина.

– Таисий! – сказал Сенька. – Мне быть не хочется тем, кем был ты...

Таисий молчал, только переменялся кафтанами, за Таисия ответил старик:

– Братство велит – не перечь ему!

И тут же погас огонь или просто был закинут черной и синей тканью.

Когда раскрыли огонь, Ульку-плясунью женщины от Сеньки тащили за волосы. Она была нагая. Старик снова наотмашь ударил ее плетью, сказал сердито:

– Дочь, бойся – третий раз своеволие...

Запахнув кафтан смиренный – прежний был на Сеньке, – Таисий подошел к столу и, не разжимая губ, перекрестил яства и пития. Все полезли на скамьи к столу, кроме старцев: того, что принимал Сеньку, и тех, которые сидели на лавке, поочередно негромко играя на домре.

Все пили, ели – брали руками – мясо, рыбу, сласти, хлеб руками ломали, ножей не было. Пуще всех пил вино Таисий. Сенька также много пил, больше, чем всегда.

– Скажи, как нашел нас?

– Ждал тебя... туга напала... чайл, ты покинул меня...

– Живой не покину... мертвой ино дело...

– Думал, убили... пришли имать тебя, да и меня заедино ярыги земского двора, в датошных солдат одёже...

– Как ушел от них?

– Двое их было – убил! В подполье сунул...

За столом стало шумно и весело. Таисий встал с ковшом вина в руке, крикнул галдевшему люду:

– Пью, братие, за моего друга Григоря!

– Григоря?

– Григоря!

– Мы, Архилин-трава, пьем за тебя!

– За тебя и его-о!

Когда унялся шум, Таисий продолжал:

– Враги наши, ярыги земского двора, следили за нами, особо за мной, и помешали бы пути нашему!

– Ой, беда – ярыги земского двора...

– Да где они нынче? Архилин-трава, скажи!

– Он убил их! Пьем за него...

– Пьем!

– А коли похощет, и спим с ним, мы любодейчичей не опасны!

– Нам любодейчичи любезны!

– Больше подадут!

– Мене с крестцов и от церкви гонят.

Среди нищих женок, уже изрядно поблекших, плясунья Улька была самая младшая и не по ремеслу красива, хотя ранние морщины у рта старили ее немного. Улька выскользнула изза стола, пробралась к Сеньке сзади, сказала тихо:

– Говори им, ночью чтоб с тобой!

Сенька молчал. Таисий, хотя и пьян, но привычно слышавший и понимавший смысл



слов, ответил:

- Снова отец ударит плетью! Поди на место и жди.
- С кем он будет спать?
- С тобой, я обещаю...

Улька исчезла. Когда напировались, старик, глядевший за порядком и правилом братства, сказал громко:

– Братие, выберите жен и идите в прируб... время поздает! Ведайте все, кочет едва всплеснет крылами, приду будить... старицы лягут в избе.

- Мы князя хотим!
- Его, его – князя!
- А я и она – Архилин-траву!

Плеская из ковша вино, поднялся Таисий, закричал:

– Сей ковш, последний пью, – за князя нашего братского пира, и по уставу он сам изберет жену.

- Пущай глаголат!
- Пу-у-щай!
- Встань, Григорей, скажи!
- Если без жены нельзя, то иму Уल्याну!
- Всё ее? Ульку!
- Кого?
- Да, слушь ладом – Ульку!
- Ее?... Ее... су-у-ку!
- Уल्याной назвал... У... ул...

Утра еще не было, но в избе копошилось, крестилось в углу, ползало перед большим медным складнем на лавке с восковой зажженной свечкой. Когда все, кроме Сеньки и Таисия, помолились, то сели за стол доедать остатки, допивать недопитое хмельное. Теперь ели и пили старицы и старцы вместе.

От стола задвигалось по избе в сумраке серое, полосатое.

Лишнее прятали в прируб – в подполье, иное в сумах заплечных. На всех мужчинах кафтаны с кушаками лычаными, кафтаны из клетчатой и полосатой кёжи<sup>163</sup>, женщины в рядне. Если старику, отцу Ульки, казалось, что одежда чиста, то об нее терли котлы и сковороды, прокопченные в печи.

Сеньку обули в липовые ступни<sup>164</sup>, под рваные портянки женщины навернули ему суконные, теплые, приговаривали:

- Одеется князь-от наш!
- А не наш он! Всю ночь Улькин был...
- Она, бабоньки, ужо с им все наше братство сгубит!

Сеньку кончили одевать – шестопер окрутили куделей, приладили к веригам железным с крестами, весом два пуда три гривенки<sup>165</sup>, надели на кафтан под черную рваную однорядку:

- Ой, и едрен, не погнется!...

В руки дали шелепугу суковатую, на плечи вскинули суму рядную, в ней в хламе морхотливой одежды был заверчен и его панцирь.

Руки после еды не мыли, как вчера на ночь было, – вытирали о подолы и полы рухляди. Вышли крестясь:

---

<sup>163</sup> *Кёжа* – плотная пеньковая ткань.

<sup>164</sup> *Ступни* – лапти.

<sup>165</sup> *Гривенка* – мера веса; различалась большая гривенка, величиной в фунт, и малая, в 1/2 фунта.

– У-ух, вьюжно.

Вьюга с ветром заметала гладкое поле, когда-то сенокосные луга. Шли как по мосту, нога не вязла. Таисий приказал:

– Пойте!

Гнуся и срываясь голосами, запели.

Да тихомирная милостыня  
Введет в царство небесное,  
В житье вековечное...

Улька держалась о бок с Сенькой, если встречался буерак или канава, он, подхватив за локоть девку, прыгал, увлекая ее. Старухи с клюками переползали рытвины, старики часто вязли, тогда им помогали другие. На их пути в поле солдаты на дровнях возили бревна выморочных изб и амбаров, иные, разрыв снег, рубили мерзлую землю кирками, другие выкидывали мерзлые комья на снег в сторону.

Нищие, подходя, пели:

Еще знал бы человек житие веку себе...  
Своей бы силой поработал,  
Разное свое житье-бытье бы пораздавал —  
На нищую на братию, на темную, убогу-у-ю...

– Калики идут! – копая землю, сказал один солдат. Другой пригляделся, прислушался, ответил:

– Вижу и слышу! Куда их черт несет по засекам-то? Еще стрельцам доведут... Эй, вы, пошли в обрат!

Другой перестал копать, слушал пение:

Да тихомирная милостыня  
Введет в царство небесное...

– Ну?

– Чуй-ка, во што! Пушай пробредут... Увидят работу, не осмыслят, чего для робим... Хлеба на Коломне стаёт мало, и нам прибыльнее... чуешь?

– Чую, черт с ними, хлеба впрямь мало – зорена-таки Коломна.

– Не лай их, они святые!

– Ну, святые они такие – глядят остро, у гузна пестро и с хвостиком! Пушай идут.

– Можно ли, служилые люди, нам ту шествовать?! Остановились, закланялись.

– Куда приправляете, убогие?

– А на Коломенску дорогу, что-те на Москву-у!

– Вот ту, краешком проходите, не оборвитесь в яму и не пугайте, прямо идите – вон на тот лес, там и дорога...

– Сохрани вас господь!

– По душу вашу добрую за здоровье помолим-си-и! Прошли засеку, запели:

И за то господь бог на них прогневалси-и...  
Положил их в напасти велики-е...

Вышли на дорогу, а как двинулись по ней верст пять – стрельцы на конях, встреча неладная и страшная. Старцы засуетились:

– Вот-то беда наша! Напасть...

– Спаси сохрани... – крестились старухи. Таисий оглянулся на них, приказал:

– Пойте! Успокоились и запели:

И за то господь бог на них прогневался-и...  
Положил их в напасти великие,  
Попустил на них скорби великие  
И срамные позоры немерные...

– Эй, убогие! Стопчем, убредай в сторону! Нищие, увязая в снегу, побрели в сторону.  
Стрельцы кое проехали, иные остановили коней, десятник стрелецкий спросил:

– Куда путь наладили?! Нищие, убредая, пели:

Злую непомерную наготу, босоту,  
И бесконечную нищету,  
И недостатки последние...

– Куда бредете?

– На Москву, служилые государевы люди!

– Кто ваш старшой, выйди на дорогу. Таисий вышел, подошел к лошади сбоку.

– Кормильцы, поильцы, нищеты обогревальцы! – кричали нищие.

– На Москву с округи надо по отписке от воеводы.

– Есть она у меня, старец дал! – сказал Таисий. Вынув из-за пазухи из-под кушака плат, развернул, подал бумагу. Десятник, пригнувшись на седле, бумагу принял.

– На Москву, родимый, сказывают, в Китай-город, бредем...

– Патриарх указал – в Кремль никого не пущать и в Китай, гляди, не пустят...

– Уж и не ведаем, как будем...

Десятник пробовал читать бумагу, да не справился с чтением, крикнул:

– Эй, воин в бумажной шапке, плыви сюда!

Подъехал в стрелецком, полтевском кафтане белом подьячий, увешанный у седла многим оружием:

– Чего остоялись?

– Да вот по твоей части, а я не пойму – хитро вирано – бумага от воеводы на проход убожих...

Подьячий взял бумагу, бойко пробежал по ней глазами, оглядел подписи и печать.

– Все ладно! Грамота Дворцового приказа, тот приказ, меж иных дел, ведает и нищими, а тут зри-ко: нищие «верховые богомольцы...»

– Этакая-то рвань?

– Ништо! От великого государя, коли вверху будут, одежду дадут...

Стрелецкий десятник сказал Таисию:

– Ты чего, старец, лжешь? Сказывал, бумага от воеводы! Таисий кланялся, стоял без шапки.

– А неграмотен я, служилые люди государевы, дал мне ее старец при конце живота своего, указал: «Сведи, сыне, паству мою в Китай-город...» Я завет его соблюл, солдаты грабили, да усухотил бумагу, а што в ей писано, мне темно есть!

– Грамота подлинная! – Подьячий, водя, по воздуху пальцем в перщате, нищих считал, указал на Сеньку: – То и есть скорбный языком и ушми?

– Он бедный, а вериги на себя налагает не в сызнос никому нашим... сестра его тож безъязычна!

– Десятник, надо бы им вожа дать! Нищие, оно и не все може государевы, то дьяку Ивану Степанову на деле зримо будет, только по дороге им идти не можно – пушки везут, конные едут и стороной дороги поедут, стопчут их...

– Я втолкую им, как не по дороге идти! – сказал один стрелец.

– А как?

– Да вон туда! Сперва мало лесом наискось, потом будет поле, а поле перейдут, проходная дорога падет и околom о Москву-реку...

– Вот ты гляди! Никакого им вожа не надо, убредут с песнями...

Стрельцы двинулись дальше. Подьячий передал бумагу Таисию, строго наказав:

– Паси, старец, грамоту! С ей не то в Китай-город, в Кремль пустят...

– Спасибо, господине дьяче!

Подьячий, которого назвали дьяком, довольный, отъехал. Нищие, уходя в лес, запели:

Да тихомирная милостыня  
Введет в царство небесное...

Вышли из лесу, подхватила опять белая равнина без пути... Ветер налетал порывами, закрутило снег, и тот, кто шел впереди, в белом тумане провалился в балку.

Сенька Ульку взял на руки, побрел, распахивая тяжестью своей неглубокий снег чуть не до земли. За ним брели уже легко Таисий и молодые бабы.

Старики, выходя из рытвины, благодарили!

– Спасибо тебе, молодой!

На выходе из балки Улька поцеловала Сеньку в ухо, а когда от щекотки он пригнул голову к плечу, еще раз поцеловала в губы.

Старицы ворчали:

– Рушит устав, сука!

– Окажем миру укрытое скарედство наше – тогда што?

– Да, што! Богобойны люди наплюют нам и отшатнутся...

– Надобе изъять ее! – сказал старец, последним выбредая из балки. – Не перво деет так...

На ровном месте, кинув сумы полукругом, все, кроме Сеньки, Ульки и Таисия, сели отдохнуть.

Старцы окликнули Ульку:

– Подь к нам!

Таисий с Сенькой отошли вперед, но, видя отдыхающих, остановились. Старцы велели Ульке встать в середку полукруга, старики, отдыхая, молчали, другие не смели говорить раньше древних.

Таисий сказал:

– Ну, брат, ладят судить твою временную женку, должно за целование!

Сенька оглянулся:

– Пойду я, Таисий, заедино руки марать, перебью эту сволочь, как кошек!

– Мы без них попадем в Москву, да скрыватья надо будет... с ними везде станем вольно ходить, все знать!

– Ночью на кладбище я не искал жену, мне дали эту девку, стала она, не ведаю на долго ли, моей... своих в обиду не допущу! Пойду...

– Остойся, чуй, у них правило – в тай чини блуд, пьянство, но кто всенародно окажет свое бесстыдство – убивают...

– Не велико бесстыдство... клюнула в губы.

– Ты горяч, я холоднее – пойду я...

– Поди и скажи им!...

– Я знаю, что скажу!

Таисий подошел к кругу. С сумы, лежавшей на снегу, встал отец Ульки, шагнул к Таисию, подавая топор, руки у старика дрожали, глаза слезились, сказал:

– Атаман, убей... Едина она у меня дочь, но круг велит – поганит устав...

Он вложил в руку Таисию топор.

Улька низко опустила голову, лицо стало бледно как снег, пятна намазанной сажи резко пестрили лоб и щеки.

– Убей стерво!  
 – Сука она!  
 – Архилин-трава, убери с очей падаль! Таисий взял топор, заговорил спокойно:  
 – Устав ваш ведом мне, он свят и строг, и не должно его рушить никому.  
 – Убей суку!  
 – Убью, только вам всем тогда брести в обрат на Коломну!  
 – А то нам пошто?  
 – Пошто на Коломну?!  
 Все поднялись со своих мешков на ноги. Таисий так же невозмутимо продолжал:  
 – Мой брат, старцы, любит его дочь! – Он лезвием топора указал на старика. – Убьем женку, Григорей уйдет на сторону... у нас зарок – не быть одному без другого...  
 – И ты уйдешь, Архилин-трава?!  
 – Уйду и я... под Москвой еще застава, она вас оборотит, так легче вам брести в обрат от сих мест, чем от Москвы!  
 Старцы заговорили:  
 – На Коломну не попадем...  
 – А и попадем, там смертно...  
 – Архилин-трава, убей суку!  
 – Молчите вы, волчицы! – замахали старицы на молодых.  
 – Мы отойдем... посоветуем – жди! – сказали старцы, и все трое отошли в сторону.  
 Таисий с топором в руке ждал.  
 Сенька тоже стоял не двигаясь.  
 Улька стояла по-прежнему, только по лицу у ней текли слезы.  
 Старики подошли, сели на свои мешки, один сказал:  
 – Атаман, ватага старцев порешила тако – Улька идет меж стариц и будет в дороге с ними ж везде... Коли Григорей избрал ее – той воли мы ни с кого не снимаем... А в городе, где добрый постой уладим, там и пущай сходятся для ложа...  
 – Мудро рассудили! Пусть будет так.  
 Все поднялись, навесили мешки, и ватага побрела с пением:

Не прельщуси на все благовонны цветы,  
 Отращу я свои власы  
 По могучие плечи,  
 Отпущу свою бороду по белые груди...

## Часть вторая

### Глава I. Царь и Никон

В пыльном тумане померкло солнце. Люди копошились в пыли, чихали, кашляли, отплевывались. Широкими деревянными скребами сгребали на стороны в канавы, где гнила всякая падаль, дорожный песок и пыль. Иные за ними мели, чтобы было гладко... ямы ровняли, ругались негромко:

– Штоб ему, бусурману, как поедет зде, ребро сломить!  
 – Не бусурман он! Православный, грузинской <sup>166</sup>, в недавни годы к нашим в потданство объявился...

---

<sup>166</sup> *Грузинский царь*. – В 1658 г. в Москву приезжал кахетинский царь Теймураз просить помощи в борьбе против иранского шаха.

– Вы, черти у бога нашего! Работай больше, говори меньше: стрельцы близ – доведут, палками закусите!

Недалеко трещало дерево – стрельцы ломали ненужные постройки или такие, которые загоразивали проезд в Москву грузинскому царю.

Июня, в 18-й день, 1658 года усердно чистили московские улицы и закоулки, а по площадям, крестцам и людным улицам, поколачивая в барабан, ходили бирючи, кричали зычно:

– Народ московский! Великий государь, царь и великий князь всея Руси, самодержец Алексей Михайлович указал:

«В Китае, в Белом городе и Земляном валу – в улицах, которыми идти грузинскому царю Теймуразу, и на пожаре<sup>167</sup> шалаш харчевников, и полки, и скамьи торговые, и мостовой лес<sup>168</sup> и в тележном ряду прибрать все начисто. И в Китае-городе, во рву, что внизу церковь Живоначальная Троицы – лавки, которые без затворов пусты, – сломать и мостовой лес, по тому ж все прибрать, чтобы везде было стройно<sup>169</sup>».

И великий же государь указал:

«На встрече грузинского царя у Жилецкой у Осипова сотни, Сукина, быть голове Михаилу Дмитриеву».

Были на встрече против грузинского государства царя Теймураза Давыдовича стольники комнатные, шестнадцать человек. Да с выборного сотнею князь Иван Федоров сын Лыков, а в сотне у него было стольников двадцать восемь человек.

Головы у стольников: князь Алексей Андреев сын Голицын – у него в сотне восемьдесят пять человек.

Никита Иванов сын Шереметев – у него в сотне семьдесят девять человек.

У стряпчих<sup>170</sup> князь Иван, княж Борисов, сын Репнин<sup>171</sup> – у него в сотне девяносто четыре человека.

Солдатские полковники с полками: Аггей Алексеев сын Шепелев<sup>172</sup>, Яков Максимов сын Колюбакин.

Июля, в шестой день, великий государь царь Алексей Михайлович указал потданному своему грузинскому царю Теймуразу Давыдовичу на приезде свои великого государя пресветлые очи видеть и у стола быть в Грановитой палате.

В этот день приказано было не торговать и не работать, нарядиться в чистое платье: «у кого что есть праздничного».

Нищим указано настрого: «Рубы худые не казать! Мохрякам божедомам на улицах ни сидеть, ни лежать, а быть на своих „божедомных дворах“<sup>173</sup>!»

Во время въезда царя грузинского народ залезал на тын, на балконы и крыши домов.

---

<sup>167</sup> *Пожар* – место казни.

<sup>168</sup> *Мостовой лес* – настил мостовой.

<sup>169</sup> *Устроено*.

<sup>170</sup> *Стольники и стряпчие* – высшие разряды столичного дворянства. Комнатные стольники служили в царских покоях.

<sup>171</sup> *Князь Иван Борисович Репнин* (ум. в 1697 г.) —видный военачальник, в 1656 г. командовал московскими войсками в Малороссии, с 1663 г. – новгородский воевода, в 1671-м – тобольский.

<sup>172</sup> *Аггей Алексеевич Шепелев* (ум. в 1688 г.) – окольничий и думный дьяк.

<sup>173</sup> *«Божедомный двор»* – богадельня.

- Гляньте! Бородатой грузинской царь, а борода, вишь, длинна да курчава...
- Бог ума не дал, пальцем не тычь, сами видим!
- В своей, вишь, корете едет!
- Чай, он не мохряк, а царь!
- Браты, а хто у его пристав?.
- Боярин Хилков<sup>174</sup> – князь!
- Де-е-тки-и!
- Чого тебе, дедко?
- Перед коретой чужеземного царя хто скачет?
- Голова стрелецкой, Артемон Матвеев!<sup>175</sup>
- Ой, а быдто он молочше был?
- Ты старишь – и мы с тобой!
- Эй, задавят! Сколь их в цветной-то крашенине?
- Дворяне все! Конюшенного чину, а ты, знать, не московской?
- Я-то?
- Да!
- Много нас! На работы взяты в Москве, а я – каменотесец Вытегорского уезду...
- По говору знать: токаешь...
- Ай да конюхи! Все в атласном малиновом...
- Не все! Окроме червчатых есть лазоревые кафтаны,...
- Баско!
- Ах ты, новгородчина! Говори: красиво!
- Пущай по-твоему: красиво, а не одна на них мужичья копейка виснет.
- Поговори так – за шею повиснешь!
- Браты, гляди – дьяки верхом!
- Да... дьяки... Симановской с Ташлыковым.
- Не в приказе сидеть – за коретой ехать!
- Все с протазанами!
- Бердыши не гожи! У Протазанов топоры – те, вишь, начищены!

Народ хлынул в Кремль. Бояре палками очищали путь карете царя Теймураза. Ближние ко дворцу люди видели грузинского царя, вышедшего из кареты. Встречали стольники: Никита Иванович Шереметев да Иван Андреевич Вельяминов. С ними дьяк Василий Нефедов.

Степенный боярин в золотной ферязи вышел из сеней на красное крыльцо, отдал царю низкий поклон. Дьяк громогласно пояснил:

– Встречает тебя, величество царь Теймураз Давыдович грузинской, боярин государев ближний, Василий Петрович Шереметев!.

Хотя бояре, приставленные к порядку, больно били палками, но упорные, стоя близ красного крыльца, видели: на красном крыльце от сеней Грановитой палаты в бархатных малиновых терликах стояли жильцы с протазанами, иные с алебардами. Толпа громко гудела, считая:

- Один, два, три! – Подсчитали как могли.

---

<sup>174</sup> *Князь Хилков* Иван (прозвище Меньшой) Андреевич (годы жизни неизвестны) – видный государственный и военный деятель Московского государства. В 1648 г. первый судья Судного приказа; в 1654 г. Алексей Михайлович оставил его «ведать Москву» на время своего отсутствия. Воевода в Пскове, Юрьеве, где в 1659 г. выдержал длительную осаду, в Полоцке. В 1660 г. под Полоцком наголову разбил литовские войска.

<sup>175</sup> *Артемон Сергеевич Матвеев* (1625—1682) – выдающийся государственный деятель и дипломат, сын дьяка, дослужившийся до чина боярина; был стрелецким головой, затем ведал Посольским приказом. Убит во время стрелецкого бунта 1682 г.

- Сколь их!
- Шестьдесят два жильца!
- Не все – воно двенадцать в желтых объяренных, а во еще десять в лазоревых...
- Народ, расходись! Государь с гостем кушать сели-и...
- Не наше горе! Они вволю поедят...

В то время как встречали царя Теймураза, Никон в крестовой палате сидел в ожидании на своем патриаршем месте в полном облачении: в мантии с источниками, скрижалями. На груди патриарха под пышной бородой висела на золотой цепи украшенная диамантами панагия. Правая рука держала рогатый посох, конец посоха дробно, не без гнева, стучал по ступеням патриарша сиденья. Патриарх вытягивал шею, прислушиваясь к гулу толпы: он слышал, что гул этот стихает. Царя грузинского ввели в палаты. Патриарх хотел бы видеть всю встречу, но не позволял сан стоя быть у окна.

– Христианин... а так же, яко грек, на турка глазом косит... в тех царях вера сумнительна, кои близ турка живут!...

Смелый человек – Никон, но мелкое самолюбие и тщеславие губили его... малейшая обида, обидное слово, сказанное иным необдуманно, делали врагом вчерашнего друга...

Бояре знали эту мелочную обидчивость, дразнили патриарха словом едким, как бы сказанным самим царем, и Никон несдержанно говорил о царе злые слова; бояре эти слова передавали царю, и царь все больше отдалялся от патриарха.

– Смерд – собинный друг царя!... Смерд! Кто пишется наравне с царем, а кажется больше государя? Государи не пишут – печать кладут, он же, смерд, пишет рукой полностью: «Великий государь святейший патриарх всея Руси Никон...»

Теперь, когда совершился въезд грузинского царя, Никон понимал, что его приглашение всегдашнее – благословить государево пиршество – должно давно состояться, посланца же от царя нет, и патриарх не дождался, крикнул:

– Боярин!

Из патриарших келий вышел на его зов человек с хитрыми глазами и равнодушным лицом, патриарший боярин Борис Нелединский.

– Иди, боярин Борис, к государю и вопросы от моего имени: «Што-де сие значит?» Он же царь, поймет, о чем вопрошаю.

Боярин молча поклонился, ушел.

Никон, еще более злясь, от нетерпения стучал громче посохом по ступеням патриарша места.

Недалеко, в простенке окон, часы, устроенные в паникадиле, – шар с цифрами, идущий горизонтально мимо неподвижной стрелки, показали час прошедшего времени, как ушел боярин. Нелединский вошел, потирая лоб, и, кланяясь, сказал:

– Без толку ходил! Едино выходил лишь поруху имени твоему, великий господин святейший...

– Какая и в чем поруха?

– Богданко Хитрово не пропустил меня, святейший патриарх, и еще палкой по лбу ударил, как посадского, а когда сказал: «Я от святейшего патриарха иду», ответил: «Не дорожись своим патриархом», да удар повторил, едино лишь не по лбу...

Никон сошел со своего патриарша места, сел к столу, написал царю малое челобитье, прося расследовать и наказать дерзкого боярина.

– Снеси сие: пропустят!

Боярин удалился. Никон сел на прежнее место и без мысли глядел на освещенный изнутри, идущий с цифрами мимо часовой стрелки шар. Он не успел дожидаться патриарша боярина, вошел государев боярин Ромодановский<sup>176</sup>. Ромодановский вошел, не снимая

---

<sup>176</sup> *Ромодановский* Григорий Григорьевич (ум. в 1682 г.) —государственный и военный деятель, боярин. Будучи воеводой в Белгороде, организовывал южные границы Московского государства. Участвовал в Переяславской раде. Убит в дни восстания стрельцов.



серебристой тюбетейки, закрывавшей лишь макушку головы; он был похож на большую рыбу, идущую торчком на красном хвосте: на боярине серебристой парчи ферязь без рукавов, рукава алой бархатной исподней одежды расшиты жемчугом, ферязь – летняя, суженная книзу из-за сытого брюха, выпиравшего наружу; у подола ферязи виднелись короткие, толстые ноги в сафьянных красных сапогах; носки сапог глядели на стороны. Боярин истово молился образам, а Никон глядел на него недружелюбно и думал: «От этого дива<sup>177</sup> зло получить не диво...»

Патриарху боярин поклонился земно и к руке подошел, от него пахло хмельным. Заговорил Ромодановский тихо и ласково:

– Великий государь господину святейшему патриарху Кир Никону шлет милостивое пожелание – долгое сидение на патриаршем столе, дабы ведал он и опасал от церковной крамолы храмы, кинонии и приходы церковные...

– Сколь сил моих хватает – блюду... то ведомо великому государю не от сей день!

– И еще... великий государь сетует много на тебя и в гнев вступает, что пишешься ты наравне с ним «великим государем...»

– Холоп! Великий государь волею своею указал мне писаться тако...

– Я – холоп... великий господин, но холоп государев, а великий государь самолично указал мне довести тебе не писаться отнюдь великим государем – отселе я холоп не твой и перед тобой боярин буду...

– Да будь ты проклят и с родом своим!

– Неладно, нехорошо, великий господин святейший... пошто на мою голову проклятие – я исполняю волю великого государя, говоря тебе вправду...

– Ты сказал все! Иди от меня, вид твой – лисий, а глаз и норы – волчий...

– Проклятие сними, и я уйду, раб смиренный, и благослови, владыко...

– Снимаю! Не в храме проклял – иди с глаз моих!...

– Даром гневаешься, господине патриарх, а гневен ты, што не позван к государеву столу?... Так знай – ни единый из духовных отец не зван на нонешнее государево пиршество...

– Стол без архиерейского благословения есть трапеза, уготованная бесу!

– Великий государь Алексей Михайлович, царь православный, так же царь грузинский Теймураз Давыдович греко-византийское исповедание древле от отец своих приял, и бесу тут не место...

– А давно ли они, грузы и армяня, Астарте<sup>178</sup> поклонялись, и ведомо ли тебе, государев холоп, што Астарта – мать тьмы и нечестия – языческая?

– Не ведаю и ведать того не желаю; ты же знай, што нелюбие к тебе великого государя живет на том: «да не пишешься ты от сей дни великим государем!» Тебе было дозволено по милости царя-государя как отцу духовному писаться со словом «смиренный»; отринув «смиренный», возымел гордость ты на владычество царства...

– Иди, не языкоблудь!

– Ухожу – благослови, святейший владыко.

– Уходи, уходи! Видеть мерзко – бес да помазует тебя смолой замест миро...

Боярин, ухмыляясь в усы, ушел.

– Собаки! Псы лютые! Вот как они со мной стали невежничать. Царь! Царь – тому причина! Царь? А я – патриарх! А ну-ка, учиним мы царю смятение?

Никон помолчал, потом громко позвал:

– Иван!

Из патриарших келий вышел лысый патриарший келейник Иван Шушерин.

---

<sup>177</sup> Игра слов: *див* по-древнему – чудовище.

<sup>178</sup> *Астарта* – древневавилонская и ассирийская богиня любви и плодородия.

Патриарх был разгневан. Он снова сошел со своего патриарша места, стал ходить большими шагами по палате, панагия звенела цепью на его груди. Проходя, пинал вещи, стулья, кресла, скамью – все, что попадало ему под ноги. Не глядя, спросил:

– Исписал?

Келейник чинно отдал поклон.

– Заборовский<sup>179</sup> дьяк сказал: «Не можно дать! Едва лишь списано... давать письмо, когда в книге будет»... и ушел; да наш бывший подьячий Петруха Крюк дал без него, молил: «Чти, верни скоро!»

– Чти, коли дал!

Патриарх сел на свое место и, видимо, успокоился. Положив обе руки на рога посоха, выставя бороду, а голову пригнув, он, не мигая, глядел на чтеца.

– «...и как царь Теймураз Давидович был у великого государя у стола и великий государь Алексей Михайлович сидел на своем государеве месте, а грузинский царь сидел от государя по левой стороне, в первом окне от Благовещенья, и стол был поставлен ему каменной<sup>180</sup>. Да на том же окне позади царя грузинского, на бархате золотном, стояли четверы часы серебряны, взяты из Казенного двора...»

– Дураков дивят богатством, а мало годя опять в кладовую спрячут...

Сказав, Никон приподнял над посохом голову. Архидиакон Иван Шушерин продолжал:

– «У того же окна стоял шандал стенной, серебряной, а на другой стороне, в первом же окне от Ивана Великого, стоял кувшин-серебряник большой с лоханью...»

Никон снова заговорил:

– Если бы собрать все слезы обиженных, обездоленных за это серебро, то и места им в лохани с кувшином мало бы было...

Чтец, переждав патриарха, читал:

– «...по сторонам россольники высокие, взятые с Казенного двора. На другом окне от Ивана Великого, что по правой стороне от государева места, на бархате золотном стоял россольник серебряной большой да бочечка серебряная золочена, мерою в ведро...»

– Ренским налита...

Чтец, слегка вскинув глазами на патриарха, продолжал:

– «...у того ж окна на правой стороне шандал стенной, серебряной. На окне на первом, что от большого собору, серебряник с лоханью, взяты с Казенного...»

– Ну, чти, кто гости были?

– «...и у великого государя были у стола и сидели от государева места по правой стороне меж окон, перед боярским столом, за своим особым царевичи...»

– Те дураки, которым от распрей дома тесно стало, так они кинулись на чужую поварню брюхо растить...

«Ох, изобижен крепко патриарх!» – подумал Шушерин и осторожно продолжал:

– «...царевичи: Касимовский Василий<sup>181</sup> да Сибирские<sup>182</sup>, князь Петр да князь Алексей, а грузинской царевич Николай у стола не был за болезнью...»

– Опился и объелся до времени. Чти!

– «...у великого ж государя бояре ели в большом столе: князь Алексей Никитич

---

<sup>179</sup> *Заборовский* Семен Иванович (ум. в 1681 г.) — думный дьяк с 1649 г. Заведовал рядом приказов; с 1664 г. – думный дворянин, с 1677-го – окольничий.

<sup>180</sup> *Каменной* – мраморный.

<sup>181</sup> *Касимовский Василий* – потомок золотоордынского царевича Касима, перешедшего в 1452 г. на службу к московскому великому князю и получившего во владение город Касимов на нижней Оке.

<sup>182</sup> *Сибирские князь Петр да князь Алексей* – потомки сибирского хана Кучума, владения которого были завоеваны Московским государством в 1598 г.

Трубецкой<sup>183</sup>, Василей Петрович Шереметев, князь Иван Андреевич Хилков, окольныйчий<sup>184</sup> Василей Семенович Волынской<sup>185</sup>, а с ними думной дьяк Семен Заборовский. Дворяне московские и жильцы. Головы стрелецкие тож. Да у великого государя ели попы крестовые<sup>186</sup>, а сидели за столом от церкви Ризположения ниже рундука».

– Царю не надо патриарха, епископов... прикармливают нищих попов: ими думает церковь блюсти!

Никон встал и, не сходя со ступеней патриарша кресла, кинул посох; он загремел по полу, один рог у него отпал. Сойдя, патриарх сказал Шушерину, неподвижно стоящему с тетрадь в руке:

– Список последнего пиршества сохрани на память, Иван!

– Пошто, святейший господине, последний?

– Познаю душой, не быть мне отныне за царским столом! Горек хлеб, облитый слезами голодных...

Шушерин, поклонившись, сказал:

– Уладится!... Государь к святейшему другу вернется... нет у него иных... краше...

Никон глубоко вздохнул; подумав, ответил:

– Собаки, Иван, подрыли нашу, подворотню... залезли на двор церковный, по лестницам пакостят – худо сие! Бояре – те собаки! Дай другой посох... звонят... помолюсь, идем к службе...

Звонили вечерню к празднику.

Царь не был у праздника в Казанском, на празднике Ризположения, где ежегодно с раннего утра бывал, и тут не был в Успенском соборе. Никон знал: враги настолько одолели не в пользу ему, что развели его с царем, быть может, навсегда...

«Уйду! Пусть избирает другого друга...»

Отслужив обедню, сказал проповедь, причастился, готовясь к подвигу, снял с себя патриарше облачение, надел монашеское.

– Аки пес на свою блевотину не идет – да буду проклят, ежели вернусь вспять!

Никон уходил из собора. Толпа молящихся бесновалась, кричала, особенно женщины.

– Уходит святейший!

– Милые, не пущайте!

– Это он так, вид смиренный кажет...

На паперти Никона, одетого в черную мантию и клобук такой же, встретили государевы посланные бояре. Вместо врагов своих Никон ждал самого царя с просьбой остаться. Этого не случилось. Увидя Стрешнева Семена, патриарх глубже на голову надвинул клобук и крепко сжал губы, глаза его стали мрачными. Стрешнев тихо сказал Трубецкому:

– Князь Алексей, скажи ему ты...

Трубецкой, сняв шапку, покрестился наддверному церковному образу; обратясь к Никону, строго сказал:

---

<sup>183</sup> *Князь Алексей Никитич Трубецкой* (ум. в 1680 г.) — боярин, видный дипломат, крестный отец Петра I. Принимал активное участие в подавлении Медного бунта 1662 г.

<sup>184</sup> *Окольныйчий* – один из высших чинов в Московском государстве. Окольные занимали второе место после бояр и являлись членами боярской думы.

<sup>185</sup> *Василий Семенович Волынский* (ум. в 1682 г.) – дипломат, крупный чиновник. Не обладая большим умом, с весьма ограниченными способностями, обязан своей карьерой необыкновенному умению заискивать у сильных людей (Артамон Матвеев, Милославские) и неразборчивостью в средствах.

<sup>186</sup> *Попы крестовые* – безместные, не имеющие прихода.

– Государь приказал тебе не оставлять патриаршества! Пошто умножаешь и без того растущие смуты церкви? Не гневайся– смирись! Ты покинул архиерейские одежды, оставил посох святителя Петра... Уподобясь монаху, благословить не можешь, и я против того не прошу твоего благословения. Сан твой – твоя власть! Власть есть закон твой – пошто попрал ты свой закон? Не покидай паству... не устрой церковь вдовой...

Кругом кричали богомольцы:

– Не покидай!

– Не оставляй нас!

Когда утихли крики, Никон ответил Трубецкому. Он выпрямился, и лицо его приняло суровое, каменное выражение:

– Всеу вопрошаешь мя! Твори волю пославшего в ином месте... не поучай от законов праздну... тебе ведомо, кто сии законы рушил и через ких врагов гнев его изгоняет меня!

– Не уходи, бойся гнева государева!

– И ныне, и присно, и вовеки! Мой государь – господь бог! И нет иных государей, чтоб повелеть мне...

Никон сбросил на руки дьяконов, стоящих близ, мантию и клобук. В скуфье черной, в рясе монашеской вышел из собора. Бояре вернулись обратно к царю, а Никон, пройдя Кремль, пошел в Китай-город по Никольской улице. Он, идя мимо лавок иконников, раза два сел отдыхать на рундуки у дверей. За ним от собора шла толпа людей, кричали в толпе:

– Горе церкви!

– Пошто ушел, святейший?! Никон, отдыхая, поучал толпу:

– Окоростовел я от лени... мало поучал вас правде... и вы окоростовели от меня! Вот вы лицемеруете со мной – вы жалеете, что ушел я, а не вы ли недавно грозили побить меня камнем за еретичество? Не вы ли называли меня иконоборцем?

– Не мы, святейший господин!

– То неразумные от нас!

– И ныне... говорю я вам! Многие и многие беды падут на землю нашу... бременят ее войны без конца... Вы зрели и радовались вчера, позавчера... чему? Приезду грузинского царя! Пошто приезд его к нам, не ведаете, а я скажу: «Чтоб собрал царь грузинской свое войско и прислал на войну свейскую... прискачут всадники из земли теплой, а воевать станут землю студеную, и там они до единого костью лягут! Им не переносно зачнет быть поле, покрытое болотами, мхами, лихоманками, обвеянное ветрами несугревными...»

– То правда-истина!

– Патриарх не скажет лжи!

– Вы голодаете, а почему? Побор с вас тягостен – деньги надобны на войну! Деньги надо делать, а из чего? Серебра нет! Прикиньте умом, как их делать?

– Знаем!

– На шкуре оттого рубцы есть!

– Иные без рук, без ног стали!

– Из меди куют рубли!

– Из меди... дети мои, потом будете знать больше, какова та медь!

Степенный купец, подойдя, прислушался, отошел скоро, покачал головой, сказал – многим слышно было:

– Бояре не дадут патриарху по улицам ходить пеше – крамольны его речи... вот уж познаете мои слова!

На Воскресенском подворье монахи с поклонами встретили патриарха в смиренной одежде. Иные кланялись особенно низко, иные злорадно ухмылялись в рукав и перешептывались:

– Кончил... будет ему над нами строжить!

– Нет! Гордость какая! Сам ушел!

– Гордостью господь его не обидел...

– Ой, спохватится сторицей!

- Чего вы радуетесь? Вернут, ужо увидите!
- Не дай бог!
- Опять зачнет к нам вдовых попов загонять!
- Бражниками, неучами величать...

Никона с поклонами отвели в его просторные кельи, и хотя было лето, решили протопить, чтоб не пахло где сыростью...

Никон помолился, потом полежал, потом стал ходить по кельям, а к ночи перед сном сел к столу и написал царю письмо:

«Се вижу на мя гнев твой умножен без правды и того ради и соборов святых во святых церквах лишаешься, аз же пришлец есмь на земли и се ныне, дая место гневу твоему, отхожу от града сего... и ты имаши ответ перед господом богом о всем дати. *Никон*».

Иван Бегичев беднел... Слухи из Москвы шли не в пользу ему. Никон ушел с патриаршества, а на него-то захудалый дворянин с Коломны крепко надеялся: хорошо знает Бегичева Никон, явись – упомнит и властью патриаршей превыше государевой устроит беломестцем, тогда все наладится. «Ушел?! – не верилось Ивану Бегичеву, – лгут людишки! Многим Никон очи колет, придумали уход патриарший». Еще то: на кого надеялся Бегичев, Иван Каменев обманул, бежал тайно с приятелем своим, да в подполье избы, где жили, оставили двух убиенных датошных мужиков. Заглянет кто в подполье на мертвый дух, узрит, доведет воеводе, и ему, Бегичеву, в ответе стоять в губной избе. Пришлось старому дворянину самому потрудиться – убрать грех, хотя от родов в его руках ни мотыга, ни лопата не бывали. Ночью, при свече, рыл Бегичев глубокую яму в подполье и злился: «Наглый обман! Нельзя обиду спустить... колико на его доверье плюнули, то заплатить за худо лихом Ивана Бегичева не занимать!» Обида на обиду склалась в одно: едва лишь вернул с войны ляцкой товарищ главного воеводы Семен Стрешнев, Бегичев, не мешкая долго, направил к нему с бойким парнем грамоту борзо писанную с обидчиком Иваном Каменевым, черным капитаном, а на грамоте рукой Бегичева приписано было: «Прочтенное сие письмо испрашиваю боярина Семена Лукьяныча вернуть с подателем оногo Лучкой, моим дворовым холопом».

Лучка дворовый вернулся, письма же не принес, сказал:

– Князь Семен глянул, спросил: «От кого рукописанье?» – «От господина моего, Ивана Бегичева с Коломны!» – отвечивал я. Боярин же меня погнал, а перед тем грамоту твою изодрал и на ступени крыльца кинул: «Иди, парень, по-мягкому! господину своему ответствуй тако: не стал боярин чести его худого измышления и от сих мест пушай не трудится письмом – грамотнее не будет и богаче также... пора разума искать, не молод есть!»

Вскипел Иван Бегичев и, что с ним было редко, боярина про себя облаял матерно.

Раздумался, пожалел – не дошли его попреки до князя Семена – перво, другое – чуть не дураком обозвал и третье – не вернул рукописанья, по красовитости с изографией сходна. Мыслил старый дворянин поучиться писать подобно. «Эх, и этому, коли случай, не худо будет воздать лихом! Приобык сидеть дома, а надо-таки в путь собраться!» Надел Бегичев летний кафтан синей каразеи<sup>187</sup>, мало выцветший на плечах, вынул из клетки мурмолку-шапку. Шапку долго в руках вертел и думал: «Шапка в полторы четверти... она-таки зимняя да легкая... верх куний мало попрел – ништо! – на отворотах жемчуги целы – всяк зрит дворянина».

Не было еще и полудня, сел в тележку, приказав впрягчи ступистую лошадь. К Москве приехали рано, по холодку. Пристать велел за Земляным валом, подале двора нищих, у харчевой избы; сказал дворовому:

– Выкормишь коня, вороти к дому... не ждите: в Москве побуду!

«Ежели, – думал Бегичев, – Никон сшел, то не изгнанный – сам. Честь и власть

<sup>187</sup> *Каразея* – редкая ткань из грубой шерсти.

патриарша с ним, а чтоб не мешкать, не упустить время его отъезда, то испросить немедля, беломестцем чтоб мне...»

В харчевой избе старый дворянин водки добрую стопку выпил да щей свежих с вандышем<sup>188</sup> похлебал: была пятница, день постный.

А как пошел по московским улицам вонючим и пыльным, спохватился: «Пошто, неразумный старик, возника угнал в обрат?»

Небо набухало сизым. От частых церквей, узких улиц с нагретыми бревнами тына долила жара, ноги слабели. Шапку снял – тяготить стала, – шапку нес под мышкой... «Торопиться, правда, нечего, прибреду на торг к Спасскому... у Спасского завсегда попы, а кто больше их о патриархе ведает, все узнаю... От тиуньей избы к патриарху да после того по кружечным дворам побродить, не нападу ли на Ивана Каменева или его товарища?»

На крестце улиц на тыне висела пожелтевшая бумага, на ней крупно написано от царского имени запрещение:

«Купцом и иным торговым людям не покупать в Литве хмель. Хмель в Литве поганой! Баба-ведунья наговаривает скверно на покупной хмель, и быти от того хмелью злomu поветрию».

Прочитав бумагу, изрядно порванную и грязную, Бегичев подумал: «Черная смерть утишилась, мало живет где, а бумагу изодрать бояться – пушай-де пугает народ».

Еще раз пожалел Бегичев, что отпустил лошадь: жара одолевала, хотелось пить, а до Москворецкого моста идти далеко. До квасных чанов, что на болоте у бойни, мало ближе, чем и до моста. Поторговался Иван, нанял извозчика к мосту за копейку.

Доехали. Запыленный, со звоном в ушах, Бегичев слез, отдал деньги, пошел к мосту, забыв о питье. Извозчик крикнул ему вслед:

– Эй, може, тебя дале подвезти?!

Бегичев привычно, на ходу, вытянув шею, как конь, вполоборота, повернулся, крикнул со зла:

– Крутил, молол, дурак! Мимо Царицына луга везти было ближе... воздух легче.

– Там бы нас ободрали лихие, сам дурак!

Перейдя мост, старый дворянин повернул в сторону Москворецких ворот. Не доходя, зажал нос от вони: по берегу реки были живорыбные чаны да торговые скамьи крытые. Подальше справа, немного в гору, – Мытный двор: в нем собирали пошлину за живность и пригнанный на продажу скот.

Бегичева чуть не сбили с ног коровы; под ноги лезли овцы: они спешили к воде пить. Блеянье, мычанье, матерщина мужиков с замаранными навозом посконными кафтанами. Мужики норовили загнать скот за тын Мытного двора, мальчишки-подпаски, подтыкав подолы своего отрепья, бегали за овцами, шлепали по воде ивовыми палками. Иные бились с гусями, загоняя за тын того же двора. Гуси гоготали, крякали утки, петухи взлетали на бревна тына, кукарекали.

– Экое столпотворение! Тьфу!

Впереди Ивана Бегичева и навстречу ему от Москворецких ворот брели люди, широко расставляя ноги. Бегичев тоже побрел, скользя площадью, заваленной навозом; оглядел замаранные сапоги желтого хоза, подумал: «Попадешь в куриное – подошвы истлеют... Эх! Надо бы хоть извозчика до Красной рядить...» Прошел ворота, подымаясь в гору к церкви Покрова (Василий Блаженный). Не доходя церкви, от тесноты загороженной надолбами, все еще идя в гору, пожалел, что забыл взять плат «уши ба завязать». Здесь стоял такой крик, что и Мытному двору не сравниться. Тот крик шел от ларей, крытых дранками. Из лубяного коробья торговки бабам всей Москвы продавали белило-румяно.

– И, рядится! Чего те, шальная? Глянь на себя – ведь сажей обмазана!

– Змий ты стоголовой, сажей! А сама чем торгуешь?

---

<sup>188</sup> *Вандыш* – снетки и вообще мелкая рыбка.

– Не как все! Мое опрично белило-румяно – тебе же губы, щеки с из-под сажи кирпичом натерли-и! Глянь – дам зеркало! Не веришь? Глянь!

– А вот! Кому золы? Сеяная...

Кричали торговцы золой, стоя в ряд у ларей, и поколачивали в свои лукошки; из лукошек порошило сизым, у прохожих ело глаза.

– Вы, нехрещенные, чего в лукно свое дуετε? Копоть очи ест.

– Сухим посыпаем – ништо-о! Вы худче: вы бабам рожи мараете – вон хари какие намалевали! Паси лошадь: понесет, гляди.

– У, разбойники!

Бегичев продирался вперед. По Красной площади ходили стрельцы без бердышей, с батогами в руках, следили за мелкими торговцами, порой разгоняли толпу:

– Народ, не густись в кучу!

– Кошели береги!

– На торгу столь татей, сколь у вас тятей!

Разгоняя народ, обступили торговца с лотком сдобных калачей.

– Ведом тебе, торгован, государев указ?

– Какой сказ, служилой?

– Ушми скорбен, дурак, – указ государев!

– Ну и што?

– А то: «с веками<sup>189</sup> по рядам, нося калачи и белорыбицу, не ходить»!

– А как еще?

– Так! Торговать указано вам у Неглинного «накрывся со скамьи».

– Там, служилые люди, Никольской близ, а на Никольском мосту – пирожники: нам урон!

Подошел другой, тоже с лотком, калачи прикрыты дерюгой:

– Поди! Чего их слушать, я сам затинщик<sup>190</sup>, и воно двое идут с «веками» – оба стрельцы!

– Черт с ними! Идем к кади квас пить.

Бегичев пошел испить квасу. Идти за стрельцами было легко: народ расступался. Стрельцы говорили:

– Лавки пятую и десятую деньгу дают, а эти бродячие им рвут торговлю!

– С походячих ништо возьмешь – со скамьи бежат, потому обложено место...

– Ну в Китай-городе лавок довольно!

– А сколь довольно?

– Сто семьдесят две!

– Есть пустые... полных лавок мало, пол-лавки да четь лавки.

– Всё бы ништо, моровая язва повывела торговый народ! Выпив квасу, Бегичев прошел к тиунской избе<sup>191</sup>, что близ Покрова стоит.

– Совсем оглушили, аже дело забыл! Сизовато-голубым пылило небо. Казалось, вонь от рыбы, мяса, горелого теста висела над городом; было трудно дышать. Люди пыхтели, раскрывая рты, будто рыба без воды. Колокольный звон, матюги с вывертом, божба и крики погони:

– Де-е-ржи татя!

---

<sup>189</sup> *Веко* – лоток, лукошко.

<sup>190</sup> *Затинщики* – военные люди в Московском государстве. В городах занимались торговлей и разными промыслами.

<sup>191</sup> *Тиунская изба* – патриарший приказ, ведавший надзором за церковной службой и поведением духовенства. Тиун выдавал безместным священникам разрешение служить, за что взимал с них пошлину.

– Хрещенные! ребята-а! зря имаецца – не я, вот бог...

– Я тя подпеку – зря? Волоки на Съезжую.

Бегичев посторонился в толпу, вора протащили в сторону Земского двора. У тиуньей избы Бегичев остановился. Толпа плохо одетых попов галдела, держа в руках знаменцы (разрешение служить). К Бегичеву подошли, наперебой заговорили:

– Служить, хозяин?

– Наймуй меня: не пил, не ел!

– Я тож постной, меня.

– Далеко ехать... я с Коломны...

– Пошто ехать? Побредем – в пути лишь брашном да питием малость...

Бегичев подумал: «Отказать – будут несговорны...» Он схитрил:

– После найму! Прежде дело...

– Управься с ним!

– Найму, только к делу совет потребен...

– Наш?

– Ваш, отцы.

– Готовы! Чего знать надо?

– Только чтоб дело твое чисто: мы не разбойны...

– По-разбойному вон те, что у моста дерутся.

– Мне изведать надо, где нынче патриарх. Мое дело до него...

– Дело малое: был в Китай-городе на Воскресенском!

– Э, батька, был, вишь, уплыл – сшел в Кремль на Троицкое...

– Кремль ведаю мало: как ближе идти на Троицкое подворье?

– Ну, младень старой! Ха... дороги на Троицкое не ведает? Ха...

Бегичев, ковыряя пальцем, поднял вверх свою седую острую бороду:

– У Семена Стрешнева бывал, а дале как?

– Так тут рядом! Там же двор Шереметева с церковью Борисо-Глеба.

– Убродился я... в Троицкие ворота заходить не близко...

– Пошто в Троицкие? Иди вон оттуда с Никольских, да не по Никольской, а по Житной улице – десную тебе станут государевы житницы, ошую подхватят поповские дворы... за ними проулок с Житной на Никольскую, узришь малу церковь – то будет Симоново подворье с Введением, а супротив и Троицкое.

Пристал еще попик с тонкими выпяченными губами, насмешливый:

– Тебе, може, после патриарша отпуска к великому государю потребно, так от Троицкого Куретные ворота в сотне шагов!

– Мыслю и к великому государю: я – дворянин и сородичи есть, жильцы Бегичевы, только как туда идти, думать надо...

– Чего думать-то?

– Как чего... думать потребно!

– А ты вот дай по роже караульному стрельцу у Куретных, он тя коленом в зад вобьет на государев двор!

Не дожидаясь ответа, повернулся к толпе попов.

– Батьки, грядем, укоротим срамную безлепицу... – маленькой сухой рукой ткнул в сторону Спасского.

Подходя ближе к Спасскому мосту, у края оврага, как черные козлы, волочились два попа: один в черной рясе, другой в длинной манатье. Они стояли на коленях, вцепившись один в бороду, другой в волосы. Наперсные кресты на медных цепочках ползали по песку, сверкая, двигались за коленями дерущихся. Те, что от тиуньей избы подошли, кричали:

– Спустись, безобразие пьяное!

– От вашего срамного деяния нас к службе не берут!

– А вот я вас по гузну ходилом!

Получив по пинку в зад, драчуны встали на ноги – потные, с прилипшими к лицам



волосами, в кровавых ссадинах.

– Небеса сияния огненна исполнены, а они будто квасу со льдом испили...

– Теперь, не простясь, литоргисать зачнете?!

– Я ему прощусь ужо! – сказал поп в рясе, одергивая бороду.

В манатье поднявшийся заговорил, сплевывая в сторону:

– Выщиплю ужо бороду, как Годунов Богдану Бельскому<sup>192</sup>, шток царем не звался; тебе же не быть, безбородому, попом!

– Ну, уберите грех, проститесь!... – кричали попы, а Бегичеву сказали, указывая на попа в манатье:

– Вот тебе, дворянин-хозяин, поп! Он обскажет, где Никон: вчера ходил к нему за милостыней.

– Тебе пошто к Никону?

– Ведает меня... призывал... – солгал Бегичев.

– Никон ныне вменяет себя Езекилю пророку – возглашает, уличает! С Троицкого перебег на Симоново – чул, государь будет Симеона царевича поминать, да бояра царя отвели... Митру кинул, клобук надел и стал подобен нам, грешным!

– Сшел, да честь патриарша с ним?...

– Нет, не с ним, хозяин! Кинувший манатью святительскую уподобляется не то чернцу, а расстриге, ныне уж укорот дан...

– Какой ему укорот?

– Бояра крепко стеречь велят Никона, и ежели кто пойдет к Никону с переднего ходу, замест милостыни испросит пинка!

– И ты испросил? – полюбопытствовали попы.

– Прежде проведаль – не испросил, ладно вшел с проулка.

– Чул я, батька: в Симоновом божьим гневом заходы сожгло... вышли тушить с образы да кресты, а их навозом забрызгало со святыней – навоз кипел...

– Иди на пожар не с крестом, а с багром да ведром!

– Все то чули! Худче кабы молонья кинулась в кельи – кресты обмоют, чрево же и у тына опростать мочно.

Поклонясь попам, Бегичев пошел к мосту, попы повернули к тиуньей избе. Идя, дворянин размышлял: «Брусят спьяну! Горд Никон, митры на клобук не сменит... пошто я налгал? Кремль и не весь, да знаю, приказы знаю... Иванову тоже». – Обойдя толпу зевак у книжных лавок на Спасском, дворянин пошел мимо церквей на Крови. Около церквей и церквешек ютились кладбища, от малорослых деревьев веяло прохладой.

– Квасу испить?...

– Гребни, перстни! – кричал парень, вертя перед лицом Бегичева золоченой медью. Натянув длинный рукав плисовой однорядки выше локтя, щелкал двумя гребнями из кости: – Гребни иму! Слоновые гребни мои не то вшу, гниду волочат. Эй, кому заело?

Бегичев обошел Земский двор: он плотно примыкал к Кремлю. Дворянин свернул вправо. Против Земского двора, на площади, – большой анбар дощатый: в нем торгуют квасом, сапогами, ветошью и свечами сальными. В анбаре множество народа, Бегичев побоялся, что в давке украдут кису с деньгами, отошел, пить квас не стал. Дошел до иконного ряда. Улица шире других, на рундуках около лавок сидели иконники и знаменщики<sup>193</sup> с купцами; старый дворянин решил: «Здесь простор, покупателя оттого мало, с иконниками не торгуются – грех!»

---

<sup>192</sup> *Богдан Яковлевич Бельский* (ум. в 1611 г.) – политический деятель конца XVI – начала XVII в. При Годунове руководил строительством города Царева-Борисова на южных границах. За то, что стал величать себя царем Борисовским, ему будто бы была выдрана борода.

<sup>193</sup> Делали надписи и орнамент.

Эта широкая улица проложена на тот случай, что царь, выезжая из Кремля на богомолье, всегда ехал по ней. Отсюда и свернул на Никольский мост дворянин из Коломны.

Теснота на Никольском мосту, везде жующие люди – народ ел пироги, держа шапки под мышкой: в шапке есть грех. По обе стороны моста торговцы с лукошками. Пироги, как березовые лапти, торчали из лубья.

– Седин пятница! Кому с вандышем? – А вот с вязигой!

– Кто с Кукуя, постного дня не боится, дадим с мясом рубленным!

Бегичеву захотелось есть: «Измяли в пути, а сколь ходить – неведомо...»

– Што стоит?

– Пирог – едина копейка!

– За Неглинным пирог грош! Пошто дорого?

– Пока ломишься до Неглинного, три пирога съешь – брюхо мнут... ишь народу.

– Давай с вандышем! Держи деньги.

– Тебе погорячее?

– Штоб не переденной.

– Пошто? все сегодня пряжены! – торговец, сдвинув к локтям сборчатые рукава, жирные от масла, рукой с черными ногтями полез на дно лукошка, вытянул Бегичеву пирог:

– Вб, на здоровье!

Закусив пирога, Бегичев спросил:

– А где ба тут испить квасу?

– Протолкись к площади, мало к Неглинным: там кади с квасом да кувшины с суслом.

Испив квасу, Бегичев вернулся на мост. У Никольских ворот, когда он молился входному образу, нищие – рваные, слепые – пели:

*Кабы знал человек житие веку своему,*

*Своей бы силой поработал...*

*Житье пораздавал на нищую, на братию убогую...*

«Ох, и тунеядцы же вы, прости бог... грех худо мыслить... Эх, господи!»

В Кремле, идя мимо каменных житниц, косясь на стрельцов, поставленных в дозор у дверей государева строения, Бегичев снова упрекнул себя: «Пошто ты, Иван, лгал попам? Кремль знаешь, правду молить не весь, а знаешь, на Ивановой бывал... в Судном приказе бывал и Холопьем тоже... а ну, попы сами лгуны!»

Житницы были справа, шли вплоть до Троицких ворот, и везде у дверей стрельцы. Слева тянулись поповские дворы с церковками, иногда с часовнями. Пройдя дворы, свернул в переулок, удивляясь хорошо мощенной улице: «Мощена добротню! Таких улиц в Москве мало, как эта Житная». В переулке в тыне увидел часовню, а за ней церковь: «То и есте Симоново!» В воротах с проулка, пролезая мимо часовни во двор, встретил монашка, видимо сторожа. Монашек оглядел Бегичева. Бегичев надел свой каптур с жемчугами на отворотах:

– Мне ба, отец, к патриарху!

– А хто те, сыне, изъяснил, што он у нас?

– Призывал меня патриарх! – снова солгал Бегичев и, порывшись в кисе на ремне под кафтаном, дал монашку алтын.

– И не приказано, да пушу, поди коли зван! Добро, што отселе забрел... с переднего изгнали бы... в обрат пойдешь, иди сюда же...

– Место у вас широко: куда идти?

– Вон к тем каменным кельям, а у средней наглядишь высокое крыльцо, на него здынишь и перво узришь горницу. Пойдешь крыльцом, не замарайся: с него нынче ходют для ради облегчения чрева...

Бегичев увидел, на крыльце по ступеням ползали навозные жуки. В воздухе жужжали мухи, тычась в лицо; со сторон крыльца сильно смердило... «Ужели здесь моему делу не ход, ужели надо к большим боярам попадать и к государю?» Старик, поднявшись на

крыльцо, оглядел сапоги. Дверь в сени была приотворена, он вошел. Перед кельями в черном ходил послушник; в глазах испуг, спина горбилась, скуфья его была надвинута до бровей.

Бегичев, сберегая жемчуга старой шапки, осторожно сняв ее, покрестился наддверному образу средней кельи; помолясь, сказал:

– Мне ба к патриарху.

– Чуешь голос? Жди: сюда шествует...

Пригнув голову, Бегичев услышал Никона: говорил гневно, голос и шаги слышались четко.

– Сколь раз приказывать?! Перенесите из крестовой моей, из хлебной кельи, кадья медяную. Срамно патриарху на кремлевские святыни голое гузно пялить с крыльца, а дале не пущаете!

Другой голос ответил:

– Бояре не указуют пущать, а мы – раби малые, великий господине! Сказывают: поедет в Иверской ли, в Воскресенской монастыри – пустить! По Москве-де не пущать... гулящих людей много ту, готовых к бунтам того боле есть, а он-де народ мутит, перебегая по подворьям...

– Мардария дайте! Ивана диакона тож, наскочили аки псы – рвут, не повернись! Ужо я им властью святительской проклятие возглашу на всю Русию! Мардария дайте!

– Святейший господине! Иван с Мардарием тебя на Воскресенском ждуть!

Дверь широко распахнули. Никон, в черной бархатной мантии, с рогатым посохом в левой руке, шагнул в сени. Цепь патриаршей панагии сверкала, посох в руке дрожал. На голове Никона черный клобук с деисусом, шитым жемчугами, в пышной бороде густые поросли седины, похожие на серебряные источники его мантии. Строго взглянув на Бегичева, спросил:

– Кто есть?

Бегичев поклонился патриарху земно, поднявшись, подошел под благословение. Никон широко, троеперстно благословил.

– От бояр?

– Сам собой, святейший патриарх!

– Лицо – видимое, где – не упомяну. Что потребно?

– Бегичев – дворянин с Коломны я... мыслил испросить у тебя, святейший, милости, чтоб мне беломестцем стать.

– Ныне бояра хозяева – их проси! Меня с царем разгоняют и тебя не допустят... не вхож к царю я и будто сплю: вижу злой сон! Не вхож! Лазарю праведному подобен, едино лишь – псов, врачевателей язв моих, не иму... ныне сами бояра замест псов лижут сиденье царева места... плети и шелепуги ины лижут, коими бьет он их! Я не таков, а потому не угоден... Пошли! – закричал патриарх на келаря, сопровождавшего его, и на послушника. Он махал свободной от посоха рукой: – Ушей ваших тут не надо! Уподоблюсь пророку: обличать буду смрад и Вавилон презренных святительской благодатью палат царских с прислужниками княжатами, шепотниками государскими! Испишу в грамотах ко вселенским патриархам, в харатях кожных испишу – на то мне господь власть дал неотъемлемую, и ангел светлый еженощно скажет в уши мои: «Обличай угрозно, рщи немолчно, гонимый святитель!»

Бегичев поклонился патриарху:

– Прощения прошу, святейший господине! Грех мой велик в неведение, что гроза пала на тебя, не чаемая мною...

Никон гордо поднял голову, возвысив голос:

– Грозу на нас пророк Илья соберет и обрушит ю на головы врагов наших, сокрушит их, яко заходы, кои спалило тут в миг краткий... Учул я, грек из Газы прибежал судить меня, ведая, что не подсуден! Лигариды да Софронии Македонские<sup>194</sup> по всему миру шатаютца,

---

<sup>194</sup> Паусий Лигарид (1610—1678) – митрополит Газский (Газа – город в Палестине) в 1657 г. участвовал в

ищут, кто больше даст им... они, греки, благодатью церковной торгуют, равно и стеклянными камнями замест драгоценных, табун-травой<sup>195</sup> торгуют! Слова льстивые, мрак духовный, подписчики, подметчики против истинной веры христовой... Разбойники в митрах и мантиях епископских!

Бегичеву хотелось поскорее уйти, не слушая Никона. Он думал: «Да... от патриарха ныне ништо, слов его страшно, а коли-ко бояра узрят меня ту, – беда! Ежели узрят, всё утратишь, Иван...»

Никон как бы опомнился, притих, спросил, делая шаг к Бегичеву:

– Имя тебе, рабе?

– Иван, святейший господине!

– Рабе божий Иван, теки от меня – верь, восстану – помогу во всем: ты не единый, таких много – будь мстителем за попираемое боярами честное имя наше и патриаршество...

Бегичев еще раз земно поклонился, встал и, избегая зоркого взгляда Никона, спешно вышел на крыльцо. Осторожно сходя по ступеням, оглядывал ноги: «Раз у Мытного двора замарал ноги, отер, здесь же хутче измараться мочно... ну, пронес ба господь мимо глаз боярских со двора... Смекать потребно нынче, как до бояр дотти! К тому прямой причины нет! Спросят: „Пошто?“ Что молвю? Беломестцем хочу. „То не причина!“ Бояра поклеп любят, а на кого буду клепать? На Семена Стрешнева... Един ты, Иван! Где твои видоки по тому делу? Нет их? Эх, кабы видока сыскать!»

Монашек, сторож у калитки, Бегичеву поклонился, но Бегичев не заметил поклона. Вытянув шею за калитку, поглядел вправо, потом влево и спешно пошел не в сторону Житной улицы, а к Никольской. «По Житной лишний раз идти – опас большой!»-думал Бегичев и по тому же Никольскому мосту через овраг протолкался на Красную площадь. Вечерело, но к вечерне еще не звонили. Жары дневной убавилось, а народа прибыло. Старик, чтоб избавиться от толчеи, свернул в Китай-город на Никольскую к иконникам. Тихой улицей без давки он дошел до Никольского крестца, повернул к Ильинскому, думал, поглядывая на выступы многих винных погребов: «Ежели ба испить винца в прохладе подвальной, силы прибудет». Но проходил мимо погребов, неприязненно поглядывая на иноземцев, выходящих из подвалов: «Не терплю окаянных кукуев!»

Встретилась Бегичеву густая конная толпа. Впереди ехал без бердыша и карабина, только с саблей на боку, видимо, хмельной всадник с багровым лицом в боярском багрового цвета кафтане с большой золоченой бляхой на груди. За первым всадником в потертых плисовых кафтанах двигались решеточные приказчики с Земского двора и стрельцы приказа Полтева в белых кафтанах с желтыми нашивками на груди. Бегичев, оглядывая всадников, признал в переднем объезжего.<sup>196</sup>

Объезжий, выпрастывая из стремян сапоги зеленого хоза с загнутыми вверх носками, крикнул пожарному сторожу – сторож дремал в окне чердака, забравшись от солнца в тень; он поместился на кровле каменной лавки, как и многие, устроенной над винным погребом:

– Рано залез, детина! Солнце высоко, вшей напаришь. Сойди, держи лошадь!

Сторож, подобрав длинные рукава посконного кафтана, сполз к стоку крыши, оттуда спустился по лестнице:

– Слышу, объезжий господин, держу! – Встав на землю, схватил под уздцы вороную гладкую лошадь. Объезжий грузно скользнул наземь, шатаясь полез в винный подвал. Когда ушел объезжий, стрельцы первые заговорили:

– Непошто к овощному ряду едем!

---

проведении церковных реформ по приглашению Никона. *Софроний Македонский* – авантюрист, выдававший себя за митрополита, подложными грамотами выманивал у русской церкви подачки.

<sup>195</sup> *Табун-трава* – табак.

<sup>196</sup> *Объезжий* – полицейский чин вроде полицмейстера.

– А как еще?

– Да смотрите: он через три погребца в четвертый лезет и пьет!

– Мала беда! До ночи Китай-город изъездим, а коли пожар да убой прилучится – не мы в ответе – ён! Скушно зачнет нам, привернем к харчевой!

Бегичев, прислушиваясь, подвигался к Ильинскому крестцу. Он шел медленно, останавливался, слушал, высматривая видока, с которым можно бы было идти на боярина Стрешнева.

«Был ты, князь Семен, за волшебку встарь ссылай на Вологду, ну, а я, ежели подберусь к тебе по вере, сошлют с концом, как Аввакума в Даурию...»

Неудача с Никоном делала Бегичеву новую обиду: «Патриарх благословил стоять за него, а то и богу угодно, и делу прибыльно...»

Думая так, все шел да шел медленно. В одном месте, где два супротивных погребца выпирали на дорогу, сужая и без того узкую улицу, Бегичев услышал спор трех человек – они переругивались. Один стоял в бархатной рыжей однорядке на крыльце своей лавки над погребом, другой – из окна с железными ставнями, откинутыми на стороны. В окно он мог просунуть только большую, бородатую голову – плечи не помещались. Голова из окна кричала, раздувая усы (слова были обращены к человеку в однорядке):

– Государева тягла не тянешь полно, замест пятой деньга платишь десятую – воруеть! А я вот торговлей в четь тебя плачу пятаю государю-у!

У крыльца, где купец в однорядке, женщина некрашенная, с желтым лицом, в платке и черном платье вдовы ответила бородачу в окне:

– Загунь борода, алчный пес! Рядил мому парню платить год пять алтын, манил «дескать потом в прибыли будешь», а год он тебе служил, што дал?

– Не с тобой я! Парень твой убогой, скорбен ухом и кос на оба зрака – в калики ему идти, не в сидельцы...

– Ой, ты, вонючий козел с харчевого двора, – «скорбен», а год держал! Письмом не крепилась<sup>197</sup>...

– Ежели вонюч, не нюхай, да не с тобой я, протопопица, к нему говорю: заявлю вот ужо на Земском дворе, што погреб твой да лавка дорогу завалили, ты же тяглом вполу меня – у меня лавка малая и та съемная!

– Ерема, ты – дурак! Не знаешь – ведай! Наша суконная сотня с гостиной вкупе мостит Житную улицу от Никольских до Троицких ворот, дана сбавка нам в тягле... – ответил купец и, повернувшись, ушел в лавку.

– В пятаю пошел! Правда очи ест... – крикнула голова в окне – она тоже утянулась в лавку.

Бегичев прошел мимо. «Богатеи мостят Житную улицу в Кремле... оттого гладка да ровна она – не домекнул...»

Встретил двух стрельцов: они волокли на Съезжую пьяного парня. Бегичев обошел стороной. Лицо парня и голос показались старику знакомыми; обернувшись, пригляделся, спешно подошел, спросил:

– Ты чей, холоп?

– Семена Стрешнева! Князя и воеводи-и... не имут веры... да! А за вино не плачу – кислое, да-а! Я ж просил.

Парень был рябой, русый, без шапки, по его лицу текли слезы. Ворот голубой грязной рубахи раскрыт, разорван до пупа, кафтан волочился по земле оттого, что за рукав его, видимо, тащили и оторвали до плеча.

– Не упирайся, собака, бердышем поддадим ходу!

– Сколь он должен?

– На два алтына пил, ел в погребце, а денег алтын!

---

<sup>197</sup> Не взята расписка.

– Вина, вишь, заморского захотел, шел бы в кабак! Бегичев в кисе нащупал три алтына, дал одному стрельцу:

– Я дворянин с Коломны! Беру парня... поруку даю, не будет тамашиться.

– Поруку даешь и деньги, – бери его, а только деньги целовальнику три алтына, прибавь за труды два нам!

Бегичев дал деньги, повел парня, спросил:

– Как зовут?

– Меня? Зовут как?

– Да, имя скажи!

– А пошто, дядюшко?

– Как пошто? Имя знать хочу, затем и от стрельцов взял!

– Не волоки на Съезжую, дядюшко! Деньги сыщу, вот те Иисус...

– Не затем взял, чтоб деньги получить – тебе еще за послугу денег дам, ежели...

– Послугу тебе? Какую?...

– Хочу узнать, расспросить о князе Семене...

– Не губи, не губи! Дядюшко, не губи!

– Пошто губить?

– Не волоки к князю Семену! Убег я... калач, вишь – калач!

– Не бойся, никуда не поволоку. – Становилось тесно от любопытных. – Народ густится, идем!

Парень покорно пошел. Кафтан у него съезжал с плеч: запояска, как и шапка, были утеряны,

– Надо бы нам в блинную избу, да знаю ее только на Арбате, – приостановился Бегичев. Из толпы кто-то сказал:

– Пошто на Арбат? Ту за овощным в харчевой избе блины, каки те надо!

– Вот ладно, идем, детина!

Парень покорно шел о бок с Бегичевым. Старик прибавил:

– Князь Семена не люблю! К себе возьму тебя, укрою – не сыщет!

– Не брусишь, дядюшко?! Дай я тебе за то... дай ножки, ножки поцолую...

– Утрись от возгрей! Иди!

За овощным рядом на большом дворе харчевой избы густо от извозчиков в их запыленных длинных, как гробы на колесах, тележек. Вонь от конского и пуще от человеческого навоза. Становилось сумрачно, но жарко в нагретом воздухе и душно. У двора тын; к тыну задами приткнуты заходы: люди в них опорожнялись, не закрывая дверей. Извозчики большой толпой сгрудились над дворником, кричали, махались:

– Ты барберень!<sup>198</sup>

– Без креста бородач!

– Пошто барберень?

– Дорого твое сено!

– Дешевле – не дальню место, гостиной двор, новой, там важня!

– Хо, черт! В новом у важни столь народу: лошадь задавят, не то человека.

– Чего коли спороваете? Мы сами у важни сено купляем. Бегичев полез сквозь ругливую толпу, парень за ним.

С крыльца избы, осевшей на стороне, по скрипучим ступеням лезли люди. Бородатые лица красны от выпитого; за мужиками тащились бабы без шугаев, в пестрых платах, столь же пьяные, как и мужья. Бегичев с парнем вошли в сени; там на лавках сидели тоже хмельные, орали песни. Из сеней – площадка, по ней прямой ход на поварню. Вправо, не доходя поварни, с площадки три ступени вниз, первая – горница. В горнице – стойка, за стойкой – бородатый хозяин; русые волосы на голове харчевника стянуты ремешком. О бок с

---

<sup>198</sup> *Барберень* – варвар; перевод с немецкого.

ним толстая опрятная баба в фартуке поверх сарафана, в кике алой с белым бисером, в кикку подобраны волосы, расторопная. За спиной их поставы с медами и водкой в оловянных ендовах, тут же в поставках на полках калачи, хлебы, пироги на деревянных торелях и блины.

Первая горница без столов и скамей, за первой – вторая и третья, в тех за столами шумно и людно.

Бегичев оглянул помещение.

– Столпотворение ту – слова не молвить. – Подойдя к стойке, спросил хозяина: – Где ба нам, поилец-кормилец, место тишае?

– Пить-есть будете?

– Будем пить и блины кушать... деньги имутся. – Он потряс кису на ремне под кафтаном: зазвенели деньги.

– Идите в обрат... здынетесь на площадку, спуститесь, не сворачивая к выходу, в другую половину: там клетки. В первую не ходите – дворник живет, в другой – молодцы мои, служки-ярыжки, третья – пуста, все имется, хоть ночуй в ей...

– А мы-таки и заночуем: чай, решетки уж в городу заперты?

– Не заперты, так запирают. Чего в клеть вам занести?

– Стопку блинов яшневых с икрой, с постным маслом...

– Эх, гость хороший, а я бы тебе со скоромным дал, да сметанки бы пряженой с яичками, да икорки, да семушки с лучком...

– Грех! День постной, аль не ведаешь? Икорки, семушки на торель подкинь!

– А винца?

– Винца по стопке: мне большую, ему, так как пил, – малую.

– Подьте, сажайтесь: будет спроворено!

– Блинков-то погорячее!

– Ну вот и келья нам! – сказал Бегичев, отыскав указанную клеть. В клетки пахло перегаром водки, жиром каким-то и кожей. Окно узкое, маленькое; лавки по ту и другую сторону широкие; в углах оставлено два бумажника.

Стол ближе к окну, чем к двери; у стола – две скамьи. Стол голый, на точеных ножках; на двери изнутри железный замет на крюках.

Хозяин с парнем принесли вслед за вошедшим Бегичевым блинов, масла постного, нагретого с луком, водки, икры и хлеба.

– А семушки?

– Принесем, – ответил хозяин харчевой, – вишь, рыба не резана, а почать было некогда, да за постой надо сторговаться. – Он приказал деревянный большой поднос с закуской и водкой поставить на стол, служка поставил бережно, смахнув со стола дохлых мух рукавом кафтана.

– Поди, парень, да ежели стрельцы забредут али решеточные, веди в заднюю и двери за ими припри.

– Ладно, чую! – Служка ушел.

– Сколь за все с ночлегом? – спросил Бегичев.

Хозяин харчевой, подергивая кушак на кумачовой рубашке одной рукой, другой топыря пальцы, как бы считая поданное, сгибая пальцы по одному, сказал:

– Четыре алтына!

– Што дорого?

– Алтын ёжа и питье, а три алтына ночевка.

– Вот уж так не ладно. Почему же ночевка мало не равна с едой?

– Потому што заглянет объезжий, забредет, узрит, спросит: «Кто таки?»

– Пушай спросит: я – дворянин с Коломны! Мне большие бояре дают ночь стоять в их домах!

– А молочший?

– Молочший – мой дворовый... четыре алтына! Ты зри – за двадцать алтын у гостя<sup>199</sup> Василья Шорина<sup>200</sup> человек год служит!

– Так то, хозяин добрый, у Василья компанейцы! Им год ряжоное ништо, от прибылей богатеют!

– Не все компанейцы!

– Ведомо, не сплошь, так ины хто? А вот – долговые кабальные<sup>201</sup>, кабальному едино, где долг отбывать... Да Василей Шорин лавок имет много, да он же на Каме-реке пристане держит – у Василея нажить деньгу ништо стоит... к ему иной даром пойдет служить: не всякого, вишь, берет...

– Плачу я тебе, благодетель, поитель-кормитель, два алтына – и буде!

– Так-то дешево, хозяин!

– Ну алтын надбавлю да знать тебя буду: приеду иной раз, мимо не пройду – зайду!

– Дай четыре, а я за то водочки прибавлю и семушки пришлю!

– Добро, пришли за одно кваску яшневого.

– Пришлю. – Хозяин харчевой ушел. Бегичев сел, сказал:

– Садись, паренек, да изъясни, чем тебя Семен Стрешнев изобидел.

Парень сел; он по дороге совсем протрезвился.

– Ён бы изобидел гораздо, да не поспел... посылан я был им к великому государю с калачом... по какому празднику калач посылан, того не ведаю, только наскочила на меня в пути орда конная, не то татарская, не то ина кака... толкнули меня, чуть с ног не сбили, я калач-то уронил в песок, а его лошади измяли... ну, дале што сказать? Батоги мне, ай и того горше – я и сбег!

– Добро, што сбег – себя уберег! Так вот... чул я, Семен князь<sup>202</sup>, когда псица щеня родит, сам их крестит, – правда?

– Я с им крестил, за кума стоял – завсе крестит – правда, и девка – Окулей звать – кумой была...

– Где та девка?

– Тож сбегла... покрала кою рухледь у князя и сбегла...

– Эх, и ее бы в послухи!

– Чаво? Девку-то? Сыщем! Ведаю, где живет.

– Добро многое, што ведаешь... Теперь молитву кую чтет у кади, когда крестит?

– И молитву чтет, и ладаном кадит, и ризы надеет...

– Ой ли, не лжа?

– Вот те Иисус Христос, правда!

– Теперь измысли, парень ты толковый, нет ли еще каких скаредств за князем Семеном? В церковь ходит ли? Про патриарха ай и про великого государя бранного чего не говорит ли?

– Стой, хозяин! Про патриарха завсе князь Семен говорит худо. Собака есть, сидит и лапой крестит – Никоном звать, да еще князь Семен с ляцкой войны вывез парсуну

---

<sup>199</sup> *Гость* – почетный купец, равный дворянину.

<sup>200</sup> *Василий Григорьевич Шорин* – богатейший московский купец, владевший различными промыслами в крупнейших городах государства; был ненавидим в народе, и во время московских восстаний 1648 и 1662 гг. лавки и склады его были разграблены. Имущество Шорина было продано в 1673 г. за недоимки и отписано в казну.

<sup>201</sup> *Долговые кабальные*. – По долговой кабале (обязательству) XVI—XVII вв. долг отрабатывался работой на кредитора, но весь труд шел в уплату процентов, должник же попадал в положение холопа, из которого самостоятельно выйти не мог.

<sup>202</sup> *Семен князь...* – Ошибка автора: Стрешнев не был князем.



живописную, на ей нечистые колокольну пружат и жгут, а близ того как бы девка сидит рогатая и на тое колокольну голое гузно устала...

– Добро велие! А как она и где у него пририта таковая парсуна?

– Испририта на стене его княжой крестовой, и огонь перед той парсуной князь Семен жжет и сидит, руки сложа, и противу того, как и молится ей...

– Ох, и добро же, парень! Я у великого государя испрошу – буду беломестцем, ты же, коли честен станешь со мной, будешь у меня в захребетниках...

– А боярин князь Семен как?

– Боярин не сможет за тебя иматца! Захочешь быть кабальным – станешь, не захочешь – будешь вольным, не тяглым, захребетники<sup>203</sup> тягла не несут...

– А как боярин князь Семен за меня все ж имаетца?

– Да ведь ты сказал не лжу о крещении щенятином, тож о парсуне?

– Вот те Иисус, хозяин: все – правда!

– Ежели правда, то мы с тобой на князь Семена наведем поклеп и суд. За таковые еретичные дела князь Семена сошлют, животы его отнимут на государя, и ты станешь вольным: у тех бояр, кои ссылаются опальными, холопы завсегда пущены на волю...

– Все смыслю, хозяин! Только уронить-то его не легко: он – государев родич...

– Пей и ешь! Ежели так, как сказал, – правда, то князю Семену гроб! Ляжем, благословясь, перекрестясь, а завтра с моей грамоткой пойдешь ко мне на Коломну в Слободу и жить будешь у меня, я же здесь обо всем подумаю. Девку еще сговори, как ее?

– Окульку-то? Так она меня любит – скажется, хозяин!

В верхней горнице Морозова Бориса Ивановича по неотложному делу собрались бояре: рыжеватый Соковнин Прокопий; Стрешнев Семен, бородатый и остроносый, с суровыми глазами, прямо уставленными и редко мигающими; Долгорукий, тучный старик, заросший бородой до глаз, с черными, длинными усами, опущенными вниз по седой бороде, как у викингов древних; с узким, костлявым лицом и сам весь собранный, узкий, с резким голосом государев оружничий Богдан Хитрово. Он вошел позже других, метнул глазами и, увидав среди бояр Семена Стрешнева, сурово сжал губы, пятясь к дверям; за ним вошел скуластый высокий Иван Милославский. Хитрово, думавший уйти, остался. Все знали, что Морозову занедужилось, говорили шепотом:

– Сможет ли?

– Недужит крепко, да сказывал дворецкой, – встает. – Бояре перешептывались все, кроме Хитрово: тот молчал. Рознясь дородностью и ростом, в золотных кафтанах и ферязях, бояре похожи были в своих черных тюбетейках на моржей, всунутых в светлые мешки.

Морозов вышел в опашне серебряном, украшенном травами золотными, шитыми с жемчугом. Борис Иванович был бледен, а серебристый наряд делал его еще бледнее. Бояре, опираясь на свои посохи, встали, поклонились высокородному старцу.

– Здравии тебе, Борис Иванович!

Морозова поддерживал дворецкий. Бояре Соковнин и Стрешнев, отстранив дворецкого, усадили в немецкое кресло хворого. Морозов кивнул взлохмаченной головой, не то здороваясь с боярами, иное давая знак дворецкому: «Не надобен». Дворецкий исчез.

Запрокинув голову на спинку кресла, Борис Иванович рыгал и отдувался:

– Фу-у... не шел, не полз, а устал! Слушаю вас, бояре, и ведаю, с чем пришли... ни для родин, ни для именин не встал бы, да говорить нам неотложно... пока язык в гортани шевелитца, говорить надо...

– Послушать золотых слов твоих собрались...

– Фу-у... медведь ушел, но не пал, а мы ему жомы навесим, перевесища<sup>204</sup> поставим –

---

<sup>203</sup> *Захребетники* – люди, свободные от тягла, жившие на чужих дворах в полной зависимости от владельца.

<sup>204</sup> На ловах *перевесища* – петли.

падет! Рогатинкой вы его способно убода ли, что сшел – хвалю! Едино лишь – как в ратном деле – сорвали врага, побежал – остояться, одуматься ему не дать! Ох, мое худо... старость! Радости на грош, а горести на гривну...

– Лекаришку бы тебе, боярин!

– Давыдко Берлов<sup>205</sup> пьяноват, да смыслит лекарское дело... несвычен лишь руды метанию.

– Звал его, датчанина... того тож, государева дохтура, призывал – Коллинса<sup>206</sup>, да что уж! Англичанин больше про себя мычал, щупал, траву дал пить, ништо в ей...

– А Давыдко?

– Давыдко, тот извонял горницу хмельным и молил: «Жиром-де тебя, боярин, залило!»

– Это он с пьяных глаз...

– «К старости, – молят, – надо кушать кашу молошную: рыба-де вредит, особо вредит несвежая рыба, и мясо совсем-де негоже! Пуще всего ваши посты вредят: капуста, чеснок, редька... жир в тебе, мол, мертвит кровь, все и заперло в теле твоём жиром...»

– Ой, спьяну ничего не разобрал в хворости, пес!

– Жир и сердце утесняет, а коли-де сердцу невольготно, его слизью заливают вконец. «Брюхо-де слабо, перестало тугую пищу сызносить»... Кашу?... Я ее от родов не любил, да еще молошную... Рыбу люблю, коя подсола, свежей не терплю – тиной отдает... «Молошное-де кушай на всяк день, на посты не зри».

– В Кукуе у них постов не знают!

– Им зачем на посты взирать? Кальвинцы да лютерцы! Фу-у... вам, бояре, глядеть! Все, что от Никона пойдет к великому государю, честь и, зная его мысли, толковать по-своему, пуще от стреты их друг с другом опасать...

– Мы и то, Борис Иванович, глядим! Никон перебег с Воскресенского на Троицкое, учул, что государь будет на Симоновой подворье – туда шибся, а мы государя отвели сказкой, «чтоде опасно, нет ли там моровой язвы? Многи-де чернцы на Симоловом перемерли!», – и государь устрашился...

– Вот так! Государя вы знаете и не забываете того: государь сегодня осердится, завтра простить может, но чего не прощает, чему завсегда ревнует, так это – власть! Властью пугайте его, чтоб доброта государева к Никону истлела... чтобы не помазал медвежьи раны мазью целебной! Еще знайте, у Никона здесь на Москве чтоб служек близких не было... К ему приставов, одетых монахами, поставить, и он заговорит от сердца со злобой... доглядчиков к нему поболее; можно, то и доводчиков, кои на язык ходки, – не дураков...

– Мы так делаем, Борис Иванович!

– Приперли, по Москве не пушаем, а поедет куда – скатертью дорога!

– Отъедет – и там чтоб доводчики да приставы были... зверя тогда загоним в яму: отольется ему и мое проклятие – обида вашей чести отольется! Пуще опасать от тех, кто полезет к государю дядьчить<sup>207</sup> за Никона, того гнести... Можно иметь, так надо иметь и подводить под кнут! Фу... вот и устал! Проводите в ложницу... Чаше твердите государю о слухах – они-де ежедневно по Москве множатца: «Два-де государя у нас на Руси!» Кости вот у меня тож ломит – мало был с государем в походе, а и мало, видно, мне быть у дела; отошло время... Не торопитесь, не брусите явно, чтоб царь нарочитости вашей не смекнул... не

---

<sup>205</sup> Давыдко Берлов – датчанин, врач, служивший в Москве.

<sup>206</sup> Коллинз Сэмюэл – англичанин, личный врач Алексея Михайловича в 1659—1666 гг. Вернувшись в Англию, написал книгу «Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, жительствующему в Лондоне», опубликованную в 1671 г.

<sup>207</sup> Дядьчить – молить, упрашивать.

всяко слово лепите ему в уши о Никоне. Спросит – ответствуйте... Молчит – меж себя говорю тихую при нем учините: про слухи, про кинутую, осиротелую церковь... сторожко похваливайте Питирима<sup>208</sup> епископа, Акима игумена... да знаете-то и сами кого... Давыдко еще сказал: «Уехать тебе, боярин, надо! Застойной-де воздух тоже вредит много...»

– Давыдке ездить просто: всегда пьяный поперек хрепта лошади лежит...

– Оправлюсь мало, уеду... Чую, что правду сказал, в лесу или саду... или еще – ох, ведите!

Бояре, обступив Морозова, повели в спальню.

– О Никоне еще говорите государю: «Не смирился! Власть свою и ныне влечет ввысь»... Одеяло скиньте! Спасибо!...

– Прости за беспокойство, Борис Иванович.

– Оправляйся на радость нам!

– Не недуговай!

Не провожали Морозова в спальню только двое: Милославский и Хитрово. Они оба больше слушали, чем говорили. Хитрово подошел, ласково взглянул на Ивана Михайловича, тихо сказал, оглядываясь на дверь:

– Слово бы на глаз тебе надо молвить, князь Иван!

– Так что ж? Заходи после вечернего пения, Богдан Матвеевич; гостя приму...

– Твой гость, князь Иван Михайлович! Зайду.

Оба, дождавшись бояр, не отставая, вместе со всеми ушли...

Боярин Иван Михайлович охоч пображничать с приятелями, скупым на угощение он не был, но не любил угощать тех, кто когда-либо нуждался в нем, а Богдан Хитрово, показалось ему, в нем нуждался, и потому не в столовой палате, а в крестовой принял царского оружейничего.

– Садись, Богдан Матвеевич!

– Благодарствую, боярин.

В сумраке лампадок, в запахе талого воска, в тепле, сидели у круглого стола, где были чиненные перья и чернильница золоченая, но Милославский не писал и не читал – науку книжную разумел мало.

– Думаешь ли, боярин, так, как я, или думаешь по-иному, говори прямо! – начал Хитрово.

– Прям я: не люблю околom ни ходить, а паче ездить, – ответил, пошевеливая ус, Милославский, но говорил неправду: прямо сказать и мало не любил.

– Родичи государевы, ежели их приспело и ежели они других родов, чем мы, не опасны ли тебе, князь?

– Нет, боярин! Милославские много взысканы милостями великого государя, дядья или дальние дедичи государевы им неопасны...

– Оно все так... и ты, боярин, одноконешно, стоишь высоко и некогда тебе думать о Стрешневе Семене, а Семен Стрешнев иной раз застит тебя и меня...

– Бывает часто, Богдан Матвеевич!

– А чтоб не бывало так, то помешку такую отставить бы куды?

– Не прочь я... да не думал о том, Богдан боярин, еще как и почему, не домекну, Стрешнев стал не мил; ведь недавно вы ладили?

– Ладили до поры, пока не поклепал меня перед людьми: «дескать дворяннишко Алексинской Морозовым поднят превыше всех бояр!»-и мало того, когда на охоте мои соколы взяли много пернатых, а его не взяли ничего, так он моего сокольничего плетью избил и мне не сказался, за что бил.

– Обида, боярин, и я таковой обиды не спущаю.

– Понимаешь меня, князь Иван, сам же глазами посторонь водишь и, прости уж,

---

<sup>208</sup> *Питирим* (ум. в 1673 г.) — митрополит Крутицкий, замещал Никона после его отказа от патриаршества.

мыслится мне, не слушаешь про мои обиды...

– Не горячись, боярин: гляжу посторонь, думаю, как бы тебе помочь, а помощь, чувствуется мне, близко!

– Ну же, князь Иван!

– Эж, не терпится?... Нынче, вишь, заходил ко мне худой дворянин с Коломны, просил меня за себя поговорить великому государю. «И тут-де, как увижу государевы ясные очи, скажу ему некое о его великого государя родиче Семене Стрешневе», а што скажу, того не дознавался я, отослал: «Поди да с дороги поужинай...»– он же мне начал челом бить о ночлеге: «Я-де человек не высоких родов, сосну и в людской твоей».

– Не ведаю, князь, пошто надобен нам дворянин с Коломны.

– Видал я людей, глядел и этого с Коломны, и покажись мне, что он на Семена князя имеет што сказать укорное. А позовем-ка, тогда узнаем: може, он гожд, тот человек?

– Ну, что ж, князь Иван, угодно тебе, позовем.

Иван Михайлович, чтоб не кликать слугу в крестовую, куда он слуг пускал неохотно, сам вышел.

Собранный узко, но плотно, оружничий государев Богдан Хитрово поступал часто так, как указывала ему его жена, суровая, ближняя царице, верховная боярыня.

– Оглядывайся, Богдан, на бояр: говорят одно, делают и думают другое, а ты за ними примечай, чтоб было чем за них, когда надо будет, взяться.

Теперь, мало доверяя словам боярина Ивана Милославского, во время, как боярин вышел, Богдан Хитрово огляделся в крестовой. Он заметил сзади себя светлую щель в стене. Встал неслышно, повернулся и тронул пальцем: щель расширилась; в нее Хитрово увидел хранилище узорочья и казны Милославского. Стояли по лавкам и полкам при свете большой лампы, висевшей в углу, серебряные и золотые сосуды, ларцы кованые, видимо, с золотом и узорочьем, а на полу медные, квадратные слитки. Хитрово подумал: «Запаслив боярин!... Давно ли государь с боярами ближними говорил о замене серебряных денег медными?... У Ивана же приготовлена медь ковать деньги... только не царские, а свои... пождем, увидим!» – он осторожно приткнул дверь, вернувшись к столу, сел.

Вошел Милославский; трогая ус, сказал:

– Скоро придет!

Милославский тоже заметил светлую щель; шагнув, стукнул мягко дверь рукой – она щелкнула тайной задвижкой. Чтоб не было сомненья гостю, который глядел на него, Милославский пояснил:

– Рухлядник поповский иму; не доглядишь, а из него дует ветром... попова рухлядь запашиста – на тот случай окно держу открытым.

– А я не слышу, чтоб ветром несло, – сказал Хитрово.

Вошел Бегичев, поклонился боярам и истово покрестился на все стороны.

– Пошто у тебя, дворянин с Коломны, дело до великого государя и пошто заедино сказать хотел о князе Семене? – заговорил Хитрово.

– И кая обида есть на князя Семена или дело до него какое? – прибавил Милославский.

Иван Бегичев, так как его сесть не просили, заговорил, пятясь к двери крестовой:

– А вот, большие бояре государевы: ты, князь Иван Михайлович, и ты, боярин Богдан Матвеевич, благодарение господу, что довел меня, захудалого человечиска, говорить перед людьми честных родов...

– Сказывай покороче, – указал Милославский.

– Буду краток, но дело длинное, и вопрошу вас: по моему делу говорить или же по делу князь Семена?

– По делу князь Семена говори, свое отложи, так как великому государю нынче заботы большие, видеть его не можно...

– Памятую и слушаюсь... Князь Семен – богоотступник... Давнее время было, когда шли мы с ним на конех на охоту, говорил мне из книги бытия, «что господь бог на горе Синае показал Моисею задняя своя»... то первое! Другое будет так: князь Семен неведомо

где в польских городах имал парсуну галанскую, живописную, а на ней исписано еретиком: нечистые духи жгут церковь божию и колокольню пружат... а еще рогатая девка не далеко место сидит и на тое церковь оборотила голое гузно! Третье: он же, Семен-князь, возжигает перед той парсуной богомерзкой церковные свечи и будто молится ей – сидит... Четверто дело за ним таково: берет у псицы щенков поганых топить и замест простой кади топит их в купели церковной и свечи жжет и зарбафное одеяние, видом фелонь поповская, одевает, поет стихиры... и кума и куму ставит у тоя купели, како подобает деяти в храме божием...

– Ну, боярин Богдан, что скажешь?

Хитрово, не отвечая Милославскому, обратился к Бегичеву:

– Чего ты, малый дворянин, хотел молить у великого государя?

– Я, боярин, испросить хотел у великого государя, чтоб беломестцем быть своей слободы и службу иметь, а тягла не нести...

– Бегичев твое прозвание?

– Бегичев Иван! Дворянин с Коломны...

– Ведомо мне, Иван Бегичев, что у государевой дворовой службы есть стряпчий Бегичев Петр... не свойственник ли тебе?

– Дядя придется мне тот Бегичев...

– Чего ж ты, имея родню у государя, к большим боярам полез с малым делом?

– Большой боярин, Богдан Матвеевич! Захудал я без службы и деньжонки, кои были, порастряс, а родненька моя вся и с дядей Петром, о коем говоря идет, боится меня: дескать, «привяжется, попросит в долг, а кабы-де на него не напишешь... – грех! Потому – родственник», ну и ходу к родным нету...

– Сказываю, твое дело малое! Не быв у великого государя на очах, твое дело справить мочно: государь только похвалит! Ведь не гулять ты будешь, а служить?

– Служить, боярин большой! Захудал без службы...

– Так вот! Поезжай на Коломну и жди: позовем с Иваном Михайловичем. Будь с послухами на Москве без замотчанья по делу князь Семена, а коли доводы твои на него не облыжны, в тот же день устроим тебя на своей слободе беломестцем и грамоту к тому делу с печатью государевой иметь будешь...

Бегичев, низко кланяясь боярам, касаясь пола концом острой взлохмаченной бороды, ушел пятясь, и все кланялся. У него от радости дрожали ноги. Выйдя, молился в сумраке наддверному образу безликому, худо видимому, и думал: «Благодарю тя, владыко! Не попал на глаза боярские у подворья и. Никона не помянул в речи своей и ход свой по Москве, что мял ноги и последние деньги сорил, оправдал... Благодарю тя, господи!»

Когда ушел Бегичев, Милославский сказал почти хвастливо:

– Вот тебе, боярин Богдан, разделка с князь Семеном за твои обиды... Теперь же ты не проситель мой, а гость! Пойдем изопьем чего сойдется за общее дело!

– Эх, князь Иван Михайлович! Хорошо, кабы дворянин не обнес спуста...

– Чую я, дворянин не лжет! Только уговор, боярин... не спеша с князь Семеном: он нам в деле Никона еще надобен будет... Утопчем Никона, вобьем в монастырь и князь Семена по той же путине наладим!

– Хвалю, боярин, хлебосольство твое! За общее, хорошо устроенное дело пошто не выпить? Со Стрешневым пожду.

Они вышли из крестовой в палату столовую.

Прошло недель шесть. Царь стал неохотно двигаться и заметно больше жиреть. Дел было много, и те дела чаще решал, лежа в постели.

Собрался Первый собор судить ушедшего Никона. Съехались архиереи, игумены, протопопы; приехал из Газы епископ Паисий Лигарид. Надо было сделать выход. Царь приказал:

– Пущай соберутся в Грановитой! Ближе идти чтоб...

Из бояр в Грановитую с церковниками позваны были трое: Милославский Иван, Богдан Хитрово и с вопросами к Никону Семен Стрешнев – его царь пожаловал к руке и нынче с

доверием от себя дал вопрошать Никона. Стрешнев по государеву наказу приготовил тридцать вопросов.

Царь медленно вошел; тяжело дыша, опустился на царское место под образа – его усаживали, поддерживая, Хитрово с Милославским; Хитрово – справа, Милославский – слева встали о бок трона. Архиереи, игумены, сидевшие на лавках по сторонам палаты, встав, благословили царя и снова сели. Церковники молчали, не зная, как царь отнесется к Никону. Никона они, хотя и ушедшего, боялись. Царь сказал, оглянув церковников:

– Начнем, духовные отцы!

Церковники медлили. Только один, тощий, веснушчатый Епифаний Славинецкий<sup>209</sup>, ученый епископ, решительно тряхнув подстриженной рыжей бородой, встал, поясно поклонился царю, сказал раздельно и громко:

– Допроса, великий государь, судимому патриарху не было, и самого его нет, чтобы отвечать на наши обвинения, и я считаю наш заглазный суд над ним незаконным!

– Пожди, отец Епифаний, послушаем, что скажут иные от собора, подобает или нет судить патриарха не на глаз, а заочно?...

Славинецкий сел.

Между церковниками катился шепот; ослабевая, он дополз до передней скамьи, к трону. На ней сидел грек Паисий Лигарид; на длинных черных волосах грека черная скуфья монаха; левый глаз его щурился; правый глядел в какую-то книгу старинную писаную, разложенную у Лигарида на тощих, выдвинутых вперед коленях. Грек, щурясь, не подымая головы, уставился на подножие царского трона и, будто считая на красном фоне нарисованных серебряных слонов, тихим незлобивым голосом начал, минуя заявление Славинецкого:

– Братие, отцы духовные... великие и малые иереи, страждущие за святую вселенскую церковь и пасущие ю от зол растления... Царь, всея Руси самодержец, великий православный государь, позвал нас, и не праздно подобает нам быти на сем соборе... мы не судить пришли сюда бывшего патриарха Никона...

– И сущего до днесь, отец Паисий! – вставил Славинецкий. Лигарид продолжал, минуя слова Епифания:

– Бывшего патриарха! Ибо покинувший в храме ризы своя – калугер ли простой или архиерей не зовутся саном церковника, а беглецы суть, расстриги! – не судить пришли мы, но обсудить деяния того, кто покинул храм, будучи великим иереем. Добро ли содеял сей пастырь или же зло посеял велие, искушая верующих своим лжесмирением? Мы будем вопрошать семо и овамо и все утвердим по знамению его дел...

Епифаний хотел возразить и не посмел, потому что царь сказал:

– Да будет так, отец Паисий!

– Отцы и братие, смиренные иереи! Вот они, законы святых отец... – ткнул грек пальцами руки в книгу, – в них строгое осуждение епископу, ежели он покинет свою паству в страхе от глада, мора, пожара или смерти от руки неприятеля... Что же угрожало бывшему патриарху, пошто тек он из храма, не свестясь даже с главой всея Руси, великим государем, главой всего народа и воинства его? Гордость велия заставила патриарха покинуть ризы своя и течи вну! Можно ли сие?

– Нет!

– Нет! – раздалась голоса.

– Великий грех иерею покинуть в храме ризы своя!

– «Великий грех!» – ответствуете вы, и я утверждаю – великий грех! Никон же содеял грех горше того: он велиим глаголом всенародно отрыгнул хулу на свой сан и на святую церковь: «Яко пес на свою блевотину не возвращается, тако и я – да буду проклят, ежели

---

<sup>209</sup> Епифаний Славинецкий – киевский епископ, вызванный в Москву для перевода греческих богослужебных книг; один из главных помощников Никона в проведении реформы.

вернусь вспять!»

Все молчали. Царь охнул громко и закрыл глаза. Лигарид, щурясь незлобиво и вкрадчиво, продолжал:

– И еще вопрошу я вас, смиренные иереи. Никон, ведая, как ведаете и вы, запрещение поучительное праведных старцев, подобных Нилию Сорскому<sup>210</sup>, рекомое некоему калугеру-чернцу: «не блазниться мирскими благами, а служить господу богу и сребролюбие, и объядение, и прелюбодеяние отметати...» Так вопрошу я вас, не подобен ли патриарх великому постнику и молельщику и заступнику сирых?

– Истинно подобает быти таковому!

– Узрим ныне, Никон подобное ли смиренному калугеру житие имел? Нет и нет! Он имал многое богатство, он роскошествовал и упивался вином, уядался брашном обильным.

– То идет издревле, отец! Брашно патриарху и великий государь жаловал! – вставил Епифаний.

– Того брашна не можно избыть! То ведаю и что великий государь от стола своего жаловал, Никона за то не осуждаю... Ведаю и вам вместе, что имал он свое роскошное брашно и одеяние, не сравнимое с иными патриархами, и палаты возвел свои превышне государевых чертогов, а потому, не смирясь и не угождая богу, угождая лишь Мамоне и, страшно речи, теща Вельзевула, царя тьмы, мог ли патриарх праведно пасти свою духовную паству? Нет, не мог! И еще, вопрошая, будем идти стезею Никона, бывшего патриарха. Позрите, братие смиренные иереи: патриарх, истинный страж христов, избирает по завету святых отец путь калугера-чернца, а Никон шествует как царь и своевольно чинит и избирает в служители себе бельцов! Ведомо всем, что диакон его Иван не стрижен... По правилам святых отец, патриарху быти должен слугою протосингел, яко да наследует престол патриарший и престол тот пуст не живет! А весте вам, братие, отцы духовные, у Никона же в келье его и сингела чином не бывало. За бельцом-диаконом патриарху мирянин служит, отрок, изъятый им из Иверской киновии, да мало сего – из тюрьмы монастырской изведен тот отрок, и, сличая слова иверских старцев, был он смирен колодками за святотатство! Старца Суханова<sup>211</sup> Никон извел тоже из тюрьмы Соловецкой, устроил его справщиком книг богослужбных; старец же тот великое шатание в вере имел и судим был за латинство... Это ли не соблазн русскому народу? Покидая престол великого иерея, ругаясь святыне церковной, уподобляя ее песьей блевотине, ведь такое впусе речи страшно; себя, великого иерея, за поругание чина коего секут главу всякому мирянину, он обозвал псом, – с чем сие можно сравнить? Только едино равнение есть – гордость превыше Вельзевуловой!

Царь стукнул кованым посохом в подножие трона; подымая с помощью бояр с сиденья тучное тело, почти простонал:

– Не... не могу боле!

– Великий государь! – сказал Хитрово, – есть грамотка, перенятая от Никона...

– Кому слана?

– Боярину грамотка, Никите Зюзину... —

– Пожду, пусть чтут ее... Царь снова сел.

Милославский молча поклонился царю и, тихо ступая, ушел из Грановитой. Царь проводил его глазами.

Лигарид, как бы изучая подножие трона, головы не поднял и голоса не повысил, но продолжал:

– Отцы, смиренные иереи! Мирские блага вознесли бывшего патриарха высоко, и

---

<sup>210</sup> *Нил Сорский* (в миру Николай Майков, 1433—1508) – русский церковный и общественный деятель, глава заволжских старцев – «нестяжателей», выступавших против церковного землевладения; основатель пустыни (монастыря) на Соре, недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря.

<sup>211</sup> *Старец Арсений Суханов* – монах, затем игумен, по поручению Никона дважды ездил в Грецию для приобретения древних рукописей; Рукописи, привезенные им, послужили материалом для церковной реформы.

возомнил он себя превыше царей, государей! Взгляните на облачения его и узрите: смиренные отцы церкви на мантии своей в скрижалях имут херувима, у Никона же – архангел с мечом!

На эпигонатии бывшего патриарха обрящете крест и меч, у смиренных же иереев на эпигонатии, рекомой по-словенскому «набедренник», – едина лишь звезда, символ волхвов, взыскуемых господ. Итак, Никон во всем воин, но не за церковь, ибо он ее попрад, всенародно изрыгнув устами смрадными хулу на святая святых!...

Подошел Милославский с дьяком. Царь вскинул глаза на дьяка, сказал:

– Чти!

Дьяк поклонился, неслышно переступил с ноги на ногу, негромко, бойко читал:

– «И пишу тебе, боярин Никита, то, что говорил и скажу завсе:

Не от царей приемлется начало священства, но от священства на царство помазуются. Священство выше царства.

Не давал нам царь прав, а похитил наши права, утвердив окаянное «Уложение»; царь церковью силой обладает, священными вещами богатится, весь священный чин ему работает, оброки дает, воюет... Царь завладел церковными сулами и пошлинами! Господь двум светилам светить повелел – солнцу и луне, и через них показал нам власть архиерейскую и царскую. Архиерейская власть сияет днем, власть эта над душами человеков; царская власть тлену подобна: она в вещах мира сего...»

Царь, подымаясь, прибавил:

– Нелегко ему будет, когда зачнем властью считаться... Как отпоют службу в церкви, тогда прошу весь собор и вас, бояре, в столовую избу к трапезе. А где же князь Семен?

– Здесь я, великий государь! – У дверей с лавки поднялся Стрешнев.

– Будь с нами у трапезы! Отец Лигарид поведает нам остатошное, а ты доведешь всем твои вопросы, приготовленные Никону...

– Слышу, великий государь!

Бояре, потев в своих теплых охабнях и шубах, не надевая горлатных шапок, стуча посохами, вышли на Красное крыльцо. Вечер ясный. Прохладно; грязь, густо покрывавшая Кремль, замерзла, стучала под копытами подводимых боярам коней. Лужи затянуло вечерним холодом; они, будто розовые зеркала на темном фоне, сверкали, осыпанные золотом вечернего солнца. Первые сторожевые стуки начинали вторить бою новых башенных часов.

В разных концах Москвы звонили к вечерне разным звоном. Бояре крестились.

Грек Лигарид быстро исчез. Ему было не по себе – хотелось услужить царю и боярам, а еще недавно он искал милости у Никона, всячески восхвалял его твердость, многоумие и щедрость.

## Глава II. Облепихин двор

Обширный двор – на версту с юго-востока поближе Земляного вала и от Яузы подале большого кабака, который, в отличие от кружечных, звался Старый кабак. За Облепихиным двором, в сторону Земляного вала – лесок, а в леску хатка Облепихиной сестры, колдовки Фимки. Оттого с той стороны было много тропок и пролазов сквозь старый тын – там многие стрельцы ночью и ходить боялись: «А ну как, по слову Облепихи, Фимка-баальница обернет волком». Облепиха – старуха рослая, седые космы зимой и летом прятала под старый грязный плат, а на сарафане у ней было нашито цветных тряпок, коим числа не было, – Облепиха цветные тряпки подбирала везде, где можно было, когда же ее сарафан запестрел сплошь, она лоскутья нашивала и на кафтан сермяжный.

На дворе Облепихи много изб и избушек, иные почти вровень с землей, а нищие жили в тех избах охотнее, чем в высоких. Изредка к Облепихе заезжал объезжий с приказчиками решеточными Земского двора и со стрельцами, все конно и оружно. Объезжий, морща синий нос на багровом лице, нюхал воздух боль: шой избы, где жила в прирубке сама Облепиха,



кричал и ногой топал:

– Эй, Катька! Облепила чертова, не прикрываешь ли кого лихих?!

Облепила выходила в своем пестром наряде, кланялась земно, как царю:

– Нищий двор, дядюшко, нищий... божьих людей пригреваю, за душу мою грешную они бога молют... Для спасенья души живу и людей спасенных держу!

– Надо бы этих спасенных твоих сынов собачьих перетряхнуть с сумами, кошельми. А ну! Попадало бы из них хищенное на торгах!

Облепила, сколь можно скоро, брела в свой прируб, приносила медную ендову с водкой, деревянную малую чашку, холку говяжьё, пряженную с чесноком, рушник ряднины белой, кланялась:

– Откушай, родной! Себе держу, не для торгу... Божьих людей пошто те забижать? Имутся богатеи лихи да татливы, с тех и бери, грабай – твоя власть!

Объезжий пил, кричал громко. Переведа дух, говорил сипло:

– Извоняла избу худче свиного стойла, вонью, того гляди, с ног собьет!

– Худой дух – человек протух! Для че такое? А стар, убог, руки не владеют паршу оскрести...

– Ну, сатана тебя прободи! Лихих людей примать бойся.

– Место мое божье – разбойнику с нами тесно и боязно! Грузного объезжего стрельцы втаскивали на лошадь, и дозор уезжал.

Облепила крестилась на черный образ большого угла:

– Пронесло глас грозный, зрак подзорный...

Поздно ночью иногда, оглядываясь по углам и подлавочью, в избу залезали гулящие люди, как слепцы, не широко, а один за одним прячась, спрашивали негромко:

– Можно, бабка Катеринка?

– Должно, да не лапотному... сыну боярскому.

Садилась за тот же большой стол среди избы, за которым угощался объезжий, и на ту же старую скамью.

– Невидаль, корову доила... боярской сын? Да мы сплошь князя Шемяки! – И сыпали на стол серебряные копейки.

– Давай хмельного!

– Не место вам, удалы головы, тут! Подьте к тыну, в крайнюю избу, там дадут чего жаждете... К тыну и к Фимке ближе.

– По первой ту разоьем! Другую пить зачем, где укажешь. Облепила давала лихим пить по первой, по второй, а за третьей не шла, говорила:

– Имя у кого из вас есте?

– Зовут зовуткой – у надолбы будкой!

– Тебе пошто?

– По имени буду звать, по изотчеству величать...

– Много гуляли, где родились, потеряли... – шутил атаман. – Сказывали мне, што мимо избы черт попа нес... деньги у родителя забрал, меня же водой облил да Фомой звал.

– Ну, вот и ладно, Фомушка! А у меня сестрица Фимушка, хорошо слывет и недально живет! Скрозь тын пролезете, и под ножки – дорожка!

– Слышь, бабка!

– Чую...

– Хищенное укроешь?

– Место чисто мое... Из веков божьим людям приют да уговор, чтоб хищением не промышляли; кой попадетя с таким делом, у меня ему нет места, – иди к Фимке!

– Вот несговорная! Должно, к Фимушке и идти нам?

– К ей самой! Да скажите, от меня пришли... Не впервой чую вас – глазами тупа, по духу гадаю...

– Ай кровь на нас почуяла?

– Подьте! Знаю, от кого и чем смородит.

Иногда, подвыпив, лихие упрямылись. Тогда, понизив голос до шепота, спрашивала: «Вы младени? Ай молочшие?» – «Женить пора – молочшие!» – «Так вот, женишки! Чуйте, сват в гости будет – объезжий с решеточными головами... То не лгу вам – знаю доподлинно...» Лихие тревожно и быстро вскакивали с криком: «Гайда, ребята, к Фимке!...» – и исчезали.

Облепиха по уходе опасных гостей сгребала в карман серебряные деньги, она знала всегда, что лихие за питье и тепло платят лучше других, что не только себя, а и расход на объезжего оплатят... Она сдирала с головы свой теплый плат, ее лицо с припухшими веками узеньких глаз делалось довольным, блаженным. Запустив крючковатые пальцы с черными ногтями в седые космы, скребла их и ворошила с ворчанием:

– Нешто к дождю вы расходились, кровопивцы кусачие?

Три с половиной года в избушках Облепихи на дворе спасались Сенька с Таисием, – нищие были покрывкой их скитанию. Сыщики Никона закинули розыск по ним, а самому Никону было теперь не до мелочей, да и отходчив был патриарх, ежели не раскольники. Сгоряча попал на глаза – замучит, огнем сожжет, изломает на пытке... Не попал, прожил невидимо в стороне от его гнева, не бойся – иди смело на патриарший двор и работай, – в лицо не глянет и не спросит: «Кто ты таков?»

Нищие знали Москву по звону: звонят торжественно из Кремля – царь едет на богомолье. Москва звонила заунывно и длительно, с оттяжкой – умер митрополит. Иногда звонила празднично, весело, и ревнителю старой веры роптали, вторя протопопу Аввакуму: «Звонят к церковному пению дрянью! Аки на пожар гонят или всполох бьют...» Но пожар – всполох – нищие различали, к тому звону не прислушивались, а на остальные звоны шли, так как богомольцев много было, да и царские выезды нищих привлекали, всегда им раздавались деньги. Особенно любили выезды царицы.

Сенька и Улька жили в особой избе. Облепиха так указала:

– Не честно живут – без венца... Но придет пора, перевенчаютца, особливо, коли у них дитё заплачет...

Улька украсила свою кровать запонами кумачовыми и на окошках запоны повесила, да окошки, ежели их не отодвигать, и завешивать не надо было. В курной избе через день мыла стены вплоть до воронца и лавки мыла.

Таисий неохотно к ним заходил. Улька замечала, что ее возлюбленный слушает во всем Таисия, а ее, Ульку, не очень и не бьет даже мало, а не бьет – то уж известно... худо любит!<sup>212</sup>

Таисий, поучая Сеньку, делясь с ним своими замыслами, неприятно замечал, что Улька, которой в избе не было, – вдруг появлялась: то из-за кроватной запоны выскользнет, то из угла темного.

Однажды, когда Ульки не было, Таисий сказал:

– Угнал бы ты, Семен, свою девку! Чую я – не добро с ней... подглядывает, слушает тайно от нас, а нам лишнее ухо и глаза – ворог лютый... Лишний человек о нашем пути вольных людей ведать не должен...

– Ништо... угоню, как придет время...

– Не знаешь ты бабы! Бесновато любит она тебя...

– Ништо! Говорю тебе-против нас не пойдет... разум у ней есть!

– Ты не смыслишь, что разжег ее до бешеного огня юродивых... воззрись: морщины у рта обозначились, как ножом врезаны, глаза порой горят, и в них такой огонь! Ну, такой, как будто у юрода Федьки, что, по царскому указу, на цепи сидел за то, что поймали с Аввакумовым письмом. Тот Федько голым гузном в горячей печи сидел и крошки ел хлебные... Гляди, она такая же, в огонь сядет ради любви... Она боится, чуёт – уведу тебя, как с Коломны увел...

---

<sup>212</sup> Русские женщины XVII века так всегда различали любовь мужа.

Они сидели и пили табак, крепкого вина выпили по стопке большой. Кругом на столе горели сальные свечи. Повеяло ветром, кто-то махнул на огонь, свечи упали, погасли. Упала скамья, стукнул рог с табаком, Таисий ударился затылком о пол, хрипел:

– Стой, черт! Стой! Семен, меня душит...

Не заметив, как исчез огонь, Сенька сидел задумавшись, упершись локтями в стол. На голос друга очнулся:

– Где ты? Что такое?

– Ду-у-шит!

Сенька припал к полу, в темноте поймал распущенные волосы женщины, тряхнул – щелкнули зубы.

– Сеня-а... пусти...

– А, так это ты, сука? Ты? Ты?

– Сеня-а...

Таисий встал, нащупал оброненную одну из свечей, высек огня, прилепил к столу. Сенька сидел на своей скамье, держал Ульку одной рукой за волосы, в другой был зажат рог – он пил табак.

– Сеня, пусти!

– Не выпущу, ежели Таисий не простит. Проси прощения – кланяйся ему. – Он приподнял за волосы Улькину голову, хотел нагнуть к полу.

– Спусти, Семен! Не надо поклонов, от них злоба пуще.

– Я ее задавлю, как собаку, и шкуру на крышу загалю, а нутро вытряхну, ежели ползет к нам со словами ли дурными или дракой.

Улька исчезла.

Из енды, стоявшей посредине стола, друзья еще зачерпнули по стопке вина – выпили и вышли за ворота двора Облепихи отдышаться. Шла весна, была гололедица. В вышине яркие звезды и месяц-новец. Перед друзьями лежала пустынная улица, огороженная тыном. Тын местами повалился, белели, поблескивая, огороды в стороне за оброненным тыном. Сыпалась дальняя дробь колотушек сторожевых, с воздуха наносило запахом холодной гари угасшего пожара. К ближней колоде из двойных бревен, поперек загородивших улицу, двигалась черная телега Земского двора. За ней шли, поблескивая топорами на плечах, рослые ребята – палачи, передний выше всех. Палачи были в цветных кафтанах – кто в черном, иной в синем, а передний в красном. Телега, запряженная в одну лошадь, тащила в Земский приказ<sup>213</sup> ремни, дыбные хомуты, на вязках веревочных низанные, цепи и кнуты.

– Калачи да ожерелья для нас волокут! – сказал Таисий. Сенька молчал, разглядывал мрачное шествие. Телега, стуча колесами на выбоинах, остановилась у поперечной колоды, из-за надолбы с будкой вышел сторож с фонарем, за ним другой, решеточный. Передний палач в красном кафтане достал из-за пазухи проходной лист<sup>214</sup>. Говор доносился смутно, слов было не разобрать...

Следом за проехавшей телегой Земского двора протащился на тележке поп волосатый, весь черный, в черной высокой шапке.

Решеточные сторожа попа без листа пропустили, кланяясь.

– Зришь ли? – спросил Таисий.

– Поп! – сказал Сенька.

– Поп, оно-таки поп! А ежели и нам когда потребно?

– При нужде оболочись попом?

– Смекай! Можно сторожей проехать. Эх, Семен! Надо нам иное место прибрать...

– А здесья чего?

---

<sup>213</sup> *Земский приказ* – ведал Московским посадом и некоторыми другими городами.

<sup>214</sup> *Проходной лист* – пропуск.

- Опасно... Будет ежели бунт и нам идтить заводчиками, а за нами глаз!
- Улькин глаз не помеха.
- А чуется мне – разведет она вконец!
- Едина лишь смерть разведет нас...
- Ну, спать, Семен!
- Идем.

Вернулись молча. Сенька – в свою избенку, Таисий, рядом, в другую. Он никому не доверял – жил одиноко.

В низкую дверь Сенька пролез медленно, сгибаясь, задел спиной стойку – берег голову. Не пошел на кровать, сел на скамью к столу, где еще недавно сидел Таисий. В углу моталась белая тень женщины, тонкой и гибкой, желтели распущенные волосы от света восковой свечи. Сенька слышал шепот: «Спаси-сохрани! Спаси, спасе, Семена, раба, Ульяну, рабу грешную, непокаянную, злую рабу твою, прости господи...»

Сенька, сняв шапку, кинул на стол. Она, помолившись, отошла, встала к окну лицом. Одно оконце в избу было раскрыто – ставень вдвинут в стену.

Сенька молчал, он заправил рог, высек огня на трут и пил табак. Рог булькал, легонько посвистывала трубка. Она повернулась от окна, взглянула на него, склонила низко голову и стукнула коленями о пол:

– Семен!...

Сенька молча пил табак.

– Сеня! Не ответил.

– Семенушко!...

В ответ ей легонько булькала вода в роге, посвистывала, пылая, трубка вверху его.

– Убей меня – краше будет. Скажи словечко... Сенька вынул рог:

– Скажу... чуй!

– Чую, Сенюшко...

– Меня забудь, ежели будешь ненавидеть Таисия...

– Ой, убила бы его, разлучника!

– Пошто сказываешь про любовь?

– Люблю тебя пуще живота! Пуще солнышка света...

– Так знай, малоумная! – Он понизил голос, снова набивая рог. – Таисий – это я!

– Нет, нет! Он змий!

– Только я еще не тот – он... Я тот, кого любишь ты... ненавидишь того, кем я хочу быть! Замест любви, о коей сказываешь мне, меня же ненавидишь?

– Нет, нет, нет! Сеня, он не ты, – он злой, хитрой, как сатана. Я чую – не умею вымолвить... чую его...

– Тогда вот! Завтре и я уйду от тебя...

– Сеня, Сеня! Солнышко, не уходи! Я буду и его любить... Прощу все... все! Никогда отнюдь не скажу ему худа слова и думать зачну, как учишь, что он – это ты!

– Вот так, помни! Когда ты меня знаешь и его почитаешь, как меня, – тогда мир и любовь... Только тогда, не забудь!

– Побей меня! Стану знать, что любишь... /

– Жидка ты! Кого мне бить! Запри окно, будем спать.

– Побей!

– Ни единого слова! Окошко...

– Ох, не любишь ты меня!

Сегодня Таисий весь день слушал да высматривал по Москве. Солнце перешло к западу, когда он вернулся и зашел к Сеньке. Боясь Ульки, увел его в свою избушку, запер двери сеней на замет железный, а в избе двери подпер.

Сел к столу, приятеля посадил на скамью против себя, на столе горела свеча. Таисий, заправив рог, стал пить табак. Сенька ждал, когда его друг высосет сквозь воду свою трубку.

– Пей табак! Сказка длинная будет... Много довольно нам, Семен, на дворе нищих

жить! Сметать надо животы спасти... Неделя, а може и боле – придет по писцовым книгам<sup>215</sup> опись к нам... будет проверка всех черных людей на обложение. С поляками войну царь кончил, послы едут, а чуется иная война, свейская<sup>216</sup>. На польскую народ разорен до корня, на свейскую войну деньги тоже надо царю, – шкуру продай, да собери деньги! Будут облагать каждую голову. До переписных книг нам жить здесь нельзя... Кем назовемся?

– Нищими! – сказал Сенька.

– Добро бы так, а они глядят на нас волчьим зраком – «дескать, мало с ватагой о барышах радеете». Шепнут дьяку, объезжему да решеточным головам: «Они-де не наши!»

– Не посмеют! Ты атаман. – Сенька тряхнул кудрями. За время скитания он вырастил каштановые кудри до плеч, отросла курчавая, того же цвета, борода, тонкий нос с горбинкой как бы удлинился. – Не посмеют, сказываю тебе! – Сенька сжал тяжелые кулаки.

Таисий, ероша острую, клином, шелковистую бороду, выпучил насмешливо глаза на друга, передвинулся на скамье, сказал:

– Не знаешь? А я кое-что приметил за старцами – они, думно мне, ждут дня предать нас... Плюнем на них, я лучше прочту, что писал Никон! – и вынул из зепи рядных штанов письмо:

«...Ведомо, что собор был не по воли, – боязни ради и междоусобия от всех черных людей, а не истинные правды ради...»

Зришь ли... все и всегда боятся междоусобия... Только в этом письме Никон бодает царя с одного боку: тычет в «Уложение», а дальше пишет касаемо нас: «Ныне неведомо, кто не постится, во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего, и нет никого, кто– был бы не обложен и помилован; нищие, маломочные, слепые, хромые, вдовицы, черницы и чернцы – все обложены тяжкими даями. Нет никого веселящегося в наши дни!»

– Теперь понимаешь?

– А што с нас взять?

– Сыщут, что взять! Пуще обложения бойся их глаза, – тяглец всегда на глазах подьячего, нам же от их зрака бежать надо!

– Тогда уйдем к тому же Никону... Злоба его на меня, поди, минула? Отходчив – знаю... или здесь останемся... Сам ты сказывал– «нищие запона наша»... Три года с полугодом живем и ходим, где удумаем...

– К Никону не ход! Почему? Да тому, что сам он изгнан, бояре его съедают, злят ежедневно, а он пылит. Горел огонь – нынче погас!

– Куда же идти нам?

– Куда? После подумаем.

Сенька шумно вздохнул, выдохнул дым из богатырской груди. Огонь свечи мотнулся по сумрачным стенам древней избенки, по лавкам зашевелились черные тени. Огонь, припавший, разгорелся ярко, сверкнул шестопер на вешалке в углу, Сенька заметил его блеск, сказал:

– Эх, без дела ты висишь сколь годов!

– Это ты про шестопер? Ха, погоди мало, сыщется ему работа! Война со свейцем будет – уж датошных сбирают, а народ гол, по лесам бежит, быть бунту! Чуй дале: слух есть, что бояра царю в уши дуют – сменить серебряные деньги на медные. Ведомо, что серебра своего у нас нет, я то знал еще, когда в приказах сидел, – серебро привозное. Нынче из-за войны немчины и англичана серебра к нам не везут. Слух про медь не ложной – иные уж зачали

---

<sup>215</sup> *Писцовые книги* – содержали данные переписи населения, земель, имущества; в XVI–XVII вв. составлялись через каждые двадцать – тридцать лет по всему государству.

<sup>216</sup> *Война свейская*. – В 1656 г. Россия заключила в Вильно перемирие с Польшей и начала войну со Швецией, которая длилась до 1658 г. Автор ошибочно относит ко времени начала войны уход Никона с патриаршеского престола.

серебро прятать, – чуешь теперь, откуда изойдет бунт?

Медлительный и тяжелый Сенька только налег на стол, затрещал столешник. Молчал.

– Гиль зачнется тогда, когда станут замест серебра платить медью. Купцы хлеб, товары попрячут, а там голод.

– Смекнул такое... Не домекнул, куда пойдём и где жить будем не голодно, а пуще не опознанно?

– Вот что удумал я. Надо нам к ватаге опять пододти... постоять, поклоняться у церкви Зачатия Анны-пророчицы... там у стены Китай-города близ Никольских ворот, что на Лубянку...

– Улька манила к той церкви – знаю! Она там стоит, а оттуда все едино спать идти к Облепихе.

– Я по-иному замыслил – слушай! Спать будем мы в Кремле, в хоромах боярыни Морозовой... бывает ежедневно там... Уродов да нищих ходит за ней толпа, иные и живут у ей... тебя опять безъязыким, как на Коломне, нарядим, обвесим веригами с крестами, – не бойсь, умилится... Я же стихиры зачну гнусить и ее убайкою... Только Ульки твоей боюсь! Она везде поперечка...

– Не посмеет! А ну, коли так!

– В боярских дворах переписи не будет. У боярыни Федосьи еще и боярин Глеб недужит, сказывают – худо бродит, больше лежит да сам с собой о том, о сем судит. Оттуда, може, наладится ход к царю... Известно, что Киприяна-раскольника водили туда – царь звал о старой вере говорить... Было бы ладно, кабы нам пробратца – убить царя, и народ бы ожил...

Давно отзвонили, после вечерни стали на двор собираться нищие. Таисий сказал:

– Поди к себе! Улька не должна знать, что ты у меня сидишь.

Уходя, Сенька заметил Таисию:

– Пили табак, дыму нагнали, а все же у тебя мышами пахнет, я бы не мог тут спать!

Таисий, выпроваживая друга сенцами с гнилым полом, снимая с дверей замет, ответил:

– Семен! Злой женкин глаз и ревность хуже мышей!

– Сам сосватал на Коломне... Я не хотел, а теперь обык – тепло с ней, мягко...

– Не чаял, что охомукает тебя женка! От мяготи той – помнишь, в Иверском чли сказание? Самсон от Далилы погиб!

– Ништо, друг! Расхомутаюсь...

По-великолепному протяжно звонят по всей Москве колокола. На солнце лужи, в тенях синеющая от синего неба гололедица.

Ближнему колокольному звону крестясь, стороной улицы бредет толпа. По середине улицы, провожаемая широко шагающими стрельцами с бердышами на плечах, идет кучка тюремных сидельцев, оборванных, полубосых, закованных по рукам в кандалы. Ножные колодки оставлены в тюрьме.

Из пестро раскрашенных деревянных церквей слышится унылый напев великопостных молитв.

А вот церковка каменная с луковицами большими куполов. Купола прилепились к боченочным шейкам с кокошниками по верхнему карнизу. Из нее, от тесноты молящихся, открыта дверь с паперти, на улицу валит густой пар.

Косясь на церковку, тюремные сидельцы приостановились, хотели креститься, но руки скованы, и, только обернувшись, поклонились наддверному образу:

– Спаси, спасе! – сказали иные. Стрельцы, покрестясь, приказали:

– Иди, робята! Вечереет...

Шлепая по лужам босыми и лапотными шагами, колодники двинулись вперед, запели:

Я поеду в дом свой, побываю,  
И много у меня в дому житья-бытья,  
Много злата и серебра:

Я расточу свою казну  
По церквам, монастырям  
И по нищие братие,  
Хочу своей душе пользы получитьи  
На втором суду, по пришествий...

Взлохмачены волосы, заросли бородами, усами лица колодников. В дыры их открытых ртов прохожие, крестясь, суют монеты, а в распахнутые ворота рваных рубах с запояской и кафтанов рядных – пихают хлеб и калачи.

Угрюмые лица кивают дающим, плюют за пазуху деньги и медленно проходят с новым пением:

И за то господь бог на них прогневался,  
Положил их в напасти великие...

Встречные, останавливаясь, крестятся, иные говорят в толпе:

- Откупились бы, кабы в дому было житья-бытья да златасеребра!
- Кинут в тюрьму – за дело ай нет, – а сиди да голодай!
- Вишь, доброй досмотрщик! Для велика поста собирать пустил!
- Доброй? Их доброта ведома – соберут много, да получают мало!
- И то хлеб! Не всяк пускает.

Улица, отсвечивая мутно слюдяными окнами, поблескивая крышами низких, темных, а то и новых, пахнувших смолой древесной домов, загибает в сторону и идет под гору.

Из-за поворота навстречу колодникам двое стрельцов за концы веревки, привязанной к кушаку по крашенинным порткам, ведут человека, без рубахи, с черным крестом на шее. За ним, сажень отступя, сзади шагает палач в светлом кафтане, забрызганном кровью. Правый рукав его засучен, в руке плеть. Палач время от времени бьет ведомого стрельцами по спине. От удара человек охает, подпрыгивает вперед, но стрельцы держат концы веревки и не дают скоро идти. Портки битого расстегнуты, и если б не кушак на пояснице, они бы съехали. Его спина в крови, в рубцах, синяя от холода и побоев.

Новая толпа встречных битого провожает:

- Пил, вишь, да пьяный валялся!
- Не выждал первой недели поста!
- То и оно! Патриарх указ дал не пить в первую неделю-у! Слышится особый, злой голос:

- Никон закон тот с Новугорода вывез!
- Эй, вы! О патриархах закиньте брусить, – уши ходют!
- Правду молым!
- Не всякую правду кажи!
- Ништо им! Вишь, тетка Улита давно по заду не бита!
- Не бойсь, робята-а! С правдой вам и в застенке добро! С этой толпой бредут Таисий с Сенькой. Сенька на ухо сказал другу:
  - Шестопер ты вернул, а я его с собой несу...
  - Ну так что?
  - Глядеть жаль! А ну, как размахая я палача до мяса? Стрельцы ускочат, а схватятся – и им тоже...

– Паси себя на дело! За горюна не добро вязаться. Нынче отобьешь, он завтра пьяной ляжет – дивлю тебе много!

– Не велишь? Пожду...

Толпа стала гуще, из церкви пошел народ, – у кого в руках свечи, у иных просфоры.

Колокольный звон замолк, стало сумрачно внизу улицы. На высоких куполах кое-где, как угли тускнея, тлели клочки заката.

- Пора, брат, на Облепихин двор!
- А нет, Семен, – проберемся мы к Конону в Бронную слободу – спать у него.
- Шагай! Кажи путь.
- Седни твоя Улька в ночь изгрызет подушку.
- Ништо! Спешу, решетки задвинут.
- Конон – мой дружок! Скорбен и языком и слухом, а мастер такой – у немцев

поискать...

- Што робит?
- Кольчуги да бехтерцы... У него я свои деньги хороню...

Из узких окошек веяло утренним холодком. Курная изба мрачна и обширна. Звонили заунывно, постно. Очень далеко громыхнула пушка, – видимо, делали пробу новоотлитой.

Сенька проснулся на земляном полу, скинул к ногам кафтан; подстилка – тонкий матрац – за ночь под ним скрутилась, но земля была теплая, сухая. Он проснулся не от холода и пушечного боя, а от свистящего шипа. Жмурясь на огонь нескольких свечей, поставленных на полу в шандалах, не сразу понял, что блестит в сумраке и что шипит: глухонемой оружейник, бронник Конон, стоял на коленях перед точилом с колодой, врытой в земляной пол. Одной рукой он вертел ручку круглого бруса, в другой руке держал на точиле саблю. В пылающем воздухе от огня, колеблемого движением мастера, сумрачные стены закопченной избы то уходили вглубь, то выдвигались, сверкая кольчугами и бехтерцами; особенно ярко сверкали золоченые пластинки бехтерцев. Расправив кудри, Сенька поднялся, сел, хотел сказать что-то, вспомнил: скорбен слухом,

Таисий тоже поднялся.

Немой кивнул им головой, сверкнув отточенной саблей в угол на большой стол. Кончив вертеть точило, щупая острие сабли, воткнул ее в землю. Показал рукой в рот, запрокинул голову, играя кадыком. Поправив ремешок на волосах, погладив темную бороду, пошел к шкапу, что висел над столом у стены, а им махнул в сени, всплеснув ладонями.

Таисий с Сенькой умылись в сенях с земляным полом, таким же, как в избе, гладко утрамбованным. Под большим медным рукомойником ведра не было – вода уходила в землю. Утершись холщовым рушником, вернулись в избу. Хозяин за их отсутствие поставил на стол большой деревянный жбан с пивом, деревянное широкое блюдо с вареной говядиной, холодной, посыпанной мелко резанным луком. Покрестился на стену без образа, поднял легко, как пустую кружку, жбан с пивом, налил, не уронив капли, в три деревянные резные чашки, покивал гостям головой, выпил пиво, принялся есть.

Сенька с Таисием тоже. Хлеб хозяин резал узким ножом, резал так ловко и такими тонкими ломтями, что Сеньке показалось, будто хлеб был давно нарезан, а хозяин только шутит, играя ножом.

Когда наелись, достаточно опорожнив жбан, Конон стал им на своем языке глухонемых что-то объяснять. Он щелкал языком, качал головой, шлепал себя по одной ноге, потом по руке. После всего вскочил, схватив себя за ту же ногу, и, как бы подняв ее, поднес к стене и делал вид, что приколачивает...

Сенька, не понимая, пучил глаза. Таисий, поняв как будто, объяснил ему:

- Кому-то ногу да руку отсекали, к стене прибили отсеченное...
- Вот... а мне непонятно!

После всех ужимок и непонятных движений Конон принес из угла кусок желтой меди. Повернул ее, плюнул и, кинув медь в тот же угол, откуда взял, распахнул дверь избы. Ворота тоже были широко открыты. Улица светилась ранним солнцем, поблескивала гонимая ветром пыль ледяная.

Видимо, зная двор Конона-бронника, против его двора на улице остановился бирюч. Бирюч пробил в барабан, чтоб слушали его, громко прокричал:

– Народ московский! Всяк, имущий на дворе своем и в кузне желтую медь али таковые ж медяные горшки и слитки, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси самодержца, указу понужден будет и будет известен о том – сдать без замотчанья



таковую медь и суды медяные на государев Деловой двор, и впредь бы меди и медяных суд во дворех и избех не держати и меди не покупати, а кои купят ли, утаят медь, и им быти от великого государя в жестокой казни! Бирюч прошел. Таисий сказал Сеньке:

– Уразумел ли то, как я говорил?

– Уразумел... и Конона теперь понимаю: кто не сдал медь – руки-ноги секут.

– Вот так! Теперь поглядим мои сокровища.

Таисий ткнул Конону рукой за дверь в сени, а также жестами показал ему, что нужен огонь. Бронник тряхнул головой, поправив ремешок на волосах, пошел впереди друзей в сени, взял со стены слюдяной фонарь, вернулся в избу к маленькому горну, разведенному посреди избы, зажег фонарь и, обогнав друзей, прошел в глубь длинного коридора. Коридор в самом конце был выстлан коротким полом, на нем, на козлах с колодой внизу, стояло многопудовое точило. Конон передал Таисию фонарь, понатужившись, сдвинул точило к стене, колоду приставил стоймя к козлам, откинул за крюк вместо кольца длинную половинку ставня в полу, там открылись ступени вниз, в темноту. Пахнуло затхлым холодом.

Таисий с Сенькой опустились глубоко под избу в коридор, вырытый в земле и выложенный кирпичом по стенам, полу и потолку.

– Изба может сгореть, а это место будет цело!

– Да, Таисий! Москва-таки часто горит... Шли мимо кованых сундуков, дубовых и прочных, прошли довольно. В нише на выступе кирпичном в виде скамьи Таисий открыл небольшой сундук без замка.

– Гляди!

Сенька нагнулся – засверкали лалы, изумруды и жемчуг крупный. Сверху лежала цата богородична из Иверского, срезанная Таисием с пядницы в ночь пожара, устроенного Сенькой.

– Хо! Вот оно, наше прошлое... За эту цату меня старцы тогда в яму посадили... – посмеялся Сенька.

Таисий улыбнулся в ус; перебирая золото, серебро, жемчуга и камни драгоценные, ответил:

– Не ровен час – сгину я, тебе мое наследство на бунты и гиль ради дела, которого для мне голову ронить не жаль! И ты ее не жалеяй – голову, но только дела для... Не вяжись к пустому против того, как вчера пьянчужку пожалел... Также упомни: гинет ежели народное дело, и поправить не можно его, люди перебиты, или расскочились, – и ты до конца там не живи. Иди дале – в ином дело найдется, голова твоя и руки гожи будут...

– Упомню и послушаю тебя! Только вот – сумление мое о твоём этом добре... Сундук без замка, – веришь ли ты крепко хозяину, Таисий?

– Нет сундука, коего разбить не мочно! Нет замка, коего не изломать, а хозяину верю... Конон – он турчин... Младым был с иными в плен взят, а где, того не ведаю. От бессерменов он и оружие делать обучен, а норовом таков: ежели турчин кого возлюбил, и ты в его дому спишь, он с топором будет стоять у порога... Убьют его, тогда только тебя убьют! Я его чтению обучил... письму не мог – рука тяжка, бумага не держит его слов – режется, мнется...

– Дивно ты говоришь!

– Правду говорю...

Они вышли из подвала. Таисий взялся за тяжелый ставень, но поднять не мог. Сенька закрыл подвал и точило поставил на прежнее место. Фонарь потушили, повесили в сенях на стену.

В избе у горна была воткнута в землю деревянная толстая тумба с наковальней небольшой и маленькими тискаами.

Сгорбленный человек, с глазами, острыми, как у мыши, волосатый и однорукый, бойко хлопотал у наковальни. Он, намазав каким-то раствором до глянца вычищенные пластинки железные, вынул изо рта кусочек золота, положил на одну, выхватил из горна каленый прут, руку до того обернул рукавом кафтана, водил и легонько постукивал железным прутом

около золота – золото, сверкая, расплывалось, катилось и слушалось искусной руки серебряного кузнеца. Пластинка ровно и ярко засверкала. Конон щелкнул языком. Сгорбленный, юркий человечек ругался громко:

– Жолв им в гортань, моим мучителям! Сказывал окаянным – секите ногу, против того, как и товарищу моему, так не: «Государев-де указ не рушим!» – Он болтал пустым рукавом кафтана – рукав был завязан узлом. – Провалитца бы вам, стоя, и с указом-то дьяволовым! Окалечили, черти... Спасибо доброй душе Конону – дает работу да еще и помогает. Иттить бы без его по миру!

Таисий, когда тот кончил золотить пластинку к бехтерцу, спросил:

– Человеке! А за что они тебя окалечили?

– Дьяки – собаки окаянные! Исприбили царский указ по крестцам, а я грамоте не смыслю да и товарищ по моему ж делу грамоте не учен. Бирюча – кликать по народу – ране пустить не удосужились... и сколь людей окалечили!... Мы же с товарищем, не ведая того указа, в железном ряду купляли два пуда меди у старой торговки, должно, тоже не горазд грамотной... Удумали мы, как и ране того делали, венцов девичьих да перстней поковать и позолотить... Медь – она дляковки сподручна. Кинь в горячие угли соли щепоть и кали медь тогда, сколь хошь, добела – не рассыплется: с солью кали, и тяни, и гни, как надобе...

– Ну, а вас с куплей уловили?

– Тут же! С Китай-города выдтить не дали, завели на пожар, близ шалаша харчевников, и ссекли ему ногу, а мне руку! Ой, сколь крови изошло! Живой, вишь, нужда гонит – работай. – Кузнец серебряный зажмурился, будто вспоминая, как его калечили, и замолчал.

– Да пошто им медь-то желтая люба стала? – опять спросил Таисий.

– Черт их думы ведает! Для войны, должно, что со свейцем идет.

Приятели, простясь с хозяином и ювелиром, пошли по улицам и закоулкам, – до стрелецких слобод, в Замоскворечье, было не близко, а Облепихин двор и того дале. По дороге Таисий рассказывал Сеньке:

– Крестили его в нашу веру... крестным ему стал старейший боярин Никита Одоевский<sup>217</sup>, а назвали Кононом, в память прежнего бронника, досюльного. И жил тот бронник в той же слободе. Обучился читать, тяжко ему то далось, а когда время есть, читает все книги затейные – о травах, заговорах... тетради держит, и я ему молил не раз: «Берегись, Конон! За такие тетради тебя, ежели углядят дьяки, в Патриарш разряд утянут, а там и баальником ославят». Он мне веры не имет, только ни дьяка, ни подьячего в избу не пускает... Оно и пускает, да в избе его тогда долго не усидишь: напустит смороду, зачнет ковать, или прутья железные гнуть на огне – беги да чихай!...

– Сказываешь, молил, а как?

– Я ему тогда, как сказать что – пишу... для говори с ним иной сноровки не искать... Пишу ему по-печатному, такое он понимает хорошо, и тетради его по тому ж писаны печатно...

– Надо, Тимоша, снести к Конону тому мою кольчугу чинить, порвалась...

Приятели помолчали. Им навстречу ехали стрельцы с десятскими в голове, потом прошли конно жильцы с крыльями за спиной поверх красных кафтанов. Пушкарки пеше сопровождали пушки на подводах, а после воинских частей с болота из-за Москворечья на телегах под окровавленными рогожами волокли с отрубленными руками, ногами за медь изуродованных.

– Пошто, Таисий, ты вернул к Арбату? Надо бы с Лубянки... – спросил Сенька.

– Там все едино пришлось бы обходить по-за Язуу... Дойдем! С Замосквы-реки побредем стрелецкими слободами наискось.

Рассуждая, испив квасу с суслом у квасников, торговавших на скамьях у бойни, и

---

<sup>217</sup> *Никита* Иванович *Одоевский* (ум. в 1689 г.) — князь, боярин, воевода. Руководил приказом, подготовлявшим Соборное уложение 1649 г. Неоднократно возглавлял русские посольства по перемирию с поляками и шведами.

обойдя болото, место сожжений колдунов, а также и лобные вышки, они наискосок закоулками пробрались к Облепихе,

В дальней избе Облепихина двора жили головы нищей ватаги – они жили вдвоем в прирубе. Остальные старцы, старицы и бабы помещались в большой половине, где у порога широко сидела большая печь с черным устьем и полатями. Два старца – Улькин отец и другой, именован Серафим, – он за отсутствием Таисия, по просьбе ватаги, всегда ведал делами атамана, – разбирал обиды и даяния делил, чтобы свары не было. В ту ночь, как Сенька с Таисием ночевали не у себя, эти главные в посконных серых рубахах лежали на своих одрах, каждый у своей стены, но седые бороды и нечесанные головы были близко придвинуты одна к другой, головы промышляли по-тонку<sup>218</sup> о делах ватаги. Серафим наговаривал Улькину отцу:

– Микола! Ты к делам ватаги старец честной, сколь помню тебя, завсегда радеешь нищей братии... не таковска дочь твоя, Ульяна. Как ты, а я зрю – увязла она в бесовских лапах?

– Ты о том, Серафимушка, што с парнем-то сошлась плотно?

– Оно я и думаю – живет грешно, давно! Грех прощается той бабе, коя есть блудодейца – сума переметная, как ины наши... У них еще не остудела кровь и молоко в грудях, кому што ни поп, то и батько... Так нет! Живет семейно, а не венчано – грех!

– Девка, Серафимушко, самондравная, дикая, и бил я ее довольно, да от упрямства не выучил, а в кого задалась – не домекну... Матка у ей была послушная, не то слова, глаза мово боялась... Дикая девка, ведаю тот грех! А как тот грех избыть, не ведаю...

– Слышь... баю тебе не на худо – повенчай ее со мной... Потому, главной ватаман я! Тот, што Архилин-травой прозван, не дорожит ватаманить, ведаю... Не те его помыслы, штоб нищими верховодить...

– Да как, Серафимушко, перевенчать-то вас? Ума не хватает!

– Я ватаман! Ты моя кровна родня – тогды зри-ко – нас двое больших! Достатки делим, как удумаем, – хто нам поперечник? Всю ватагу к рукам прикрутим... Законы уставишь правильные, – чти ватамана и молчи! В землю по шею закопаю, ни гунь!...

– А ты, Серафимушко, обучи, как мне с краю к девке приступить? Сам смыслишь, парень ее не криклив, а грозен – паси бог! – даром ее не уступит... Уступит ежели, то она худче его – огненная! Глаза выжжет, только о разлучке с им говорю зачни.

– Обучу тому – чуй...

– Ну-у?

– Скоро будет перепись по книгам, а мы тут и оговорим их дьяку... тому, понимай, кто зачнет нас исписывать, а молым ему так: «Пришли-де парни с большой дороги в кандалах и при нас расковались... кем были до того – не ведаем, только по приметам – лихие... один-де в рубахе железной, у другого шестопер, головы тятать...»

– А как они нас Коломной угрозят, Серафимушко?

– Коломну стрельцы да солдаты розняли всю! Дел наших там не сыскать. Но коли приступят к нам: «А пошто-де лихих меж себя таили неопознанно?» – ответствуем оба да старцев и стариц подучим сказывать: «Угрозные-де речи с нами вели, и мы их силы боялись: мы-де слабые, многогодовые, а у них-де завсе топоры под кафтанами и к церкви божией без топоров не хаживали... К нам они насильством ватаманство уставиши... помирать-де, хотя и старцы мы, не пришло время...»

– Ой, Серафимушко, чую я, што так надо!

– Теперь же до описанных дней замок ко рту!

– Помолчим... пождем дьяка! Дай-то бог...

Лампадка в углу прируба перед черной безликой доской пылала, мотался огонь – из пазов избы продувало под божницей ветхой. Двигались тени по желтым бревенчатым

---

<sup>218</sup> Тайно, тихо.

стенам. Черные тени вскидывались углами – не то рука, не то нога. В теплом, душном, вонючем воздухе старики кряхтели, чесались – вши и тараканы ели их костлявые члены. Не вылезая весь век из рядна или ватных зипунов, старики любили паразитов, даже верили, что они необходимы. Говорили, когда случалось: «Телесо грешно, приучать потребно его к зуду-чесотке... Все ходим под законами великого государя – не ровен час и под кнут попадешь, а там чешут, кусают до костей...» – «Вши, клопы – наказание че-, ловеку от господа... кабы господь не наказывал грешных рабов своих, то сих кровоядных тварей не создал бы... боротьба с божьим наказаньем – грех душе!...»

Над Сенькой хлопотали, наряжая его к церкви Зачатия, только двое – Улька с Таисием. Улькин отец с Серафимомстарцем не хотели, чтоб Сеньку вели к стене Китай-города, иным старцам и старицам не указали помогать нищие обряды на Сеньку крутить, а вериги с крестами, хранимые на случай, дали после угрозы Сенькиной «перебить старцев, как кошек!», дали вериги с великим лаем.

Сенька обок с Улькой шли впереди ватаги, Таисий, наряженный в старую рясу и скуфью рваную, шел сзади их, гораздо дальше шли старцы – Улькин отец и Серафим, а там и вся ватага.

Улькин отец тихо спрашивал:

– Серафимушко! Их шествию упорствовал я, видя, как ты заупрямился, а пошто такое, чуть до боя дело не дошедшее, и по сия мест не разумею.

– Повелел я так, Миколай! Понял, того Архилин-травы замыслы хитры – слышь-ко...

– Ну?

– Не спуста разума ведет ён в веригах ряженого беса, блазнителя дщери твоей, а думно мне, почуял разбойник наше умышление, о коем мы обсуждали ночью – ухоронится в ино место...

– Ой ты, Серафимушко! А я так тому едино лишь радуюсь – ежели они стряхнутся с нашей шеи. Тогда Ульяна моя в дому зачнет жить без греха. От ватаги ей уйтить едино лишь в монастырь, а тут-то мы ее и сговорим за тебя – пир да свадебка!

– До пира того в гортани иссохнет! Ай не ведаешь? Прельстилась много – бегать к нему зачнет? А не можно там, ён в Облепиху спать зачстит...

– Пустое! Слушь-ко...

– Чого?

– Мы, как ён со стороны к нам прибредет, саму Облепиху, бабку озорную, напустим псом лютым, уж она-то кого не изгонит!

– Не так смыслишь ты, Микола... Думается, иную яму им придетца рыть! Дело с дьяками закинем...

– Эй, худче худчего коли так! Удумано нами ладно было, а та затея какова еще будет?

– Наше дело древлее... позрим, пождем, неспешно подумаем... Вишь вон, гляди!

– Чого глядеть?

– Сама боярыня Морозова к церкви Анны-пророчицы жалует... А ну, как они ей приглянутся?

– Ништо-о...

Боярыня в смирной однорядке вишневой, в столбунце черном, отороченном соболем, стояла с тростью в руке у дверей, распахнутых в прохладный сад. В саду, на проталинах, кое-где еще лежал снег. Лужи играли от солнца, дальные в тених голубели. С потоков высоких морозовских хором иногда шлепали мокрые комья. Грузные капли стучали, цветисто искрясь в выбоинах проталин.

– Идут ли убогие?

Ключница с желтым угловатым лицом, одетая в черное, ответила:

– Копятца, мать боярыня, – идут!

– Дарьюшка! Все их платье утолочь в воду с золой... дать им белые рубахи, порты, а кому и ормяки...

– Ой, мать наша! Много их к нам налезло, хватит ли всем одежки – не ведаю. А таких,

как Феодор-юрод, кой мыться не пойдет, – мало...

– Надо омыть всех! Кому платья не хватит, купить в ветошном ряду укажи, а убогих сочти... Женок пустим в первый пар, гораздо шелудивы...

Ключница отошла в глубь сеней. Из верхних сеней по лестнице по ступеням зашаркали лапти. Послышался многоголосый шепот:

– Ой ты, государыня наша!

– Матушка светлая!

– Поилица-кормилица!

Прямо от двери, в глубине сада строение с двумя окнами, с дверью, закопченной дымом. Из окон и двери полосы пара. Стены вверху над окнами отпотели, капает в лужи.

Рукава однорядки у боярыни до полу, но под рукавами обшитые прорехи для рук, оттого свободно боярыня поднимает руку с тростью, изредка тыча ею в проходящих мимо, смрадно пахнущих женщин – хромым, шелудивых, горбатых,

Считая убогих, сказала:

– Бога для, остойтесь! Всем тесно,

– Чуем, матушка!

– Пождем, Федотья Прокопьевна!

– А где раба Окулина?

– Ой ты, матушка! Федько-юрод да Окуля-постница не ладят уды свои опрати...

– Окуля скажет: «Господу зарок-де у ей дан, покуль не стлеет на телесах моих древняя рубаха, ину не одену».

– И Феодор?

– А Федько, матушка, брусит тако: «В мир-де я пришел не мытца, а молитца! И батько Аввакум заповедал также: „Накинъ-де мою патрахель и не сымай ее во веки веков!“ Досель же я и на морозе в одной рубе ходил...»

– Феодора-юродивого, Окулину-постницу держи в нижних клетях... В горницах им не быть! Боярин недужит, но иной раз пробредет... Иванушко резвой, любопытной, вывернетца, они же, не мытые, роняют вошь, парш сыплют... Я не боюсь – скидаю платье, девкам дарю, – боярина да сына опасности надо...

– Ой, боярыня! Я их гоняю, да нешто упразднишься с ними? Федько, тот еще и упрямой, – печной крюк не берет.

– Ты бы с ним уговором... грех...

– А нет, матушка! Крюк – он уговорит каждого... Чую, не пущу, коли узрю.

Первую смену боярыня простояла в дверях. Стало вечереть – заволодало. Морозова поручила пропускать другую смену ключнице:

– Лишних не пусти – уголока будет!

Дарья встала у дверей без трости, но ее руки были нищим много страшнее, чем трость боярыни...

Когда вымылись все женщины, переоделись в чистые кафтаны и армяки, прошли вверх, тогда боярыня пришла сменить ключницу, но Дарья не уходила из сеней. Проковыляла первая смена стариков, умылась, переоделась. Пошла вторая. Вместе с убогими старцами и малоумными подростками проходили и Сенька с Таисием. Перед боярыней Сенька снял свой рваный, женского покроя каптур с воротником, глубоко сидевший на голове, на лицо «гулящего» хлынули кольца кудрей, он мотнул головой, стряхивая кудри, – взвякнули крестами двухпудовые вериги.

– Господи! Какой у него лик... дивный лик...

Таисий расслышал боярыню, хотя сказала она это очень тихо; тоже сняв скуфью, низко поклонился:

– Всем, матушка боярыня, взял! И телом богатырь, и власы дивные взрошены, да глаголом и чутьем скорбен. Я родня ему... много молил угодников, синодики своей рукой писал и нынче же отсылал образу Анны-пророчицы на молебствие, – чаю, не простит ли господь?

– Ты грамоту разумеешь?

– Разумею, кормилица, письму и чести божественное борзо могу...

Боярыня снова поглядела на Сеньку, вздохнула:

– Зримо, что так уж ему на роду суждено. Ты его водчий?

– Водчий, боярыня! Без меня он едино как младень...

– Тяжки на нем вериги... Помоги ему железа снять – умой его, Дарьюшка!

– Иду, мать! Иду-у!

– Вот тому, что идет садом в веригах, дай рубаху из боярских, кои ветхи.

– Ой ты, мать боярыня! Такого рогожей огнуть не всяка сойдетца... Да разве боярина Глеба на него рубахи влезут?

– Тогда сшить надо, особое...

– Опрочно сошьем... А нынче надежет, што сойдетца.

– Особое на него надо затем, что ликом он чист и власы чисты...

– Обошьем в новое.

Ключница ушла. Боярыня стояла, глядела в сумрак, павший над садом. Вздохнула еще, когда Сенька, сгибаясь, пролез в предбанник и гулко захлопнул дверь. Содрогнувшись от звука двери и прохлады сумрака, запахнув однорядку, пряча трость под полую, медленно пошла вверх. Отдав санным девкам и трость и однорядку, спешно шагнула в крестовую. Войдя, крестясь, взяла лестовку, встала на молитву перед образом спаса. Земно била поклоны, считая их по лестовке. Ее монашеское лицо, красивое, с тонкими чертами, желтело и, как восковое, прозрачно светилось. Ясные глаза от лампадных огней так же, как и лицо, слегка золотились, а губы шептали:

– Вездесущий! Все ведаешь ты и можешь... Изжени беса похоти рабы твоей... возведи на Федотью-рабу крепость нерушимого целомудрия... закрой очи ее сердечные для радостей земных... закрой очи, зрящие вну, да не зрят они камня-самоцвета! Даруй очам моим зрети един лишь камень аспид черен, кроющийся гробы праведников...

Положив трехсотый поклон, боярыня разогнулась. Крестясь на стороны, вышла из крестовой и попятилась: мимо ног ее прокатилось большим комом мохнатое, замотанное в вонючее тряпье; мяукающий голос, фыркая котом, верещал:

– Чур, бес! Отринься, бабка! Сатана-а... тебе не уловлюсь, от тьмы-тем грехов отмолюсь! Милуй мя, господи-сусе...

Юродивый Феодор ползал быстро по полу, а за ним с коротким печным крюком в руках гонялась ключница Дарья.

– Юрод грязной! Вон поди, по-о-ди! – шипела она, боясь громко говорить, чтоб не потревожить больного боярина.

– Тьма в подызбице! Ту лепо! Светло божьему человечешку... Бабка, дай буду тебе о тебе чести заупокойное!

Боярыня строго сказала:

– Феодор! Упрямишь... Опрати себя не хочешь – живи в клетях.

– Федосок, божий недоносок, гони мя в яму! Гони в тему – час придет, сама туда сядешь! А пошто? Да по то – царь у антихриста на хвосту виснет!

– Поди же... поди, юрод гнилой! – приступала ключница.

Юродивый понял, что боярыня не даст жить вверху, уполз по лестнице в сени.

– Царь с антихристом из одной торели телятину жрут! Тьфу им!

– Смени рядно! Умойся-будешь жить со всеми, – громко сказала боярыня. Она, тихо ступая, проходила к себе.

Юродивый визгливо крикнул:

– Федоска! Чуй, рцу тебе – все твое в малы годы прахом возьметца! Пуще меня завшивит. Аминь! Аллилуя! Тпру-у! Вороти к Боровску-у!

«Несчастный... а отец Аввакум чтет его», – подумала Морозова,

От многих лампадок и лампад, горевших день и ночь перед темными образами греческого письма, в горницах Морозовой светло, душно и желтовато от огня, будто на

раннем восходе солнца. У боярыни Морозовой образа были развешаны по всем углам, по стенам и над дверями всех горниц. Окна не отворялись— слюдяные, раскрашенные узорами пластины плотно вделаны в свинцовые рамы. Жилой дух не выходил наружу – в горницах пахло прелью, ладаном, тряпьем и деревянным маслом. Нищие, когда не доглядывали за ними, лезли на лавки, макали грязные пальцы в лампадки, мазали маслом волосы. Спали нищие на тех же лавках, а иные под лавками. Ползали по полу, корячась, и больше юродствовали, чем молились.

Сегодня раньше полудня боярыня в каптане на шестерке лошадей уехала по зову царицы во дворец. Ехать немного, пройти легко, но важной боярыне пеше ходить не полагалось... Так же и работать вменялось в стыд великий: «На то рабы есть!» В отсутствие боярыни, своеволя, нищие перебрались много раньше обеда вниз. Перед обедом всегда полагалась молитва, за ней обед, за обедом еще молитвословие, потом сон и вечером вновь молитва с песнопением.

Вверху остались Сенька и Таисий, оба молчали, слушали, как внизу Феодор-юродивый визгливо кричал:

– Царь? А што те царь?! В одно время я ему в никонианском вертепе, кой они церковью зовут, – голое гузно казал... Зачали, вишь, аллилюю трегубить, а я перед царем и скокнул лягухой, кувырнулся оба пол лбом да рубаху-те на плеча вздернул...

– Ой, Федорушко! Перед государем-то?

– Ништо ему! Антихрист Никон-таки на меня зубом закрегчал и возопил: «На чепь его, дурака!» Царь же ни... едино лишь выпинать повелел вну-пинали-таки гораздо! Ведал царь-то, за правду я, за аллилюю...

– Мученик... за правду тебя, Федорушко!

– Никона согнали! Буде ему пыжиться.

Сенька на лавке в углу. Таисий рядом, спросил:

– Не тяжело тебе молчать?

– И так привык мало говорить, привышно.

– Думаю я соблазнить тобой боярыню... Соблазнится – богатство ее – наше. Кликуш всяких разгоним... Едина забота – Аввакум-поп! Слух есть, что царь его простил... указал ему к Москве ехать, мыслит мирить Аввакума с никонианами. Аввакум же непримиримый. Помедлит юродивый поп, а мы к царю проберемся – и конец! Деньгами Морозовой купим стрельцов да удальцов, заварим бой, – и я царь, да не такой, как все, – справедливый – холопу и смерду волю дам...

– Таисий... царей справедливых нет и не будет!

– Я буду таким!

– И ты... не... будешь... царей быть не должно!

– Вон ты какой у меня? Затейной, учителя перерос... А вот я...

– Стой! Идут!

Из смежной горницы кто-то медленно шел, говорил. Это был боярин Глеб Иванович, он шел в длинной белой, до пят, шелковой рубахе, казался одетым в саван, говорил хотя и про себя, но громко:

– Великий государь! Богданко Хитрово боярин грабитель есть... Половину добра с твоих государевых вотчин имает на себя... Да грех чего таить! И тестюшко твой Илья Милославский таков же... Серчаешь? Не буду, бог с ним...

Боярин остановился и будто проснулся; повернулся, шатаясь на ногах, ушел. Таисий сказал:

– Боярин так побродит недолго, а вдова его – диамант<sup>219</sup>, – подобрать надо!

Немного спустя после хождения по горницам боярин Глеб Иванович умер. Воспитатель, царский свояк, Борис Морозов умер годом раньше Глеба.

---

<sup>219</sup> *Диамант* – бриллиант.

Две вдовы почти что царственных остались: матерая вдова Анна Морозова, родом Милославских, и молодая вдова Федосья Прокофьевна Морозова – родом Соковнина. Так же, как Анна Ильинична, Федосья Прокофьевна с почестями похоронила мужа. За гробом шли в церковь и до могилы царь с боярами честных родов. Кормила Морозова целую неделю нищих, из рук им раздавала поминальные деньги. По монастырям за упокойное пенье и помин души дала вклад большой. Сорокоуст<sup>220</sup> справила, все по чину.

При жизни мужа была Федосья Прокофьевна видом черница. Если не ехать ко двору, носила столбунец черный, бархатный, на плечах вишневую мантию или однорядку. Со смерти мужа надела скуфью монашескую с пелериной черной, мантию черную и походить стала на игуменью, до времени постриженную. Усердно молилась, а теперь молиться стала еще усерднее. Утром, часу в первом ночи<sup>221</sup>, боярыня шла в крестовую. Таисий много раньше ее молился образам, висевшим на стене перед боярской крестовой, он читал по книге, падал ниц и бил многие поклоны. Боярыня спросила негромко:

– Древнее ли чтешь?

– От заповедей святых отец... Много в книге сей есть реченное Дионисием Ареопагитом<sup>222</sup>, ким учитель наш Аввакум не единожды посрамлял никониан!

– Аминь! – Боярыня, сказав, взяла книгу; перелистав, прибавила: – Киприяна, надобного мне старца, государь позвал к себе... Некому стало для меня чести божественное... Феодор юродствует, а стариц-начетниц не случилось... иные не могут. Вот тебя спрошу я, брат Таисий, хочешь ли честь мне за правилом?

– Благодетельница... с великим рвением к тому, учен – не бахвалю... Литоргисал еже при нужде. Оле, боярыня! Мало мест стало, где живет древнее благочестие...

– Зови меня, брат Таисий, не боярыней, а сестрой Федотьей. Ох, предалися антихристу люди! Никон ушел, но и ушедший деет заразу духовную. Прелесть его окаянства сильна есть – царь за нее стеной встал!

– Слухи не ложны, сестра Федотья, – отец Аввакум из Даурии дикой прощенный едет! Воскреснет, верю я, древнее, осиянное его благодатью...

– Ах, брат! Понеже прощен отец наш, а надолго ли? Скоро ли ему быть-то?

– Годы едут оттуда... Сказывают, воевода-мучитель – Пашковым звать – отпустил его, ограбив. «Пропадешь-де, и ладно!»

– Окаянный! Ой, доедет ли отец наш?

– Господь за праведников, сестра! Дождемся пастыря – верю я крепко...

Они вошли в крестовую, начали правило. Таисий читал «Житие святого» на тот день.

С этого утра Таисий на молитве стал необходим боярыне. Читал он всегда внятно, чинно и аллилуйю не троил<sup>223</sup>, а двугубил. Молился двумя персты.

Устав молиться, но еще не окончив правила, сажались на обитую черным бархатом скамью – отдыхали. Каждый раз боярыня просила Таисия рассказывать ей о чудесах и исцелениях. Таисий хорошо рассказывал, такого никогда не слыхала Федосья Прокофьевна.

Теперь он ей рассказал бывальщину:

– А было то в Новугороде, сестра Федотья... скорбному моему в бозе, брату Семену, юродивый указал путь цельбы в скорби его... Сказывал сие, указуя на него перстом: «По

---

<sup>220</sup> *Сорокоуст* – молитвы по умершему в течение 40 дней.

<sup>221</sup> В шестом часу по нашему времени.

<sup>222</sup> *Дионисий Ареопагит* – первый афинский епископ (I в.), которому приписывались «Ареопагитики» – пять богословских трактатов и десять писем, которые были написаны не раньше второй половины V века.

<sup>223</sup> *...аллилуйю не троил, а двугубил.* – Один из пунктов расхождения реформированной церкви с раскольниками: никонианцы повторяли «аллилуйя» трижды, старообрядцы – дважды.



сшествии антихристово слуги, Никона, кой убредет из вертепа, опоганенного им же... не изгнанный убредет. Кровь мучеников изгонит его, тех праведников, кого попирает он за сложение перстов... Скорбному сему отроку сыщется жена честна... Она, прияв на себя яко тайну пророка Оссии, коему господь повелел имати себе жену блудну... ночь с ним в ложнице проведет и грехом своим исцелит от скорби – рушив его целомудрие...» Он прозрел, сестра, что Семен не женат из-за недуга и непорочен...

– Ну, Таисий, а еще что предсказывал тот юродивый?

– Тако дале глаголал он: «Восстанет раб сей от греха скорби своей исцелен и жену оную спасет, ибо гласом, обретенным в чуде, по-древлему воспоеет хвалу господе...»

– Как именовали того юродивого, брат?

– Миколой, сестра Федотья, именовали его, а звался от родов Митей... Миколой же указывал называть в честь древлего новгородского юродивого Миколы Кочана, кой по Волхову-реке ходил, аки по мосту.

– И прорицатель, сказываешь ты, был тот Митя?

– Был, сестра, – много чудес творил убогий, а при мне, как я подвел к ему Семена и он о нем прорицал, заплескал ладонями, кочетом воспел. Мног народ дивился на него, говорили: «Исцеляет... молится и тут же срамное бесстыдно творит!»

– Они, брат Таисий, юродивые, бога для извечно так... С пророков древних берут и ведут житие... Федор наш таков же – на мразе в рубахе без портов ходил, едино лишь отца Аввакума послушал: ряску его надел и то – от никониян чтоб укрыться.

Иногда, когда Сенька был один в маленькой горенке, отведенной ему с Таисием, боярыня в приоткрытую дверь глядела на него... Если же кругом никого не было, как бы в забытии простаивала подолгу. Очнувшись, быстро уходила молиться. Молясь, просила спаса помочь ей не прельщаться мирской радостью и беса вожделения ее изгнать! Так было вчера. Сегодня, помолясь, она пошла слушать убогих, говоривших о древлем благочестии. Стояла невидимая у полуоткрытой двери за запоной штофной. Сенька был с нищими. Сидел он всегда в одном углу на лавке. Боярыня чувствовала в себе искушение глядеть на него, боролась с этим искушением и победить беса любопытства не могла. Но вот к нищей братии со смехом вбежал мальчик, ее сын, курчавый и резвый Иванушка, девяти лет, наследник боярина Глеба. Федосья Прокофьевна почувствовала в себе силу отойти. Отойдя, приказала санным девкам увести шаловливого ребенка. Она отвела глаза от лица Сеньки, когда снова вернулась слушать нищих: Федот Стефаныч поучал иных старцев благочестием. Он был голый до крашенинных синих порток, многие язвы мешали ему носить рубаху. Потряхивая крючковатой, в красных пятнах бородой, Федот хрипло выкрикивал:

– Братие! В книзе Иоанна Дамаскина, зовомой «Небесы», указано: «Всяк, убо не исповеда сына божия во плоти пришествовати, антихрист есте!»

– Стефаныч! Теи слова знаменуют: «Сын божий не приходил еще, – придет!»

– Вот, старче! Ты уж искусился верой антихристовой, – а хто ради спасения людей во ад сошел? Хто был распят?

Медленно в горенку вошел Таисий – в скуфье, в мантии черной, прошел, сел рядом к Сеньке на лавку.

Морозова ушла к себе, так как за спором многих ничего, кроме бессмыслицы, нельзя было слышать. Один старик горбатый, с острой бородой до колен, громогласно спрашивал:

– Что есть патрахель?!

Ему не отвечали, и сам он за других ответил на свой вопрос: «Патрахель есть столпие железное, на них же земля плавает!»

– Далеко уплывешь, – тихо сказал Таисий. Слышал его только Сенька. Не глядя на Сеньку, Таисий прибавил: – Нищих любить моя забота... Тебе же сватаю боярыню... готов будь!

– Как в Иверском ты... скуфья, манатья, чтение и песнопение... срамно видеть.

– Семен, тяжко безбожнику молиться, но, ради нашего дела, надо – так игумном стану... В безверии едино, кем быть!

– А доглядят? Ушей и глаз тут бесчисленно.

– Путь краткий – бежим тогда к ватаге.

Федот, почесывая тупыми, грязными пальцами язвы, кричал:

– У никониян, братие, над умершими замест помазания святого масла указано на мертвое тело сыпать пеплом! Пепло-о-м!

Временами Сенька, так как силу ему класть было некуда, встретив у дверей своей горенки юродивого Феодора, хватал старика на руки, носил, как младенца. Прижавшись к железу вериг, юродивый лежал смирно в объятьях Сеньки. Когда Сенька, поставив юрода на ноги, гладил по лысине и по спине, юродивый всегда падал перед ним земно и мурлыкал, будто кот:

– Красота велия в тебе!... Сила неопиcуемая в тебе! А сам ты есте от сатаны... Тпру-у!... Спаси мя, Сусе Христе...

Боярыня, видя, как никого не уважающий юродивый падал перед Сенькой ниц, удивлялась и думала:

«Он может творить чудеса, оттого лик его светел!» Юродивый, забредая наверх, всегда засыпал перед Сенькиной горницей. Отсюда Морозова приказала ключнице не гнать блаженного.

Не помогла молитва со слезами. Лестовка покинута, в земных поклонах избилась боярыня...

– Окаянная! Молись, изгони беса! Господи! Господи! Зришь ли? Спаси! А что, ежели то правда – исцелится от меня? Нет! Он погибель, грешница! Тяжки на нем вериги... Лик светлый... Только лишь глянуть? Ведь он не скажет... Он не может – безгласный!

Худо помня себя, скинув платье, забив под скуфью волосы, упрямо выпирающие, в легком шушуне, темном, поверх рубахи с поясом, запинаясь слегка, босыми ногами ступая, пошла. Пол ей казался горячим – жег ноги, но ее легко, будто по ветру, несло вперед.

– Остойся! – сказала себе. – Остойся! Не мочно?... Отцу Аввакуму... простит... поймет...

Чуть скрипнуло. Остановилась за дверью.

– Три огня? Зачем три свечи? Три...

Крест-накрест чернели вериги на волосатой груди. Рубаха с плеч сползла, кудри тускло поблескивали у щек. В сумраке хмуро лицо.

В жар кинуло боярыню тогда, как огнем осветило его, непонятого, неведомого. Кто он? Праведник? Или нечистый дух?... Похолодели ноги, снова кинуло в жар, и снова неведомым огнем он весь озарен перед ней.

Для нее непонятно, он чудно, сидя, спал, конец подстилки на лавке, другой на полу. Сеньке так спать посоветовал Таисий: «Увидят, скажут – чудно спит – ведомый праведник!»

Его голова заброшена на лавку, руки раскинуты широко.

Боярыня припала к нему, встав на колени.

– Мой грех... возложу муки адовы... Злую кончину приемлю за грех мой – господи!...

Она пригнула пылающее лицо к лику Сеньки. Сенька открыл глаза, не дрогнул, не шевельнулся, подумал: «Таисий прав... искусилась».

У него зарделись щеки, хотелось отвечать на жаркие поцелуи, но, инстинктивно понимая, что может вспугнуть, разбудить ее стыдливость, окаменело принимал страстные ласки. Видел, как ее руки вылезли из широких рукавов шелковой рубахи, чувствовал, как они глубоко зарываются в его волосы – скуфья и шушун давно сползли к его ногам и, взвяхнув негромко веригами, накинуд на ее тонкие плечи, покрытые волосами, тяжелые руки. Она от усилий задрожала, желая отстраниться, – видимо, коротко боролась и, обессилев, плотно опустила на его грудь, загражденную железом. Потеряв остатки воли, боярыня протянула тонкие руки к нему на шею, чтоб обнять крепко, но у дверей кошачий голос с шипом замяукал:

– Зрите! Жратва Вельзевулова! Хи-хи-хи... Эй, предавшаяся сатане! Яко Юда на суде страшном, в перстах его сатанииловых!

Почувствовав толчок в грудь, Сенька раскинул руки; как она подняла и накрылась скуфьей и шушуном, не видал. Давно лежал с закрытыми глазами, за дверью слышал голос, почти незнакомый ему, злой и твердый:

– Не полоши людей! Юрод...

В полдень, уезжая на богомолье в Симонов монастырь, приказывая лошадей, боярыня указала дворецкому:

– Аким, юродивому, бога для, Феодору собери на дорогу суму с брашном, дай рубль денег да прикажи вывести его из Кремля к Москве-реке...

– Улажу, боярыня-матушка! Справлю...

За этот невольный уход Феодора-юродивого в свое время протопоп Аввакум пенял Морозовой: «Поминаешь ли Феодора? Не сердись ли на него? Поминай, бога для, не сердитуй! Он не больно перед вами виноват был. Обо всем мне покойник перед смертью писал: „Стала-де ты скупа быть, не стала милостыни творить. С Москвы от твоей изгони съехал... И еще кое-что сказывал, да уж бог тебя простит... Человек ты, человек извечно богу грешен и слаб, а баба особливо...“ Перед этой ночью Таисий отпросился у боярыни на богомолье в Саввин монастырь, но вместо молитвы-, ненужной ему, ходил по Москве – глядел и прислушивался к голосам толпы. Ему встретился Феодор. Юродивый брел с сумой, без палки, в одной рубахе и без порток. Вшивую ряску, подарок Аввакума, снял, оставил на крыльце Морозовой. Дворецкому, который провожал его до ступеней, сказал, мотнув головой на брошенную одежду:

– Укажи... тпру-у... боярыне прибрать! Сгодится ей, когда в яме будет сидеть...

– Уходи, дурак! – рассердился дворецкий.

Теперь Таисий пожалел старика, его окружали ребяташки, дергали за подол рубахи и пели:

Федько-улита!  
Улита-волокита!  
Волокет кишку  
По-за кустышку!

– Дьяволеньши! С батьками, матками шиши у бога нашего! Тпру-у! Огонь на вас – смола с небеси! Звери на вас ядучие...

– Федька-улита!...

Таисий отогнал ребят. Прохожий сказал Таисию:

– Они углядели за божьим человеком, што он из себя червя долгого, в аршин видом, выволоч, – думают, кишку... – Оглянувшись, тихо прибавил: – Никак, братик, люд московской бунт заваривает?

– Маловато шумят... до бунта далеко.

Прохожий прошел, а иные, махаясь, бредя прямо по дороге, кричали:

– Грабят средь бела дня! Пошто им не жить богато?

– Вишь, нашлись! Серебро подменили... из кастрюльного золота деньги куют!

– Руки, ноги секут за медь, а у кого ее нет?

– За матошники<sup>224</sup> денежные, не за медь!

– Всему причиной Илья Милославский да Федько боярин Ртищев!<sup>225</sup>

– Васька Шорин гость тоже ворует!

---

<sup>224</sup> *Денежные матошники* – штампы, формы.

<sup>225</sup> *Федько боярин Ртищев* – Федор Михайлович Ртищев (1626—1673), близкий советник царя, основатель школы (Ртищевское братство), ставшей предшественницей Славяно-греко-латинской академии. Один из инициаторов церковной реформы и выпуска медных денег.

– Заеди-и-но-о! Шорин-от...

«Время близится, а мы с Сенькой не готовы...» – подумал Таисий. Он видел, как Феодор-юродивый, подходя к Москворецкому мосту, встретился с конным боярином. Боярин ехал верхом на вороном коне, сзади за ним двое его холопов на карих лошадях.

Боярин закричал юродивому:

– Раскольник окаянный, без порток бродишь?!

Что ответил юродивый боярину, Таисий не разобрал, он шел в ту сторону к Москворецким воротам и увидал, как по слову боярина один его холоп повернул за юродивым следом, а Феодор, уж подтягивая суму с хлебом, спешно переходил мост.

Таисий слышал голоса, в толпе говорили:

– Зюзин! Дружок Никона...

– Ведомой поимщик людей, кои за старую веру.

– Сказал-таки, робята, черту блаженный!

– Чого молыл?

– Боярин зыкнул: «Без порток бродишь!», а Феодор остоялся мало – ответствовал: «Я-де без порток, а ты без рубахи едешь, и спина в крови – кнутьем ободрана!»

– То он ему предрек! На боярине scarлатный кафтан, червленой... Озлился, чай, на блаженного?

– Уй, как озлился! Конного холопа оборотил, приказал: «До первого яма проводи, укажи держать, и там ему подорожнаяде на Мезень ехать!»

– Бедный Федорушко! Угонят мало ближе, чем Аввакума... Таисий, не слушая больше, обогнул Мытный двор, пошел

Москворецкими воротами на Красную площадь.

Прошлую ночь «гулящий» провел у Конона в Бронной слободе и теперь ладил туда же.

Немой оружейник был чем-то обозлен и расстроен. Он пил, ел и спал, почти не замечая Таисия. Собирал инструмент, таскал под избу в тайник.

Таисий подумал: «Уж не обыска ли он ждет? Дьяков и решеточных Конон не любит, но дьяки, должно статья, прознали, что у Конона деньги есть...»

Когда утром оружейник открыл тяжелую дверь в тайник, Таисий полез туда же. Тайник был завален инструментом и платьем. Беря из своего сундука кису с золотом, «гулящий» решил: «Запалит Конон избу».

В душном сумраке прируба атаман ватаги Серафим лежал на своем одре. Улькин отец сидел на краю постели, старики снова говорили по-тонку о делах:

– Чуй, Серафимушко!

– Ну, чую... На то и бодрствуем – не спим...

– Што делать с девкой нам? Бродит, как волчица, и не подступись – когтем и зубом возьмет. Укрылся, вишь, парень-то в боярском доме...

– Делать што, скажу... Покудова, Миколай, парень тот жив, мне Ульки твоей не сватать, а тебе дочки не видать здоровой.

– Ну-у?

– Думаю о том много... потому говорю...

– Уж не колдовство ли над ей какое уделано?

– На черта не клепи зря, – любовь, она посильнее черта. Ведаешь, на празднике в Коломне мы их на ночь свели, они же годы живут. Надо развести, только добром ништо подделаешь – разлучка тюрьма ему ай смерть! Смерть крепче тюрьмы – из тюрьмы она его ждать будет. Зато у смерти взять нечего...

– Ты суди, как пса от Морозовой-то уманить? Достанешь, как убить такого вепря?

– Надумаем как – не каменный, а и камень от огня лопают... Перво – достать их, штоб жили с ватагой.

– То первое дело...

– Ни зраком угрозым, ни словом штоб от нас заначки не было. Втай промышлять о их головах!

– Двоих, думаешь, вершить!

– А то как? Они-это одно – один без другого не живет!

– Думай – чем ближе.

– Много думано... Дочь твою напустить надо в дом боярыни.

– Эва надумал! А она там останетца?

– Мекаю я, не останетца долго... У боярыни живут смирно, она постница, молельщица, они же, встреться, нешто утерпят от блуда?

– Вот ты, голова! Конечно, не утерпят...

– Теперь сам суди, скарество в таком дому развел, – ведай: уходи борзо!

– Еще вот... она пыталась, сам знаешь, попасть к нему, да молода, пригожа – в рядно худое не лезет, обряды на себя крутит красные... Слепой ее разве с убогим призрит...

– А мы ей грамотку добудем! С грамоткой примут.

– С умом не складусь, где мы такую грамотку и от кого добудем?

– Слушай...

– Ну?

– Нынче уходил я в Симонов монастырь к молебствию и за милостыней, а пуще проведать, кого монах-старовер Трифилий к Морозовой боярыне послал. Прознал, что послана им тайная староверка Мелания<sup>226</sup>. Вот до той Мелании от Трифилия и грамотку добудем.

– Нам монах не поверит.

– А пошто нам? К Облепихе ходит, чай, сам видал – старица тоже, как и Мелания, – уговаривала та старица дочь твою, я услышал, тако: «У нас-де тихо... благолепно, а тут во грехах ты живешь...» Ульяна твоя завсе от нее отрекается. Вот мы с тобой той старице молым: добудь-де нам для нее грамотку в дом Морозовой к Мелании, и пусть-де Ульяну примут там пожить, а мы-де тебе ее в монастырь сговорим...

– И как ты, Серафимушко, удумал! Диву даюсь я...

– Дивить некогда... В утре придет старица...

Так случилось, что Таисий угадал. Когда с Красной он спустился в сторону Никитских ворот, Бронная слобода горела. Толпа людей бежала на Бронную, иные шли на Красную площадь, говорили, спорили.

– Всем на огородах в сухое время указано печи топить<sup>227</sup>, а со скорбным нешто сговоришь?

– Правда! Ты ему языком, а он те кулаком!

– Своеволит! Большой боярин ему отец крестной... Далеко видно было бурые клубы огня, слышался отдаленно хряст дерева и стук топоров – стрельцы ломали окрест пожара уцелевшие дома.

– Безъязыкой черт! Сколь людей пустил по миру!...

– Не безъязыкой виновен: грабить пришли дьяки-денежные матошники искали!

– К безъязыкому ходил одорукий кузнец серебряной: «Онде деньги делает...»

Таисий от Никитских ворот вернулся на Красную площадь, а потом перешел мост и, выжидая сумрака, брел стрелецкими слободами медленно на Облепихин двор. Он боялся Ульки, осторожно пробрался в свою хату; ему казалось, никто не знал о его пребывании, только те неведомые враги – два старика – заметили, и Серафим сказал Улькину отцу:

– Миколай... один из тех, кои нам надобны, вернулся в ватагу!

– То, Серафимушко, славу богу, только бы куда не убрел опять?...

– Ништо. Один вернулся, другой прибежит...

<sup>226</sup> *Староверка Мелания* – историческое лицо, глава учениц протопопа Аввакума.

<sup>227</sup> ...на огородах в сухое время приказано печи топить... – Во избежание частых и страшных тогда пожаров летом в Москве запрещалось топить печи в домах.

Старовер монах Симонова монастыря, в миру Трифон Плещеев, стольника государева<sup>228</sup> дядя, написал, по просьбе старицы Фетиньи, к старице Мелании в дом боярыни Морозовой малое письмо:

*«Дочь моя духовная Мелания, раба господня! Прими мое благословение, посланное с сею отроковицею именем Улианю, а отроковицу сию старица Фетинья, много радеющая о делах древлего благочестия, молит тебя, дочь моя, о том, чтоб Улианию оставить в доме боярыни – нашей приспешницы и благодетельницы; за то, что Улианию она, Фетинья, прочит в монастырь. Та же скудеет людьми рать Иисусова, а юных дев и жен призреть потребно, ибо они, вкусив благодати древлего благочестия, становятся в ряды необоримых праведников, готовых за двоеперстие принять конец мученический...»*

*Смиранный Трифилий-иеромонах».*

Мелания прочла Морозовой послание Трифилия, и Улька была принята, как все убогие, бога для. В тот же вечер, по правилам боярского дома, умылась в бане. Ей выдали сукман смиренного цвета, а ее цветную одежду, хотя и чистую, отдали опроти прачкам.

После ночевки на Облепихинском дворе Таисий рано ушел и еще день проходил по Москве, глядя на казни подделывателей медных денег. Народ голодал, так как товаров в лавках почти не стало. Хлеба тоже. Купцы и торговцы требовали серебро. Серебра же ни у кого не было. На кружечных дворах, на харчевых народ собирался скопом, говорил на бояр угрозные речи.

«Нет атамана, – думал Таисий. – Надо нам с Сенькой принять бунт... собрать людей, направить... Все кричат идти, а оружия нет. Без оружия милости у царя не ждать... От Морозовой к царю пробираться долго... в бунте и убить его!»

К ночи Таисий вернулся в дом Морозовой. Когда он сменил черный кафтан на мантию, а шапку на скуфью и, вымытый, шел в крестовую, встретил злые глаза Ульки. Она на радостях, что попала в дом, где живет Сенька, о Таисий забыла, теперь же вспомнила, увидев его.

«Какой черт пропустил к нам эту безумную девку?»

В крестовой боярыня была не одна, а с тощей, желтой и сухой молельщицей Меланией. Таисий читал «Житие», монахиня с Морозовой молились. Когда сели обычно отдыхать, Мелания начала поучать боярыню:

– Не делом, матушка Федотья Прокопьевна, заводить в дому причетчиков... Хорошо он, брат сей, чтет, а не строго, не по-древлему... И ликом и духом мужским на молитве зрение свое и чувство искушаешь... Ужо-тко подберу я тебе старицначетчиц правильных, а брата мы в горницы пустим с убогими.

Морозова виновато ответила строгой староверке:

– Начетчиц, мать Мелания, не прилучилось, брат же Таисий правильный чтет...

– До поры был надобен, а пришла я – иную жизнь поведешь, благообразную.

В другом конце дома случилось иное. Улька с нищими не молилась, она в поварне помогала и по дому, потом же, улучив время, отыскала горенку Сеньки с Таисием, начала ее мыть, мести и постелю вытряхивать.

Ключница Дарья, хвалившая Ульку за расторопность, вдруг насторожилась, пришла, когда она мыла горенку, а Сенька сидел на лавке, глядел на полураздетую девку, распоясанную, со сбитыми распущенными волосами, сказала строго:

– Кто тебя упрашивал, девка, такое творить?

– Чого, матушка?

– Того! Вся чуть не нагая, и мужик на лавке сидит! Такого греха в нашем доме еще не бывало...

– Чого ему не сидеть? Да, може, он мой дружок был!

---

<sup>228</sup> *Стольник государев* – Леонтий Плещеев, начальник Земского приказа, убитый народом во время Соляного бунта 1648 г.

– Ай, ай, греховодница!

Поджимая губы и подозрительно оглядываясь, ключница ушла. Улька вымыла горенку, убралась и вымылась. Рубаху она скинула, надела сукман в рукава на голое тело, запоясалась и застегнулась. Рубаху свернула в узелок, положила в угол, в стороне от двери. Пришла в горенку нищих, посидела мало и фыркнула:

– Вонь у вас непереносная!

Она тихонько вывернулась за дверь и босыми ногами тихо пробралась к Сеньке.

– Семен!

– Молчи... Зачем пришла? Опасно! – сказал Сенька.

– Без тебя жить не могу! Гаси свечи.

– Не надо... уйди, бешеная!

– Прогонишь? Буду кричать, кинусь тебе на шею при всех и все расскажу!

– Не смей своевоить!

– Молчи... полюби... и я молчу...

Улька махнула на свечи, потушила огонь...

В сумраке, с потемневшим от краски лицом, Улька, расстегнутая и распоясанная, юрко скользнула за дверь горенки. Строгий и злой голос сказал ей:

– Стой-ко, стой, безобразница!

Ключница Дарья схватила Ульку за руки. Улька вывернулась из железных рук старухи и, запахнув сукман, скрылась в горенку нищих.

В это время из крестовой вышли Морозова с Меланией и Таисий, – они все трое шли с зажженными свечами.

– Что тут, Дарьюшка, чего полошишь народ?

– Матушка боярыня! Да как же не полошить? Кричать надо – вот зри-ко, зри! – Ключница развернула Улькину рубаху.

– Рубаха! Зрю, Дарьюшка.

– Да вот новая девка, што вчерась пришла к нам, блуд творит, скарредство...

– С кем?

– С убогим в этой горенке, што в веригах живет! Боярыня изменилась в лице. Глаза стали строгими и как бы ушли в глубь под брови. Переступив с ноги на ногу, чтоб не пошатнуться, понизив голос, продолжала допрос:

– Чем докажешь?

– Чем еще, мать, доказывать? Рубаху скинула-в сукмаие пролезла к нему... Я пождала, послушала их, – чула, говорят, а потом она вывернулась, на себя непохожая, распоясанная. Я ее удержать ладила – и нет! Вот позови-ка, она нынче тут... в обчей...

Боярыня сказала строго:

– Возьми, Дарья, рубаху, – звать всех, будить... никуда не уйдет, а завтра рано позовем конюхов, и мы ее допросим... они говорили?

– Ну, как еще? Говорили, боярыня, слышала ясно.

– Таких грехов, сестра Федотья, в дому праведном не можно терпеть! – сказала Мелания.

– Непотребство! Скарредство! Его изведу я из дому, – ответила Морозова, и они ушли.

Таисий вошел к Сеньке. Он прислушался и, убедившись, что никого нет, сказал:

– Ты что же не мог ее прогнать?

– Не мог, Таисий! Испугала, черт... Хотела нас выдать.

– И так выдала. Завтра под плетью откроет, кто мы, потом и нас поволокут на Земский двор.

– Ништо! Я вериги сниму да ими перебью всю боярскую дворню.

– Велик бой затеваешь, парень! Тут одних кучеров с сотню наберетца, да дворников, да холопей. Нет! Давай-ка оденься в скуфью, рясу – вериги не снимай – укрой, и мы уберемся из Кремля... Караульные стрельцы меня знают – тебя же со мной пропустят. В Замоскворечье пойдём, убредём, а ее, чертовку, завтра пушай секут, сколь надо!

– Ладно, коли так!

– Иного пути нет, да и жить нам тут незачем! Староверка перевернет весь дом на Аввакумову пустынь... Нас дело ждет.

### Глава III. Старый кабак

В сторону устья Москвы-реки и Яузы, если идти к Земляному валу и мало ближе Облепихина двора, стоит Старый кабак; прежнее название он сохранил в отличие от кружечных дворов, так как вина не курил и медов кабак не варил.

В старину строили – лесу не жалели, строение древнее, но прочное. Фундамент кирпичный, пол земляной, потолок курной и крыша с дымником. Печь разгораживала кабак пополам, от нее полаты на ту и другую сторону. Питухи, ярыги кабацкие, пропив платье, залезали на эти полаты, марались в саже и вовсе теряли облик человеческий. Двери как в сарай, поезжай хоть на тройке – колесом косяк не заденешь. В первой половине пустые бочки по углам, в другой – стойка с целовальником, с кувшой обширной, пива из этой кади, казалось, никогда не выпить. За стойкой поставы с винной посудой, с кружками, ковшами и калачами большими пшеничными, желтыми, похожими на хомутины. В углах за стойкой факелы горят с раннего утра до поздней ночи. У стены перед стойкой светец с лучиной. Лучину щепали и огонь поддерживали сами питухи затем, что у огня можно рог табаком заправить и трубку простую закурить. Кури и в карты играй, и в зернь катай, а хочешь зови скоморохов – заказывай им игры или с ярыгами кабацкими затевай глум – запрету не было. Выгоняли из кабака лишь тех, кто пил, а заложить было нечего, и денег не было.

Бородатый, слегка сгорбленный целовальник, с глазами кроваво-красными, старик, он же и голова кабацкий Аника-боголюбец, слухом туп, но любил глаза потешить. Скоморохи были гонимы еще до Никона, Никон же, насаждая везде церковное благочиние, указал: «Гудки, сопели, бубны и всю богопротивную погань отнимать и жечь на болоте, где казнят и колдунов жгут». Но пожженное помалу воскресало, а на Старом кабаке скоморохи не боялись, что их потянут на съезжую или в Разбойный приказ, – тем смелее им стало, как прослышали, что Никон кинул патриаршество.

Боголюбцем Анику прозвали за то, что нигде у него не висело государево запрещение: «Питухов от кабаков не гоняти». Вместо этого у кабатчика висела большая желтая надпись на телятине<sup>229</sup> с увещанием: «Слово святого Иоанна Златоустого о матернем лае в пользу душевную всем православным христианом»:

«Не подобает православным Христианом матерны лаяти, понеже мати божия пресвятая Мария, родшая творца небу и земли – бога спаса нашего... Та госпожа заступница наша о всех нас православных христианех, за весь мир бога умоляет... Другая мати родная всякому человеку. Тою мы свет познахом и от сосца воздоихом, та труды и болезни нас для прият и нечистоту нашу и многие печали подъят, и скорби. Третья мати – земля! От нее же кормимся и питаемся и наготу свою студную покрываем и тьмы благ приемем по божию велению и к ней же паки возвращаемся – иже есть погребение...»

Целовальник Аника-боголюбец воспрещал матерные слова. Не слыша слов, он их угадывал по губам ругателя, грозил пальцем и, ежели питух не унимался, приказывал выбить вон, и питухи слушались. Кроме матерных слов, во всем им было раздолье. За это раздолье кабацкое Аника не раз стоял на Земском дворе в пытошных клетях перед воеводой и дьяками, пишущими при допросе воровские речи пытаемого. Его пугали и клещами, каленными добела, и дыбой, и палачами, готовыми сорвать с него сукман и начать расправу. Не раз ему говорилось, что позван он за бесчинства, кои идут на его кабаке: обругание святых церковей питухами, обругание угодников божиих и самого бога, да и непристойных-де речей про великого государя, да про бояр честных родов сказуются немало...

---

<sup>229</sup> *Телятина* – пергамент из телячьей кожи.



Аника всегда кланялся земно воеводе, поясно кланялся на стороны дьякам и говорил: «Нечетно лет володею кабаком и не единожды просил, штоб меня на целование крестное по кабаку не брать. Отец-воевода и вы, государевы люди, дьяки милостивые. А што вижу? Сажают! И крест целовать велят и голову кабацкому делу не дают, – я же един голова и целовальник. Да ведомо вам – я чутьем скорбен, слово в уши мои вбивать, подобно, как клин в стену... Зором тож притупился... мои помощники– ярыги, да што они смыслят? Власти же: объезжий господин с решеточными указуют мне: „Гони лихих людей!“ А я их понять не умею – питух есть питух... Сами же господа объезжие по кружечным и харчевым дворам ездют, а мой кабак объезжают».

Кабак Аники-боголюбца давал приказу Большого дворца в два раза больше против всех кружечных дворов. Царь не раз приказывал на Земский двор: «Способных людей не гнать! Целовальников кабацких прибирать таких, штоб доход напойных денег был в полу больше лонешных<sup>230</sup> годов... Анику же того на Старом кабаке не шевелить!»

Воевода с дьяками на Земском дворе порешили:

– Коли-ко государь того целовальника заступает, то дать ему владеть кабаком в свою волю!...

– А лихие как же, боярин?

– Лихих людей по делом их имати в ином месте, опричь Аники...

В хитрости Аники-целовальника было много правды-объезжие ночью боялись к его кабаку подступиться. Один-таки объезжий сыскался из храбрых, набрал стрельцов да земских ярыг и набежал суд чинить, но его убили из пистоля, а стрельцов и решеточных разогнали кольем. С тех пор из властей к Старому кабаку никто не являлся.

Сегодня по сумеркам Таисий с Сенькой пришли в кабак Аники-боголюбца. Под полой кафтана у Сеньки привешен старый друг – шестопер, а панцирь, взятый у Конона, надет под шелковую синюю рубаху.

Питухов в кабаке было довольно, немало скопилось и лихих, для работы своей ожидавших поздних часов. Лихие, приметив приятелей, Таисия с Сенькой, говорили в углу за печью:

– Новцы-молодцы деньги имут!

– Не новцы, жильцы с Облепихина двора...

– Едино, откуда – нам на ночь хабар есть! – И тут же видели многие диво.

Таисий подошел к стойке, положил перед Аникой золотой.

– Зрите! Кабак покупает!

– Эх, питухи, гуляем седни!

Целовальник не спеша взял золотой, попробовал на зуб. Пристально поглядел на него, покидал о дубовую стойку – ухмыльнулся, вытянул из пазухи кожаную кису, спрятал золото. Подняв голову, сказал на весь кабак громко:

– Гуляй, парни, с богом! Пей, ешь задарма...

– Ой, то спасибо!

– Хабар на сей день!

Таисий также крикнул на всю избу:

– Слышали?! Пей, ешь, за все плачено. Кабак купил я – на вечер атаманом буду голи кабацкой! Есаул мой вот! – Он положил руку на плечо Сеньки. – Что укажу – слушайте! Что прикажу – исполняйте! Обиды, налоги никому не сделаю, опричь супротивных тех, кто зачнет тамашиться и над смиренными питухами налогу чинить!...

– ...Добро, атаман!

– Будем слушать во всем! – отозвались голоса питухов. Замаранные сажей до глаз, без рубах, в одних портках, с черными крестами на шее, полезли с полатей питухи-пропойцы...

– Эх, и лю-у-ди! Крест не берут, а за портки ничего не дают.

– Вишь, того богатства не пропили!

Целовальник Аника деловито, не спеша наливал пропойцам, кто на какой стакан показывал. Дрожащие руки тянулись к стойке, плеская вино; у иных посуда в дрожи стучала по зубам. По замаранным бородам текла водка.

Аника дал им калач. Калач разломил на куски, но ели плохо и пили, хотя жадно, но мало. Потом, торопливо покланявшись, вновь улезли на полати.

– Вот зрите! Эти люди царю пятую деньгу платят и десятую, а ведомо всем, што получают за то? Пинки да глум! – крикнул Таисий, простирая руку в сторону последнего питуха, который, карабкаясь на печь, срывался и снова лез.

За пропойцами к стойке пить водку подошли скоморохи с бубнами, гудками, сломницами<sup>231</sup>. Крашенные хари несли в руках, один ряжен медведем в буром мохнатом кафтане, ноги в рукавах, полы закреплены на плечах, харя висела на спине, играть – надевалась на голову; другой – вожаком медвежьим, он был без хари, в руках батог; третий наряжен козой; четвертый – рыбаком, а пятый – разбойником с дубиной, за кушаком нож.

– Ух! Этот страшный...

– Пошто?

– Вишь, рожа в крови!

Всех подошедших к стойке Аника угощал деловито, спокойно.

Скоморохи отошли к дверям кабака, за печь. К стойке потянулись голодные лапотные мужики, больше беглые и безработные. Иные с лицами в шрамах – все они одеты в сермяги, подпоясанные веревкой или лыком, а шли с прибаутками:

– У смерда рожа и одежда нелепа, да у боярина ферязь золотна – рожа лепа!

– У боярина крыша цела, да у смерда изба в два угла! Таисий крикнул:

– Кабы тот подруб, што зовется народ, подгнил, осел, – так на царских хоромах вся бы позолота стала грязью!

– Изба царская-боярская давно покривилась, да царь с боярами и по косым половицам в здравии ходют!

Кто-то из сумрачной дали кабака крикнул:

– Ужотка ту косую избу подожжем!

– Эх, ты! И я верю, братья, запалим ту избу! – крикнул Таисий.

Питухи всё подходили, пили, брали калачи от целовальника и уходили с поклоном Таисию.

За печью спорили, видимо, лихие:

– Я сказывал тебе! Таких парней, как эти двое, губить не след, потому ватаманы они.

– Их-то и губить! Вольные люди-они гиль<sup>232</sup> затевают.

– Гиль? А ты, старый черт, загунь!

– Гиль, старичок, дело правильное!

Кабак преобразался, переставлялись столы. Тяжелый светец передвинули к стене. Два стола поставили малых – один справа, близ стойки, другой слева; в середину также не плотно к стойке приставили стол со скамьей, стол большой, крытый рогожей.

– Кто кадиловозжигатель? – спросил Таисий. На его зов вышел скоморох-разбойник с дубиной.

– Благослови, отец настоятель, клепати к службе!

Таисий двинул вперед обеими руками, скоморох поклонился и, уйдя к дверям, редко и гулко ударил одиннадцать раз дубиной в бочку.

– Займите клиросы! – приказал Таисий.

За правый стол уселся Сенька, за левый – пропойца из подьячих. Кадиловозжигатель

---

<sup>231</sup> *Сломница* – коленчатая трубка.

<sup>232</sup> *Гиль* – мятеж, бунт.

принес Таисию железный рукомошник, набитый горячими углями, обвязанный проволокой.

– Маловато финьяну, да углей довольно! – поклонился он Таисию.

Чинно кланяясь, Таисий пошел по кабаку, раскачивая кадило, – угли пылали. Кадилом сумрачно освещались лица питухов. За печью на приступке огнем углей осветило лица двух стариков и с ними женщину, в которой Таисий узнал Ульку.

Ведая чин церковный, Таисий вышел на середину второй половины кабака, помахал кадилом на стороны с поклоном, воскликнул:

– Восстаньте, верующие!

Он кадил всем вставшим на ноги, потом подошел к стойке, поклонясь, покадил целовальнику с возгласом:

– Воскурю фимиам угодику Ани-и-ке! Сей божий дом имени его-о!...

Потом, махая кадилом, вошел за стол, покрытый рогожей. На стол до прихода Таисия целовальник приказал ярыге поставить большую чашу с вином и калач положить, нарезанный кусками. Таисий возгласил, кадя направо и налево:

– Паки и паки придем и припадем с усердием к топору и палице! Благослови, душе моя, возлюбити ярость народную-у!

За правым столом Сенька громко читал малый лист нараспев:

– «Слуги твоя понесут огонь палящ! И градом и стогами его пройдут огонь и воды гнева народного-о!»

За печью слышалось громко:

– Чуешь ли, Серафимушко? Ой, дьяволы!

Таисий слышал голос Улькина отца, но не обратил особого внимания. За левым столом такой же клочок бумаги исписанной читал подьячий-пропойца:

– «И насытится земля кровью поработителей и утеснителей, и покорим и устроим землю свою, дающую нам хлеб!»

Тот же скоморох с кровавым лицом подошел к столу Таисия с черной мантией, заплатами синими кусками какой-то ткани. Куски изображали кресты.

Таисий, делая руками благословение, надел мантию и провозгласил громогласно:

– Обновим, братие, лицо земли! Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых, сбывающих медь замест серебра, делателей нужды и горя народного!

– Правильная твоя служба, атаман! – заорал хмельно питух из глубины кабака.

От кадила пахло угаром, и в душном воздухе, пропитанном винными запахами и запахами пота и одежды, стало трудно дышать. Таисий, потрянув головой, продолжал нараспев:

– Путь нечестивых, ведущих насилье, погибнет! Да возродится, приблизится стезя праведных, жаждущих и алчущих – да имают добро трудов своих из рук бояр мздоимцев... Спаси, спасе, и изведи из темниц мучимых нечестивцами...

– Аминь! – громко сказал Сенька.

– Аминь! – повторил пропойца за другим столом.

– Кадиловозжигатель! – крикнул Таисий.

Подошел скоморох с замазанным кровавой краской лицом, поклонился.

– Отец настоятель, я тут!

– Прими кадило и клепли братии на трапезу!

Таисий передал скомороху кадило. Он, принимая, по чину отдал поклон.

У дверей кабака в сумраке раздались удары дубины по бочке, потом скоморох, названный кадиловозжигателем, стал носить по кабаку большое решето, наполненное кусками калача, хлеб скоморох раздавал всем питухам. Другой скоморох, он же вожак медвежий, подходил к стойке, где неутомимый целовальник Аника наполнял кружки, ковши и стаканы водкой. Все питухи кланялись, принимали даровую водку, пили с похвалой громкой атаману. Только два старика на приступке печи и их спутница Улька не приняли подношения. Один сказал:

– Да покинем сие бесовское сборище!

– Убреем-ка подобру, Серафимушко! – ответил другой и прибавил: – Ульяна, иди!

– Пожду, батя!

Когда старики вышли за двери, один из лихих, подойдя, сказал Таисию:

– Ватаман! Двое гнилых ругали веселье наше, дай знак – уюкою...

– Не бреди в навоз – замараешься! Пушай идут.

– Эх, а я бы их упрятал... Чую, с поклепом пойдут!

– Пушай! Опоздали они...

По вкушении вина и хлеба братская трапеза буйно зашумела, только по-иному. Хозяевами кабака стали скоморохи. Таисий не воспрещал им. Они с пением и пляской подвели к столу, где сидел атаман, средних лет женку – плотную, краснощекую, одетую в алый, обшитый галуном золотным по подолу, шугай распахнутый, в красной кике и в красном же сарафане кумачном. Кричали приплясывая:

– Отец атаман! То будет невеста.

– Жених ее где?

– Жениха она у тебя просит, кого укажешь. Дело вдовье – с любимым венчаетца!

– Семен, – позвал Таисий Сеньку. – Влеки свой стол на середку, аналой будет, стань ей женихом, красной бабе...

– Повинуюсь, атаман!

Стол поставили. Сенька взял красную бабу за руку, два скомороха подхватили их, повели кругом стола, напевая..

– Посолонь водите! – крикнул один из питухов саженого роста, могуче втираясь в толпу скоморохов.

– Истинно! По-нашему, древлему, венчать, – согласился Таисий.

Из-за печи вывернулась злая Улька тоже в пестром, ярком наряде, крикнула:

– Семен, я встаю, не надо Фимку!

Таисий из-под полы кафтана показал ей пистолет. – Бешеная! Я хозяин здесь – убью! Улька скрипнула зубами и скрылась.

Пара венчаемых ходила кругом стола. Скоморохи, держа два бубна над их головами, пели:

Отдал меня батюшко не в малую семью...  
Што не в малую семью да неурядливую!  
Еще свекор, да свекрова, да четыре деверя,  
Што четыре деверя – две золовочки!  
Две золовочки-колотовки да две тетюшки.

– Стой! Буде им... Ране, чем спать уложить, надо еще приданое честь: може, есть на што сесть, а лечь-то на што есть ли, какая тогда свадьба?

– Сажай жениха с невестой!

Сеньку с красной бабой скоморохи, подхватив под руки, с поклонами отвели за стол, где сидел пропойца подъячий. Он с последнего ковша водки упал под стол, храпел там и бредил, зажав в кулаке кусок калача.

Перед столом Таисия скоморохи выстроились в ряд, заговорили, перебивая друг друга:

– Вот посаженный, батюшко атаман, невестин отец...

– Выходи, Михайло!

Вышел скоморох-медведь, поклонился.

– Невестин отец, батюшко, будет чести, што идет невесте!

– Читай, Михайло! Скоморох-медведь начал:

– «Невеста! С ей в приданое поп, тому же попу в кадило три пуда угольев восходило – и когда ён кадит, то от попа на версту худым духом смородит! Когда же его с кадиллом к образам ташшат, у святых в ту пору борода трешшат! Роспись о приданом поистлела оттого, што невеста сто годов в девках сидела... Все же чту: за невестой восемь дворов

хрестьянских, промеж Лебеядни на старой Рязани, не доезжая Казани, где пьяных вязали... меж неба и земли, поверх лесу и воды... Да восемь же дворов бобыльских, а в них полтора человека без чети. Три старца деловых у пустых кладовых, четверо в бегах да сиделец тюремной в долгах».

– Хо-о! Черти, крашенные хари...

– «Да в тех же дворах стоит горница о трех углах над жилым подклетом, живут в ней только летом. Третий двор на Воронцовском поле, позади Тверской дороги. Во оном дворе хоромного строенья – пень да коренье и еще – два столба в землю вбито, третьим покрыто. Сходитца с тех дворов в год хлеба насыпного семь анбаров без задних стен. В одном анбаре десять окороков капусты, семь полтей тараканьих да восемь стягов комарьих...»

– Буде с приданым! Потчуйте званым – пить хочу! Потому – заутре бой на медные деньги...

– Пей! Не мешай невестину обряду.

Угрюмый, саженного роста питух, двуперстно крестясь, шагнул к стойке, глаза узенькие, злые, медвежьи.

– Такому бы у скоморохов медведем быть!

– Правильно! Скомороший медведь-овсянник, а этот был бы бурой!

– Кто ён?

– Кирилка-старовер! Ух, и не любит же он царя-государя!... Слышал не раз – сказует Кирилка.

– И Никон от царя, – заедино веру изломил! – кричали питухи...

Аника налил подошедшему Кирилке ковш водки. Выпив, рыгая хмельным, старовер нагнулся к уху Таисия:

– Атаман! – забубнил он, стараясь говорить тихо. – Тебе сказать хочу по-тонку. Значит, как ежели бой...

Таисий, не отвечая Кирилке-староверу, встал, махнул рукой, останавливая глум скоморохов, крикнул на весь кабак:

– Народ! Назавтре в то же время все здесь с топорами. Топоры под кафтанами... Кабак будет куплен – пить, гулять станем!

Кирилка кивнул Таисию головой:

– Скажу завтре!

Стихло кругом, скоморох продолжал читать роспись приданого; она у его была записана на пергаменте из старой телятины, протертом до дыр.

– «Еще за невестой идет четыре пуда каменного масла! Да в тех же дворах уделана конюшня без дверей, стен и кровли... В конюшне той три журавля стоялых да один конь шерстью гнед, а шерсти на нем нет!»

– Вот так скотинка! – крикнули питухи.

– Не мешать роспись слушать!

– «Тот гнедой конь передом сечет, а зад волочет... К тому же приданому две кошки дойных! Восемь колод наделанных пчел – меду того не чел! Два ворона гончих, да с тех дворов еще сходитца на всякий год запасу – по сорок шестов собачьих хвостов! Киса штей да заход сухарей!»

– К черту тя! Сухари из нужника!

– «Малая поточка молочка да овин немолоченный киселя!»

– Хлебай сам, когда обмолотишь! Фимка подошла, шепнула Таисию:

– В ночь на Облепиху иди бойся, ночуй у меня, – старики грозились, они ведомые, злые хитрецы...

– К тебе идем, женка! Скоморох не кончил читать:

– «За невестой две шубы – едина соболья, другая сомовья, обе крыты сосновой корой – кора снимана в межень, задрав хвост в Филиппов пост! Три опашня сукна мимо зеленого... драна сукно по три напасти-локоть! Однорядка не тем цветом!»

– Пределы каким?

– «Калита<sup>233</sup> вязовых лык – лыки драны в Брынском лесу в неведомом часу – на восходе в полночь. Крашенинные сапоги! Ежовая шапка!»

– Носи сам к роже плотно!

– «Четыреста зерен зеленого жемчугу!»

– Сыщи, пожалуй!

– «Ожерелье шейное с гвоздями в три молота стегано – серпуховского дела!»

– Попади в Разбойной, дадут такое – дела московского!

– «Из ямы – заяузским золотом шито – семь кокошников!»

– Ведомо, какое золото валют в ямы за Яузой!

– «Девять перстней железных, гожи кому и на руки, кованы... камни в них лалы из Неглинной бралы! Телогрея мимокамчатая, круживо берестяно... по ней триста брызг с Москвыреки брызнуто! И всего приданого сойдетца на триста, пусто! На пятьсот – ни кола! Прочитальщику чара вина, слушательщикам бадья помой – лик и уши умой! А кто ся записи не слушал, тем по головне!»

– Эй, атаман! Скоморохам по чарке вина!

– Вину и калачам вы хозяева – пейте! – сказал Таисий. Он, поймав Сеньку под руку, пошел из кабака... В теплом сумраке за ними кто-то спешно шел, видимо догоняя. Приятели остановились, разглядев Сенькину невесту Фимку.

– Ух, запыхалась! Ты ко мне обещал? – сказала она Таисию.

– А жених твой с кем спать будет?

– Ты кабак купил... деньги есть и вдовой, от сестры Облепихи ведаю, а его зазови – шальная Улька глаза выдерет.

– Я вдовой – правда! И деньги есть, только розно с приятелем покуда идти не след. Говорить надо, а у тебя есть ли тихое место?

– Никого в избе – вся изба моя, забредут иные – не пущу,

– Добро! Идем, брат, сговорим уйдешь.

Старики из кабака вышли. Серафим сказал;

– Завтре безотменно в кабак Ульяну пошлем, Миколай!

– Пошто, Серафимушко?

– А надо ей узнать и нам сказать, што затевают разбойники.

– Гиль, не иное што!

– Но где и в какое время скопятца? Медный бунт заваривают, к тому народ поят водкой... нам же надо предупредить объезжего! Знакомец наш, тот старый дворянин с Коломны.

– Тот, што борода помялом? Мохната...

– Тот... наши бабы в его дому на Коломне бывали – Ульяна про замысел их ему доведет...

– Самим надо! Не бабьего ума дело, Серафим...

– Того не можно! А ну, как не удастся взять сатану Таисия – тогда конец нам, Ульяне же добром сойдет... «довела, дескать – убоялась, што ее. приголубника в бунт заводчиком потянут!»

– Эх, Серафимушко! Переведет она Сеньке наш сговор и не пойдет...

– Ты чуй! Сговорить ее надо – разжечь: «Таисий-де твоего Сеньку с Фимкой сводит...»

– Оно, пожалуй, гоже такое? Тогда пойдет!...

– Уберем голову, а Сеньку убрать легко – глуп, доверчив, пойми!

– И это ладно удумал ты, Серафим!

В летнем теплом воздухе кривыми тропками пробрались на Фимкин двор. Сама хозяйка первой зашла на крыльцо, увитое хмелем, отворив дверь в сени, бойко скрылась в сумраке избы. Слышно было, как она у печи вздувала огонь лучины в углях жаратка. Сенька с Таисием ждали в сенях. Фимка крикнула:

---

233 *Калита* – кожаная сумка на ремне или кованом поясе с застежками (словарь Савvaitова).

– Заходите.

Осветив огнем лучины просторную лежанку с кирпичными ступенями, плотно приделанную к курной печи, Фимка полезла на ступени, откинула на лежанке створчатую дверь – за дверью начинались ступени вниз.

– Ниже сгибайтесь – пролезете! – И первая полезла под избу, прибавила: – Кто последний, крышку накрой!

Сенька влез последним. За скобы поднял створки, закрыл вход.

В подызбище пахло печеным хлебом, овчинами, медом. Подземелье было невысокое, но обширное, над головой на толстых бревнах лежал настил пола избы. Войдя с огнем, Фимка на широком столе зажгла две свечи, лучину затоптала на земляном полу. Окон не было. Хозяйка пошла в глубь подземелья, открыла дверку, повеяло холодком летней ночи, запахом травы. Кровать Фимки близ стола, широкая, с пестрым лоскутным одеялом, с горой подушек в красных наволочках. Ножек у кровати нет. Кровать широкой рамой врыта в землю.

Друзья присели у стола на скамью. Оба огляделись, заметили в глубине столб, подпиравший настил, на нем образ, зажженная лампадка мигала от ночного ветра, огонь свеч на столе тоже.

– Женка! Прохладно, запри дверь, – сказал Таисий.

– Припру! Сыщу когда... – Фимка за дверью чего-то искала. Дверь заперла, принесла на стол малый жбан пива, две деревянные точеные чашки и оловянную торель с пирогами. – Пейте, ешьте, а я подремлю.

Она столкнула с ног кожаные уляди, завернув в красную юбку голые крепкие ноги, упала на кровать ничком, и видно было, что скоро уснула.

Приятели выпили пива, заправили по рогу табаку и с бульканьем воды стали курить. Таисий из пазухи вытащил кожаную сумку, порылся в ней, звеня золотом монет, достал два письма и, передавая их, заговорил:

– Тут, Семен, два, оба надо повесить. Едино с Лубянки, другое с Красной. Как письма устроить, не ведаю, только рано прибить до народу... Народ к тем письмам кинется, дьяки тоже – так спервоначалу шум зачнется...

– Знаю человека – устроит...

– Письма писаны нарядным<sup>234</sup> росчерком Максима Грека<sup>235</sup>, титлой – ищи во гробех писца!

– Ты бы, Таисий, берег золото, сгодится.

– Серебра долго искать, да и пойматься можно! Завтра на кабаке люди будут с топорами, поить много не надо, – Анике втолковать тоже. С большого хмелю в бахвальстве меж собой, гляди, посекутся – дело уронят... Впрочем, то моя забота. Ты же завтра направляйся в Коломну, жди меня с народом... Спать будешь на мельнице, где переход за Коломенку. Мельница не мелет, пуста – туда Кирилка придет, и я вас с ним найду... Без моего зова к царю не подступайте. Царь на Коломне живет...

– Ладно, завтра с утра направляюсь, только не весь народ придет к кабаку с топорами. Как ты призывал, я ходил по кабаку и слышал, говорили: «Топоры пошто брать? На бояр идем да к царю за правдой!»

– Дураки! Ищут у каменного попа железной просфоры, – он им задаст правду, коли приступят с пустыми руками. Вот говорил я тебе, народу надобен царь справедливый – без царя этот народ жить не будет! Неучен, попами запуган: нет царя – пойдет искать, а бояре

---

<sup>234</sup> *Нарядным* – поддельным.

<sup>235</sup> *Максим Грек* (1475—1556) – настоящее имя Михаил Триволис. По приглашению Василия III Ивановича в 1518 г. прибыл в Москву для перевода церковных книг. Собрал вокруг себя кружок, в который входили сторонники Нила Сорского и некоторые бояре, попавшие в опалу. Был осужден церковным собором и 20 лет провел в ссылке. Оставил обширное литературное наследство.

тут как тут, иного тирана подсунут, худшего.

– А все же царей не должно быть!

– В будущем – да, не теперь...

– Теперь – убить одного, сядет другой – и другого так же...

– Много ли таких, как Кирилка? Мало их или нет!... Попы учат: царь – бог, а как на бога пойдешь? Народ суеверен...

– Как убить, указал Кирилке ты?

– Завтра на кабаке договорим как. – То ладно! Лишь бы не изменил...

– Этот не изменит...

– Дальше как будем вести дело?

– С царем кончим... Лихие дома бояр разобьют и их побьют. Сидельцев из тюрем пустим, стрельцы есть сговорные, а там из дела видно будет.

– Иду спать!

Сенька встал, обнял Таисия, тот спросил, прощаясь:

– Пистолы с собой есть?

– Два – бери! Два дома про запас лежат. Таисий принял пистолеты. Сенька ушел.

Улька много раз вылезала за тын Облепихина двора, приседала, вглядывалась в лесок, в кусты, слушала и снова шла к себе. Ее окликнул отец:

– Уляша!

– Чого тебе?

– Иди-ко... мы с Серафимом слово молым...

– Не до тебя, отец!

– Все едино, кого ждешь – скоро не вернетца!

– Пошто не вернетца?

Улька вошла в избу, бабы спали, отец провел ее в прируб. В прирубе Серафим, атаман ватаги, сидел на своей чисто прибранной постели в плисовой черной однорядке. Борода старика расчесана, волосы приглажены на лысину и лысина, вымытая, с волосами, помазанными маслом, блестела, глаза тоже светились хитрой ласковостью. У черного образа горела лампадка, на полке резной над кроватью Серафима медный трехсвечник пылал тремя огарками толстых свечей.

– Праздник у вас нешто? – спросила Улька, садясь на кровать отца.

– Праздник, дитятко, новой объезжий у нас.

– Кто таков, што празднуете?

– Коломну помнишь? Ты с бабами к ему в избу ходила сатану зазывать с нами на Москву – Архилин-траву – Таисия.

– Не говори, батя, о нем, не терплю. А и терплю, то ради Семена...

– Люби ай нет – все горе от него! Серафим, сощурилась, поглядел на отца Ульки:

– Чул я, Миколай, как ён на кабаке шептал Семену, когда скоморохи их венчали...

– Да ведь вы ране того ушли? – спросила Улька.

– Миколай-батько ушел, а я замешкался... чул...

– Ну!

– Сказал ён так: ночь с Фимкой проспи, я уйду... в избе места много... с новой женкой счастья больше добудешь – расторопна, не Ульке твоей пара.

Улька скрипнула зубами, вскочила.

– Пойду я!

– Остойся, девонька! Сегодня, може, и вернетца, а дале надо тебе помочь.

Улька села, тяжело дыша, меняясь в лице, спросила тихо:

– Как тут помочь, дед Серафим?

– Вылечить едино от лихоманки – дело пустое, лишь бы человек верил, слушался, делал все, што укажут, – тогда и дружка приколдуем... хи-и...

– А ну же, не томи! Дед Серафим!

– Без смертного дела, девушка, не обойтись! Архилин-траву надо с корнем вырвать,



штоб больше от ее колдовства не было... Колдует та трава просто – уйдет и дружка твою уведет...

– Уведет, Уляша! Ой, уведет...

– Так я его нынче же зарежу! Попроюсь к Фимке, все ее ходы под избу проведала...

– Послухай меня, девушка. Он, Таисий, бывалой вор, не такими, как твои ручки, хватан был, а вывернулся. Нет! Взяться за него надо умело... Будешь слушать – поучу!

– Учи, дед Серафим! Слушаю...

– Дворянин Бегичев ныне объезжий... К ему надо – он не один, он со стрельцы, а у стрельцов пистолы да сабли. К ему проберись и шепни на поганую траву!

– А чего шепнуть?

– То шепни, што завтра на Старом кабаке узнаешь... Пройди к вечеру в кабак, притулись в угол темной, к пропойцам женкам, там будешь знать, что объезжому доводить. Мы же тебя с батьком на Коломну, как на ковче-самолете, предоставим, в обрат сам объезжий лошадь даст с почетом, не просто так. И страху тебе терпеть не надо, без тебя сатану свяжут да в гроб положут!

– Ладно – так сделаю!

– Только, девушка, дружку своему и во сне не проговоришь!

– Знаю, што они один за другого!

– Покрестись, девушка, на образ – бог видит, дай слово ему сполнить обещание.

Улька, стоя рядом с отцом и Серафимом, шептала то, что Серафим говорил:

– Господи боже! Не сполню обещания, данного честным старцам отцу моему Миколаю и рабу божьему Серафиму, то накажи меня болью непереносной – глазной темой и сырой могилой, аминь!

Улька, не глядя на старцев, ушла.

– Сделает! – сказал Улькин отец. – По лицу вижу: ежели смура лицом стала да брови дергаютца – сделает...

– Аминь! – прибавил Серафим.

В доносе на воеводу Стрешнева Семена, подтвержденном видоками, истопником и девкой – дворовыми Стрешнева, Иван Бегичев оказался правдив во всем, но царь до времени оставил дело Стрешнева за собой. Любимец царя Богдан Хитрово и боярин Милославский слово сдержали – устроили Бегичева на Коломне беломестцем. Двор Бегичева с пристройками, садом и избами жилыми и нежилыми получил освобождение от всех поборов, так и записан был в писцовые книги: «Двор Белый».

По предписанию того же оружейничего царского Хитрово Богдана воеводе Земского двора – «дать дворянину Ивану, сыну Бегичеву, службу» – Бегичева сделали объезжим замест убитого лихими у Старого кабака.

Худой дворянин с Коломны, став объезжим, загордился. Объезды были часты; даже в свободные от работы дни шли люди, стрельцы и ярыги Земского двора, не те, что пожарного дела, а кои по сыску держались, – они приходили, звали, требовали, ежели дело шло об «гилевщиках» или людях, сказавших: «слово и дело государевы!» На старости Бегичеву и тяжело иной раз приходилось, но жадность к наживе, а пуще к отличию на государевой службе заставляли покой забывать. Кроме того, грамотный, усердный к церкви, обновленной Никоном, Иван Бегичев зорко преследовал раскол и имел по тому делу не один спор с объезжим патриарша двора.

В своем участке на Коломне дальнюю избу, где когда-то жили Таисий с Сенькой, Бегичев сделал приемной. Указал служилому люду заходить к нему с речки Коломенки в калитку, через сад, а подумал так: «Грязь в горницы не носят».

Как все, Улька пришла к Бегичеву тем же ходом. Встала у дверей. Бегичев писал дьякам Большого дворца про обложение харчевых дворов. Раньше письма исчислив, сколько даст новая прибавка к старому, косясь на Ульку, подумал: «Лезут, и не за делом... Девка-таки станом статна и ликом пригожа... Пождет...» Приткнув глаза в очках, оттянув бороду за кромку стола, писал:

«Великим государем, царем всея великая и малыя Руси, самодержцем Алексием Михайловичем указано: служилым дворяном, чтоб они всячески искали прибытку государевой казны, и я, холоп великого государя, дворянинишко Ивашко, сын Бегичева с Коломны, беломестец и объезжий улиц, что у Серпуховских ворот<sup>236</sup>, досмотрел обложить...» «Чего ей?»

- Девка! Чего тебе тут? Улька поклонилась.
- Голова мотается – пошто же язык нем?
- С того молчу, што начать как, не знаю...
- Пришла – значит, знаешь.
- С поклепом я, дядюшко...
- На полюбовника поди поклеп? Пождала бы на улице...
- Я, дядюшко, приезжая, московская... с Облепихина двора...
- Тот двор, што за нищими есть?
- Нищий двор, дядюшко... тот.
- О, тем двором давно хочу заняться! Ближе поди – сядь на лавку. Там еще с ним обок Фимкин двор?
- Постою. тут... Фимкин двор за вал будет...
- Иди! Сядь! Я власть большая, да с молодыми девками не гордая.
- Улька подошла к столу, села на лавку в стороне.
- На кого доводишь? – Бегичев снял очки.
- Хоша и бывала с нищими на твоём дворе, да кабы не старики наши, больше не пошла.
- Мало смыслю – какие старики? И так доводишь...
- Давно было... а когда бывала тут – ведала: в этой избе жил гулящий человек, звался Иваном, только у нас его кличут Таисием...
- Помню, девка! Жил такой Иван Каменев, у солдат на Коломне слыл черным капитаном... тот?
- Тот, дядюшко!
- Вот ладно! Я его давно ишу... Так што, девка?
- Удумал тот Таисий лихое дело на великого государя... Молить?...
- Ой ты! Говори, говори... – Бегичев кинул перо на стол. – Доходи конца!
- Удумал он великого государя...
- Говори, не запирайся!., государя?
- Вот я шальная... удумал тот Таисий убить...
- Што-о?! Великого государя?
- Да...
- Где ж он живет, тот лиходей?
- Где живет – укажу...
- Когда и где задумано убить?
- Послезавтра – в Коломенском... У собора, ай где, не ведаю... шумно было...
- Тот Таисий не один, девка? Не запирайся – дело государево... У Как всегда в волнении, Бегичев, привычно запрокинув голову, поковырял ногтем в рыже-седой бороде.
- Другой? Семеном звать того, не шевели... с нами живет.
- Твой полюбовник, должно?
- Мой он...
- Такой же разбойник, ежели его друг...
- Семена не шевели!...
- Семеном? У меня жил Григореем звался – двуличен!
- Сказываю, не шевели! – вскочила на ноги Улька.

---

<sup>236</sup> ...*объезжий улиц, что у Серпуховских ворот*... – Из-за смешения автором Коломны и Коломенского Бегичев, житель Коломны, оказывается московским объезжим головой.

– Мое то дело!  
– Не дашь слова не тронуть, и я тебе не доводчица!  
– Вот как?  
– Или коли так пошло – на тебя доведу большим боярам, што ты в своем доме крыл Таисия... И ведал, што Таисий Коломну зорил, а солдаты заводчики тож в твоём доме бывали!

Незаметная дрожь тронула. холодом ноги Бегичева. «Черт девка!» – подумал он и тихо, вкрадчиво начал:

– Того довода твоего, девка, я не боюсь... А пошто не боюсь, скажу: кто тебе поверит и до больших бояр кто пустит? Теперь же слово тебе даю – пушай, коли разлюбезный твой Семка будет в целости, ежели сам кому из властей не попадетя... Гилевщики уж шумели сегодня на Москве, и ежели его в заводчиках не сыщется, пошто парня трогать, а Таисия имать – укажи время...

– Укажу...

– Награду поймешь от великого государя, колико нам удасться его словить!

– Я пришла по злобе! Мне твоя награда не надобна...

– Так, так...

– А так!

– Сказуй честно, не говори лжи и место кажи не пустотное, без отвода глаз! Инако за кривду у нас на Земском дворе палачи с трех ударов кнутом человека на полы секут.

– Меня, дядюшко, ежели што озлит много, ай бедой накроет тяжкой – я тогда деюсь шальная... лихоманка меня трясет... тогда хоть на огне пеки, слова не молвю!

«Эх, и хороша же девка! Моя Аграфена – корова супротив этой...» – решил Бегичев.

«Кинуться да удавить черта? – подумала Улька. – Нет! Пришла не спуста... Сатане надо, Таисию, могилу наладить...»

– Чего умолкла?

– Думаю, как лучше взять его, Таисия!

– Чего надумала?

– Завтра, дядюшко, как отзвонят к вечерне, будь в леску за Облепихиным двором, там объявлюсь я – ударю в печной заслон три раза, поезжай тогда на Фимкин двор... следом приду, укажу ходы под избу. Теперево дай лошадь и человека нас увезти в обрат,

– Нешто ты не одна?

– Со старцем я, он на харчевом дворе.

– Поди, зови старца того... лошадь и возник вам будут налажены!

Ночью вернулся Сенька. Улька прикинулась сонной. Ныло везде избитое на дворе Морозовой тело. Пуще стыд брал, что секли ее голую, рубаху кинули, когда велели одеться. Она не плакала, только искусала губы в кровь. Сама Морозиха Федоска, окаянная, с крыльца глядела и тростью махала, «сколь бить».

«Все он, скаредник, причинен ее бою...» Сегодня Ульке казалось, что первый раз она невзлюбила Сеньку: «Кабы сам – бей сколь надо! А то чужие, псы, холопые пьяное...»

Сенька слегка тронул Ульку за плечо:

– Ульяна!

Она промолчала, всхрапнула, будто просыпаясь.

– Ульяна!

– Чего тебе?

– Ты, как заря зачнет, оденься, пройди на Лубянку, да вот два письма и воск, прилепи – одно к столбу с образом, другое на Красной, к тиуньей избе... Оборотись, поспим до солнышка, и я в Коломенское.

– Таисий на Коломну шлет?

– Не спрашивай... Подремли мало, и я тож.

– Давай письма!

– Рано еще... решетки, сторожа...

– Мне што решетки, во всяк час бывала, давай, письма. Сенька отдал письма. Он чувствовал, что девка зла на него, но знает – как бы ни сердилась, а сделает все, что им приказано.

Улька беззвучно и скоро исчезла. Сенька заснул.

Проснулся Сенька – солнце только чуть показывалось. Выл набат на Лубянке.

«Зла девка – старики, должно, позвали?»

Он скоро надел сермяжный крашенинный кафтан, суму спрятал кожаную в заплочный мешок. В суму пистолеты сунул и шестопер, а панцирь, надетый на рубаху, закрыл легким полукафтаньем: «с ходу не обнажится, на мельнице переоденусь...» В руки взял дубовый батог, окованный снизу железом, на голову нахлобучил просторную, кропаную скуфью, под нее спрятал кудри. Пошел, слыша шум далекий со стороны Кремля. В таком виде едва нанял извозчика.

– Пошто тебе возника? Убогому... лапотному...

– Вишь, шумят! Слышишь?

– Едем, коли. Седни, должно, по Москве не ехать! Извозчик нанялся везти Сеньку до половины пути;

– От яма обратно верну!

Сеньке дальше и не надо было – поворот в этом месте дорога делает в сторону, он же, зная путь, решил идти перелесками да полями – «не так жара бьет, и идти гораздо ближе. Сенокос окончен, идти не по траве, не дойду – под копной ночью...»

Небо безоблачно, солнце – хотя и вечереть стало – жгучее. На безлошадный ям приехали, Сенька отдал деньги, извозчик мало кормил лошадь – скоро повернул назад.

В большой ямской избе было душно, воняло прелью и сыромятной кожей, в сенях пахло дегтем – дверь в сени растворена. По стенам избы развешаны свежие гужи и хомутины новые. В углу у двери кадка с водой. Ковшик, когда Сенька взял пить, кишел мухами. Толстая баба с лицом цвета сыромятной кожи, пряча под серый плат вылезшие на уши волосы, вышла, позевывая, из прируба. Вскинув сонные глаза на Сеньку, сказала:

– Вздохни, дорожный... сядь... я, чай, тяжело в пути... Вишь, я заспалась сколь?

– Тут, тетушка, жарко у вас...

– А-а-сь? Жарко! Ишь мух сколь... – она замахала руками. Сенька поклонился бабе и вышел.

Выйдя, он взглянул на большую конюшню в стороне, конюшня напомнила ему свою во дворе отца Лазаря Палыча. Вспомнив отца, Сенька тяжело вздохнул!

– С каурым бы поиграть! Эх, ты – времечко прожитое... Шагнув, вернул за угол конюшни, сел на опрокинутую вверх дном колоду. Вынул рог, попробовал, не высохла ли в нем вода, нашел, что рог в порядке, стал набивать табаком трубку, Набивая, услышал знакомый голос:

– К ночи бы поспеть, дед Серафим... «Улька? А пошто здесь?»

– На экой паре коней скоро прикатим! Мы с младшим зайдём на ям, – може, квасу дадут?

Сенька отложил в сторону батог, чтоб не мешал, выглянул из-за косяка конюшенных дверей: Серафим необычно наряжен в черную плисовую однорядку, на голове тоже новая плисова скуфья.

Когда они все трое ушли в сени избы, «гулящий», подняв свой батог, осторожно шагнул из конюшни и спешно пошел в сторону за огорода и гумно. За гумном в кустах остановился, закурил и, продолжая путь, подумал: «С поклепом были! Таисий сказал на кабаке: „опоздали“, и все же лучше бы было гадину Серафимку посечь!»

#### Глава IV. Медный бунт

Близко к середине площади толстый столб с кровелькой крашеной, под кровлей в долбленом гнезде за слюдой огонь неугасимой лампы. Огонь мутнел от рассвета. Сквозь

легкий белесый туман заря, разгораясь, покрывала все шире золотые купола церковей розовато-золотой парчой. По холодку утра, ежась, сморкаясь в кулак, крестясь на встречные часовни, плелись в узких черных кафтанах пономари тех церковей, где не было жилья звонцу. Народ необычно густо шел со Сретенки к столбу с иконой на площадь.

– Письмо!

– Письмо – кое еще?

– Побор – о пятой деньге указ!

На столбе пониже иконы висело письмо, прикрепленное воском. Около письма уж тыкались лица людей. Неграмотные были ближе, а грамотных нет, иные письменное понимали худо. Люди шевелили губами, осторожно касаясь строчек письма корявыми пальцами.

– Што тут? О пятой деньге?...

– Хитро вирано... скоропись.

– Кака те скоропись? Зри, полуустав.

– Ведаешь, так чти!

– Може, оно нарядное, от воров, и чести его нельзи? – Растолкав батогом толпу, сретенский сотский подошел.

– Григорьев! Соцкой, чти-ко, не пойдем сами. Сотский<sup>237</sup> негромко и как бы удивленно прочел:

– «Народ московский! Изменники Илья Данилович Милославский, да Иван Михайлович Милославский же, да боярин Матюшкин, да Федор Ртищев окольниковый, свойственники государя...»

При слове «государя» у сотского глаза стали пугливые. Он сказал:

– Эй, робята! Не троньте бумагу, не сорвите, а я на Земской двор – дьякам довести, тут дело государево – бойтесь!

– Не тронем!

Таково начало Медного бунта 1662 года в июле. К письму пробрался стрелец, длиннобородый, сухой и немного горбатый.

– Во, грамотной! Чти-ка нам, Ногаев.

Стрелец, держа бердыш, чтоб не порезать кого, топором вниз, бойко, громко прочел:

– «Народ московский! Изменники Илья Данилович Милославский, да Иван Михайлович Милославский<sup>238</sup> же, да боярин Матюшкин, да Федор Ртищев окольниковый, свойственники государя... – стрелец приостановился, подумал и еще громче продолжал: – и с ними заедино изменник гость Василий Шорин продались польскому королю-у!»

– На Ртищева с Польши листы были!

– Ведомо всем! Не мешайте Куземке-е!

– Чти, Ногаев.<sup>239</sup>

– «Сговор они вели с королем, чтоб у нас чеканились медные деньги, и чеканы многи к тому делу король польский „таем прислал“.

– Прислал?

– Изменники Милославские – слушь! «Ведомо вам всем, что одноконечно ценны лишь серебряные деньги, медные же цены не имут. Через гостя Ваську Шорина изменниками ране сговора было опознано, что купцы медные деньги брать не будут...»

---

<sup>237</sup> *Сотский* – выборный староста сотни, как правило, из зажиточных людей.

<sup>238</sup> *Иван Михайлович Милославский* (ум. в 1685 г.) – боярин, родственник Ильи Даниловича Милославского.

<sup>239</sup> *Ногаев* Кузьма, стрелец, и далее упоминаемый посадский человек *Лука Жидкой* – исторические лица, вожди восставших во время Медного бунта 1662 г.

– И не берут!

– Народ с голоду помирает!

– Не мешать! Чти, Ногаев.

– «...и на Украине польской медных денег не берут же, и наши солдаты на Украине от той медной напасти помирают голодною смертью!»

– Еще бы! Конечно, правда.

– «Куса хлеба на медь достать не можно».

– У нас тоже!

– «Сие злое дело любо и надобно изменникам для лихой корысти, а польскому королю и панам любо для разорения нашего».

– Вот правда!

– «Всякий вред и пакости православным польскому королю любви за то, что он – злой лытынец, враг веры христовой! Ратуйте, православные, противу изменников!»

Прочтя письмо, стрелец закричал, стигаясь вправо и влево:

– То истинная правда, товарищи!

– Брюхом та правда ведома!

– Ведаем правду от тех мест, как Никон сшел!

– Ведаем, а пошто молчим?!

– Искать! Топорами замест свечей светить!

– Правильно! Сговорено на Старом кабаке-е!

Толпа густела, лезли люди видеть письмо. Поп церкви Феодосия, что на Лубянке, торопливо пробрался в церковь, сказал пономарю:

– Пожди звонить к утрене... все одно – мало придут – бей набат!

С колокольни Феодосия завыл набат, в то же время с Земского двора верхом прискакали двое: дворянин с розовым лицом, с бородой длинной и круглой, как лисий хвост, с ним рядом дьяк в синем колпаке, в черной котыге с ворворками, за кушаком кафтана пистолет. У дворянина пистолеты у седла. Махая плетьюми, оба кричали:

– Раздайсь!

– Што за кречеты?

– Ларионов<sup>240</sup> дворянин да дьяк Башмаков!

– Во, письмо забирают!

Ларионов сорвал письмо, повернул лошадь.

– Пропусти, народ! – И помахал плетью. Его пропустили, но пошли за ним к Земскому двору обок, сзади и спереди, не давая уехать скоро.

– Пошто те глаза с Земского?!

– Набат слышали!

– Соцкий сретенский бегал на Земской!

– Лупи их, ребята, и все!

– Не сметь! Мы люди служилые, государевы...

– У государя и изменники служат!

– Государевы? А письмо везете дать изменникам!

– Государя на Москве нет!

Кучка стрельцов пристала к пестрой, потной толпе горожан. Тот же стрелец, который читал письмо, кричал в толпу:

– Православные! Пойдите всем миром: дворянин да дьяк – боярам люди свои, отвезут письмо Милославскому, тем и дело изойдет!

– Правильно, Ногаев!

– А коли што! Лови их!

---

<sup>240</sup> Ларионов Семен Васильевич – дворянин, судья на земском дворе Активный участник следствия после Медного бунта.

Толпа сжалась плотно, лошадь дворянина схватили под уздцы, а его за ноги, за желтые сафьяновые сапоги.

– Не двинься – разуем!

Сотский Григорьев шел с толпой, ему закричали:

– Донес, черт! Бери у него письмо, ай то камнем... Григорьев, тощий испитой человек с лицом корявым и бледным, как береста, повис у седла дворянина, губы у сотского тряслись.

– Дай письмо! Не хочу помирать... – И вырвал у дворянина письмо.

Дворянин плохо держал письмо, по дороге толпа сорвала с его седла пистолеты, и ему хотелось скорее уехать.

– Афанасий, едем скоро!

Толпа расступилась, они уехали, но Григорьева стрелец Ногаев взял за ворот, повел; вся толпа повернула за ними. Кто-то кричал: —

– Товарыщи-и! На Красной у тиуньей избы взяли другое письмо, такое же-е...

– Разберем.

– Идем все!

Теперь площадь освещало раннее солнце. Туман голубел и рассеивался. В голубой мутной вышине выл медный набат... Удалые из толпы, пряча топоры под кафтанами, пошли в церковь говорить с попом. У церкви и на паперти густо, но только нищие.

– Поп! Звони к утрене.

– Крещеные! Пономарь за государевым делом...

– Берегись! За то дело голову прочь.

– Помолитесь, пареньки, пошто шум? Господь, он, батгошко, умиротворит душу...

– Сперва в кабак! Молитва сзади, а тебе за набат – во! Показали топоры. Поп испугался, дал знак пономарю звонить к утрене.

Притащенный на площадь сотский сретенский кричал;

– Отпустите Христа для-а!

– Нельзя... как ватаман да стрельцы укажут – еще к земскому уволокем!

– Пошто туда с поклепом бежал?

– Соцкой я, имя – Павел, Григорьев сын, Мне объезжий указал: «Коли шум, беги на Земской двор!»

– Шум не велик!

– И поведем на Красную!

В кафтане из рыжего киндяка, в дьячей шапке с опушкой из бобра появился на площади Таисий.

– Ватаман! Чти письмо, ладно ли?

– Письмо истинное! За правду... С ним идти в Коломенское к царю!

– Мы еще соцкого сволочим на Красную,,

– Истинно!

– С письмом к царю: «Дай изменников!»

– Ватаман! Теперво с чего зачинать?

– Тюремных сидельцев вынять!

– Бою там много! Стрельцы...

– Караулы крепки – сторожи многи!

– Сила за вами! Стрельцы, солдаты идут.

Кто-то, выбившись из толпы, кинулся к Таисию, положил ему руку на плечо. По тяжести руки Таисий, оглянув человека, признал в нем Конона-бронника. Бронник обнял Таисия и жестами стал объяснять: он гладил себя по голове, погладил бороду и показал, что борода много длиннее его бороды. Тыча кулаком на Кремль, замычал, хмурясь.

– Вишь! Языка ни, кулак дело знает... кажет Куим, что Васька Шорин бежал...

– А куды?

– Сперва сшел в рясе монаха на Кириллово, а как наши сметили, сбег к князю

Черкасскому.

– Вишь ты?

– У Кириллова наши воротника взяли за ворот, ён и сказал: «Чего глядели? С задних ворот сшел на княжой двор!»

– То, оно! Передние ворота ко князю со Спасской улицы...

– В задние утек!

– Ништо! Дом ево разбили, слышал, да сынишку Шоринова уловили – к царю поведу-ут!

Солнце к полудню, на потные головы палит жаром, шапки у всех в пазухах. Отливая радугой, тускло отсвечивает в узорных окончинах слюда. Тихим ветром наносит из знойного воздуха прелью гнилых бревен, падалью – из закоулков. Дремлют башни древние.

В разных концах города выл и ширился набат.

За тын Мытного двора<sup>241</sup>, в конюшни и стойла пастухи, усталые и злые, загнали скот – проходное платить и поголовное. Отогнав погонными батогами упрямых быков, ворота во двор заперли. Поглядывали искоса на тюремную вышку покосившейся, широко севшей в глубине двора избы. Боярин на балкон, окружавший вышку, не выходил, как обычно, не спрашивал подьячих, кои ведут счет скотским головам, и подьячие на двор не выходили же. Один высокий старый пастух сказал:

– Долго ли на экой жаре ждать дьяволов? Скот тамашйтся!

– Боятца, Порфирий. Вишь, шумит народ.

– А, черт с ним, делом! Ладно и день погулять, – сказал другой.

– Идем! Може, боярина какого батогом ошарашим... Не все нас бить.

Ушли. Замаранные навозом полы кафтанов подтыкали за кушаки. Тяжелые, куцые, утирая потные лица шапками, шли вразвалку, упираясь на погонные батоги. Шли туда, где выл набат и шумел народ. Вслед за ними к воротам, бороздя рогами по бревнам, подошли быки, нюхали влажный воздух, идущий с Москвы-реки. Иные ревели, коровы мычали, блеяли овцы. Подпаски-мальчишки, боясь разъяренных быков, залезли на тын. По переходам в служилую горницу боярина пошел дьяк; войдя, поклонился Милославскому, сказал:

– Боярин! Я чай, у бунтовщиков на письме есть и твое имя?

– Не видел глазами... Сказывали, есть.

– Так мекаю, пробратца бы тебе от шума? Управим с подьячим, а то пастухи, черт их душу, зри, народ наведут...

Милославский молча послушался, пошел из избы. Спускаясь на двор по скрипучим ступеням, затыпанным навозными ногами, подумал: «Построй покляпился, крыльцо тож сгнило – починивать надо...» Лошадь держали оседланную, но боярину пришлось спешно стащить с плеч красный зарбафный кафтан. Едва лишь сел он, быки, нагнув лбы, пошли к его лошади. Милославский, сдернув кафтан, сунул под себя, зеленой подкладкой вверх. В желтой шелковой рубахе, в голубом высоком колпаке с узорами из мелких камней по тулье, хлеща буйную скотину плетью, проехал среди мычания и сопения до ворот. За воротами галочий крик – черно от бойкой птицы.

У ворот дворник сдернул с головы шапку, сгибаясь в поклоне, распахнул одну половинку ворот. Быки вслед за лошадьё боярина шиблись вон, свалив на землю дворника. Отползая в сторону, дворник вопил:

– Куды пошли, окаянные!

– Пусти! Пастухов нет! – крикнул боярин.

На голос боярина дворник распахнул ворота. Быки, коровы, телята, мотая от мух хвостами, бежали к реке пить, из открытых хлевов посыпали овцы. Мычанье, блеянье смолкло, набат стал слышнее. За воротами боярин снял сияющий колпак: «Долой его от людей! Глаза... кафтан от быков прочь... ну, время!» Он ехал берегом Москвы-реки,

---

<sup>241</sup> *Мытный двор* – таможня, где собиралась пошлина со скота, пригоняемого в Москву.



оглядываясь, а в голове толклись мысли: «Письмо, дерзкое, воровское... шум уймут – писцавора сыскать!»

С хитрыми глазами, бородатый, одеждой похожий на свой куб, обшитый мешком, сбитенщик говорил корявому, неповоротливому калашнику, поставившему свое веко рядом.

– Гиль идет! С народом тогда не тянись, Гришка. Народ– што вода в кубе... звенит куб, покель не закипела вода... закипит, щелкни перстом по стенке, услышишь – медь стучит, как дерево...

– Что-то мудрено судишь!

– Примечай... народ кричит, зовет, ругаетца до та поры, покеда не закипел! Пошел громить – закипел... Тогда нет слов, един лишь стук!

Слышно было на Красную – в Китай-городе, в стороне Хрустального переулка, звенела посуда или стекла, и слышался там же хряст дерева.

– Оно – быдто лупят по чему?

– И давно уж! Шорина гостя дом зорят...

Выли и лаяли собаки, а над гостиним двором черно от галок...

– Нешто опять сретенского Павлуху волокут? Григорьева сына...

– Все с письмом волочат, а ту, у тиуньей избы, попы сняли другое, сходное с тем...

– Попы безместные, вор на воре – може, они и написали?

– Оно то и я мекаю! С Красной, Гришка, уходить надо, – я пойду!

Сбитенщик надел ремень своего куба на плечо.

– Я тоже! – Подымая лоток, попросил: – Поправь шапку, глаза кроет...

Сбитенщик поправил ему шапку. Оба проходили мимо скамьи квасника. Квасник, пузатый, лысый, блестя лысиной, расставлял на вид разных размеров ковши.

– Уходи, плешатый, гиль идет!

– Вишь, народу – што воды!

Подтягивая рогожный фартук, квасник, тряхнув бородой, гордо ответил:

– Советчики тож! Да на экой жаре черти и те пить захочут...

– Ну, черт и будет пить! Хабар те доброй... Они ушли, а квасник проворчал им вслед:

– Советчики, убытки... – Он снял круглую крышку кади, положил рядом с ковшами, из ящика достал кусок льда, кинул в квас.

Два русских парня, немного хмельных, в красных рубахах, с красными от жары лицами, первыми подскочили к кваснику, махаясь, кричали:

– Мы подмогём!

– Дедушко-о! Дай сымем кадь, скамля народу-у!

– Письмо! Изменники, знаешь ли, чести будут – тебе подмогем!...– Уронил крышку, срыл ковши в пыль на землю.

– Псы вы – собачьи дети! Бархат окаянной – хищены рубахи, летом в улядях, голь разбойная!

– Подмогем плешатому! Давай, Васюшка!

– Караул кликну – скамля, за нее налог плачен... место-о! Разбойники. – Старик нагнулся поднять крышку и ковши.

– Дедушко! Поди-кась, не пробовал свово квасу?

– Сварил, да не пил!

– Здымай, Васюшка! – Кадь сверкнула уторами, квас вылили на старика.

Старик не сразу опомнился – рогожный фартук с него сполз, с бороды текло, за шиворот тоже. Бормоча ругательства, едва успел подобрать ковши и кадь квасную откатить – хлынул народ, подхватил скамью на средину Красной площади. На скамью, горбясь, влез стрелец Ногаев, с другого конца, посадив, поставили пропойцу подьячего, завсегдатая кабака Аники-боголюбца. Оба они во весь голос стали читать густой толпе народа одно и то же письмо, только в двух списках.

Толпы людей копились в слободах. Из слобод текли лавой на Красную площадь, в ряды Китай-города и на Лубянку. Идя мимо кузниц, кричали:

- Ковали! Седни гуляем, идем правды искать!
- Кузнецы покидали работу – шли. Иные брали с собой на случай и молоты.
- Воег набат!
- Дуй, набат, звони панафиду изменникам!
- С каждым переулком, жильем мастеровых толпа густела.

Проходя мимо ям-подвалов, открытых и от дыма вонючих, где среди железного хлама: жестяных бадей, чугунов и обрезков, обломков полосового железа – копошились оборванные люди, с серыми лицами, на которых видны лишь белки глаз, да синий рот, да черные уши, кричали:

- Оловянишники! Кидай ад, идем рай искать!
- Ле-е-зем!
- Лудило! Раздуй кадило – боярские клетки кадить!
- Гоже на все! Квасникам:
- Квасовары-пивовары! Иное таким пойте, што день в руках портки носишь...
- Кидай кадь! Идем.
- Иду, товарыщи-и!

Толпа росла и росла. Без усилий и свалки смывала всех, вбирая в себя.

Иные шли из боязни, многие из любопытства, шли и такие, которым надоел бесконечный труд, а кому пограбить – те бемоли с шутками.

Царь, ревнивый к своей власти и имени, боялся умных бояр, хотя таких было немного, и этих немногих помня, как делали прежние цари, отсылал возможно дальше от Москвы в глухие места воеводами, но к Ивану, князю Хованскому<sup>242</sup>, зная его невеликий ум, властью не ревновал. Рассердясь, царь называл князя Ивана «тараруем» за частую речь и необдуманную. Сам же князь Иван в тайне сердца своего гордился, ставил себя выше царя родом: «Мои-де предки – удельные князья повыше Романовых да Кошкиных, романовских предков...» Не раз во хмелю и сыну своему Андрею мысль таковую внушал: «Не ты, Андрюшка, так дети твои, гляди, быть может, царями станут!»

Теперь с Коломны, ведая любовь народа к Хованскому, царь послал князя Ивана уговаривать бунтовщиков. Солнце припекло с запада, толпа росла и росла на Красной, теснясь к скамье, где стрелец Ногаев и пропойца кабака Аники-боголюбца читали много раз и снова по требованию перечитывали «письмо об изменниках».

- Гляньте! Царев посланец наехал! – Пошто не сам царь?
- Правильно! Ходокам обещал наехать в Москву суд-расправу чинить...
- Дорого просишь! Изменники – свойственники ево! Князь Иван с малыми стрельцами в пять-шесть человек пробрались к лобному месту.
- Эй, детушки! Детушки – штоб вас!
- Слышим, батюшко!
- Чего сгрудились? Чего расшумелись, штоб вас кинуло!
- Правду потеряли! Ище-ем!
- Детушки-и! Слушайте, понимайте, знайте!
- Слушаем тебя! Тебя нам не надо...
- Твоя служба против польского короля всем ведома-а!
- Детушки-и! Пошто сильны деетесь? Великий государь гневается, а коли пастырь озлен, то по стаду лишний кнут пойдет...
- Замест хлеба кнут?!
- Затихнем, как уберут изменников да медные деньги-и! – Пушай царь выдаст нам

---

<sup>242</sup> Иван Андреевич Хованский (ум. в 1682 г.) — князь, боярин, имел прозвище Тараруй, начал службу при Михаиле Федоровиче, был воеводой во многих городах. Во время Медного бунта пытался уговорить восставших, после разгрома руководил главной сыскной комиссией, которая вела жестокое следствие над восставшими. Был главой Стрелецкого приказа во время восстания стрельцов 1682 г., пытался использовать его в своих целях, но после разгрома восстания казнен вместе с сыном Андреем.

Милославских, Ртищева Феодора-а тож!

– На Ртищева с Польши давно листы были!

– На Феодора лихие поклеп навели! Лжа на Феодора, детушки... Про пастыря еще скажу: коли пастырь добер, то кусочек перепадет лишний овце хлебца!

– Докормила по гроб!

– С голодудохнем!

– Когда волками стали, овец меж нас не ищи-и!

– Князь Иван, эй!

– Слушаю вас, детушки! Слушаю, на ус мотаю!

– Мотай, да во Пскове баб не имай!

– Сказывают, как наместником был во Пскове, полгорода баб да девок перепортил!

– Навет, навет, навет! Детушки, старик ведь я, старик! Андрюшка мой таки баловался, так сын большой – где укажешь?

– Ой, бедовый – тоже грешен!

– Черт овец давит – на волка слава идет, на Андрюшку! Князь Иван вспотел, снял с головы стрелецкого начальника шапку, расправил русую бороду лопатой, развеванную на груди, и, пригнувшись, перетянул через седло на гриву коня тучный живот. Чалдар<sup>243</sup> на его вороном коне сверкал лалами и изумрудами, заревом на князе горел под вечерним солнцем золотный парчевой кафтан. Обтерев цветной ширинкой пот с головы, князь сказал ближним, сгрудившейся кругом толпе:

– С женками грех не велик, детушки! Коя женка заветца, ежели ей мужика не надо?

– Верно-о!

– Не надо мужика? Иди в монастырь, а они на глазах и стриженные с монастыря за мужиками бегают.

– Бывает, князь Иван!

– Со всей Сибири да из Тобольска епископы жалуютца патриарху, а паче царю, «что-де многие черницы с монастырей бегут, не снимая чернецкого платья, по избам ходят и детей приживают с приголубниками своими», а за то про то и грех мой кинем о Пскове! Што вот сказать от вас государю? Дело неотложное, детушки! Будете ли смиренны?

– Смиримся, как изменников даст!

– Сами придем на Коломну, у него искать будем!

– Бу-удем!

– Налоги, детушки, бойтесь! Своевольство помирите! Заводчиков не слушайте!

– Наша сказка царю такова – сами придем и Шоринова парнишку приведем!

– Он про батьку скажет, изменника, да иных назовет! Крики разрастались:

– Назовет! Назовет!

– Да мы и сами знаем, а царь пушай послушает! Хованский надел шапку, махнул стрельцам:

– На Коломенскую!

Они, повернув лошадей, медленно поехали, толпа расступилась, кто-то крикнул:

– Вот бы, товарищи! Хованского князя царем – добер князь!

– А живого царя куда денешь?

– Эй, вы! Буде о царях – смышляй телегу. Лучка Жидок в передок.

– Письмо у Лучки Жидкого! Гляди в оба.

– С Шориновым парнишкой и Лучку в телегу!

Толпа лавой потекла на Коломенскую дорогу, но толпа не вся двинулась в Коломенское, на Красной площади людей было довольно. Скамья опустела. Ногаев ушел с толпой в Коломну, пропойца – искать кабака.

На скамью, где читали письмо, встал Таисий.

---

<sup>243</sup> Чалдар – попона.

– Ватаман говорит! Чуйте-е...

– Люди московские! Вы кричали – Хованский, князь Иван желанный вам царь! – хрипло, но громко сказал Таисий.

Все молчали вместо ответа.

– Вы желали Хованского, а не подумали, чего желать хорошего от боярина! Подумайте – кто разоряет вас? Боярин! Пятую деньгу с ваших животов кто тянет? Боярин! Куда же идет эта пятая деньга? Идет она на пиры боярские да на войну... Война – прямой урон и головам вашим и прибыткам!

– Правильно, ватаман!

– Не зови народ на гиль! Худо будет тебе и народу-у! – крикнул кто-то из толпы.

Таисий продолжал, не обращая внимания на супротивников:

– Вы видите сами! Бояре дотла разоряют мужиков, посадских и мелкий торговый люд! Ежели хотите искать – когда тому время придет – иного царя, то ищите того, кто смерду и холопу волю даст! У царя из бояр не ищите счастья себе! Счастье ваше в свободе от кабалы! Боярин той воли дать не мочен... Боярину отпустить вас едино, что лошадь у тяглой телеги отпрячь, – вы та лошадь, отпряг, – телегу тащи на себе-е!

– Хо-хо-хо! Правда!

– Верно, атаман!

– Бояре работать гнушятся... воюют тоже худо, мешают один другому, боятся чужой славы, удачи и головы ваши ронят впусте!

– Говоришь ладно, но ужели боярин сам будет землю орать?!

– Без вас, мужики, холопы и вы, торговые люди, бояре – как тараканы на снегу!

– Бояр не будет, царя тоже, – кто зачнет войско назреть и государить?

– Сами тому научитесь! Меж себя удалых изберете...

– Эй, парень! К смуте народ зовешь!

– Заткните глотки тем, кто мешает для вас правду сказать! Государить зачнет тот, кто с вас кабалу снимет, волю вам даст! Медные деньги вас оголодили, а кто их выдумал? Бояре! Кто кроет тех, что делают фальшивые деньги? Бояре!

– Милославские! Ведомо, кто воров кроет за посулы!

– Бояре думают из веков так – чем вы голоднее, тем плодливее. Самый злой к своему страднику помещик радуется, когда у мужика семья растет. Лишнего человека, ежели самому не надобен, можно продать в кабалу.

– Оно верно – продают!

– Но вы – люди! Имя имеете, вас крестили попы, а вас, как скотину, на Мытном дворе загоняют платить за постой, за труд, и труд ваш отбирают! Захотят – угонят на бойню, и вы, как скот, покорно бредете!

Толпа молчала, кто получше одет – уходили с площади. Таисий хрипло кричал:

– Развели семью! Побегал от боярина мужик, семья осталась. По семье у кого из вас душа не болит! А вернулся к семье, бьют батоги, в тюрьму кидают, потом снова работай на боярина, пока не Помрешь. Идете к царю за правдой – не ищите! Требуйте ее... Царь законом держится, – тот закон царев для вас – тюрьма, дыба и кнут! Для вас, малых людей, у царя правды нет!

– Слышим тебя, атаман! Понимаем!

– Идем громить боярские дома-а!

Таисий устал, и без Сеньки пусто и грустно было кругом.

«Мало отдохнуть, а там на Коломну! Не ладно идут люди, руки пусты, будто с крестным ходом. Эх, будь что будет! Всякая кровь новый бунт родит...»

На белесом горизонте, отводя ветки кустов, подняв голову, Таисий по тропам стороной обходил Облепихин двор. Улька заметила остроносое лицо в дьячей шапке; по короткой бороде клином, по волосам, завитым на концах, и по всему обличью признав Таисия, скрылась в кусты за тын. Спустя час из кустов с того места, где была Улька, раздались удары в тонкое железо:

– Раз! Два! Три!., – Выпей, мужичок, пива, поешь да усни! Гляди-ко-сь, умаялся, волосы мокры, с обличья стал хуже... – уговаривала Фимка, лежа с Таисием на кровати, на столе горела свеча, в подземелье, далеко на столбе, светил огонек лампадки.

Таисий вынул тяжелую кису с деньгами из-за пазухи:

– На-ко вот, баба, спрячь! Жив буду – отдашь... Убьют – тебе на век хватит! Народ несговорной – стрельцы не любят холопей, холопи над мужиком смеются, а торговый люд идет, чтоб при случае всех покинуть...

– Тебе-то забота велика о том! Из веков народ несговорен – каждой норовит про себя...

– Велика моя о том забота! Изопью пива, есть не хочу... Много спать времени нет – выплусь... Слушай, женка, когда проходил, слышал – стрельцы говорили: «С утра рано бояра ворота в город затворят...»

– Эж, чего спужался! Знаю лаз – мы и без ворот с города уйдем.

– Лошадь наряжена?

– Конь лихой, садись – и все!

– Вот ладно!

Таисий встал, осмотрел пистолеты, они лежали близ свечи на столе... Выпил ковш пива, лег и закрыл глаза, он стал дремать...

Фимка в валяных улядах куда-то скользнула в сумрак.

Таисию стал сниться тревожный сон.

Беззвучно, как во сне, появилась Фимка, бледная, руки у ней тряслись. В руках она держала рухлядь: красный сарафан, шугай такой же и кикку:

– Справляйся, мужичок! – тихо, почти шепотом сказала она. – Обьезжий, стрельцы – Улька, сатана, довела...

Таисий вскочил на ноги.

Он молча натянул на себя сарафан, шугай и кикку надел на голову.

– Кика рогатая... в ей я колдую... многи боятся ее...

– Понял...

– Низ повяжи лица... вот плат... Тут, под лестницей дверка, толкни – ползком уйдешь в хмельник, десную о избу, а там задворками в лесок...

Вверху в избе шагали. На лежанке хлопнули откиннутые половинки входа в подвал. Таисий схватил пистолеты, один взял в руку, другой сунул за кушак, повязанный под грудями сарафана...

Показались ноги в сапогах, и вниз бойко перегнулась голова в стрелецкой шапке. Таисий выстрелил, человек с лестницы упал, не шелохнувшись. Дым заволок пространство у стола и лестницы. Таисий кинул пустой пистолет, схватил другой, присел к земле, пополз мимо убитого... За хмельником у угла избы в теплом сумраке стоял дежурный стрелец, стоял он там, где указала Улька. Стрелец был молодой парень, суеверный, – он дрожал и пугливо озирался. Когда скакали к Фимкину двору, парня напугали старые стрельцы рассказами:

– Вот хижка! Ее, ребята, берегчись надо! Едем мы, а душа в голенище ушла...

– Да, окаанный дом! Слышал, Фимка-баальница не одного человека волком обернула... ходи да вой!

– Глянь – и вылезет на тебя черт преисподний – рожа, што огонь, рога, тьфу!

По дороге парень испугался, сказал:

– Да што вы, дядюшки! Ужели правда?

– Ей-ей – пра!...

Обьезжий Иван Бегичев велел делать все молча.

– Стрельба будет? Отвечайте стрельбой, а голоса ба не было.

Молодой стрелец едва устоял на ногах, когда мимо его из хмельника в сумраке поползло адское чудовище, мало схожее с человеком. Помня приказ обьезжего «стрелять, ежели что!», он попятился, перекрестился, поднял карабин, худо помня себя и худо целясь без мушки, только по стволу, приставил к полке карабина тлеющий фитиль, выстрелил, уронив карабин, кинулся бежать с молитвой: «Да воскреснет бог и расточатся врази его!»

Он бежал к крыльцу, где фыркала лошадь обьезжего, привязанная к крылечному столбу, а сам обьезжий, горбясь и глядя бороду, сидел на татуре<sup>244</sup>, у крыльца же смутно краснел кафтан и белела борода.

– В кого стрелил, парень? – тихо спросил обьезжий, встряхивая бороду и распрямляясь. Стрелец, едва переводя дух, молчал.

– Куда бежишь от государевой службы? – голос обьезжего зазвучал строго.

– Ой, ой! Там, господин обьезжий, бес! В беса стрелил я... Парень едва выговорил. Зубы у него стучали.

– Перестань бояться! Тут баба живет мытарка<sup>245</sup>, она те подсунет кочета вместо черта! Веди, кажи, куды, – в белый свет стрелял, как в копейку? Лезь позади меня, ежели боишься...

Они пошли.

– Тут вот, дядюшко! Во, во, вишь?

– Вижу! Бабу саму и ухлестнул...

Бегичев возвысил голос.

– Эй, стрельцы!

Стрельцы все были спешены, лошади их стреножены в кустах. Подошли два стрельца:

– Господин обьезжий! Чул стук из пистоля?

– Два стука было – пистольной да карабинной, – оба слышал.

– Так, господин, когда был пистольной стрел, тогда лихой убил Трофима-стрельца!

– Эх, не ладно, парни! Трофим самый надобный стрелец был... А он вот, – указал Бегичев на молодого стрельца, – хозяйку убил. Обыщите дом!

– Да где ёна?

– Вон там, за хмельником лежит, нам не ее – лихого взять надо!

– Тогда, господин обьезжий, мекаем мы избу подпалить!

– Пожог? Нет, парни! Пожог – верно дело, лихой укроется... На пожар прибегут люди, а мы не ведаем – може, под избой есть ходы тайные, проберется лихой к народу и сгинет в толпе... Разбирай, кто такой! Все во тьме на лихих схожи!

– Как же нам! Полезем, а лихой в подполье, место тесное, играючи ухлестнет любого, едино как Трофимку-стрельца!

– Перво – тащите убитую колдунью сюды на крыльцо! – Слушаем! Давай, ребята...

Стрельцы подняли переодетого Таисия, из травы и сумрака перенесли на сумрачное крыльцо, Бегичев спросил:

– Есть ли факел?

– Иметца – вот!

– Зажигай!

В безветренном сумраке задымил факел.

– Эк его Филька стукнул! Затылка будто и не было. Только, господин обьезжий, он не баба – мужик!

– Пощупай! Глазам не верь.

– Мужик! Филька ему снес весь затылок, потому – карабин забит куском свинца двенадцать резов на гривенку<sup>246</sup>...

Таисия стали осторожно и внимательно разглядывать.

– Свети ближе!

– Кика рогатая, красная... На брюхе, глянь, обьезжий, хари нашиты, тоже рогатые.

---

<sup>244</sup> *Татура* – обрубок, пень, чурбан.

<sup>245</sup> *Мытарка* – плутовка.

<sup>246</sup> *Гривенка* – фунт, пули не лили, рубили.

Отмотали повязку, закрывавшую низ лица. Обнажились: борода клином, усы. Губы плотно сжаты, брови нахмурены, глаза глядели остеклев – прямо. В правой руке, крепко застывшей, неразряженный пистолет.

Бегичев перекрестился, снял шапку:

– Слава богу, парни!

– Ён, што ли? Сам лихой?

– Он, парни, он! От сыскных ярыг узнавал про его обличье: все так – он! Был он, парни, большой заводчик Медного бунта! С ним кончено, великого государя опасли... За бабой потом наедем, а не возьмем – то пусть идет она... Не в ей дело...

– Да баба – черт с ей!

– Теперь лихого доставьте на Земской двор... Ночью дьяка, подьячих там нет...

– Ведомо, нет!

– Пытошные подклети тож на замках, так вы его сведчи положите на дворе к тыну, опричь иных мертвых, а завтра к вечеру я буду... Воеводе все обскажу, и вы будьте видоками... Вам за то будет от великого государя похвальное слово и в чине, мекаю я, повысят... Заводчика великого не уловили, так убили, а то он бы еще гиль творил...

– Господин! А как с Трофимкой?

– Трофима тож заедино с лихим на Земской двор и к тыну с ним рядом...

– Э, стрельцы! Волоки Трофима.

– Я, парни, на Коломну... посплю мало и на Земской оборочу завтре... лошадь к дому ходко пойдет, муха ее ночью не обидит...

– Добро, господин объезжий! Мы так все, как указано, справим.

В щели сгнившей крыши солнце протянуло прямые золотые нити. Как жемчужины в солнечном золоте, сверкали, пролетая, мухи, пылинки, кружась, серебрились...

Без мысли в голове Сенька, ожидая Таисия, глядел на игру солнечных блестков. Тихо шумела вода, пущенная руслом мимо водяного колеса. Из города на мельницу издали доносились крики толпы, иногда молящие, порой с угрозой. Крики то слабели, то вновь становились громкими:

– Го-о-суда-арь!

– Измен-ни-ки!

– Дай их нам!

– Правду! Правду со-о-твори!

На крики ответа не слышно было. Сквозь отдаленный шум слышался звон колокола из церкви.

Рядом с Сенькой на мельничном полу в старой мучной пыли лежал человек, как и он, богатырского склада, только на голову длиннее Сеньки.

Сенька сосал рог с табаком, сосед его плевался, отмахивался от дыма.

– Ужели тебя, брат Семен, на изгаду не тянет?

– Пошто?

– Поганой сок табун-травы сосешь, а ведомо ли, откель поросла та трава?

– Нет...

– Изошла, чуй, сия трава от могилы блудницы, из соков ее срамного места.

– Брат Кирилл! Хлеб и всякий крин червленной та же таусинной<sup>247</sup> растут из земли унавоженной... Все из праха, и мы тоже прах!

– Эге-е! Чуешь, ревут люди?

– Слышу давно...

– Так ведь нам по сговору на кабаке Аникином быть надо с народом!...

– Не двинусь с места без атамана.

– Чего ж поздает? Струсил, должно?

---

<sup>247</sup> Таусинной – темно-синий.

– Што Таисий не струсил – знаю, а почему поздает, не ведаю...  
– Время давно изошло! Не пора атамана ждать, больше не жду!  
– Без атамана трудно к делу приступить, он знает, с чего начать.  
– Я и без атамана знаю – рука горит, топор под полой, свалю окаянного отступника веры христовой, а там хоть в огонь...

Тяжелый со скрипом половиц старовер встал, золотые нити солнца изломились на его темном кафтане. Он шагнул к выходу.

– Пожди, брат! Не клади зря голову на плаху.  
– Когда добуду чужую в царской шапке, свою положу – не дрогну!

Кирилка ушел.

Посасывая рог, Сенька думал: «Таисию не учинилось ли дурна какого? Ранним утром хотел быть, теперь уж много за полдень,...»

Он, курая в легкой прохладе заброшенной мельницы, под неугомонное бормотание воды и далекие шумы стал дремать. От дремоты его разбудил отчаянный рев толпы и выстрелы.

«У народа оружия нет. Бьют по толпе стрельцы!...»

К мельнице бежали люди, они пробирались по плотине и кричали – Сенька в окно видел их ноги.

– Теперь беда! Государь озлился, двинул стрельцов!  
– Чего гортань открыл? Спасайсь!

«Да, надо опасись!» – подумал Сенька. Он встал, нашел в углу вход вниз, спустился по лестнице к сухому колесу. Прислонясь спиной к шестерне, сел на бревно, стал глядеть в полуоткрытый на Коломенское ставень.

Теперь твердо решил выждать. Ему вспомнились когда-то сказанные Таисием слова: «Дело гибнет – с народом тогда не тянись! Голова твоя в ином месте гожа будет!»

«Да... опоздали, и Таисия нет! Дело погибло... Недаром старик таскал на Коломну Ульку... Ужели взяли друга в тюрьму?»

Сенька слышал: в ужасе ревел народ, содрогалась земля от топота тысяч ног.

– Батюшко-о!  
– Щади-и!  
– Смилуйся-а!  
– Бей гилевщиков!  
– Стрельцы! Великий государь...  
– Ука-зал не щади-ить!

Слыша голоса стрелецких начальников, Сенька шагнул к ставне, потрогал ее. «Играючи вышибу, коли што...» Он снял с плеч мешок, вынул из него пистолеты, сунул за ремень рубахи под кафтан. Привесил под полой шестопер, подумал: «Батог оставил где лежал? Найдут, кину его, а не заскочат в мельницу – подымусь, возьму; батог – конец железной... гож...»

Толпа, густая, беспорядочная, ревушая, топталась на дороге к Москве, за ней гнались конные стрельцы, рубили людей саблями.

Глядя в ставень по Коломенке, Сенька прошептал: «Дурак Кирилка! Никакому богатырю тут подступиться не можно... Жаль мужика, убьют!»

Вновь переходили плотину, осторожные голоса переговаривались:

– Сколь людей утопло в Москве-реке!  
– Тыщи, ой, тыщи!  
– В Москву кои прибегут – тех расправа ждет!  
– Скоро в Москву... Ты пожди меня! Плотина гнилая, гляди! Едино, – как в Москве-реке утопнешь...

– Жду... Чего молыл? Скоро в Москву...  
– Скоро туда попевать – смерть! В полях укроемся... поголодаем луч... О, черт, – в сапог зачерпнул!...  
– Бойси! Тут глы-ы-боко...



Когда стихло и смерклось, Сенька, захватив батог, вышел из мельницы. Его преследовала неотступно одна мысль – поискать на ближних улицах села Кирилку. «Лежит где – подберу... Знает, что на мельнице... должен сюда бежать, если цел», – думал гулящий, идя знакомой дорогой в гору к караульному дому. Сенька не опасался, он совсем забыл в шуме и заботах, что Бегичев объезжий, не малый чин Земского двора. Идя в отлогую гору, приостановился, взглянул: из калитки в малиновом распахнутом кафтане выходил Бегичев под руку с попом в синей рясе, с наперсным золоченым крестом на шее. Оба были горазд хмельны. Они завернули на улицу, Сенька шагнул за ними, держась в отдалении.

Поп и Бегичев говорили громко, были как глухие.

Бегичев почти кричал:

– Батько протопоп!

– Понимаю! Слушаю. Все одно и то же!... – Нет, радостью моей ты не радошен! Гуляю седни, пойми зачем?

– Неделанной день пал! Господа для – пошто не гулять?

– Не то... не так! Там, где стрелецкие головы, объезжему с ними не мешаться!

– Чиноначалие, сыне. Великое дело – чин!

– Чин! Они великое дело сделали – избыли скопище бунтовщиков! А я? Я, мене их чином, с малыми стрельцами сделал больше их! Убил бунтовщика самого большого... Чаю, всему бунту голову снес! И мне ба на первом месте быть, да поди того не станет!

Слова пьяных до Сеньки долетали ясно. «Ужели Таисия он убил?» – чуть не вскрикнул Сенька.

– Огруз ты, Иване! Господа для – прости! Кой раз доводишь то же одно...

– Нет, батько... Они бьют безоружных, а мы? Мы убили оружного – в тесном месте... под избой, а?!

– У Фимки? Таисий! – прошептал Сенька. Шагнул вперед. Ему хотелось спешно догнать пьяных. Он сдержался, остановился, стал ждать, вглядываясь в дорогу, на которой кое-где лежали убитые люди. Иные стонали тихо.

«Если пойдет назад?» Поп громко сказал:

– Вернись с миром, Иван! Пошумели, а ныне мало кто есть господа для, меня крест опасет...

– А ну, проси... спать! Завтре дело...

Бегичев повернулся, пошел обратно. Вытянув шею, он шел, как старый конь, спотыкался.

Сенька стоял с краю дороги. Бегичев, поравнявшись с ним, выпучил глаза, остановился, крикнул пьяно, пробуя голос наладить на грозный тон:

– Ты пошто здесь, нищеврод?!

– Тебя жду! – Сенька сунул батогом в ноги объезжему. Бегичев упал, захрипел:

– Э-эей! Ра-ат...

Он не кончил. Гулящий шагнул, опустив объезжему на голову конец батога. Бегичев с раздробленной головой замотался в пыли.

«Али мало черту?» – Сенька еще раз опустил батог на живот Бегичева. Из объезжего, как из бычьего пузыря, зашипело и забрызгало.

– Эх, Кирилка! Уходить мне. – Сенька повернул к мельнице, но в ней ночевать не решился.

– Уходить!

Переходя по плотине, гулящий подержал в воде замаранный кровью чернеющий конец батога.

– Таисий, Таисий!... Раньше надо было смести с дороги червей... Эх, ты!

Крики пытаемых за Медный бунт приостановлены, дяки, подьячие, палачи и стрельцы ушли на обед...

Сенька в часы послеобеденного сна пробрался на Облепихин двор в свою избу. В сумрачной избе Улька лежала на кровати без сна. Волосы раскинуты по голой груди, по

плечам. Рубаха расстегнута, и пояс рубашный кинут на скамью.

Сенька на лавку у коника сбросил суму и нищенский кафтан. Его окликнула негромко Улька:

– Семен!

– Был Семен!

– Семен, я стосковалась... – По ком?

– По тебе!

– Тот, кто вырвал на моем лице глаза не пошто, впусте тоскует! Пущай тонет в злобе своей...

Отвечая, не оглядываясь, Сенька переодевался. Надел киндячный кафтан, под кафтан за ремень рубахи сунул два пистолета, привесил шестопер. По кафтану запоясался кушаком.

Улька быстро села на кровати – глаза ее в легком сумраке светились.

– Ты меня никогда, никогда не любил!

– Тот, кто замыслил сделать многих людей счастливыми, – он помолчал, потом прибавил: – не может до конца любить! О своем счастье не должен помышлять...

– Не пойму тебя!

– Я зато тебя много понимаю! Ты пошто его предала?

– Старики, Серафимко пуще! Они меня разожгли...

– Ты забыла наш уговор, мои слова: «Он – это я!»

– Серафимко сказал – подслушал, как Таисий тебя с Фимкой свел!

– С тех слов ты и поехала с бесом на Коломну?

– Они приступили к образу, взяли с меня клятву довести на Таисия объезжему... Ведали мое нелюбие к Таисию... Сказали еще: «Увел к Морозихе, а нынче совсем уведет...» Там меня били нагую... – в голосе Ульки слышались слезы.

– Уймись! Где старики?

– Под прирубом в подвале спят...

– Поди проведай, там ли они?

Улька проворно подобрала волосы, застегнула рубаху, накинула кафтан и беззвучно скрылась.

Сенька сел на лавку, оглядывал избу. Изба нетоплена – пахло застарелым дымом, хлебом и краской неведомой ему ткани. У выдвинутого окна, близ кровати лежит Улькин плетеный пояс, – много лет тут Сенька сидел, курил, – ближе стол, за которым рассуждали они с Таисием; здесь первый раз Улька, потушив огонь, кинулась в злобе на Таисия. «Оповещал против змеи...»

Улька вернулась.

– Все спят... старики в подполье...

– Возьми свечу!

Улька сняла с божницы восковую свечку, они осторожно вышли. Когда входили в избу, из подклета, скрипнув легонько дверью, высунулось желтое лицо в черном куколе. В общей избе воняло онучами, потом, прелью ног. Жужжали мухи у корзины с кусками хлеба на полу. Нищие бабы спали на своих одрах, закутав головы. Сенька прошептал:

– Выдуй огня!

Улька в жаратке печном порылась в углях, дунула на лучинку, от нее свечу зажгла, дала огонь Сеньке. Руки у ней не дрожали, хотя Улька знала, что задумал ее приголубник. Она беззвучно села против дверей в прируб на скамью. Сенька шагнул мимо нее, держал левой рукой свечу, правой защищая огонь. Постукивая коваными сапогами, спустился в подполье. Ставень был приставлен к стене. Сидя недалеко от входа, Улька слышала голос Серафима; старик визгливо бормотал:

– Сынок! Сынок! Не мы... крест челую – объезжий... В ответ спокойный голос Сеньки:

– Если б мой отец был ты, я бы не испугался кнута и казни sa смерть такого отца!

– Сыно-о-к! Щади-и! О-о...

Улька хотела зажать руками уши, но уронила руки на колени. Она слышала, как в стену

ударили мягким, потом послышалось коротко, будто хрустнули кости.

Сенька поднялся из подполья, свечи в его руках не было.

Он сдернул одеяло ближней кровати, обтер правую окровавленную руку.

– Ради тебя – твоего не тронул... видал его ноги в соломе...

– Семен, пойдём ко мне!...

– Я теперь слепой... Ты потушила мои глаза...

– Семен! Не покидай!

– Здесь быть – сама ведаешь – нельзя!

– Скажи, где ты будешь?

– Не спрашивай и меня не ищи!

– Сешошко! Што ты? Сенюшко!

– Забудь мое имя.

Когда затворилась за Сенькой дверь, Улька упала со скамьи навзничь, стукнув головой о пол, – ее начала бить падучая.

В сенях подклета вышла вся в черном старуха, на ее голове черный куколь был надвинут до глаз. Старуха, войдя в избу, двуперстно помолилась на образ, сдернула с пустой кровати нищенское одеяло, закинула Улька с головой. Одеяло долго прыгало, потом из-под него высунулась голова с дико уставленными в потолок глазами, с пеной у губ. Улька перестала биться в падучей, с помощью старухи встала на ноги. Старуха заговорила вкрадчиво:

– Тебе, девушка, сказую я, уготована келья тихая... сколь твержу и зову, а ты отрицаешься... Теперь зришь ли сама своими очами – в миру скаредном, в аду человеческих грехов многи люди душу погубляют... В миру постороннь людей бесы веселятца, и ныне сама ты содеялась – слышала и видела я – убойство, разбойное дело приняла на себя! Кинь все... и мы с тобой к старику Трифилию праведному уйдем, и отпустит подвижник грехи твоя, причастит благодати, и будешь ты сама сопричислена к спасенным от греха Вавилона сего и мерзостей диаволовых, аминь!

– Бабка Фетинья! Иду отсель! Идем, идем скоро.

– Идем, голубица! Идем!...

Жарко, пыльно и душно на улицах Москвы. В рядах и на Красной площади малоллюдно. Лавки наполовину пусты. Многие кузницы и мастерские ремесленников закрылись.

В Кремле у Благовещенья панихидно звонили – так указал царь, а еще было приказано ближним боярам идти в смирной одежде в Грановитую палату. Палата по стенам и по полу была покрыта черным сукном, так же как боярские армяки и однорядки; бояре должны быть не в горлатных шапках, а в скуфьях черных.

– Сказывают бояре – будто в палате устроено Лобное место и палач наряжен?

– Спуста говоришь... увидим, что есть!

Сам царь на своем государеве месте сидел в вишневой однорядке с черным посохом в руках и на его голове не корона, а скуфья. В дверях Грановитой, бойкий на язык, крайчий<sup>248</sup> старик Салтыков сказал оружейнику Хитрово:

– Быдто дедич его Иван Васильевич... наш государь... Хитрово передернул узкими плечами молча.

Царь тучнел и, казалось, опухать стал, как и отец его Михаил, но глаза царя были зорки и слух тонок. Он издали расслышал слова Салтыкова. Колыхнув тучным животом, утирая пот с потемневшего хмурого лица, сказал вместо приветствия:

– Да, родовитые! Я, чай, не худо бы на время сюда прийги прапрадеду моему Ивану Васильевичу! За ваши дела он бы понастроил вам церквей на крови...

Гневно глядя на бояр, постучал в подножие трона посохом, и все же квадратным лицом

---

<sup>248</sup> *Крайчий или кравчий* – от слов: кроить, резать. *Крайчий* (кравчий) – один из высших придворных чинов; в ведении кравчего были царские кушанья на торжественных обедах и рассылка их боярам и разным чинам.

и фигурой царь мало походил на Грозного Ивана. Бояре униженно закланялись.

– Чем прогневили великого государя холопы твои?

– Вы из веков непокаянны в своих грехах!

С левой стороны от царского места возвышение в три ступени, на помосте том, тоже покрытом черным, думный разрядный дьяк Семен Заборовский. Перед дьяком на черном столе пачка столбцов. Имея кресло, дьяк не садился, так же как и бояре.

Дьяк неторопливо разбирал столбцы, в стороне от столбцов, желтых и старых, лежал белый лист.

У дьяка русая выцветшая борода, темные глаза узко составлены на широком скуластом лице. Один глаз косил в сторону носа, и дьяк, глядя перед собой, казалось, глядит внутрь себя.

В палате сильно пахло потом, свечной гарью припахивало тоже. Почему-то в дальнем углу у дверей – не у образа, а так – горело в три свечи паникадило. Разбирая столбцы, дьяк ждал государева слова.

– Чти, Семен, как мои ближние мне радеют! – приказал царь.

Дьяк, сняв скуфью, положил ее на стол, тряхнув волосами, взял лежавший в стороне лист, начал читать ровно и бесстрастно, раздельно на ударениях:

– «Ломаные на пытке Земского двора и Разбойного приказа заводчики медного бунта показывают на бояр, которые в медном воровстве причастны: отец великой государыни царицы Марии Ильиничны Илья Данилович Милославский! Он укрывал таем за посулы воров по тому медному денежному воровству... Суд над ним великий государь принял на себя...»

Плешивый, седой, правое плечо выше левого, Илья Милославский молча поклонился низко царю и скуфью перед ним снял. Потом отошел за бояр ближе к двери.

– «Иван Михайлович Милославский! И ты заедино с Ильей Данилычем тако же воровал. Суд над тобой будет чинить сам великий государь, царь всея Руси Алексей Михайлович!»

Высокий, скуластый Иван Милославский, пригибаясь, подергивая ус, также отошел в сторону после поклона царю.

– «Окольничий Афанасий Матюшкин! Ты скупал воровски у свейцов медь, приказывал ковать из тое меди деньги и, купив посулами целовальников и приставов на Монетном дворе, увозил в мешках те деньги к себе домой! Суд о тебе великим государем не сказан».

Матюшкин, сняв скуфью и шевеля губами, торопливо кланяясь, пятился к дверям, а бояре расступались. Он, задом дойдя до дверей в сени, незаметно исчез.

– «Крайчий государев Петр Михайлович Салтыков! Ты оговорен своими дворовыми, кои воровали с заводчиками медного дела... Оговорен тако: „Боярин Петр Михайлович не делал денег и меди не куплял, но таил и укрывал в своем дворе тех, кто ворует!“ Суд над тобой великий государь кладет на совесть твою».

Салтыков отошел в сторону, не кланяясь, да царь и не глядел на него.

– «Андрей, княж Михайлов, сын Мещерский! Ты воровал против великого государя казны тем, что покупал людей поставлять на Монетный двор таем купленную, не вешенную и не клейменную медь!»

– Не оглашай иных, Семен! И этих воров довольно... Кто они, откуда пришли? Уж не те ли, что кормятся за моим столом и в золотных ферязях говорят речи от моего имени чужеземным послам? Горько слышать и знать, но это те же самые!

Царь, опустив голову, глядя в подножие трона, помолчав, продолжал:

– Кто невесту, государю любую, на немилую переменявал <sup>249</sup> ? Салтыковы, Морозовы...

Вскинув глазами на помост дьяка, царь сказал ему:

---

<sup>249</sup> ...невесту, государю любую, на немилую переменявал. – Невеста царя Михаила Федоровича Мария Хлопова была отправлена в ссылку в Сибирь по оговору Салтыковых, пустивших слух, будто она больна; царя заставили жениться на другой.

– Сядь, дьяк! Ты не воровал, как они! Потрудись еще – читай нам о служилых чинах.

Дьяк, поклонясь царю, сел. Выдернув из пачки столбцов пожелтевший короткий столбец, похожий на малую отписку, стал читать, не повышая голоса:

– «Наказ стольника Колонтаева своему дворецкому – сходить бы тебе к Петру Ильичу и если он скажет, то идти тебе к дьяку Василию Сычину...»

Бояре исподтишка удивленно переглянулись, кто-то прошептал:

– Досюльное чет!

Дьяк, собирая разорванное место на столбце, помолчал и снова начал:

– «...к Василию Сычину... Пришедши к дьяку, в хоромы не входи, прежде разведай, весел ли дьяк, и тогда войди, побей челом крепко и грамотку отдай. Примет дьяк грамотку прилежно, то дай ему три рубли, да обещай еще, а кур, пива и ветчины самому дьяку не отдавай, а стряпухе. За Прошкиным делом сходи к подьячему Степке Ремезову и попроси его, чтоб сделал, а к Кирилле Семеновичу не ходи: тот, проклятый Степка, все себе в лапы забрал. От моего имени Степки не проси, я его, подлого вора, чествовать не хочу, поднеси ему три алтына денег, рыбы сушеной да вина, а Степка – жадушая рожа и пьяная»...

Царь поднял голову:

– Такие дьяки были при государе, родители моем покойном, блаженные памяти. Стольникам их подобно покупать надо было... с чем же приступить к ним простому человеку!

Бояре, кланяясь, заговорили:

– Досюльное, великий государь!

– Давно было то... Ни стольника в животах нету, ни дьяка... с ними и кривда ушла.

– Нет, не ушла! – сердито сказал царь. – Семен, чти им о нашем служилом чине!

Дьяк переменял столбец:

– «Служка Соловецкого монастыря, посланный на Москву, хлопотал в Стрелецком приказе о монастырском деле... в проторях по тому делу показал: «Дьяку внесено десять рублей, пирог, голова сахару, семга непочатая, большая... гребень резной, полпуда свеч маковых, два ведра рыжиков – людям его и два алтына...»

Старому подьячему двадцать восемь рублей, пирог, ведро рыжиков – людям его и четыре деньги.

Молодому подьячему деньгами три рубля, да ему ж с дьячим племянником в погребке выпоено церковного вина на семь алтын».

– Посулы, как видимо, и вам и мне удорожали. Дьяки стали проще – они сами имеют в свои руки, – не надо стряпухе давать, и семгу, и голову сахару, да и захребетников своих велят поить вином! Худо... зло, грабеж! А с вами, бояре, лучше?

Бояре, потупясь, молчали. Не смели говорить, но Иван Милославский заступился за боярство:

– Воры, великий государь! Взятые по «слову и делу», сбывая боль пытки, кого не оговорят! Очные ставки надобны...

Царь не ответил ему и не взглянул в его сторону.

– Моя государыня, Мария Ильинична, и по сей день лежит-ни рукой не двинет, ни ногой... В страхе она с того дня, как ее родителя народ на расправу водил, звал... Али мне радостно и утешно, что бояре, а между ними и кровные мне, клонят мое государствование к бунтам и нищете? Нынче я не дал вас народу, как в молодые годы было с Траханиотовым, Чистовым тож<sup>250</sup>, а дядьку Морозова Бориса сам с Лобного на Красной отмолил у смерти... Я знаю – нельзя мне вас дать! Кто мои воеводы? Вы! Стольники мои? Вы! Стряпчие, кто бережет мою рухлядь и счет ей ведет? Вы! И я ради вас указал перебить народ – семь тысяч голов потоплено и избито. Кто сыскался в заводчиках – их двести, тех не чту! Семь же тысяч

---

250 ...как в молодые годы было с Траханиотовым, Чистовым тож... – Во время Соляного бунта 1648 г. испугавшийся царь выдал народу на расправу окольного Петра Траханиотова и думного дьяка Посольского приказа Назария Чистова, которому приписывалось введение соляного налога.

голов – все тяглецы! Посадские, мелкие торгованы и кои были стрельцы... Не головы мне надобны – надобно тягло их! Вы же воровством казну мою пусту деете...

Бояре осторожно заговорили:

– Народу – что песку морского!

– Эти гинули – на их место придут другие! Ради будут замену чинить...

– Придут, торговлю захапят и платить ради будут!

Но царь, озлившись, вспоминал, не слушая боярских речей:

– Соляной бунт от вас! Бояре забрали соль, продавать стали не в сызнос простому люду; нынче же, раскрав медь, подорвали веру в деньгах... Раньше самоволили и теперь то же... Силы моей не хватает держать вас в страхе. Иван Васильевич умел то делать, но не я! На ваше самовольство глядя, на хищения ваши и жадность к посулам, и малые служилые воруют, где и чем можно... Патриарх самовольно кинул церковь – смуту церковную учинил, какой не чинят и бусурмане... прикидываясь смиренным, все валит на меня: «Бог-де с тебя сыщет!» Посланным моим просить его вернуться к пастве отвечает как гордец, потерявший разум: «Дайте только мне дождаться собора, я великого государя оточту от христианства!» Да если бы тому дедичу моему Ивану Васильевичу так сказал архиерей, то он бы его живого в землю закопал!

Царь, склонив голову, закрыл руками лицо. Посох его упал. Бояре кинулись, подняли посох, неслышно приставили к трону.

– Тугу покинь, великий государь!

– Исправимся! Не гневайся – узришь правду в нас! Царь, крестясь на дальний образ, открыл лицо, встал:

– Ночами бессонными помышляя о нераденье вашем и мздоимстве, молю владыку, вездесущего господя, – пошли мне, господь, наследника грозного и немилостивого, чтоб развеял он в прах спесь боярскую, чтоб укротил всех корыстных своевольников, как царь Иван в досюльное время! Мне же придется с вами доживать – каков есть, кого вы не боитесь, аминь! Идите!

Бояре, кланяясь, стали тихо расходиться, царь остановил:

– Слушайте! Возьмите с Казенного двора суды серебряные, кои худче – там их довольно, – укажите ковать из них серебряные деньги, а медные деньги отставить...

Обратись к Стрешневу Семену и Богдану Хитрово, прибавил:

– Остойтесь вы! Князь Семен Лукьяныч! Тебя оговорили в богохульстве, но ежели патриарх, ушедший меня, не вменяет ни во что – уподобить жаждет язычнику, то, принимая грехи многих бояр на себя, и твой грех, не боясь, принимаю...

Стрешнев, кланяясь, ответил:

– Великий государь! Поклепцы на меня мало разобрали в парсуне, кою они называют еретической... Парсуна та живописует искушения святого Антония. Все там есть – и нечистые духи, и срамные девки, только единого нет – богохульства. Святой сидит на той парсуне, укрыв лицо долонями...

– Но чтоб не говорили на тебя снова, отдатчи вину твою, указую тебе отъехать на воеводство в те польские города, которые ты воевал. Возьми и парсуну ту с собой... В ближние дни позову, будь у меня на отпуске здесь же, в Грановитой... – Бояре ушли.

От Красного крыльца бояре разъезжались по домам, но Салтыков и Хитрово ждали холопей, угнавших коней за Иванову колокольню и не знавших, что бояре вышли от царя. Сказано было проходившим мимо стрельцам известить холопей.

Салтыков сказал государеву оружейнику:

– Ох, господи! И гневен же великий государь.

– По делу гневается! Я не воровал и не боюсь...

– Я тож не воровал – оговорили дворовые... Мой грех, что недоглядел, как воров на двор они же завели и держали.

– Глядеть надо! Терпи...

– Сказывали, государь с утра ладил звать палача, чтоб замест дьяка говорил боярам

вины их?

Хитрово, помолчав, ответил:

– Мы с Трубечким отвели такое – сказали государю, что палачу не место быть там, где принимают послов...

– А как истово молил у бога сына, подобного дедичу Ивану... Иван Васильевич грозен был, неусыпно искал врагов среди бояр, да Курбского упустил, Годунова, Шуйских не разглядел... кровь лил не жалеючи, а наследника оставил пономаря<sup>251</sup> – звонить да свечи возжигать... Смертны все, как бог покажет – роду быть...

Хитрово подвели лошадь. Садясь, он пригнулся к уху Салтыкова, сказал негромко:

– На месте государеве я бы тебе не указал быть крайчим, Петр Михайлович!

– Пошто, Богдан Матвейч?

– С иными не говори так – я молчу! Не ладно сказано. Салтыков нахмурил седые брови, сказал, когда отъехал Хитрово:

– Со Стрешневым поперек пошло, так на меня зол!

В подземелье Фимки, на кровати ее, на которой еще так недавно последний раз лежал Таисий, Сенька проспал ночь. Фимка спала вверху в избе на лавке.

Под утро Сеньке приснился сон. Идет он по настилу узкому через реку на остров, остров посреди реки, а впереди Сеньки, заботливо разглядывая настил и поправляя, идет поводырь Сенькин... Над островом густой туман, в тумане исчез поводырь, а когда Сенька вошел на остров, то потерял путь... За островом вода и сзади вода... Испугавшись, Сенька проснулся.

«Поводырь Таисий... исчез...» – подумал Сенька. Он громко сказал:

– Эй, хозяйка!

Появилась Фимка.

– Дай испить крепкого меду!

Фимка зажгла лишнюю свечу на столе, принесла малый жбан имбирного меду, предостерегла:

– Пей, паренек, с опаской, – мед с едина ковша ноги отнимает...

– Пусть отнимутся ноги и голова – тяжело помнить, что друга на свете нет!

– Нам еще тело надо найти нашего мужичка, чтоб над ним не изгилялись боярские табалыги<sup>252</sup>...

– Сыщем!

Ковш за ковшом Сенька выпил меду три ковша. Грузно поднялся, и они пошли на Земский двор.

Проходя Китай-город, увидели на пожаре за новым харчевым двором, как люди в кожаных фартуках кровавыми до локтей руками подбирали костром наваленные руки отрубленные и ноги. Клала на телеги, нагрузив, отправляли, Ноги были в лаптях и сапогах. Руки с растопыренными пальцами, иные сжаты в кулак и как бы грозили кому-то.

Над площадью казни от крови в утреннем холодке стоял туман. Запах крови смешивался с запахами, идущими из харчевой избы.

– Ох, многих безвинно окалечили! – сказала тихо Фимка. Вздохнула.

Сенька ответил:

– Весь город будто стонет да зубами скрегчит! – И дивно кому не стонать?...

– Государева милость! Царская воля! А, ну! Секите головы, ноги, руки – народ все сызнесет! – Сенька махнул тяжелым кулаком.

---

<sup>251</sup> ...наследника оставил пономаря... – Царь Федор Иоаннович (1557—1598), правивший с 1584 г., прославился любовью к колокольному звону и церковной службе, за что был прозван своим отцом Иваном Грозным пономарем.

<sup>252</sup> Табалыга – бездельник.

– Уй, затихни! – шепнула Фимка.

С пожара проходили стрельцы. Вытирая о полу подкладки кафтана кровь с топора, за стрельцами поспешал палач.

Сенька, проводив глазами служилых людей, заговорил, идя обок с Фимкой.

– Кто живет трудом – непобедим! Бездельники, те держатся кнутом да силой палачей...

Фимка, бойко шмыгая глазами по сторонам, заговорила, чтобы отвлечь Сеньку от мыслей:

– Дай бог, чтоб объезжий, кой убил нашего мужичка, не забрал его тело!

– Не будет того! Мертвые не распорядчики...

– Дай бог... Я прихватила узелок, несу ему порты, рубаху да саван... Голубец справлен и с образком, остатошное спроворю...

– Лучше камень! Голубец – дерево...

– Голубец с кровелькой крашеной, татурь дубовой, низ смоляной... За Остоженкой место сыровато, да кладбище все в деревьях, и птички воспевают.

– Пошто не камень?!

– Паренек! Камень земля засосет...

Пришли на Земский двор. Обойдя главное строение с крыльцом и пушками, прошли в глубь двора, где у тына натасканы божедомами мертвецы. Над мертвыми многие плакали, тут же надевали на них саван, увозили. Людей было больше, чем всегда. Сенька с Фимкой осмотрели мертвых, но Таисия не нашли.

– Ой, не приведи бог! Должно, в пытошную клеть уволокли? – горевала Фимка.

К ним подошел в черной ряске, в колпаке черном с русой бородкой человек – в руках бумага, у пояса чернильница с песочницей.

Фимка низко ему поклонилась.

– Трофимушко! Не глядел ли где мертвенького в скоморошьем платье, – сарафан на ем да кика рогатая?

– А нешто он скоморох?

– Скоморох, отец! Скоморох...

– Стрельцы скажут, лихой он, ихнего одного убил... Объезжий стеречь велел...

– Его в клетки, што ли, уволокли?

– Хотели, да дьяк не пустил...

– Так где же он?

– Идите туда подале... в стороне за пытошными клетями у тына. А ну, пождите!

– Чого, Трофимушко?

– Мой вам сказ: стрельцу, кой у трупа того стоит, дайте посул– он и отпустит тело... Я тож подойду, слово закину...

– Вот те спасибо!

Идя в самую даль Земского двора, Фимка тихо сказала:

– С дреби звонец, государева духовника церкви...

Они подошли. Стрелец покосился на Сеньку, когда тот, почти не узнавая лица Таисия, приподнял его голову, сказал:

– Бит крепко – затылка нет!

Надбровие село Таисию на глаза, глаз не видно, подбородок оттянулся, нос осел и щеки подались внутрь.

Стрелец, видимо, скучая, размякнув на жаре, которая начиналась уж, опершись на рукоятку бердыша, покосился через плечо на Сеньку с Фимкой, сказал:

– Не тут ищите – то мертвец особой...

– Скомороха ищем, служивой! Скомороха... – бойко затараторила Фимка.

– Хорош скоморох! Вон наш стрелец лежит, бит этим скоморохом из пистоля в голову.

– Чего ж ты тут караулишь? – спросил Сенька.

– Караулю... Объезжий указал стеречь: «Приеду-де, награду за него получите». Сам же вот уж третий день как не едет...



– Получи-ка от нас ту награду! Потешь мою женку... Ей, вишь, служилой, затея пала в голову – похоронить, спасения для души, мертвого, да особного... у коего бы грехов много было... А этот подходящий – в скоморошьем наряде...

– Вот тебе, родной, три рубли серебряных! – Фимка, вытащив кису, дала деньги стрельцу.

Стрелец вскинул рубли на широкой ладони, сказал:

– Прибавь еще рубль! В деле этом нас четверо... Те трое в карауле, придут, поделимся... Объезжому скажем: «Украли-де мертвого».

В стороне стоял звонец, писал что-то, стрелец метнул на него глазами, крикнул:

– Эй, попенюк! Гляди про себя – объезжому правды не сказывай...

Звонец ответил:

– Спуста боишься моего сказу, – слух идет, што твоего объезжего на Коломенском убили в «медном».

Стрелец встряхнулся весело:

– Коли так – ладно дело! Не будет нас по ночам тамашить. Ты, женка, стащи с него срамную одежду да в узел, переодежь и увози скоро!

– Слышу, служилой!

Фимка проворно передела Таисия, нарядила с помощью Сеньки в саван, а за двором у ней был еще прошлого вечера приторгован возник с колодой. С Сенькой они подняли и вынесли Таисия за ворота, извозчик с гробовщиком уложили Таисия в колоду, закрыли крышкой.

Гробовщик на ту же телегу принес и обрубок дубовый с развилками, к развилкам была прибита икона.

Гробовщик с извозчиком сидели на козлах. Фимка с Сенькой шли за телегой до могилы. Фимка говорила:

– Могилка ископана... Поп сговорен, к голубцу кровелька у могильников хранитца... Справим могилку, буду ходить, крины-цветики носить ему, поминать стану... Ой, толковый мужичок был!

Сенька молчал, шел, опустив голову, сказал:

– На свете мало таких!

Кладбищенский поп, когда Фимка сунула ему в горсть много серебряных копеек, проводил до могилы с дьячком, кадили над гробом и пели. Открыть указал колоду, Сенька приложился губами к голове друга, по ней уж ползали черви. Поп посыпал в колоду землю, сказал гнусаво обычное напутствие: «Господня земля и исполнение ее – вселенная...» Могилу заровняли... Врыли дубовый голубец – гробовщик прикрепил на него кровлю. Получив деньги, все ушли.

Фимка и Сенька поклонились могиле гулящего, удалого человека. Сенька долго стоял на коленях, закрыв большими руками лицо. В жизни своей он плакал второй раз. Первый раз плакал, когда умирал отец Лазарь Палыч, второй раз – здесь, на могиле друга.

Фимка сказала ему:

– Теперь извозчика возьмем, до меня едем! Поминального меду изопьем...

– Нет! – сказал Сенька. – С острова буду налаживать сходни сам, как могу и смыслю.

– Чего ты бредишь! Боишься, буду к тебе приставать с женскими прихотями?... Не буду! Не люблю таких, как ты, красовитых, и не потому, што такой не люб, как ты, а потому – я баба по тебе старая, посуда шадровитая, в печь ставленная... Идем!

– Нет! Иду в Бронную. Не тебя боюсь, боюсь места, где убили его, жить тяжело!...

– Я тоже на том месте не буду жить... Объезжий грозил наехать, разорить.

Сенька подал ей руку:

– Спасибо за все! Дома живи спокойно-звонец сказал правду: тот объезжий, кой тебя пугает, не приедет больше.

– Ой ли? Вот диво!...

– Иди и спи во здравие! Сенька ушел.

Фимка поглядела ему вслед, перекрестилась.

## Глава V. Аввакумово стадо

Дух тяжелый от смердящих тел и нечистого дыхания. Пахло еще в большой горнице боярыни Морозовой гарью лампадного масла. Лампады горели у многих образов, а нищие и юродивые теснились к лавке, где когда-то сидел Сенька с Таисием. На месте Сеньки в углу под большим образом Николы поместился широкоплечий, костистый поп с бронзовыми скулами на худощавом лице. Клинообразная, с густой проседью борода доходила попу до пояса. У ног попа – по ту и другую сторону – на низких скамейках прикорнули боярыня Морозова Федосья, вся в черном, в черном куколе на голове, и ее наставница, тоже в черном платье, староверка Меланья. Поп в черной поношенной рясе; на груди его, на медной цепочке, висел большой деревянный крест с распятием. Скуфья надвинута на лоб до седых клочковатых бровей. Под бровями угрюмые, с желтыми белками, упрямые глаза. Поп раздельно, громко, с хрипом говорил:

– Верующие, мои миленькие, вот я пришел к вам из Даурии холодной, а притек исповедать вас, штоб самому исповедаться перед всеми.

– Истинно, батюшко! Отец наш, истинно!...

– И аз указую вам велегласно, не боясь и не тая, сказывать свои грехи: благодать духа свята нисходит на рабов Иисусовых, кто не боится излить душу свою друг другу.

– Слышим, отец наш!

Нищие плакали; юродивые, лежа на полу, стучали в пол головами, выкрикивали молитвы, кто как мог.

Поп помолчал, выжидая. Один нищий, полуголый старик, вздев руки к потолку и глядя на образ, закричал:

– Отче! Грешен аз и греху своему не чаю прощения...

– Сказывай: како грешил?

– С козой блудил, оле мне, окаянному!

– Ужели, миленькой, мало су тебе телес женоподобных прилучилось, што возлюбил скота?

– Мнил, отче, безгласное к господу не воззовет... чаял, блуд мой будет сокровен...

– Ведай, неразумный! Иисус всяк грех незримо ведает... не мысли бога обманом и лжей искусить!

– Батюшко-о! Я на страшной неделе, под велик праздник, с гольцом единым блудила! – выкрикнула молодая нищая баба.

Не вставая с пола, юродивый громко сказал:

– Старицу черницу изнасилил аз! Вопить зачала, а я ей от вериги крест в рот запихал... смолкла, чаял, задохнулась... Што мне за то суждено?

– Я, батюшко, в церкви с торелью ходил по сбору и схитил копейки!

– Татьба – великий грех, но коли-ко в никонианском вертепе было, простится тебе!

– Научи спастись, отче! Я малакией<sup>253</sup> изнурен, по вся дни в бреду обретаюсь – беси нагия видятца!

– Постись, молись! И на ночь укажи вязать тебе руки... Еще одна баба выкрикнула:

– Отроков младых прельщала, совращала к блуду! Прости меня, отче праведный!

– Я суму схитил и книгу у чернца – в кабак заклал! Грех мой, каюсь, отец...

– Всем распишу эпитимью и поучу, како грех избыть... Господь – он милостив, миленькой, зрит на вас и на всех, плачется о мерзостях плоти человеческой! – Взглянув на Морозову, поп сказал: – А ты, боярыня мать, Феодосья-раба, пошто немотствуешь? Али, петь, ты, не как все, безгрешна су?

– Грешна, батюшко, как все! Бес меня блазнил во образе мужа темнокудра... пришла к нему в ночь единожды, пала в охапку к нему и целовалась, но велика блуда не попустил господь... в тот час возопил велиим гласом юродивый Феодор, и очнулась я, стыдясь.

– Избыла, петь, грех свой, а за спасение Феодора изгнала, кинула горемыку врагам в когти.

– Ой, грех, батюшко! Указала вывести из дому – чаяла, стыд свой перед ним сокрою... обуяла гордость...

– Пуще греха нет убогого гнать, чего устыдилась? госпожа су; время было вдове красного молодца полюбить... дала плоти своей разгул и каялась бы: бог милостив...

– Без венца, отец праведный, жить зазорно... венец же с ним, безродным, иметь было нельзя: род мой великий...

– Вот так су! Бес-от и пырскает, яко козел, обапол вашего царства-боярства! Гордость рода – пуще всех грехов.

– До пота молилась я тогда и не осилила искушения, не спасла молитва: неведомая сила бесовская понесла меня к нему.

– Молитву крепить огнем надо! Молитва не помогает, колико грех оборает, а ты в огонь... и вот я скажу, как от блуда-соблазна, от беса, огнем спасся...

– Скажи, отец праведной!

– Слышим все!

– Жаждем ведать о спасении.

Поп подвинулся на лавке, тронул рукой скуфью и сказал:

– Со мной сие в младых летах было... был я в попех... пришла ко мне исповедатися девица, многими грехми обремененна, блудному делу и малакии всякой повинна... и зачала мне подробну извещати во церкви, перед Евангелием стоя... я же, преокаянный врач духовный, сам разболелся блудными соблазны... Внутри себя безмерно жгом блудным огнем, и горько мне бысть в той час. Зажег три свечи, прилепил к налою и возложил правую руку на пламя и держал, дондеже во мне угасло желание блуда, и, отпустя девицу, сложа ризы, помоляся, пошел в дом свой зело скорбен... Тако надо бороться с грехом! Не держит молитва, потребно су спасати плоть, истязуя...

– Ох, тяжко, отец, тяжко, а правильно так-то...

– Святой учитель наш!

– Грешник! Подобен вам и стократ грешнее... вас же, миленькие, призываю от беса, от антихристовой прелести, спасатись огнем...

Пришло время трапезы. Поп прочел громко «Отче наш», все в голос ему вторили. Боярыня села с нищими за стол, поп не сел. Покрестив хлеб, посолил его густо, поел и запил квасом.

Когда вышли из-за стола, он отошел в угол, пал на пол лицом вниз и со слезами в голосе громко взывал:

– Господи Иисусе! Не знаю дни коротать как? Слабоумием объят и лицемерием и лжою покрыт есмь братоненавидением и самолюбием одеян; во осуждение всех человек погибаю... аминь!

Встал, покрестил двуперстно на все стороны, высоко подымая костистую могучую руку. Поцеловался с боярыней и старицами, сказал:

– Простите грешного!

Его провожали со свечами до первого крестца боярыня и старицы белевки<sup>254</sup>. Свечи от ветра гасли одна за другой. Целуя руку попа, прощаясь, боярыня сказала:

– Батюшко! Фонарик бы тебе на путь взять?...

– Со Христом и во тьме свет! И вам, мои духовные сестры, Христос су, как и мне, светит, идите к дому...

---

254 *Белевки* – монахини и мирские из города Белева.

Поп, бредя, щупал по снегу путь стоптанными иршаными сапогами, лишь иногда останавливался в черных улицах среди деревянных построек. Он пробирался знакомым путем из Кремля в Замоскворечье. У Боровицких ворот, куда пришел он, его, осветив фонарем, узнали караульные стрельцы. Поклонясь, молча пропустили.

Поп перебрел Замоскворецкий мост низкий, бревна вмерзли в Москву-реку, скользили ноги по обледеневшему настилу. У первой запертой решетки он застучал по мерзлому дереву. Громко взывал хриповатым голосом:

– Отворите Христа для!

На его голос и стук из караульной избы, мотая огнем фонарей, с матюгами вышли два решеточных сторожа.

– Эй, кто бродит? Черт!

– Грешный раб Христов! Протопоп Аввакум.

Протопоп при тусклом огне фонарей поднял руку, благословляя двуперстно.

– Прости, батюшко! Не чаяли тебя.

Головы решеточных обнажились, сторожа кланялись. Голоса стали ласковы. Торопливо распахнули скрипучее мерзлое дерево.

– Иди, батюшко!

– Шествуй, воин Христов!

– Прости грешных!

– Бог простит, миленькие!

Иногда на перекрестках, хмуро оглядывая черные силуэты ненавистных ему никонианских церквей, прислушиваясь к гулу и отдаленному крику из пытошных башен – не то Константиновской, не то близ Фроловской пытошной, протопоп говорил про себя: «Навходоносор! Мучит людей, и ночь не дает ему забвенья... Сам, петь, будет за грехи своя ответ держать...»

Аввакум замечал, что вместе с решеточными сторожами его встречала в сумраке сумрачная толпа неведомых людей. Перед ним в свете фонаря рыжели кирпичи, стены или бревна тына чернели и поблескивали; под зимнюю рясу забирался холод.

Протопоп надвигал скуфью глубже на голову, подымал свой деревянный крест с распятием, говорил хриповато, громко и убежденно:

– Миленькие мои! Не ходите в церкви, опоганенные наперсником антихриста Никоном, сыном блудницы! Не напойте души ваша латинщиной. По церквам ныне разлилось нечестие... Служат еретики по новопечатным требникам, а они лжу плетут... Никониана опоганили святую евхаристию, трегубят аллилую; крестное знамение Никоном сложено в кукиш, малакии подобно! Коли-ко есть у вас образа, где Иисус не повешен, как пишут его по-новому иконники, а руци и нози его по честному древу раздвигнуты, – молитесь... и теците в вертепы Никоновы, буде образа подобна не прилучитца, и вы на небо на восток кланяйтесь:

– Слышим, батюшко! Не опоганимся.

– Стойте, детушки, за истинного Спаса Иисуса!

– Постоим, отец наш, за древлее!...

Полночь. Первые петухи пели, пришел протопоп в Замоскворечье. Черно кругом, только серый снег маячил под ногами. Щупая озябшими руками холодные стены домов и обледеневшие бревна тына, добрался до своей избы и еще издали знал, что идет домой. Изба их дрожала, будто кто в ней дрова колот, но стука не было, а слышалась матерная брань и богохульство.

«Ох, надо су, надо к нему, бесноватому, зайти, да озяб и немощен, петь, я...» – подумал протопоп, очищая на черном крыльце сапоги от снега.

В избе, куда зашел он, ругались бабы. Протопопица Марковна стояла у печи в красном ватном шугае, стучала в пол рогами ухвата, с потным лицом, красным и злым, а против нее тоже с крюком печным топталась в пестрядинном сарафане растрепанная хозяйка избы Фетинья. Спорили из-за варева. Протопопица поставила чугунок к огню, хозяйка отодвинула и

в узкое устье топившейся печи всунула свою корчагу глиняную. Фетинья кричала, стараясь перекричать басистую протопопицу:

– Из Сибири нанесло вас, неладных изуверов! Дом мой весь засидели... места самой не стало.

– Лжу плетешь! – басила протопопица, – толстобокая ты охальница... Из Сибири нас сам государь вызволил и воеводу смирил – не смел держать.

– В Медянном бунте летось много вас, заводчиков-староверов сыскалось – кости вам ломали, руки, ноги секли!

– А мы тут при чем? Нас на Москве и не было вовсе!

– Не было... пришли нынче церкви православные пустошить!

Протопоп прошел в передний угол к налою с книгой. Две свечи, прилепленные к налою, были погашены. У черного образа на божнице огня не было – на лавке в том же углу на оленьей шкуре, где спал протопоп, на подголовник вместо подушки было кинуто какой-то чужой рухляди мягкой.

На образ протопоп перекрестился, повернулся к печи, сказал протопопице:

– Чего, петь, гортань открыли, а бога без молитвы и без огня су оставили? На божнице ни свеча, ни масло не горят.

Печь, потрескивая, разгоралась. Лица баб покраснелись еще больше. Стены розовели, и по заиндевшим узким оконцам прыгали узоры огня. Бабы не слушали и не унимались. Протопоп повернулся от них на избу. С большого стола сползла на пол набойчатая белая скатерть с петухами в цветах. Протопоп устало нагнулся, поднял скатерть. Еще сказал:

– Дар божий хлеб су, класть будете и брашно, а скатертку в пыли валяете, грешницы!

– Разъехалась, как жаба! Гортань бы и рожу перекрестила, скоро, чай, утренняя, а ты похабно лаешь...

– Сама ты, Протопопова кобыла, бесу кочерга, богу не свечка! Бунтовщица... в церковь не ходишь, а про утреню судишь... поп твой за царя-государя здравия не молит!

– Сотвори благо, Марковна, уймись су, Христа для.

– А, нет, батюшко, чего она, неладная, нас зря корит пустым? Она зачала...

– Уймись, говорю!

– А не уймись ее раньше!

Протопоп закинул бороду через плечо и, подступив к жене, ударил ее по лицу верхом ладони.

– Чого ты, безумной поп?! – взвыла протопопица.

– Вот тебе, Марковна, и за безумного дача! – он ударил протопопицу снизу в подбородок. У попадьи хлынули из глаз слезы, а из носа кровь. Она, утираясь и всхлипывая, бросив ухват, ушла в угол к дверям.

Стуча крюком печным в пол, Фетинья, заблестев глазами, кричала:

– Квашня толстая, так тебе и надо! Мало еще, мало. Протопоп подошел к хозяйке.

– Беса тешишь! Уймись, вдовица.

– Перед колодниками да я еще молчать буду?! Перед... Протопоп взмахнул тяжелой рукой, удар пришелся бабе по затылку, загремел железный крюк. На шесток печи шлепнулась шитая гарусом кика, и баба сунулась головой в кирпичи печки. Она была грузная, не скоро оправилась, глаза удивленно раскрылись, и Фетинья завопила на всю избу:

– Караул, батюшки-и, староверы убивают!

Протопоп нагнулся, помог ей подняться и выпрямиться, сказал:

– Умолкни! Побью, и суда искать негде будет...

– Окаянные, прости господи... сибирские гольцы... – пробормотала баба, пряча под кикю растрепанные волосы. Бормоча, она ушла в угол близ прируба на кровать. Протопопица всхлипывала у дверей.

Протопоп отошел к налою. Вернулся к печи, взял лучинку с огнем, зажег свечи на налое, раскрыл книгу, встал на колени, помолился. Из сеней в избу протопопа неслись матерные выкрики.

Аввакум, перекрестясь, поправил на груди крест; не глядя на протопопицу, прошел мимо, толкнув дверь, и вышел в холодную темноту. Там он нащупал скобу в чужую половину избы. В избе перед печью светец, в нем коптили две лучины. Под образами в большом углу голый, посиневший человек, прикованный к стене; кольца железной цепи стягивали его руки выше локтей. От запястья до локтей руки окровавлены. Лицо искажали судороги, и лицо до дико выпученных глаз замарано испражнением. Баба в сером кафтане и мужик в грязной кумачной рубахе вышли из прируба.

Протопоп двуперстно перекрестил их, склонивших головы. Сказал тихо:

– Светите мне!

– Не можем ладить с ним, батюшко! Чепь ломит... Бесноватый тужился, нороя вырвать из стены крючья с цепью.

– Светите! – повторил протопоп.

Баба зажгла пук лучины, светила. Мужик, кряхтя, тихо прятался за бабой. Протопоп, подняв свой деревянный нагрудный крест, громко заговорил:

– Словом Василия Великого сказую тебе, нечистый! Аз ти о имени господни повелеваю духе немый и глухий... изыди от создания сего и к тому не вниди в него, но иди на пусто место, иди же, человек не живет, не токмо бог презирает!... Дайте воды и покропить чем! – повернулся протопоп к бабе.

Мужик ушел, скоро принес воды в глиняном глубоком блюде и куриное крыло. Аввакум опустил крест в воду, проговорил что-то вроде заклинания и, вынув крест, помочил в воде крыло, стал кропить бесноватого.

Задражав от брызг холодной воды, бесноватый опустился на пол, поджав ноги... Он притих, тяжело дышал, зеленоватая пена текла из раскрытого рта.

– Рабе божий Филипп, чуешь ли меня?

– Не боюсь тебя, поп! – чуть слышно и хрипло сказал бесноватый.

Взяв в правую руку крест, протопоп подошел вплотную к бесноватому, крестообразно тронул его всклокоченные волосы. Бесноватый, сверкнув глазами, вскочил, зазвенела цепь, кровавыми руками схватил протопопа за ворот и, как младенца, бросил себе под ноги в навоз.

– Попал, попал мне ты!... попал, а! – стал топтать босыми черными ногами.

Зажав в руке крест, протопоп выкрикивал: – Аз ти о имени господни повелеваю...

– Попал, окаянный поп, а!

– Духе немый и глухий, изыди от создания сего!

– А-а, а поп!

– И к тому не вниди в него, но иди на пусто место...

– Уйди – убью!

Бесноватый оттолкнул ногой протопопа.

Мужик и баба крестились в ужасе. Аввакум встал, перекрестил бесноватого и домочадцев, мужика и бабу, перекрестил.

Бешеный, как бы обессилев, сел на пол. Казалось, он уснул. Огонь большой потушили. Малый в свете оставили.

– Не жгем у образов огня, батюшко! Он роняет тот огонь... пожару для боимся.

– Не надо... бог простит.

У себя протопоп снял замаранную одежду, крест и скуфью. Сел на лавку, опустив голову; потом снял рубаху, обнажив костистое смуглое тело. Босой, в крашенных синих портках, подошел к лавке, где все еще сидела протопопица; спать в прируб не уходила, видимо ждала его.

Протопоп подошел, встал перед ней на колени; склонив голову низко, сказал:

– Окаянного грешника прости, Настасья Марковна! Обидел су тебя! Прости!...

– Бог простит, Аввакумушко! За дело поучил... за дело, сама вижу.

Протопоп пошел к хозяйке. Она сидела на кровати, на подоконнике окна горела сальная свечка; баба починяла какую-то рухлядь. Перед кроватью Фетиньи протопоп также встал на

колени:

– Фетинья Васильевна, прости: согрешил перед тобой... прости бога для!

– Под утро холодно в избе... пошто рубаху-т здел? Прощаю: велик грех – баб поучил мало!

Потом поклонился хозяйке земно; встав, пошел в угол, принес плеть, кинул среди избы, лег тут же, сказал:

– Марковна, взбуди детей, собери по дому захребетников всяких и дворника.

– Пошто, Аввакумушко?

– Бить меня надо, окаянного, по окаянной спине моей... не грехи!

– Я, чай, спят все! Покаялся и буде!

– А, нет! Бейте: кто не бьет, тот не внидет со мною в царство небесное...

Собрались люди и били протопопа Аввакума по пяти ударов каждый и дивились его терпению.

После боя плетью, когда все разошлись, протопоп, потушив свечи у наложницы, долго молился в углу. Лег на свое ложе на лавку, ныла окровавленная спина, подумал: «Не на оленя шкуру лечь бы грешному тебе, а на камени...», и задремал. В дреме он слышал, звонят колокола к заутрене. Дремал и всхрапывал под колокольный звон, но вот ударили в било<sup>255</sup>, он быстро встал, оделся, пошел в церковь, не тронутую Никоном. Выходя из избы, наведаясь к бесноватому.

– Как он?

– Спит! – ответили ему из теплого сумрака.

– Покаялся в грехе своем – и исцелил бедного! Так-то су? Бог сподобил...

Царь любил париться в бане и кидать кровь, хотя запрещено было ему такое дворцовым доктором, но он не слушался.

Зимой как-то после кинутой крови ему занемоглось: кружилась голова, трудно дышалось, и ноги отяжелели, он слег в постель.

Спальню ему увешали новыми персидскими коврами золотными, по полу, чтоб не слышно было шагов, устлали такими же коврами. Когда он лег, то услышал далекие выкрики стрелецкого караула: стрельцы грозили оружием толпе. По топоту лошадиному узнал, что толпа конная. Конные люди ругали стрельцов матерно, грозились бить кистенями и пронзительно свистели. Свист был ненавистен царю пуще криков. Он, утопая в подушках, по голосу узнал вошедшего первым боярина Троекурова, спросил:

– Кто там лает матерно?

– Холопи, великий государь!

– Пошто балуют и лаютца?

– С утра ездят – иззябли, ждут, когда бояре кончат дела у тебя, великий государь, с голоду, должно... огню хотят накласть, стрельцы не дают.

Вслед за Троекуровым в царскую спальню стали собираться бояре. Царь, не отвечая на поклоны бояр, приказал:

– Бояре, отпустите холопей: шумят, как в Медном бунте! Пушай за вами приезжают, когда ко всенощной зазвонят.

Царское приказание исполнили, шум затих. Бояре молчали. Царь, казалось, дремал; потом сказал слабым голосом:

– Позвал я вас, бояре, чтоб дел не заронить... а пуще валяться надо и мне скушно. Садитесь все! Укажите, кому лавки не хватит, скамьи принести.

Не тревожа царя, боярин Яков Одоевский<sup>256</sup> махнул слугам молча. Скамьи внесли,

---

<sup>255</sup> *Било* – железная балясина, привешенная горизонтально к кронштейну. В скитах звонили только в било.

<sup>256</sup> *Яков* Никитич *Одоевский* (ум. в 1697 г.) – боярин, князь, сын Никиты Ивановича Одоевского, начальник Разбойного приказа, известный своей жестокостью. В 1672 г. был назначен астраханским воеводой с поручением произвести сыск и учинить расправу над разнищами.

покрыли коврами. Царь знал, что из-за мест может быть шум, прибавил:

– Без мест садитесь... время идет.

Царь видел огонь – спальник зажигал в стенных подсвечниках огни. У образов лампы. Бояре, садясь, сердито шептались.

– Я приказывал, – говорил царь, – чтоб были все, кто вхож в мои покои... а Тараруй где?

– Хованский, великий государь, по ся мест не вернулся из Пскова.

– Наместник... чего ему, а Воротынского я сам услал на рубеж, помню... Долгорукий Юрий<sup>257</sup> в Казани. Боярин Ордын-Нащокин<sup>258</sup> здесь ли?

– Тут я, великий государь!

– Подойди.

К шатру над царской кроватью с золоченой короной вверху, с откинутыми на стороны дрогильными<sup>259</sup> атласами подошел просто одетый, почти бедно, боярин с худошавым лицом, с окладистой недлинной бородой.

– Как, Афанасий, наши дела со шведами?

– Ведомо великому государю, что свейский посол в дороге, скоро будет. Перемирие налажено, а договариваться станем здесь.

– Мир у нас учинен краткий, доходить надо долгого мира. Дела наши не красны...

– Кабы, великий государь, иноземцы под Ригой к неприятелю не ушли, то не нам, а им пришлось бы мир тот искать.

– Генералы Гордон<sup>260</sup> и Бовман с нами, Афанасий: в них сила...

– Голов и полковников у нас мало, великий государь... Нынче замирился, соберем в тиши иные полки, подберем командных людей, тогда у шведа отнимем то, что теперь спустим.

– Город Куконос, отбитый у них, отдать им надо, Афанасий... Знаю, иноземцы учинили измену за то, что не выпускал их за рубеж на родину.

– Волк всегда в лес глядит: не любят они нас... Тощи были – служили, подкормились – побежали.

– Шведа ухитрись, Афанасий, к долгому миру склонить... казна у нас пуста, денег взять не с кого... торговля пала.

– С послом, когда приедет, поторгуюсь, как укажешь, великий государь, принять посла, а несговорен будет – отпустить или решить в сей его приезд?

– Тебе на деле виднее будет, Афанасий; гляди, как лучше... Теперь иди, готовься к переговорам, а мы тут обсудим встречу послу.

Нащокин поклонился и, осторожно шагая, вышел.

– Дьяк Алмаз Иванов<sup>261</sup>! – позвал царь.

---

<sup>257</sup> *Долгорукий Юрий* Алексеевич (ум. в 1682 г.) – князь, боярин, воевода. Возглавлял войска, действовавшие против отрядов С. Т. Разина. Отличался жестокостью в подавлении восстания. Убит во время Стрелецкого бунта.

<sup>258</sup> *Ордын-Нащокин* Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605—1680) – государственный и военный деятель, дипломат и экономист. Боярин, глава Посольского приказа.

<sup>259</sup> *Дрогильные* – полосатые.

<sup>260</sup> *Гордон* Патрик (1635—1699) – военный инженер, шотландец, в 1661 г. перешедший на русскую службу, один из первых иностранных учителей Петра I, принимал участие в Азовских походах.

<sup>261</sup> *Алмаз* (Ерофей) Иванович *Иванов* (ум. в 1669 г.) — думный дьяк, по происхождению вологодский посадский человек, управлял Посольским и Печатным приказами.



В стороне, за дьячим столом, который слуги ставили на каждом собрании, встал человек в синем бархатном кафтане, расшитом узорами, с жемчужной цепью на шее. Дьяк казался издали хмельным, а был только с волосами включенными и бородой такой же.

Шагая тихо между сидящими боярами, подошел к царской кровати. Царь, покаясь с подушек, проговорил, кривя губы, шутливо:

– Думной дьяк, и зело разумен править дела... с волосьем же ладить не умеешь, стригся бы, что ли? Не дело говорю! Не о тебе забота нынче... Пиши, Иваныч, воеводе владимирскому, и пиши построже: «От царя, государя...» – ведаешь сам как...

– Начало ведаю, великий государь...

– «Стольнику, воеводе Матвею Сабурову... собачьему сыну...» Собачьему сыну не напишешь, конечно, а он-таки собачий сын! Сколь раз пишем – молчит... «Пишем мы к тебе, воевода, о высылке московских служилых людей к Москве... о том пишем, что володимерские помещики по ся мест на Москве не бывали, а ныне идут к нам, великому государю, свейские послы и будут на Москве в феврале месяце сего года... и ты бы по сему нашему указу стольников и стряпчих и дворян московских и жильцов, володимерских помещиков из Володимера выслал всех, бессрочно, без замотчанья!» Также, Иваныч, пиши в Суздаль о Шуйских помещиках, тако же в Юрьев-Польский и Переелавль-Залесский.

– Вскорости напишу, великий государь! – Дьяк отошел к своему месту.

Царь сказал:

– Бояре, быть послам на встрече в Золотой палате. Вам, честных родов людям, нарядиться при послах и быть в золотах и шапках горлатных, как обычно.

– Повинуемся, будем, великий государь, но кого на встречу пошлешь и кто у кареты посольской едет?

– То обсудим... Теперь же разберем, как стоять во дворце... Едет к нам шведской земли королевский посланник – и имя и звание посланнику Кондрат ван Барнер... кому быть при мне в Золотой палате – боярам и окольников потом укажу. В рындах стоять в белом атласе стольникам, дородным телом и волосом светлым – Петру князь Иванову Прозоровскому да Александру Измайлову, иных бояр назову. О послах будет довольно-иное есть... Артамон! – громко позвал царь. Подошел в стрелецком красном кафтане пожилой боярин с подстриженной бородой, с умными глазами, неторопливо снял отороченную бобром шапку служилого, поклонился поясно. Царь кивнул ему, косясь с подушки:

– По-доброму ли в приказе, боярин?

– Все по-доброму, великий государь!

– Боярин Матвеев, ты смекай, как лучше устроить стрельцов!

– Разве чем прогневил я великого государя?

– Ничем, но стрельцов нынче же надо снарядить шведского образца мушкетами... наши с фитилями застарели, шведские с кремнем... зелье у курка закрыто накладкой, а у нас фитиль измок и зелье не травит...

– Великий государь, пищали свейского образца делаются: нынче все оружейники к тому приказаны.

– Добро, Артамон! Да... вот... Доводили мне на стрельцов, что они, сидя на Ивановой площади<sup>262</sup> в подьячих, чинят в поборах за купчие лихву... иные бродят по Красной площади с калачами к та же корысть... Думно мне, что оттого в боях под шведскими городами стрельцы были хуже датошных людей и в нетях их немало сыскалось.

– На Москве, великий государь, в лавках многих стрельцы сидят – исстари то повелось... по ся мест худа от того не было, а что в подьячих стрельцы есть, то они казну твою, государь, не убытчат... сядет в подьячих посадской или купеческой захребетник–уруна казне будет больше, да и не много их на Ивановой: десять подьячих, из них стрельцов

---

<sup>262</sup> ...сидя на Ивановой площади в подьячих... – Некоторые документы, например купчие крепости, разрешалось составлять только у подьячих, сидевших в палатке на Ивановской площади в Кремле.

четверо...

Царь засмеялся:

– Иди уж, стрелецкой заступник! А мы тут зачем прати о боге, Родион!

– И не дождусь, государь, твои пресветлые очи зреть!

– И не дождешься... Наши очи нынче зрят на немощные уды своя...

Тоший, в длиннополом зарбафном кафтане, лысый, держа соболью шапку в руке, к царскому ложу бойко пробрался старик боярин Стрешнев. Царь, не поворачивая головы, спросил:

– Говорил ли Аввакуму, чтоб смирился и не чинил раскола?

– Говорил протопопу, великий государь, я довольно... чтоб смирился, а отвечивал: «С киевскими-де латинцами лаюсь, а о прочем бог мне судья!» Не тот уж он нынче и видом и задором, должно полагать, в Даурии дикой Пашков<sup>263</sup> водил его сурово – во льдах тонул, в снегах мерзнул протопоп...

– Помолчит, смирится и жить живет, по его челобитью знаю о Сибири, а только боюсь – неистовый он поп! Масляной гарью пахнет! – потянул носом царь. Боярин Троекуров шагнул к образу спаса за царским изголовьем; марая пальцы маслом, убавил пылающее свечильно. Пальцы обтер о волосы. Вернувшись, встал сзади за Стрешневым. Старик, сгибаясь в поклоне, норовил заглянуть царю в лицо:

– Едино лишь, великий государь, забредает Аввакум к Федору Ртищеву и со старцами кричит о старой вере, правку книг церковных лаёт и то маленько...

– Старцы киевские ему отпор дадут! Бояться надо, чтоб простому народу свою веру не внушал...

– Того грех молвить, великий государь; с простым народом не говорит Аввакум... не видано и не слыхано.

– Тебе, боярин, а мне кое-что доводили... и ты бы его покрепче смирению поучил, пригрозил бы от имени моего – матерно бы полаял, коли добром нейдется.

– Не могу, великий государь: грех духовную особу лаять... и матерно не учен... Эпитемья за то положена.

– Жаль! Такие, как протопоп, матерны слова чтут, и поди сам иной раз лаётся?

– Не ведаю... не ведаю, государь...

– Не добро, боярин Родион, великому государю в неведении своем говорить неправду, – сзади Стрешнева проговорил, как бы про себя, Троекуров.

– Чего ты плетешь, шут! – повернувшись к Троекурову, крикнул старик Стрешнев. Он сердито замотал лысой головой. Жидкая борода смешно тряслась.

Царь искоса глянул на блестящую лысину старика, усмехнулся. Ему иногда нравилось, что бояре меж собой спорили. В спорах прорывалось сокровенное, то, что в спокойном состоянии было утаено.

– Впусте сердисься, боярин! Мало ведаешь о раскольщиках, а я как шут, то, шутя-играя, проведаль больше: придет черед мой, доведу правду великому государю...

– Чего от тебя ждать, кроме лжи да кривды? На шутстве возрос...

– Я тебя никак не обижал, боярин: всегда смекаю, что младшему воперечку старшему не забегать, а тут уж, прости, не могу, потому мои слова великому государю быть должны вправду...

– А, ну-ка вот, не виляй лисьим хвостом и доводи великому государю твою правду, кою я и слышать не хочу!

Стрешнев поклонился царю и ушел. Его место у постели занял Троекуров.

– Я, великий государь, – сказал он, расправляя холеные усы и глядя бороду, – по слову твоему глядел за Морозовой Федосьей Прокопьевной и через моих холопишек узнавал про

---

<sup>263</sup> ...дикой Пашков Афанасий Филиппович (ум. в 1664 г.) – воевода на Мезени, в Енисейске и Новой Даурской земле (Забайкалье). Отличался свирепой жестокостью по отношению к ссыльным и местному населению.

Аввакумку, а вызнал, что боярыня в доме своем малый монастырь завела... Аввакумко в ее дому днюет и ночует, да у ней же, Прокопьевны, старицы-белевки по старопечатным книгам и чтение и песнопение ведут ежедень... юродивые и нищие по Москве кричат на всех крестцах о старой вере...

Царь поощрительно кивал головой, сказал:

– Говори, боярин! Доводили уж на Морозову... вдова Глеба Иваныча мне и самому приметна... К царице ездит в смирном платье, а меня обходит и чести не воздает – думаю ею заняться ужо...

– Эпитемью им Аввакумко налагает, указывает, яко бы поапостольски каяться всенародно и друг друга каять. Поучения раздает: «Како без попа младеня крестить». Да вот, великий государь, едина грамотка Аввакумки у меня будто и есть...

Троекуров полез рукой в карман шелковых штанов.

– Мои холопишки грамотку ту на торгу поймали... Они дают те грамотки тайно своим., а как проведали, что это мои людишки, то в бой пошли на кулаки – ладили отнять и листок замарали, а кое-что и подрали в нем, – вот!

– Читай, боярин!

Троекуров, боясь сердить царя письмом Аввакума, отговорился:

– Гугниво чту, великий государь, да и глаза несвычны... вирано много.

– Иваныч! – позвал царь дьяка, – прочти нам... да подлинное ли Аввакумово письмо?

Дьяк, подойдя, взял замаранный листок, сказал:

– Подлинно Аввакумово, государь: знаю его руку.

– Читай: время поздает.

Вошел спальник переменить свечи. Царь приказал:

– Максим, зажги свечу, дай боярину, пушай светит, а ты, Иваныч, чти!

– Начало сорвано и замарано, конец тоже... – сказал дьяк. Царь нетерпеливо завозился под одеялом.

– Чти то, что осталось!

– «А за царя хотя бога молят, то обычное дело...»

– Козел матерый, чего он хочет, чтоб не молили за царя?

– И я то помышляю: еще богоборствует и старый поп поновому – «паки и паки», плюнь на него и с «паками».

– Хо-о! – хмыкнул Троекуров.

– Не смешно, боярин: богопротивно! Читай, Иваныч.

– «А младенцев причащайте истинным запасом тела Христова искусенько... и, мирянин, причащай робенка, – бог благословит!»

– Это он евхаристию отрицает, церковный бунтовщик!

– «А исповедаться пошто идти к никонианину? Исповедуйте друг друга согрешение по апостолу и молитесь друг о друге, яко да исцелете».

– Подымусь на ноги, угоню бунтовщика в ссылку... запустошит церкви, вижу.

– «А воду-то святит, хотя и истинный крест погружает, да молитву диавольскую говорит».

– На молитву кинулся? Тут бы ему Никона! Он бы расправился с ним, а то мои епископы бояр иных боятся: Салтыкова, Соковниных... Жаль, нет Никона! – Царь метался на подушках, лицо покраснело, на лбу выступил пот, одеяло поползло на пол.

Троекуров, отстраняя огонь, поправил одеяло.

– «В правилах писано: и образу Христову в еретическом соборе не кланяться. А туто же и крест да еретическое действие».

– Сослать его и указать сжечь, да мало того: пытки повинен... избить пса до костей и в огонь кинуть!

Троекуров, видя, как гневается царь, тронул за локоть дьяка, шепнул:

– Спроси, Иваныч... не перестать ли? Царь расслышал шепот, сказал:

– Читай, дьяк, все! Царица за него, изувера, стоит, а знает ли Ильинишна, кто он?

Милославские все стеной за Аввакума, а Аввакум – бес!

Дьяк читал:

– «А с водою тою, как он придет в дом твой, и в дому быв водою тою намочит, и ты после ево вымети метлою, а иконы вымой водою чистою и ту воду снеси в реку и вылей. А сам ходи тут и вином ево попей, и говори ему: „Прости, мы недостойны идти ко кресту!“ – Обряд водосвятия похабит, а мы ждем его примирения с церковью? Лицемерию и безбожию поучает. Господи! Мы ходим на Иордань с кресты, с хоругви, а он? Мы церковь украшаем, чтоб у народа вера была в нее, а через нее в бога и царя... Он же служителей церковных лает, велит плевать на церковь, а без церкви народ – стадо волков... без бога и без царя хочет, чтоб жили люди! Без церкви бога забудут... безбожие, бунт, бунт!

Царь задохся от своих слов и замолчал; лицо из красного стало бурым. Дьяк перестал читать. Царь отдышался, сказал:

– Читай, Иваныч! До конца знать хочу его богохульство... учитель, лжепророк! «Глядите-де на меня! Мученик я... крест страдания на себе несущий...» Цепи ты нести будешь, сгинешь живой в яме!...

Дьяк продолжал:

– «Он кропит, а ты рожу ту в угол вороти или в ту пору в мощну полезь, деньги ему добывай...»

– Какому лицемерию учит, изувер!

– «Да как собаку и отжените ево».

– Это рукоположенного-то служителя церкви как собаку!

– «А хотя и омочит водою тою, душа бы твоя не приняла того»... Дальше, великий государь, сорвано, – поклонился дьяк.

– Иди, Иваныч, будет нам – знаем, кто он, а ты, боярин, приглядывай и за Морозовой и за ними всеми с ним. Родион стар, то дело ему и не свично.

Вошел спальник, сказал:

– Великий государь, духовник в крестовой просил к службе, ежели можно, выйти.

Окна царской спальни не мерзли: были на подоконниках грелки. За окнами один за другим начинали звонить колокола. От сияния месяца небо белело. Частые переплеты рам серебрились, и видны были в вышине яркие звезды.

– Идите, бояре! – царь говорил тихо. Спальнику сказал: – Пожди... смогу встать – одеваться будем.

Бояре, кланяясь, уходили. У крыльца в лунном сумраке мотались тени людей, лошадей и пятна саней, крытых коврами. Поблескивала упряжь, звякала сбруя, скрипели полозья отъезжающих, а по сеням неспешно выходили на постельное крыльцо двое: Троекуров с дьяком Алмазом Ивановым. Боярин, любезно оглядывая дьяка, посулил:

– Шапку, Иваныч, с алмазными в кистях, ту, распашную, соболью не продаю, а дарю тебе!

– Поминок ценной, боярин! Только и послуга, чаю я, надобна не малая за шапку?

Дьяк ответил, оглядываясь, и пробормотал тихо:

– Место свято, да ушей за иконостасами много...

– Послуга малая: слышал ли, дьяче, как государь помянул Никона?

– Необычно похвальное слово Никону, – как не слышать?

– В Судном приказе недавно посажен править дружок Никона – Никита Зюзин...

– Мои подьячие там – знаю! Чего надо про Зюзина?

– Болтун он, много слов, а что многограмотный Зюзин – цена тому малая... унижает он нас, служилых людей, когда до него тычемся.

– Сместить его, боярин, трудно...

– Сместить его, Иваныч, легко, ежели внушить ему вызвать Никона в собор на примирение...

– С государем примирения у Никона не будет... так же как у Аввакума с церковью...

– И не надо, Иваныч! Надо лишь, чтоб позвал.

- Не пойму тебя, боярин...
- Небеса ледяным светом загорелись, дерево трещит с морозу, – тут не сговоришь. Вот мой возок – за брашном с романеей у меня потолкуем.
- Честь большая с боярином пировать, да ждут домашние...
- А мы холопишку сгоняем к тебе упредить домашних... Едем ли?
- Едем, боярин!

## Глава VI. Сенька

Плохо бы пришлось Конону броннику, да его крестный отец боярин Одоевский заступился, сказал дьяку Земского двора, который написал на бронника клязу, что-де «убогой Бронной слободы бронник, именем Конон, противился государеву указу и не пустил на двор решеточных прикащиков делать у него обыск и вынуть медь, которая по сыску подьячих у него была, а когда решеточные прикащики и сторожа пригрозили ему привести для обыска стрельцов, ночью сжег свой дом и тем злым делом учинил пожар всей Бронной слободы».

– Прекрати то дело, дьяк! – сказал Одоевский, – убог он, глух и нем; от его глухоты могло быть несчастье с домом.

Дьяк дело прекратил, но объезжий, по слухам убитый в Медном бунте, Иван Бегичев пригрозил Конону. «Мы еще до тебя доберемся, глухой!» – написал он Конону на стене белой углем. Коков долго ту надпись не стирал, чтоб плевать на нее, проходя мимо.

На пожарище, на старом месте, Конон выстроил небольшой дом. Кузницу сделал за домом в глубокой яме, выложенной кирпичом.

К нему с похорон Таисия пришел Сенька. Конон встретил Сеньку, подвел его к черной доске в углу у окна, мелом написал:

«На столбе у Земского двора я чел твои приметы: значишься ты в заводчиках Медного бунта.

Сенька также ответил ему письмом на доске:

«Боишься меня, Конон, то уйду!»

Конон нахмурился, вырвал из Сенькиной руки мел и написал:

«Дурак, не боюсь я – живи!»

Он свел Сеньку в кузницу, но свел его не наружным входом, а другим. В яму кузницы у Конона был особый вход под полом. Проход шел прежним тайным коридором, где хранились его и Таисия богатства.

В конце коридора была небольшая камора, в ней висели готовые панцири и бехтерцы. Тут же стояла деревянная кровать с постелей, набитой соломой, серое одеяло тонкое. В каморе было жарко, так как узкий проход в кузницу приходился за горном. Узкое окно, имея раму и слюдяные пластинки, было открыто и глядело прямо в небо, а выходило оно за частокол на двор, заросший бурьяном, куда никто не заглядывал.

Показав Сеньке убежище, Конон вернулся с ним в избу, посадил к столу. Принес еды и жбан пива. Сам не ел, потчевал, жестами указывая Сеньке. К столу он принес доску и написал:

«А где Таисий?»

Сенька потупился, потом, тряхнув кудрями, погрозил кулаком в пространство, взяв мел, написал:

«Убит!»

Конон положил локти на стол, сжал большими черными руками голову, потом, расправив спину, ероша волосы, не спрашивал больше, налил пива Сеньке и себе – они выпили, чокнувшись оловянными ковшами. Конон, выпив, широко перекрестился.

По утрам Конон ковал сабли или вязал панцири. Сенька стал ему помогать. На работе Конон был строг и не раз бил Сеньку клещами по рукам. Когда Сенька привык проволоку тянуть, гнуть кольца на железном пруте, а также делать, вырезать и зачищать металлические

пластинки к бехтерцам, то бронник, глядя на него, изредка щелкал языком и скалил крупные зубы. Как-то раз Сенька достал из сундука Таисия маленькую золотую монету, расплавил ее и вызолотил первую пластинку бехтерца. Конон задвигался на своем татуре, сидя, и замычал, хмурясь. Схватив от Сеньки плавильник, вытряхнул золото в огонь. Сенька удивленно раскрыл глаза. Немой по глазам понял его вопрос; встал, взяв мел, написал:

«Куй сабли и не отбивай у убогого последний хлеб!»

Сенька удивился тому, что серебряник, который часто работал с ними, однорукий и одноногий, так ловко вел себя за работой и так искусно, что он позабывал, глядя на него, об его убожестве. Ему стало стыдно и того, что его кислотой он мазал пластинку и его же полировником полировал металл. Сенька ответил так же Конону:

«Прости, Конон, не буду – забыл я, что мастер убог!...»

Конон улыбнулся, погладил Сеньку по богатырской спине шершавой рукой.

Так они жили и работали. Если шел в избу не серебряник, а чужой кто, Сенька прятался. Он забывал, работая, что за стенами избы Конона есть какая-то иная жизнь. Сабли ковать и тянуть Сеньке плохо удавалось – слишком тяжела была его рука, держащая молот. Конон заметил это, сказал ему на своем языке мелом и буквами крупно.

«Куй сулебу<sup>264</sup> – легче будет!»

Ковка сулебы Сеньке далась лучше.

Как-то утром из кузницы они пришли отдохнуть и закусить. Мылись. Конон потом хлопотал с едой, а Сенька пил табак. Дверь в избу не заперта на замок. Дверь толкнули, в избу вошла черница в черной одежде и черном куколе. Не крестясь, тяжело вздохнув, села на лавку молча и молча сидела у дверей.

Конон, не обратив внимания, принес еду. Сенька, положив рог с табаком на окно, принялся есть.

Черница сказала знакомым голосом: —

– Семен, есть у тебя брат Петр?

– Тебе зачем знать?

– Я была у него... я тебя давно ищу...

– Выдать палачам, как выдала Таисия?

– Грех мой был... каюсь... злоба изгрызла... старики боле грешны, чем я, но один поделом своим мертв, другой – отец, и я его не ведаю...

– То было... помнить того не хочу! Зачем будишь мою память?

– Не могу жить, чтоб не видеть тебя! Твой брат Петр нынче в боярских детях ходит... дружит с боярами... дом поставил, как у отца был, так сказал и еще: «Брата сыщешь Семена, веди ко мне».

– Бояра – мои враги, и он враг, ежели дружит с ними!...

– По службе дружит...

– Уйди!

– Уйду нынче, но приду опять!

Черница встала, пятась в дверь, долгим взглядом, выходя, глядела на Сеньку.

Конон убирал со стола; вернувшись, написал Сеньке:

«Ее глаза говорят, что знает тебя? Пошто пришла черница?»

«О брате моем весть дала!» – ответил Сенька и, положив мел, взял рог с табаком, ушел в кузницу.

Изба с курным потолком жарко натоплена. Душно в ней от печного дыма и ладана. По закопченным стенам иконы с лампадами и свечи горят. В переднем углу на полках с книгами. Пять старик-черноризниц, по очереди припадая к книге, крестятся, читают жития, бормочут молитвы. Мерзлая дверь затрещала, в избу пришла шестая черноризница Улька. Ей тихо сказали:

---

<sup>264</sup> Сулеба – род меча, только меч – прямой, а сулеба – короче, и лезвие изогнуто.

- Молись, сестра Юлиания...
- Сестры, прервите моление...
- Пошто нам бога гневить?
- Беса из меня изгнать надо!

– Сестры, сестры, вчуйтесь, што сказует грешница... Старицы, перестали молиться, окружили младшую; все они взяли из угла с-под лавки плети. Старшая приказала:

- Разоблачись, грешница!

Улька скинула черное платье на пол среди избы, готовясь лечь, но не легла. Сдернула рубаху на лямках, обнажилась до пояса, желтея при желтом огне крепким телом, слегка пригнулась вперед, ждала.

Старшая черноризница, собрав в узле жесткие губы, размахнулась и сильно ударила раздетую по голой спине плетью. Другие четверо выступали по очереди и также били. Ударившая отступала назад – собраться с силами, на ее место выступала другая и била. Слышался строгий голос старшей, щелкающей четками:

- Кайся, в чем грешна?
- Лицезрела прельстительное!
- Бейте, сестры, а ты кайся!

Одна из стариц читала молитву: «Да воскреснет бог!»

Черницы двигались, как в пляске; слышались удары плети, огни свечей от движения тел и рук погасли-только в углу, у черного образа, мигала одна лампада. Истязуемая стояла, шатаясь, спина ее чернела от крови, а старшая сказала громко:

- Четки показывают сорок пять! Не полно ли?
- Нашла, наша! И ныне не покину его! – как исступленная кричала Улька.
- Бейте!

Движение черных старух, как бесовский танец, шлепанье ремней по телу...

- Полно, сестры, девяносто боев!
- Да... она уж в ногах не тверда.
- Куколи черной одежды сползли с седых голов:
- Полно тебе, Юлиания, сто боев.
- Упорствует – блуд был ли?...
- Не было! Бу-у-дет... боюсь! Избитая упала на свое платье.

Старшая из прируба принесла баранью овчину. Сырой мездрой приложила к спине истязуемой; пригнетая к битым местам, говорила, как заговор:

– Блуда не было... Бог простил... от эпитемы бес ушел... Улька, стоная, спала среди избы, а старицы зажгли у налоя свечи, крестясь. Старшая стала читать: «И видех ин ангел крепок сходяй с небес...»

Сенька узнал от калеки серебряника, что решеточные и дьяк Земского двора злы на Конона. «Не ходит к ним с посулами», – говорил серебряник. Сенька ночью всегда ждал обыска, а потому спал на лавке у окна, про свое убежище думал: «Зачнут обыск, увидят ставень под пол и сыщут все!» С заботой ложась спать, говорил себе: «Услышишь, как приступят к дому! На Конона надея плоха – убог он, глух».

Этой ночью февральская вьюга за узкими окнами крутила холодным снегом. «Сегодня посплю с добром! В такую тьму и холод не побредут...»

Когда заснул он, приснилось, что его поймали, свели в застенок, пришли палач с помощником, привязали к столбу и откуда-то сверху начали капать ему на голову тяжелыми каплями холодной воды. Капли стучали: «стук, стук!» Сенька расправил плечи, рванулся из привязи и проснулся. «Стук, стук!» – стучало у его изголовья в ставень окна. На подоконнике у него лежали всегда рог с табаком, трут, огниво и малая лучинка на случай, чтобы зажечь свечу на столе. «Стук, стук!» Сенька высек огня, отодвинул ставень.

В окне он увидел знакомое лицо и голову, закрытую куколем до глаз.

- Чего тебе?
- Семен, ведай, послезавтра придут с обыском... завтра до ночи побудь – ночью уйдем

к твоему брату.

Сенька разоспался, сказал не думая:

– Уж не ты ли довела, что я живу у Конона?

– Студ на твою голову, Семен! Ежели бы довела, так зачем упреждать? Слышала, как об этом деле стрельцы говорили.

– Добро, спасибо...

Конон проснулся, заметив огонь, ничего не сказал, снова заснул, только утром спросил: «Кто в ночь приходил к тебе?»

«Пришли упредить обыск. Лишнее надо прибрать», – написал крупно Сенька.

Конон кивнул головой, и оба они пошли под пол: там, в каменной нише коридора, заклали кирпичами то, что собрано было Таисием, и Конона дорогие вещи убрали туда же.

Кирпичную свежую кладку завесили бехтерцами, завалили ржавыми мечами, бердышами и другим ненужным хламом. Потом Сенька надел под рубаху панцирь, привесил шестопер. Они обнялись, когда пришла черноризница Улька. Сенька, надев полушубок, рванулся в темноту московских улиц. Улька шла сзади. Сыпало снегом с черного неба, и ветер налетал порывами.

Выйдя на Красную площадь, увидели в Кремле Спасские ворота отворенными. В воротах и внутрь Кремля стояли пестрой стеной стрельцы, стольники и бояре в богатых одеждах, а воинские люди – с оружием и факелами. Огни факелов мотало ветром, сверкали драгоценные камни на шапках и шубных рукавах. В Кремле ждали чьего-то выхода. Улицы Китай-города забиты народом, блестели глаза, краснели лица, но говор людей был тихий, любопытствующий.

– В эту ночь по всему городу открыты решетки... – тихо сказала Улька.

Они прошли в сторону Москворецких ворот. С башнями без огней стояла громада кремлевских стен, и даже в пытошной Константиновской не было ни огней, ни криков.

– Какой же праздник, что царь на богомолье собрался? – спросил Сенька.

– Не праздник! Свейского посла ждут из Грановитой палаты, – тихо сказала Улька и кинулась к Сеньке. В сумраке две рослые фигуры шагнули к ним: одна вывернула полу, подолой зажженный фонарик.

– Чего ищете? – спросил Сенька. Лихой, бегло осветив их, сказал:

– Изведать хочу, каковы есте вы.

– Так ведай! – громко ответил ему Сенька, сунув к фонарю дуло пистолета.

Лихой попятился в сумрак, огонь исчез, и обе фигуры расплылись в снежном воздухе.

У Москворецкого моста, несмотря на позднее время, шумел кабак, Валялись и бродили пьяные, но никто Сеньке больше дороги не заслонял. Так же – Сенька впереди, Улька немного сзади – перешли мост. За мостом прошли новую церковь, высокую и пеструю от позолоты, ту, что еще недавно строил царский духовник Андрей Саввич<sup>265</sup>. За церковь – лари и скамьи рынка, а дальше – черное, большое и широко севшее здание. Улька указала на него:

– Видишь ее?

– Знаю башню ту, Кутафьей прозывают.<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup> ...прошли новую церковь, высокую и пеструю от позолоты, ту, что еще недавно строил царский духовник Андрей Саввич. – Имеется в виду выдающийся памятник архитектуры храм Григория Неокесарийского (1667—1669 гг., зодчие Карп Губа и Иван Кузнечик) на Дебрицах (ныне Большая Полянка, дом № 29а) по инициативе протопопа Андрея Саввинова, попавшего в немилость патриарха Иоакима, который, воспользовавшись отсутствием Алексея Михайловича, посадил Саввинова на цепь, не допустив на торжество освящения храма. После смерти царя его духовник был сослан.

<sup>266</sup> Знаю башню ту, Кутафьей называют. – Очевидное недоразумение: Сенька с Улькой давно миновали Кремль и движутся в глубь Замоскворечья. Кутафья же башня стоит перед Боровицкими воротами Кремля. Здесь, видимо, имеется в виду одна из башен Скородома – крепостной стены на Земляном валу.



– Башня утешения, – тихо сказала Улька и прибавила: – В ей сено... в нее пойдем, пождем исхода ночи...

– Пока ждем, решетки запрут?

– Кому запрут, а нам отворят!

Она властно взяла его горячей рукой за руку, пролезла вперед, где не брал ветер. Башенная печура<sup>267</sup> была сплошь забита сеном и пуками соломы. Улька тяжело дышала, тянула его: «Ложись: время деть некуда!»

Далеко, но гулко в Кремле на башне проббили часы. Вторя их бою, по всей деревянной Москве прокатилась, как обрушенная поленница дров, дробь сторожевых колотушек. Улька, тяжело дыша, сказала:

– Неладные, бьют и бьют, а лихие люди не боятся... – Они старались согреться. Улька прижималась к Сеньке. Совсем недалеко отчаянно начал взывать чей-то голос:

– Ка-ра-ул! Батю-шки-и... уби-и...

Сенька широко открыл зажмуренные глаза, но видел только щель черных соломенных снопов, а за ними притягивал глаз столб на перекрестке с негасимой лампадой за слюдой у образа... Ему хотелось дремать, а знакомые губы жгли его нахолонувшее лицо, горячие руки не давали дремать его телу, и тело его проснулось для наслаждений. Живя у Конона, он не думал о женской ласке, ненависть к Ульке кольхнула лишь тогда, когда он незаметно для себя полюбил ее, не видя ее лица.

Потом он вдавил тяжелое тело в сухую подстилку, закрыл глаза, сказал:

– Уйди! Спать... хочу... спать!

Но она так же, как привела сюда, властно взяла его за руку, сказала:

– Пора!

– Хочу спать!

– Пора! Надо пройти одну решетку.

Они вышли. У решетки в Стрелецкую слободу Улька застучала.

Без огня из караульной избы вышел сторож, звеня ключами:

– Ты, сестра Юлиания?

– Я, Пятуня, отвори

– С тобой кто?

– Мой отец: я ведь не безродная...

– До сих мест не ведал того... идите! Дальше решеток нет, а колоды – перелезете.

Когда с Сенькой они прошли ворота, Улька обернулась к сторожу:

– Не запри! Мигом глаза вернись!

– Пожду – верни скоро! – ответил сторож.

Недалеко уйдя в сторону Стрелецкой слободы, Улька кинулась обнимать Сеньку.

– Семушка, мы ведь снова вместе?

– Прощай! Не вспоминай, что было.

– Ужели не простил?

– Мертвый лег на пороге! Не могу...

Обратно к черной решетке, где ждал сторож, шатаясь, брела тонкая черная фигура. Вперед, в сторону стрелецких путаных улиц, знакомо шагала широкоплечая высокая тень человека. Она не останавливалась: дом отца Лазаря Палыча был знаком даже во сне стрелецкому сыну Сеньке.

Улька, пройдя решетку, которую за ней с треском дерева прихлопнул решеточный сторож, свернула в черную узкую улочку. У домишка малого, как собачья будка, черноризница постучала в ставень окна, в ставень же сказала громко:

– Юлиания приюта ищет!

Ей отворили воротца, сплошь забитые снегом. Она пролезла. Древняя старуха в ватном

---

<sup>267</sup> Печура – ниша, углубление.

бесцветном шугае сидела перед Улькой у стола, на столе в медном шандале горела свеча; ее пламя шарахалось на стороны и от тихих слов старухи, и от слов Ульки, дышащей холодом улицы.

– Надо чего чернице-вдовице?

– Напой меня, бабка, зельем, таким, чтоб плода не было...

– Блуд свершился давно ли?

– Сей ночью!

– Ой, ты! Ой, ты! Пошто тебе зелье? Дитё – радость! Дитё – свет месяца... малое дите! Большое дите – свет солнышка! Оно играет, за груди имаёт! Оно целуется, милуется... Душа, гляючи, у матери радуется... а слова заговорит – адамантом дарит! Ой, ты!

– Пой меня всякой отравой – сызнесу, а младень будет – решусь жизни!

Старуха, качая седыми космами, сходила в малую камору, принесла в деревянной чашке, до краев наполненной, черного питья!

– Пей, безжалостная!

Улька, откинув монашеский куколь озябшими руками, жадно схватила чашку и в три глотка выпила.

– Еще бы выпить, бабка?

– Еще изопьешь – кровями изойдешь!

Из своего черного одеяния Улька достала алтын серебряный.

– Бери! Верное ли твое питье?

– Верно, черница-вдовица! Иди, почивай спокойно, жди кровей... Коли много будет крови, приходи – уйму!

Улька ушла.

Той же изогнутой, заваленной снегом улочкой брела черноризница, брела к пустырям на окраинах Москвы, – нередко пустыри заселял какой-нибудь боярский захребетник. Большой клочок насельник обносил тыном, в тыне ворота во двор; посреди двора строил избенку, иногда и часовню имени своего святого, а свободное место во дворе сдавал ремесленникам и другим таким же боярским страдникам, как и сам.

В такие дворы любили селиться те, которые исповедовали Аввакумово двоеперстие. Они селились на заднем дворе ближе к тыну. В тыне делали лазы на случай обыска да, кроме того, если место было сухое, строили часовню и без попа пели и обедню и вечерню у себя, не ходя в церковь, а в часовнях таких рыли подполье, и проходы подземные, и тайники.

Улька пришла к себе. Пять стариц перед налоем, с зажженными свечами толковали раскрытый лицевой Апокалипсис.

Четверо, крестясь, слушали, старшая поучала:

– Зрите ли, сестры, змия о седми главах?

– Зрим, зрим!

– Толкуй нам, сестра Соломония, а мы слышим и зрим!

– Змия сего напоят из чаши праведники в светлых одеждах...

– А што сие знаменует?

– Зрите дале, сестры: на змие в багрянице, в золотой короне, восседает жена пьяна кровями праведников, и жена та – вавилонская блудница!

– Господи Сусе!

– Чти нам, сестра Соломония, что речено про блудницу в святой книге?

Старшая старица громко прочла:

– «И видех жену пиану кровьми святых и кровьми свидетелей Иисусовых... и дивихся, видев ее, дивом великим вси...» Сказую вам, сестры, блудница пьяна кровьми святых. Это никонианская церковь! Кто убивает праведников, учеников Аввакума и страстотерпца Павла Коломенского? Кто гонит в Даурию дикую нашего сподвижника отца Аввакума, коего призвали, штоб утратить и покорить, а не покорился им, и ныне по цареву повелению закован в чеши и удален на Воробьевы горы?

– Горе нам, горе оле, оле, бедным!

Улька, войдя, скинула верхнюю одежду, развязала тесемки кожаных улядей, сбросила их под лавку и легла у коника, близ дверей.

– Где была и грешна ли, сестра?

– Грешна, сестры, много, много грешна я...

– Истязуй себя!

– Изгони беса!

– Нет, сестры, не спасет истязание... видела его и не могу не видеть!

– Забудь его, искушителя! Бес, он сам бес, али не ведаешь?

– Не ведаю, сестры! Если изгоню его из моих очей, тогда и света мне не надо зреть!

– Чти молитву, чти молитву!

Старицы, покинув наложку и книгу, обступили Ульку. Она говорила, как в бреду:

– Сестры, мир без него – вечная ночь... в этой ночи только он, соблазнитель мой, светел, как ангел...

– Плюнь! Сатана, сатана!

– Нет его, и все для глаз моих тьма!

– Чти молитву.

– Пусть так – она спит и... бредит...

– Несите Аввакумову ряску, накроем, спасет...

Старицы принесли из прируба черное, накрыли Ульку с головой.

## Глава VII. Брат

У ворот родного дома Сенька понял, почему Улька хотела переждать до утра: ворота были переделаны и не как у отца Лазаря – не запирались всю ночь, – новые ворота были заперты. Только на рассвете старик дворник их растворил. Ночью стучать в ворота и говорить с караулом решеточных Сеньке было опасно. Войдя во двор, он приказал старику:

– Пожду, а ты скажи хозяину: Семен-де, Лазаря Палыча сын, пришел.

Дворник спешно вернулся, провел Сеньку и отворил ему дверь в повалушу. Высокую поднял в свое время повалушу Лазарь Палыч и горницы возвел большие: «Хочу, чтоб в моих покоях было просторнее, чем в боярских!»

При свете зимнего утра и при свечах, горевших в шандалах на столе, в большом углу, Сенька, стоя в дверях, увидел человека, по воспоминаниям прежних лет мало похожего на брата Петруху. Среди повалуши стоял человек смелого вида, чванливый, так показалось ему, но с веселыми глазами, а платьем боярским напоминал жильца, только что приехавшего на государеву службу и еще не успевшего обноситься.

На молодце кафтан мясного цвета стрелецкого покроя, но отороченный по вороту и подолу бобром. Шапка – околыш куний – шлык большой малиновый, скошен ради ухарского вида на правый бок. По кафтану камкосиный<sup>268</sup> кушак с кистями из золотых тряпок<sup>269</sup>, ворворки на кафтане и поперечные нашивки – тянутого серебра. Только по концам буйно вьющихся русых кудрей Сенька, признал свою породу. На шапке брата, повыше куньей оторочки, знак стремянного полка – крупная золоченая звезда-бляха. У брата борода не длинная, русая, окладистая.

– Эж тебя, младшего сына Лазаря, в костях подняло! Широкий и великий. – Петруха сказал это со смехом, не двигаясь с места. Сенька все еще стоял в дверях, пригнув вперед голову. – Чего гнешься? Припри дверь, да обнимемся! Родня ведь!

Не оглядываясь, Сенька нащупал скобу, запер дверь и шагнул к брату. Они крепко обнялись.

---

<sup>268</sup> Камка – шелк с бумагой.

<sup>269</sup> Из бахромы.

– Митревна! – крикнул Петруха. – Неси браги: гость у нас! У меня же день сей просторной.

Из прируба повалуши вышла опрятно одетая пожилая женщина, принесла на стол малый жбан и два оловянных ковша, потом торопливо пошла в прируб, вернулась к столу с точеным деревянным блюдом, на блюде – жареная рыба, хлеб и нож. Поклонилась, сказала негромко:

– Девка, коя ходит доить коров да прибирать хлевы, неладная, Петр Лазарыч: седни не пришла, должно, к матке проведать чего убежала...

– Ну и что?

– Да то... сама пойду к скоту! А ты уж гляди: чего надо, бери брашно в прирубе.

– Поди, Митревна, управлюсь...

Братья сели за стол. С особенной радостью сел Сенька на скамью, на которой он еще в детстве сидел. Непокрытый стол был ему милее дорогих раззолоченных... За этим дубовым столом он усаживался каждый вечер с отцом и матерью Секлетеей. За ним сидя, он однажды спросил пьяницу монаха Анкудима: «Уж не с руками ли тот дух святой? Мастер стихиру чел, где святой дух робят бьет розгой...» – И вспомнилось Сеньке, как мать просила отца Лазаря побить его плетью за то. Брат, наливая брагу, вглядывался в Сеньку.

– Матер, матер! Вишь, ты в отца пошел... Чем же промышлял до сего времени? Одно время чул про тебя – был келейником Никона...

– От Никона сшел... стал гулящим.

– И то знаю! Чел твои приметы на столбе у Земского двора... в заводчиках медного был?

– Не довелось быть... сидел я...

Дальше Сенька говорить побоялся, замолчал.

– В тюрьме?

– На мельнице... в Коломенском... шум пережидал.

– Оговорили тебя на пытке иные – приметы твои оттуда же. Они выпили по доброму ковшу браги. Наливая по второму,

Петруха добавил:

– А ништо! Меня сыскал – цел будешь. Год поживешь в дворниках, обличье сменишь, а там тебе службу сыщу! Дворнику поможешь: стар он у меня... Митревны моей муж, а Митревна моя замест матери Секлетеей живет...

Сенька, чем больше пил, тем молчаливее становился. Петруха же, пока пил, ел, – молчал, а то говорил без умолку.

– Земские да решеточные ко мне не вхожи! За службу мою мой двор белый, иным до нас дела нет... Есть тут черница Аввакумовой веры, да она крепка на слово – лишнего не молвит, принимаю ее ради матушкиной памяти... Любила покойница таких... Конюх живет – скорбен ушми, и все мы тут...

– Знаю ту черницу: Ульяной зовут; она меня к тебе привела.

Сенька, чтоб больше не говорить о черноризнице, спросил:

– Скоро ли, Петра, боярином будешь?

– Живши у Никона, знаю я, бояр ты видал?

– Видал...

– И от отца Лазаря слышал о них? И вот мой те сказ про боярина: из стрельцов и дворянином малым быть – труд большой... Сами же бояра из-за чести быть ближе к царю грызутся, как волки... Боярин иной весь век на Красном крыльце службу ведет, в сени царские не вхож! Иной по чину пошел дальше – вхож в царские сени, в палаты же ему до смерти не войти. Дворянину простому, не думному<sup>270</sup>, подойти ко крыльцу царскому не всяк день указано... В палатах царских ходят и служат Прозоровские, Трубецкие, Морозовы,

---

<sup>270</sup> *Думные дворяне* – один из высших чинов, входили в боярскую думу.

Одоевские, Солнцева-Засекины... Их род не нашему стрелецкому ровня!

Сенька не слышал, что сказал брат старухе, подававшей на стол, напомнил:

– Ты, Петра, може, на службу поздаешь?

– День – мой, служба – ночью до утра... Нет, Семушка, мое счастье не в царской службе... – Сказав это, Петруха оглянулся, напомнил ему отца Лазаря: тот, бывало, о царе скажет, сам или кто другой, оглянется, встанет и даже к окну припадет послушать, нет ли кого у подоконья.

– В чем же твое счастье, братан?

– По службе дальше мне ходу нет! Дворянских голодных детей много... на все готовых, а у меня гордость – я на все не готов!

– Добро, братан!

– Мое счастье могло бы свершиться, да, видно, не бывать ему!

– Пошто не бывать?

– За невесту, вишь ты, жемчугов надо много – столько не наберу. Пойдем-ка вот на двор, погляди, как я отцовы конюшни да хлевы поднял!

Они вышли. Сенька оглядел прочный дубовый тын, сад, конюшни со многими стойлами. Скота в них, в хлевах, а в конюшнях лошадей – много.

– Теперь сумеречно стает, да и конюх ушел куда-то, а то бы лошадей по двору погоняли! Глянь, бахмат<sup>271</sup> вороной – зверь зверем, грива, зри, почти до земли, а копыта железо, ступист, барберень окаянный, только рысью тяжел. Боярин тут один, знатной, торговал его, даже на двор ко мне приходил и брагу пил со мной; не уступил ему бахмата, сказал: не время еще... потом...

– Поспеешь, Петра, такого коня продать!

– Рухлядник теперь мой погляди! От родителей ничего не осталось, все сожгли черной смерти для...

Они пошли в подклеты. Петр завернул в повалушу, взял одну из свечей, пошатываясь, капая салом свечи на руки и пол, отворил рухлядник. Сенька увидел ферязи цветные, шубы и шапки зимние, каптуры и треухи, сапоги сафьянные, чедыги татарские.

– Чего же, братан, от тебя просят, ежели у тебя столько добра?

Петруха запер рухлядник и подклеты; тряхнув концами кудрей, помолчал.

Они пришли к столу в повалушу; налив по ковшу браги, чокнулись, Сенька выпил, а Петруха помедлил пить, сказал:

– Полюбил я, Семка! – Подняв голову и двинув шапку на правое ухо, рассмеялся: – Купеческую дочь полюбил, и я ей, знаю, по душе пал...

– Ну, так что?

– Купчина богатой, дурит, сколь может, а я к ему сваху заслал и выписал ей на бумажке все то добро, кое ты видел...

– Так!

– Он же сваху в горницы не пустил, на сенях держал... глянул на мою роспись, сказал: «Двор белой, лошади да скот ништо стоят, и ежели тот боярский сын из стрельцов не подарит мне жемчугу мерой со свою стрелецкую шапку, дочь не отдам!»

Теперь Сенька, сняв шапку, тряхнул кудрями, заговорил:

– Братан, кабы не мое горе, что себя среди дня белого показать не могу, добыл бы тебе не одну шапку жемчугу... Нынче же, думно мне, гибнет от корыстных дьяков мой товарищ бронник Конон, и я чаю, взяли уж его в тюрьму и избу опечатали... наш жемчуг там скрыт!

– А ежели бы мне... – глаза у Петрухи загорелись лихим огнем, – подговорить своих стрельцов да ударить бы по земским с боем?

– Ну, тогда тебе, брат, не свадьба – та же дорога в гулящие идти!

– Это ты вправду...

---

<sup>271</sup> Бахмат – мохнатая лошадь, иногда малорослая.

– Нет, Петра, тут есть другое...

– Что же другое? Говори, Семка! Ходишь в гулящих – у гулящего голова должна за двоих знать.

Теперь Сенька оглянулся, не слушает ли кто близ, и тихо заговорил:

– Конон, Петра, спалил свой дом... с его домом вся Бронная сгорела, и хоша сыска не было, видоков тоже, но Демка Башмаков дьяк то дело за собой держит...

– Помню тот пожар – большой... Башмаков же по тайным делам ходок, но любит посулы... взять его посулами? Поминками...

– Конон упрям, посулов не дает...

– Мы дадим!

– Слушай до конца, не горячись.

– Чую, говори...

– Он бы давно, дьяк тот, Конона в тюрьму свел, да за бронника одно время встал большой боярин, его крестный, князь Одоевский Никита. Князь не велел дьяку теснить бронника, и дело закинули... Время прошло немалое. Конон посулов не дает, все земские знают, что у него и деньги и платье ценное есть...

Дело с пожаром меж себя подняли, мекают, что Одоевский и не узнает, как извели бронника. Может, они его подержат, спустят, а пока что дом разграбят и запустошат!...

Петруха вскочил на ноги, кинул под ноги стрелецкую шапку, пошел плясать.

– Ты чего бесишься? – спросил Сенька, когда Петруха, наплясавшись, упал на скамью.

– Семка! Бахмата того торгует у меня Одоевский Никита Иванович. Сей ночью на службу поеду на бахмате и предложу ему коня сходно... а тут уж и про бронника Конона доведу ему. Он, думаю я, даст броннику опасную от дьяков грамоту. Верно ли, что бронник – крестник его?

– Верно, Петра! А добудешь, тогда женишься на любимой, ежели купчина чего другого не потребует.

Сенька умаялся у Конона, боясь обыска; теперь без боязни в родной горнице спал крепко и долго. Зимний день хмурый, а время дошло почти до полудни. Ему хотелось поспать, но в горницу пахнуло холодом, хлопнула дверь, и брат Петруха в том же наряде, как вчера, только с саблей на кушаке, встал у кровати, крикнул:

– Семка, слушай, чту:

*«По моему ходатайству и личной просьбе у великого государя! На Земский двор думному дворянину Ларионову да товарищу его, дьяку Земского двора, Дементию Башмакову память: По указу великого государя всея великая и малая и белая России самодержца Алексея Михайловича – дело с пожаром Бронной слободы, не сысканное допряма, за бронником Кононом Богдановым отставить и впредь по тому делу бронника Конона не волочить, не убытчить и с места не выбивать! А ежели тот сыск по бронника учинен и он в тюрьму взят же, то Конона того из тюрьмы вынять и ружлядь его, кою прибрали, вернуть.*

*Боярин Никита княж Иванов сын Одоевский».*

Сенька, сбросив одеяло, босой вскочил на ноги и тут же сел на кровать.

– Как же я пойду, Петра?

– Не пойдешь так, как ко мне шел! Вон там в углу висит стрелецкий кафтан, надень его... под кроватью лежат сапоги желтого хоза, не влезут ноги – подберем сапоги другие. В повалуше на спице стрелецкая шапка. Мушкет там же, в углу. Справишься – мои стрельцы на дворе ждут. Коня, сбрую, седло найдем в конюшне.

– Счастье твое, Конон, что я попал сюда! – громко сказал Сенька, напяливая на себя малиновый кафтан.

– Думаю, Семка, что счастье всем нам троим! – сказал Петруха, уходя из горницы.

В Бронной слободе переполох. Любопытные ремесленники, одетые в кошули, сермяги и свитки, вышли на улицу, пятная черными от курных изб подошвами валенок белый снег. Перебегая босыми ногами по снегу из избы в избу, ребяташки в драных полушубках,

высовывая из воротников взлохмаченные без шапок головы, кричали:

- Конона вяжу-ут!
- Кто вяжет-то? Эй, вы, возгряки!
- Полтевские стрельцы земские!
- А вон еще едут конные красные кафтаны!
- То Головленковские... стремянные!
- Честь ему, безъязыкому, сколь стрельцов, да еще стремянные!
- Проворовался опять! Должно, и новой дом хотел запалить?
- Тот, старой, то, може, не он... не доказано!
- Ну, кому тогда было жечь?

Сенька, не похожий на себя, во главе пяти конных стрельцов подъехал к дому Конона. Стрельцы остались ждать. Гулящий, держа письмо Одоевского за пазухой, вошел в настежь раскрытые двери избы. В избу порывами ветра завывало снег.

На татуре среди избы сидел Конон, опутив голову. Сидел он в одной рубаше ночной, толстого холста, в синих крашенинны-х портках. Руки бронника были скручены за спиной, он, несмотря на холод, вспотел, потому что силился, шевеля руками за спиной, развязать их. Сеньки не узнал, не разглядывал никого, занятый какой-то суровой думой.

Четверо стрельцов в белых кафтанах лазали кто где мог. Двое из них ругались:

- Рухлядь грязная, а в кузне и быть не можно!
- Я, как черт, оттеле вылез!

За столом, где еще недавно Сенька с Кононом обедали, сидел подьячий Земского двора. Уставясь в бумагу, почти вода по ней жидкой бородежкой, закусив седой ус, писал, не глядя ни на кого, иногда дул на озябшие пальцы рук, не глядя на избу, спрашивал:

- А еще что писать? Чего взяли?
- Тут, дьяче, малой жбан пива – так мы разопьем!
- Пейте, да не всё!
- Оставим тебе!
- Вот те спас, уторы останутся!

Сенька коротко подумал, с чего начать. Стрельцы его заметили. Один сказал:

- Стремянным бахвалам не место быть с нами!
- Тоже думают погреть руки! Ехали мимо, а конь привернул...

Сенька выдернул саблю, шагнул к Конону, разрезал веревку, стянувшую руки бронника. Конон удивленно вскинул глаза, признал Сеньку, замычал и улыбнулся, встал на ноги. На него вскинул глаза подьячий, писавший опись взятого, выпустив ус изо рта, закричал, как заблеял по-козлиному:

- Ты, куричий сын, чего шалишь?!
- Делаю то, что надо, а тебе, лычная борода, вот! Чти... Вынув из-за пазухи, Сенька разложил перед подьячим лист князя Одоевского. Подьячий взял лист, бегло оглядел его, неторопливо полез в карман киндячных штанов, достал завернутые в грязную замшу очки, надел на покрасневший от холода нос, прочел внимательно, заблеял, хмурия клочки бровей:

- Беру сие на Земский двор!
- Бери, да обыск останови!

Тем же голосом подьячий приказал:

– Стрельцы, обыск сорван... есть лист большого боярина – не шевелить, покуда што бронника Богданова.

– Завсегда так! Едва лишь рухлядишку перекинешь с места на место, ужо кричат: «Руки убери!»

Конон, шагая по избе, запер дверь, потом сыскал полушубок, накиннул на широкие плечи; понял, что обыск остановлен, подошел к одному стрельцу, ловко выдернул из его ножен саблю, оглядел ее и так же ловко, с маху всунул обратно.

- Твоя, новая! – крикнул стрелец, не зная, что бронник не слышит.

Конон подошел к другому и также оглядел саблю, узнал в ней свою и все же сунул в

ножны стрельцу. У третьего чуть приподнял и не вытаскивал из ножен. В это время вылез из-за бехтерцев, из угла четвертый стрелец. Конон подошел и к этому. Стрелец не хотел дать вынуть сабли. Сенька крикнул:

– Дай ему глядеть, что взял!

– А ты тут при чем, распорядчик?

– При том! За хищение раздевают и в окно шибают. Стрелец неохотно сам вынул из старых ножен саблю. Сабля была с золотыми разводами по лезвию и рукояти.

Конон вывернул из руки стрельца саблю, воткнул в стену. В углу повозился мало, нашел новую саблю, сунул стрельцу. Тот молча принял. По-хозяйски зорко бронник, похаживая, прибирал разбросанное в углу у дверей, нашел четыре старые сабли, кинутые стрельцами, поднял их, плюнул в железный хлам и выкинул сабли на улицу прямо в снег.

Стрельцы, выходя, подобрали сабли. Подьячий лицемерно крестился на образ в угол, где сидел, читал какую-то молитву, потом, кланяясь, втягивая ус в рот, пробормотал:

– Отписку беру! Дворянину и дьяку передам; с боярином князем сочтемся и, даст бог, еще сюда оборотим.

Сенька ответил ему:

– Когда оборотишь, будем считаться; теперь же просим убираться туда, откуда пришел!

– Добро, стрелец! Не в свое ты дело заехал – придем, сыщем!

Стрельцы давно ушли. Подьячий побрел, оглядываясь и не спеша.

Сенька нашел прежнюю доску и на окне, у которого спал, кусок мела, написал:

«Крестный твой, князь Одоевский, выручил и брат мой Петр!»

«Спасибо, Семен! Сонного меня взяли – я бы им показал», – ответно Сеньке написал бронник. Он передал мел, Сенька еще написал:

«Живу у брата в Стрелецкой! Скоро туда приди, Конон. Разломай стену, из сундука Таисия вынь кису с жемчугом, принеси к нам. Двор сыщешь так: двор стрельца Лазаря Палыча, а ныне тот двор белой живет, и за его сыном Петром числится. Петр – мой брат, боярской сын».

Конон ответил:

«Кису сыщу, принесу, лишнее замажу там же!»

Сенька с Кононом обнялись как братья.

Сенька, садясь на коня, сказал стрельцам:

– Товарищи, поедем на тот же двор и выпьем вина или браги.

– Добро, добро!

Гулящему старик дворник остриг кудри, подровнял бороду. Сенька надел длиннополый сукман серый. Поместился он во дворе брата в новом домике, выстроенном Петрухой на месте древнего сарая, в котором Сенька, перед тем как уйти к Таисию в Коломну, в ночь смерти родителей ночевал. Тогда на полу сарая он жег огонь, боясь черной смерти.

На другой день, как он перебрался сюда, зашла черноризница Улька. Она сбросила монашеское платье, хлопотала для него, мыла избу, в небольшой глинобитной печи варила обед, а в белом прирубе с дверью из избы была Сенькина кровать. Настал вечер. В Кремле зазвонили к вечерней службе. Она не ушла, оделась и ждала Сеньку; Сенька помогал глухому конюху убирать и кормить лошадей. Пришел, Улька собрала ужин.

– Останься на ночь... – сказал он ей, глядя на нее. Улька потупилась, краска залила лицо, сказала:

– Завтра останусь... умоюсь дома, сегодня еще старицы ждут с вестями про Аввакума...

Дождалась, когда он кончил еду. Прибрала на столе, пока он мыл руки. Подошел, молча обняв, прижал к себе.

– Простил ли? – шепотом спросила она.

– Не спрашивай – жду, как прежде.

Она еще больше раскраснелась лицом, но не кинулась к нему на шею – ушла.

Петруха после службы сам пришел у брата на новоселье. Оглянув дом, спросил:



– Черница прибирала?

– Она, – ответил Сенька.

Митревна тоже завернула с большой оловянной торелью – на ней медовые ковриги. За ней старик дворник, ее муж, принес ендову вишневого меду и чарки.

Братья сели за стол.

– Думаю, брат, устроить тебя стрельцом! Слух такой есть, что царь указал верстать в казаки<sup>272</sup> и рейтары гулящих людей... Я же поручусь за тебя: возьмут в стрельцы.

– Эх, Петра, не хочется царю служить. Петруха засмеялся:

– Ты что мекаешь? Из стрельцов альбо казаков гулящим быть переход велик?... Не бахваль своей вольной волей: придет день и час – улетишь, коли захочешь: «яко вран клевати мясо ратных людей».

– Ух, Петра, много в тебе разбойного сокрыто, – улыбнулся Сенька, прибавил: – Орудуй по мне: иду в стрельцы!

– Гоже так! Теперь, как только появится черница, пошли ту Юлианию купчине молвить: «Жених-де шапку жемчуга сыскал, когда прислать?»

– Знает ли она дом купца?

– Сваху знает и дом знает. Сваху послать худче: не вышло бы чего? На черную патрахель не то купцы, бояра с доверием глядят. Юлианию знают, обходит она, ведомо мне, со сбором денег на Аввакумовы часовни.

– Добро, пошлю ее, Петра.

– Не мое то дело, Семка, но гляжу я: ты эту черницу давно ведаешь?

– Близко знал – кровь разогнала... чья кровь, потом скажу.

Братья допили мед, расстались. Сенька в своем прирубке хотел спать и долго не мог уснуть: в родном доме одолевали воспоминания. Засыпая, он решил: «Память о Таисии живет во мне и жить будет. Дела его не закину: не прельстят меня ни похвала, ни слава от царя, коими дорожат бояра... сколь сил хватит, буду служить народу, а не царю! Улька?... Улька?...» – Сенька крепко задремал, но, собрав волю, продолжал думать: «А что ее казнить, отгонять? У ней никого, а у меня кто есть – брат? У брата, помни, своя дорога! Улька любит меня... из-за любви предала Таисия... надобна она... ведает многие пути... и ниче...го не... бои...тсья».

Сенька уснул.

На первых днях масленицы к Петру, Сенькину брату, пришла посланная от купца старуха с извещением:

– Пусть готовятся! Старший-де к младшему сам едет-жалует, а потому-де жалует, что жених поспел, а родителей у него нет и ему, старшему, честь ронить не у кого...

Старуху угощали медами хмельными, блинами маслеными. Накушавшись, она просила по горницам и повалушам ее поводить и подклеты показать. Она не говорила, кто такова, но Митревна сказала Петрухе на ухо:

– Сваха!

На прощанье Петруха ей подарил три рубля серебряных. Посул она приняла и сказала:

– За спасибо, петушок, красной стрелецкой гребешок, молвию тебе, а ты слухай: купец во хмелю... заедет, дело заведет, не зевай – крути круче, и невеста в тай мне оно наказывала: у пьяного дума одна, у тверезого другая...

На масленице кабаки всю ночь открыты, а пьяная Москва – разбойная. От лихих убоя можно было ждать за каждым углом.

Петруха велел конюху купеческую сваху отвезти до дому; в сани садясь, она еще выпила на дорожку.

После свахи день спустя сам купчина приехал на паре вороных. На запятках саней у

---

<sup>272</sup> ...верстать в казаки... – Городовые казаки – войско, размещенное главным образом в пограничных городах; за службу им давали земельные участки.

него два рослых молодца в полушубках, шитых цветным нитяным, оба в волчьих треухах и валенках.

Вороными сам купец правил. Купец был в легком хмельном кураже.

Не снимая высокой куньей шапки, поклонился Петрухе. Петруха, сняв стрелецкую шапку, ответил купцу поклоном, пятась перед ним к лестнице в горенку.

– Годами мы разошлись, да честью ровня: я – купец, ты – боярской сын!

Петруха молча взял купчину под руку, повел вверх.

В горнице на столе приготовлена ендова серебряная с медом имбирным и ковши к ней кованые, тоже чеканного серебра.

Купец покрестился на образ в большой угол и в большой же угол сел.

Петруха, стоя, потчевал. Купец выпил только полковша меду. Подул на руки и, крестясь, тяжело вылез из-за стола, взяв с лавки кинутую им шапку, махнул рукой в сторону лестницы:

– Веди, кажи хозяйство!

Сошли во двор. Петрухе думалось, когда он пошел рядом с купцом, что сват глядит на все его добро с насмешкой. Ждал злых слов, но купец молчал.

В рухляднике каждую мягкую рухлядь щупал, а когда Петруха с зажженной свечой отводил далеко руку, говорил строго, как отец сыну:

– Свети, парень!

Сапоги и чедыги брал в руки, стучал толстым ногтем указательного пальца в подошву, ворчал в бороду:

– Тонко... менять надо!

Вернувшись, в горнице в углу купец умыл руки, Петруха дал ему рушник утереться. Сел на то же место в красный угол, сказал:

– Мед наливай – мне и себе! Не стой, хозяин, сядь!

На камкосиную розовую скатерть стола положил плашмя волосатые большие кисти рук. Хмуро глядел, как две стряпухи по очереди ставили на стол енды с медами, блины, икру и масло.

Ковш за ковшом купец, не дожидаясь Петрухи, пил хмельной мед и бубнил сквозь зубы:

– Лей и пей! Себя не забывай – день завалищий, не торговой – гулящий...

После каждого ковша гладил пышную длинную бороду, темно-русую с малой сединой. Иногда левой рукой сверху вниз гладил тучное брюхо, будто уминая туда проглоченные блины. Икнув, не крестил рот, а расправлял усы. Когда выпил столько, что иной давно бы под столом валялся, но у купца только лишь покраснело лицо да таусинный бархатный кафтан с цветными травами по синей земле стал теснить у ворота бобровой оторочкой; он, ослабив кушак, расстегнул ворот и кафтан освободил от крючков, пьяно и вместе воровато подмигнул боярскому сыну:

– А жемчуг как? Мы на обеде... яйцо в лебеде...

Петруха молча налил по ковшу меду, кланяясь, подал купцу его ковш:

– Выпьем, поговорим...

– Пить?! Пить можно, да ответ жду!

– Мой ответ тут! – Петруха нагнулся под лавку, достал кожаную кису и потрусил прямо на скатерть стола жемчуг. Купец взял горсть жемчуга, положил на широкую ладонь, иные жемчужины помял волосатыми пальцами; помолчав, заговорил:

– Скот, парень, у тебя ништо... рухлядь ношена... – хулить грех... Распорядок по дому нищий... дворник ветх – ему бога для от смерти огребаться пора...

– Есть конюх молодой и дворник тоже...

– Коли есть, указывай от хлевов, конюшен снег отваливать! С навоза паром полы да подруб гноит – киснет снег у стены.

Вскинул глаза на стряпуху; она ловко шлепнула на торель блины. Взял горячие блины, свернул трубкой, помакал в топленое масло, сунул в рот. Из узорчатой калиты на кушаке

сбоку вытянул красный плат, отер рот:

- По дому порядня худая... блины вот, я чай, пришлые пекут?
- Пришлые... своей не управиться. Старовата.
- Зови меня Лукой Семеновым; тебя, знаю я, Петром крестили?
- Петром, Лука Семеныч!
- Сын Лазарев будешь?

– Все так, Лука Семеныч! – Петруха крикнул, собирая в кису жемчуг: – Митревна! – Из другой половины горенки вышла с поклоном Митревна не как всегда, а нарядная, в кике с жемчужным очельем, в темном атласном шугае. – Снеси кису в сани Луки Семеныча, положи бережно под сиденье в ящик!

Митревна с поклоном приняла тяжелую кису.

- Баба, сунь кису под лавку, – остановил купец.
- Лука Семеныч, жемчуг мой не гурмышкой, правда, только скатной и чист...
- Жемчуг?
- Да, да, жемчуг, Лука Семеныч!
- Он мне не надобен!

Петрухе вспомнились слова Сеньки: «Ежели купец чего иного не попросит» – Петруха побледнел. Купец глядел прямо перед собой на дверь горенки, по-прежнему бубнил:

- Родители твои, покой им на том свете, торговали, молодец-стрелец?
- В Ветошном у родителя было пол-лавки, да в манатейном ряду, у попа взято за долг четь лавки – пожгли то добро, как черная смерть шла...
- В окно твою удаль глядел я, – чать, жемчуг грабежной? Мне хищенное брать – честь не велит...

– В подклете в сундуках хранился, – быстро выдумав, сказал Петруха.

Купец, задев стол, тяжело вылез, покрестился в угол, где сидел, не глядя на образ; повернулся к дверям, часто мигал, поглядывая на огонь свечей у двери на полках. Вскинул глаза на черный образ наддверный, еще Секлетеей Петровной прилаженный, проворчал:

– Дело... тут надо понять толком... Скот – двор старой... Жемчуг – не цена ему – хищенной... боярской аль?... Торговлишки никакой! На Москве же един лишь нищий не торгует... Да... а! – помолчал, прислушиваясь, не скажет ли чего боярский сын, но Петруха стоял, опустив голову – ждал. – Нам же надо, чтоб капитал не лежал, а шевелился! Голова требуется, чтоб товар ведала, какой надо, и чтоб тот товар не гнил, ежели в годы лег лежать...

Петруха поднял голову, глаза его заблестели, он кинул шапку к ногам купца и крикнул:

– Лука Семеныч, не таюсь, что есть – глядел, лишним не бахвалю.

Купец сел на лавку к комику, сказал:

– Подыми шапку, сядь.

Петруха сел. Купец перекрестился. Петруха тоже. Выходя из горницы, купец обернулся, сказал Петрухе:

- За хлеб-соль благодарствую! Когда сошли во двор, прибавил:
- К нам прошу хлеба-соли рушить!
- Спасибо, Лука Семеныч! Как время сойдется, заверну.
- Время, пес ты этакий, сыщешь! Сваху шли, а зайдешь, то с грамотным писцом – стоворную писать штоб скоро...

Петруха от радости не знал, что сказать. Купец обнял его.

– Жемчуг не беру – дочери пускай... Водил я тебя, как рыбину за лодкой, и маловато водил! На чужой двор гуляй, да казенной шапки не теряй... Жемчуг требовал, глядя на шапку!

– Лука Семеныч, – рассмеялся Петруха, – эх, Лука Семеныч! Твоих молодцов семеро было, сгреблись мы, они же ворота заперли, я отбил да тын перемахнул, а шапка на твой двор таянула – винюсь!

– Удал, статен, не нищий! Ну, шли сваху... Купец, садясь в сани, еще сказал:

– Свахи шли в скоромной день – ни в среду, ни в пятницу. Сговорную писать тоже...  
учу – молод, вишь!

Темнело. Распахнули ворота купцу, и пахнула снегом сыпучим, колокольцами, поддужными и пьяными песнями масленичная Москва. У распахнутых ворот, уперев руки в бока, стоял Петруха, пока в снежном тумане не исчез возок купца, а когда боярский сын вернулся в горницу, то ему казалось, что в нем самом и колокольцы звенят, и песни звучат, и сердце обвеивает снежной пылью...

– Семку зовите, эй!

Когда братья сели меды допивать и доедать блины, Петруха сказал:

– Счастье мне, Семка! Видал, как купчина по двору ходил, место глядел?

– Видал... прятался от чужих глаз! Чего дивить? Такому, как ты, молодцу не до отказов.

– У них, Семка, своя спесь – не наша! – Сваха шепнула: «Загулял: берегись, опятит...»

– Со сговорной торопись – в пята не пойдет!

– Верно! Скоромной день – послезавтра, сегодня вторник. Едем, ты и напишешь!

– Подбери видоков: дьячка церковного аль дьякона, я напишу... тогда крепко!

– Тебя одену в стрелецкое платье – будешь слыть стрельцом, подъячим с Ивановой.

– Ладно!

– Семка, о моем деле кончено! Завтра о твоём приступлю к стрелецкому голове Артамону: поручусь за тебя, и ты – стрелец!

– Эк, торопишься к царю за волосы приволочь!

– Сердце болит, когда прячут тебя... женюсь, с женой чужие на двор хлынут: у чужих злой глаз!

Братья пили хмельной мед вплоть до рассвета. Последними ковшами звенели долго.

Петруха кричал, плеская мед:

– За мою поруку о тебе, за стрелецкой кафтан твой и саблю!

## Часть третья

### Глава I. В Москве

Боясь медлить, Петруха на масленице в четверток (четверг) послал к купцу Мешкову, Луке Семенычу сваху.

От купца вернувшись, сваха принесла задаток в узле. Развернули плат, а в нем шарф. Шарф был тонкой шелковой ткани с золотными узорами, на концах шарфа – кисти с жемчугом. Сваха сказала:

– Знак доброй, то невестин дар! Нынче же поезжай, Лазаревич, сговорную писать.

Петруха нарядился в малиновый бархатный кафтан, надел шапку новую с собольей оторочкой, звезда на шапке недавнего золочения сверкала ярко на синем бархате верхушки, унизанной по швам жемчугом.

Сенька подобрал себе, как отец Лазарь Палыч носил, белый суконный кафтан полтевского покроя с золотными поперечинами на груди. Шапку стрелецкую – околыш бобер стриженный. Ни пистолей, ни карабинов братья не взяли, пристегнули только к кушаку сабли. Ленты через плечо с рогами пороха тоже не надели.

Выходя в конюшню, Сенька сказал брату:

– Боюсь, Петра, что сговорную не смогу писать, – давно отвык от письма, а нынче пробовал, да рука тяжка!

– Не велико горе! Чай, у купца свои писцы и видоки запасены.

– Тогда, Петра, пошто мне с тобой ехать на сговор?

– Семка! Ты – дурак; един я, не меньше чести – лишний человек со мной да еще брат.

– А не боишься чужих, кои меня приметят?

– Плюю на все! Сабля при мне... побоятся рот открыть. Едем!

Кони были оседланы, братья поехали.

Дед купца Луки Семеныча Мешкова в Ямской слободе держал двор и ямщиков – для того и выстроил дом. Сын его Семен подновил дом, кинул ямщину, избывая большое тягло и повинности, стал купцом. Внук деда Мешкова, Лука Семеныч, жил теперь в дедовском доме вольным хозяином, так как старики, оба, в год черной смерти извелись.

На крыльце старого, широко раскинутого дома Лука Семеныч встретил жениха с братом ендовой хмельного меду. Ендову держал приказчик купеческий, а ковш кованый золоченый тускло поблескивал в руках самого хозяина.

– А ну, гости дорогие, за здоровье великого государя! Петруха, сняв шапку, выпил, и Сенька также.

– Другой ковш, любезные мои, за государыню, царицу Марью Ильинишну, пейте!

– Пьем во здравие! – сказал Петруха.

Сенька молчал, но за братом выпил и второй ковш.

– Третий, штоб пократно шел, за Луку Семенова, хозяина, сына Мешкова!

– Пьем!

Пили за жену купца, за дочь-невесту Анну Лукинишну.

– Остачу допивать жалуйте в горницы!

Купец провел братьев в обширные сени и отворил дверь в такую же обширную повалушу.

В углу повалуши под образами – стол на двадцать человек, а потесниться – то и больше. На столе – енды, сткляницы водки, пива и браги с медами.

У стола, видимо в подпитии, подъячий с ремешком у лба, стянувшим корни седых длинных волос. Подъячий в затасканном киндячном кафтане. На кушаке кафтана – чернильница с пером гусиным и песочница медная плоская.

Подъячий сидел с краю стола, а глубже и ближе к большому углу – два купеческих приказчика в рыжих сукманах; третий, в синем, пришел с хозяином, сел рядом со своими.

Петруха, сняв шапку, перекрестился в большой угол, где на широкой полке, уставленной лампадами и свечами, горевшими ярко, ряд черных образов: в середине Иисус, а к бокам – угодники. Все образа были черны и просты, кроме одного – Луки Евангелиста: на этой иконе блестел золоченый оклад – басма.<sup>273</sup>

Сенька за братом покрестился также, боясь показать свое неверие. Оба они сняли сабли, приставили в угол у двери.

– Жениху и свату первое место! – хмельно повышая голос, крикнул купец, сверкнув крупными зубами.

Петруху пропустили в большой угол.

– А то, жених и сват, с тобой кто будет?

– Мой брат Семен! – сказал Петруха.

Сенька даже вздрогнул, так он отвык от своего имени на людях.

– Коли брат, садись рядом с женихом! – посадил купец Сеньку, сел близко, еще раз, повышая голос, закричал:– Гей, вы! По-о-давай...

Рядом с дверью в сени открылась другая дверь – уже, и понесли на стол бабы и девки в ситцевых и набойчатых пестрых нарядах блины горой, уложенные на блюдо, кринки сметаны, масла, икру на плоской торели, рыб жареных на противнях, заливное и пук чесноку да горшок хрену тертого.

Подъячий, тряся бородой, мокрой от водки, закричал детским голосом, звонким и режущим слух:

– Спаси, господь! И как тут брюшина выдержит? Ух, бог, помоги управиться!

– Каково придется спине, то и брюшине! – ответил хозяин, наливая всем по широкому

---

<sup>273</sup> Басма – тонкое чеканное серебро.

стакану луженому водки. – А ну, гости дорогие, однородную и единую дочь пропиваю!

– Где же женишок? – лукаво спросил подьячий, косясь на Петруху и Сеньку,

Ему не ответили. Он прибавил:

– То-то! Брашна много, вина, медов и того боле, а сказка есте: «Воевода в избу, и калачи на стол!»

– Сами не меньше воеводы! Жених наш – боярской сын.

– Ох, ох, до воеводы ехать боярскому сыну – натрет спину! А вот слово тебе подьячего человека, хозяин...

– Ну-у?

– В этом море богатыри тонут! – Подьячий развел рукой над водкой. – И ведаю я, не впервой. Все мы зальемся, но перед тем, как замкнуть до пупа и лик человеческий казить, прежде бы было сделать – сговорную исписать... Чернило на поясе, крест на вороту, и голова смыслит...

– Не младени мы! Пивали и мало пьяны бывали, а нынче – масленица, потому и пьем... Зазвонят отцы, кинем все, пойдем каяться.

– Стой, Лука Семеныч! Приказной человек молвит не напусто, – сказал Петруха.

Купец шлепнул по столу рукой, зазвенела посуда:

– Жених – князь! Кто князю непослушен, того казнят. Пиши сговорную!

Гости пили, ели при огнях от образов. Теперь же, по слову хозяина, один из приказчиков сходил на кухню, пришли слуги, расставили на столе зажженные свечи в медных шандалах.

– Добро! – Подьячий из-за пазухи вытащил свиток бумаги, раздвинув посуду, расправил бумагу на столе, перекрестился и, выдернув из узкого горлышка чернильницы смоченное в чернилах перо, прибавил: – За-а-чинаю!

– С богом! – одобрил купец и тоже перекрестился, а подьячий уж выводил скорописью: «Рядная запись боярского сына...»

– Имя?

– Петр Лазарев!

«Петра Лазарева на купеческой дочери Анне Лукинишной Мешкова...»

– Ваше звание, видоки? – обратился подьячий к приказчикам.

– Вавиловы мы! Михаил, Васильев сын, да Яким Васильев же...

– Я – Константинов Алексей. Все трое – Мешкова, Луки Семеныча, приказчики.

– Добро!

«Мы, Вавиловы, братаны Михаил да Яким Васильевы сыны, да Константинов Алексей, да яз, казенной подьячий Троецкой площади Митрий Петров, и. что нам приказал купец суконные сотни Лука, Семенов сын, Мешков, по своей сговорной грамоте дочь свою Анну, и мы сговорили с Петром, сыном Лазаревым, дати ему дочь свою Анну со всем тем, чем благословил отец ее Лука и что написал ей в особой духовной грамоте. А не дадим мы дочь нашу Анну за него, боярского сына Лазарева Петра, и на том тогда взяти с нас отступного двести рублей по сей записи. А на то послуши казенный подьячий Митрий Петров руку приложил».

– Пишите! – приказал подьячий.

«Яз, Михаил Васильев, сын Вавилов, к сей сговорной записи руку приложил. Да яз, Алексей, сын Константинов, к сговорной сей руку приложил. Да яз, Семен, сын Лазарев, стрелец, к сговорной записи руку приложил».

Сенька расписался последним. Перо в его руке втыкалось, царапало и в конце подписи расплющилось. Подьячий поглядел на Сенькину подпись; пересыпая написанное мелким песком из песочницы, снятой с кушака, сказал:

– Буквы ставишь четко и округло, стрелец, да перо держать не умеешь...

– Поучи! Люблю учиться.

– Обучу, коли хошь: в неделю раз пой допьяна, обучу – хошь в подьячие поди!

– Где тебя искать?

- Просто! Ежедень сыщешь ввечеру, после службы, на кабаке Аники-боголюбца.
- Сыщу! – пообещал Сенька.
- Ну, жених, принимай сговорную, а за работу дай три алтына.
- Дорого! – крикнул купец.

Петруха молча сунул деньги в руку подъячего. Сговорную свернул, бережно упрятал за пазуху.

Когда изрядно было выпито, сделалось шумно, и гости запели песни:

Стал потом зять тещу в гости звать:  
 «Приходи-ко ты, теща, на масленицу,  
 Я тебе, матушка, честь воздам,  
 Я тебя, матушка, отпотчеваю  
 Во четыре дубины дубовые!»

Пели приказчики, а подъячий звонко и тонко выпевал, не слушая других:

Доставался сарафан  
 Воеводе на кафтан,  
 Добрым коням на попоны,  
 Мужикам на балахоны,  
 Да попам – на завязки к рукавам,  
 Да поповым дочерям —  
 На подвязки к волосам!

Купец меж тем вызвал баб, приказал:

– Огни, бабы, на божнице погасить! Огни со стола убрать на воронец и полки! Образа завешать!

Когда было сделано по указу хозяина, он еще крикнул:

– Огню прибавить! – И полез целоваться с будущим зятем. Сенька выпил много и вина и меду, хотелось пить табак, а рога не взял. Он вышел из-за стола, поклонился хозяину, но купец его поклона не заметил, кричал:

– Кто в сенях спороват?! Кто в сенях?

В сенях матерились чужие. Дверь распахнулась, в повалушу поползли люди не люди и звери не звери, а так – середка на половину, но хозяин разобрал:

– Ярыги кабацкие?!

– Ходили в боярах и много меж нас старых! – сказал один в грязном рядне, оборванном, длиннополом. Он поднялся с четверенек на ноги и своей рукой налил себе ковш водки.

– Славословие кабаку чтите! – приказал купец, притопывая ногой, похаживая между ярыгами.

Они поочередно ловко и водку наливали, и закуску брали.

– Слово – олово, хозяин! Пьем и чтем.

– А ну!

– Эй, дьякон, зачинай!

Волосатый, грязный, в старом замаранном подряснике, встал среди повалуши ярыга и полуцерковным говорком зачистил:

– Аще бы такие беды бога ради терпели-и... воистину были бы новые мученики-и... их же бы достойно память хвалити...

– Ух, Вельзевулово племя! – взвизгнул подъячий. – В кабаках поживы нет, по дворам пошли...

Расстрига-дьякон продолжал:

– Ныне же кто не подивится безумию их?... Без ума бо сами себя исказиша... не

довлеет бо им милостыни даяти... вместо поклонения плесканию подлежат, вместо молитвы богу сатанинские песни совершаху... вместо бдения ночного всею ночью спаху – иных опиваху, друзии же обыграваху... вместо поста безмерное пьянство, вместо финьяну обоняния, смердаху бо телеса их!... От афендров их исхожаху лютый, безмерный смрад... вместо панихиды родитель своих всегда поминаючи матерным слово-овом!

К ярюге-дьякону пристали другие и возгласили хором:

– Ты еси един! Ты еси треклятый, пресладчайший каба-а-че!...

– Неладно хвалите кабак! Он – государев... – крикнул купец, показывая зубы.

– А мы, хозяин доброй, – сказал тот же кабацкий ярюга, который расстриге-дьякону приказывал славословить житье кабацкое, – мы имеем суму, а в ей саван... замыслы наши упокойника отчитывать! Потом той упокойник воскреснет, и зачнем его обливанию, яко латынскому крещению, предавать...

– Крещение в моем доме разрешаю, мертвый и мертвое чтение недобро чинить!

– Добро, хозяин! Масленичный, ряженой, как и крещенский покойник...

– Пошто? Ну!

– А уж так! Примета есте: ежели про человека сказали – «помер», а тот человек жив сыщется, и тот человек дважды здрав и долголетен бывает...

– А ну! Образа завешены, творите, чего хотите. Купец снял со спицы кунью шапку и вышел на двор.

– Колоду сыщите, эй! – приказал тот же ярюга, который, видимо, слыл распорядчиком. Он был волосат, костист, и никакое пьяное зелье его с ног не валило.

– Офремыч, тут, в чулашке, корыто стоит, – ответили от порога.

– Тащите! Оно и будет мертвому колода.

Принесли длинное корыто, поставили среди повалуши. Из рядного мешка вытряхнули замаранный саван.

– Сыщите, чем лик белить!

У кого-то нашелся кусок мелу, видимо запасенный на случай. Один из ярюг худо на ногах держался, подвели того к корыту. Сверх его длинного кафтана надели просторный саван и, перегнув за спину, подхватив ноги, положили в корыто. Грязное лицо пьянице натерли мелом.

– Чти упокойное, отец! – крикнул распорядчик. Расстрига-дьякон порылся за пазухой, вынул тетрадь, стал в головах покойника, который кряхтел и мычал. Расстриге писанное в тетради было знакомо. Он, сморкнув к порогу, торжественно, по-церковному, начал:

– О погребении младеню сему-у!

– Чти! Душой он младень, а телом, только рогов нету, да ужо в кабаке набьют!

Купец, протрезвившийся на холоде, вернулся в повалушу, шапку кинул на лавку. Все ярюги обступили корыто, один светил, высоко держа свечу.

– «Мирских сладостей не вкусиша... восхищенна премирных щедрот благих, причастника покажи, молимся нерастленного младенца, его же преложил еси божественным повелением твоим. Слава отцу и сыну и духу смердящему-у...»

– Тьфу! – плюнул купец.

Подъячий, худо помня себя, пищал за столом:

– Хоть на Мытный двор в пастухи наймуся – время просто-ро-о!...

Пропойца-дьякон продолжал:

– «Небесных чертогов и светлого покоя, священнейшего лика, святых, господи, причастника сотвори чистейшего младенца-а!...»

– Отче! Чти нынче кратко: каков сей младенец на кабаке? – приказал старший.

Расстрига, не меняя книжного слога, зачастил:

– «Очистил мя еси кабаке донага, имение пропил – все из дому выносил и к жене прибрел и наг и бос, борже спать повалился, а в нощи пробудился и слышах жену и детей, злословящих мя: „Ты пьешь и бражничаешь, а мы с голоду помираем!“

– Окаянство блудное! – сказал купец и без шапки ушел из повалуши в сени.



Бывший дьякон продолжал:

– «Еще молимся об упокоении младенца Митрея и о еже по неложному своему обещанию небесному своему царствию того сподобити – не милуй, господи, не милуй!»

– Митрея? А пошто тут не милуй? – пьяно и звонко выкрикнул подьячий: он ловил на столе ярко начищенный медный достакан, а тот из руки вывертывался, полз дальше по столу.

Сенька спал, сунув под голову свою и кунью шапку купца. Приказчики, выпив на дороге, ругали ярыг, уходя в сени.

Петруха стоял у двери повалуши в дальние покои, слышал слабый голос и чьи-то стоны. Сдернув шапку на сторону, приник плотнее ухом тогда, когда услышал за той же дверью голос, слаще которого не знал в своей жизни. Окинув ярыг взглядом, плечом нажал дверь и шагнул в спальню жены купца. В углу, на широкой кровати, зарывшись исхудалым лицом в подушки, под темным одеялом лежала седая женщина. Седины разбрызганы на подушках, как вода; они блестели, отливая слабой желтизной от огня лампадок с широкой божницы. В комнате жарко натоплено. Пахло больным телом и потом. Выдвинувшись из-за высокой деревянной спинки кровати, румяная девушка с овальным лицом, с округлыми полуголыми плечами тихо взывала к больной:

– Мамушка, моя мамушка!

Она торопливо натягивала на плечи скользкий шелковый плат, малиновый, с розовыми цветами, и прислушивалась, что говорит больная.

– Мамушка! Слышь меня...

Петруха, войдя, встал у двери в полусумраке. Глаза больной глядели на него прямо в лицо, но он понял, что больная не видит вошедшего.

– Мамушка! Узнаешь меня?

– Беси... беси! Похоронное поют... беси!

– Слышишь ли дочь Анну? Анну?

Голова больной на подушках недвижима. Больная говорила про себя:

– Чую бесей... Беси пришли в избу... зачали клескать в долони... в избе много людей... Люди клескали в долони, гудели песни бесовы... един праведник познал нечистых – зубы огненны узрел... зубы... он ушел... Беси и люди стали плясать... плясать... изошла та изба сквозь землю... землю... выстало на том месте озеро... черное, черное... все чули... слышали – в избе той, проклятой богом... в озере... петухи пели... пели, как заря к свету начиналась... пели...

– Горе мое, опять она то же брусит... опять узнавать меня не стала.

Петруха тихонько шагнул вперед, сказал шепотом:

– Аннушка!

Она взглянула на него с радостью и испугом:

– Ой, ты, грех, пошто ты? Ой! – и кинулась к нему, закрывая глаза руками. Платок упал, открылись полные груди и голые плечи.

Петруха еще шагнул, схватил ее, сжал, она приникла у него на груди, а он как помешанный шептал:

– Найденная радость! Весна моя цветистая...

– Петрушко! Страшно: узрят как? Ой, ты. Ах, я люблю... Быть как, не знаю! Ох, ты, хороший... – шепча, она целовала его в губы, в глаза и, путаясь в его волосах, целовала в щеки. – Ах, ты! Ах...

Между влюбленными пролезло чужое, жесткое. Сердитый шепот сказал им:

– Шо вы, неумные! Петр Лазарич. Очкнись, сними, руки... Ну же, сними! Она – огненная, беспамятная от тебя, а ты с хмелем водился, память извел... до греха с ноготок! Тогда куда мне с девкой?

– Моя! Ведь Анна моя?

Петруха сунул свахе, она же мамка, горсть мелкого серебра. Старуха серебро приняла, иные монеты подняла с пола, где видела деньги, и с упреками накинулась на невесту:

– Стыдись, Лукинишна! Бойся, девка! До венца тебя и видеть не можно, а ты?

– Моя! Крепче будет, коли совсем моя!

– Худая та крепость! Все надо вовремя – поспеете робенка привалять! Каково ей глядеть, когда после свадьбы на рубахе у ей пятна не сыщут?... Сам, поди-кась, батьке тогда с оговором нальешь кубок вина с дырой.

– Не безумной я! Грех покрою... – хмельным шепотом уговаривал Петруха мамку.

Старуха вырвала из его объятий девицу и увела спешно. На полу остался лежать плат. Петруха нагнулся, поднял плат, стал пихать за пазуху, но плат большой, а в это время заговорила больная:

– Студено... студено мне... Беси пришли в избу... клескали в долони, пели бесовское...

Петруха выдернул из-за пазухи плат, наполовину всунутый, и сверх одеяла накрыл больную платом. Стараясь не стучать сапогами, тихо пятясь, ушел в повалушу. Не глядя ни на кого, подошел к столу, налил из енды, еще не опорожненной, ковш меду, выпил и сел на лавку к столу. Тогда огляделся: среди повалуши, в корыте, храпел покойник, на конце стола ярыги собрались отчитывать другого, такого же. грязного, норовя крестить обливанием. Пропойца-дьякон перелистывал тетрадь. Ему крикнули:

– Кратко чти, отец!

– А вот! «Како младенца крестить страха ради смертного»... – то кратко.

– Зальется младень! Крещение такое ему подлежит...

У стола на коленях стоял младенец с виду лет сорока. Над столом торчала только всклокоченная голова с замаранным лицом, усатая.

Расстрига провозгласил;

– «Господи боже, вседержателю всего здания...»

– «Кабацкого!»

– «Видимого и невидимого содеятелю, сотворивый небо и землю, и море, и вся яже в них собравый в собрание едино... заключивый бездну и запечатствовавый ю страшным и славным именем твоим...»

– Кратче, отец, – крестильного стола жаждем!

– «Молимся тебе, господи, да отступят от нас вся воздушная и неявленная привидения...»

– Это те, отец, кои ему с похмелья кажутся?

– «И да не утаится в хмельном пойле демон темный...»

– Ну, копешно! Штоб в хмельном образе за чертями не гонялся...

– «Ниже, да снидет со крещающимся младенцем Петром дух лукавый».

– Обливай из ковша вином! – крикнул старший.

Голову младенца, высунутую над столовой доской, облили водкой. Младенец, зажмурив плотно глаза, облизывался и, всунув ус в рот, начал его громко сосать.

– Не сусли, младень, не в зыбке качаешься.

– «Дух лукавый, – продолжал читать расстрига, – помрачение помыслов...»

– А как он кабак сыщет без помыслов?

– «И мятеж мысли наводяй, яко ты, владыко всех, покажи вино сие – воду очищения, баню паки бытия...»

– В баню ему давно пора!

– «Крещается раб божий Петр!» Поднимите его и несите к порогу, а я за вами иду! – приказал чтец.

Младенца подняли и понесли, а чтец-расстрига шел и говорил нараспев:

– «Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь, аллилуйя!» – Нынче все, и младень пушай пьет ту воду, в коей его крестили-и!

Купец вошел в повалушу, сел за стол рядом с Петрухой, ярыгам сказал:

– Пейте, ешьте и со двора убродите!

Ярыги весело полезли на стол, расселись. Но вот послышалось бульканье водки в ковши. Покойник перестал храпеть. Не снимая савана, прибрел, сел с краю стола:

– В смертях лежа, оголодал! – хмельно пробасил он и, не разбирая кушанья, брал его

грязными руками, пихал в рот.

Купец выдал алтын на дорогу пьяницам. Повалуша опустела. Выходя, ярыги вынесли корыто в сени, а купец, запирая за ними дверь, крикнул:

– Когда позову – будьте!

– При-и-де-м! – ответили с крыльца.

Когда купец сел за стол, Петруха, выпивая с ним, проговорил:

– Много они брусилы – не слушал я!

– Пропойцы, охальники, но люблю их за грамоту... и то еще, – прибавил купец, – Русь кабацкая! Из веков она государеву казну множит! Мое подружие, жена моя, от них смертную хвору имеет... лонись пришли чертями ряжоные, а она глянула и пала наземь... почала не делом кричать...

– Что, Лука Семеныч, пока хозяйшкa хвора, не кликал бы к себе горянских людей...

– Хворая она давно была... до них еще. Все черниц к себе зазывала... снам верила, а черницы ей о святых местах беседы вели... Эх, выпьем, Петр!

– Выпьем!

– И ты спать, а я не сплю-у! Вино покою не дает... Брожу, покуда ноги держат. Уброжусь – паду... Где паду в дому, там и сплю! Не шевеля-а-т!

Петруха, раньше чем уйти спать в чулан, куда его будущий тесть обещал свести, выпил полковша меду. Подъячий спал под столом. Сенька – там, где лег: на лавке.

Уводя Петруху, купец удивил его вопросом:

– Когда служба?

– Завтра от тебя и еду, каков есть: домой, менять кафтан, некогда...

Идя крыльцом Стрелецкого приказа, по привычке трогая рукой стриженую бороду, Артамон Матвеев сердито говорил Петрухе, кончившему свой служилый день:

– Не делом ты, парень, при дьяках поручился за гулящего: гуль и гиль идут рядом!

Петруха, оглядывая стрелецкую старую одежду боярина, почтительно молчал.

– А ну как он кое дурно учинит да утечет, кто в ответе?

– Поручитель, знаю, боярин...

– Поручитель, а взять с поручителя есть что?

– Отчий дом, скот и рухлядь...

– И будет! Искать, что есть. Другое к тому же делу: пошто, давая поручную, явился на глаза корыстных приказных таким кочетом: на плечах бархат двоеморх, на шапке жемчуга, куница?

– Ездил я свататься, боярин! Сговорную писать. Худым быть не можно... я один, весь тут.

– Переменился бы.

– Время утекло – ночевал... Домой ехать – на службу поздать.

– Дьячий глаз – вражий завистливой... государю всяк оговор узнавать вправду некогда. Оговорил дьяк – ему вера! Ордына-Нащокина дьяки теснят – вишь, учит их новым порядкам вести посольские дела... Нащокина! Давно ли Афанасья боярина все искали, кланялись... Тебя, приметя, малым словом угнетут: за гулящих дядьчит!

– Боярин доброхотной! Великий государь, ведомо мне, призывал на службу гулящих людей?

– Призывал, и приходили сами собой. Кого взяли служить, а иного и в тюрьму, проведая дела, кинули – поручителей за них не объявилось.

– И то... мала во мне корысть!

– Зачнут обыск, корысть найдется!

– Я не подсуден еще...

– Подведут. «Уложение» в их руках и головах.

– Заслуги иму от великого государя.

– Поп свое, а черт запеваает вечерню, за гулящего сунулся дядьчить! Я тебя люблю, мне больно за твои промашки.

– Спасибо, боярин!  
– Не овчинный лоскут «спасибо»: к шубе не подошьешь.  
– Эх, боярин-доброхот! За брата и на беду идти готов я.  
– Брат? – приостановился боярин.  
– Родной.  
– А куда он до сей поры прятался? Стрелецкий сын? Время верстать его давно минуло.  
– Пытал праведной жизни достичь... ходил по монастырям... и не ужился: старцы манили бражничать, он же трезв. Едино, **что** впрок пошло, – грамота! Грамоту борзо постиг.

– Погоди, парень, есть лаз! Пушай ратному строю обикнет, мушкету также, а мы его, коли грамотен, переведем в стрельцыподьячие.

– Думал я такое, когда ручался.

– Да, там ему будет легче: службой гнести не будут – не побежит. Ну, все теперь понимаю! Не гоже своего на бесправном пути кинуть.

Они шли Житенной улицей. Кремль гудел от колокольного звона. Казалось, густые звуки колоколов колебали старый тын и за ним будили на поповских дворах нахохлившиеся от старости часовни. По правую руку, стоя на часах у каменных царских амбаров, часовые стрельцы, повесив на бердыши рыжие шашки, крестились в сторону Большого Ивана. Небо хмуρο. Из белесых облаков сыпался тающий снег, от сырости снега неслись со старого жилья и заходов тяжкие запахи. Боярин повел широким носом в сторону дворов церковников, фыркнул и проворчал:

– Редькой да брагой провоняли отцы Кремль... На окраины бы их перевести, добро бы было.

Петруха из любви и почтения провожал боярина. Конь боярского сына ждал его за Ивановой колокольной. Не доходя Троицких ворот, боярин сказал:

– Вот и Судный приказ! Мне тут к Зюзину Никите. Прощай... О парне оба мы подумаем.

– Будь здрав, боярин!

Петрухина порука была признана – Сенька стал стрельцом. К мушкету и строю он привык скоро.

– Прошу господ дьяков не ставить моего брата в младшие, – просил Петруха.

Боярин Матвеев, бывший в приказе, также сказал:

– Не по возрасту верстать... Какой он младший? Но дьяк решил по-своему:

– Срок проспал! Где был? – И указал подьячему: – Запиши в младшие... – стыдись боярина, приказал без него и без Петрухи.

Сеньку уравнивали с недавно верстанными; как младшего, в замену старшим, гоняли в караулы-к воротам и на стенную службу. В указы тоже. В указах, особенно Разбойном, дела вершились и ночью и днем, праздники отменялись: «Лихих пытатъ, не считая праздника, – они дней не ищут!» Останавливались дела, когда боярин, начальник, казался больным или сам палач – палача подберешь не сразу.

Ставленным в младшие, таким, как Сенька, докучал приземистый краснорожий пятисотенный, правая рука всех лихих дел затейника головы Грибоедова.

Пятисотенного звали Пантохин Васька. Подьячие Стрелецкого приказа прозвали его Тюха-Кот, а обиженные стрельцы именовали Тюха-Кат.<sup>274</sup>

Кат повадился гонять Сеньку вместе с другими к голове Грибоедову<sup>275</sup> на двор –

---

<sup>274</sup> Кат – палач.

<sup>275</sup> ...голова Грибоедов. – При Алексее Михайловиче был известен разрядный дьяк Федор Иоакимович Грибоедов (ум. в 1673 г.), автор «Истории о царях и великих князьях земли Русской» (1667 г.); сын его Семен Федорович был стрелецким полковником в правление царевны Софьи.

заходы и конюшни чистить. Работа была обидная. Сенька стал злиться. Раз как-то, встретясь с самим головой, спросил:

– Полковник, аль то стрелецкая служба марать руки и лик в твоём навозе?

Никто не смел голове слова сказать, всегда все работали молча.

– Ма-ать! – закричал голова. – Ты, вор, кто таков?

Он размахнулся ударить Сеньку в лицо. Сенька отступил, а голова от удара в воздух завертелся и рухнул сам лицом в снег, – он был под хмельком.

Сенька поднял голову, хотел с него отряхнуть снег, но Грибоедов, скрипя зубами, схватил Сеньку за горло. Мотнув головой, Сенька дернулся туловищем, и голова еще раз не устоял на ногах.

Поднялся сам и дико, будто на пожаре, закричал:

– Пантю-у-хин!

Откуда-то быстро появился Пантюхин.

– Убери со двора этого шиша! Поставь караулом в Разбойной– там навозу нет.

– Любо, господин полковник!

И Сеньку убрали. Начались дни бессменного караула, оттого Сенька не попал на свадьбу Петрухи.

Боярский сын узнал, как издеваются над братом, и хотя он слышал, что на голову стрелецкого хоть царю жалуйся, толку не будет, но попробовал сказать доброхотному боярину. Матвеев, не мешкая, призвал Грибоедова. Голова бойко свалил дело на Пантюхина и самого Сеньку:

– Не хвалю пятисотника, боярин! Норовист и жаден до службы, но стрелец – из гулящих: был разбойник, должно, таким и остался... раз на моем дворе ко мне самому кинулся с кулачным боем... иные заступили...

Боярин покачал головой:

– Худо у вас... С тобой особо уже будем говорить, полковник, а на Пантюхина жалобы много слышал.

Грибоедов в тот же день сказал Пантюхину:

– Тому, вновь верстанному, временно ослабь караул.

Сеньке на день стало легче. Потом пошло так же, – он едва успевал поспать, поесть и с Улькой свидеться. Она ему сказала:

– Дай посулы, Семен!

– Сходи к Конону, пушай из запасов Таисия вынет узорочья– продай, не уловись.

Через день Улька принесла денег. Сенька наедине дал Тюхе-Кату несколько серебряных рублей.

– Добро! – сказал пятисотный. – Седни и завтра отдохни. Ежели уладишь столовой, то будем сговорны.

Петруха под видом того, что свадебным чином не почтил голову, пригласил его в гости. Обильно угощая, рассказал о брате:

– Нешто тот большой твой брат?

– Родной брат!

– Ладно... сила он! Тебя и меня, гляди, в один мешок складет. Из таких надо силу вытащить... томить надо!

– Полно, полковник! Он – смирной.

В санях, под одеялами, Грибоедов приехал домой. На коня он влезть не мог, – на его коне сидел Петруха, провожал голову до дому; сдав коня, помогал слугам выносить пьяного. Голова бормотал, смутно узнавая Петруху:

– Брат? Черт! Ха-ха, ха-ха... не бу-ду...

Сеньке временно полегчало. В свободный день на Троицкой площади он отыскал подъячего, того что писал Петрухе сговорную. Вечером привел старика к себе. Улька зажгла им свечи и собрала ужин. Они выпили хмельного меду.

– Пошто, сынок, привел старца?

– Учиться письму хочу.

– Тогда повременим, а то пить я ладил, чтоб по бороде текло... хмельное подвинем – недобро замкнуть, аза в глаза не увидишь!

Улька очистила стол. Подьячий разложил бумагу, клеенную в столбцы, чернильницу с кушака на стол поставил, обмакнул перо; щупая пальцем конец пера, приказал:

– Зачинай из двора в ворота! Сенькина рука тяжело лежала на бумаге.

– Стой, сынок! Подложи свободную пять. Сенька плашмя подложил левую ладонь.

– Вот так! Ежели зачнет твоя десная гнести, а ты шуйцей ее приподними, наладится.

Улька, любопытствуя, зашла сзади.

– Учись и ты, Уляха!

– Буду и я, – на Сенькины слова ответила она.

– Ух, из двора в ворота! Одно за другое цепится, – с довольным видом, трогая у лба на седых волосах ремешок, бормотал подьячий.

Сенька знал, что Улька где-то научалась грамоте, а письму не учена.

Хмельной и сытый уходил подьячий. Сенька дал ему три алтына.

– Не обидно ли будет, сынок?

– За двоих учебу – недорого, – ответил Сенька и прибавил: – Знай: придешь, будешь сыт и денег получишь.

– И выпивку?

– И выпивку, само собой!

Такого сытого житья старик подьячий давно был лишен и ежедневно, как кончалась служба на площади, спешно шел в Стрелецкую, на двор боярского сына Лазарева. Если Сенька был в карауле, учеба не прекращалась, – училась Улька.

Старый подьячий не просто учил: он заставлял своих учеников и сговорные писать, и челобитные, а также крепостные акты.

Улька, окончив писанье, кормила учителя, поила хмельным и денег давала. Она слогу и письму научилась раньше Сеньки, но Сенька знал грамматику и наедине учил ее письменным правилам. Однажды спросил:

– Добро ли знать грамоту?

– Семенушко, великое добро, великое!

– А знаешь ли, грамоте меня обучил Таисий. Улька потупилась, заплакала, ушла от стола.

– Ты пошто так?

– Знаю, что не забыт мой великий грех.

– Вспомнил про себя... для тебя забыл, иначе не были бы вместе.

– Забудешь тот грех, заслужу его!

Не скоро, зато твердо Сенька постиг «уставное письмо» и скоропись, особенно долго не давались ему буквы «т» и «р».

– Упомни, сынок, клин! Клином вверх и втыкай букву твердо... клином! – говорил старик.

Подьячий заходил к ним, как родня, выпивал, а выпить старик любил. Как-то раз за выпивкой, теребя свой единственный ус – другой выщипан был, – сказал:

– Нынче, сынок, говорил я со старостой дьячим площадным... Ерш – прозвище ему. А наговаривал я чтоб лишнего из стрельцов подьячего прибрать к площади.

– Добро бы было... в караулы загоняли.

– Добро и будет, как в гости к тебе заведу Ерша, щукина сына!

– Веди! Угостим с Улянкой.

Однако староста подьячих в гости не торопился.

Стрелецкая служба Сеньки полегчала очень мало. Тюха-Кат понял, что Сеньку надо держать, как дойную корову: больше дал – легче служба. Меньше дал – караулы по-старому – в Разбойный приказ.

Сенька подговаривал стрельцов написать на пятисотного и голову челобитную царю.

Написать брался сам.

– Пытали мы, – ответили забытые служаки, – мало проку: побьют челобитчиков, тем и дело изойдет.

«В „медном“ много людей окалечили, а все же медные деньги убрали– серебро пошло, – думал Сенька. – Около царя живя, терпят всякое лихо... Без бунтов у царя и бояр ништо возьмешь!»

Сенька служил, терпел и присматривался. Так прошли весна, лето и осень. Осенью зачастил к Сеньке в гости старик подьячий, а с ним плотный, приземистый стрелец, подьячий староста Ерш.

Староста трезвый был малоязычен, все молчал, а подвыпив до красноты в глазах, кричал, размахивая кулаками, но по столу не стучал:

– Неправды, други, скопилось – сундуки-и! Когда же то, што в сундуках лежит, крышку выпрет, быть лиху!

Рыжевато-седые кудри на голове Ерша становились дыбом. На слова старика подьячего: «Когда же, Ерш, щучий сын, хозяина нашей выпивки своим человеком устроим? Когда к площади укрепим?» – отвечал:

– Ты, одноусый Кот, пей, ешь и язык держи! Нынче ему у нас не время.

– Когда же время-то, Ерш?

– А тогда, когда вы друг на друга перестанете кляузы писать царю. – Поглядел красными пьяными глазами на Сеньку, прибавил: – Пождем еще... Кого возьмут в войско да пошлют куда, тогда жди!

Раскидалась на постели боярыня Малка, рыжие волосы от пота сваялись, как мочала. Иссохла пышная грудь, долит пот, особенно ночью, и кашель – негромкий, частый – беспокоит горло. Розовые губы синевой подернуло. Старая шутиха сватьюшка время от времени поправляет съехавшее толубого шелка одеяло, обложенное соболем. Больная пинает одеяло, шепча:

– Ой, жарко! Ой, тошно! Грудь гнетет.

– Не скидай одевадь! Зазябнешь, голубица, как в утре зябла.

– Дай пить, сватья!

– Испей-ко во здравие святой водушки.

– Дай квасу! Святая вода тухлым пахнет.

– Грех, боярыня! Святая вода – она целит.

Сватья в серебряной чаше дает боярыне святой годовалой воды.

– Ух, нехороша! Дай квасу!

– На-ко малинового взвару. Испей, согреет.

– Мне и так жарко! Погаси у образов лампадки, – душно!

– Ой, боярыня! Грех какой: скоро к вечерне зазвонят, а ты лампадки тушить.

– Вот, сватья... во время, как Никон ко мне ластился, взяла я у него тетрадь в сафьяне, а в тетради от какого-то Прокопия<sup>276</sup> списано о Византии. Был там царь Устиньян<sup>277</sup>, все церкви строил да монастыри украшал; и соорил тот царь предивную церковь, а назвал ее Святой Софией. Он так ее изукрасил мраморами цветными и камнями самоцветными, коврами золотными и свшниками, как мореходцы с моря плыли ночью, то думали, глядя на ту церковь, что гора серебра, злата и драгоценных камениев светится. Хоры отроков там чудно пели. Ох, погаси лампадки! Тажко, вдоху нет.

– Да уж погашу! Приму на душу грех.

Сватья встала, теребя бородавки на лице, сняла свой колпак с бубенчиками, подула на

---

<sup>276</sup> *Прокопий* Кесарийский (между 490 и 507 – после 562) – византийский писатель, автор трактата «О постройках», «Истории войн Юстиниана», «Тайной истории».

<sup>277</sup> *Царь Устиньян* – император Восточной Римской империи (Византии) Юстиниан I (483—565). При нем в Византии было развернуто грандиозное строительство, возведен знаменитый Софийский собор (532—537).

огни, перекрестилась, потом села, как прежде, на низкий табурет, а боярыня, покашляв, отдышалась и продолжала:

– Свету было в той церкви, будто на небе, и много, много воздуха теплого. Думается мне – поехала бы я в тот город Цареград. Молиться, вишь, не мастерица... Подышала бы тем дивным воздухом, послушала бы птиц, что в садах кругом той церкви поют и... исцелилась бы... А, нет! Руки, ноги будто чугун стали... и город тот нынче под турчином.<sup>278</sup>

– Ну, боярыня, матушка, голубица моя. Я о том Цареграде от стариков, людей древних кощуну чула, а говорится в той сказке, будто тот город под водой кроется, и не нынче уж залит он. Сказывается, помню, кощуну по церковному ладу:

«И восстанет жена именем Феодора<sup>279</sup>... и царствовать имет в Царе-граде. И будет буява и потворница диаволя дочь. Во дни ее будут во граде том мор, беда и убойства... будут убивати брат брата... и во святых местах блудники будут блуд творити и всякое непотребство делати: игры, плясание и песни бесовские... И речет та окаянная царица гордынею: «О, нарицаемый божецарю! Пришла я погубить на земли память твою с шумом, се бо видел еси, что сотворила я? Ты же и волоса единого с головы моей не уронил!»

Тако ей глаголющей и ина хульная, срамная словеса на бога, и разгневается на ню бог яростию великою и пошлет архангела Михаила и подрежет серпом град той, обернет его, яко жерновкамень, и тако погрузит его и с людьми во глубину морскую. Останется от него на торгу столп един, в нем же положены гвозди честные, ими же пригвождено было на кресте тело Христово и запечатано вверху столпа того благочестивым царем Констянтином. Приходяще же в кораблях корабельницы-купцы и ко столпу тому будут корабли свои привязывати, будут плакать: «О, превеликий, гордый Царь-град! Колико лет приходим к тебе куплю деюще, а нынче во един час пучина морская тебя без вести сотвори!»

Так рассказала дурка-сватыюшка, потрогала на лице бородавки и, вздохнув, прибавила:

– И нету ныне Царя-града и церкви, о коей ты, голубица, печалуешься, нету же...

– Все есть! – сказала боярыня. – Только нынче там турчин живет... народ греческий покорился ему. Не мое то дело, а не так давно слышала, как бояре говорили: «Турчин идет воевать польскую Украину!»

– И Царь-град есте?

– И Царь-град цел, и церковь стоит, только в ней все турецкое устроено. Кощуны те твои от расколычников, они давно плачут, что Византия умерла, и старые люди до них говорили: «Веры нету... утоплено все в море за грехи греков, они-де султану предались... веру казили»... А Феодору до расколычников иные церковники еретицей чтили.

Сватья завозилась на месте – она вспомнила и забоялась своей затеи. К ней захаживала Улька. От Ульки она узнала о Сеньке и решила привести его: авось-де, увидит любимого, обрадуется, поздоровеет? Любя боярыню, старая дурка теряла голову: одна у ней боярыня Малка, – иных искать негде...

– Ты чего там возишься, сватья?

– Вожусь, вишь, боярыня, худые ноги не держат! Ставала да упала, а упала – села: в голову лезет такое, и сказать трушу.

– Не трусь! Своя ты мне.

– Лекаря привела, того и трушу. Ростом молодец, а видом стрелец. Сыщет за мной боярин, узнает – убьет!

– Чего боишься? Боярин в приказе сидит. Ежели тот стрелец лекарь, – веди! Знахарок звали, – не помогли. Может, он излечит меня.

– Так они – с черницей, коя вхожа к нам, ту близко! – Зови.

---

<sup>278</sup> ...и город тот нынче под турчином. – Царьград (Константинополь) был захвачен турками в 1453 г.

<sup>279</sup> Феодора (ок. 500—548) – византийская императрица, жена Юстиниана I. Сыграла большую роль в подавлении восстания «Ника» в 532 г.



Сватьяюшка, звеня бубенчиками колпака, спешно ушла и скоро вернулась.

Вошел Сенька.

Боярыня приподнялась на подушках, долго рассматривала у порога ставшего Сеньку, потом с хрипотой в голосе закричала, сколь хватило сил:

– Сватья, ты – злодейка!

Шутиха подбежала к кровати поддержать боярыню, – больная опускалась на подушки. Тяжело дышала, глядела прямо в потолок и, видимо, думала... Потом сказала чуть слышно:

– Выведи, – пусть ждет, позову.

– Жди! – сказала шутиха, выводя Сеньку за дверь.

– Ладил ей два слова сказать...

– Сколь надо, скажешь; жди. – Где же ты, неумная?

– Тут, боярыня! Тут, голубица!

– Дай вина испить!

– Не указано лекарем вино давать.

– Велю – дай!

Сватья, сыскав бутыль, налила в чашу романей.

– Держи, изолюю! – Дурка, поднеся чашу, поддерживала голову боярыне.

– Коли на грех навела, помоги одеться.

И дивно было шутихе: боярыня села на кровати, спустила ноги:

– Дай куньи ногавицы!

Шутиха бойко, радуясь про себя, надела на ноги боярыне куньи сапожки.

– Рубаху дай шелковую... шелковый сарафан, кой легче, – вон тот. Кику не надо, – дай повойник: он узкий, а волосы подберет. Натри шею помадой... руки, руки... Ой, кости одни! Натри их помадой.

Когда боярыня встала на ноги, то еще указала:

– Побели лицо. Губы подкрась.

– Все знаю, голубица скорбная! Сделаю...

И боярыня имела подобие, смутно напоминающее прежний вид.

– Я сяду, а ты веди его и сама уйди!

Сеньку пропустили. Он подошел. А так как боярыня сидела на низком мягком кресле, он же стоял над ней, то, поддерживая саблю, встал перед ней на одно колено,

– Боярыня!

– Да... да... Семен! Вот я какая, но ужо стану на ноги... и тело мое не будет опраختелое, и тебя я снова познаю.

Сенька покачал головой молча.

– Ты думаешь – я умру? – прошептала она.

Сенька смотрел на ее иссохшие колени, охваченные тонким шелком, на впалую грудь... на жилу, которая билась часто-часто на шее былой красавицы. Он молчал. Сватья-дурка, впуская его, настрого наказала: «Боярыне о смерти не говорить! Скажешь такое, падет и будет биться – слова не молыт».

Боярыня часто и тяжело дышала. Спросила:

– Чего молчишь? Ты не веришь, что я восстану?

– Верю.

– Ох, где мои волосы? Искрами горели они, а нынче их болезнь съела. Где моя грудь?

Руки – разве они те, кои рылись в твоих кудрях?

– И я уже не тот, боярыня! Не тоскуй даром.

– Я поправлюсь – будешь ли любить меня?

– Буду крепко любить! – Сенька чувствовал, что надо утешить ее.

– Ой, спасибо! Ой, милый ты мой, ты постарел мало... ты не тот... И пошто пришел глянуть на скорбную твою любовь?

Улька не знала, что Сенька любил когда-то боярыню, а дурка сватьяюшка ей того не говорила и звала Сеньку:

– Може, она при конце живота? От виду сильных людей больным легчит.

Сенька, перед тем как идти к боярыне, зашел на ее двор. Нищие люди, крепостные, обступили Сеньку:

– Пойдешь к боярыне, служилой, попроси за нас!

– Не одевают... не кормят... отоцали! При конце живота многие бояра людей отписывают монастырям, нас же проси на волю спустить. Може, и боярыне оттого полегчает.

– Молчишь? – шептала Сеньке боярыня. – Молчи... Мне с тобой радостно.

– Молчу, боярыня. Люблю тебя, думаю свое.

– Что же ты думаешь... помру?

– Нет, не помрешь, а все же ради правды тебе надо быть доброй.

– Я не зла.

– Знаю, с добрыми ты добрая. Вот глядел я твою дворню и видел неправду: пошто твой боярин держит такую дворню? Не одевает ее, не кормит, и копится оттого воровство и, худо сказать, что убийство.

– То правда, милый. А как поправить?

– Отпустить голодных людей на волю, хлеб найдут работой.

– Ой, Сенюшка! Правда! А я и не подумала... Завтра же позову из Холопьяго приказу подьячего, велю отпускную им написать.

– Великое спасибо за голодных людей! Я сам к тебе приду на днях и отпускную напишу, а ты подпись дай.

– Дам, милый, дам! Приходи, ждать буду.

Боярыня положила ему, склонившемуся близко, на плечи тонкие руки. Она плакала, и голова ее упала.

– Не плачь, боярыня! Пошто слезы?

– Ой, слезы мои от радости, что довелось видеть тебя, жива и цела... и все то вспомнила, как был приголубником моим... все, все... И еще плачу оттого, что близко ты, а нету силы обнять тебя.

– Ништо... поправишься... Поправишься, верю я!

– Теперь, милый, подыми... сведи на постелю... в глазах тускло.

Сенька встал, бережно подсунул руки, снес больную, как пушинку; откинув одеяло, положил и прикрыл ее голубым шелком. Когда он укладывал ее, она поцеловала его в щеку.

– Ой, спасибо! – сказала она слабо, чуть слышно, и еще: – Говорила не раз боярину: «Нипошто держишь такую дворню... нище? Томишь людей...» Да разве он думает о людях? И не он один таков. Иди, – мне же спать.

Сенька вышел. Улька давно ушла к себе. Дурка-сватья проводила его до двери, и они, молча поклонившись, расстались.

Сеньке было грустно. «Давно ли, – думал он, – была красна лицом и телом... Эх, ну же!» Он зашагал по улице, она мутно желтела снегом, чуть искрясь от блеска большой хвостатой звезды; вместо месяца звезда стояла высоко в небе, и свет от нее был недвижимый, ровный, как от невидимой свечи, завешенной тонкой прозрачной тканью.

Была уж отдача дневных часов<sup>280</sup>, звонили к вечерне. Боярин Никита Зюзин кончил сидеть в Судном приказе, сторож зажег перед образами лампаду. Боярин перекрестился, не глядя на казенный с облупленными красками образ, держа шапку и трость в левой руке. Выходя из своей в дьячью палату, шапку надел и трость взял в руку крепко. Нахмутив лохматые брови, оглядывался на писцов. Подьячие еще сидели за длинным приказным столом, иные чинили перья, а кто подливал чернил из общей бутылки в поясную чернильницу, иной с деловым видом глядел в замаранный черновой столбец и ковырял пальцем в бороде.

---

<sup>280</sup> День кончался в седьмом часу, сменялись караулы. Сменяясь, стрельцы били в барабан.

Все еще косясь по сторонам, боярин проходил палатой медленно. С конца стола встал один подьячий, поклонился боярину и, бойко ковыляя на кривых ногах, отворил дверь в сени.

Не глядя на отворившего дверь, Зюзин спросил:

– Был ли без меня кто в приказе?

Косолапый, проковыляв по сеням, отворил с треском дверь на крыльцо, ответил:

– Дьяк государев Алмаз Иванов был, боярин.

– Нехорошо... Алмаз Иванов? А я и не был... Нехорошо!

– Того-сего... я ему молыл: боярин замешкался, дома у него боярыня недужит... так-то...

– Сказал ладно. Что же думной дьяк говорил?

– Того... што ему говорить? Жаль-де, не застал Никиты Алексеича, дело есть...

Так-то...

– Ты, Тереха, ведаешь, какое у дьяка до меня дело?

– Нам и нельзя того ведать, боярин, да ведаю... того...

– Говори.

– Не смею, того-сего, о том деле молыть: нам, малым людишкам, за то батоги бывают.

– О государе, я чай?

– Того-сего, о государе-царе, боярин!

– Все мы тут люди служилые, не поклепцы на друга, – говори, Тереха!

Боярин на крыльце за дверью приостановился, подьячий стоял, просунув лохматую голову в приотворенную дверь.

– А сказывал дьяк, сходя тутотка с крыльца, боярину Троекурову – той боярин его у крыльца ждал – што-де государь крепко патриарха Воскресенского сожалеет... к нему-де от патриарха Ерусалимского, Нектария, письмо о Никоне есть, – просит простить... Государь Никона восхвалял, а Аввакумку ямой грозил... был-де гневен на раскольников... так-то...

– Ты явно такое слышал?

– Явно, боярин... так-то...

– Вести эти и я слышал не раз. О Нектарии слышу впервые. Л ты, Тереха, молчи и смотри – ни слова про то...

– Молчу, боярин... так-то... – Подьячий запер двери, идя, сказал тихо: – Сам, как Тараруй Хованский, многоязычен, меня же просит молчать... так-то...

Звон колокольный, звездное небо, и среди звезд звезда хвостатая, бледная, немного изжелта, и светит мало.

– К радости нашей эта звезда. Эх, попить бы по-старому!

Снег мягкий, не тронутый ростепелью, легко запятнанный шагами людей. Широкой грудью вдохнул в себя боярин холодный, благодатный воздух и почувствовал, как он напоил его будто ключевой водой, и было такое особенно приятно после вонючего и спертого духа Приказной палаты.

«Малка извелась. Ништо – коли чуть протянет, помрет – возьму другую жену... да воли ей такой не дам, какую Малке дал, – думал боярин, медленно идя к Никольскому крестцу. – Эх, господи! Коли удастся друга вернуть, сослужим тебе молебен! Вернуть его да посадить с прежней честью в патриарших ризах! И ведь иные бояре то же, что и я, мыслят...»

– А это кто? Он? Он!

Боярин глубже надвинул на голову высокую бобровую шапку и крепче зажал в правой руке дубовую трость.

Навстречу к Троицким воротам шел Сенька. Сенька хотел обойти боярина, свернул было в сторону.

– Эй ты, холоп! У меня был?

– Я стрелец, а не холоп!

– Ты не вирай, черт! У меня был?

– Хотя бы и у тебя... чего кобелем борзым глядишь? Любить у тебя некого...

– Не погань моего крыльца! – Боярин, подняв трость, кинулся на Сеньку.

Сенька, с виду неповоротливый, взмахнул саблей. Трость боярина переломилась, он бросил ее и, сверкая глазами, отступил.

– Кабы оружный ты был да в броне, нарубил бы из тебя мяса! – крикнул Сенька.

– Гилевщик окаянной! – заорал боярин, скрипя зубами, и отступил на дорогу. – Ужо в Земском приказе поглядим, кто ты. Сыщем! Не был ли в Медном бунте?

У Сеньки коротко мелькнуло в голове: «Изрублю дьявола!» Но он сдержался, пошел дальше.

– Не тамашись, боярин! Спит она... – сказала у дверей дурка-сватья.

– Шишей всяких водишь в дом! Блудня-а...

Боярин, размахнувшись, хотел дать тумака шутихе. Она присела, удар не тронул ее. Боярин пнул дверь, дверь с треском распахнулась. В желтом полумраке, в углу под образами с зажженными лампадками, на кровати зашевелилась больная, закашлялась, а когда боярин подошел близко, сказала:

– Чего ты, Никита, как на базар едешь? – Зачем здесь был твой приголубник?

Дурка-сватья заперла распахнутую дверь, проскользнула мимо боярина в угол, за кровать.

Боярыня молчала, закрыв глаза. Боярин снова крикнул:

– Пошто был здесь этот выжлец?!

– Сам ты выжлец... Выискиваешь, следишь. Он – хороший, добрый.

– Я этого доброго твоего поймал, сдал в Разбойный приказ! Он – гилевщик, хотя и ряжен стрельцом.

– Стыда у тебя нет! Пошто пугаешь меня?

– У тебя велик стыд? Не сегодня-завтра помрешь, а приголубников в дом кличешь!

– Я не хочу умирать!

– Помрешь! Поеду вот к иеромонаху Александру, попрошу тебя особоровать.

– Уйди, медвежий оборотень!

– Не топырься, Малка! Помирай, грехов меньше... Смерть – она лучше всяких приголубников голубит. На живу руку – раз! – и глядишь, человек в колоде... а там земля – бух, бух! Хе, хе-е!

– Уйди-и...

– Я уйду скоро! Теперь же миримся. Хочу говорить с тобой о деле. – Боярин, придвинув скамью, сел. – Эх, Малка, Меланья! Жалко мне тебя...

– Уйди! Ведаю твою жалость.

– Ну, уймись! Будем говорить. Хочу, вишь ты, Никона звать... писать ему письмо.

Больная широко открыла глаза, в них сверкнул огонь и потух. Она закашлялась, отдышалась, сказала:

– Писать будешь, мне покажи письмо. Сам писать будешь?

– Сам, конечно. Дело тайное, кого звать? Как ушел Никон, и доходы наши пали... день ото дня нищем!

– Еще бы! Жену стало некому продать.

– Не злись, говори толком. Совет надо твой. Забудем... не помни... я же приголубника твоего не стану поминать.

– Кого поминать, ежели ты его в Разбойный сдал?

– Ну и сдал. Там огнем да кнутом помянут.

– Теперь будем судить о твоих грехах?

– Моих? Я безгрешен! К чужим женам не лез.

– Знаю... Сам станешь писать? Пиши от меня – зови его... Никона.

– Хочу спросить тебя: писать ли от нас одних или и от имени государя?

– Не напишешь ему от имени царя, он не поверит тебе: бояр Никон опасается.

– Да. Мне такое говорили Афанасий Ордын-Нащокин и Матвеев.

– Говорили? Все прямо так и говорили?

– Не прямо... немножко не так, но понять было можно: что де государь очень хочет помириться с Никоном. Ордын даже денег дал в долг, поташ с «Будных станов» новгородских привезти. А денег тех мало. Я кнутом ободрал мужиков, старост на варницах сбивал везти – и не везут, разбойники!

– Поди пиши... устала я.

У себя, в крестовой, боярин Никита помотал рукой и головой косматой склонился перед образом «Спас златые власы» работы учеников Симона Ушакова<sup>281</sup>, копия – дар Никона.

От горевшей у образа лампы зажег на круглом, покрытом парчой столе несколько свечей, придвинул медную чернильницу, взял гусиное перо, оглядел чиненый конец, подумал: «Писец – лентяй! Худо чинит перье, – сменю».

Придвинув скленную тем же писцом в столбцы бумагу, навалился широкой грудью на стол.

«Испишу... кое отчеркну, что лишнее», – сказал сам себе и написал:

«Великому государю святейшему Никону, патриарху Московскому и всея Великия и Малыя России, раби твои Никитка и Малка, требуя твоего святительского благословения, челом бьем...»

Написав, боярин задумался: «Нипошто пугал Малку смертью. Жить хочет баба...» – и продолжал писать Никону:

«А слыша твое святительское спасение и здравие, радуемся, а и паче бы видеть господь изволил...»

– Иное с Малкой надобе: расспросить бы ее ласково – пошто холоп, собачий сын, приходил? Не за любовью, конечно. А за любовью – то ништо получил! Помрет Малка... В чем душа живет? Едина злоба аль туга великая заставляет языком шевелить. Не умно дразнить мертвых, боярин Никита! А ну, пишем еще!

«Да ведомо буди тебе, государю, тако приятели мне сказали: изволено тебе, государю, быть в воскресенье во осемнадысь день и к заутрене часов за семь или меньше малым, чтоб в пение приттить, а не в понедельник девятнадцатого числа...»

– Призову, умирится государь... Нектарий, вишь, Ерусалимский, и тот просит мириться. А не смирятся ежели? Тогда, боярин Никита, держи голову! И ээ-х! На разбой кидался в Путивле, а голова цела... – Оттянув к коленям упрямую бороду, Зюзин продолжал писать:

«Войти в церковь во двери Северные, и будет, не ведая и твоего странного входу в церковь, церковники петь перестанут или не перестанут, пришед на свое место, начало положи, изволи мольть вслух: „Мир вам!“ А архимандриту своему и ключаря пошли известить Иова, или кой лучится, ко государю...»

Боярин прочел написанное:

– Что кому сказывать – что и кто о царе говорил, дописать особо.

«Да ведомо тебе, великому, буди о том: присылай ко мне Афанасий и Артамон, и сказывали они: декабря в седьмой день у Евдокии в завтренью наедине говорил с ними царь-государь, что ты присылал архимандрита, и он твоему совету обрадовался и архимандрита добре хвалил: „Сидел-де я с ним наедине, а он-де со мною со слезами говорил, чтоб нам ссоре не верить; и я-де клятвою говорю, что тому ничему ссоре никакой отнюдь не иму веры. И ныне-де на Николин день приезжал ко мне в Хорошево чернец Григорей Неронов с поносными словами всякими на патриарха, я знаю-де, кто с ним и в заводе, только-де я тому ничему не верю, а наш совет и обещание наше господь один весть, и душою своею от патриарха, ей-ей, не отступил, да духовенства и синклиту ради, по нашему царьскому обычаю, собою мне патриарха звать нельзе и писать к нему о том, потому что он

---

<sup>281</sup> *Симон* (Пимен) Федорович *Ушаков* (1626—1686) – выдающийся русский художник, иконописец Оружейной палаты.

ведает, для чего сшел, и придет также воля ево, а ныне в церкви и во всем кто ему бранит? И я-де, ей-ей, в том ему не противник...“

Боярин сунул перо в чернильницу, встал, потянулся, походил по крестовой и еще раз подошел к образу, крестясь.

– Помогите, господи! – Отошел, сказал: – Малка скорбна, в ночь идти к ней недобро. В утре прочту, а придет монах от Александра, при нем перепису и отошлю. – Сел боярин, снова взял перо. – Приписать веры для пущей: царь-де сказал тако: «А тыде, Афанасий, моим словом прикажи Миките описать все сие в тайне к приятелю моему патриарху!» Да не забыть! – И приписал сбоку столбца: «А сие писание паки возврати!» Погасил свечи, встал, поправил у образа лампаду, покрестился и ушел. Утром, когда боярин прочел жене писание, Малка сказала:

– Писано хорошо. О царице прибавь: «зовет», и о царе припиши больше – скорее вернется... Письма в обрат не ищи, заподозрит твой умысел.

Когда ушел боярин, больная сказала себе: «Феодора Устиньяну царство спасла... я же твой дом гублю! Будешь помнить, злой, как от имени царя писать!» Окончена работа в Разбойном приказе, в башне, куда отводили для пытки, палачи ушли. Клещи и другие пыточные орудия висят на стенах, забрызганных кровью пытаемых. Последнего лихого парня пытали по Сенькину делу: «Не ты ли, вор, в Коломенском убил объезжего дворянина Бегичева?» И, так как парень отговаривался незнанием, запытали до смерти. Парень был снят с дыбы, умер скоро у допросного стола, лежал комом.

Боярин, князь Яков Одоевский, вставая за столом, сказал сторожам, башенным приворотникам:

– Тащите его, киньте у стен, божедомы подберут!

Сенька стоял у широких каменных столбов без дверей, в руках у него бердыш, сбоку – сабля. Ему тоже начальник Разбойного махнул рукой:

– Гуляй, стрелец! Завтра твой день, приказ будет на запоре. Наши дела, кажется мне, переведут на Земский двор; вишь, башня развалилась!

На сводчатом потолке башни зияли широкие трещины. В воротах осыпался правый кирпичный столб. Боярин, грузно вылезая из-за стола, прибавил:

– Н-да-а... перемены! Слух есть, что и вами в Стрелецком приказе будет ведать не Матвеев Артамон, а Юрий князь Долгорукий с сыном.

Перед тем как выйти Сеньке из приказной Константиновской башни, сторожа к воротам выкинули убитого на пытке.

Раздетое до порток, сплошь черное тело раскинулось на мутно-белом снегу, ноги на горе, голова под гору. В черном рте ярко белели зубы. Сенька, выходя на Красную площадь, подумал: «Вот она, правда государева! Человека для нее нет! Есть смерд, пес, и тело его не дороже псиного... Ищут прибытку казне царской, а почему бы им не торговать мясом казненных?»

В правой стороне от площади за Китайгородскими стенами мутнел рассвет: разгоралась зимняя бледная заря.

Сенька привык стоять по ночам, спать ему не хотелось. Фроловские ворота закрыты, а Никольские открыты. Перед рождеством во многих церквах шли всю неделю сплошные службы. Для молебствий, чтоб народ мог приходить, не закрывались на ночь Никольские ворота, а также и решетки в городе. Сенька видел, что народ густо шел в Кремль, подумал: «Видно по всему, будто в Кремль приехал кто. Польского посланника ждут. Не он ли?»

Вместо того чтобы повернуть на Москворецкий мост, Сенька пошел к Никольским воротам.

– Никон!

– Патрярх приехал! – сказали в толпе, с которой Сенька входил в Кремль.

«А, вот кто! Погляжу, каков-то он, мой каратель?»

– Ой, пропустите, милые! Дайте узреть его, батюшку! – кричала баба и широко крестилась.

От фонарей, зажженных монахами на длинных подставках, у Успенского собора было освещено. Толпа, сгрудившаяся к собору, и стрельцы, гнавшие эту толпу батогами, мешали Сеньке видеть того, кто стоит на площади.

Расталкивая сильными локтями людей, держа бердыш острием вперед, Сенька скоро добрался до освещенного места.

В мутном блеске хвостатой звезды – она была теперь иссинябелая – только широкий хвост звезды, закиданный плывущими облаками, почти не светил, а месяц в небе тонким ободком робко сиял – он стоял на последнем ущербе.

И еще – при мерцании церковных свечей в фонарях из слюды Сенька увидел того, от кого вот уже сколько лет бежал и забыл о нем думать: на дне широких, плоских саней с высокими передом и спинкой, на коврах, раскидавших по снегу свою бахрону, стоял Никон. На голове его – белый рогатый клобук, в надбровий– херувим из жемчугов. В темной мантии, закрывавшей плечи, в серебристом белом саккосе, с набедренником с левого боку, Никон казался особенно высоким и тонким. Из-под темных бровей глядели в небо, почти не мигая, злые глаза. Под усами не видно губ, но борода – длинная, сплошь седая – вздрагивала, он шептал что-то.

В правой руке, еще могучей, Никон крепко сжимал старинный посох. Опустил глаза, взглянул на толпу народа, громко сказал:

– Третий и последний ответ жду! Хотят ли самого Христа принять? (Никон ждал от царя бояр с ответом на его письмо.)

Бывший патриарх приготовился в путь.

В храме он приложился к образам и, выходя, взял с собой посох святителя Петра. Бояре мешкали. Ушел из собора от нетерпения и тяжести воспоминаний – стены украшенные, благолепие храма, по стенам с лампадами в серебряных раках мощи священных предков. На воздухе в санях легко. Приятнее еще ему оттого, что народ, не уместившийся в храме, желавший видеть его, заполнял всю площадь. Никону хотелось крикнуть: «Раздвиньтесь! Дайте всем лицезреть попираемого владыку!» – молчал и ждал, а бояре не шли.

Сенька видел, что на площади кругом саней Никона – стрельцы, монахи и люди города; они крестились, и ни один боярин не показывался, как будто боялся, что его обвинят в сообществе с Никоном.

Наконец появился один из бояр – Троекуров; только оделся боярин смешно: в женский торлоп<sup>282</sup> шерстью наружу, в руках у него кунья шапка с хвостом на маковке.

Троекуров подошел к саням. Низко кланяясь Никону, заговорил.

Сенька прислушивался, толпа глухо гудела, но слова боярина можно было с трудом разобрать, и Сенька разобрал:

– Ох, ох! – охал боярин, видимо играя голосом на женский лад. – Ох, ох! Господи, спаси и не приведи на грех. Не стерпел, вишь, праведник постного жития? Мирского брашна возжаждал. Черти, черти! Ох они, преисподний лицедеи! Антония блазнили... святого. Простых грешных им не надо! Блазнят нечистые, твердят о почестях, о славе, о бывлой власти.

Сенька понял, что боярин глумится, для глумна и торлоп надел. Подумал: «Терпи, лихой старик, гордец...» А боярин женским голосом визгливо продолжал:

– Ох, ох! Я чаю – проклянешь? Не боюсь! И пошто ты, бедный, старый, побежал на прежний амвон без зова великого государя?

– Ты шут из дворян! Шутишь не у места. Шутить бы тебе при Иване Грозном, – тот шутов-дворян щами чествовал.<sup>283</sup>

– Ох, ох! Ехал себя казать, лошадей гонять, псов дразнить, людей давить! Ох, опоздал,

---

<sup>282</sup> *Торлоп* – женская меховая одежда.

<sup>283</sup> Намек, что шута Иван ошпарил щами.

бедный... сгоряча кинул, не ищи! Кинутое подобрали. Наплевал в портки, теперь туда гузно не лезет – мокро и тесно!

– Тот, кто звал меня, на скота, как ты, не похож! – громко и гневно сказал Никон и, чтоб не видеть врага, возвел глаза к небу.

– Ох, слышал, умилялся! Чли бояре царю твои видения... ох! Семнадцать ден постился... сидя, трудился, сон видел... зрел и слышал святителя Иону, митрополита... с семнадцатого на восемнадцатое прибежал бедный старик! Пришел ты к Успению самозванно, – сам себя в бреду звал, иначе была бы в руках грамота.

В гневе Никон забыл себя, он опустил дрожащую левую руку в тайный карман набедренника, торжественно вынул письмо со сломанными печатями, показал издали Троекурову:

– Вот крест, сатана. Исчезни!

Увидав письмо, боярин, шутовски изображая смятение черта перед крестом, съежился, присел, взмахнул руками, как бы призывая кого-то, и, пятась, приседая, исчез в толпе стрельцов,

Никон опомнился. Гнев прошел, патриарх забоялся: «Пошто я? Одолел бес, господи!» И, торопясь, сунул руку с письмом Зюзина к набедреннику. Не желая потерять свой торжественный вид архиерея, он не глядел и на ощупь норовил положить письмо. В то же время кто-то, малорослый, юркий, в заячьей шапке, дернул из руки Никона письмо, выдернув, исчез в толпе так же быстро, как и появился.

Толпа молящихся и созерцавших Никона заволновалась. Сенька не понял, что произошло, так скоро это случилось: он только слышал и уяснял себе: «Почему волнуется народ?» – А в толпе сильнее шумели тут, там и еще:

– Шутенок троекуровский схитил!

– Што схитил-то?

– Што? Панагию патриаршу – во што...

– Да на ем ее и не было!

– Грамоту-у...

– Слышьте, кричит!

– Вор! Злодей! Отдай грамоту, – государева она! – кричал Никон, глядя растерянно на толпу. – Православные! Дети мои! Письмо воровски схитил, с тремя печатями! Сыщите вора!

– Вишь, письмо-о!

– Грамоту государеву!

– Да хто схитил?

– Шутенок боярской! Дашкой кличут, а он парнишко, ходит в портках.

– Сыщем, да едино не седни! Утек нынче...

Никон сошел с саней, ему под ноги кинули ковер, он почти забыл, что надо ждать ответа царя, – приказал готовить сани. Лошади топтались, иззябли. Монахи засуетились, подтягивая подпруги, поправляя попоны.

Но вот перед стрельцом с зажженным факелом толпа раздвинулась, за стрельцом шли посланные от царя, поблескивая парчой шуб и жемчугами высоких шапок. Никон, запахнувшись в мантию, поник головой, – он ничего доброго не ждал от врагов. Шли: первым – Юрий Долгорукий, пузатый, хмурый, с бородой, широко раскинутой ветром, вторым – суровый, с отечным бледным лицом, жидкобородый князь Никита Одоевский, и сзади их – дьяк Алмаз Иванов. Они остановились все в ряд, сказали одно, но говорили по очереди:

– Великий государь, царь всея Руси, самодержец Алексей Михайлович приказал тебе, патриарху Никону, ехать в Воскресенский монастырь и ждать суда вселенских патриархов.

Когда уезжал Никон, то увозил в своем существе тоску и тревогу: «Пошто взял письмо Никиты?» – и вспомнил, зачем он взял письмо. «Обрадовался зову – поверил всему, что царь простил и желает его приезда. Помиримся, отслужим молебен во здравие царя и семьи его, а



тут покажу ему письмо и молвю: „Великий государь! Вот кто примирил нас, устроив сие наше ликование!“

– Проклянет меня Никита век! Радости чаемой не бывать...

Никон приказал монахам опустить высокий передовой крест.

Монахи удивились, но крест склонили и уклали в порожние сани. Крест заслонял Никону хвостатую звезду. Уезжая из Кремля, он сказал врагам-боярам, указывая на небесное знамение: «Близится время, как эта господня метла разметет вас!»

Глядя на комету, Никон задремал и в дреме подумал: «Может быть, парнишко письмо схитил про себя? Побалует и кинет».

Дебелая царица с высокой жирной грудью разнежилась в постели, но с Медного бунта, после хворости, спала всегда тревожно, и теперь она слышала как будто чей-то голос за дверью спальни... забылась и опять проснулась: полуоткрыв глаза, видела, как царь наскоро оделся и спешно вышел.

«За нуждой...» – сонно подумала она. Подумав, уже не могла заснуть, а дремала. Подремывая, слышала отдаленные гулы: шаги поспешные, скрип деревянных лестниц. Услыхала, приподняв голову, громкие восклицания:

– Ох, господи!

«Беда! Всполошились все...»

Царица села на кровати. Подобрав сквозь рубаху складки жирного живота, нагнулась, при свете лампадок нашла сапожки сафьянные, с белкой внутри, легко натянула на круглые бескровные ноги; черные волосы, густые и тяжелые, собрала, не заплетая, в шелковый, расшитый жемчугами плат. Со скамьи взяла легкий меховой, на соболях, торлоп; застегнув только ворот, не вдевая рук в рукава, накинула на голые плечи и вышла. Шла медленно, с малой одышкой. Сени, по которым проходила царица, пахли после недавней службы ладаном и каким-то смрадом от горелых красок. Марья Ильинишна оглянулась, увидела в иконостасе непорядок.

– Не глядят, нерадивые...

Близко у иконостаса висело паникадило; с него длинная восковая свеча, подтаяв, перегнулась с огнем, уперлась в икону; икона тлела, от фитиля вверх шел змеистый огонек; потрескивая, плыл дым и смрад горевших красок.

Царица подошла, столкнула свечу на пол, вывернула голую руку из-под полы и рукавом дорогого торлопа прошлась по низу образа. Краски потухли, свеча на полу тоже, только фитиль свечи алел недолго. Царица подошла к внутренним дверям Малой Тронной залы, в щель неплотно запертой двери глянула и видела только неосвещенные, обитые парчой стены, высокий узорчатый стул трона да кусок надтронного образа левой стороны и слышала, как ей показалось, голоса испуганных людей:

– Ой, что тут и подумать!

– Подумать страшно!

– Разберемся... ино суда испугался, ино соскучился о власти.

Последние слова сказал царь, но царица ничего не понимала – ее страшили огни в окнах и на лестницах. Внизу дворца и на площади слышала она – глухо шумит народ. Царица забыла все. Она распахнула дверь в Тронную и кинулась к мужу. Царь говорил с двумя бородатыми епископами: ростовским Ионой – сгорбленным мало, сухоньким стариком, и Павлом Сарским – чернобородым и тучным: оба были в митрах и мантиях поверх саккосов.

Когда царица бросилась на шею царя, обхватив его голыми руками, церковники, не смея показать, что видят женщину, отошли в темный угол залы, сели на лавку и опустили головы, приткнув их к своим посохам.

– Батько! Царевичей береги! Царевен... Батько, себя береги! Испуганы мы гораздо, – клич стрельцов!

– Ильинишна! Чего всполошилась? Никон приехал, влез со своими монахами в церковь – амвоном завладел, посланы бояре сказать ему, чтоб оборотил туда, откуда пришел. Иди, иди, матка! Спи, помолясь. Ну, ну... Ну, иди!

Царь снял с шеи тяжелые руки жены, обнял ее полную талию и вывел в ту же дверь, откуда вошла она. Обрато проходя сенями, царица подошла к образу Георгия, освещенному лампадой, узко и торопливо перекрестила худощавое глазастое лицо. Маленькая голова ее, казалось, была приставлена к тучному телу от другого туловища.

– Мученик! Храбрый Егорий! Спаси и сохрани!...

Царица поклонилась земно; поднявшись так же, не широко крестясь, ушла, сияя в сумраке узорами драгоценных камней, низанных по торлопу. Свечи и лампы, горевшие у икон, от ее тяжеловесных движений долго мигали.

Царь отпустил епископов с наказом: государь-де указал тебе, патриарх Никон, ехать в Воскресенский и ждать!

– Чем скорее он уйдет из храма, тем лучше: меньше соблазна в народе.

Епископы ушли дверями к Красному крыльцу. Навстречу им, поклонившись церковникам, в Тронную залу вошел боярин Троекуров в парчовом малиновом кафтане, с посохом в руке и с собольей шапкой в другой. Холеная борода Троекурова была расчесана, волосы раскинуты на пробор. Он весело поклонился царю и вообще имел вид веселый. В минуты уныния царь всегда призывал Троекурова. Теперь глаза его смеялись, как будто он изрядно пошутил над чем-то. По выражению глаз подчиненного царь узнал о его настроении, спросил:

– Что сыскал?

– Сыскал я то, великий государь, что тебе неотложно знать надо.

Царь молчал.

– Я говорил, что Никона звали, что он по зову снялся из монастыря. Мне не верили бояре, даже смеялись. Кто звал – тут вот будет ведомо.

– Переложив шапку в одну руку с посохом, Троекуров полез за пазуху, достал письмо с тремя поломанными печатями.

– Чье оно?

– На печатях, великий государь, герб, в гербе буквы: Наш, Земля и Аз! В середке меж букв – медведь, стоймя тисненый.

– Печать Зюзина Никитки! Дай сюда. Троекуров, поясно кланясь, подал письмо.

– От кого взял письмо?

– Сам Никон дал! По виду, стыд и страх перед тобой, великим государем, пал на душу Никона, что учинил шум и смятение во храме святом.

Троекуров смело лгал царю. Его плутоватые глаза искрились. Он знал, что свидетели – уличная толпа: ее голос не дойдет во дворец, и только толпа знала, как Никон отдал письмо своего друга.

Царь, отойдя в сторону, положил письмо на дьячий стол, сказал с торжественностью в голосе:

– Дворянин Троекуров! Бояре честных родов, за твою веселую службу мне, тебя в шутку называли боярином. Я казню – и казню жестоко своевольство холопов против моего имени! Но вдвое опаснее своевольство бояр, ибо они ежедень ходят около меня... Теперь знай: ежели я сыщу того, кто звал Никона и своеволил и лгал от имени моего... сам я при всех боярах скажу тебе боярство! Жди времени: царь слов на ветер не говорит.

Троекуров склонился перед царем земно, готовый за честь обещанную поцеловать царский сапог. Царь, отпуская Троекурова, прибавил:

– Когда уедет Никон, зови бояр, будем читать письмо.

Сверху изодранной бумаги о заводчиках Медного бунта и их приметах на столбе у ворот Земского двора была прибита новая бумага, крупно писанная подьячими.

«15 сего генваря 1664 года указал государь-царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович:

«В Судном Московском приказе быть стольнику князю Андрею Солнцеву-Засекину, с ним по-прежнему сидеть стряпчему Володимеру Бастанову да дьяку Александру Алексееву, а в других дьяках быть Ермоле Воробьеву, Никиту же Алексеева, сына Зюзина, отставить».

И дивился московский народ, даже не только посадские люди, а купцы, попы и дьяконы.

- Пошто такого грамотея, как Зюзин боярин, отставили?
- Вишь, даже звания боярского не написано... просто – «Никиту Зюзина».
- По указу великого государя! Чего дивитесь, неумные!
- А не дьяки ли умыслили, скрыли слово «боярин»?
- «Боярин» не писан – ништо, а отставить без болезни – худо!

Давно не видел боярин Никита Зюзин «государевых ясных очей», а нынче их и видеть не хотелось бы, да привелось, так было указано самим царем:

– Быть Никитке у меня на допросе в Малой Тронной палате! Вся она сияла парчой, освещенной зимним солнцем, а пуще стенными свешниками. Сверкал камнями дорогими царский скипетр и шапка Мономаха на отдельном близ трона столе, и набалдашник царского посоха горел яхонтами и изумрудами, и венцы надтронных образов также, но боярину Зюзину казалось, что даже бледно-розовые жемчуга на царской тубетейке и те отливают кровавым блеском. «Держись, Никитка! Зверь поднялся...» – думал, склонив упрямую голову, Никита Зюзин, а думал он так всегда, когда шел на медведя. Беда только в том была, что не было с боярином рогатины, а посох в сенях на лавке лежит, да караульные стрельцы и карманы боярские обшарили до дна.

Боярин Зюзин стоял перед дьячим столом, стол покрыт черным, а на нем зловеще белело письмо, писанное им к Никону тайно. За столом – дьяк Алмаз Иванов.

Когда заходил в приказ к боярину Никите дьяк, то был весел, шутив и доброжелателен, теперь же лицо дьяка под взъерошенными волосами – серое и неподвижное, глаза стального цвета, чужие, колючие, и говорит он чужим и незнакомым голосом:

– Великий государь спрашивает тебя, Никита Зюзин, твое ли это письмо?

Боярин выдал из себя слово со вздохом:

– Мое...

– Пошто писал его, приплетая к своему измышлению имя великого государя и государыни, царицы Марии Ильинишны?

– Писал... думал избыть нелюбье между великим государем и патриархом всея Руси Никоном.

– Кто с тобой был в заводе, Никита Зюзин, по сему воровскому письму?

– Писал один... советчиков не было. Дьяк замолчал, примечая зорко лицо царя.

Царь приподнял опухшие веки, глаза царя покосились к дьячему столу. Царь заговорил:

– Скажи, Иваныч, стольник Чириков выехал ли на службу нашу в Киев?

– Мешкает он, великий государь. Видимо, польской Украины дел боится.

«Худо пошло... – подумал Зюзин. – Издали начинает. Хорошо, когда напинает в бока да выгонит...» Царь, помолчав, продолжал:

– Косоогов по нашим воинским делам ездит и за Днепр и в Запорожье – не боится, а стольник Чириков Алексей, Пантелеев сын, трусит... указа нашего ослушник, так ты напиши, Иваныч, от имени моего государеву сказку: «Бить стольника Чирикова батогами у Стрелецкого приказа».

– Исполню, великий государь!

– В польской Украине изменник гетман Тетеря<sup>284</sup> за измену к нам, великому государю, ограблен казаками. С малыми пожитками пошел в Польшу, а там его поляки

---

<sup>284</sup> *Тетеря* (Моржковский, Мережковский) Павел Иванович (ум. в 1667 г.) — украинский казацкий полковник, в 1657 г. изменил России, в 1663 г. стал гетманом Правобережной Украины и принял участие в опустошительных набегах польских войск на Левобережную Украину, был разбит, бежал в Польшу, затем предался туркам. Казнен поляками.

догола раздели – бежал в Валахию нагой. Под Ставищами казаки Чернецкого злодея<sup>285</sup> нашему имени убили... того, кой, памятуя великое радение и службу к нам покойного гетмана Богдана Хмельницкого<sup>286</sup>, тело его сжег, выкинув из гроба... Оставил тот Тетеря-изменник есаула гилевщика Петруху Дорошенко<sup>287</sup>, тот Дорошенко по злему умышлению подался хану и нынче воюет свой православный народ... Но, как и Тетере-изменнику, Дорошенке-вору, по божьему изволению и по молитвам нашим, скорый же конец придет. Так господь карает всех великого государя супостатов! Тетеря, Дорошенко, Юраско Хмельницкий<sup>288</sup> – далекие нам, чужие люди... с них и искать тяжело, и народ там своевольный – всякому слуху верит, а потому служит нынче – нам, завтра – Польше, а то и хану перекопскому. А наши бояре? Государевой думой решено: в облегчение нужд государства ковать медные деньги... они же скупают медь, куют свои деньги и пуще чужих воров убытчат казну! Простил им то воровство, ибо, воруя, моего имени не приплетали к медной татьбе...

От последних негромких слов царя Никиту Зюзина прошиб холодный пот.

– Сидит боярин, правит приказом и тут же ставит себя изменником, подписчиком царского имени, поклепцом иных невинных бояр. Скажи, вор Никитка Зюзин, пошто призывал от имени великого государя казненного опалой бывшего патриарха Никона? Дьяк, спроси вора!

Царь замолчал, живот его гневно колебался, золотой крест на такой же цепи от частых вздохов царя постукивал тихо о пуговицу парчового кафтана.

Дьяк прежним жестким голосом спросил:

– Скажи, Никита Зюзин, не мне, а самому великому государю – он слышит тебя: пошто не от себя, а от имени великого государя и государыни царицы Марии Ильинишны призывал в собор бывшего патриарха?

– Каюсь... попутал бес и научил злему умыслу приписать великое имя.

– Не бесу у пытки стоять – тебе! Пошто, приплетая имя великого государя, его именем указывал на бояр и поклепал Ордын-Нащокина и Матвеева?

Зюзин сдвинул мохнатые брови, сказал упрямо:

– Бояр не клепал... взаправду говорили они: государь-де много жалеет Никона... писать-де Никону великому государю не можно...

Глаза царя гневно открылись. Дьяк умолк.

– Ложь! Вор, б... сын! Не могли они тебе такое приказать. На пытке, под огнем и кнутом, скажешь правду... И как ты посмел, собачий сын, призвать отошедшего самовольно от престола святительского? Того, кто всенародно в литургию в храме сам себя назвал псом, а место святое – песьей блевотиной! Ты не устранился учинить церковное смятение, не

---

<sup>285</sup> *Чернецкий злодей* – польский военачальник Стефан Чарнецкий, отличавшийся особой свирепостью в походах польско-литовских войск на Украину.

<sup>286</sup> *Богдан* (Зиновий) Михайлович *Хмельницкий* (ок. 1595—1657) – гетман Украины с 1648 г. Возглавил освободительную войну украинского народа против Польши, после которой Украина воссоединилась с Россией.

<sup>287</sup> *Дорошенко* Петр Дорофеевич (1627—1698) — гетман Правобережной Украины с 1665 г. после падения Тетери. В 1669 г. перешел в подданство турецкого султана, отдав под власть Турции гетманство. Лишившись поддержки казачества, сдался в 1676 г. русским войскам, был отправлен воеводой в Вятку, позже жил под Москвой.

<sup>288</sup> *Юраско Хмельницкий* – младший сын Богдана Хмельницкого (1641—1685), гетман Украины с 1659 г. Изменил России и в 1660 г. подписал Слободищенский договор, по которому Украина вновь подчинилась Польше. В результате народного восстания в 1663 г. отказался от гетманства и постригся в монахи. В 1673 г. был захвачен крымскими татарами, отправлен в Стамбул, где отрекся от монашества и стал служить султану. Убит турками.

побоялся прервать святую литургию? Ты законник и грамотен много, но забыл главу первую и статью вторую «Уложения» государева. В соборе пение прервали, народ потеснили, Никонов спрос и приход его оповестили мне и мой ответ, прервав литургию, сказали ему. Никон гневные слова кричал, посох святителя Петра со священного места взял и вышел с великим шумом со сборищем своих чернецов и старцев. Это ли не церковный всполох? Учинил великое смятение в храме Никон, но сделал такое по твоему умыслению... В своем воровском письме ты даже указуешь ему, в какие двери войти в храм. Ты есть, Никитка, отменяя даже оскорбление имени моему, церковный мятежник и подлежишь казни!

Зюзин еще ниже опустил голову на грудь, молчал. Царь добавил:

– Вели, дьяк, стрельцам взять и увести вора Никитку на Житный двор! Вести укажи мимо Троицких ворот, чтоб служилые люди приказа, кой он опоганил, видели его. Зюзин поднял голову-, сказал:

– Великий государь! Знаю вину и готов положить на плаху то, что ношу на плечах, но не лишай меня взглянуть дом: там жена моя при конце живота! Дай слово молитвы умирающей... Молю!

– А ты думал о жене, когда воровал против государева имени? Иди и говори на пытке, пошто призывал Никона и зачем поклепал бояр! Прощаться тебе некогда.

Дьяк, вставая, сказал:

– Идем за приставы, Никита!

Кого не добром звали на Земский двор, тому долго помнились широкие ворота приказа. С раннего утра по двору ходили люди, вглядываясь в лица покойников, ища родных убитых или опившихся в кабаке. Нищие божедомы, как воронье, копошились целыми днями, собирая трупы по Москве и волоча их на Земский двор. Теперь было то же. Чуть рассвело, на дворе толпа людей, а кому было время, тот теснился к столбу у ворот, широкому, врытому глубоко в землю, тесанному в шесть углов. На этом столбе вывешивались извещения и постановления царские, о которых бирючам кричать было долго и путано, а извещать с Лобного места не подходило под статью закона. Сегодня на столбе у Земского двора содрали бумагу «О смещении из Судного приказа боярина Никиты Зюзина». На обрывках прежнего извещения решеточный приказчик прибывал новую. Где и как прибывать бумагу, решеточному указывал площадной подьячий. Москвичи, проходя во двор, оглянувшись, останавливались у столба, иные, махая руками, манили грамотных:

– Опять што в ей? Вишь, новая!

Пьяненький безместный поп с цепью медной наперсного креста на шее весело и охотно читал желающим слышать извещение:

– «Великий государь, царь и великий князь, всея Руси самодержец Алексей Михайлович самолично искал крамолу боярскую и в Малой Тронной зале с думным дьяком Алмазом Ивановым допрашивал бывшего боярина Никитку Зюзина, уличил его в подписке государева имени и пущей крамоле и самовольстве, что он, Никитка, на восемнадцатое декабря в Успенский собор, без ведома великого государя, но его светлым именем и именем государыни, Марии Ильинишны, призвал к литургии в час до рассвета бывшего патриарха Никона, и Никон, приехав, учинил великое смятение в Успенском соборе и божественную литургию прервал и посох святителя Петра взял и уехал, изгнанный повелением великого государя всея Руси Алексея Михайловича!»

– Эх, и бедный теперь Зюзин Никита!

– Да... боярство снимут... Указано: пытать на Житном дворе, – и проклятой тот двор из веков!

– Чем же?

– Позади житных амбаров, у стены. В стенах – печуры, в них пытошные да караульные избы.

Пристал еще безместный поп от тиуньей избы со знаменцом в руке.

– Поделом ему, Никитке Зюзину!

– Пошто так, отец?

– Никона опять, дружка своего, хотел посадить.  
– Никона! Лиходея! – закричал тот, кто читал бумагу. – А ведомо ли вам, честные люди, как Никон нас, попов, теснил?  
– А как?  
– Да вот... Прежние пошрины за рукоположение в попы указал отнять! Ставленников в попы велел сбивать в Москву, повелел им привозить с мест записи от поповских старост, что-де такой-то поп имеет земли только-то.  
– Да, православные! И по той поповской земле ему и плата была за рукоположение.  
– Мучитель Никон!  
– Ишь ты! Нам веселее... не одних тяглых поборами теснят, попов также.  
– Кончилась волокита, как Никон сшел!  
– Все же добро, кабы его в патриархи, Никона.  
– Вам от того не добро, не лихо, а нам, попам, бывала денежная налога – иной поп маялся в Москве год, ждал рукоположения и места. Вон туда глядите-ка, за Москву-реку! – кричал поп, который читал бумагу.

Все, кто был у Земского двора, оглянулись на снежную даль, изборожденную кривыми проулками с обледеневшими крыльцами деревянных церквей и часовен. Там же у тынов, торчащих из снега остриями столбов, высились каменные амбары, закрытые железными заметами, да иногда рыжела кирпичной кладкой башня или новая церковь.

– Ну и што?  
– Глядим на знакомое, видим – Замоскворечье.  
– И вот! Видьте... зимой ночью с патриарша двора не один поп убрел в эту пустыню да без вести пропал. – Поп со знаменцем говорил тихо и отдельно: – Прежние патриархи давали попам у себя на дворе ночлег и сугреву, а Никон на ночь выгонял.  
– Должно, не любил поповского чрева. С постной пищи запашисты бываете!  
– Да и бражников среди вас, отцы, не мало-о!  
– И... и... православные! Разбрелись при Никоне попы! Кто без вести пропал, кто в разбой кинулся, а кто и в леса на Керженец сшел.  
– А оные в кабаки ярыжить утекли.

У ворот Земского двора толпа густела, мелькали бороды, уставленные на столб с бумагой, топтались на снегу ноги в лаптях, иные в сапогах. Взметались ветром полы сукманов, кошуль бараньих. Нищие, горбясь над батогами, запевали свое:

Кабы знал да ведал человек...  
Житие веку своему...

А из саней грузно вылезали то дьяки в куньих шапках, то бояре с посохами, и не раз был слышен любопытствующий голос боярина:

– Пошто у ворот столько народу?  
– Извещение о Зюзине чтут!  
– Эй, попенок! Чти далее, а то, гляди, разгонят. Хмельной попик читал по требованию:  
– «...изыскав воровство Никитки Зюзина, великий государь, царь всея Руси Алексей Михайлович указал: взять вора подписчика и самовольника и поклепца на иных бояр Никитку Зюзина на Житный двор и на дворе его, вора, Никитку, пытали, и к огню расдетчи приводили, и он во всем своем лиходействе винулся, и, по приговору бояр, Никитку Зюзина указано казнить – отрубить голову, но по молению у великого государя благоверных царевичей Алексея Алексеевича и Федора Алексеевича великий государь его, Никитку Зюзина, помиловал, казнить не велел, а указал его сослать на службу в Казань, а поместье его отписать в казну, – ему же, Никитке, оставить на прокормление двор московской и долгов его уплаты для...

Того же числа, декабря, двадцать восьмого дня, указано великим государем Алексеем Михайловичем всея Руси бить батоги стольника Алексея Пантелеева, сына Чирикова, и

сказать: «Стольник Алексей Пантелеев сын Чириков! Ты, противясь государеву указу ехать на службу в Киев, не ехал для своей бездельной корысти и лени, проживал и прятался дома, оповещаясь больным, а ты – здоров, и тебя указано великим государем бить батоги у крылец Стрелецкого приказа».

Сказку бывшему боярину Никите Зюзину о ссылке его на службу в Казань, а стольнику Чирикову Алексею о наказании говорил с Красного крыльца думный дьяк Алмаз Иванов при боярине Никите Ивановиче Одоевском».

Когда царю прочли челобитную коломенских таможенных целовальников, он велел вернуть челобитную:

– Не верю я этим мошенникам! Не верю, чтобы на моих кружечных дворах не было питухов! – И указал дьяку тайных дел Дементию Башмакову ехать в Коломну со стрельцами. Дьяк послал подьячего снести челобитную в стрелецкую съезжую избу, сдать стрельцам да собрать тридцать стрельцов под командой пятисотника.

В съезжей избе никого не было, кроме Сеньки. Подьячий положил на стол челобитную, сказал:

– Ты, стрелец, постереги бумагу, – от великого государя она, пойдет в обрат на Коломну, я же извещу стрельцов, чтобы собрались! – И ушел.

Сенька жадно начал про себя читать, он надеялся, что рано ли, поздно, а станет стрельцом-подьячим и ему самому придется писать челобитные. Челобитная начиналась так:

«Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, самодержцу всея Руси, холопи твои Васка Петров да Ивашко Цапин таможенные и кабацкие целовальники с товарищи челом бьют.

В нынешнем, государь, во 1664 году в Коломне и на посаде в таможенных и на кружечных дворах твоему государеву таможенному и кабацкому собранью чинитца велик недобор во всех месяцах по декабрь месяц против прошлого году месяцев, для того что нынешним летом и осенью с товаром приезжих людей на торгах было мало, а на кабаках питушки не было же, а прежние питухи все истратились в прежние лета, а ныне те питухи разбрелись, а достальные валяютца в питейных избах наги и босы, и питье по стойкам застаиваетца, а питухов не стало.

А водным, государь, путем проплавных торговых людей перед прошлым годом не плыло ни в полы – все суды плывут тарханские<sup>289</sup>, а пошлины, государь, собирать стало не с кого...»

Сенька не дочитал, в избу вошел Тюха-Кат.

– Бумагу беру – со мной пойдет! А ты приготовь мне посулы... на неделю еду и тебя спущаю на неделю.

Сенька спасибо не сказал – поклонился пятисотенному и ушел. В съезжую избу собирались стрельцы...

С утра морозило, день был ясный и солнечный, даже жестяные главы самых захолустных церквей играли яркими отблесками, а там, где был снег, глубокий и чистый, от отблесков на снегу лежали радужные полосы.

Сенька приготовил бумагу, к ремню приладил поясную медную чернильницу с ушами: он решил идти в Кремль к боярине Зюзиной, чтоб с ее согласия написать отпускную зюзинским холопам. Время для того было подходящее. От стрельцов своей сотни он узнал, что боярина Зюзина судил сам царь и приказал свести за караулом на Житный двор и что о том суде над боярином висит бумага у Земского двора, но Сенька той бумаги не читал; он думал: «Угрожал мне сыскать в заводчиках Медного бунта, а сам оказался в подписчиках. Эх, всех бы моих супостатов так чествовали, было бы добро...»

Когда собрался, прицепив саблю, то спохватился – лишний человек будет глаза пялить: «Глянь, стрелец пришел к боярине». Ходят к ней чернцы да черницы, хворой такое

---

<sup>289</sup> Снабженные беспошлинной дарственной грамотой.

пристало...

Сенька сбросил стрелецкий наряд, надел вместо шапки скуфью с меховой оторочкой, рясу потрепанную. Ремень с чернильницей повязал по рясе, на широкие плечи накиннул черную, тоже потрепанную мантию. Бумагу сунул за пазуху. Подержал в руке пистолет и тоже сунул за ремень.

«Под мантией не видно, а годится...»

В сенях завозились – вошла Улька, с ней подьячий Троицкой площади Одноусый.

– Вот и ладно! Сынок в монахи собрался? – поздоровался подьячий.

– Дело есть, а стрелецкого наряда то дело боится.

– Чин чином, а монашьему чину перед всеми почет! Они сели и распили хмельного меду.

– С делом пришел я, не бражничать, чтоб по бороде текло!

– Я и без дела рад тебя видеть!

– Спасибо, сынок!... Пришел я сказать: завтра, после службы, будем к тебе всю площадью... староста придет и те, кто пишет челобитные.

– Подьячие?

– Они! А ты прими всех с добрым лицом... не поскупись на хмельное: поубытчат, зато примут в товарищи.

– От всей души рад!

– Ну, рад, так пьем! А ты к кому собрался? Кадило возьми да требник, свечи – не помеха.

– Ну, это мне не надо!

– А может, то, о чем сказала Ульяна, ученица моя письменная, – к Зюзиной?

– К ей, учитель!

– Так возьми кадило да свечи, – померла боярыня!

– Ой, да правда ли?

– Попы сказывали – значит, правда. Должно, с горя, как мужа на пытку взяли.

– Тогда, учитель, будем пить! Ходить туда непошто.

– Подопьем здесь – допивать будем на кабаке Аники-боголюба.

– Коли здесь тесно, идем в кабак! Мой наряд кабаку ведомый.

Сенька вынул из-за пазухи бумагу, снял с ремня чернильницу, а за ремень сунул другой пистолет. Они вышли. Подьячий сказал:

– Сынок! Наперед, как идти к Боголюбу, забредем к мосту, в кабак. Может статься, что черт, коего ищут, не пойдет далеко, а сядет пить ближе к Земскому.

– Кто ж он?

– Глебов, подьячий Земского двора. Теснит он мою кумубабу, а баба – вдова с малыми ребятами. Удумал обирать ее, счел, что заступиться некому; давай-де посул, а то ославим колдуньей.

– Уж не тот ли подьячий, что ус сосет, когда пишет?

– Тот, тот! Верно приметил, сынок. Стану пытать сговориться о бабе – может, полегчает ей. И ведь человечешко! Ему хоть черта подоить, лишь бы доил деньгами.

Они шли к Москворецкому мосту. По мосту несли на полотенцах мужики без шапок гроб.

– Вот, вишь, сынок! Холопи несут свою боярыню.

Сенька и так знал – кого: он снял скуфью и остановился. За гробом, вся в черном, хромала сгорбленная сватьюшка и слезно причитывала:

«Окатилась стена белокаменная, и не стало нашей светлой боярыни...»

Поилицы нашей, кормилицы, худых нас да сирых сугревницы!»

За сватьей шли бабы-плакальщицы, они за старухой подхватывали мрачными голосами:

Прилетите вы, птицы черные,



Носы железные!  
Вы подергайте из досок гробных  
Гвозди шиломчатые!  
Ты восстань-ка из гроба, наша матушка!  
Ты поди в свою светлицу изукрашенную,  
А и сядь, посядь к окошку косящатому.

Гроб пронесли мимо Сеньки, и Сенька слышал голоса нищих:

- К Царицыну лугу понесу-у-т!
  - Далеко, да и толку мало-о! Некому подавать.
  - Кому подавать? Боярин – в тюрьме, боярыня – в домовище!
  - Управительница – дурка! Сама нищая.
  - Да... вот господня воля, весь дом на растрюк пошел!
  - Холопей ладила дустить на волю и не успела. Теперь холопи за долги боярские пойдут в кабалу иным хозяевам!
  - Давай, сынок, – сказал подьячий, – оборотим в Стрелецкую, к Анике в кабак!
  - Теперь близко – только мост пройти!
  - А нет! Кому покойник стренулся – счастье, мне же завсегда лихо... Идем в обрат!
- Они повернули в Стрелецкую слободу.

В этот вечер кабак Аники-боголюбца был разгорожен не одной только печью, но и широкие проходы мимо печи по ту и другую сторону завешены рогожами. У рогожных занавесей стояли кабацкие ярыги; они с каждого, кто проходил к стойке, требовали деньгу.

- Пропились? Казну на пропой собираете? – ворчали горожане, неохотно платя деньгу.
- Лицедействуем! Лицедейство узрите.
- Ведомое ваше лицедейство. Вам тюрьма – родная мать, а нас с вами поволокут – беда.
- Власти кабак закинули... хозяева мы.
- А Якун? Он стоит всех земских ярыг. – Якуну укорот дадим!
- Дадим, дадим, а сколько времени ходит... водит стрельцов... с решеточным заходил.
- Ну, такое мы проглядели... Ужо выьем из кабака! Сенька с учителем подьячим без спора уплатили за вход.

Когда вошли за рогожи, им показалось, что топят огромную баню. Воняло кабаком и дымом сальным. За стойкой, с боков питейных поставов, у стены дымили факелы.

Дым расползлся на столы, на посетителей, на винную посуду, стоявшую на полках поставов. Где-то вверху было открыто дымовое окно, но дым, выходящий из кабака, ветер загонял внутрь, только частью дым уходил поверх рогожных занавесей в другую – пустую половину кабака, заваленную по углам бочками.

Стол, скамьи и малые скамейки – все перетаскано на сцену, затеянную ярыгами. Питейные столы за занавесями стояли по ту и другую сторону к стенам плотно. Питухов горожан за столами много.

Посредине сцены, недалеко от стойки, пустой стол; справа от стойки, на полу, светец, – лучина в нем догорала, снова не зажигали. За светцом, ближе к стойке, прируб. Всегда дверь прируба на запоре, сегодня распахнута настежь, из нее выглядывали кабацкие ярыги в красных рваных рубахах и разноцветных портках.

Оттуда же, из прируба, вышел ярыга Толстобрюхий в миткалевом затасканном сарафане, от сарафана шли по плечам ярыги лямки: одна – зеленая, другая – красная. Груды набиты туго тряпьем и под ними запоясано голубым кушаком. Лицо безбородое, одутловатое, густо набелено и нарумянено, по волосам ремень, к концам ремня сзади прикреплен бычий пузырь.

Ярыга подошел к столу, шлепнул по доске столовой ладонью и крикнул хриплым женским голосом:

- А ну-кася, зачинай!

С черных от сажки полатей, по печуркам печи кошкой вниз скользнул горбун-карлик,

без рубахи и без креста на вороту, в одних синих портках, босой. Он беззвучно вскочил на стол, начал читать измятый клоч бумаги. Читал он звонко и четко, а ярыга, одетый бабой, сказал:

– Реже чти... торжественней! Горбун читал:

– «Прийдите, безумнии, и воспойте песни нелепья пропойцам, яко из добрыя воли избраша себе убыток; прийдите, пропойцы, срадитесь, с печи бросайтесь, голодом воскликните убожеством, процветите яко собачьи губы, кои в скаредных местах растут!»

Ярыга крикнул:

– Борзо и песенно! Горбун продолжал певучее:

– «Глухие, потешно слушайте! Нагие, веселитесь, ремением секитесь, дурость к вам приближается! Безрукие, взиграйте в гусли! Буявые, воскликните бражникам песни безумия! Безногие, воскочите, нелепого сего торжества злы, диадиму украсите праздник сей!»

Это был как бы пролог. Горбун, прочтя его, исчез так быстро, что никто не заметил – куда.

Снова тот же голос распорядителя-ярыги:

– Эй, начинай!

Из прируба на деревяшках, одна нога подогнута, привязана к короткому костылю, в руках батог, вышли плясуны босоногие, в кумачных рубахах и разноцветных портках.

Стол, с которого читал горбун, мигом исчез. Начался скрипучий, стучающий танец.

Плясуны пели на разные голоса:

Тук, тук, потук —  
Медяный стук!  
Были патошники,  
Стали матошники.<sup>290</sup>  
За медяный скок  
Человечины клоч!  
Нет руки, ни ноги —  
Так пеки пироги!  
Ой, тук, потук,  
Сковородный стук!  
Раскроили пирог,  
В пироге-то сапог,  
ТЬфу, ты!  
В пироге, в сапоге  
Персты гнуты!

Тут же один ярыга бегал среди пляшущих, стучал в старую сковороду, подпевая:

Целовальника по уху,  
Не мани нашу Катюху – р-а-а-з!  
Не лови за тить,  
Не давай ей пить, водки!

Иногда пляшущие останавливались у столов, где сидели питухи, им подносили то водки, то меду.

Сенька с учителем сидели за столом, плотно прижавшись к стене и подобрав ноги, чтоб не мешать пляске.

---

<sup>290</sup> В Медном бунте медников особенно жестоко пытали, спрашивая: «А не лили ли матошников?» – денежный штамп.

Когда пляска кончилась, зажгли в светце две яркие смольливые лучины, осветив стену и стойки, и Сенька увидал на стене новую надпись, крупно написанную:

«Питухов от кабаков не отзывать!». Прежняя грамота о «матернем лае» была сорвана, он подумал: «Видно, и старому кабаку Медный бунт не прошел даром? Вишь, прибить заставили царево слово...»

Учитель, поглядывая на рогожи, ворчал:

– Нет и нет его, пакостника! Где бы пить, штоб по бороде текло?

– Давай пить, учитель!

Сенька приказал подать ендову меду. Слуга принес, потребовал заплатить. Сенька уплатил.

Иные, требуя, спорили, ругали кабацкого слугу. Он указал на Сеньку:

– Учитесь у него. Без худа слова платит.

– На то он, вишь, чернец!

– В чужой монастырь попал!

Ярыга, одетый бабой, с решетом обходил столы питухов. Говорил нараспев, как бабы, и кланялся, как баба на свадьбе:

– Сватушки! Батюшки! Пейте, хозяина не обижайте, кушайте, што довелось, на малом брашне не обессудьте! Мы, лицедеи, иное действо учиним, да, вишь, силушки мало – на силушку питушку киньте денежку! Безногим, безруким пропитание... пить им да пить, горе копить... Медь, вишь, ковали, руки, ноги растеряли... пожертвуйте, ушедшие по добру от правды царевой!

Питухи кидали деньги в решето, иные, вставая и уходя, говорили:

– Ой, окаянные! Попадешь с вами в железа. У рогожи заспорил козлийный голос:

– С меня деньгу? Пропащие вы! Я– власть!

Этот голос взбудоражил ярыг кабацких, они ответно закричали!

– Сымай рогожи-и?

– Сымай запоны!

– Вишь, у Земского двора земля расселась, черти полезли в мир!

– Якун при-и-шел!

Учитель встал, сунул ярыге деньгу за вход пришедшего, и у стола появился тощий человек в киндячном кафтане, подбитом бараньим мехом, седоусый, с жидкой бородкой.

– Ждем, Якун! Садись, пей, ешь, мы с сыном платим.

– Добро! Угощение и приношение люблю, а што тут эти пропой-портки орудуют?

Он бегло, но зорко оглядел кабацких ярыг. Кабацкие завсегдатаи выходили и уходили в прируб. Теперь они, выходя, занимали столы, покинутые питухами горожанами.

На одном столе стояло решето с собранными деньгами, – к нему теснились многие. На собранные деньги требовали на столы пива, водки и калачей.

Рогожные занавеси сняли – открыли кабак во всю ширь.

Ярыга, одетый бабой, на своей сцене недалеко от стойки кабацкой упал на колени, возвел глаза к высокому потолку, утонувшему в дыме факелов, и громко воскликнул:

– Боже, вонми молению девы чистой! – Тише и молитвеннее продолжал, сложив на груди руки: – Пошли, всемилостивый, благовеста для, ко мне, чистойшей деве, архандела Вархаила, да уготовит в чреве непорочном моем младеня!

Недалеко за столом четверо посадских питухов, вскочив, закричали:

– Эй, пропащие! Имя богородично не троньте!

– Не тревожь владычно таинство, рожу побьем!

– Черта они боятся боя! Вишь, лихие люди меж их хоронятся.

– Так уйдем! Грех такое чуть!

– Уйдем от греха!

Человек пять горожан ушло, но много еще оставалось таких же.

Ярыга, одетый бабой, лег на пол брюхом вверх; с полатей из черноты и сажи ловко, неслышно соскочил горбун-карлик с ворохом тряпья и, быстро закидав лежащего, сам

зарылся в тех же мохрах.

Сцена некоторое время была без действия. Видимо, ярьги переодевали кого-то или просто ждали.

– Вот где они, церковные мятежники... богохульники, воры! – ворчал Якун, распивая даровой мед.

– Они, Якун Глебыч, не в церкви деют, в кабаке.

– Такое действо и богохульство на людях везде карается, Одноусый!

Якун хмелел и, обычно для него, становился с каждым ковшем злее и придиричвее.

Сенька молча пил рядовую с обоими подьячими. Его учитель, хмелея, становился все ласковее: он лез целоваться к Якуну и Сеньке. Размахивая руками, кричал:

– Якун Глебыч, пей! Калачей купим, коли надо! Потом о деле перемолвим... о деле!

– Молви, Одноусый, теперь! После от тебя не разберешь.

– Ну, так начну разом! Куму мою пошто, Глебыч, теснишь, а? Кума – вдовица, и робятки у ей малы... а?

– Это та, што калашница на Арбате? Курень рядом блинной избы?

– Та, Якун! С Арбата она!

– Так ради тебя отставить бабу? Баба она вдовая.

– Пей, Якун, чтоб по бороде текло. Вдовая, та... она!

– Смолоду борода моя повылезла вполу, редкая, и течь питью зря непошто... а все же ай я той бабе не гожд? Рожа у меня не шадровита... тайных уд согнития<sup>291</sup> не иму. Баба же та ко мне не ласкова: вдова та баба! Правду молыл Одноусый, – гнету ту бабу поборами и неослабно гнести буду.

– Без креста ты, Якун, а судишь о церковных мятежниках... без креста!

– Лжешь, щипаный ус! Крест на вороту серебряный иму... Потому такое, штоб товар не лежал впусте! Баба с малиной схожа – глянь, и прокисла!

Сенька вдруг сказал:

– Когда не любят, силой не возьмешь.

– Спужаетца, будет сговорна, а супоровата зачнет быть, то дров хватит... сгорит на болоте.

– И на тебя управа сыщется!

– Ты стрелец Бова, удалая голова, помолчи! Время хватит – сыщем. Не ты ли был в Бронной слободе у Конона головленковским ряженным? Хе-хе!... В каких ходишь?

Сенька сверкнул глазами, слегка стукнул по столу кулаком, пустая ендова покатила на пол вместе с кубками. Слуга подошел, убрал пустую посуду.

– Вот видишь! – растопырил Сенька огромную пясть руки, положи ее на стол. – Кого не люблю, беру за гортань – и об угол!

– Уймись, сынок! Якун – свой человек, не угрожай ему. Седоусый заблеял козлиным голосом:

– Он не ведает закону государева: на приказных людей угроза карается по «Уложению» – боем кнута и ссылкой... хе-хе!

– По «Уложению», Якун Глебыч, а чем карается подьяческое самовольство?

Седоусый помолчал, потом крикнул:

– Парень! Неси ендову вина, да неразбавленного. Слуга подал и кубки сменил, дал ковши малые. Лицедейство кабацкое начали снова.

Лежащий на полу теперь изображал роженицу: он стонал и причитывал:

– Ой, мамонька! Ой, родная! Непошто родила ты меня, Перпитую горемышную?! Аль ты не ведала, не знала, что на белом свету мужиков, как псов по задворочью? Ой, по их ли, али уж и по моему хотению – не упомяну того – и я родами мучаюсь... О-о-х!

На стоны и вопли из прируба вышел поп с требником. Видимо, поп с себя все пропил,

---

291 *Согнитие* – сифилис.

кроме медного креста. Крест наперсный на тонкой бечевке мотался на его груди, когда он крестился. Вместо фелони на попе серый халат безрукавый с оборванными спереди полами; портки на попе заплатаанные, дырявые, едва закрывающие срам. Хмельной, шаткой походкой подошел к лежащему на полу, стал в головах и гнусаво начал читать, не глядя в требник:

– «Господу помолимся! Владыко, господи, вседержителю, исцеляяй всякий недуг и всякую язю, сам и сию днесь родившую рабу твою Перпитую исцели!»

От своих столов пропойцы кричали:

– Чего лжет поп?

– Не родила она! Ну, може, родит? Не слушая, поп продолжал:

– «...и восстави ю от одра, на нем же лежит».

– Мы его восставим ужо! – злобно блеял подьячий Якун.

– «...зане, по пророка Давида словеси, в беззаконних зачехомся и сквернави все есмы пред тобою...»

В ногах роженицы, в мохрах, зашевелилось. Оттуда вылез совсем голый горбун-карлик.

– Родила-таки!

– На то поп и читал!

– Где же вы, мамушки, нянюшки? Ох, подайте целовать мне моего царского сына...

– Ах, окаянные! – крикнул Якун.

Горбун, закрывая срам рукой, юрко сползал для материя поцелуя.

– Эй, младень! Подь за стол – пей... Поп читал:

– «Но в час в оньже родится, токмо обмыти его и абие крестити».

– Омоем и окрестим!

Горбуна за столом из ендовы полили пивом. Поп читал спутанно, он косился к столу, где пили ярыги, а пуще делили деньги.

– «Омый ея кабацкую скверну... во исполнение питийных дней ея. Творяй ю достойну причащения... у стойки кабацкой...»

Поп, щелкнув застежками, закрыл требник и отошел к столу. Он никого не видал, видел только решето с деньгами. Якун злобно блеял, глядя на попа:

– Что он чел, разбойник? Господи!

– Брось их, Якун Глебыч! Сядь хребтом к ним и забудь... Пей, по бороде штоб!

– А нет! Это тебе, Одноусому, и твоему, как его, сынку, чернецу-стрельцу, все едино... Я же во имя господа и великого государя восстану, не пощажу, изничтожить надо разбойничье гнездо!

Роженице в тряпье было тепло, она не вставала с полу. Водкой поили исправно: поднесут ендову, поставят у головы и ковш, два вольют, только рот открывай.

Кабак разгулялся вовсю. Кабацкие завсегда и пели:

Тук, потук, деревянный стук!

За медяный скок...

Кто-то порывался плясать.

– Разбойники! Тот лежачий ярыга пропойца – князь Пожарской... он не впервой святотатствует да скаредное затевает! – Пей, Якун! Никто их и слушает. Пей... утихомирься!

– А нет! Злодейства, богохульства не терплю... бунтовских словес также...

На стол была потребована ендова водки. Якун взял ее, прихватил и ковш малый... пошатнулся, но, стараясь быть бодрым, зачастил короткими шагами к лежащему в тряпье. Привстал на одно колено; подойдя к голове ярыги, зачерпнул ковш водки, сказал:

– Пей! Лицедейство твое не угодно богу, противно и власти царской, но пей, коли трудился во славу сатаны! Еще пей...

Ярыги за столом пьяно смеялись:

– Сажай на курном потолке записать: Якун, злая душа, сдобрился!

– Мало, что поит, еще и мохры его водкой мочит!

- И с чего это на него напало?
- Эй, не тяни! Деньга – моя.
- Нет, не твоя! Пожарскому, лицедею, надобна.
- Верно! Он же с решетом ходил.
- Нет, та деньга моя!

Ярыги спорили о деньгах и без меры пили. Якун ползал у светца, поджигая клочки бумаги. Клочья огня бросал на тряпье ярыги, подмоченное водкой.

Сенька сидел спиной к лежащему. Учитель его, захмелев, подпер руками голову, глядел в стол и бормотал:

– Да... Якун человек без креста! Куму... бабу... вдовицу... За стойкой стоял высокий старик Аника-боголюбец. Его тусклые глаза редко мигали, он не видел перед собой дальше пяди. Аника был как деревянный идол, пожелтевший от времени. На нем – желтый дубленый тулуп, волосы русые, длинные, на концах седые; лицо – желтое, безусое, схожее цветом с кожей тулупа. Он знал только – раскрыть руку, взять деньги за выпитое и бросить их в глубину дубовой стойки. Ярыги – слуги кабацкие – дали волю пропойцам делать всякие глумы и игры, зная, что в кабацкой казне будет прибыль.

Якун, подъячий, это хорошо видел и знал, а потому, таская из карманов киндяка клочья бумаги, пробовал, какой ком лучше горит, и, наконец, поджег тряпье с середины и с концов. Ярыга спал под тряпьем; ему делалось все приятнее, все теплее, а когда тряпье загорелось зеленым огнем, Якун ушел.

– За гортань возьму! Подай ту деньгу, черт! Моя она! – закричал кто-то хмельно и злобно на весь кабак.

Сенька оглянулся, увидел, как горит ярыга, вскочил и крикнул:

– Товарищ горит! Ярыги-и!

Он хотел кинуться тушить, но его за рукав остановил учитель:

– Сынок, не вяжись... тебя и обвинят... Злодея взять негде – утек!

Началась с матюками, с топотом ног пьяная суматоха. Горевшего сплошным зеленым огнем пьяного ярыгу-скомороха вместе с тряпьем выкинули на снег.

– Родовитой ярыга-Пожарской! Из княжат.

Удержав за столом Сеньку, подъячий теребя единый ус, поучал:

– В беду кабацкой суматошной жизни помни, сынок: не вяжись! Пристал, закричал, тебя же будут по судам волочить, и гляди – засудят.

– Да как же так, учитель?

– Так... сами разберутся: умирать им не диво... мрут ежедень.

Уходя с учителем из кабака, Сенька видел: в стороне, на снегу, в зеленоватом мареве дымился ярыга-затейник князь Пожарский.

Идя дорогой, поддерживая под локоть пьяного учителя, Сенька предложил:

– Ночуешь у меня. Брести тебе далеко, и одинок ты.

– Спасибо! Ладил сказать тебе такое, да стыдился. Потому стыжусь, что кричу я ночью во сне.

– Ништо! А куму твою, учитель, от земской собаки подумаю, как спасти!

– Я бы и сам на то дело пошел, да Якун, человек, плевой видом, языком силен! С ним, сынок, не вяжись! Он любимой у дьяка Демки Башмакова, а думной Башмаков да Алмаз Иванов – свои у царя. У царя, сынок! У царя-а...

– Хоть у черта! Эх, ну! Видно, не судьба на одном месте сидеть... Жалко, вишь, с тобой расстаться да Петруху в разор пустить.

– Не вяжись с Якуном, сынок!...

## Глава II. Сенькин путь

У Троицких ворот возы с мешками хлеба. Караульные стрельцы кричали монахам:

– Эй, длинные бороды! Отцы, штоб вас! Заказано с возами в Кремль.

– Мы – тарханные! Троецкого подворья... хлеб подворью пришел.

– Из-за Кремля таскали бы... на горбах! Невелики архиереи, звонари монастырские.

Сенька, увязая в снегу по колено, прошел мимо. Зима была снежная. В эту зиму караульные стрельцы, равно и горожане, бродили по снегу, как отравленные мухи по одеялу. Горожане казались особенно смешными: сторбясь, распустив до земли длинные рукава своих кафтанов, спрятав головы в воротники, шли как на четырех ногах. Кричали знакомым:

– Ну и снежку бог дал!

– А мороз? Дерево трещит!

Сенька, опустив рукава, слегка сутулясь, брел, оставляя за собой глубокий след. Он бесцельно поглядывал на кремлевские громады, облепленные снегом. В эти дни на стенах и церквях даже галки не кричали. От стенных зубцов свешивались вниз саженные сосули.

Сегодня с утра Сеньке было грустно. Он разглядывал толпу на площади, забывал ненадолго грусть, а потом щемило сердце, и он думал: «Отчего туга гнетет?» – шел и мысленно пробовал ответить себе: «Оттого, что привыкать стал! Кругом лихо творится, и ты той неправде больше года служишь... Таисиев путь забыл! Иное что, коли не это? Дома? Дома все ладно: Улька днем уходит к старицам... сдает им деньги, собранные на гонимых попами людей старой веры... вечером и ночью с ним. Убирает, моет, варит и даже про себя песни играет...»

Сенька был близ Троицких ворот и почти нос к носу столкнулся с подьячим Земского двора Глебовым.

От нечаянной встречи Сенька приостановился. Якун прошел и тоже остановился недалеко. Ощерил редкие желтые зубы, отряхнул, собрав в узел длинный рукав, усы, на морозе вздернутые кверху, и хриплым с перепоя голосом заговорил:

– От стрелецких тягостей едино как в мох зарылся? Пьяницы подьячишки кого не укроют...

– Чего ты, волк, скалишься на меня?

– Стоишь того, вот и скалюсь!... Наклепал начальникам, фря писаная! Был гулящим – стал стрельцом, из стрельцов полез в письменные... Гляди, еще в дьяки попадешь, придется тебе куколь снимать да кланяться бывому гилевщику... Был им и им же остался.

– Служу, никого не тесню!

– До поры служишь!

– Ты, хапун, корыстная душа! Мало купцов, нищих обираешь... сирот теснишь.

– В мое дело не суйся, знай место! Эх, кабы моя власть! Вишь, они, вон башни Троицких ворот... в них каменные кладези, еще от Ивана Грозного в кладезях тех кости гниют, и вот таких, как ты, туда бы...

Якун, помахивая длинными рукавами шубного киндяка, побрел дальше.

Сенька пошел к воротам, подумал: «Сердце угадало! Вот он враг, черная душа!»

Он вспомнил, что год тому назад через Петруху, брата, пожаловался на Глебова боярину Матвееву. Матвеев не любил корыстных людей, поговорил дьякам на Земском дворе: «Этоде непорядок! Ваш служилый сирот теснит!» От думного дворянина Ларионова Якун получил выговор.

И тогда Якун забросил курень вдовы на Арбате, а на Сеньку с братом затаил умысел и ждал случая.

Дойдя до ворот, Сенька оглянулся на серое, как овчина, низко припавшее небо, решил: «На съезжую рано идти!» – и повернул на площадь.

Завидев его издали с чернильницей на ремне, хотя она и была прикрыта рукавицей, со стороны прибрели два мужика лапотных, в синих крашенинных полушубках, с длинными бородами в сосульках. Сняв с мохнатых голов самодельные шапки, поклонились. Один сказал:

– Нам, родненька, челобитьецо бы написать великому государю. Мы – выборные, пришлые из-под Рязани.

Другой простуженным голосом прибавил:

– Нихто, вишь ты, писать. Первый махнул на него шапкой:

– Тпру-у! Не ездят! – Бойко заговорил: – Не пишут нам служилые. Мекают про себя, што-де мужики лапотные, кая от их корысть? Мы же за письмо, мало алтынов, – рупь платим!

Утирая на холоде кулаком слезливые глаза и заодно тряся бороду, сбивая сосульки, надев шапку, роясь в пазухе, сказал другой, таща из-под кушака кумачный плат:

– Нам оно и исписано рязанским церковным человеком, да путано и вирано... – Подал Сеньке плат.

Сенька развернул плат и свиток, сверченный трубкой, оглядел:

– Да... ни дьяк... никто честь вашего письма не будет!

– Худо, родненька! И мы такое видим, а он у нас самой грамотной... и вот стали доходить настоящих писцов...

– Сколько берешь написать по-ладному? – Моя цена – две деньги.

– Ой ты! Идем коли в палатку – пиши. Мимо Сеньки прошли двое площадных. Один поклонился, другой, выпростав из рукава руку, подал Сеньке:

– Брату Семену-писцу! – Спросил, кивая на мужиков: – Писать им хошь?

– Думаю...

– Мужикам на мужиков, аль на целовальников, или на волость – пиши! Им, этим, не можно: они государю на архимандрита челом бьют, а архимандрит ихний – державец... они – монастырские страдники.

Оба ушли. Мужики переглянулись, посутулились. Боязливо поглядывали на Сеньку с ихней грамотой в руках. Сенька сказал упрямо:

– Коли никто не берется – пишу! Лица мужиков повеселели:

– Ой, бог ты спаси! Доброй человек! Он еще раз проглядел их челобитную.

По снегу местами валялись большие ящики из-под пряников. Сдвинув рукав кафтана к плечу, Сенька взял один ящик, стукнул об сапог и, околотив снег, сел. Из-за пазухи вынул свиток чистой бумаги, попробовал, не застыло ли чернило, и на широком колене стал писать, сочиня заглавие по правилам челобитных:

«Государю царю и великому князю всея великия и малыя Русии самодержцу Алексею Михайловичу. Черные людишки, крестьянишки монастырские и твои великого государя холопишки, старостишки Жданко Петров да Ивашко Кочень, Григорьевского и Преображенского сел, за все крестьяны место челом бьем!»

– Гляди-кась! Вот пишет!

– И на колене, а нашим и за столом так не писать.

– Дай бог!

Пошел снег, начался ветер. Сенька засыпал с поясной песочницы писанное, свернул письмо, сунул за пазуху. Встал, сказал:

– Завтра на этом месте будьте до отдачи дневных часов... больше не пишу. Снег портит письмо.

– Так мы же, родненька, звали в палатку писать?

– В палатке староста не даст! Слыхали, что говорили писцы? Меня, может, с площади прогонят за ваше письмо, а все же напишу!

– Тебе знать! И бог с тобой.

– Завтра получите – укажу, куда сдать.

– Нам и ладно! Время терпит.

– Проест у нас не своя – мирская.

– Вы вот что, мужики...

– Ну?...

– От челобитья добра вам будет мало.

– Пошто так... аль со лжой испишешь?

– Челобитная будет по правилам писана, и царь ее прочтет! Только царь от мужика на помещика жалобам не внемлет.



– Ну, так как же нам?

– Мой совет такой: выберите из бобылей<sup>292</sup>, кому терять нечего, смелых, пушай эти смелые дубинами погоняют тех монахов, кои вас теснят... и архимандриту бы бороду подрали – тише будут с вами!

– Ой ты, служилой! Неладному нас учишь.

– Вас на цепь сажают монахи, выколачивают деньги, и вы за те деньги в кабалу идете. Плачете опустя руки, а монахи вас объедают. Просто монахам у таких дураков брюхо растить.

– Што верно, то уж, значит...

– Мы, служилой, потерпим, пождем. Коли от челобитья проку не увидим – подумаем.

– У царя вам правды не найти!

Сенька ушел. Он пошел на съезжую стрелецкую: «Домой – рано. В избе, может, кого встречу, расписание службы проведаю...»

Зимний день серел, но до отдачи дневных часов и смены караулов было еще долго.

В избе сумрачно. Войдя, Сенька огляделся. Сторож стоял у печи спиной к шестку, грелся, сказал, покашливая:

– Ждал многих, пришел один, и все же изба пуста не будет. Иные поди в приказ убрели? Не придут... Ты побудь, а я в караульне сосну мало.

– Поди, спи, – сказал Сенька.

Сторож тряхнул головой вместо поклона, ушел, плотно прихлопнув дверь.

Сенька подвинул стол ближе к окну – для света и для того, чтобы видеть идущих. Писать стрельцам на съезжей избе воспрещалось. Приладившись на столе с бумагой, не снимая с ремня чернильницы, Сенька выписывал показания монастырских старост:

«Нас, мужиков, бьет плетьюми и батогами ежедень, выколачивает деньги. Он же, архимандрит Игнатий, Солотчинского монастыря, бьет наших баб и девок нещадно плетьюми. В лонешном, великий государь, во 1664 году, на масленице, наши бабы и девки, села Преображенского, с гор катались, так признал это за скаредную игру и указал их сечь плетьюми, по сто ударов каждой. Ежегодь строит в монастыре, а через год тот построй рушит, строит новый, и так ежегодно. Эпитимьями морит за самый малый грех, и жизни от того не стало, великий государь! В монастырь Солотчинский, что на усте рек Оки да Солотчи, шлют людей к Игнатию на истязание. Докучает тебе о милостыне великому государю, сам все лжет, „что-де облачение на мне истлело...“ Покупает Игнатий на одежды шелк все шемаханский, а шапку нынче велел себе соорудить из соболей и бархата с жемчугами. Стала та шапка ценовна в пятьсот рублей. Золотных кружев накупил и каменьев дорогих, а денег не стало, то продал из монастыря три иконы редких с басмой, – за такое его дело пакостное даже монахи ропотят. Деньги вымогает всяко: старостишку Ивашку Коченя летось он держал на чеши в хлебне месяц, вымучивая деньги шестьдесят рублей, и вымучил. Ивашко нынче, великий государь, за теи деньги на правеже стоял, и еще стоять...»

Сенька спешно свернул челобитную, сунул за пазуху. В конце улицы показались двое – Тюха-Кат и Якун Глебов.

Сенька вошел в прируб избы, отгороженный переборкой. Припер дверь. В прирубе разбросаны ножные и ручные колодки, рыжели цепи с замками, повешенные на козел, на котором бьют провинившихся стрельцов. В углу, ближе к узкому оконцу, стол дубовый для допросного письма. Сенька шагнул к столу, повернул его боком, поставив ножками к дверям, и сел на низкую скамью, скрывшись с головой за доской стола.

В избу вошли.

Переборка прируба была сделана не внакрой, а впритычку, между досками щели. Оба вошедшие сели за стол.

Сенька видел голову Тюхи-Ката и часть плеча. Подъячий, видимо хмельной, так как,

---

<sup>292</sup> *Бобыли* – крестьяне, не имевшие земли или имевшие ее так мало, что не несли обычного тягла.

идя, царапал пол сапогами, подошел, заглянул в прируб и, видя орудия пытки, захлопнул дверь и, подойдя к столу, тоже сел, хотя Сеньке его и не видно было, заговорил. Сперва Сенька не разбирал его слов – сильно стучало сердце, вскипала злость на врагов – и мысль докучала: «Убить! Обоих убить!»

Тюха-Кат заговорил хмельным басом:

– Знаю! Гилевщик... Не люблю того стрельца.

Сжав рукоять сабли и успокоившись, Сенька стал слышать и Якуна:

– И вот, служилой господин дьяк думной, государев, Башмаков Дементий в оно время указал обыск чинить да взять и привести в Земской бронника, зовут Кононом.

– Фу-у! А дале?

– Брат же того Семки – боярский сын.

– Не велика птица... фу-у!

– И не велика, да летяча! Брат того Семку – а он был тогда гулящим – обрядил в казенный стрелецкий кафтан головленковский и лошадь дал для езды дьячему делу помешать.

– Рядиться в казенные кафтаны строго наказуется! Доподлинно с истцами допытать и того боярского сына из детей вон выбить, а там и кнутобойство учинить! Фу-у!...

– Ведаю такое! О том и речь моя, но боярин Одоевский Никита...

– Никиту Иваныча знаю... боярин...

– Боярин дал тому боярскому сыну «память» на Земский двор – дело с бронником отставить.

– Бронник? Не... не помню! А боярский сын иди в приказ – суд, суд!

– Дело бронника отставить, а бронник всю Бронную слободу огнем пожег.

– Глебов! Дай видоков, и мы того боярского сына из детей вышибем и в Стрелецком приказе ему кнутобойство... фу-у!

– Потерпи... Послушай меня, служилой господин! Иное вижу в том деле.

– Ты – молодец, Глебов! Перепил я, но понимаю все, сказывай.

– От суда они, служилой господин, никуда не уйдут! Видоки есть – трое стрельцов, но их тем судом пугать надо и брать с них деньги за молчание.

– А это ты добро придумал! Денежки, денежки подай, а то суд... хе-хе... Фу-у!...

– И бронника потянем! Благо, боярина Одоевского нету... сердцем скорбен – уехал в поместье... Деньги бронник даст! Богат, стерво.

– Молодец, Глебов! А ну, а ну еще!

– У боярского сына взять есть что. Разорим – тесть поможет, купец суконной сотни.

Нынче сотня обрала его в старосты – денег сундуки-и!

– Хе! Давай деньги, черт! Фу-у!... Сундуки, а?

– Стрелец тот, Семка, в мертвой петле. На кабаке Аники я подпоил лихих и проведаль: был он у атамана в Медном бунте есаулом – личную ставку, и веревка на гортань.

– Есаулом в Медном? А нынче стрелец?

– Брат тут, за брата стоят бояре: Матвеев, Одоевский тож да Зыков окольниковый Федор, только у меня рука выше – дьяк Дементий Башмаков тайных дел! Мы, служилой господин, всех покроем! Свидеться бы завтра – и тебе записочку, памятку...

– Свидеться там, где чего испить можно... Шел, мекал, тут стрельцы мои... черт! Фу-у!... В приказ налажу...

– Испить лучше не сыщешь – на кабаке Аники в Замоскворечье, люблю там. До отдачи дня напомяну и памятку испишу.

– Пить – и дело обскажем... наладим... Молодец, Глебов! Хе-хе!... И памятку?... Добро!

– Не дремлю, к часу буду.

– Молодец! И дело же обсказал... Фу-у!... К черту приказ! Нынче домой...

Скрипя скамьями, встали, пошли. В сенях пинали крепко примерзшую в притворе дверь.

Сенька сдержался, не выдал своего присутствия. Бегло думал: «Сторож глядел... говорил... не место тому делу... дома не готово... Улька пусть знает... припасть!»

Идя домой, не чувствовал ни мороза, ни ветра. Слезились глаза, он их не утирал, едва видел путь, намерзли ресницы. Только отворя дверь в свою избушку, заметил, что шапку держал в руке, – снял ее, когда слушал врагов.

Улька кинулась, обняла Сеньку.

– Ой, ты! Ой... весь замерз, и кудерышки замахровели! Сенька, редко отвечающий на ласки, обнял Ульку.

– Ульяна, волосы оттают, худо то, что сердце заиндевело. Сенька разделся.

– Сядь, испей хмельного да поешь.

– Давно не ел, правда, а там надо мужикам челобитье дописать.

Когда Сенька поел, то дописал челобитную, в конце подписал, как требовали дьяки:

«Явочку мою взять и челобитье крестьян Солотчинского монастыря записать, чтоб тебе, великому государю, было ведомо, а принять челобитную дьяку государеву думному Алмазу Иванову.

За бесписьменных крестьян место – стрелец-подьячий Троицкой площади Семен, Лазарев сын, руку приложил, 1665 г., марта месяца. Дня.

Свернув челобитную, спрятал в карман кафтана. Сел на лавку ближе к дверям, вынул из ножен саблю, воткнул ее концом в пол, лезвием вверх, и, на шарив на лавке точильный брусок, стал точить.

– Эх, подружка, Кононово дело, точу тебя последний раз. Улька сказала:

– Пошто так, Семен?

– Ты, Ульяна, пойдешь со мной... или на Москве обыкла? Думаю, тяжело тебе наладиться в неведомый путь?

– Ну, вот еще! Я с пеленок нищеводка... не место жаль – страшно тебя потерять!...

– Вот за это я и люблю тебя! Так ты завтра, чуть свет, снеси Конону письмо, чтоб дал тебе Таисиево узорочье... Продашь, что можно, иное на путь в узел завертим – сгодится. Ночью уйдем к твоим, повременим до поры, иначе не уйти, ловить будут...

– Сегодня не пекись – завтра все сделаю, а горенка тебе готова под часовней. Там и жить будем.

– Заготовишь два полушубка да два армяка суконных. – Сказываю – не думай, все налажу.

Утром Сенька вышел к Троицким воротам. Шумел народ, стрельцы бродили, кричали, наводя порядок. В Судный приказ шли подьячие и те, кому судиться. Сегодня было теплее. Над стенами Кремля и у возов кричали галки. Голуби, которых не трогали, считая святой птицей, обнаглев, шныряли под ногами.

Солотчинским мужикам с полуночи не спалось. Они, завидев Сеньку, спешно пробрались к нему. Глядя бороды, закланялись и шапки сняли:

– Челобитьецо готово ли, доброй человек?

– Вот челобитье! Деньги за него снесите в палатку, отдайте в общий сундук. Челобитье при вас сдам тому вот подьячему, он снесет его в Приказную палату, а вы направляйтесь домой.

– Значит, все по-честному стряпано?

– Все сделано, только вам ждать и видоков иметь на архимандрита.

– Видоки: попы, купцы, дьячки да дьяконы – все лучшие люди.

Мужики поклонялись Сеньке, пошли в палатку деньги отдать. Тот, на кого указал Сенька, был его учитель – подьячий Одноусый. Подошел, потрогал свой единственный ус, спросил:

– Все ли по-ладному, сынок?

– Ладное с худым перемешано, учитель!

– Оно так! А ты будь умен: дьякам да родовитым людям угодлив, и с твоей грамотой, говорю не на ветер, в большие люди выплывешь.

– На Волгу, значит?  
– Ой, ты! Пошто на Волгу? Можно и по Москве плавать...  
– Вот, учитель, челобитье, сдай в Приказную палату. – Кому писал?  
– Мужикам с Солотчи-реки.  
– Нашел просителей! Ну да сдам, давай... И упомни, говорю: окольников Федор, сын Зыков, Тихонович, из площадных подьячих, а до государева стола долез.  
– Э-эх, старина, – Сенька обнял подьячего, – как с отцом родным, с тобой жаль расставаться!  
– Да што ты все? Неладное у тебя на сердце: то Волга, а Волга нынче да и из веков река шумливая, разбойная... Тебе, когда дело налажено, пошто в разбой?  
– Живи на здоровье, добрый старик! Прощай!  
Сенька ушел, а Одноусый, покачав головой, сказал себе:  
– Неладное с парнем – на сердце ему какая-то стень легла! Околотив ноги от снега, побрел в Приказную палату.

В Стрелецкий приказ Сенька не пошел и в съезжую избу не заходил. С площади домой вернулся рано. Выволок из-под пола кожаную суму, в ней панцирь и шестопер. Сунул в суму два пистолета, кремни у пистолетов перевинтил, попробовал кресалом, на полки у курков подсыпал пороху.

Улька побывала у Конона, по дороге зашла на торг. Продала узорочье, а то, что побоялась продать, принесла завернутым в платок.

На дороге к Аникину кабаку в пустом поле стояла часовня, наскоро сбитая из досок. Икон в ней не было, кроме одного большого деревянного распятия, видимо устроенного по обету вместо придорожного креста. Памятна эта часовня была только женам. У ней они отдыхали и плакали, волоча к дому пропившихся до креста в кабаке мужей. Много слышала эта часовня проклятий кабаку и слезных молитв. Дверь в часовню не запиралась. Зимой здесь тихо и всегда безлюдно.

Сенька, придя, стал у оконца без стекла. Согнулся в низком пространстве. Темнело скоро, но он зорко глядел на дорогу, на снег, мутно белеющий. Сыпался из воздуха серый, как легкий мусор, снежок. Сенька был спокоен. Две мысли толкались в голове: «Неотменно бы пошли... не придут – еще стоять надо...»

Вторые петухи кричали по Стрелецкой слободе, когда Сенька вернулся. Сухой снег падал, засыпал его следы. Белый кафтан спереди стал заскорузлым. Саблю Сенька всунул под часовню в землю по самую рукоятку.

Улька топила печь. Сенька снял кафтан и на ухвате запихал его в огонь.

– Лик умой... – покоясь, сказала Улька.

Сенька молча умылся. Он молчал долго, спокойно оглядывая предметы избы, потом сказал:

– Бочка в печи – не будет течи, а бондарь уйдет... пуцай ищут!

Они сели ужинать. Сенька допил остатки хмельного меда и, облокотясь на стол, задремал. Улька молилась, кланяясь в землю. В молитве поминала часто: «Спаси и сохрани раба твоего Семена...» Оделась, подошла и, трогая Сеньку за плечо, сказала:

– Облокись, Семен! Суму надень, идем, пора...

Только что закончилась «комнатная государева дума». Царь оживился. Он, похаживая, говорил свои последние слова о польской Украине.

– Ныне же мы, бояре, гетману и боярину Ивану Брюховецкому<sup>293</sup> дадим войска и вменим безотговорочно поймать лиходея Дорошенку. Дерзкий вор! Мало времени впереди, как мы судим здесь, – Дорошенко осадил и взял город Бреславль, а коменданта Дрозда, преданного нам сподвижника, побил смертно.

---

<sup>293</sup> Иван Мартынович Брюховецкий (ум. в 1668 г.) – гетман Левобережной Украины с 1663 г. За изъявления преданности русскому царю пожалован званием боярина, но в 1668 г. предал Россию, начал мятеж против нее в сговоре с Дорошенко. Убит восставшими казаками.

– Войска, великий государь, мало есть послать, но с гетманом Иваном неотложно надобно послать на Украину воевод... Они бы собрали воедино реестровых казаков и жалование им дали, а то воры-полковники посланное туда жалование раздают гилевщикам против твоего имени государева... затейникам...

– Так, так! Пошлем и воевод, чтоб чинили они в очищенных от поляков местах суд, расправу и пошлины ведали.

Бояре, тыча посохами в пол, все сидели по лавкам, кроме Матвеева Артамона. Матвеев без посоха, он держал в правой руке свою стрелецкую шапку, а левой иногда бороздил окладистую недлинную бороду. Боярин внутренне был взволнован: за дьячим столом у окна, в конце лавки, вместо думного дьяка Алмаза Иванова, угодного Матвееву, сидел дьяк Тайного приказа Дементий Башмаков<sup>294</sup>. Башмакова не любил боярин, и то дело, по которому пришел он, могло быть испорчено дьяком. На стене у надтронных образов горели лампы, желтя жемчуга окладов и переливаясь огнями в крупных изумрудах.

«Дума затянулась. Царь может уйти...»

Царь все еще прохаживался по палате. Тучный живот его колыхал золотный кабат с жемчужными нарамниками на плечах.

«Устанет... уйдет... дело решат, гляди, без меня!» – думал Матвеев и обрадовался словам царя:

– Знаю, боярин, что у твоих хваленых стрельцов не все поладному... О том утеклеце Семке доведено мне... в год черной смерти он служил у Никона, от Никона сшел, похитив панцирь и шестопер, и до поручительства братом своим бродил бог веси где!... Стрельцом был мало, перешел на площадь писцом и с площади ушел...

– Все доподлинно так, великий государь! – поклонясь, ответил Матвеев.

– И добро, коли доподлинно, – иное будет по «Уложению» нашему: сыскав утеклеца, бить кнутом да послать на службу в дальние города.

– Не стрельца – поручителя жалею я, великий государь!

– Поручитель – брат?

– Брат, великий государь.

– Ответит, как тому показывает закон! А закон указывает, «чтоб гулящих людей служилые поручители приводили с опаской, отвечают за них своими животами». Что есть у поручителя, боярин?

– В Стрелецкой слободе отцов дом, скот и рухледь.

– Вот двор тот и ободрать покрепче! Как брата зовут? Ныне же напишем указ.

– Петр, Лазарев сын, великий государь.

– Стрелец? Значит, не Петр, а Петруха! Подлых людей, да еще заведомых попустителей всяким вора, не зовут, чей сын – песий он сын!

– Великий государь! Тот Петруха в ляцкую войну тобой был пущен на твои царские очи и лично тобой за храбрость и многие добротные дела жалован в боярские дети.

– Скажи, боярин, тот, кто моей государыне Ильинишне ведом? Когда едет на богомолье – зовет его... стремянной?

– Тот! И, как было воинское время опасное, когда многие отказывались сквозь бой ехать, был послан к тебе в сеунчах.<sup>295</sup>

– Да... Приметный парень! И не корыстный. Жалован поместьем малым, отказался брать, ответил: «Справлю и без того государеву службу!» Вот он, род человеческий! Из

---

<sup>294</sup> Дьяк Тайного приказа Дементий Минич Башмаков (ум. после 1700 г.) – государственный деятель XVII в., служил в 16 приказах: Разрядном, Посольском, Большого двorca, Сыскном и др. В 1658—1664 и 1676 гг. возглавлял Тайный приказ, участвовал в следствии над участниками Медного бунта. Тайный приказ – личная канцелярия царя Алексея Михайловича, контролировал деятельность всех государственных учреждений. Существовал с 1651 по 1676 г.

<sup>295</sup> Сеунч – гонец.

одного гнезда сокол и ворон вывелись... Добро, боярин, что довел. Петруху не тронем, а с утеклцом Семкой учиним по «Уложению».

За дьячим столом встал с длинным скуластым лицом высокий дьяк в синем с золотными по бархату узорами кафтане. На жемчужной цепи дьяка вместо государевой печати висел серебряный орлик.

Дьяк поклонился, стоял молча; его острые с желтизной глаза следили за медлительной походкой царя. Царь почувствовал взгляд своего любимого «шепотника», сказал Матвееву:

– А вот еще послушаем, боярин, что скажет дьяк по этому делу? Хочешь говорить, Дементий?

Дьяк еще раз поклонился:

– Укажи сказать, великий государь!

– Слушаем, говори.

– Утеклеца подьячего из стрельцов... в устроении его на службу государеву, в коем повинен и боярин Артамон Сергеевич, судить по «Уложению» будет многая милость! Он таковой не стоит, великий государь! Был по нем сыск, а в сыске проведены многие вины его. Перво: будучи подьячим на Троицкой площади, тот Семка-писец писал челобитные подлым людям, передавал их думному дьяку Алмазу Иванову с припиской: «Чтоб и тебе, великому государю, было ведомо».

– Ты, дьяче, сказать хочешь, что челобитная от мужиков? Ведаешь наше запрещение: «После того как великим государем мужик накрепко дан помещику, смерду на имя государево не жалобить на родовитых». Ты это вправду подметил...

– Так, великий государь! А последняя его, Семки, челобитная была заведомо кляузная – на архимандрита Солотчинского монастыря Игнатия. Тебе издавна ведомо, государь, что солотчинские монахи живут скудно и нище!

– Ту челобитную я чел, дьяче, – писана она была зело грамотно и четко: любому дьяку впору так писать. Монахи солотчинские впрямь живут нище оттого, дьяче, что хозяева они худые да родни и захребетников у них бессечно... Я не раз писал, тебе ведомо, по монастырям, «что живет у них и кормится много худых людей, что те захребетники живут в монастырях, мирскими обычаями, что отпускает монастырь мужиков на заработки и что, кто вернулся с работы, должен монахам и их родне дать посулы...»

– Того про солотчинцев мне не ведомо, великий государь!

– А ведомо ли, дьяче, тебе, что монастырские захребетники из трапезной со столов таскают по кельям скоромное яство и едят, не разбирая постных дней?

– И того не ведомо мне, великий государь!

– Оно и ведомо... да внять тому и поверить не хочешь? А чтоб было по правилам, пошлем в Солотчу стольника, какого потом решим... дадим ему подорожную и по чину, как полагается, бумагу на «ямы» – на десять подвод, пошлем и дьяка с ним – пускай за солотчинским Игнатием опросный сыск учинит... Чего вот тот утеклец подьячий побежал, мне невнятно такое? Может быть, напугали его, что в мужичьей кляузе мое имя помянул?

– Не челобитной пугаясь, побежал тот Семка, великий государь! В сыске мы провели за ним другое дело: на дороге к Аникину кабаку тот утеклец чинил убийство, убил кого, тебе, государю, довели – пятисотного стрелецкого Пантюхина да подьячего Земского двора Глебова... Не сыскать бы и тела битых – собаки раскопали, выволокли. Безбожник не испугался часовни, разобрал доски и, иссеченных на куски, покидал под пол, пол настлал и затоптал по-старому. Кому иному, государь, убить двух служилых людей? На Пантюхина утеклец давно стрельцов подбивал, Глебова же убил, боясь своих прежних лихих дел... подьячий тот изыскивал измену государеву лучше всех истцов...

– Дьяче, не ведаю, каков был Глебов. Пантюхин же пятисотой немалое утеснение стрельцам чинил, то и боярин утвердит.

– Чинил, великий государь! Посулами теснил, – сказал Матвеев.

– Ну вот! Может быть, минуя того Семку, стрельцы иные посекали пятисотного? На кабаке же Аники чернь пропивается, и не место ходить туда большим служилым

бражничать!

– И еще, великий государь, за утекцем есть вина... Тот убитый подьячий Глебов довел мне, что стрелец Семка Лазарев, год тому ишел, как, будучи во хмелю и буйстве, на том кабаке поджег мохры на ярыге кабацком, а был тот ярыга из княжат Пожарских.

– Выходит так, что утеклеца мне же замест суда и защищать приходится? Что сжег ярыгу утеклец – явный навет, дьяче! О том, пожоге ярыжном целовальник Аника с товарищи дали отписку, «что-де Пожарский князь, кабацкий ярыга, сгорел собой... Спал-де он у стойки кабацкой впритык, а со стойки свеча с огнем упала, и на ярыге портчонки загорелись... пьяны были все, а мне-де из-за стойки не видно было...» Там ему и место, тому князю! Покойный родственник его, стольник и воевода князь Семен Романович, кой брал со мной город Мстиславль у ляхов в 1654 году, сокрушенно говорил: «Убили бы того пьянчугу кабацкого, свечу бы богу поставил». Род Пожарских ярыга срамил!

– Великий государь! Говорю я не из корысти, едину лишь правду хочу познать, а по «Уложению» утеклецу Семке полагается бой кнутом. Так укажи его, когда сыщут, на дыбу взять, пусть скажет: он ли убил Пантюхина и Глебова?

– Вот так бы и начал! – улыбнулся царь. – От кнута до дыбы недалеко, сыщут утеклеца, вели пытать! – Царь тяжело вздохнул, прибавил: – Ух, устал я! Пора подкормиться! – Он повернул к трону за посохом. Бояре кинулись, подали посох с драгоценным шариком царю, царь повел рукой в воздухе: – Прошу всех в столовую палату за многие труды отдохнуть за брашной и романей.

Не видя дьяка, сказал:

– Дементий! И ты с нами будь...

Обычны крики, шум и колокольный звон в Кремле. У Судного приказа по снегу и у Троицких ворот бродили просители. Одно было необычно: староста-подьячий собрал в писцовую палатку всех площадных подьячих и объявил:

– Семка Лазарев, товарищи, нас посрамил!

– Чем?

– Чем, Ерш, щучий сын?

– Вот вам и щучий сын! Утек парень из стрельцов, с площади тоже, и нынче мне в старостах не быть!

– Пошто так?

– А по то, все мы ручались за него, – я же особо еще и глядеть был должен за ним... да вот...

– Пошто ен утек? Може, скорбен чем и лежит дома?

– Нет, робята! Сказывать о том не надо, потому имя государево тут поминается, а только дьяк мне довел: «Тебе-де, Лучка, старостой площадным не быть! Твой писец из стрельцов утек, свершив убойное дело... Комнатной государевой думой и великим государем ему приговорено – дыба и кнutoбойство... указано сыскать! Убил подьячишку Глебова да пятисотного стрелецкого дворянина...»

– Вон што-о? Ну, тогда дело зримое – утек!

Подьячие разошлись по площади, а учитель Сенькин, Одноусый, ушел попытаться сыскать Сеньку и предупредить. Идя в Стрелецкую слободу, вспомнил, что Сенька, обнимая, сказал: «Прощай, старик!»

Подьячий пришел к Петрухе на двор. Никто ему не встретился: он пробрался в дальний конец двора, зашел в избушку, где много хороших вечеров еще так недавно провел. Изба нетоплена, пусто, только на окне лежал табачный рог да в углу стоял стрелецкий карабин, на лавке валялся точильный брусок, и у стола было немного насыпано не то муки, не то толокна. Еще у самых дверей на гвозде висел малоношенный стрелецкий кафтан – белый с желтыми нашивками поперек груди.

«Извели! Угнали вороги такого парня!»-сказал про себя подьячий. Сев к столу, подпер бороденку кулаком и незаметно для себя заплакал.

Послышались быстрые твердые шаги. В избу вошел Петруха в бархатном малиновом

кафтана. Он видел с крыльца, как проходил по двору старик. Теперь, войдя в избу, держа шапку в руке, шагнул к столу. Заметив слезы на глазах старика, сказал:

– Бежал, черт! Ты же по нем плачешь? Не стоит того.

– Пошто, Петр Лазаревич, не стоит?

– Бежал! А я за него с боярином Артамоном ручались, и ныне как приглянется царю. Не приглянется, а похвалить тут нечего... Мою службу не попомнит, тогда батькин дом раскопают дотла.

– Дитяtko, Петр Лазаревич! Не таков был твой брат, штоб впусте бежать. Ведомо тебе ай нет, што на него Глебов Якунко грызся? Якунко же первый доводчик у Башмакова, дьяка!

– Того не знаю.

– А я знаю! И думаю, што пакость Якунко норovil сделать не ему одному, а и тебе.

– Мне-то чем мог угрозить?

– Так вот, вместях были, и пьяной Якунко Семену в глаза грозил: доведу-де на тебя и брата, што-де рядил тебя в кафтан Стремянного полку, а ты и стрельцом не был, и помешали вы тогда сыску Земского двора!

– Да... теперь понимаю... Пантюхина тоже изведal гораздо... Может, у них сговор был?

– А как же без сговору? Беда пала на дороге – оба шли с кабака Аники, слышал я на площади.

Петруха, тряхнув кудрями, кинул шапку о пол:

– Эх, старик! И я бы убил доводчиков.

– Так вот, дитяtko, Петр Лазаревич! Из-за утеснителей сгиб грамотной, честной паренек, и я плачу.

– Сыск идет по нем... сгиб, а сыщут – худо ему будет! Ой, худо! Давай-ка изопьем чего. Будто ты у него в гостях!

Боярский сын вышел, когда вернулся, дворник нес за ним на подносе енды с медом и кубки.

Садилось солнце. Через низкий старый тын солнце заглянуло в избушку. Золотой вечерний свет заиграл на светлой енды и серебряных ковшиках. Избушка была с окнами со всех сторон, чистая, как будто только что прибранная. В углу раскинулась широкая кровать с розовыми от вечернего солнца подушками, печь с раскрытой заслонкой, казалось, ждала хозяев и скучала без огня.

Одноусый, все еще морщась от слез, сказал, чокаясь ковшом с хозяином дома:

– Из тепла и света угнали вороги...

– Ништо... он их дальше угнал... вот не вернули бы! – ответил Петруха.

Под часовой, ютившейся на пустыре, в глубокой яме, обвешанной по стенам черным, сидел и ждал своей поры Сенька. Посреди черной горенки – налой, на налое прилеплены две толстые церковные свечи, огонь свечей горит ровно, не мигая. На налое – раскрытая книга. Сенька не раз читал эту книгу. Теперь подвинулся на высокой скамье к налою, повернул страницу. На него из угла глядели черные, как стены, столетние образа с гневными угодниками в манатях, персты подвижников уперты в кожаные книги.

Стенька читал:

«...В том же Хозарине будет черница девою, дщи некоего болярина. Сядши в келий своей, услышит в винограде своем птицу, поющу песни, иже ни ум человекь возможет разумети. Она же, открывши оконца и хотя обозрети птицы, птица же, взлетевши, и зашибет ее в лицо, черницы тоя, и в том часу зачнется у нея сын пагубе, окаянный антихрист. И, родивши его, срама ради отдаст его от себя в град, нарицаемый Вивсаиду, в том же граде вскормлен будет, а в Капернауме царствовати будет...»

Сенька подумал: «Почему антихрист, а не Христос родится от черницы? Та же сказка о бесплотном зачатии».

Сзади его, на лесенке, выходящей в часовню, показались ноги, и Улька спустилась в подземелье.

– Скушно тебе, Сенюшка?



– Душно мне здесь!

– А ты вылезай в часовню, сюда не ходят. Едино лишь в праздники старицы прибредут. Улька развернула узелок с едой.

Сенька жил здесь недолго, но ему казалось, что сидит тут целый год.

Ночь, и утро – как ночь. Сенька вставал и думал: «Близится весна, пора уходить! Но куда уйти? Весной запоздаешь – не уйдешь... не уйдешь, пока болота не обсохнут. Надо уйти до вешней воды. Уйти? Бродить меж двор в чужом городе? Бродячих имают и для тягла и для опроса – такое опасно!...»

Проходила ночь и черный день в черной яме. Сенька стал падать духом.

Ложась спать, Улька сказала:

– Была на дворе Морозовой боярыни. Сенька поллюбопытствовал:

– А она не признала тебя?

– Нет... Я сменила вид, да ей и некогда глядеть... С юродами сама стала как юродивая. Слышала я там, что царь семнадцатого марта, на Алексеев день, именинник, и Прокопьевну, боярыню, во дворец звали, и ведомо всем – не едет она, сказалась болящей. Сама же яств, печенных никониянами, да поцелуя царской руки боится. Царя она чтет безбожником, архиреев царских зовет еретиками.

– Кончит не краше нас: сожгут в срубе или, как Федор, юрод, пророчил – «в яме сгноят!».

– От Аввакума не отстанет... ничего не боится – идет за старую веру. Вот зачала говорить, а не о том, что надо.

– О чем же надо?.

– Двадцатого дня, на третий своих именин, проведала я, царь пойдет в село Измайловское, на Москве же глядеть останутся два старика – Воротынский<sup>296</sup> Иван да окольный Петр Долгоруков, брат Юрья. Стрельцы рады – в караулы не пойдут, и решеточные сторожи радуются – решетки в городе и городовые ворота всю ночь будут отперты... привычка у стариков не мешать нищим и убогим провожать царя... Нам, Семушка, в ту ночь уйти самая пора.

Сенька было начинал дремать, но от ее последних слов повернулся, забеспокоился, приподнялся на локте:

– Знаю... уйти нам пора! Реки еще не тронулись, и вода с гор не пошла... Нам же мимо городов идти стороной придетца. У городов, у мостов имают, тащат на Ямской двор, там прикащики, дворники да дьяки.

– Вода с гор не пошла, Семен, да солнце припекать стало... Местом, сказывают, поверх льду вода бывает, мешкать не надо!

– Мешкаю я, мое подружие, оттого – город на Волге не избрал... пытаю, как могу, какой бы лучше.

– Лучше Ярослава города не ищи! Там звонец у церкви Ильи-пророка, мой дядя, живет.

– Сказывали давно – город богатой, а ты того ярославского дядю видала?

– Нет!

– А как он нас не примет?

– Вот, гляди!

Улька распахнула ворот рубахи, на шее у нее на цепочке черный крест нательный.

– Давно ли носишь крест? До сей поры не видал его.

– На днях отец навесил, сказал: «Поди в Ярослав, дяде скажи, пушай приезжает в Москву, мне уж не бывать к ему. А город большой, иноземцы в нем торгуют, да русских купцов, нищелюбов, много. Крест покажи – тебя признает». Он все думает, что я нищая... Да и куды мне от тебя? Смекнула я: коли Семену на Волгу надо – город лучше не искать.

---

<sup>296</sup> *Воротынский Иван* Алексеевич (ум. в 1679 г.) – князь, видный государственный деятель XVII в. Двоюродный брат царя Алексея Михайловича по матери, сопровождал царю во всех походах, с 1664 г. – ближний боярин. Со смертью Ивана Алексеевича пресекался древний княжеский род Воротынских.

– Ну, Ульяна, успокоила ты мое сердце, буду крепко спать! До сих мест не знал я, куда направиться. Собери в дорогу топор, котелок, соли и сухарей, – идем!

– Спи, не думай: в путь все слажено. Засыпая, Сенька пробормотал:

– Ты у меня дороже золота... диаманто-ов...

Хотя ушли от Москвы далеко, но Сенька знал – сыскивают и дальше. Ночи короче стали, были светлы от луны, но к утру крепчал мороз, а шли они с Ульякой сплошным лесом, глубоким снегом. Сенька все тащил на себе топор за кушаком, кису с панцирем, шестопером и платьем кое-каким, а также мешок с толокном и сухарями. Ульяке нести поклажу не давал:

– Без мала двести верст идти. Боюсь, ослабеешь.

Две ночи им удалось проспать в гумнах, не заходя в деревню, выбирались до свету, чтоб люди, придя за корминой скоту, не увидали их на гумне.

Выйдя на дорогу, Сенька шел впереди. Ульяка, бредя сзади, крестилась по утрам на восток. Когда слышали, что кто-либо ехал, сворачивали в сторону, прячась за кусты, потом шли снова, редко останавливаясь для отдыха. Разница была та в ходьбе, что Сенька, чем больше шел, тем становился упрямее, чтоб достичь своей цели, а потому силы его не падали. Ульяка с каждым походом до становища слабела. Они перешли широкую реку и много поперечных мелких речек. Эта ночь застала их в лесу. Близко жилья не было. Сенька задумал уйти в сторону от дороги и там развести костер. Решили вскипятить воды да поесть толокна. Ели всухомятку. Сенька почувствовал, что падают силы.

В лесу он отоптал снег под густым кустом, натаскал кокорья, натесал сухих и тонких щеп. Работая с бронником Кононом, всегда в кузнице разводил огонь – привык к тому. Сенька надрал бересты, достал трут, высек на трут огня, но трут ветер выдувал из рук, и огонь долго не ладился. Бересто, подожженное, корчилось в трубку, гасло, а в лесу все темнее и темнее становилось.

«Огонь сперва надо беречь, как новорожденного ребенка... вырастет большой, тогда, того гляди, глаза выколет», – думал Сенька, собирая сухие ветки. Он отрывал тающий снег, паром глушивший вспышки огня.

Наконец они согрелись. Ульяка, накалив котелок, натаяла в нем снегу. Вода закипела; посолила ее, всыпала толокна, прибавила масла, – они поели. Наголодавшись, они съели не один котелок толокна. Сенька подостлал армяк, сказал:

– Ложись! Я за огнем погляжу. У огня было теплее, чем в гумне.

Ульяка, завернувшись головой в армяк, спала. Сенька, прислонясь к ней, полулежа дремал. Стреляло горячими углями от костра. Сенька сбрасывал угли, упавшие на платье, щупал за кушаком пистолеты и думал: «С дороги, быть станет, огонь виден? Придут, гляди, имать». Он дремал, но ему становилось все холоднее – что такое? Вспомнил, что второй раз, ночуя на гумне, надел панцирь. Панцирь нахолонул, стал похож на льдину, положенную ему на грудь и плечи. Сенька встал, снял панцирь, загнел его в кожаную суму. Снова сел, привалился к телу Ульяки, и крепко задремал.

Его разбудил какой-то крик, похожий на лай собаки, потом по вершинам деревьев прокатилось уханье. С высокой сосны сыпался снег. Когда Сенька взгляделся туда, увидел два крупных, светлых, как у кошки, глаза. С сосны снялась, обметая с деревьев широкими крыльями снег, крупная птица.

«Пугач?» – подумал Сенька. Он только слышал о филине, теперь догадался, что птица была тот самый сказочный филин. Филин разбудил вовремя – огонь почти потух, и Сеньке пришлось встать, чтоб оживить его, но о крепком сне думать было нельзя. Разгоревшийся костер стрелял углями, а от потухающего было мало тепла. Еще забота слушать, не идут ли с дороги ловить.

Эта забота была лишней. Ямщики, заметив огненные искры в лесу или нанюхав подступивший к дороге лесной дым, хлестали лошадей и, уехав, крестились: «Пронес бог!» Лесные дороги кишели разбойниками.

Сенька заботливо кутал Ульяку и думал:

«Путь не мал... для ног тяжел, – я выдержу, а ее беречь надо...»

Утром, с зарей, они еще раз поели толокна с сухарями, напились горячей подболтки овсяной и направились, держа путь чуть правее севера. Путь Сенька рассчитывал по солнцу. Оно, на их счастье, вставало с того дня, как вышли из Москвы. В этот вечер, не давая закатиться солнцу, Сенька вдаль стал намечать пристанище на глаз.

«Хорошо бы, – думал он, – кабы озерко какое, чтоб черпать воду, а не таять...»

Наглядывая место для ночлега, Сенька думал: «Улька отставать зачала. Надо с этого постоя идти тише, отощает женка...»

Он почувствовал за спиной тяжесть кожаной сумы, в которой лежал панцирь: «Я тоже устал? Вишь, сума грузит – худо спал».

В лесу темнело. «Опять таять снег? Воды нет близко...»

Сзади его, шагах в десяти, отчаянным голосом закричала Улька:

– Ой, Семен! Семен!

Сенька оглянулся: широкоплечий парень в нагольном полушубке, в ушастой заячьей шапке, тащил Ульку в охапке, убредая в сторону от тропы. Сенька спешно зашагал к парню:

– Не тронь женку, черт!

Парень поставил Ульку в глубокий снег, вывернул топор, ответил угрожающе:

– А ну! Лезь! Не таких шибал.

– Вот ужо налезу!

Сенька взмахнул топором, парень уклонился, зорко вглядываясь в Сеньку, готовясь ударить топором так, чтоб нараз покончить бой.

В стрелецком воинском ученье был один прием – рубить бердышом не размахиваясь, а прямо тычком. Парень, выждав минуту, взмахнул топором, норовя Сеньке в грудь, Сенька подался назад и применил стрелецкую выучку. Когда топор парня чуть задел его по армяку, Сенька быстро шагнул, сунул лезвием топора парню в лицо и раскроил ему лицо до затылка. Труп не упал, а осел в снег.

Раздался свист и крик:

– Эй, гляди! Исаула-а!

Сенька вытащил посаженную в сугроб Ульку одной рукой, поставил с собой рядом на утопанные следы; в другой руке он сжимал топор, заметив, что из ближнего куста на него высунулось дуло пищали. Знал – цель оружия переводить трудно, увернулся в сторону и изо всей силы ударил по пищали обухом топора. Пищаль упала в куст. Кругом трещали мерзлые ветки, из кустов с разных сторон вылезали люди – кто с топором, кто с кистенем. Сенька понял – попал на разбойников, крикнул:

– Эй, молодцы! Мы люди гулящие! Чего от нас возьмете?

– Двоих убил! Посуху уплыть хошь...

– Я убил одного!

– Лжешь! Другой у пищали пал, башку раздребезжило.

– А, так? Тогда давай рубиться!

Сенька быстро отоптал кругом себя снег, поставил Ульку сзади, сунул ей топор и вынул из-под полы пистолет.

– Кто первой? Похороню здесь!

– А, не бойсь!

– Напирай, ребята!

– Ты с рогатиной, вали вперед!

– Го-го-гой! Кто у вас тут?

Так послышалось с отзвуками по вечеряющему лесу, Те, что пошли на Сеньку, остановились:

– Пождем! Ватаман иде...

– Уби-и-ил на-ших! Васку-у!

Подошел высокий костистый детина с темным лицом, в черной бараньей шапке. Сенька вгляделся в атамана: низ лица у него, начиная с носа, был багровый от сплошного родимого пятна.

- Ух, удаль! Мекал я – тройку коней завалили, а они человека с женкой пугаютца.
- Не трусим – тебя ждем!
- Васку с Митькой сшиб, – вишь, пистоль в руке!
- Стой, не напирай! Зря не топчись, а мы перемолвим.

С атаманом подошло еще человек десять – кто в полушубке, иные в вотоляных<sup>297</sup> кафтанах. У всех топоры спереди за кушаком, кистени и рогатины в руках.

– Кто таков? Спусти дуло, сказывай. Сенька опустил руку с пистолетом.

– Гулящий человек! Сам разбоем кормлюсь, а твои набежали. Без слова женку мою схاپил и за кусты понес – того убил. Другой пицаль из куста сунул, стрелить не справился. Стрельца не бил – едино лишь топором по дулу стукнул.

- Так, ватаман, ён стукнул, что у Митьки башка лопнула!
- Ложей его по лицу.

– Того не бил, – топором по дулу стукнул. Не купец я, не подьячий, сам от суда бегу.

– Кто ты – не нам разбирать!

– Разбирать такое просто! С добра пеше по дикому лесу не бродят. Глянь, сучьем сапоги изодрало, онучи видно!

– То правда! Только как рассудим? Ты двоих наших убил!

– Убил неволей, сам зришь.

– Так вот оно порешим! Давай руку десную и будем бороться. Кто оборет – свой закон постановит: оборешь меня – будешь у нас первый гость, вином напоим и кашей накормим; я оборю – тогда на становище тебя судить будем за смерть наших товарищей. Эй, молодчии! Вправду ли я затеял?

– Так, ватаман!

– Сила твоя ведома, борись!

– Можно бы его и тут похоронить, да наскочили вы. Он же, вишь, и нищий и голодный, быть может, а наша правда – голодных не обижать.

– Чего еще? Правда твоя!

– Борись!

Атаман подошел к Сеньке:

– Не бойсь, дорожный! Спрячь пистоль. А вы, – обратился он к своим, – отопчите снег!

Десяток людей, начали месить ногами снег. Скоро было выбито катище кругом шагов на двенадцать.

На середине катища атаман протянул Сеньке руку:

– Дай руку, а ране суму кинь.

Сенька сбросил суму с плеч, подал руку, атаман сжал его пальцы своей рукой, крепкой, как железо, но его рука была меньше Сенькиной, и всю ее он охватить не мог. Лево́й рукой атаман поймал Сеньку за кушак и так плотно прижал к своему бедру локоть, что Сеньке до кушака атамана было не добраться. Сенька ухватил атамана лево́й рукой за шею, потянул к себе. Шея сильного человека мало и непокорно сгибалась. Сенька понатужился и, согнув борцу шею, притянул его голову к своему левому плечу.

Атаман приподнял Сеньку на воздух, подержал и поставил, потому что Сенька широко расставил ноги и, выгнув спину, тянул туловище к земле. Атаман сказал:

– Ходи!

Тогда они сделали круг, а когда атаман хотел Сеньку вернуть вправо, потом быстро влево, Сенька подставил ему ногу.

– Под ногу не бей! – сказал атаман.

– Добро! Не буду под ногу брать.

Сенька все крепче притягивал голову атамана к плечу, а когда дотянул, прижал. У атамана из ушей показалась кровь.

---

<sup>297</sup> *Вотола* – та же дерюга, но затканная цветным.

– Будет, спусти! – хрипло, с одышкой, сказал атаман. Сенька отпустил. Они рознили руки и отошли друг от друга.

Сенька надел на плечи суму.

Атаман отдышался, одернул кафтан, расправил плечи и крикнул:

– Ребята! Дери бересто, скоро тьма станет. Зажгите, будем править к становищу.

– Гей, ватаман!

– Чого надо?

– А чья взяла? Не поняли мы.

– Вишь, тьма мешат!

– Мало ходили, мы и не разобрали!

– Вы мою силу ведаете?

– Чого спрашивать – знаем!

– Так вот: если бы он хотел быть у нас атаманом, я бы к нему в есаулы без спору пошел!

– Вон ён каков, дорожный!

– Идем!

Намотали на прутье бересту, подожгли и двинулись, спархивая снег с кустов. В сумраке прыгали тени елей, берез розоватых, а высокие сосны, отливая рыжим по стволам, выдвигали из сумрака ледяные лапы, то мутно-белые, то серовато-сизые, – огонь шел с передними. Вверху где-то небо сияло клочьями, темное, ночное, утыканное звездами. И Сеньке оно казалось чужим, страшным и морозным.

Улька в темноте держалась за Сеньку и, не успевая глядеть под ноги, часто падала.

– Утомилась? – спросил ее, вполуборот глядя, Сенька. Она ответила слабым голосом:

– Ох, и устала, устала!...

Они дошли. На широкой лесной поляне, окруженной вековым лесом, горели огни.

Огни горели так, что Сенька не понял-ни одна искра не вылетала вверх. Огонь светил по низу, выделяя ближние кусты и нижние ветки деревьев. Костров не было. В снежных глубоких ямах тут и там были положены толстые бревна одно на другое, бревна горели с боков, огонь ударял на ту и другую стороны, а чтоб тепло не терялось, с той и другой стороны было загорожено во всю длину пламени жердями. К жердям привешены ветки ельника. Огонь упирался в еловые стены, согревая их, как хорошая печь. Снег под горевшими бревнами и кругом них протаял до земли. Земля, согретая огнем, была, видимо, сухая. Сенька спросил атамана, он шел впереди:

– Как это у вас делается?

– Што? – спросил атаман, не оборачиваясь. – Огонь дивно горит, а вверх нейдет?

– Это, дорожный, у нас зовется «нудья», для дела к тому рубят сухостой – столетнее дерево: оно, вишь, гладкое и сыри в себе не имеет; перерубают такое дерево на два чурака длинных, а чураки пазят – кладут пазами, вместе – один на другой; верхний чурак, чтоб не скатился, подпирают, а чтоб дерево на дерево плотно не село, суют между них клинья. Сбоку в пазы кладут бересто и запалят с двух сторон. Бревна тогда горят с боков и снутри, а тепло греет по сторонам. Зимой у такого огня теплее, чем в избе.

– Дивно мне! – сказал Сенька. Атаман продолжал:

– Нам такой огонь зело добер! Вверх знаку не дает, и издали его не наглядишь. Когда он разгорится, снег тает до земли, огонь опускается в сугроб, вода уходит в землю, а земля сохнет, и мох под ногой трещит. У сугроба стены ледяные, так мы их, как ковром, еловыми лапами кроем. Горит до света, и тепла до солнца хватает. Да вон гляди – учись! Мои робята сушину рубят, свой огонь зачнут делать. С нами им тесно...

Они сошли в глубокую снеговую яму, черную внизу. Огонь горел ровно, и ни одного угля не отскакивало в стороны. У еловой из ветвей стены большой сундук без замка. Тут же лежали вдоль стены лосиные шкуры.

– Вот, раздевайтесь и грейтесь!

– Спасибо! – сказал Сенька, но прибавил: – Мы, товарищ атаман, голодны, нам с женкой толочна сварить надо!

– Как звать тебя, борец?

– Семкой зовут!

– Добро! У этого огня не варят: Для вари есть иной огонь, кой пламя дает вверх, вон там, где таганы висят на поперечине. Вам варить не надо! Как по уговору идет: будете гороховую кашу есть с маслом, а штоб не скушно было, водки выпьем и песню сыграем аль сказку про наше житье-бытье скажем.

Атаман открыл сундук, вытащил из него три малых медных ковша и кувшин, закрытый караваем хлеба, и ширинку, а в ней – жареное лосиное мясо холодное.

– Перво – закусим! – сказал он и перекрестился.

Сенька обтер о полу руки, сбросил шапку, и они, налив ковши водкой, все трое выпили.

Улька выпила полковника водки, поморщилась. Отломив хлеба да отщипнув лосятины, закусила.

Атаман из-под голенища сапога привычно и ловко вынул засапожный нож, короткий, с загнутым острым концом, отрезал Ульке добрый кусок лосятины, сказал:

– Зло не таи, женка! Допивай, что в ковше, закуси.

Улька допила водку, отломил хлеба и жадно съела то, что ей предложили, а огонь горел ровно, как огромная свеча, грел так, что становилось жарко. Она, поев, стащила сапоги, которые ни на одном становище не снимала, подостлала армяк, растянула ватный шугай, а потом и шугай сняла. Выпитое, съеденное и усталость ее грузили, как свинцом, вниз. Она сунулась лицом в шугай и заснула.

Атаман с Сенькой осушили по третьему ковшу. Когда подали кашу, Сенька не стал ее есть:

– Будет того, что водка и мясо добрые! Атаман сказал ему:

– Ты, брат Семка, счастлив тем, сила у тебя большая! Инако мои молодцы приступили бы к тебе, да и я им бы не поперечил.

– Все знаю, атаман! И ты видишь – куда я мог деться? Что мне делать? Окружили, схватили женку, поволокли. Ну, пушай! Женку бы отдал твоим, а меня они бы и одного не спустили, прикончили. Молить, плакать – не то у людей, у бога не молю, убил, что было делать иное?

– Все знаю, сказываешь правду. А куда идешь и от кого?

– Иду в Ярослав! Женка позвала, там у ей родня. От кого? Да просто скажу – от царевой правды! Служил я в стрельцах, ко мне привязались двое: подьячий корыстной и пятисотник стрелецкой, злодей. Обоих я посек в куски и ушел от петли да кнутабойства.

– Ох, и добро, што на нас пал! Идешь ты не на Ярослав, а на Кострому: оно вертать в шуйцу сторону и не гораздо далеко, да все же путь опасной. Скоро Молока-река из берегов выйдет, искать Сухону, и воды сольются. Иное еще – без дороги разбредешься в залом, а обходить – крутить, а закрутишься – хлеб съешь и в воду попадешь. Пой тогда панифиду, ложись!

– Жил я, атаман, под боком у царя. Никто не пишет, а я написал челобитную мужикам на архимандрита, и за то письмо, гляди, тоже били бы меня кнутом за такое, что царем настроено заказано челобитные мужикам писать на помещика, архимандрит же тем мужикам был помещик.

– Ох, друг мой Семка! То самое мы на своей шкуре опытку имеем! Были мы вот все, коих видишь, помещичьи, тверские, а помещик – боярской сын. Собрал он с нас хлеб и деньги за барщину да все проел и прогулял. Прогуляв деньги, спохватился: война со свейцем... Указ ему: «Быть на войну конно и оружно с людьми», еще стрелецкий хлеб дать. Гонят нас – давай хлеб и деньги, мужик! Людей дай еще и подводы, а у нас и лошаденки все перевелись, пал в том году недород и хлебу и сему. Вышел я к помещику единой головой, Ермилко Пестрой прозвищем: «Ты, – сказоваю помещику, – взял с нас хлеб и деньги – других нет! Недород – и семьи наши голодом сидят». Он на меня зубом закрепчал и гортань разинул: «Повешу, как собаку!» Я ему смиренхонько сказоваю: «Повесить время будет, а дай тому срок с иными поговорить...» – И пошел от него. Он ногой в сафьянном сапоге топчет,

кричит: «Я-де вас наложу к воеводе на съезжую! Добром не даете, под боем да кнутом дадите...» Наши меня всей деревней ждут, а я и сказоваю: «Ребята! Неминучая пришла всем от помещика в лес бежать!» – «Пошто?» – «А то, сказоваю, помещик вдругоряд требует хлеба и денег! Лошадей да людей на войну». – «Ему же, черту, хлеб дан!» – «Вдругоряд требует: што дано, того не чет!» – «А не дадим! Да и нечего дать...» – «Нечего дать, так пошлет к воеводе, тот кнутом обдерет, а хлеб и деньги подай, да воеводе посулы дай!» – «Чуй-ко, – говорят, – Ермилко, мы в лес уйдем, а наших жен и бабенков поволокут в тюрьму! Как быть тут?» – «А быть надо так: жен да детей, или, по-нашему, бабенков, пошлем христарадничать в чужие места; скота у нас всего лишь баранюшки, старики со старухами пушай тот скот назрят, а штоб ему не видно было, попрошу пождать. Он пождет, а мы семьи угоним, сами останемся и ему башку завернем...» – «Поди, – сказовают, – говори с ним!» Пришел я, сказал: «Боярин! – А он, черт, и с боярами не сидел, да любил, когда боярином величали. – Люди пождать просят!» Дал он три дня помешкать – вот и все.

– Зачал ты, атаман, говорить, а не до конца... что же дале было?

– Далек и сказовать не надо бы... С корзиной на руке, с бабенками у груди пошли наши женки ночью в чужую округу. Боярский сын наши деньги ждет, на остатки бражничает и на царев поход мешкат... Пронюхал клюшник его о женках, ему довел... Кричит меня: «Гей, пестрая рожа! Куды баб да девок угнал?» А я ему: «Семьи мужики по миру пустили, кормить их нечем, а ты хлеб теребишь с нас, так пошто в дому лишней рот держать?» – «Поди, – кричит мне, – домой! Покайся – завтра повешу!» А я ему: «Человек я справедливой, скажу правду: чьи руки крепше, тот и повесит!» Ништо сделал – домой меня спустил, а я собрал кто поудалее, сказоваю: «Мешкать, робяты, не надо! Ладьте харч да топоры поточите». И вот... пришлось нам абазуриться в лесу близ ярославской дороги. Прослышали от ямщиков, что немчин галанский, Свен прозвище<sup>298</sup>, купчина складом, пошту наладил... ямщики погнажи в Вологду и Ярослав с деньгами... и мы жили. Проведали, што на Кострому идут воза – сюда перекинулись.

– Ты, атаман Ермил, меня от голодной и холодной смерти избавил и путь указал.

– Указать мало: дам тебе двух парней, они в Ярослав часто на торг ходят – сведут!

– За такое и спасибо сказать не знаю как! Вот на память о Сеньке, бери.

Сенька придвинул суму, выволок из нее шестопер, отдал атаману.

– Ох, и добрая же вешшь!

– Возьми! Порой будешь вспоминать обо мне. Про помещика ты доскажи.

– Так там уж все и кончено. Ну, пришли ночью, сказал я ему: «А ну-ко, чертов боярин, выходи к народу! Не абазур – прямой я человек, – чьи руки крепше, тот и повесит!» Так он у меня на лавке под бумажники полез прятаться. Клюшнику ево сказал: «Аким, ты хоша старик, да много нас за тебя секли плетьюми. Не боярин – мужик родом, не казним тебя, но скидай портки, сечь зачнем!» И секла того клюшника вся наша ватага. Дом не сожгли – взяли из него рухлядь, да кое оружие было, взяли. Помещик висел на князьке дома у конца, и воронье над ним граяло. Пойдешь в Ярослав, берегись Василия Бутурлина, заместника, он же воевода. Злой и хитрой старичонко... айканье его Москва любит!

Сенька с атаманом Ермилом еще долго пили водку, наконец атаман сказал:

– Аржанины нет! Вались спать на лосину! Запасись силой в дорогу, и я прикорну.

Они уснули скоро.

Утром опять пили водку и ели гороховую кашу да баранину, пряженную на вертеле. Атаман, отпуская с Сенькой и Улькой двоих парней, наказывал:

– На становищах, парни, делайте нудью – топоры с вами, а сушину сыщете, тропы вам ведомы.

Прощаясь с Сенькой, дал ему серебряный перстень с печатью: – Не теряй! Вешшь

---

<sup>298</sup> ...немчин галанский, Свен прозвище... – В 1663 г. голландский купец Сведен получил разрешение организовать регулярное еженедельное почтовое сообщение от Москвы до Риги через Новгород и Псков.

неказиста, да тебе надобна. В тюрьму сядешь, тогда твоя женка на торг выйдет, а наши узрят перстень, ее спросят, што ты и где ты, – выручать придем! Краше бы тебе на Кострому идти, там воевода проще да еще есть бражник, поп Иван. Ой, тот поп! Любит нашего народу, Село есть близ Костромы, зовется Становщиково, в том селе всяк дом наших примаает! Дай обнимемся, да иди. Они обнялись.

Целый день шли. Изредка садились, грызли сухари. Вечереть стало. Ходоки нашли место, развели огонь. Улька у разведенного огня варила толокно, вблизи было озерко – воды много. Парни отошли недалеко, стали рубить сухопстойное дерево, в обхват человеку. У огня лежали сумки парней, Сенькина сума и армяк. Сенька подошел и сбоку дерева глубоко вlepил свой топор.

– Дай помогу вам!

Парни были неразговорчивы, но один сказал:

– Ты, дорожный, не руби!

– А пошто? – удивился Сенька. Другой парень пояснил:

– Как мекаешь: ежели с той стороны рубить, где ты, куды дерево падет?

– А падет, и делу конец!

– Тогда всему конец! Дерево падет на огонь и твою женку убьет.

– Понял! Рубите вы, тащить обрубки помогу.

– Поди к огню, мы сами управимся.

Сенька отошел к Ульке. Придя, он набил трубку и закурил. Рог, торопясь из Москвы, забыл в избе, про запас была в кармане армяка трубка. Улька сказала:

– Думаю я, Семен, развязать узелок с жемчугами, дать жемчугу парням.

– Того не делай, Ульяна! Мы не знаем, кто они. Атаману и то я не оказал жемчугов... А эти, гляди, – мы заснем, они и зарезать могут.

– Ой, правда!

– Дам я им по два рубли серебряных – будет довольно: идут на торг, и там им сгодится серебро.

Сушина упала с великим треском, она прошла стороной, но сухие толстые сучья долетали до огня. Снег на большое пространство и в разных местах потрескивал, оседая.

Парни ловко и скоро окорзали сучья дерева, разрубили на два чурака, пролазили и оба чурака принесли. Положили дерево на дерево, один сказал:

– Глубже укрепу тычь в снег! Другой ответил:

– Знаю... теши клинье да смоль нащепи!.. Изладив нудью, один подошел, взял из огня головешку.

Нудья загорелась, зашипел тающий снег, а когда было готово, – место кругом нудьи вытаяло и обсохло, – позвали в голос оба:

– Эй, дорожные!

– Идите греться.

– Вот туто вам место! – сказал один, показывая на сухой мох, надранный и накиданный, как постель.

Улька, обжигаясь, жадно глотала горячую похлебку. Сенька курил, вытащил малую кису, дал парням по два рубля.

– Оно бы не надо, – сказал один. Другой прибавил:

– Вот, кабы ты табун-травки дал, было бы любее.

Сенька дал им по горсти табаку. Оба вытащили трубки, стали курить. Пока Сенька ел, молчали, покурив – повеселели, один спросил:

– Скажи, дорожный: чем ты нашего ватамана околдовал? Другой пристал тоже:

– Ватаман у нас человеку спуску не дает, бедовой и на кровь падок...

Заговорил опять первый:

– А? Как ты ево оборол? Нихто не понял!

Парни были в вотоляных кафтанах, запоясаны кушаками, и топоры еще не вытянуты из запояски. Сенька встал, сказал:



– Станьте оба рядом, плотно!

Парни встали на ноги, придвинулись плотно друг к другу, оба рослые и широкоплечие. Сенька нагнулся к ним, взял за кушак того и другого одной рукой, поднял над головой, повертелся с ними, поставил на ноги, спросил:

– Поняли или нет? Если б вас было четверо, так же бы поднял.

– Теперь домекнули! – сказал один.

Оба разделись, вынули топоры, сунули в снег. Они поели сушеного мяса, взяли у Ульки порожний котелок, по очереди сходили за водой, попили воды. Одинпил холодную, другой слегка подогрел воду. Оба крестились, когда ели.

Сенька спросил:

– Вы много озлились, что убил ваших товарищей?

– Нет... чего злиться? Ежедень почти убьют кого. Шапки да уляди сняли с них, а кафтаны вотола не жаль. Васку жалкотаких – исаул наш был.

– Сами знаете – убил неволей.

– Знаем! Ватаман бы не простил, да вишь ты какой...

Так прошли еще два дня: так же на ночлеге рубили нудью, спали тепло и мягко, раздевшись и разувшись, говорили мало, только Сенька спросил:

– Топоры в лесу оставляете, когда в город идете?

– А пошто? Мы на торгу ходим, ищем плотничать, как без топоров?

Осторожно обходили все селения и особенно ямские дворы – так пришли в Ярославль.

Прощаясь, сказали Сеньке:

– Берегись войводу-наместника! Наших он четырех повесил.

Видя вдаль белую стену и башни, разрушенные временем, по сгорку над Волгой, Сенька и Улька подходили к городу. По льду реки вились тропы, видимо, из заволжской Тверицкой слободы. В разных местах тропы прерывались широкими голубыми полыньями. От талого льда с Волги несло сырым холодком вместе с запахом смолы и дыма костров. Внизу, у берега, чинились ладьи и насады, шуршали пилы, постукивали топоры, вколачивая гвозди кованые, над пятнами бледных огней чернели котелки с варевом. Сенька думал: «Ладно, что в лесу не скоро тает... утопли бы в болотах». Он ежился и продолжал думать: «В лесу теплее много – ветер идет поверху, а здесь низом продувает...»

Везде таяло, ручейки с возвышений стремились к Волге. В воротах развалившейся башни хлестал целый ручей, его пришлось перебрести. За стеной по гнилому мосту осторожно перешли сухой ров. На площади, куда пришли они, лежали мокрые проталины. У церкви Ильи-пророка, разукрашенной красками и позолотой, с карнизов и подоконников стоял весь снег. Церковь была обставлена ларями, больше деревянными, но были и каменные амбары – для купцов.

Огорожена церковь крашенной в цвет медянки деревянной, долбленой, с поперечинами решеткой. За церковью, в глубине двора, поповские и иного чина служителей избы, избушки, погребы, мыльни. От площади зад двора отгорожен высоким тыном. Крыльца, крылечки, сходни и двери пятнали зад двора.

Сенька, войдя за решетку церкви, сказал:

– Дяди твоего камору, Уля, в день тут не сыскать!

– Ой, ты! Да вон стоит, гю бороде на отца схожий!

У дверей одной клетушки стоял старик в трепаной скуфье в старой ряске.

Сенька сел у церкви на скамью:

– Пожду, а ты поди спреси.

Улька побрела по блеклой зелени двора, обходя лужи. Подошла. Старик из-под руки глядел на солнце, ворчал:

– А не пора ли тебе, Микита, к вечерне вдарить? Оглянулся на Ульку. Она, кланяясь, сказала:

– Уж не Никита ли? А коли Никита, то здоров ли? Поклон несу с Москвы, от бати.

– Был здоров – пас коров! Стал худ молодец – пасет и овец. Чего те, девка?

Армяк на Ульке был распахнут, шугай тоже. Она широко раздвинула ворот рубахи, выволокла на черном шнурке крест, показала. Старик проворчал:

– Знаю, по шерсти вижу. Ай ты будешь племяшкой звонцу? – Кланяюсь да приюта ищу в городе.

– Запахнись – грех! По лицу чаял – девка, а груди спадать стали – знать, баба. И мужик, с сумой на горбах, у церкви – тот кто тебе?

– Муж, Григорий имя.

– Кваском угощу. Пива сварить – пить буду... Живи, а мужу места нету.

– Пошто, дядюшко, неласковой до него?

– У тебя знак есть! Чужих не держу за то, што двор – церковной: сани поповы, оглобли дяковы, хомут не свой. Таже воеводой настрого заказано церковникам на дворы принимать. Много, вишь, народу от помещиков бежит. Скоро Волга черева шевельнет, а с Волги завсегда слухи лихие, разбойные.

– Куда ему деться? И мы голодны...

– Ты ночуй, а хошь – живи; ему не далеко место к рубленому городу, с полверсты харчевой двор. Там есть, чего хочешь: меду и водки, блинов ай пряженины бараньей, у звонца едина вошь у крыльца, все и мясо тут.

– Ты не уйди! Я ему скажу.

– Пожду, время есть.

– Скажи еще, где ему спать?

– На харчевом угостит дворника – клетушку даст! Сенька выслушал от Ульки о харчевом дворе, сказал, передавая ей суму и мешок с сухарями, топор:

– Дай старику рубль! Вот деньги. Пускай сыщет для меня рясу да скуфью.

– Я назвала ему тебя Григорием – знай!

– Иди, Уляха!

Сенька видел, как, получив деньги, пономарь юрко сунулся вперед Ульки в ближний сарайчик. Скоро оба они вышли на двор, потом, мало поговорив старику, Улька пришла к Сеньке, принесла старую рясу и скуфью держаную. Еще из полы рясы достала спрятанные портянки.

– Смени онучи – поди намокли?

Сенька молча переобулся, надел рясу. Она едва доходила ему до колен, в плечах по швам трещала; скуфья тоже была тесна.

– Обтянуло всего – узко! – сказала Улька.

– Ништо, покроемся.

На рясу Сенька накинул свой черный армяк, мало порванный в дороге.

– Суму, Уляха, береги. Кафтан, шапку украдут ежели, то не беда! Сюда приду завтра, как солнце встанет, увидишь здесь.

Он обнял ее и ушел, а Улька стояла, глядела вслед ему и думала: «Опасно в чужом месте. Люди хитрые...»

Посреди двора, огороженного старым тыном, татарин в пестрой, шитой из лоскутков сукна, тибетейке продавал бабам платки:

– Акча барбыс<sup>299</sup>? Купым, женки!

– Да покупать-то у тебя, поганого, не дешево!

– Акча бар! Пошем не дешево?

– Барбыскай, сколь надо да уступай!

– Плат алтына не стоит, а ты три ломишь!

– Една – худ, три – харош!

Сенька мимоходом послушал, прошел к крыльцу шумной избы с перерубами. У крыльца стоял мужик в сером длиннополом кафтане, подпоясанный вместо кушака

---

<sup>299</sup> Деньги есть?

обрывком веревки, на волосатой голове валяная шляпа-грешневик<sup>300</sup>. Шляпа – серая, выцветшая, но по тулье голубела широкая лента.

Мужик, расправляя русую бороду и ковыряя в ней пальцами левой руки, сонно покрикивал извозчикам, ставившим у колод лошадей:

– Становь в рядь, вдоль тына! – Знаем!

– Отдали, штоб твоя лошадь другу зубом не ела! – И то ведомо!

– Кому поить надо, так в сараишке ведро! Напитаетца – ведро штоб на место становить!

– И ведро и воду знаем, где брать!

Сенька смекнул, что это и есть дворник. Подошел не кланяясь. Дворник делал вид, что не видит Сеньки. Сенька вместо поклона пошевелил на голове скуфью.

– Чего те, раб? Дорога – мимо, крыльцо под носом.

– Дорогу в кабак издревле ведаю. Мне бы, коли упьюсь да не паду, место на ночь!

– Ночь впереди! Нонче вечер! Глаза есть – мне дело не дает о тебе пещись, а вон раб. Эй, Васка!

С крыльца харчевой сбежал бойко посадский средних лет, с серым лицом, с плутовскими глазами. Кафтан на посадском рыжий.

– Пошто звал, Пантелеич?

– Вон по твоему ремеслу – по шее нагрева да на ночь сугрева надобны!

– Можно, спроворим! Ты не наш?

– Я пришлой! – ответил Сенька.

– Коли такое дело, то угостишь? Деньги потребны, потому за пришлых сыскивают от воеводы.

– Угощу – веди!

– Все на ладу, идем!

Они вошли в сени харчевой. На лавке сеней, у самых дверей, распахнутых в харчевую избу, два мужика менялись кафтанами, спорили, тряся бородами:

– Бажило ты, Сидор! Глаз, што ли, нет? Басота кафтан.

– Шитой, да мне не узоры брать. Мой-то, глянь, новой! Придай два алтына, инако не меняю.

Из дверей большой избы несло жареным, соленой рыбой и потом, будто в тайном кабаке. Сенька пожалел, подумал: «Напрасно лез к дворнику!... Тут бы поел, попил и незаметно вздремнул у стола».

Ставни со стеклами в окна всунуты в стены, окна раскрыты, в избе за столом, на скамьях много людей в кафтанах – суконных и вотоляных, у иных армяки длиннополые, сдвинуты на одно плечо. Свет из окон отливает по густым нечесаным волосам – рыжим, русым и седатым.

Споры, крик, песни.

Кричали больше и спорили хмельные бабы. Бабы в душегреях, шушунах трепаных, в платках, киках и сороках<sup>301</sup>. Ярыга харчевой избы, при фартуке с засученными рукавами красной рубахи, часто забегал в дверь за стойкой: там была поварня. Вывернувшись, с потным лицом, тащил на деревянных торелях кушанье, иногда хозяин-купец совал ему кувшин или ендову с питьями.

Посадский, проходя с Сенькой мимо стойки, подмигнул хозяину. Мало отстоявшись, сказал:

– Рыбки нам да иной пряженины... по ковшику меду доброго... хлеба, да кличь скоморохов. У отца-чернца мошна монастырских рублей не почата.

---

<sup>300</sup> *Шляпа-грешневик* – крестьянская войлочная шляпа с высокой тульей (как у цилиндра).

<sup>301</sup> *Сорока* – род кики, только пестрее (северный наряд).

– Добро! Сажайтесь! Подадим!

– Рубли свои, не монастырские! Кузнец я... – сказал Сенька. Они едва уселись в углу, как на столе появились жареная рыба, мясо и два больших куса черного хлеба. Сенька принялся есть, а посадский ждал чего-то.

Ярыга принес и поставил на стол два ковша хмельного меду. Посадский выпил, потом стал есть.

За еду Сенька уплатил, спросил, сколь платить за питье.

– Я плачу! – буркнул посадский, прибавил, обращаясь к ярыге: – Хозяину скажи, пушай чет за мной!

В харчевой становилось все шумнее. Явно вина не продавали<sup>302</sup>, но, видимо, вместо меда в ендовах и кувшинах, поставленных ярыгой на столы, была водка. Заметно было по лицам пьющих: люди морщились, выпивая, сплевывали, быстро закусывали чем попало или нюхали куски хлеба.

Раз от разу споры усиливались, голоса хрипели, объятия и матюки крепчали, а иных ярыга, подхватив со скамей, уводил в сени. Были и такие, которые, привстав за столом, снимали одежду, несли ее хозяину, тот брал заклад.

Допивая в ковше мед, Сенька сказал:

– Суший кабак! Только в кабаке не едят за столами.

– Хе!... Кабак он и есть! Город воеводе государь дал на корм, он завел харчевню... Кабаки у воевод отняты, а харчевня с вином тот же кабак – больше изопьют.

– И где только не обдирают народ!

– И пошто народ не драть, коли сам лезет?

– В старину, слышал я, – сказал Сенька, – всяк про себя варил пиво и вино.

Снова подали ковши меду.

– Пей-ка, вот! Што было в старину, то государю не по уму стало, а ты, видно, монах-то из гулящих?

Сенька выпил свой ковш и почувствовал, как хмель ударил ему в голову.

«Худо спал... Мало ел, должно?...» – подумал он, сказал еще:

– Гулящим не был, но кабаки не царь боронит... дьякам корысть надобна, да воеводам пожива.

– Так! Так! А как же тогда помыслить, когда великий государь на кабаки головам пишет: «Штоб кабацкой напойной казны нынче было поболее лонешних годов?»

– Пишут дьяки. Они же и счет Казенного двора ведают.

В харчевую пришли два скомороха: один – с куклами, в решето положенными, другой – с тулумбасом. У стойки ярыга зажег два факела, а на стойке замигали сальные свечи.

Сенька почувствовал, что голову его тянет к столу – долил сон, а посадский тоже пригибал голову к столу, говорил:

– Спать будешь крепко, завтра тебе тюрьму покажу.

– Пошто мне?

– Тюрьма – она родная всякому бездомному.

– Я не бездомной.

– Башни въездные покажу, ров у стен. Монастырь Спаса на Которосли-реке. В гости к воеводе пойдем...

– На черта мне такая гостьба!

– Не чурайся! Он у нас старик умной... гляди!

Сенька оглянулся. Один из скоморохов, заворотив широкий подол кафтана, скрыв

---

<sup>302</sup> Явно вина не продавали... – В харчевнях была запрещена торговля вином, это была монополия казенных кабаков.

подолом голову, показывал кукол. Куклы начали игру. Игра состояла в том, что одна кукла била другую палкой по голове одной рукой, другой срывала с нее платье. Скоморох с тулумбасом, поколачивая в инструмент, чтоб слушали его, кричал:

– Зрите, православные, как на царевом кабаку целовальник питуха в гости принимает да угощает.

Кто потрезвее за столами, кричали скомороху:

– Ладно угощает! У питуха от угощения мало голова не соскочит.

– Басо-та-а!

– Дай им алтын! – сказал посадский.

Сенька порылся в кармане, достал монету, дал посадскому, тот снес, кинул деньги скоморохам, а вернулся с ярыгой. Ярыга поставил два ковша меду.

– Становь ближе! – сказал посадский. Ярыга под нос Сеньке подвинул ковш.

В это время в харчевую избу вошел видом купец, в синем охабне, с рукавами, завязанными за спиной узлом. В прорехах под рукавами мотались руки, в правой была гладкая черная трость. На голове шапка шлыком.

Скоморох, ударив в тулумбас, снова просил глядеть:

– Нынче покажем вам, как поп за мертвое тело посулы хочет, а не дадут – и земле предать не даст!

Купец степенно проходил по избе в дальний прируб; поравнявшись, ударил кричавшего скомороха тростью по спине:

– Пес! Духовный чин не хули! Посадский пригнулся к Сеньке:

– Зри-кась – сам воевода пожаловал хозяйство оглядеть. Сенька тяжело повернул голову в сторону идущего по избе купца, в глазах он почувствовал туман, в голове шум. Когда он неловко и медленно поворачивал шею, посадский быстро обменял ковши – Сенькин себе, свой – ему.

– Бакулы сопел! Не воевода, вишь, в прируб пошел – купец. А ну, монах, пьем за те места, в коих будешь спасатись.

Сенька, не раздумывая, поднял свой ковш. Посадский – тоже. Они чокнулись со звоном краями медных сосудов, и Сенька привычно выпил до дна, потянулся закусить, но не увидел стола: в глазах было зелено, в ушах зашумело, замелькали огоньки, показалось, что где-то далеко звонят в колокол, не то кусты перед глазами или цветы. Сенька взмахнул руками, глубоко вздохнул. Смутное сознание опасности подняло его на ноги. Он встал, сказал: «Э, дьявол!» – укрепился на ногах и шагнул. Шагнув, услышал голос сзади себя:

– Стой! Бзырять?

И тут же Сенька почувствовал – сильно кольнуло в голову. «Якун! Ударил?» – упал и крепко, без снов, уснул.

В тесной каморке, пахнувшей рыбой и тряпьем невымытым, Улька рано встала. В углу перед образом Николы, с огоньком единой свечи, молилась усердию, а старик, как старый кот, не снимая скуфьи, ел рыбу, сопел и ворчал:

– Народ пошел разбойник... Говорил – не дошла рыба, запаху маловато, а он те прямо чуть не из невода насыпал, мель, свежье!

Улька встала на лавку на колени, глядела в окно. Старик спросил:

– Что выглядываешь, баба?

– Мужа, дядюшко, гляжу! Неидет и неидет, а обещал... Чуть со сна, не мывшись, ходила – нет! И нынче нет.

– Вечерять зачнет, как вдарю к вечерне, – поди к тюрьме, пожди – и узришь.

– Пошто к тюрьме?

– Да уж так! Послал я ево на испытание в харчевой воеводин двор. Там, ежели пришлой попадет, к воеводе берут, а тот у нас отец! Он всякого скрозь видит. Кто честной, спустит, а кой нечестной – велит в тюрьму.

– Мой муж – честной.

– Стало быть, нечестной, коль досель поры нет. И ты еще хотела ко мне постояльца неладного устроить. Ой, и сука ты, племяшка!

Первая мысль Улькина была – кинуться на старика, выдрать его жидкую бороденку, исцарапать худое желтое лицо да красные слезливые глаза выбить. Но кулаки разжались, когда подумала она о том, что уйти придется, таскать суму с панцирем, кафтан Сенькин, деньги и жемчуг по чужим дворам и людям неведомым. Она сказала:

– Дядюшко, так не по-божьи ты сделал: послал мужика на погибель.

– Себя спасал... себя. А ну как бы он меня покрал аль запугал да делами лихими занялся бы, а я ведь и у отца протопопа на виду. Нет, баба, сделал я себе угоды да и тебе леготу: избавил от худого мужа, ищи хорошего.

Проснулся Сенька в тюрьме, закованный сзади в ручные кандалы, на них позвякивал замок. Ноги были свободны.

Тюремные сидельцы – кое-кто, не все – подходили к нему, поздравляли:

– С воеводиной милостью, раб божий!

Сенька молчал, ныла правая половина головы, он не мог вспомнить, где ушибся пьяный – лежал на лавке тюремной у дверей и вздыхал тяжело. Он не боялся, что попал в тюрьму, решил: «Подожду случая – уйду!»

В тюрьму пришли два стрельца в серых кафтанах, без бердышей и карабинов, только с саблями, сказали:

– А ну, новец! Идем на суд праведной!

Они вывели Сеньку на двор, огороженный двойным высоким тыном, провели по мосту через ров, провели в ворота и направились в рубленый город, в приказную избу.

Был вечер, в углах приказной коптели факелы. На дубовом, не покрытом скатертью столе горит свеча в железном шандале; рядом с ней – столбец чистой бумаги, чернильница, гусиное перо, замаранное на конце, но ни дьяка, ни подьячего – только один воевода за столом сидит на бумажниках, кинутых на лавку. В седой длинной и окладистой бороде воеводы бледное лицо, отечное, в морщинах и на щеках одутловатое. На маковке седых волос синяя тубетейка в узорах из крупных жемчугов, на плечах синий плисовый охабень.

Сеньке показалось, что где-то он видел и это лицо, будто во сне, и охабень синий с рукавами за спиной. В его голове внезапно прояснилось. Он вспомнил харчевой двор и купца, идущего по избе.

Воевода, кутаясь в охабень, спросил стрельцов, не глядя на Сеньку:

– Буйной он был с вами?

– Не, батюшко воевода! Сиделец ён спокойной. Стрельцы, когда подводили к крыльцу приказной, советовали

Сеньке:

– Плачь да ниже кланяйся: може, отпустит!

– В тюрьме, парень, голодно.

Но Сенька плакать не умел и кланяться не любил. Воевода перевел на Сеньку блеклые, будто туманом подернутые глаза, спросил негромко и почти ласково:

– Имя твое, гулящий?

– Григорием крестили... Кузнец я...

– Бакулы не разводи!

– Чего?

– Мыслил – ты московский, а ты, вишь, с иных мест. Пустых речей не сказывай, лжи не терплю! Говори правду. Грамотен?

– Знаю грамоту. По монастырям ходил, обучился. Воевода покряхтел, выволок из-под сиденья ключ, дал стрельцу.

– Отомкни на кандалах замок! Стрелец высвободил Сеньке руки. Воевода подвинулся в глубь лавки.

– Стрельцы! Станьте к столу вплоть, а ты пиши! Как звать, чей сын, где бегал и чем

воровал?

– Я – чернец, а не вор!

– Бавкай! Ряска с чужого плеча, скуфья – на полголовы, сапоги драны от долгого беганья... Пиши!

Сенька, обмакнув перо в чернила, написал:

«Я есмь Григорий Петров, сын Ляцкого, кузнец, а где жил ране, не пишу – не помню. Последнее житие имел на устье реки Оки и Солотчи, в Солотчинском монастыре, у архимандрита Игнатия, в кузне ковал. Сошел от его жесточи и эпитеми непереносной, сшел в ночь, а одежду, коя попала, ту и взял, оттого ряска на мне тесна...»

Воевода приказал:

– Подай письмо, служилой! Стрелец подал Сенькину записку.

– Лжешь! Не ковал! Писал, вишь... У коваля рука тяжка – так красно и подъячому иному не писать. Аханью мы не верим, против того, что ты гулящий.

Воевода сунул бумагу на стол и как бы задумался; потом, помолчав, поднял голову, глаза его были другие: туман с них спал, они глядели зорко и пытливо, а голос стал тише, приятнее и вкрадчивее:

– Сын ты мой разлюбезный, помысли мало и пойми: таким писцам, каков ты, по Руси бегать опасно. Никон, монах, сшел с патриаршества, кинув паству... Аввакум, его церковный супротивник, пошел ересью на святую церковь, презрел все чины церковные. Сам же прибирает в попы своей ереси грамотеев, манит их на раскол. У меня уж сидит таковой грамотей, книги пишет, и я ему не запрещаю. Купцы к нему ходят с даянием, и мы то даяние от него берем – на церкви украшение и божедомам на пропитание. Времени, сын мой Григорий, будет нам довольно, а ты моли создателя и денно и ночью, что послал он, вездесущий, тебе отца и радетеля – меня, кой сирых, бродячих призывает и приючает. Не ровен день и час иной, хотя бы тебя взять: лихо кое учинит и под кнут и на плаху попадет, а сидя на покое, душа его умилится, и возлюбит он власть и божескую, и великого государя власть возлюбит же... Стрельцы, замкните ему кандалы, да спереди – ежели он смирен... Неладно, что велик и широк парень! Вот и тут тюрьма годна и благодетельна! Посидит годок – ума наберется, посулится и усохнет маленько. Стрелец, замкнув замок на кандалах, сказал Сеньке:

– Пойдем туда, откеда взяли!

Когда повели Сеньку, воевода приказал:

– Скажите сторожу, чтоб новоявленного посадил к старцам в горницу!

У моста через глубокий ров – а за ним двойной тын тюремного двора – Улька ждала Сеньку от воеводы. Она узнала, нищие сказали, что его провели стрельцы в приказную избу.

В белесом сыром тумане, когда стрельцы подвели Сеньку к мосту, спросила служилых:

– Можно ли ему, новому, еду с собой дать? – А вина, ножей и чего кроме еды нет?

– Пошто, дядюшки! Едина лишь еда!

– Тогда дай!

Передавая Сеньке узелок, Улька шепнула: – Перстень где? – Все ошарпали! – громко сказал Сенька.

– Эй, женка, уходи! Говорить сидельцу нельзя. Улька поклонилась стрельцу, ответила:

– Буду заходить я, служилой: бельишко помыть на ём да еды принести.

– Коли богорадной сторож<sup>303</sup> пустит, нам дела нет – ходи! Проводя Сеньку мостом и тюремным двором, стрельцы говорили:

– Ты, новой, вишь, письменной?

– Грамотной я.

– Да... нам, робята, придетца его, грамотея-книгочея, водить к воеводе в дом!

– Пошто?

---

303 *Богорадный сторож* – смотритель над странноприимными домами.

– Как пошто? Подьячие от его жесточи бегут, и веретенник<sup>304</sup> он многой.

– Сатана он, не дай бог ему в руки пасть! Сенька слушал молча.

В тюрьме стояла вонь от потных тел, ног и испражнений. Сторож с копеечной восковой свечкой, тускло светившей, проводил Сеньку общей тюремной избой. На лавках спали, стонали во сне люди, с печи свешивались руки и ноги. У дверей и с полатей торчали головы сонных тюремных сидельцев. Сторож толкнул туда Сеньку, сказал:

– Завтре к скамье прикую, ночь спи так!

Сенька вошел. Здесь вонь тоже была, но меньше, чем в большой избе.

В этой половине, видимо светлой, от сумрака синели оконца с решетками. Оконца – низко, над землей.

Меж двух широких скамей – грязный, сколоченный из досок стол. На столе в черепке огарок сальной свечи. При тусклом огоньке над столом Сенька увидел две головы – седые, клочковатые, тряслись бороды, – старцы, видимо, спорили о чем-то, из-под бровей поблескивали глаза. Один старец не громко, но задорно говорил другому, перед которым на столе лежала рукописная книга, одна страница книги была чистая. Тут же стояла чернильница медная с ушами для ремешка и вапница. Разные вапы были разведены на обломках склянок. Этому, готовому писать в книге, кричал вполголоса другой старец, видимо решая старый спор:

– Не божеское твое вранье надобно! Надобно крепить ту каменную кладу, коя зовется народ! Слабые камни, которые из нее выпали, прибрать, пообтесать и поставить в своды палат государства руського. Тот лишь камень, кой и доселе держал окна, своды и двери, только он крепок, с ним и на нем палаты простоят века!

– Бруси, знай! По-твоему, и бога нет?

– И нет! Все попы врут, а сказывают так: «Сидит бог на ледяном татуре в облаках, с топором в руке, с вилами в другой, топором он сечет на куски грешников, да все лишь бедных, худых, а вилами кидает в огонь геенны...»

– Лжешь, Лазарко! Такого бога мы не чтем и попов не чтем! У нас всяк лоб – поп, ежели чист телом да молится двумя персты, по-древлему.

В сумраке Сенька, выдернув дужку толстого замка, снял с себя кандалы, беззвучно собрал цепь; сняв ее с рукоположил на земляной пол у дверей. Подошел к столу, недолго послушал старцев, потом сказал:

– Ну-ка, старец, двинься! Голоден я, поем мало.

– Двинусь с трудом: чепь ногу ест.

– Кажи-ка!

– Чого?

– Цепь твою.

– А во, гляди ладом, светить не могу.

Сенька нагнулся, нащупал цепь, разжал одно звено и опустил цепь на пол. Старик задвигался, разминая ноги.

– Вот те спасибо! За нуждой безбольно сброжу, а то волокни ее, окаянную.

Другой тоже попросил:

– Слободи, младень живой, меня тоже.

Сенька поел, свернул узелок с едой и другого старца ноги избавил от железа.

– Вот нам бог Бову-королевича послал, – сказал один. Другой прибавил:

– Ты, молочший, берегись! Воевода – сатана: силу ему не кажи, а то он тебя закует, што и не двинешь перстом.

– И за нуждой под себя ходить зачнешь!

Старики, кряхтя, встали, оба ушли в дальний угол, там в земляном полу была вырыта яма, а перед ней – жердь. Они присели над ямой и по-прежнему спорили о боге, попах и

---

304 *Веретенник* – скупой (псковское слово).



народе.

Один, зевая, почесываясь, лег на лавку к окну, где у него валялось какое-то тряпье. Он ворчал:

– На новом-то месте, може, и сосну вскоре. Другой, обратясь к Сеньке, говорил:

– Ложись, молочший, на лавку... Я же, помолясь создателю, еще писать буду, доколе огарок светит.

Без иконы старик, кланяясь земно, покрестился в угол и сел к столу, а Сенька, любопытствуя, подошел, стал сзади.

На раскрытой чистой странице книги старец, посапывая носом, писал:

«...ничтоже есть страсти Егову, насыти может... Растет бо в них страсть, устава не знает, но тогда станет, егда убьет имущего той же... якоже гордость источник злобы всякия есть. Сице и смиренномудрие, философии всякия начало, на покорных бог ездит!»

Сенька читал слово за словом писание старца и видел: на другой, чистой странице, сменив перо на кисть, старец бойко обвел контур человека. Правую руку изображенному выдвинул вперед, нарисовал к руке нечто похожее на свиток. Платье изображенного раскрасил киноварью, бороду тронул рыжим цветом, а над лбом сделал красный околыш шапки. Вместо шапки на голове человечка изобразил маленькую фигурку с венцом сияния у головы, в руке – книгу, похожую на скрижали, вверху бойко написал: «Так-то бог на смиренных ездит!»

Окончив рисунок, старец разогнулся, сказал Сеньке:

– Вот учись, молочший!

– Нечему... – ответил Сенька. – Поучаешь смирению, а тебя, смиренномудрого, воевода к скамье приковал и за нуждой в угол ладом не дает сходить. Непереносная вражда и злоба растут, множатся кругом, а ты покорность восхваляешь.

– Ежели господь не вызволит, против силы у убогого силы нет!

– Ждать бога – сгниешь живо. На силу надо силу, на злобу – злобу пущую!

– Ого, какой ты! Лазарке под стать. Ложись, завтра поговорим, да с утра кандалы надень – и нам и себе, шток не знатко было сторожу.

Утром, чуть засерел свет в окнах, старовер разбудил Сеньку:

– Молочший, подымись! Вдень себя в кандалы да и наши чеги ставь на место – узрят! Сторож придет.

К скамьям, ножками глубоко врытыми в землю, Сенька прикрепил старцев и на свои ручные кандалы привесил замок.

Скоро вошел сторож, оглянул сидельцев, пощупал чеги, а перед тем как оглядеть кандалы, поставил на стол три кружки воды и дал каждому по куску черствого хлеба. Сеньке сказал:

– Будешь ежли такой же смирной да не полезешь в большую избу к иным ворам, на ногу цепь не надену.

– Куда мне идти? Чего искать?

Сторож ушел. Старики жевали хлеб. Сенька не ел. То, что осталось от Улькиной подачи, за ночь съели мыши. Когда хорошо рассвело, старовер раскрыл книгу, обмакнул перо в чернильницу. Он писал: «Глаголет бо апостол, неженившийся печется, како угодити господеву; женившийся печется, како угодити жене».

Сгорбясь, Сенька ходил по земляному полу тюрьмы, приостановился у стола. Старовер спросил его:

– Ты, молочший, чаю я, женат?

– Женат, а тебе пошто знать?

– Апостол, вишь, глаголет: «Кто оженился, печется не о душе своей, а како угодити жене...» \

– Чаще бывает, старик, – жена печется угодить мужу. Апостол твой лжет!

– Ой ты! Бойся хулить угодников, противый святым, противый богу и царю противый же.

Сенька тяжело присел на конец скамьи.

– Старик, я думаю: ежели бог мешает идти на царя, то и на бога надо плевать!

– Одумайся, парень! Молись, покайся в хуле своей скверной.

– Ты слушай: у патриарха был келейником, видел архиереев, игумнов, попов и чернцов, а бога не видал... иные сказывают – видали его, да только во сне!

– Ой ты! Изрекаешь с глумом великим, будто Лазарко-еретик. Ужели он поспел тебе такой глум нашептать?

Старик Лазарко на конце стола дремал, оперши седую, давно не мытую голову на костлявые кулачки. Когда упомянули его имя, открыл глаза, прислушался и запищал:

– А вот! Нынче видок есть нашему спору давнему, и вопрошу я тебя, книгочей Феодор, лжеписец: что есть царь?

– Не искушай, сатано! Уста мои пребудут закрытыми!

Он плюнул на ладонь и пригладил на лысину седые, серые остатки волос, глаза упер в свое писание.

– Молчишь? А что есть бог? Ты молчи – я молвю! Вначале бе слово, и слово бе бог. Истекая из слова «бе бог», то и царь есть слово, а так как он видимый и вездесущий, то истинное имя ему – тиран!

Старовер не возразил, а только лишь сдвинул клочки бровей и пожевал сухими губами:

– Царь и бог не живут розно, ибо обман крепится словом, пугающим бог-дух вездесущий. Отсюда истекла и приказня: «Кто идет на царя, помазника божия, тот дерзнул против бога!» Но все же кто есть царь? В древних временах – воин, грабитель, разбойник, лютостью, вероломством и дерзостью лютейший таких же грабителей! Стяжавший себе богатства кровью ограбленных. Его именовали всяко – коганом, витязем, князем. Себя же присные ему звали мужами, старцами, а позже болярами. Награбив довольно, утолив сердце в шуме войны и грабежей, сел насельником на пустоши, не обозримой очами, указал воинам своим пригнать на ту пустошь мног народ простой, безоружной, указал ему плодиться и на себя, царя, работать, насилием и угрозами потребовал от народа дань – хлеб, деньги, отроков для войны и женщин для своего сластолюбия. Народ построил ему дворцы, города, башни и тюрьмы; царь собрал боляр, сложил законы, а судьями поставил тех же боляр, себя же среди них назвал высшим судьей.

– Страшно мне с тобой, окаянной! Иссохни твоя гортань, срамник безбожной! Доведут воеводе, и зри-ко – изломает меня он с тобой заедино за окаянство твое, – прокричал старовер.

– А ты не бойся, Лазарь! Сказывай о царе...

Старовер и на Сеньку погрозился:

– Беда и тебе, вкушающему яд змия сего!

– В миру много людей, – пищал Лазарь, – ленивых, кто бежит от работы, о них народ сложил присловье: «Ладон на воротах, а черт на шее!» И вот таковых-то лжецов и безработников собралось коло царя много. Они по ночам спят мало, а о боге лгут много, ибо измышляют о том, какими словами и молитвами они прельстили бога и что он сказал им? Тех языкоблудов возлюбил царь и назвал их царскими богомольцами, да они и сами себя тако именовали. Царь дал им земли и рабов, соорудил церкви, а где церкви обнесены стеной каменной, те звались монастырями. Дал им чины: кого попом звать стали, кого протопопом, игумном, а иного и патриархом. Когда царь умер, дети его, повоевав меж себя, сели на царский стол. Этим уж не пришлось кричать и принуждать народ, что-де цари они. За них кадят, кричат милостей ловцы – чернцы да епископы.

– Ой, еретик Лазарко! Околеешь, пойдет твоя душа в геенну к сатане.

– Туда же пойду, куда и ты, Феодор! Я не мешаю тебе плести лжу о геенне, сатане и ангелах, а ты пошто мешаешь мне сказывать о том, как я понял царя и бога?

– Уж кабы не боялся я страшных очей лихого воеводы да его суда неправедного, то закричал бы на тебя: «Слово государево!»

– Кричи! Чего медлишь?

Так прошло дальше полудня. Сторож снова вошел, принес старцам по кружке воды и по куску хлеба, а Сеньке передал узелок с едой, завернутой в чистую тряпку:

– О тебе женка коя печется, ешь!

Улька спозаранку побывала у сторожа, дала ему денежные поминки за Сеньку, упросила ежедневно передавать пищу. Сторож раздобрился, но предупредил ее:

– Ходи таем... воеводе не пади на глаза. Сидельцов он не велит питать много: пушай-де позамрут, мене бунтуют да силу порастрясут! – Подумал и прибавил: – Еще знай: снедь носи, водки, а пуще ножей, верви, пил и долот не протащи – за такое с меня сыщут, и тебя поймают, кинут в тюрьму, а еще и огнем пытать зачнут. Воевода – он зверь!

Улька подумала: «Что укажет Семен, то и принесу...» Оглядев кандалы, сторож, уходя, наказывал:

– Ведите себя смирно! Приду в утре, а нынче тюрьму замкну.

Он ушел, и слышно было, как гремел у дверей большой избы железный запор да ключи звенели.

Сенька снял со своих рук кандалы, кинул к дверям, подошел к столу и стариков расковал. Когда Сенька бросил кандалы, на лязг железа дверь из большой избы приоткрылась, кто-то заглянул к старцам, потрогал брошенные кандалы Сенькины и исчез. Сенька подобрал кинутую к порогу цепь, положил на лавку, а старовер в черепки с красками из кружки подлил воды и кистью на чистом листе страницы рисовал контур человека в длинной красной одежде с золотом на вороте и рукавах. Потом, заменив кисть на перо, вверху страницы написал по-печатному: «Слово о девстве», а внизу более мелко, но тоже печатными буквами, начертил: «...Глаголет Иоанн Златоуст, аще муж и жена престанут от греха и воздержатся от скверного блуда и ложе свое бога ради нескверно сохранят, и сии убо наричаются воистину девственницы воздержания ради...»

Сенька подошел, остановился сзади старца, прочел написанное им, сказал:

– Если б люди тебя, старик, послушали и измышления твои поняли, то в миру жили бы одни волки!

– Это, молочший, тебе запутал ум Лазарко-еретик!

– Никто меня не запутал, а думаю я еще такое, что если б бог, которому ты молишься, и коли бы он был вездесущий, увидал твое писание, он бы сжег тебя вместе с твоей книгой!

– Пошто? Опомнись! Опомнись, парень!

– Видишь ли, а еще понимаешь ли ты? Кто бы молиться твоему богу стал, если б блуда не было между женой и мужем, – ведь и детей не было бы?

Старец Лазарко начал ехидно хихикать и пропищал:

– Добро сказал, младень живой! Истинно вправду. Старовер поднял голову от писанья, хотел спорить, но в это время распахнулась дверь, и в избушку тюремный сиделец большой избы с пучком зажженной лучины, пригнув голову, крикнул:

– Эй, новой сиделец, поди к нам!

Сенька ушел в большую избу, притворив плотно дверь в горенку старцев.

Окна избы закиданы всякой мягкой рухлядью, чтоб со двора не был виден огонь.

Трое стояли с пучком зажженной лучины, иные ютились по углам да сидели на лавках. Мохнатый, угрюмый мужик, заросший бородой и волосами, подошел к Сеньке, сказал:

– Нам вот всем надоело молоть воду на воеводу, воли хотим!

Другой, сидя на лавке, курил. Начал так:

– Слух прошел, што воевода иных из нас порешил на Москву послать. Москва – она ведомая всем! И, може, с нами тебя закуют да увезут.

Мохнатый сиделец снова пошутил:

– Москва – што доска: спать широко, да везде гнетет.

– Повезут – и думать буду, а нынче я вам пошто?

– Терпи, скажем!

– Вишь, дело кое: прознали мы, што ты человек большой силы, железа гнешь да сымаешь с себя, у нас же другой такой имеется, имя ему Кирилка.

Опять заговорил курящий трубку:

– Умыслили мы взять того Кирилку в атаманы, а ты ему будешь есаулом, собьем заметы да сторожей со стрельцами побьем и уйдем!

Заговорила вся тюрьма – лиц почти не видно было в лучинном дыму:

– Воевода – ирод! Прежние в тюрьму бабу аль старуху пуцали!

– Рубахи нам, портки они мыли. Бутурлин не пуцает баб, завшивели мы.

– У кого деньги – шти варили!

– Покупали хлеба!

– Оружие, кое у стрельцов, – отбить!

– А там и воеводу припррем!

– Нельзя в городу – в лесу зачнем шарапать!

– Мужик гол, да в руках кол – на него надежа, будет и одежа!

– Перестаньте бавкать! Дело надо думать, дело-о!

– И вот два таких богатыря – клад наш! Ты да Кирилка!

– Вы нас из тюрьмы сведете!

– Да как? – спросил Сенька.

– Просто – начать со сторожей и до стрельцов добратца.

– С пустыми руками до стрельцов не добратца! – сказал Сенька.

– Эй, запечной богатырь, выходи! Из-за запечья слышался громкий храп.

– Выходи! Кирилка!

Храп затих. На голоса из-за печи, потягиваясь, вылез саженного роста, весь черный от пыли и печной сажи, детина. Сенька взгляделся в большого человека, шагнул к нему, обнял:

– Кирилл! Ты жив? А думал я – тебя в Коломенском убили, в Медный бунт.

– Неужто я сплю? Или в сам деле ты – Сенька?

– Да... А вот Таисия объезжий убил, и я того объезжего кончил!

Кругом раздались радостные голоса:

– Так вы, вишь, приятство?

– А мы мекали-зовем Кирилку атаманом, да за атаманство, думали, будете бороться...  
хе!

– Сами знают, кому атаманить!

– Силу свою ведают, коли товарищи!

– Гей, дружки! Зачинайте сказывать нам, как лучше уйтить...

– Воевода голодом морит, кои православные даяние в тюрьму дают, и то указал отбирать на сторожей.

– Истекаем от глада!

– Непереносно!

На крик из разных углов и на голоса кругом него Сенька ответил:

– Без хитрости да без оружия только даром головы положим!

– Кирилка, скажи ты!

– То же и я вам сказываю, – ответил Кирилка.

С полатей слез один сиделец – он больше все лежал на полатах. Слезал редко. Роста он был малого, с узким лицом и масляными волосами пепельного цвета. Волосы всегда у него блестели, хотя он их не мыл и ничем не мазал. Бородка жидкая, такого же цвета, как и волосы. Глаза слегка косили, казались хитрыми, схож на служилых людей. С ним никто не говорил, и сам он больше молчал.

– Слышал ваш сговор. А меня хотите ли с собой брать? Все молчали.

– Зрю, не хотите? Тогда и из тюрьмы без моего совета вам не уйти. Вот слышали – он вам говорил правду! – Маленький человечек ткнул рукой в сторону Сеньки. – И можно утечь без урону в людях. А как? Знаю только я. Возьмете – знайте, к бою я несвычен, подьячий – казнен тюрьмой за подписку и прелестные письма. Грамоты воеводе не оказал. С прежней

тюрьмы шшел, был в бегах, нынче сказался гулящим.

– Дельно укажешь – берем из тюрьмы!

– Нам твои руки в бою не надобны!

– Еще уговор, слово свое, знаю, держите... Когда будем на воле, сыщите для меня scarлатной кафтан... в ем я утеку за рубеж, на Ветку: там раскольники епископа ищут, а я начетчик и того чина мыслю у них досягнуть!

– Хо, черт! Нам вона атамана одеть надобе, вишь, на ем ряса по швам ползет... он не просит одежи, а ты: «дай кафтан да шорлат». Где таковой сыскать?

– Мы тя обвесим бархатами бургскими, што и на возу не увезешь!

Человечек повернулся к приступку печи:

– Тогда управляйтесь без меня, а я лягу! Не бойтесь, к воеводе на вас поклепом не пойду.

– А ну, говори; кафтан сыщем, купца коего убьем – и все.

Человечек вернулся, провел рукой по воздуху:

– Слушайте все! Один из нас, хоша бы я, закричит: «Слово государево!»-такого воевода должен из тюрьмы вынять. Воеводу Бутурлина я знаю – чтит он себя великим боярином, а когда говорят то «слово», ведает – ему беспокойство чинят, и он озлится, приедет сам к тюрьме, палача приведет, зачнет тут же под окнами на дворе пытку стряпать и допрос сымать, какое-де «слово» и не облыжно ли и впрямь «государево»? Того, кто кричал в тюрьме, придут стрельцы брать... четверо их и пятеро бывает... у нас же двое таких, кому мало и десятка стрельцов... оглушат их снятыми кандалами, скрутят, кафтаны наденут, сабли да карабины заберут, а битых сунут на полати и рты им заклепят. Воеводу тоже можно скрутить – иные из ваших доспеют к тому.

– Досмотреть надо, чем скрутить стрельцов!

– Сказал дельно! Иное потребно досмотреть!

– И досмотрим! – уверенно ответил человечек, глядя рукой свои маслянистые волосы. – Все досмотрим, товарищи... только, как говорил он, – снова указал на Сеньку, – не тамашиться и не спешить! Може, женку кою сыщем, – ей наказать, с едой ли, с чем, верви тонкой крученой просунуть в тюрьму... будут верви – и дело близко!

– Орудуйте смело, а то у нас в брюхе засвербело! – пошутил мохнатый сиделец.

Подъячий хотел говорить еще, но у тюремных дверей завозились многие шаги. Огонь лучины потух, окна мигом очистились, а подъячий, царапая кирпичи, залез на печь.

Тюрьма притаилась. Сенька ушел к себе. Там он при свете огарка свечи со стола надел свои кандалы и кое-как успел нацепить замок.

Вошел сторож главный, который и раньше приходил, сказал Сеньке:

– Воевода к себе зовет, – идем!

У дверей тюрьмы с факелами ждали стрельцы – пять человек. Один из них – десятник с постным, строгим лицом-огля-. дел Сенькины кандалы, сдернул с них замок, крикнул:

– Воруешь?

– Чем? – спросил Сенька спокойно. – Замок порван!

Видимо, посулы, данные от Ульки старшему, помогли: сторож спросил:

– Как изломил замок?

– И не ведаю как, – ответил Сенька. – Клопы едят, может, во сне тамашился да два раза, сонный будучи, с лавки упал.

– Надо о том довести воеводе! – сказал стрелецкий десятник.

Сторож ответил:

– И так на всех нас воевода зол, а ты хошь пуще злить.

– Так не поведем!

– Пошто так, служилой? Замок не занимать стать – дам новой.

Сторож завернул в сторожевую избу, принес замок; старый снял, а новый замкнул на кандалах, ключ передал стрелецкому десятнику: – Ведите и молчите.

Сеньку увели. Сторож на двери тюрьмы накиннул железный замет.

– Парень тихой... Кабы все таки были, и добро бы. Он ушел в сторожку.

Воеводский дом с рундуками, высокое крыльцо в два схода. Над сходами покатые крыши. Дом был сумрачен, светилось лишь одно окно, не закрытое ставнем. Мутно маячили на хмуром небе вековые деревья. Стрельцы вошли в сени воеводского дома, десятник, приоткрыв дверь, сказал:

– Привели, отец воевода!

– Ведите сюда! – ответил голос из горницы.

Когда ввели Сеньку, старик кончил молиться перед золоченым иконостасом в углу, утыканным огоньками лампадок.

Горница высокая. В брусках матиц железные кольца-видимо, для дыбных веревок. В одном кольце даже висел ремень с петлей. Стол среди горницы покрыт ковровой скатертью с кистями, на полу ковер большой. На столе пылали две толстые восковые свечи в медных шандалах.

– Ждите меня с ним! – сказал воевода и вышел в другую горницу низкой дверкой.

Он скоро вернулся с цепью и замком.

– Сажайте-ка молодца вон на ту скамью, – указал воевода. Сенька шагнул к скамье, сам сел:

– Добро, сам конь в кузнице ногу дает...

– Окрутите-ка молодца-беглеца, нищebroда, по тулову замест пояса цепью.

Сеньку окрутили цепью. Сзади к кольцу у цепи стрелецкий десятник сунулся повесить замок.

– Дай мне! – сказал воевода. – Еще дай ключ от ручных кандалов.

Десятник передал ключ и замок. Воевода снял с Сеньки ручные кандалы, цепь ручную перенес назад и за кольцо у поясницы укрепил один замок. Концом цепи, снятой с рук, прикрутил правую ногу Сенькину к тяжелой скамье, вделанной в пол. У перекладины скамьи внизу воевода навесил второй замок.

– Так с ним вольготно поговорить можно! – сказал старик и прибавил: – Стрельцы, не надобные здесь, ждите в сенях... позову... – Он спрятал ключи в карман кафтана.

Стрельцы, стараясь не громко стучать сапогами, вышли, оставив в горнице запах пота и винного перегара.

Сенька молчал.

Воевода, уперев в лицо гулящего мутные глаза, казалось, не видел ничего, но его глаза, хмурясь, разгорались, потом открылись широко, стали зоркими, и старик ехидно заговорил:

– Собачий сын! Страдник! Вор! Чти честь – за одним столом сидишь с боярином...

Сенька сказал:

– Затхлой хлеб есть – мала честь!

– Полюбилось вору пряженину на харчевом дворе есть да медом запивать?

– На вольной воле всяко пивали, а тут у тебя за боярским столом в цепях худче тюрьмы!

– Ну, парень, бавкать закинем – дело сказывать позвал... Будь готов на Москву оборотить! Там тебя примут на горячие калачи палачи... кнутом обдерут, ребра повынут, на огне припекут, после чести на шибеницу вздернут... Може, и голову на кол!

– Виселица надобна не мне!

– Кому же?

– Таким, как ты, сатана!

– Пес, ай, пес... Забоец служилых людей!... Стрелецкая служба тяжка стала... и думаешь, укрылся? Сыск по тебе не закинут-к нам прибежал с женкой, а та женка-раскольница... Святительским собором иереев указано раскольников пытать и, ломанных на пытке, угонять в Даурию дикую!

Сенька потупился, подумал: «Неотложно, как спустит, поднять тюрьму».

– Гляди в душу свою черную – кнут, петля близко!

– Не о душе пекусь...

– Што ж ты, разбойник, иное помышлял?

– Идя к тебе, думал – не напусто зовешь: служба-де ему кая от меня надобна, и нынче понял – глумиться любишь над теми, кто в твоих руках... тюрьму голодом заморил...

– Тюрьму я кормлю! Иные воеводы сидельцев пуцают побираться: кто подаст, а иной плюнет, я же два куска хлеба даю.

– Смерти и пытки, сатана, твоей я не боюсь!

– А женка? Ей то же будет, – становщица, с забойцем в блюде живет!

– Моя женка, как и я, огня и смерти не боится!

– Эх, не привык я бродяг выручать из беды, да с тобой хочу попробовать... покривлю душой перед великим государем – с ляцкой войны меня любит... простит, коль проведает мое попустительство... Не укроюсь: служба твоя мне надобна – угадал, вор! Девку-раскольницу, что харчуется у звонца Ильи-пророка, не трону... слово мое крепко, а ты за оное будешь мне писать обыски и челобитные... Дьякам то дело верить не могу, они мои вороги. Тебя не боюсь – твоя голова у моих дверей в притворе зажата. Сам я пишу коряво и спотыкчато... што говорить тебе буду и што ты писать зачнешь, берегись, штоб меж нами было!

– Того не бойся! Не будешь голодом морить да во вшах держать – писать буду толково, дело письма знаю...

– И я знаю, што сбега ты с Троицкой площади из стрельцовподьячих!

Воевода, боязливо косясь на Сеньку, достал из стола склеенный столбец бумаги, перо и чернильницу, подвинул Сеньке все и быстро, как от огня, отдернул руки.

Сенька в пути отрастил длинные волосы и курчавую каштановую бороду, глядя на воеводу, ухмыльнулся в бороду.

– Чему ты радуешься, разбойник?

– Смешно мне – зовешь служить, хочешь верить тайны свои – и меня боишься... Хитер, а малой истины не понимаешь: убить тебя – себе же лихо сотворить...

– Добрым быть к тебе не мыслю... не думаю такого, то и верить не могу... ты не простой нищеврод, а забоец!

– Хочешь, правду молвю: убил тех, кто были грабители худчие разбойника.

– Знаю... такого много, но и от гулящих, как ты, слышал много того же самого, о чем судишь... Бери перо, пиши!

Сенька приготовился, воевода отдельно и четко стал говорить:

«Сыну моему Феодору Васильевичу, окольниковому государеву! Днесь пишет к тебе родитель твой, наместник и воевода боярин Василий, сын Васильевич... немешкотно, без замотчанья сходи ты, Феодорушко, к думному Башмакову дьяку Демке, снеси ему, псу, не скупись, ценные посулы. Посулы те дай, Феодорушко, ему хитроумно, штоб не заподозрил чего, а допреж узнай – все ли у его в дому по-доброму, и не поругался ли он с женой, и по службе какова удача... Не обижайся, покланяйся ему, он, собака жадная, а пуце хитрая, возьмет посулы не сразу... поломаетца, потом, не бойсь, примет. Поговори ему: „то-де, государев большой дьяк Дементей, тебе от меня в почесть, а мой-де почет к тебе в удивлении великому твоему разуму на государевой царевой службе, заботу, которую и мой родитель ведает в устроении и благоденствии земли русской. Ты же на службе и денно и ношно, в трудах не щадишь живота“. Ну, там сам знаешь, как лучше его, кобеля, убаять! Узришь ежели, што он пообмякнет и тебя обласкает и, статья может, зачнет отдаривать, и ты отдарков от него отнюдь не бери-жаден он до боли в черевах! И еще покланяйся и как бы, после государева и царицына здоровья, обо мне к слову вспомни, будто бы ненароком: што-де старичонко... не от сей-де день взысканный милостями великого государя, а вот сидит-де вдали от светлых государевых очей, погибая душой в одиночестве... Сидит-де, правит царскую службу честно и за ту честную службу наживает едино лишь поклепцов и шепотников лукавых и ворогов, кои-де ежеденно плодятца, изветы кляузные пишут, измышляют всячески и сыщиков с Москвы на него зовут. Ведай, Феодорушко, што посулы Демке, сколь бы ценны ни были, сочтем без спору...

«Плодятца-де на него поклепцы все дворянишки, коих не единожды великий государь в жильцы на Москву призывал, а они той службы избегают, насыкают тех дворянишек пьяницы подьячишки губной избы, да те, коих мой родитель за нерадивую службу прогнал. А теми-де кляузными делами поклепцы моему родителю едино лишь службу государеву вести мешают...» И как углядишь, Феодорушко, што дьяк речь твою примает душевно, и ты, сын мой, упроси его – слова сыщешь – за меня у государя дядьчить, штоб царь шепотников на меня не слушал, пуще же заговори с ним о девке Домке моей, через родителей закупной рабе... «Доводят на нее поклепцы, што она конно разъезжает, грабит и жжет помещиков, а она девка, гилью отнюдь не займуетца, то уж-де явная безлепица, штоб девка могла пялить на себя пансырь али бехтерец... Врагам такое надобно, потому они и вороги, им-де надобно, штоб у родителя ее отняли, а она-де его верная псица, стережет старика, ибо иные холопишки, жадные до посулов, его бы, воеводу-боярина, и зарезали... Она-де, та девка, в дому родителя моего стоит клюшницей, рухлядишко стариково ведает... Да так и убайкай ево, сын мой, штоб он сам под меня нос не подточил, ему-то, Демке, пуще всех сыскные дела сподручны... И иное поговори: «кабацкие-де и таможенные деньги с приписью дьяков да целовальников, как делали встарь иные воеводы, мой-де родитель берет за себя... и ту-де казну напойную таже тамжоную, он-де, холоп великого государя, отсылает полностью в приказ Большого дворца. Поклепцы же доводят, што родитель мой устраивает и шлет ее вполу, а не целостно». Еще дьяки докучают мне из Пушкарского приказа, што якобы рушу государев указ: не даю-де «Городовой сметы<sup>305</sup>» и «Перечневой росписи<sup>306</sup>»; смету и роспись привезу с собой, как закончу сидеть на воеводстве, поруха случилась за то, што грамотных подьячих не сыщешь, а кои есть – те бражники, вирают дела, а то еще, што-де на жалованье им денег нет, и указу о том ему не посылавано. Казну же государеву опасаю пуще своих очей... опас-де ей нынче велик множится. Слышно, я чай, и на Москве: на Дону у казаков объявился вор большой, Стенькой именуется. Попрал тот вор запрет казацкой старшины, а как реки половодьем взохнули, набрал тот Стенька голытьбы казацкой да беглых московских и иных холопишек, кои сбежали на Гуляй-поле и в городки верхнего Дона. Прогреб на чайках своих речкой Камышенкой в Иловлю-реку, а водополье нынче не в пример годам велико, с Камышенкой да Иловлей нынче и Волга слилась, волокчи лодки им не надобно, вора, – ширь, глаз не хватает! Сила, сказывают, Феодорушко, у вора Стеньки копится еженежно... беда висит на вороту всем воеводам!»

Неведомая до того радость шевельнулась в Сеньке. От той радости задрожала рука, он перестал писать.

Воевода уперся взглядом в руку Сеньки, встал со скамьи, кряхтя пошел в угол к иконостасу. Там на лавке лежали плети и кистени. Старик выбрал плеть-трехвостку, а когда пошел обратно, помахая плетью, то на конце разветвлений плети постукивали железные шарики. Не спеша подошел сзади Сеньки, заговорил негромко, почти спокойно:

– В стрельцах бьют на козле, я же тебя на скамье сидячего употчеваю, крови добуду, а в остатке клопам кину, пушай пососут...

Сенька был мало сугуловат, теперь еще больше посутулился, втянул голову в плечи. Он слышал, как, готовясь бить его, пыхтит за спиной злой старик. Воевода начал бить Сеньку, приговаривая:

– За радость приходу воров! А то не зови воеводу и боярина сатаной!

Сенька молча терпел удары.

Не добившись крика, воевода сказал со злобой:

– К черту в пекло! – Он кинул плеть на ковер у стола. Торопясь, пошел в тот же угол, громко, отрывисто ворчал: -А, а-га! Кудри отрастил, сидя в тюрьме, басоту навел? Я тя

---

305 Перепись воинских людей и оружия при них.

306 Описание укреплений городских, сколько башен, и ворот, и пушек на стенах.



сделаю раскрепрасным Иосифом! Ворам палачи носы да уши снимают, дай же и я тебя комолым сотворю!

Воевода повернулся, в руках его звякнули клещи. Старик шел к столу. Сенька быстро поднялся и сел – цепь тянула к скамье. Гулящий изогнулся, натужась, разломил звено цепи, и цепь упала. Сенька выпрямился во весь рост. Старик остановился, попятился – его ошеломил страх. Клещи звякнули на ковре под ногами. Воевода замахал руками, как малые ребята в драке, он открыл рот кричать. Сенька сказал:

– Закричишь – убью!

Нога была прикручена к ножке скамьи, вделанной в пол. Сенька, нагнувшись, рванул железо, оно со звоном и треском дерева сорвалось. Гулящий, повалив скамью, пнул ее и встал, отойдя от стола. В руках его был обрывок цепи.

– Закричишь? – спросил он, шагнув к воеводе.

– Разлюбезной, не... не кричу!

– Тогда вели стрельцам уйти, и будем говорить!

Воевода, боязливо оглядываясь на Сеньку, подошел, приоткрыв дверь, крикнул. Голос срывался:

– Стрельцы, идите, ждите у ворот...

Слышно было Сеньке, как скрипнула дверь и на крыльце затопали ноги. Старик вкрадчиво заговорил:

– С клещами шутил я... где мне быть палачом?... А ты, смирной человек и надобный мне писец, вишь, спужался меня... Бежать тебе некуда, мы добром поладим...

. – Чего ты хочешь?

– Хочу уйти в другую половину – страху нагнал на меня пуще, чем я на тебя... Ты жди!

– Иди, ждать буду!

Воевода вышел в ту же малую дверь в глубь дома.

Сенька снял остатки цепей с ног и все железо, бывшее на нем, покидал в угол к дверям. Ждать пришлось недолго. Воевода пришел с пистолетом в руке, а за ним, выше его головы на две, шла матерая баба в кожаной куртке, крепкие ноги бабы до колен оголены, под курткой короткий сарафан, на ногах зеленые чедыги, на голове бумажная шапка в железных пластинках. В правой руке бабы келепа<sup>307</sup>. Вместо кушака между курткой и сарафаном повязана петлей тонкая веревка.

– Домка, оглуши его – и наш суд! – крикнул воевода. Сенька сказал:

– Менять слово берегись!

Баба молча пошла на Сеньку. Лицо ее было хмуро и решительно, Сенька метнулся в сторону, баба быстро шагнула, взмахнув келепой.

– Убить не бойся! – кричал воевода.

Боевой молот, скользнув по Сеньке, разорвал на нем рукав рясы от плеча до кисти руки, острым железом разрезола руку, черная полоса крови от плеча до локтя обозначила рваную рану.

Нельзя было понять – от злости или страха воевода дрожал и пятился к иконостасу. Он пробовал взвести курок пистолета и, видимо, не мог.

Сенька боком набежал на него, вырвал из рук старика пистолет, вернувшись к бою, ударил бабу дулом пистолета по руке. Баба тяжело уронила на ковер келепу. Он, не давая врагу оправиться, кинул пистолет, быстро шагнул, схватил бабу под мышки, сдвигая со всей силы, подняв, разжал руки и оттолкнул бабу в воздухе. Она упала всем грузным телом, глухо ударившись о ковер затылком, – из носа у ней показалась кровь.

Сенька не кинулся добивать врага, он шагнул к выходной двери и, повернувшись на горенку, ждал.

Воевода торопливо подошел, помог бабе встать, крикнул:

---

<sup>307</sup> *Келепа* – молот с острым концом, им запорожцы в боях разбивали панцири.

– Не уйдешь, злодей! Будем биться!

Баба размазала рукой по лицу капающую из носа кровь, поправила шапку на взбитых волосах, тронула под подбородком ремень, пристегнутый от шапки, мотнула головой воеводе, сказала:

– Пойдем-ка, боярин!

– Не отпущу! Бой – так бой, придем, жди...

Сенька молчал. Он знал, что не уйти: у ворот – стрельцы, в караульной избе – караул сторожей.

Поднял с пола пистолет, сел на бумажник на скамью, где сидел воевода, положил пистолет рядом с письмом, которое он писал. Сунул в дуло пистолета шомпол и понял, что пистолет заряжен. Оглядел кремь, взвел и опустил тугой курок тихо, поддерживая пальцем, а когда поднял курок, взглянул на полку: «Есть и порох! Коли што – годен к бою...»

Смахнул кровь с руки, но кровь текла, оглянулся – чем бы окрутить?

Сенька был спокоен. Короткая возня с бабой его не взволновала. Подумал: «Готовятся? Долго не идут...»

Но воевода не вышел, вышла баба. Она была тоже, как показалось Сеньке, спокойна. На лице не было крови, вместо железной шапки на голове плат серый, рубаха на лямках белая, чистая, сарафан длинный, темный. Сказала:

– Пойдем, гулящий! – Голос был ровный, не добрый и не злой.

Они пошли. Выйдя в сени, баба завернула в чулан. Пришла она к Сеньке с подсвечником в руке – в подсвечнике горела свеча. Баба раскрыла большой распашной шкаф, желтый при огне свечи. В шкапу она выбрала кафтан серый, самый большой, кинула Сеньке:

– Держи!

Потом внизу нашла суконную шапку, тоже кинув, сказала:

– Держи!

Там же отыскала уляди большие кожаные на завязках, – дала их молча и еще молча повесила ему на руку портки и рубаху. Давая рубаху, сказала, выводя на крыльцо:

– Подол рубахи отдери – окрути руку... Придешь, – вшивое сбрось. Стрельцам у ворот скажи: «Ведите так – ковать воевода не указал».

Помолчала. Когда Сенька в сумраке медленно спускался по лестнице, так как свеча на крыльце от ветра погасла, прибавила:

– Не пытай бежать! Надобен будешь, и я от сей дни зачну говорить с тобой, не воевода!

– Добро, послушен буду, – сказал Сенька.

Богорадной сторож ввел Сеньку в избу тюрьмы:

– Поди сам, ковать не указано. – И, пятясь, вышел, загремел за дверью замет.

– Эге! – пробормотал кто-то из-тюремных сидельцев.

– С почетом, парень, с милостью окаянной! – пошутил Сеньке в лицо мохнатый мужик, прибавил: – Лжой прободен! Свой, да лукавой, как кошка, – спереди лапу дает, а сзади дерет!

Сенька прошел к старцам.

– Ишь как пошло! Звенячее кинул, оболочка в кафтан новой... – сказал старец Лазарко.

Старовер на Сеньку головы не поднял, читал Апокалипсис.

Сенька молча разделся догола, кинул в отходную яму серую изношенную рубаху и портки, развернув, надел чистое.

Вскоре к старцам из большой избы пролез Кирилка. Он вошел, оглядываясь. Кирилка – в рваном рядне, весь черный от печной сажи.

Сенькин приятель имел вид угрюмый. Сторож снова зазвенел ключами... Не входя в тюрьму, в щель дверей просунул узел с едой от Ульки, сказал за дверью громко и строго:

– Для Гришки!

Узел принял мохнатый мужик:

– Дадим, кому послано... не подьячие, не схитим!

Сторож не слушал, гремя железным заметом и замком.

Мохнатый, отворачивая лицо от узла и голодно глотая слюну, внес узел к старцам. При свете огарка свечи передал Сеньке, недружелюбно оглянув гулящего, хотел что-то сказать, но, видя Кирилку, махнув рукой, ушел.

Сенька развязал узел, дал Кирилке ломоть хлеба и вяленой трески. Оба молча жадно ели. Остатки ужина Сенька отдал старцу Лазарке. Кирилка обтер рукавом черный рот, вздохнул, перекрестился двуперстно на восток и заговорил:

– Семен, ежели из нас кто попадет к воеводе... того добром не спускают, а также куют, аль бо и худче – пытаются... Нынче наши зачнут бояться тебя: был-де у воеводы и не пытан, раскован оборотил.

– Уж так сошлось, Кирилл...

– А должен ты тюрьме ответ дать, пошто сошлось так. Дума у всех одна: «Должно, парень оборотил в тюрьму доглядывать и доводить про нас!»

– Скажи им, Кирилл! На Волге объявились гулящие казаки... воевода в страхе, что грянут на город и воля нам будет!

– Да так ли? Не брусись?!

– Кем был, тем остался-ты знаешь меня... пущай ждут наши.

– Добро, парень, дай руку. – Кирилка пожал руку Сеньке, угрюмо улыбнулся замаранным ртом, заметя сквозь рубаху Сеньки на рукаве кровь, любопытствовал, где окровавился?

– У воеводы со мной был бой... пустое, бабу на меня послал, ободрала келепой, я бабу ту побил, и, смешно, – она же дала кафтан новой и рубаху.

– Вот дело какое? Теперь верю, ты прежний... – Кирилка ушел.

В горнице, в переднем углу, – стол, над столом – образа Спаса в золоченой басме с зажженной лампадой, а ниже и левее образа, в сторону слюдяного окна с цветными образцами<sup>308</sup>, – царский портрет (парсуна). Круглобородый царь пузат, в басмах и шапке Мономаха.

Огонь четырех свечей в серебряных подсвечниках горит ровно. Только подтаявшие сосульки воска падают на подсвечник, тихо звеня. Ендова с вином, ковш золоченый – им воевода черпает вино, поблескивая узорами, – в узорах ковша малые камни. Воевода в шелковой белой рубахе, ворот распахнут. Сидит у стола, ковш за ковшом черпая, пьет, кряхтит, изредка утирая смоченную вином бороду, молчит.

Домка – правая рука всех тайных Дел воеводы – в глубине комнаты стоит близ боярской широкой кровати, прислонясь могучей спиной к узорчатым изразцам голландской печи. На высокой груди девки, непомерно выпуклой, сложены голые до плеч руки, правая обмотана платом, между кистью и локтем, – знак боя с Сенькой.

Воевода пьет, но, видимо, свое думает. Он изредка покачивает головой и про себя бормочет:

– Та-а-к! Та-а-к...

Домка с ним говорить не смеет, пока не спросит ее боярин. – И вот, – повернулся старик, – ежели лихо кандальник кое не учинит, а учинит, то...

– Не учинит он лиха, отец воевода! Пытала о нем богорадного сторожа. «Смирен», – сказали мне и караульные стрельцы тож.

– Караульные стрельцы, богорадной, да и ты, псица, его помыслы ведаешь? И я, старый черт, из хитрых первой, будто с печи пал, спустил вора в тюрьму без желез по твоему уговору...

– Чего боишься, боярин отец?

– Я... я ничего не боюсь! Паче и гнева государева... Забоец, убил служилых людей двух, а сбег к нам от царской кары! Иные воеводы таких, как он, лихих дня не держат, куют, дают Москве. Мыслил – письменной, гожд на время, он же, вишь, какой! Али вор тебе

---

308 *Образцы* – цветные узоры на слюде.

приглянулся, што обиду боя ему прощаешь? Берегись! Скую вместе, полью дегтем и на огне обоих зажарю...

– Приглядка мне не надобна, отец! Дело, боярин, худче: твои холопы, с коими по указу твоему грабеж чиним, – твои же лиходеи... И нынче, не дале как завчера, мы разрыли двор помещика на Костромской дороге...

– Дворяннишку Чижова? Знаю, разрыли, да корысти в том грош.

– Што было вынесено – взяли! Оно бы добро, только слышала я, помещик твоих же людей подговаривает с поклепом на Москву бежать... Купит – и побегут...

– Ну, лгешь, девка?!

– Слышала от чижовских дворовых.

Воевода помолчал, выпил вина, крякнул и заговорил:

– Ведом ли тебе тот Чиж худородной в лицо?

– Грабили, жгли-некогда было лица помнить!

– Ин, ладно, оно еще не уйдет...

– Я мекаю, боярин, – тот Гришка-колодник силой равен мне...

– Не Гришка он – Семка!

– Все едино, пушай Семка... С ним твои дела грабежные мы вдвоем справим! Поклепцов на тебя не будет, а колодник, чем больше на нем грехов, тем крепче зачнет служить тебе!

– О том, девка, говоришь будто и ладно, да думать надо!

– Чего же думать, отец воевода? Четыре руки – не двадцать... четыре глаза, два языка – не сорок...

– Тут, вишь, такое, девка! Спустили его без кандалов, а он в тюрьму придет да сидельцев тюремных подымет, а еще ведомо тебе, што в анбарах да подклетах колотятся, зверьем воют голодные мужики, кои от помещиков на правез пригнаны, – ну-ка, спусти зверя! Вести с Волги худые, разбойной атаман пришел, копитца у его сила голытьбы казацкой... стрельцы, опричь сотников да десятских, шатки, не углядишь – сойдут к ворам, тогда как, а? Как быть тогда?

– Отобьемся, отец! Холопей много, да ведь не все стрельцы к ворам побегут...

– А как все? У меня врагов необозримо! Сказуют – заморил, веретенником кличут, сам слышал... И думаю я того Семкуколодника заковать крепко... забоец, сила – цепи рвет, и терять ему нечего... Один стрелец мне уж доводил: «Тюрьма-де, боярин, сговор ведет – мекает сойти!» Теперь вот проведай, девка, кои из холопей с худородным Чижом сговор ведут... укажи стрельцам таких заковать, на съезжую свести – пытку налажу...

– Холопей тех знаю, воевода отец, укажу заковать, а Семку пугать, мыслю я, рано... надобен он!

– Тогда вот возьми с собой флягу вина со смертным зельем... стоит в подклете... ведомо оно тебе?

– Вино знаю, боярин!

– Углядишь самовольство, когда будет с тобой на грабеже, – опой его, он бражник, за то и на харчевом попал, што опоили, а изопьет смертного, – кинь собакам... недорого стоит...

– Знать буду и делать, боярин!

– Теперво – помещиков, кои к нам не враждуют, не тронь, они наша заступа у царя, зори тех, кои ропотят... за то и Чижа указал сжечь – ропотил на меня... Так еще, дочь моя разлюбезная, холопка, черное мясо, зови на пир помещиков, буду угощать и хмельных пытать: кто из них друг, кто ворог.

Воевода, захмелев, стучал кулаком по столу, – мигали свечи, приплясывал ковш на столе.

– Помещики, отец, боятся меня – на зов не поедут...

– Пошли Акимку дворецкого!...

Воевода замолчал, голова повисла к столу, кулаки разжались. Домке показалось –

упился старик, снести его на кровать, но когда от ее шагов задрожали половицы, воевода вздрогнул, поднял голову, сжал кулаки:

– А, кто? Ты, Домка?

– Я, боярин! Опочинул бы...

– Нет, Домка, неси золочену ендову с вином – ту, знаешь? И кубок наш родовой чеканной – ведаешь, псица?

– Тебе, боярин, того вина пить не лепо... с него ты бредишь... срамное говоришь и про бога...

– Неси!

Матерая девка вышла. На огромной ладони правой руки, вернувшись, внесла золоченую, сверкающую алмазами ендову средних размеров; взяв ендову за кромку свободной рукой, поставила тихо на стол, и из-за пазухи сарафана вынула тяжелый золотой кубок.

– Ставь и жди!

Воевода вихлялся на кресле, спинка кресла потрескивала, а кругом запахло хмельным, и запах тот с запахом горелого фитиля и воска, будто мало видимый туман, полз по горнице. Старик ворчал:

– Ренское питье, бусурманское...

Уцепив за кромку тяжелый кубок, погрузил его в ендову.

– Голову мутит, а до души не доходит, – наше дойдет! С нашего вина, настояного на пьяных кринах, коли и мертвеца напоить, то, зри, заплешет! А ты, – воевода поднял лицо на образ, – пошто меня ране времени мертвецом сотворил? Пошто не содеял меня таким, как дурак Ивашко Хованской... без меры он блудил и бражничал, а его бей батогами, жги на огне – все стерпит... Даже бродячего нищеврода, коего ныне от кандалов спустил и богатырем содеял, меня же до времени извел до костей... Или нет тебя? Бог, кто зрел тебя из смертных? А не зрели – то и нет тебя... сказки про тебя идут! Сказки надобные, шток пасти скотину, кою кличут смердом!

Выпив неполный кубок вина с зельем, старик начал громко дышать. Бледное, слабо пожелтевшее от света свечей лицо, отечное на веках и под глазами, медленно краснело. Упрямо тряхнув головой, воевода сбил с головы тубетейку, она сползла на колени. Желтая лысина старика покраснела, пот крупными каплями выступил на лысине.

– Вино-с! К-ха, вот! С того зелья, обжигающего нутро до души, – если она еще есть во мне, – я на сажень в землю зрю и вижу в гробах мертвецов... я зрю в облака скрозь чердаки и хоромы в бездну неба и вижу луну, на ней Каин Авеля побивает.<sup>309</sup>

Старик выпил еще кубок.

– Огонь! И будто как монетчика, кто схитил цареву штампу и делает воровство, меня свинцом расплавленным скрозь гортань наполнили до пят<sup>310</sup>! Я нынче все хочу клясти! Ты, черевистой тихоня, ты, покровитель хвалителей и богомольцев, чернцовбражников, епископов хитрых, как и мы, иуды-воеводы, крестопреступники и воры, утвержденные тобой, царь! Я знаю, кто ты есть, царь!

Костлявыми кулаками старик застучал по столу.

– Ты думаешь, не знаю, кто ты? А вот – выродок предка Андрюхи Кобылы<sup>311</sup>. Что есть

---

<sup>309</sup> Книжники XVII века и суеверные люди так объясняли лунные пятна.

<sup>310</sup> ...свинцом расплавленным скрозь гортань наполнили до пят! – По Соборному уложению 1649 г. таким образом казнили фальшивомонетчиков.

<sup>311</sup> Андрей Иванович *Кобыла* – московский боярин времен Ивана Калиты к Симеона Гордого, по происхождению тевтонский рыцарь. Родоначальник многих дворянских фамилий: Боборыкиных, Колычевых, Коновницыных, Романовых, Сухово-Кобылиных, Шереметевых и др.

кобыла по-древнему? А вот – лакиния, но лакинией звали гулящих кабацких женок! Кобыла тот у Семена Гордого<sup>312</sup> царя слугой был и, может статься, псарем? А мы? Мы, Бутурлины, бояре, с боярами Челядинами<sup>313</sup> при Грозном Иване шли обок... Вы же все со Кобылой вашим выходцы из Прусс, зане из Колычевых выполз Федор Кошка<sup>314</sup>, тот, што Донскому Дмитрию служил... прадед царицы Настасьи<sup>315</sup>, Грозного жены от Романовых, и был он потаковщик татарве поганой, о нем похвально Эдигей-мурза<sup>316</sup> сказывает... И я, боярин кровной, родовитой, за службу и кровь и раны перед царем, наследником псарей, осужден псом ползать у трона... дрожать за свои дела... Прикажешь вот такой стерве, как Домка-холопка: «Убей Бутурлина» – и убьет!

– Боярин, отец, очкнись!

Выкриков девки старик не слыхал, он бредил, но голос его крепнул.

– Слепыми силен ты, царь! Холопским неразумьем владеешь и приказываешь: «Сожги, девка Домка, боярина Бутурлина!» – сожгет. Напишешь мне: «Давай, воевода, свою любимую холопку Домку в Москву» – и я, твой пес, пошлю свою слугу надобную без замотчанья, ведаю, што ей там будет! Сам боярин и воевода, а боярская милость, как жареный лед... Там ей жилы вытянут, на дыбе встряски три – и дух вон, помрет, как собака, ибо служила господину, как собака... Бесперечь... пошлю! А пошто? Да знаю – как ни паскудно твое от предков из веков исхожденье, но ты стоишь надо мной с палкой, именуемой скифетр... и еще потому, штоб оберечь от пытки свои кости, рухлядишко, хищенное поборами и лихвой да разбоем, спасти... Оно мне любезнее чести...

– Боярин, очкнись!

– Бог – пустое место! Царь – столь же пустое. Трон – скамья, обитая вотолой! Но бог и царь прикрученному родом боярину – как железный обруч, накаленный в огне, куда ни шатнись – жжет! И нет исхода, нет! А пошто? Тьфу вам, царю и богу!

Старик стал рвать на себе рубаху и, вскочив с кресла, ключьями рубахи начал кидать в образ. На столе попадали и погасли свечи, погасла лампада, мотаясь на цепях, звенела тихо и капала маслом. На стене двигался царский портрет, готовый сорваться. Не устояв на ногах, старик упал. Домка подняла полуголового боярина и, как ребенка, снесла на кровать. Воевода заснул.

Боярин мертвецки спал, храпел со стоном изредка, а Домка, не шелохнувшись, сидела на кровати у господина в ногах.

Очнулся воевода, скинул с себя одеяло, которым был покрыт до плеч, спросил:

– Домка!

---

<sup>312</sup> *Семен* (Симеон) Иванович *Гордый* (1316—1353) – великий князь московский с 1340 г. и владимирский с 1341 г. Старший сын Ивана Даниловича Калиты.

<sup>313</sup> *Бутурлины... с Челядинами* – старинные боярские роды, восходящие к выехавшему из Седмиградской земли (Пруссии) на службу к Александру Невскому «мужу честну» Радше, от которого также произошли предки А. С. Пушкина. Таким образом, род Бутурлиных в самом деле древнее Романовых, но Бутурлины «выходцы из Прусс».

<sup>314</sup> *Федор Кошка* – младший из пяти сыновей Андрея Кобылы, приближенный великого князя Дмитрия Донского, оставленный им во время похода на Мамаю в 1380 г. «блности Москву». Прямой предок Романовых и Шереметевых.

<sup>315</sup> ...*Царица Настасья* (ум. в 1560 г.) – первая жена Ивана Грозного, происходила из рода Романовых.

<sup>316</sup> *Эдигей-мурза* (1352—1419) —эмир Белой орды; основатель Ногайской орды, с 1397 г. – темник (командующий войсками) Золотой Орды, а после смерти Тимура в 1399 г. ее фактический глава. В том же году при реке Ворскле разбил войска литовского короля Витовта, в 1406 г. убил Тохтамыша. В 1408 г. совершил набег на Московское великое княжество, разорил Нижний Новгород, Рязань, Серпухов, Верею, Дмитров, Клин.

– Тут я, отец воевода!  
– Чай, я лаялся во хмелю?  
– Гораздо лаялся, боярин!  
– Хулил кого или так?  
– Хулил, боярин, бога и государя... Меня грозил в Москву на пытку дать...  
– Тебя ништо! Не потребуют меня к ответу, спи спокойно...  
– А потребуют, отец?  
– Потребуют? Сама знаешь – моя шкура боярская дороже холопки. Ты тля... Вот перед ними вину свою отдать надо... Держи, голова кружится...

Домка помогла воеводе стать на ноги.

– Веди к образу. Пошто не горит лампада?  
– Запахнул ты ее, боярин... кидал в лик рубахой.  
– Велик грех окаянному, велик!... Я пожду, заправь фитиль, затепли.

Домка зажгла лампаду и погашенные на столе свечи. Старик стукнул костями колен в пол, сложил на груди обросшие седой щетиной руки, слезным шепотом говорил:

– Владыко милостивый, прости грешника... велико согреших!

Потом читал «Верую» и «Отче наш». Кончив читать молитвы, пал лицом в землю.

– Господи, спаси, сохрани царя государя Алексея, вину мою пред царем очисти, и здравия молю ему...

Воевода указал Домке на ночное дело собрать ватагу бывалых холопей и Сеньку обрядить в боевую справу:

– Пистолей ему не давать!

Старику хотелось самому проверить и оглядеть всех. В последнее время, кроме Домки, воевода никому не верил, – «по рожам увижу, каковы».

Он приказал дворецкому дать ему кафтан и сапоги черного хоза, а когда одевался, в горницу, где еще недавно сидел прикованный к скамье Сенька, робко зашел десятский из Тверицкой слободы. Воевода хотел было прогнать мужика, но раздумал: «Спрошу у него о ворах, што на Волге объявились» – и вышел из своей спальни.

Мужик без шапки кланялся у порога. Воевода, сняв треух, помолился на иконостас, боком оглядывая мужика, спросил:

– С каким делом топчешься тут?

– Да, отец наш, рыбки, стерлядок, тверицкие ловцы тебе прислали и поклон воздать!

– За рыбку скажи спасибо ловцам! А еще как у вас? Не были ли воры, што с Дону на Волгу переметнулись?

– Слышали, отец, слышали, токо они до нас не бывали.

– Живите с береженьем, караулы ночные штоб были еженощно, на крышах ушаты с водой, веники да, как указано мной, от пожара мылен бы не топили, а кузницы были бы за селом в поле...

– То у нас ведетца, батюшка! Сполняем и караулы еженощно, и мерники с водой – все, как положено...

– Добро! Што нынче ловцы-молодцы промышляют?

– Да, батюшко, нынче все поголовно уехали на сей берег... сказывают, их помещик Ворон зазвал... И погребли насельники все, недоросли тож... Много они ему, Ворону-то, приклонны, – икру да рыбу у их скупает по доброй цене...

– Ворон зазвал, сказываешь? Не лгешь?

– Ни, батюшко!

– Ну, иди! За рыбу благодарствую...

Проводив взглядом мужика, воевода вышел на крыльцо в черном кафтане, подбитом куницей, на голове – осенний треух, в руках – плеть, за кушаком – пистолет.

Вглядывался в сумрак. С Волги на город наволокло туманов, небо понизилось, месяц светил за белесыми тучами, но лика своего не показывал, и было от того сияния далекого мутно, сумрачно. Старик думал: «Может быть, хитрый смерд налгал мне о рыбаках? Ну,

пущай! Пока не грянут на дело, проведают, есть ли на Волге лодки!»

Воеводе подвели бахмата, и, как указано, у седла два пистолета. Бахмат – густогривый, с крепкими ногами, серый, с крупной головой.

Немой высокий холоп конюх помог боярину вложить ногу в стремя. Сняв треух, воевода покрестился в сторону Спасского монастыря. Тронув бахмата, сказал себе негромко:

– Опасаетца Ворон... поганое мясо! Рыбаки? Поди, лгет мужик...

За рубленным городом, как всегда, воеводу ждала его ватага, ждала на тот случай, если вздумается старику отменить дело.

Воеводу первая встретила Домка, немного впереди нее на пегом коне, издали черном, ждал Сенька, а еще поодаль-десять рослых холопей на сытых конях.

Домка в железной шапке, в кожаной рыжеющей куртке, подбитой панцирем, чернел из-под куртки короткий кафтан, на ногах малые моршни<sup>317</sup>, ноги до колен оголены.

«Не человек спромышлял тебя... черт из железа отлил...» – подумал неведомо почему воевода, оглядывая могучую фигуру Домки.

Тронул легко плетью бахмата, приблизился.

– Ты без оружия пошто? – спросил старик.

Домка откинула чалдар суконный на своем коне, ответила:

– Пистолы иму да келепу, отец. – И накрыла оружие чалдаром.

Домке украшать чалдар воевода не велел – «шток не было к тому призора».

– Хвалю, – справилась и спряталась... Они тихо подъезжали к Сеньке.

Воевода оглядел гулящего. Заметив при бедре Сеньки только сулебу, сказал тихо, слышала лишь Домка:

– У того, для кого вино взято, окромя сулебы, нет оружия?

– Нет, отец воевода!

– Пасись... – совсем тихо прибавил старик, – огненного бою ему не верь...

– Знаю, отец, только дал ты холопей непошто... от многих людей, коней – сполох...

Мы и вдвоем бы...

– За то дал, он впервые зрит широкою волю – конен и оружен от нас, а ну, как внезапно кинется прочь? Ловить было бы кому... – И громко сказал: – Кои люди встренутца да спросят – куда, ответствуй: «Для воеводы списать и составить „Перечневую роспись“, мы-де стенные, пушки проверяем...» Ну, оборотим, хочю тебе наказ дать...

– Слышу я!

Воевода повернул бахмата к дому, Домка тоже поворотила коня.

– Едешь на помещика Воронина, знай – он крепок...

– Ништо, отец, бивали и крепких!

– Раньше начала холопа шли проведать, какова у него справа и не ночуют ли с нашей стороны на Волге рыбаки. Коли углядишь у берега многи лодки – бой не вчинай... шуму много и слава худая. Надо, шток славы меньше, а добычи больше...

– Все знаю, отец!

– Не все знаешь, я и то нынче только прознал, што Тверицкие за Ворона бажат головы скласти. Ежели у берега есть многи лодки – не марайтесь, воротите вспять!

– Добро, отец!

– Ну, со Христом, а коли наврала мне, то и с добычей! Езжай...

Домка повернула коня. По дороге, чавкающей неглубокой грязью, догнала Сеньку. Он ехал, опустив голову:

– Гришка, не вешай головы – борзо едем! – крикнула громко Домка, так, шток слышали и холопы.

Хитрый старик только Домке сказал подлинное имя Сеньки, при людях велел ей звать его, как записан при допросе. У воеводы было на уме свое: «Утекет – пущай не знают, што

---

317 *Моршни, как и уляди*, – голенища, длинные кожаные.



разбойник был забоец, московский стрелец».

Старик подъехал сзади обширного дома, через пустырь, поросший мусорной зеленью, теперь еще грязный.

На дороге издали боярина заметил зорким взглядом немой конюх, оглянувшись, покрался вдоль тына туда, куда проехал боярин.

Воевода, путаясь в стременах, тяжело слез с бахмата, закинул на шею ему поводья, вынул и спрятал за пазуху пистолеты, чмокнул. Конь, повернувшись, пошел в сторону главных ворот навстречу конюху.

Конюх погладил бахмата, остановил. Немой сел в боярское седло и не оглядывался – за оглядку воевода наказывал. Воевода постоял у тына. Когда конь и всадник скрылись за углом, старик просунул руку в тын, нащупал затвор. Два столба в тыне покорно повернулись. Войдя в сад, воевода тайным затвором поставил столбы на место. По узкой тропке, посыпанной песком, между рябин и берез, начавших уже зеленеть, воевода подошел к своему дому. Тайная дверь от нажима руки, как и столбы в тыне, повернулась и заперлась сама, когда старик поставил ногу на первую ступеньку лестницы. По лестнице, знакомой, темной, шупая на выступах сундуки со своим богатством, воевода поднялся к себе в спальную с царским портретом над столом и образом, освещенным лампадой. Кряхтя, разделся, помолится, лег спать.

Перед тем как подъехать к поместью Воронина, дворянина, остановились для совета. Домка приказала:

– Воевода указал глядеть! Ты, Гришка, поезжай, – позрн, есть ли на Волге многи лодки.

– Повинуюсь... – ответил Сенька. Тронув коня, двинулся по дороге к поместью.

Остановку воеводины грабежники выбрали в выморочной избе. Кругом были еще заброшенные избы, – видимо, мужики разбрелись кто куда от непомерных налогов и правежей.

Изда, в которой остановились, – большая, огороженная старым плетнем. Кроме избы, в глубине двора виднелся амбар, недалеко – покинутые хлевы и конюшня. В конюшню холопы заперли своих лошадей. Зажгли два факела, вошли в отворенные сени, в изда, распаханную настезь. Войдя, захлопнули двери. Сорвав образа с божницы под лавку, приладили на божницу один факел – изда курная, потолок высокий. Другой факел укрепили на воронец недалеко от дверей – на воронце между стеной и печью лежали редкие полатницы. Один сказал:

– У порога ничего не видно, еще спнешься!

Высокий широкоплечий холоп, бойкий и, видимо, старший по делу парень, кидая на грязный стол шапку, ответил:

– У порога темно, то и ладно!

Он сел у разбитого оконца к столу. Иные кто сел на лавку, кто бил кресалом по кремню, нороя закурить трубку, а двое шарили по избе и прирубу.

Домка объезжала кругом изда, осматривала задворки. «Штоб ране времени не сталоь какой помехи...» – думала она.

Тряхнув длинными русыми волосами, холоп, сидевший у стола, сказал негромко:

– Эй, браты, воеводины собаки, коего черта эта воеводская сука рыщет без толку?

– Може, Тишка, ты знаешь, што у ей на уме?

– Я знаю хорошо, что Ивашку да Сергуньку по ее наговору сковали, сидят в правежной избе.

– Да... от воеводы парням висеть на дыбе!

– Висеть с полгоря на дыбе, а как совсем повесит? Не впервой так!

– Худо, ребята!

– Чего тут доброго?

Белокурый продолжал, пытливо оглядывая лица приятелей:

– Мы этой суке воеводиной ни слова поперек! Идем, коли надо, и на смерть, а она припекает кого огнем, кого пыткой.

– Не она сила – сила в воеводе...

– Сила, товарищи, в нас! Мы служим, мы все несем-волокем...

– Дадут батогов – вот те и сила!

– Стрельцы подтыкают...

– Подтыкают в городе, здесь же мы хозяева! И удумал я – если сговорны будете – припечь воеводину собаку...

– А как?

– Просто! Свяжем и за обиды наши ее изнасилим, потом топоры есть – похороним...

– А воеводе как молыть?

– Воеводе скажем – убили на грабеже. Мы бежали, а куды ее, мертвую, дели, не ведаем...

– Стой, Тишка! Сказал ладно, да один из нас ездовой ушел.

– Колодник, што ли?

– Ён!

– Колоднику и дела нет – он с воеводой не вместях... о своей шкуре мыслит. Меж нас штоб согласие. А кто за ее, тот поди на двор и рот на замок – молчи. Сговорны ли?

– А давай, Тишка!

– Беремся все – всем она враг! – Сказ короток, у кого верви?

– У меня да Куземки!

– Тише... коня становится. Двое, Пашко да Куземка, к порогу ляжьте. Верьвь протяните – шагнет, здыньте вервь, спнется, падет... Тут уж не ждать поры – верхом, да руки крутите и ноги.

– Знаем, вязали...

– Идет! Берегитесь – брать крепко! Сила кобыля... Ложись!...

Дверь распахнулась. Жмурясь от сумрака и дыма факелов, Домка шагнула через порог, упала. Ее железная шапка с головы, стуча, покатила... волосы густые хлынули на лицо, лезли в глаза. Домка чувствовала, что ее вяжут; кто, что и зачем – не понимала. Чтоб не сунуться лицом, Домка уперлась. Правая рука у нее от Сенькина удара еще болела. Домка пала на локти, на протянутые кисти рук, петлей затащили веревку.

– Поддай скамлю!

В мотающемся сумрачном свете факелов скрипнула ножками скамья. Домку окрутили и затащили в петлю ноги. Пыхтели, воняли табаком и прелью онуч.

Домка сказала:

– Вы пошто, псы?!

Через скамейку поперек, приподняв ее, тяжелую, перекинули животом. Двое сели на концы скамьи, один держал Домку за узел веревки, опоясанной ею для дела. Связанными руками Домка уперлась в пол, в пол с другой стороны уперлась и коленями. Поняла все.

Русый подошел от стола, сказал:

– Сарафан короткой, то ладно, – я первой.

– Нет, Тишка, без жеребья нельзя.

– Черт с вами – можно!

Русый отошел к печи курной избы, крикнул:

– Отвернись! Замараю один перст из десяти... кто мараной перст разожмет – тому!

– Марай!

Дверь распахнулась, Сенька вошел и увидал: среди избы на скамье два холопа, меж ними широкий, как у каменного идола, срамно оголенный зад. Холопы – один крутил на себя короткий черный сарафан, другой за веревку прижимал живот к скамье. Вглядевшись, Сенька понял все, сказал:

– Со своими, товарищи, так не гоже!

– Ты, купец, к чужому товару не лезь! – крикнул русый, повернувшись от печи. В руках его сверкнул топор.

Другие тоже наступали с топорами.

– Не тебя ли спросить, за кем ходить?

Сенька услышал:

– Кончай с ним, и айда!

Русый взмахнул топором, Сенька отступил к порогу. Сверкнув сулебой, выбил топор из рук русого парня, ближнего, идущего с правой руки. Сенька махнул плашмя, тот упал к порогу. Все отступили, боясь Сенькиных ударов, только русый, горячий и смелый, выхватив топор у ближнего холопа, кинулся на Сеньку с криком:

– Окаянной, каторжной, у-у!

Сенька отбил, сулебой удар топора и сунул оружие острием вперед.

– О! – издал звук русый, лицо у него было рассечено наискосок. Парень сел на пол.

Сенька крикнул:

– Прочь со скамьи, черти! Садись к столу на лавку, кто не сядет – буду рубить!

Холопы, испуганные смертью товарища, покидали топоры, покорно сели на лавку.

– Мы кинули орудье!

Сенька разрезал сулебой на руках и ногах Домки веревки, она верхом умостила на скамье и разминала руки да терла рубцы от веревок на ногах. Оглядывая холопей, сказала:

– Сшалели, псы! Пошли к лошадям! Холопы стали выходить из избы.

– Своего берите с собой! – приказал Сенька.

Мертвого русого парня с черным от крови лицом вынесли на двор. Сенька вышел за последним холопом, стал у крыльца. Холопы в сумраке сняли перед Сенькой шапки, заговорили:

– Чуй, Григорей!

– Слышу вас, парни.

– Мы Домку ту за дело опялили...

– За ябеду на нас к воеводе!

– Нынче наших двоих оковать указала...

– Сидят на съезжей – пытки ждут!

– А може, смерти. Воевода – ён такой...

– Когда оковали?

– На сих днеш! Ты вот ее слобонил, и нынче нам ждать кандалов...

– Я постою за вас – простит!

– Уж ты, Григорей, стой, а мы за тобой куда хошь!

– Не изменим!

– Постояю, верьте мне! Своего битого закопайте...

– Уберем!

Сенька вернулся в избу.

В избе, покинутой хозяевами, пахло застарелым дымом, табаком, потом, и особенно пахнул курной потолок, согретый огнем факелов. Холопы ждали на дворе, они мало верили Сеньке, что уговорит Домку. Домки они пуще самого воеводы боялись.

Теперь Домка сидела у стола на месте русого парня, протянув крепкие ноги под стол, облокотясь на обе руки, упертые кулаками в широкий подбородок. Лицо ее было хмуро и красно, глаза под густыми бровями глядели, редко мигая, на дверь. Перед ней лежали две шапки – баранья шапка убитого парня и Сенькина бумажная, в отсвете факелов отливающая рыжим блеском металлических пластинок.

Сенька сидел сбоку. Сбитые копной кудри закрывали половину его лица. Он говорил, а Домка, казалось, думала свое.

– Будем говорить, баба, правду – только правду! Домка молчала.

– Эту правду, баба, надо нам знать обоим и не бояться ее...

– Не баба я... девка.

– Ладно, пушай девка.

– Псы холопишки норовили сделать бабой, да ты вовремя вшел!

– Холопам прости, Домна.

– Прощу, как шкуру им спущу!  
– Холопи тебе за воеводу отмщают! Они не даром злы – повинна ты...  
Домка молчала. Один из холопов рыл за окном яму – он подполз к разбитому окну, послушал, ушел к своим, сказал:  
– Впрямь, тюремной за нас!  
– Ну и што?  
– Да не знаю... уговаривает чертовку!  
– Подь еще, рой да слухай...  
– Ты знаешь, девка, что всему виной воевода, а ты ему служишь...  
– Кому мне служить – я холопка.  
– Холопка до поры, дело не в том... Ты дела такие по его указу творишь, что, гляди, сыщики с Москвы наедут...  
– Може, не наедут?...  
– Так не бывает! Поклепцов и послухов, знать надо, накопилось много... сыщут за воеводой разбой, он же все свалит на тебя, закуют тебя, свезут в Москву, в Разбойной приказ.  
– Запрусь – и ништо!  
– Был я стрельцом, Домна, не единожды караул вел в том приказе. Жив человек оттоль не выходил... Запрешься? Повесят на дыбу, рубаху сорвут и кнутьем изрежут спину... Молчишь? На огне припекут, ребра клещами изломают и выкинут мертвую. Воронье глаза склюет, а то псы растащат!  
Девка отняла руки от подбородка, схватилась за грудь, вскричала:  
– Што ты говоришь страсти! Пошто?  
– Пошто говорить мне, если б было иное. Мне то же будет, ежели не уйду!  
– Ты не беги, – воевода отравного вина дал тебя опоить, я то вино кинула в пути, как ехала сюда...  
– Ты мне свой человек, Домна, я знаю!  
– Куды я денусь от воеводы, скажи? В монастырь постричься – и там он сыщет, да и жить мне охота... хочу жить!  
– У могилы стоишь, а жить ладишь!  
– Обыкла я к крови... в разбой, што ли, уйти?  
– Разбой ништо, да тебе не жизнь.  
– Эх, и горемышная моя жисть, страшная, сама знаю... ох, и знаю я!... – С лица могучей девки закапали слезы на стол, запыленный, замаранный углями лучины. – Некуда деться от окаянного житья! – Она разогнулась, сбросила на пол шапку убитого холопа. – Чует сердце – возьмут!... Он, старый бес, тверезый таит да приказывает, а хмельной завсе Москвой грозит...  
– Зачем плакать тебе? Поди, смерть не раз видала...  
– Били по мне с карабинов, пульей дважды бок ободрало, плечо тож...  
– Мое дело сходное с тобой: давай – не зря встретились! – идти вдвоем против злого сатаны!  
– Зрака его боюсь! Прослышит, вызнает помыслы – сожжет нас обоих, грозил уж...  
– Ну, лжет! Мы его раньше кончим!  
– Помехи к тому много: стрельцы, дворецкой волк, да из холопишек уши, глаза и языки имутся...  
– Если с тобой заодно, то всякую помеху уберем с пути.  
– Убить его? Нет, и думать страшно...  
– На грабеже людей убивать не боишься, а тут чего оробела – старую сатану с шеи стряхнуть? Как пылинку смахнем!  
– Дрожь меня пронимает, ой ты!...  
– Мы начнем так: холопей, кои тебя подмяли, не тронь, за нас пойдут... тех, что закованы, пока не добрался до них воевода, отпустим...

Тот же соглядатай из холопов ушел к своим, сообщил:

– Колодник Гришка за нас!

– Ну?

– Из желез, сказывает, отпустить до воеводиной работы с ими.

– Ай, Гришка, ты поди к окну!

– Могила готова, несем товарища зарыть!

– Думай и знай, Домна, – холопы за нас, да сидельцев тюремных спустим.

– Холопы своевольны, двуличны, и мало их: нынче без того битого – девять...

– В тюрьме у нас пятнадцать! Есть един силой в меня, да ты не явно, втай, иного кого келепой мазнешь...

– Думать велишь – думаю: убьем старика, а как орудье наше скроешь от сыщиков? Наедут, дело зримое и страшное. Може, зачнут кого крест целовать, а кого и к пытке приводить, – оговорят!

– До того не допустим. Я слышал, ты дворецкому наказывала звать помещиков к воеводе?

– Велено стариком – сполнила, звали. – Когда пир зачнется?

– Три дня помешкав...

– Гулять будут крепко, я чай?

– Упьются, ежели со стариком не будут споровать!

– В дому есть вино, кое с ног сбивает?

– Чего у воеводы нет? Есть.

– Как во хмелю будут, занеси им того вина и в караульную избу стрельцам занеси же: «воевода-де послал!» Стрельцы упьются, я тогда тюрьму выведу. Кто не пьет – свяжем, за печь забьем.

– Первое, брать надо богорадного да дворецкого – не бражники, сполох подымут.

– Теперь вижу – добро с тобой, Домна! Помещиков пьяных покидаем в подклет, запрем... мужиков-правежников спустим – поняла дело?

– Ой, понять – все поняла! В каком только образе я тут буду?

– В своем и настоящем! Отпускную тебе я напишу, пьяного воеводу заставим подписать, подпишет – наши в лес, а ты – хозяйка! Не дрожи... наедут с Москвы – плачь да кланяйся и говори: «увели отца воеводу разбойники!» – отпускную им в нос сунь!

– Кривить душой, лик менять худо могу, не обыкла... Заметив мелькнувшую голову холопа, Сенька, пригнувшись к окну, крикнул:

– Сделали дело – уходи прочь!

– Чуем, товарищ!

Девка терла ладонями побледневшее лицо.

– Ой, и задумал! А как не задастца?

– Не задастца? Стрельцов побьем – оружны будем. Дворецкого и богорадного уберем. Тебя возьмем с собой, переправим за Волгу в село, подале от Ярослава, – искать тебя некому.

– А воевода?

– Будет ли нет удача, воеводе живу не быть!

– Ой, страшно, Семка!

– Теперешняя наша жизнь с тобой страшнее того, что сделаем! Давай поцелую тебя, как сестру, будем спасать от гроба свои головы.

Сенька встал, нагнулся к лицу Домки, она, отворачиваясь, сказала:

– В тебе тоже, как в холопах, бес бродит? – Улыбнулась сумрачно и прибавила: – Целуй!

Сенька поцеловал ее в губы.

Встали, сняли факелы. Домка подняла из-под стола свою железную шапку, скрутив волосы в тугой узел, спрятала под шапку. Выходя из избы впереди Сеньки, спросила:

- По делу старику што молым?
- Огни по берегу Волги, многи лодки – у огней рыбаки!
- Эй, парни! – крикнула Домка, садясь в сумраке на коня, – за обиду на вас не сыщу!

Вы воеводе ничего не скажете про Тишку.

- Ладно, Домна Матвевна!
- Скажем – сбеги от нас.
- Ватага на конях повернула обратно.

В пристройке дяди своего, пономаря церкви Ильи-пророка, Улька вымыла и вычистила. Пристройка старая, на половину окон вросшая в землю. Из засиженной конуры пономаря в пристройку надо было спускаться вниз ступеньки четыре. Теперь здесь Улька чистую постель имела и вещи свои тут же прятала. Сегодня, как почти каждое утро между утреней и обедней, пономарь сошел к своей племяннице для «поучений». Старик, воняя рыбой и луком, сел на лавку у «коника». Улька что-то шила, придвинувшись к тусклому оконцу. Пономарь покряхтел, заговорил:

- Чуй-ко меня, племяшка!
- Слышу, дядя!
- Скажу тебе – ты попусту бьешься, волочишь еду тому потюремщику... Питать его тебе силушки не хватить! Кого наш воевода взял да заковал, то это уж, верь мне, надолго...
- Что ж, по-твоему, заморить его там?
- Делай для души; как иные делают, – носи ему еду в неделю единожды и забывай его... У меня же грамотной причетник есте, а ведаю я – на тебя он зрак косит... Грамотных мало – гляди, станет и дьяконом! Сама ты баба крепкая, лик румяной и... вот сошлась бы с причетником-то? Ладно бы было...

– Мне никого не надо! Григорей не покину... тебе за мужа до сей поры не простила и не прощу!

– Коли не прощай, а там благодарствовать будешь, когда по ином сердце скомнать зачнет... Я так смыслю: баба, она ежели прелюбодеяния вкусила, то сколь ни молишь, беси ей снятца... нагие беси – дело поскудное, тело и душу изьедающее... И вот парень проситца ночку с тобой поспать... Не таюсь – брагой меня поил, божился, што будет с тобой кроток...

- Пускай идет к лиходельницам! Чего ко мне лезет?
- Лиходельниц не бажит... от их согнание тайным удам бывает, а он ведь завсе с божественным – ему не по чину, как бражники кабацкие творят!

Улька молчала. Старик продолжал:

– Я припушу вас ночь, две полюбоваться и ежели оттого любодейчичи у тебя будут – знать стану один я... Мы робят сбережем, окрестим... и отца им поштенного сыщем... а там, гляди, повенчаются, и любодейчичи станут законными... Повенчаются тогда, как тот потюремщик, бог пошлет, изведется... в тюрьме не дома, смертка чаще в гости забредает...

- Дядя, покуда Григорей жив, с таким делом не приставай – озлюсь, глаза выбью!
- Ой ты! Шел, мекал – радость ей нес, она же в горести пребывать угодна...

Конура пономаря вместе с пристройкой вздрогнула, кто-то тяжелый вошел и прихлопнул дверь. Пономарь бойко согнулся, толкнул дверь, она растворилась. Улька вскочила, выглянула в раскрытую дверь, пробежала впереди старика и вошедшему повисла на шею.

- Гришенька, да никак тебя ослобонили?

Пономарь вошел за племянницей в свою конуру. Сенька сказал:

- Нет еще, но скоро отпустят.
- Чудеса-а! – развел руками пономарь и, приткнув свою редкую бороденку к Сеньке, прибавил: – Поди, лжешь? Не скоро спустит наш воевода!
- Скоро ли, нет, не твое дело, старый! Вот низко в твоей избе, надо сесть.
- Сенька сел, облокотился на стол, стол под его локтями закряхтел, будто сам пономарь.
- Сенюшка, дядю поучить надо, он меня с другим сводил на блуд...
- Ой, сука племяшка, одурела – то Гришкой, то и Сенькой кличешь...

– А вот те, старый черт!

Старик от Улькиной оплеухи зашатался, рухнул к Сеньке на лавку. Сенька подхватил старика, подвинулся на лавке, согнул, положил себе поперек на колени...

Улька быстро из-под лавки выхватила валец, начала бить по спине лежащего на коленях Сеньки носом вниз старика. Старик завопил:

– Ой, не ломи хребет! Ой, не ломи! На колокольню не здынуться, – краше бей по гузну!

Улька начала бить старика по заду. – Пожди, Уляха, не пались... – остановил Сенька. – Ежели старичище найдет надобное мне, то бить не будем, деньги ему дадим...

– Добро, Сенюшка! Не сыщет, то Волга близ – убьем и в воду...

– Ой, не убивайте! Што в силах моих, все сыщу! Сенька нагнулся над стариком, сказал:

– Дедко, сыскать надо одежду церковников...

– Родненька сынок, сыщу, вот те Микола-угодник...

– Да не такую, как дал тогда, пес, – скуфью на полголовы и рясу, будто мешок, узкую!...

– Просторую дам, дитятко!

Сенька, как ребенка, посадил старика на лавку рядом.

– Что есть – говори!

– Чуй, есть у меня стихарь дьяконовской, сукно на ем багрец – по-церковному именуется «одеждой, страдания Христова», потому ён и темной, не белой... К ему орарь, по-иному сказывается «лентион», препоясывается по стихарю с плечей на грудь крестом.

– Ништо, кушаком опояшу...

– Надо тебе, то и кушаком, – на концах кресты, кистей нет.

– Было бы впору!

– Дьякон-то, дитятко, просторной был... а одежешь, то в таком виде, ежели глас напевно и басовито испуцать, архиерея прельстить мочно...

Сенька улыбнулся:

– Ну, а ежели мне потребно глас испустить матерне?

– Ой, дитятко, то во хмелю едино лишь церковникам не возбраняется...

– Буду сидеть с бражниками...

– Ежели с бражниками, а впросят, како и чем благословен, скажуй: «Стихарем и нарукавниками меня-де благословил протопоп церкви Илии-пророка отец Савва». Ныне тот Савва вельми скорбен есте и в послухи на тебя не пойдет... Нарукавники с крестами, а их когда надеют, то возглашают: «Десница твоя, господи, прославися в крепости!» – Сверху мне манатья надобна.

– И манатью сыщу! Но все оно небасовито, черное.

– Ништо, дедко! Скуфью к тому черную надо...

– Черная камилавка монаху потребна, так я тебе монаший шелом сыщу с наплечками, с запонами крылатыми.

– Добро, старец!

– Уж коли добро, сынок, то вот те Микола-угодник – нищий я, и за рухледь деньги бы.

– Сенюшко, какие ему деньги!... – вскричала Улька. – Кто ж тебя? Он послал с умыслом на харчевой воеводин двор – оттудова в тюрьму берут!

– Племяшка, ой, сука ты... мы о деле сказываем, а ты поперечишь...

Сенька пошлепал тяжелой рукой по худой спине старика:

– Не трусь, старичище, отмцать не буду, а деньги за рухледь получишь... Меня нынче воевода с тюрьмы спускает, расковал – едино лишь ночую с сидельцами...

– Сатана, прости господи, наш воевода, кого – как: иного и пуцает, а там закует, и увезут... Так иду, несу рухледь! – Пономарь встал, ушел.

Сенька прислушался к шагам старика, помолчав, сказал:

– Скоро, Уляша, приду проститься! Уйду отсель...

– Ой, Сенюшко, родной ты мой, сколь вместех жили, любовались, ужели неминуемая кинуть меня подошла?

– Уходить неотложно, иначе пытки и казни не миновать... Воевода мое дело все знает. Ну, воевода не страшен, да страшны дьяки – прознали! Я же уйду к атаману Разину на Волгу, там меня им не достать!

– А мне как?

– Тихим походом проберись в Москву. Скоро, я чай, на Волге да и кругом будет побито и пожжено... переправить тебя надо от дяди в Тверицкую слободу...

– Только бы за Волгу переплыть... Тверицкая мне не надобна – уйду к своим, коих «бегунами» прозывают... Уж коли неминуемая, так дай налюбоваться на тебя... поплакать над твоей головушкой удалой...

– День, два, и приду...

– Ах, а я ждать и глядеть буду! Приди, Сенюшко!...

– Приду...

Вошел старик с охалкой платья, пахнувшего перегаром водки с примесью запаха ладана.

– Все тут – манатя, стихарь, орать да еще шелом монаший и оплечье...

Сенька примерил на себя, – все подошло, спросил: – А это что за подушка черная с крестами?

– Наплечник монаший, «параман» именуется.

– Ну, парамона на плечах таскать не буду!

– Параман, сынок, Парамон – имя, оно к стихарю и не подходит.

– Знаю, потому шутя говорю. А ты сыщи мне чернил да перо.

– У причетника все есть! Столбунец бумаги надобен ли?

– Неси и бумагу! Ульяна пока рухледь приберет, я приду потом, – деньги тебе теперь даст!

– Ладно, ладно, иду!

Старик скоро вернулся, принес бумаги, чернил и хорошо очинённое гусиное перо.

– Песочницы, сынок, не сыскал, писанье пепелком зарой.

– Ладно и без песочницы!

Сенька сел к столу ближе, разложил бумагу и крупно, с росчерками, написал: «Во имя отца и сына и святого духа...»

«Поди-кась... сам потюремщик, а святое имя помнит», подумал пономарь, покрестился, полез на колокольню. Когда взялся за веревки, то отнял руки и еще раз перекрестился: «Голубчики вы мои брякунцы, не чаял вас и увидеть больше, да пронес бог грозу мимо...» – И зазвонил. Отзвонив, еще подумал: «С племяшкой помаюсь! Состряпаю, за причетника постою, сведу любиться... пожива тут есть... и не малая пожива... Птичке зерно, а нам каравай хлеба давай – зубы берут!»

В полдень пономарь отыскал на базаре рыбы той, о которой говорил всегда: «Эта дошла!»

Рыба воняла в помещении звонаря и в сенцах. В пристройку к Ульке дверь была заперта. Старик, жуя от удовольствия губами, перемыл рыбу, посолил и посыпал мелко рубленным луком. Когда управился с рыбой, заглянул к Ульке. Увидав ее вдвоем с Сенькой, попятился, запер дверь и ушел со двора...

Сенька, уходя к Ульке из тюрьмы, прошел в воеводский двор. У ворот стояли два холопа из тех, что были с ними на грабеже,

– Вы, парни, обещались служить мне...

– Чего делать для тебя, Григорей? – Помним, от Домки спас!

– Малую службу вашу надо...

– Сполним и большую, коли укажешь!

– Запаситесь лодкой и, как лишь услышите звон к вечерне у Ильи-пророка, будьте на площади сзади поповских дворов у тына... Туда придет женка с сумой на плече, вы ту женку переправьте за Волгу, к дороге на Тверицкую слободу,

– Лодка будет, Григорей...

– На площадь придем...



– Когда вернетесь сюда и ежели Домка попросит вас ей в чем-либо помочь – помогите!  
– И чудной твой приказ, но сполним!  
– Знайте... – Сенька оглянулся кругом, сказал тихо: – Домка теперь за нас!  
– Ведомо нам... Сергуньку с Ивашкой велела расковать, спустить, им наказала: «Во дворе воеводы не живите, а то опять закует!» Стрелецкий десятник нынче пришел в съезжую избу, на городских стрельцов кричал, спрашивал: «Куда закованные сошли?»

– Десятника того уберем...  
– Ладно, Григорей, поможем!  
– К ночи вернусь!

Улька горевала... Она плакала, кидалась Сеньке на шею, и от mnogой кручины по нем с ней началась падучая.

Улька билась на руках любимого. Сенька не дал ей колотиться о пол, подхватив, держал под простыней.

После припадка Улька присмирела. Не сразу вспомнила, почему тут сидит ее возлюбленный. Тихо плакала и вдруг сказала:

– А лучше мне, Сенюшко, утопнуть в Волге. Сенька утешал подругу, как мог:  
– Увидимся... проберись в Москву, к Конону поди в Бронную. Живи у него – жди, приду...

– Ей-богу придешь, Сенюшко?  
– Приду...  
– Ой, убьют тебя!  
– Не убьют... Уж тогда буду жить и работать для тебя только...  
– Не стану плакать... буду тебя ждать...  
– Работай и жди – приду я...  
– Кои не померли, стариц сыщу... К Морозовой Федосье Прокопьевне буду ходить, ладно?

– Ладно, Уля, ходи!

В верхней каморке завозился старик, он скоро полез на колокольню. Сенька прислушался, сказал:

– В дорогу все есть?  
– А как с узорочьем – тебе-то надо деньги?  
– Бери все себе! Поцелуемся на расставанье... Помни! Радость великая будет, когда в Москве опять...

– Ой, и радость! Дай еще поцелую. Вот, вот, не забывай меня, родной...

Улька надевала на плечи суму. Сенька помог. Заметив слезы, строго сказал:

– Не плачь, Ульяна!  
– Не... не буду! – всхлипывая, ответила она. Шатаясь, пошла из избушки.

Вверху протяжно, но бойко звонили малые колокола...

Сенька раздвинул столбы старого тына. Еще раз обнялись, и Улька в прогалину меж столбов пролезла на площадь. К Ульке подошли два парня в серых сукманах:

– Тебя ли, женка, Григорей указал за Волгу?  
– Ее! – сказал Сенька, задвигая на прежнее место ограду. Парни поклонились Ульке, один снял с ее плеч суму:  
– Дай понесу, ты слабосила...

Они ушли. Сенька вернулся в построй звонаря. В Улькиной пристройке посидел у стола, склонив тяжелую голову на руки, потом тряхнул кудрями, сказал:

– Семен, петля еще на вороту...

Встал, развязал узел, надел стихарь дьяконский, запрялся орарем. Взглянул на свои стоптанные уляды, подумал: «У звонца обуток нет! Ништо, манатья закроет» – и вдруг вспомнил: «А посох? Посоха нет!» – потрогал под лавкой узкую кожаную суму на ремне, заменявшую набедренник, перебрал нужное ему: нож отточенный, пистолет, чернильницу медную. А как перо? – Есть! Нарукавники? – Тут. В тряпице? – Пушай... Посох надобен, а

тот черт дует к вечерне!

Сенька полез на колокольню. Увидал, войдя: на подмостках, перебегая с веревками в руках, двигался и приплясывал тощий старик, мало похожий на того, кто внизу просил не бить.

Старик на Сеньку метнул зрачками, продолжая вести звон.

Сенька огляделся, широкой грудью вдохнул прохладный воздух. Далеко поблескивали над лесом главы Спасского монастыря на Которосли-реке, там же близко рыжела каменная стена. Впереди – широкая, разлившаяся, вольная Волга, и на ней черная точка лодки... Грусть кольнула Сеньку, он отвернулся.

– Видатца ли, Ульяна? Прощай! Перевел взгляд на город.

Черные и серые домишки с гнилыми крышами в тесовых свежих заплатах казались совсем присевшими к земле... будто нес их кто-то большой, задел шапкой за облако и от холода в лицо споткнулся, рассыпал домишки, они пали кой-куда и коекак...

– Эй, старик! – крикнул во весь голос Сенька. Голос заглушал колокола, а прыгающий старик и лица не повернул. – Черт! Эй! Звонишь, будто в Христов день!

Старик, сжимая тощие губы, делал свое дело.

Сенька схватил в руку веревку самого большого колокола. Колокол молчал в стороне. Сенька дернул раз, два... Медный могучий гул загудел и поплыл над городом, Волгой и в заволжские равнины. На медный глас ответил издалека Спасский монастырь. Монастырский звонарь как бы спохватился, что тихо звонит... он начал звонить сильнее и сильнее.

Внизу, в городе, маленькие люди снимали шапки, крестились. Пономарь разом оборвал звон, замахал руками, подбежав, кричал:

– Сынок, не трожь тое колокол-о-о... Силушки моей нет в его звонить... а люди обыкнут, заставят, и мне службу кинуть. Жить еще лажу-у!

– Добро, не буду. Ты мне одежду дал, да посоха не припас...

– Припас, сынок, осон<sup>318</sup> старинной! Как в сенцы зайдешь, ошую чуланчик... в ем и осон стоит в углу...

– Звони, прощай – больше не приду!

– Што так? Ай воевода спускает?

– Спустил... Ухожу от твоих мест!

– С богом, сынок, с богом!... Ну, я звоню... Пономарь взялся за веревки, колокола запели.

– И э-эх, кабы правда! Я тогда племяшку свою за причетника окрутил бы...

Старик звонил больше, чем надо, а Сенька, одетый монахом, выходил из церковной ограды. Люди, идя в церковь, говорили:

– Экой монашище... иеромонах, должно?

– Борода кратка!... Чин зри в долгой браде...

Еще не было отдачи дневных часов, а пастухи из-за хмурого дня загоняли скот в пригороды Ярославля. Стадо овец подпасок загнал близ дороги в мелкое болотце, иначе боялся отведать помещичьей шелепуги. По дороге верхом, с шелепугами, плетью и пистолетами за кушаками, в scarлатных и простых суконных кафтанах проезжали помещики на сытых лошадях. Горожане, на скачущих толпой или одиноко едущих поглядывая из-за углов и полураскрытых дверей, переговаривались, боясь громко кричать:

– Едут! А поди, многих их ограбил наш Бутурлин?

– Они и сами глядят того же...

– Мужики-то у их многи на правеж забраты, раздеты до нитки-и!

– Тише... учуют – беда!

– Старосты губные сыск ведут... боятца, как бы чего не было от мужиков помещикам!

– Ни... боятца пустого... мужик смирен, в кут загнат!

---

318 *Осон* – посох с железным концом; подобным Иван IV убил сына.

- Во, во как пошли! Грязь выше хором из-под копыт...
- Ух, и запируют!
- Тогда пуше берегись. Купцам лавки беречь надо!
- Сторожама наказать, штоб не спали, глядели в оба пожара для...
- Поди ночуют? Спать у воеводы есть где!
- Все едино опас надо иметь.

С Волги нагоняло туманы, и с Волги же в туман вливался смольливый дым рыбацких многих огней... Дороги размякли. Кусты и деревья без дождя подтекали и капали. Молодая зелень пушилась от многой влаги – набиралась сил. Сегодня от раннего сумрака лавки, особенно иностранные, раньше закрылись. Городовых стрельцов было мало, после отдачи дневных часов редкие часовые у стен и лавок разбрелись по домам: «Чего у стен разбитых в ночь стоять!»

Сторожа, постукивая в свои доски, сменили стрельцов, – они перекликались меж собой, а озябнув, шли греться к рыбацким огням на Волгу. Их тянуло к тем огням и любопытство. У огней всегда рассказывали о новом разбойном атамане Стеньке Разине: «Сидит-де на острове у Качалинского городка Разин... К ему много голышей и бурлаков побегло!»

- То-то, братцы, ужо воеводам работы прибудет!
- Наш-то Бутурлин, сказывают, боитца?
- Кабы не трусил, то наказов и не давал... Што ни день – наказ: «Живите с великим береженьем... да как-де воры на Волге и у вас, тверицких слобожан, не бывали ли?»

Один из сторожей с боязнью заговорил:

- А быть неладному в воеводском дому!
- Пошто, борода с усами?
- А вот и борода! Как отдача часов кончилась, к воеводскому дому монах с посохом пробрел...
- Может, он к Спасскому монастырю пробирался?
- Да и где не бродят чернцы! Пустое сказывает борода...
- Жители, кои видали того монаха, крестились да говорили мне: «Ты, Микитушко, видал ли монаха?» – «Видал», – говорю. – «Так-то де смерть воеводина пробрела...»
- Ну уж, впервые чернцов зрят, што ли?
- Так ли, иначе будет... може, не воеводе, а городу опас грозит! Эй, хто тут сторожи? Выходи на вахту – я тож пойду!

– Погрелись – и будет, – все идем!

Воевода в байберековом<sup>319</sup> кафтане, по синему золотные узоры, расхаживал по своей обширной горнице, устланной коврами. Правой рукой старик теребил жемчужные кисти такого же байберекского кушака. Горницей проходила Домка, наряженная попризничному. Домка – в белой шелковой рубахе, рукава рубахи к запястью шиты цветными шелками. От груди к подолу, поблескивая рытым бархатом<sup>320</sup>, висел на ляшках распашной саян, оканчивался саян широким атласным наподольником таусинным. Саян этот – дар воеводы.

- Стой, Домка! – остановил воевода. Могучая фигура Домки покорно застыла.
- Одета празднично, а лицо твое хмуро... Зови, девка, с поварни помочь тебе, кого хошь...

Домка поклонилась:

- Ни, отец, на пиру мы и с Акимом управим... было бы на поварне налажено все...
- Замешка, нерадивость в поварне кая будет, скажи – сыщу! Столы приставь к этому да сними с потолка из колец дыбные ремни...

Домка пошла. Воевода сказал ей:

<sup>319</sup> *Байберек* – крученый шелк с узорами.

<sup>320</sup> *Рытый бархат* – бархат с тисненными узорами (от слова «рыть»).

– Кличь дворецкого!

Дворецкий, одетый в темный бархатный доломан, вошел, приседая и низко кланяясь:

– Звал меня, батюшко?

– Звал... Хочу спросить тебя, старик, – с честью ли ты отпустил сыновнего посланца и сказал ли ему: «Все, Феодор, сын мой, исполнено будет...»

– Сказал, батюшко воевода. С честью отпущен был московский слуга. Трое стрельцов были дадены проводить до дальних ямов, почесть до самой Троице-Сергиевой...

– Добро! А еще сумнюсь я – наедут ли гости? Мног страх вселяю им...

– Наедут, батюшко! Холопи доводили: «Гонят-де по дороге многи конны люди, обрядные...» То они. Будут гости, не сумнись...

– Иди и за воротами встречай с честью...

– Чую, иду!

Дворецкий ушел, а воевода, походя, думал: «Угрозно пишет сынок: „...и ежели ты, батюшко, не угомонишься, то великий государь призовет тебя и грозит судить в Малой Тронной сам, как судил Зюзина Микиту!“ – Зюзина Микиту судить было близко... мы же здесь дальние, а потому и своеволии...»

Подошел к иконостасу в большом углу, поправил тусклые лампадки, замарав пальцы маслом, вытер о подкладку дорогого кафтана. Покрестился, фыркнул носом: «Гарью масляной запашит! Ништо, скоро вином запахнет». Опять стал ходить и думать: «Да, удалой прибежал к нам забоец и грамотной много... и был бы бесплатной подьячий, только надо немедля оковать, сдать Москве! А с Домкой как? Да также и Домку... Неладно, похабно кончить с умной, ближней слугой – без рук стану, без ног... только честь боярскую и шкуру оберечь неотложно... Жаль отца да везти на погост! Землю слезами крой и могилу рой... так, неминучая... Дам жратву московскому болвану в Разбойной приказ, тогда минет к нам Микиткина гроза!»

Гости расселись. Иные боязливо оглядывались на Домку. Домка с дворецким, лысым, хитрым, преданным воеводе стариком, обносили гостей закусками и водкой. Закусив многими яствами, начиная с копченой белуги и грибов, гости приняли по второму кубку. Тогда воевода в конце стола встал, высоко подымая кубок, сказал во весь голос:

– Радуюсь, соседи, великой радостью радуюсь, што не покинули одинокого старика и брашном нашим не побрезговали! Нынче и всегда пьем за великого государя всея Руси Алексея Михайловича – здравие!

– Пьем, воевода!

– За благоверную царицу Марию Ильинишну пьем!

– Пьем, боярин!

– За благоверных царевичей и великих князей Алексея Алексиевича, Феодора и Симеона пьем!

– Пьем, боярин Василей!

Пили за царевен, поименно перебирая всех, за теток царских и царицыну родню – за Милославских и Стрешневых. Пили водку, ренское, романею...

Языки гостей развязались. Многое, накопленное про себя, изливали вслух. Воевода захмелел. Взгляд его, переходивший из тусклого в зоркий, теперь потух. Кто-то кричал через стол:

– Кольца в матицах, боярин, да верви дыбные ты посни-ма-ал!

– Хе-хе-хе...

– Верви не для ва-а-с! Они своевольство холопей моих обуздывают!

– То-о... ве-до-мо-о!

– С чем гнал к тебе московской гонец?

– Воздать поклон от сы-на-а!

– Буту-р-ли-ин, ты бе-е-с... хитрость бесова-а твоя-я.

– Спаси бо-ог! Грехов на мне-е не-ет... свое-е-вольство, соседи-и!

– Мы с тобой пируем, боярин, а гляди – твои холопи ножи точу-у-т?!

- Со своевольниками, сосе-ди-и, скоро расправлюсь,
- Лжет боярин!
- Лжешь! А Дом-ка-а?!
- Хо-о! До Домки руки твои не дойдут!

Воевода пьяным, тусклым взором окинул горницу. Домки не было.

- Любишь Домку-у пуще всякой правды-ы... хо-хо-о-о!
- Домка, соседи, на сра-мной телеге будет первой головой!
- Ужели Москве дашь До-о-мку-у? – Дам, и ско-о-ро дам!
- Тогда, Бутурлин, боярин, все мы заедино челобитчики твои...
- Челобит-чики-и у великого госу-даря-а!
- На днях сих, соседи, До-омку шлю!

За маленькой дверкой спальни, слыша свое имя, остановилась Домка. Из спальни боярина шли лестницы на поварню, в подклеты и конюшни, а также на случай опасности и дверь в сад.

Подслушав, что кричал о ней воевода, Домка похолодела и чуть не уронила из сильных рук тяжелую серебряную мису с кушаньем.

«Делала, как Сенька учил... боялась – надо делать смелее, и все!» – мелькнуло у нее в голове.

Дворецкий разливал вино, бойко подносил гостям. Принесенное Домкой кушанье торопливо рыл на серебряные тарелки лопаточкой из мисы. Домка вино и то, что приносила, молча ставила в углу на дубовый обширный стол. Дворецкий, беря от нее принесенную мису, сказал:

– Сам я вина не пью, не пробую, а ты не сплошись, баба, берегись дать вина из бочек, кои в углу собинно стоят, – зелье в ем!... Оно не этим гостям поноровлено, а ворогам воеводским...

– Знаю, дедушко, цежу из висячих.

– Я потому – што зело скоро хмелеют гости... и наш как в мале уме стал.

– Мир у их седни с воеводой... пьют на радостях. Ты без меня управишься ли? За поварятами гляну да двор огляжу.

– Поди, поди... управлю един! Пить стали как бы и не гораздо.

Еще раньше Домка улучила время, вызвала в подклет трех бойких холопов, двое из них были раскованы, выпущены из приказной избы, а третий – бывалый с Домкой на грабежах.

– Тое вино, парни, несите стрельцам! Воевода сказал:

«Пейте, начальников над нами седни нет...» У воеводы нынче пир на радость всем...

Домка отпустила три больших бочонка и еще на три указала:

– А эти три дайте, когда то кончат. Один бочонок стрельцам, два сторожам – в тюрьму.

– Спроворим, могнуть единожды, Домна Матвевна! Теперь, сказавшись дворецкому, Домка накинула на плечи сверх саяна киндяшный кафтан, вышла на двор проверить задуманное... В сизом сумраке двора в углу не то храпели люди, не то кони хрустели овсом у колод.

«Добро и то, што помещичьи кони не в конюшне...» – подумала она.

В углу двора – густые, помутневшие в тумане хмельники. За ними у тына шумят и маячат на водянистом фоне неба вершинами вековые деревья. Оттуда навстречу Домке двинулся, шаркая по песку посохом, черный монах. Подойдя, переждав шум деревьев, сказал тихо:

– Домна!

Домка не узнала голоса, вздрогнула. Он прибавил:

– Петля с нашей шеи пала... Вглядевшись, Домка поняла:

– Ой, Семка, дрожу вся и... делаю...

– Делай, как зачала... Стрельцы спят... остойся, услышишь храп...

– Ох, то еще не все!  
– Карабины с них снял – кинул в яму за тын... пистолы, сабли в углу у хмельника, нашим пойдут...

– Стрельцы ладно, сторожа как?

– Холопы, Кой уйдут с нами, мне довели, что сторожа, как и стрельцы, пьяны...

– Спешы, Семка! Помеха кая есть?

– Убрать надо пуше стрелецкого десятника – злой пес, не пьет вина... Домна, а наверху что?

– В терему мертвецы, кроме дворецкого... Помни: кого рыну с лестницы – кончай!

– Уберем! Ночь пала лучше не надо – с разлива туманов тьма...

– К тюрьме, Семка! Видеть хочу, што там.

Из загрязненного тюремного рва подымались тинные запахи. Смутно и хмуру кругом. Впереди Домка, сзади высокий черный с посохом перешли мост, пролезли в черные мало открытые ворота. Близ ворот в густом сумраке, без единого огня, караульная изба бубнила пьяным говором. Кто-то пел:

Ходи изба, ходи печь!  
А старухе негде лечь ...

В сенях избы слышался строгий окрик:

– Не петь, пьяные черти! Эй, стрелю!

Перед дверями тюрьмы на корточках богорадной сторож возился с фонарем, ворчал;

– Кой бес, прости владыко прегрешение, фонарь сбил? Двор да тюрьма в тьме утопли.

– Дедушко, а ты бы сторожей помочь звал...

– Кто тут? Ты, Матвевна? Сторожа, матку их пинком, забражничали, а как? – не пойму... Языки деревянны, зрак тупой...

– Да... поваренок доводил мне – стрельцы вино с подклета брали...

– Мы-то с тобой, Матвевна, моргали чего? Кому верит воевода? Тебе да мне!...

– Некогда мне – я с гостями наверху!

– Не ведаю вины, а с меня сыщут... Дай бог, шток нонешной пир нам кнута на спину не припас...

Сенька медленно подошел.

– Тут кто черной с дубиной?

– Аз иеромонах смиренной... Не дубина, сын мой, – посох... обитель благословила им...

– Я не благословляю? Ставь к стене. Пошто идешь?

– Его, дедушка, веду я... У тебя старцы есть, так один лежит при конце живота...

Сказали...

– Утром зрел – и будто оба целы были.

– А заодно довести пришла... проведала я через холопов – из тюрьмы старцев с подоконья лаз роют!

– Ой, Матвевна, такое статощно... погнило с окон, и окна вросли. Думал уж я... Пойти глянуть неотложно... Огню надо. Э-эй, власть, неси-ко свет да ходи со мной и ты, оружной, эй!

– Слышу!

С зажженным факелом в левой руке, с пистолетом в правой из распахнутых дверей караульной избы вышел стрелецкий десятник. Поблескивая выпуклыми глазами, тряся бородой, громко и сердито говорил:

– Сменить тебя надо! Стар ты – не назришь своих слуг и грозы на них, не держишь. Меня задержали дела в приказной избе, а ты распустил всех и не ведаешь, кой черт опоил весь караул? Своих в бока пинал – не встают, а твои с ног ваятца.

– Воевода, робятко, сказывают, указал пить!

– Воруют! Лгут!... Пошто идешь в тюрьму, патрахель?  
– Старца напутствовать... лежит – позвали. – Дай, богорадной, я отопру!  
– А не, робятко, сам я с ключами... сам!  
– Хорошо, сидельцы смирны, а то бы городских стрельцов звать пришлось...  
Богорадной отпер тюрьму.  
– Идем... они меня знают, завее один хожу! Домка сказала:  
– Так, дедушко, проведай ладом, мне потом скажи, а я пойду.  
– Поди, баба, мы без тебя...  
Когда Домка ушла, десятник поглядел ей вслед:  
– Кругом шиши... Людишки што ни день шатки... воевода свое думает и не бережетца... Я бы и эту воеводину слугу нынче припек, уж не она ли заводчица?  
– Гляди под ноги, служилой, порог худой... Она у воеводы первая, зря клеплешь...  
– Пушай первая... а как завтра здынетца воевода, идем к ему да кого надо возьмем на пытку!  
– Свети-ко! Сенцы погнили, мост дырявой...  
– Знаю, у него палачей нет, так я из стрельцов подберу. Заводчика, хто опоил службу, сыскать надо!...  
– Дай огню! Еще замок да замет сымем...  
В тюрьму вошли трое – Сенька впереди, богорадной за ним и третьим в шапке с заломленным шлыком, с огнем в руке десятник. Десятник, нахмурясь, водил глазами по сумрачным лицам сидельцев, кричал, тряся бородой и поблескивая дулом пистолета:  
– Прочь от дверей! Чего сгрудились?! Сесть на лавку, стрелю-у!  
Тюремные сидельцы покорно попятнулись в сумрак избы.  
Медленно прошли большую избу. Стрелец не давал сзади идти ни Сеньке, ни богорадному. Он держал наготове пистолет, а за кушаком у него торчали еще два. Богорадной вывернулся из-за Сеньки, открыл дверку в тюрьму старцев и бойко шагнул на огонек церковной свечи.  
Десятник, отстранив Сеньку, занес ногу шагнуть, но Сенька дернул Кирилку за полу рядна. Кирилка крепко взял за локоть десятника: «Остойся, власть!» – другой рукой припер дверь к старцам.  
– Дам те хватать!  
Стрелец скользнул пальцем по курку, но выстрелить не успел. В руке Сеньки из-под мантии сверкнул нож.  
– О-о-и-й!  
– Душу твою, баран! – сказал Кирилка, он быстро и ловко придержал за локоть падающего десятника. Переменив руку с локтя на воротник, вынул из ослабевшей руки факел, осветив близко лицо убитого. Пистолет десятника стукнул о пол. Сенька вынул нож из убитого, воткнувший по рукоятку в спину с левой стороны. Когда вынимал нож, то по телу убитого коротко прошли судороги. Кровью марало пол и кафтан стрельца.  
– Бери факел!  
Сенька принял огонь. Кирилка поднял теплого десятника, марая руки, сунул между печью и стеной на нары.  
– Я вовремя встал с места, теперь ты отдохни тут же! Богорадной сторож в избе старцев заботливо ползал под лавками; ощупав пол и окна, встав на ноги, сказал громко:  
– Слух облыжной! – Хмурясь, подошел к столу, у которого Лазарко дремал, а старовер читал Библию, накинулся на старовера: – Ты, неладной, пошто монахов вабишь в тюрьму?  
– Батюшко богорадной, ни он, ни я не звали сюда никого... Гришка и тот ушел от нас...  
– Не путай! Гришка живет с вами, а где он? Беспременно должен быть к отдаче часов...  
– Должно, опять его к воеводе взяли.  
– Пошто к воеводе? А там, в большей тюрьме, у сидельцев нет ли?  
– Може, есть... к нам не бывал...  
– Все лгут... не устройство... пьянство... ох, худо...

Выйдя в большую избу тюрьмы, богорадной увидал не порядок: десятника нет, вместо него с факелом стоит монах. Первая мысль старшего сторожа была закричать. Он сурово сжал губы, начальнически нахмурился и вдруг понял все: за печью на нарах увидал ноги стрельца в знакомых ему сапогах. Богорадной вспотел и начал дрожать. Поглядел на монаха прямо, шатаясь на ногах, нагнулся в сторону, оглядел сбоку, подумал: «Ужели ён?»

– Старик! – сказал Сенька. «Ён, господи... ён!»

В монашеском одеянии, при огне и вглядываясь, богорадной сразу не мог узнать Сеньку, потому что Кирилка до прихода сторожа тонким слоем сажи намазал лицо Сеньки:

– Чернец должен быть черным!

– Господи, спаси и сохрани... – шептал струсивший богорадной, не смея двинуться дальше дверей, видя перед собой пистолет и лужу крови.

Сенька, помолчав, продолжал:

– Ты не будешь убит, старик! Свяжем, кинем в сторожевую избу, в утре выпустят...

– Помаялись с ним, надо бы и с этим кончить, атаман, – сказал Кирилка, поднимая с пола пистолет стрельца.

Богорадной заплакал навзрыд:

– Робятушки... не я обижал вас – служба моя... Не отвечая Кирилке, Сенька заговорил:

– Стрелец говорил, старик, грозил воеводиной холопке Домке: «Она-де заводчица!» Я кандальник, но человек прямой.

Я, Гришка, заводчик всему! По моему наказу холопи схитили из подклетов вино, напоили твоих и стрельцов тоже... Домку не марай, когда наедут власти и тебя спросят!

– Так и скажу, робятушки! Ведаю – не Матвевна тут заводчица... только воевода, ён жестокой – на пытку возьмет, и за вас в ответе стану...

– Ведай – воевода на пиру опился смертно... мертвый с тебя не сыщет.

– Ой, што ты, Гриш... Григорей, не брусишь?

– Верь, говорю правду.

– Уж коли правда, Так царствие ему небесное!...-Старик, крестясь, заблестел лысиной.

– Пушай ему хоть водяное царство, не жаль! Сказ мой такой: не марай Домку, она невинна...

– Пошто марать? Грех душе оговор невинной чинить... а потюремщики, я чай, все разбрдутца?

– Старцы немощны бежать... тебе останутся... Ну, иди! Богорадного, подхватив, вывели из тюрьмы, связав руки, ввели в сторожевую избу.

– Ключи где? – спросил Кирилка.

– В кафтане, робятко, в кармане... тут! Руки, вишь... Вынимая из кармана богорадного ключи, Кирилка сказал:

– Атаман убивать не указал, а таже и рот конопатить, молчи и помни наказ: оговоришь Домку – убьем!

– Да я што, без креста, што ли?

Ушли. На сторожевую избу навесили замок и ключи в нем оставили.

В караульной Сеньки не было – он ждал Кирилку. Когда Кирилка вернулся в тюрьму, Сенька сказал тюремным сидельцам:

– Выходите все! Не топчитесь, тихо... будьте на дворе. Кирилл раздаст оружие, платье потом...

Сенька сказал Кирилке, когда вышли последние:

– Кирилл, во двор воеводский не впускать и никого со двора не спускать. Холопи, бабы, девки в дворе штоб в своих избах сидели... кой высунетца – бей по роже! Идем!

– А где оружие?

– Близ, где стрельцы спят, в углу у хмельника... иное наверху у Домки.

Выходя, топча гнилой пол сеней, Кирилка ворчал:

– Скупой воевода, не чинил! Сгнила тюрьма... Новой новую состроит...

Сенька думал свое, оставляя тюремный двор; идя, постукивая посохом, наказывал



Кирилке:

– У входа на лестницу в горницу воеводы к сходням крыльца на ту и другую сторону поставь бойких людей с топорами... кого сшибут с крыльца вниз – кончай!

– Будет справлено, атаман! Кирилка остался во дворе, а Сенька пошел за ворота воеводского дома, там у сараев сбил замки. В них томились мужики, пригнанные к воеводе на правож.

– Выходи, страдники!

Мужики не бойко выходили, крестились. Озирались в сумраке на черную фигуру большого монаха:

– Нам ба, отче святой, хлебца...

– Ноги не держат!

– Лапти и те просторны на ногах!

– Воевода кормил худче тюрьмы – кус хлеба, ковш воды на день...

– И тот ма-а-ха-нькой кус-от!

Сенька поднял посох, указал в сторону старого города:

– Вот, смотрите, многи огни в окошках.

– Зрим, то харчевая воеводина изба!

– Туда подите, требуйте пить и есть!

– А как нам за то воевода?

– Сядни у воеводы пир. На радостях указал вас отпустить, а чтоб не голодно было идти по домам, велел зайти в его харчевую поужинать!

– Вот ему спасибо-о!

– Добро нам, братцы!

– Придете, а кто будет поперечить вам, того бейте! Кто зачнет грозить – и убить не грех... бейте, а говорите: «Воевода указал пить и есть!» Слушайте еще наказ воеводы.

– Ну, ну, отче, сказывай!

– Воевода указал: как вернетесь домой, перебейте насмерть всех приказчиков и старост! Помещики зачнут грозить вам – бейте помещиков: «Наместник и воевода нам-де указал, а вы перечите!»

– Чудно нам, што говоришь ты, святой отец!

– Чернец, братцы, правду говорит, и мы ту правду сполним!

– На харчевой двор пусты не идите, берите по колу в руки...

– Дело привышное мужику с колом иттить... возьмем, отец!

Сенька проводил глазами голодную сумрачную толпу, шлепающую по грязи лаптями. Толпа брела густо и дружно, а когда утонула в тумане, он вернулся во двор.

Домка зажгла на окне сеней свечу. Окно воеводских сеней было маленькое, глубокое, слюда в оконце тусклая. Свечу Домка поставила в глубь окна, на окно из сеней привесила тонкую синюю завесу. Огонь мутно, чуть-чуть светил, и лиц человеческих в сенях, будто во сне, нельзя было разобрать. Сама она спряталась в чулан близ выходной лестницы.

В щель дверей она прислушивалась, и если пьяный гость выбредал в сени, Домка, шагая тихо валяными улядами, подходила сзади, хватала гостя за шиворот одной рукой, другой открывала дверь в повалушу, толкала туда гостя. Гость падал на мягкое, на бумажники, и засыпал. Бумажниками был закидан весь пол в повалуше.

Среди помещиков, приехавших на пир к воеводе, один был лакомый на пиры и боязливый. Воеводе он не верил, боялся его, а по дороге и других настраивал: «Не верить воеводе, не пить до ума помрачения, пуще же не ночевать в воеводском доме». Соседи, которых уговаривал помещик за столом, скоро забыли уговор не пить и напились крепко. Помещик был малого роста, широкоплечий, с большой русой бородой. Когда подносили ему вина или водки, он, поглаживая свою пышную бороду, говорил:

– Прощение старику! Я бы пил, да бороду марать не люблю... бороду! А дайте-ка мне меду...

Домка смекнула и меду принесла крепкого. Помещик чувствовал крепость меда,

огляделся за столом, увидел – поредел стол: «выходят?» – поглядел в конец стола: сам хозяин сидит, дремлет в кресле, тогда он решил: «не обидитца!» – встал, боднул головой и рыгнул. Ноги худо держали. Побрел на огоньки, забрел в иконостас, перекрестился было и блевал, а когда перестало тянуть нутро – ему полегчало, он протрезвился и заметил в стороне дверь. Проходя мимо пиршественного стола, к нему с ковшом меду в руке услужливо подошел дворецкий:

– Освежись, боярин!

– Не тот чин потчуеть, старик, не боярин я, всего лишь дворянин, прозвище Дубецкой, сын Иванов...

– Поди, коли так, проветришь, батюшко!

– Иду, старик, во двор, коня назреть – потому неровен путь, а место у вас темное...

Пошто, батюшко?

– Да, вишь, скажу тебе... тебе только-о... случаетца, у печи блины пекут, а за печью ножи точат...

– Не сумлись, батюшко, нынче воевода добер, были грехи да кончены... нынче не по-старому... Лошадку все ж наведай... порядно во дворе назри, а чуть што – ты на лошадку да за ворота и кличь караул...

– Пошто, старик?

– Вишь, скажу... Домка ушла, брашно занес поваренок и мне доводил: сторожа, стрельцы бражничают, а многи-де и спят!

– Слышу, старик! Они оба вышли в сени.

– Я бы сам постановил порядок, да от стола уттить не можно – воевода кликнет, а к услугам никого, и поваренка спустил.

– Так я наведу порядок, старик, на-а-веду!

– Вишь, какой это порядок? Сени сумрачны, лестница и того хуже... оступишься, голову убить мочно – лестница крутая... Тут ступенька, батюшко, да щупай стену, держись за ее...

Домка беззвучно шагнула, подняла могучие кулаки. Оба – помещик и дворецкий – полетели вниз от удара в спину.

Домка прислушалась: как там внизу?

Голоса не было, но хрустнули кости. Еще слышала, как кто-то рубил по мягкому, потом услышала чей-то незнакомый голос:

– Стой тут! Гляди других: кто сверху пал – кончай.

– Не пропущу, Кирилушко!

Домка сошла в пол-лестницы, сказала громко чужое ей имя:

– Кирилл!

– Кто зовет меня? – Я, Домка!

– Иду-у!

– Иди, веди своих по одному вверх...

– Чую тебя, иду!

На крыльцо поднялись двое: очень высокий человек и с ним маленький, юркий. Домка ввела их в сени, откинула на окне занавеску, взяла свечу и указала на дверь:

– Тут в повалуше спят помещики, прикажи своим по два, по три приходите туда, скидать свое платье в угол, помещичье снимать и надевать...

– Понял...

– Уходя, заведи из сеней с лавки барское оружие. Раздай своим. Рубахи, портки, кафтаны, однорядки вот тут, в чулане. Кто оделся, пусть идет на пир к воеводе и садится за стол, пьет, ест молча...

– Все смыслю – сам оболокусь да поем и чего изопью... Домка, беззвучно шагая, пошла, но вернулась, спросила Кирилку:

– Богррадной убит?

– Не, Домна, атаман указал связать, бит один лишь десятник стрелец...

– Делай! Домка ушла.

Кирилка обернулся к своему; – Ты в тюрьме scarлатной кафтан просил – нынче получишь!

– В ем я проберусь за рубеж, стану архиереем у раскольников...

– Делай, как умеешь... Только они тебя посадят на рыбу, иной еды не дадут...

– Ой, Кирилушко, пошто так?

– Архиереи у них постятца много... Поди вниз, зови наших!

Воевода, упившись вина, привычно всхрапывал в кресле... Его кто-то потряс за плечо. Он открыл сонные глаза, увидел перед собой монаха в черном... Мутными глазами старик силился оглядеть гостей... успокоился: «Все на месте и мне бы спать...»

За столом пируют соседи помещики... Молча пируют, будто вино и брашно многое их лишило языка и голоса...

Перед воеводой монах с молитвой надевает на правую руку нарукавник с крестами, и слышит воевода божественное: «Десница твоя, господи, прославился в крепости!»

– Так, так, стихарь... церковник – как и подобает за пиром у воеводы... за столом... так!

Черный перед ним развернул белую бумагу... откуда-то появилась чернильница. Сует перо в руку воеводе:

– Подпись надобна твоя, наместник... Сие неотложно, во имя господи и великого государя... Имя твое оберечь от врагов и поклепцов...

– Имя мое? Да, враги, поклепцы, знаю... Чего писать, патрахель черна? Чего? Господи, согрешаю, хулю монаший чин... раба твоего...

– «Перечневую роспись» подпиши! Дьяки велют, пригнали с Москвы, требуют...

– Ох, нет ее, нет...

– Есть, все на месте... едино лишь подпиши...

– Пишу спотыкчато... зрак не зрит... ум смутен...

– Пиши, руку твою поддержи... пиши.

Обрадовался воевода. Монах водил его руку с пером по бумаге, спрашивал:

– Како выводил букву «мыслете», а како букву «твердо»? «Аз» како изгибаешь?

Воевода упрямо стремился одолеть и сон и хмель, чтоб написать по-хорошему:

– Так вывожу! Вот так «зело» и «земля».

– Еще напиши: «А сидел у сей духовной замест отца моего духовного Саввы протопопи иеромонах Солотчинского монастыря смиренный отец Иеремия, а послуши были...»

– Пишу и плутаю, вираю – духовной? Не духовную завещаю – «перечневую роспись» подписую... вишь, помню?

– Пиши, то все равно! «...а послуши были...» «...а послуши были...» – написал воевода.

– Ну, все едино... спать мне... Эй, Домка!

– Домка придет! Еще попируем... пей!

Воеводе поднесли ковш хмельного меду, он выпил и скоро вновь захрапел.

### Глава III. На Волгу

Когда вынесли из дома сонного воеводу, укутанного с головой в одеяло, кто-то сказал:

– Седлайте коней! И еще голос человека в черном:

– Кирилл, отъедете берегом и не близко города, свезете доброго старика на Волгу... на ширину! В мешок камней... Неотложно сделать, пока не истекла ночь!

– Все ладно скроено, атаман, добрых людей прятать умеем. Волга примет!

Приторочив узел с воеводой, вся ватага, а с ней, среди тюремных беглецов, двенадцать воеводских холопов, двинулась берегом Волги искать атамана Разина.

Когда ватага объезжала старый город, он гудел набатом. Лаяли и выли собаки, стучали колотушки сторожей: в городе был пожар – горел между старым и рубленным городом воеводин харчевой двор. Люди копошились в улицах и переулках, брякали ведрами, стучали

ушатами, кричали:

- Мужики-и!
- Откель мужики-то?
- Правежники воеводины – спустил их!
- Накормили, напоили дьяволов, да водки дали мало... за то и запалили!...
- Сказывал я своим – быть беде городу-у! Монах черной прошел на воеводин двор...
- Видали того... Пошто тут монах! Мужики запали-и-ли...
- Вишь, гляньте, люди, воевода опять своих грабежников наладил куда.
- Глаз нет – то не воеводина ватага...
- Чья же?
- В скарлатных кафтанах многи да с пистоями – то помещики отгуляли у воеводы!
- И впрямь не воеводины!
- Берегом, все берегом забирают...
- Люди-и... буде вам! Идите на пожар...
- И-и-де-м!

В горнице воеводиной при свете лампы у образа Спаса и царского портрета над столом, теперь без хозяина оставленной, сидела Домка, опустив на бархатный саян, на колени, могучие руки. Голова склонена на грудь.

В горницу в узкую дверь пролез Сенька в монашьем платье.

– Все ладно, Домна, – сказал он, садясь с ней рядом на лавку.

Домка, не подымая головы, сказала:

– Сидит в потемках! Мои руки топырились: «Задущу богорадного!» Ушла – так мекала, без меня сделают... перво сторожа кончить, а там и стрельца! – Она подняла голову, хмуро взглянула боком на Сеньку. Сенька молчал. Она продолжала; – Вы же, сказали мне – десятника убрали, пошто же богорадной цел, пошто?

– Богорадного, баба, убить – тебе же лихо сделать! – ответил Сенька. Помолчал, и Домка молчала. Сенька прибавил: – Наедут власти, кто же за тебя станет? Богорадного первого призовут... Я бы стрельца убил, не вводя в тюрьму, но тогда пало бы пятно на тебя... богорадной ведь знал – ты привела меня!

– Вот за то и убить его!

– Богорадной упрям, он зачнет говорить властям: не она-де опоила стрельцов и сторожей, а я заводчик всему! Холопы женки тебя не любят, могут оговорить... поваренок видок есть... Богорадного показ-все покроет! Тоже знает он, что меня воевода из тюрьмы спущал на грабеж и по городу... Его показ – дороже его смерти! Ведомо ему и то – воевода верил тебе да богорадному...

– Да?... Ой, Семка, ведь правда твоя!...

Сенька вынул из пазухи сверток, передал Домке.

– Вот бумага... на ней писана твоя и иным холопам отпускная с подписом воеводы. А где письмо, кое писал я воеводе на скамье окованный?

Домка улыбнулась:

– Это то, что писано в ночь, когда мы дрались с тобой?

– То...

– В подголовнике у воеводы, видала, он сам чего-то писал в ём... Подголовник в подушках на кровати...

– Достань...

Домка привычно разрыла подушки, вытащила плоский конусный ящик, открыла его, достала письмо, подала. Сенька проглядел письмо, свернув, передал Домке:

– Пускай лежит... оно тоже будет к твоему оправданию...

– Слышала, нынче за столом сказал: «Дам ее Москве!» – меня, а все же в его крови я замарана...

– Крови старика не прольют... – А как? Ужели жива оставят?

– Утопят в Волге...

Домка перекрестилась. Минуту она сидела с опущенной головой, потом вскочила с лавки:

– Саян гнетет... упарилась я!

Она расстегнула узорчатые пуговицы на распашном саяне, кинула саян на лавку, в одной шелковой до пят рубаше с поясом пошла в горницу, где был еще недавно пир, принесла оттуда два ковшика серебряных и ендову меду.

– Садись на воеводино место к столу, теперь не забранит за то... пей мед! Чай, устал не меньше меня.

– Дай выпью, и ты пей!

– Един ковшичек мочно...

Она налила два ковша до краев, сказала:

– Ну, кабы бог дал, сошло по добру, как говоришь, и жисть за тебя отдать не жаль...

Они выпили, не чокнувшись.

– Еще один, со мной...

– Не огрузило бы... не все сделано... Крепкой мед... Выпили.

– Ты скинь это монашье, кафтан наденешь суконной, запасла и сапоги ладные, не тесны будут... шапку с верхом кунным... черное твоё спалю в печи.

– Добро, Домна! Знай, кто бы ни наехал на воеводство, злой к тебе или доброй, оставлю парней глядеть, чтоб лиха тебе не учинили...

Сенька сбросил с себя мантию, шлем монаший с наплечниками, стихарь и содрал с ног прилипшие стоптанные уляди.

– Рубашу кинь, в поту вся, оденешь чистую.

Пока переодевался Сенька, Домка на ковер на пол кинула перину и одеяло, сбросила на лавку пояс, округила густые волосы тонким платом. Перекрестилась, легла, сказала ровным, спокойным голосом:

– Я легла, ложись ко мне... – Ну, Домна, я женатой...

– А мне кое дело? Бабой кличут, бабой и быть хочу!

– Я уйду, Домна, ты знаешь...

– Сама взбужу, ежели крепко задремлешь. Коня налажу и провожу – догоняй ватагу.

– Ты можешь лучше меня мужа прибрать...

– Таких, как ты, ввек не приберу, а худой попадет – задушу в первую ночь...

– Вот ты какая!

– Ух, молчи! Дай обниму... Чужой кровью пахнешь? Ништо, целуй!

– Муженек, не пора неговать себя...

Сенька открыл глаза и не сразу понял, где он.

Перед ним стоял воин в железной шапке, в кожаной куртке, под курткой – кушак, за кушаком – пистолеты. Стряхнув сон, понял, что его звала Домка. При желтом свете лампадки оделся, обулся, по кафтану запрясал кушак с кистями. Домка сунула ему два пистолета и сулебу:

– Бери, заряжены оба.

Сенька привесил сулебу и принял пистолеты надел шайку:. Домка открыла тайную дверь, завешенную малым ковром. От лампадки зажгла свечу. С огнем свечи провела потайной лестницей в сад. Выходя, огонь задула, свечу оставила; на лестнице.

Светало. Пели вторые петухи. Туман: стал белесым: и похолодел.

Когда прошли тын, Домка сказала:

– Иду за конем, жди у пустыря.

Вернулась в сад и мимо тына, согнувшись, пролезла под воеводино крыльца Боясь замарать мягкие уляди в крови, осторожно перешагнула два безголовых трупа – дворецкого и помещика.

Распахнув ворота в конюшню, увидела немого конюха: лежал, связанный, в яслях, свистел носом в солому – спал.

Вывела двух коней, оседлала, на своего накинула суконный чалдар.

Осторожно открыла ворота, но когда выезжала, то одна из холопских женок выглянула за дверь избы и усунулась обратно:

– Черт понес дьяволицу эку рань..., на грабеж, должно?...

Сенька вскочил в седло. Они с Домкой через пустырь тронулись легкой рысью, норовили ближе к берегу Волги. Отъехав верст пять, остановились у опушки леса.

– Я чай, Семен, твои не далеко и ждут?

– Сыщу своих! Вороти к дому...

Она, придвинув коня, нагнулась к нему, поцеловала в губы, сказала:

– Своим накажи и ты знай: будет, може, погоня... переберитесь за Волгу и на костромские леса утекайте...

– Не пекись! Сыщут – дадим бой... своей вольной волей и головой бью тебе до земли... знай, не оставлю без призора... не бойся...

– Скачи, милой!

Сенька уехал по берегу. Домка долго глядела ему вслед, вздохнула глубоко и, тронув поводья, повернула к дому.

Когда подъехала к старому городу, начинали звонить утреню.

Она увидела между старым и новым городом пожарище. Головни ра?рывали бердышами городовые стрельцы.

«Тут был воеводин харчевой двор», – подумала она.

От нее сторонились идущие в церковь.

– Бедовая, сказывают?

– Сила мужичья! Недаром у воеводы правая рука.

В конюшне Домка, поставив коня, освободила от пут немого конюха. Развязанный немой делал ей знаки руками и губами:

– Холопи увели трех коней!

Домка беззвучно вошла в сени. Проходя в горницу, скинула крюк с повалуши, где спали помещики. Мимоходом распахнула пустой чулан, в нем еще недавно висела одежда гостей. Прошла в спальню боярина, убрала свою брачную постель; убирая, крестилась, вытащив сунутый под подушку тельный крестик. «Без венца спала... Господи, прости рабу Домну!»

Убрав постель, спрятала за тайную дверь монашескую одежду Сеньки, сама переделась в черное, села на лавку близ стола воеводы. Хотела задремать и вздрогнула:

«А ковши? Ендова?...»

Тихо брякнув ковшами, утопила их в ендове и вынесла в горницу, где пировали гости.

«Дух тяжелой», – подумала она.

На столе было накидано костей, кусков хлеба и пирогов. Скатерти залиты вином. Не трогая стола, подняла и опрокинула кресло воеводы на спинку. Оглядев горницу, потушила вонявшие гарью лампадки иконостаса. Придя в спальню, села там, но ее беспокойство не улеглось: встала, крадучись сходила в сени, принесла топор, кинула у дверей. Теперь она знала – сделано все, но задремать ей не пришлось.

По двору, ругаясь, стали бродить похмельные стрельцы. Кто-то подымался на крыльцо, вошел в сени... постоял, затем в горницу...

Домка ждала, долго не шел, потом робко перешел по коврам, тихо и неровно ступая, открыл дверь в спальню, согнувшись, желтея лысиной, пролез в низкую дверь...

Домка увидела богорадного.

– Матвевна, с повинной я к отцу нашему...

С окаменевшим, бледным лицом Домка поднялась с лавки, зашаталась, оперлась о стену, сказала:

– Дедушко, беда... твои разбойники сидельцы схитили отца нашего воеводу... забрали оружие... забрали одежду помещиков, коней ихних... лезли сюда – я топором отбивалась, штоб не грабили дом... вишь, вот этим... Спалить хотели... Пуще всех был Гришка, он заводчик всему, а воевода его расковал, колодник служил воеводе за подьячего и вот...

гляди, што изошло!...

– Великое горе, Матвевна! И я, старой черт, того Гришку не раз спускал по городу... чаял: воевода расковал да берет его в ездвые – беды нет... И тихой был, покладистой до прошлой ночи... Ночью же... и ведь ты привела ко мне чернеца?

– Я, дедушко, в том вина моя... не узнала разбойника...

– Где узнать, Матвевна? Я и то, уж на што глаз мой зёрок, покуда не заговорил со мной угрозно, не узнал...

– Вот, вот, дедушко... говорит книжным говором, молитвы четет, мекала – монах...

– И вот он какой монах! Ой, беда!... Зашли мы с десятником, я к старцам, а они того десятника, будто кочета, зарезали, аж не пикнул... Ой, беда нам!... Гуляли, пили и воеводу упустили...

– Куда я нынче без моего благодетеля, сирота, денусь? И как он меня любил! Я, дедушко, коня в утреню оседлала, ездила в догоню... чаяла – не привязан ли где к дереву, – и нет!

– То опасно, баба, одной ехать – их ведь много, да все оружны! Разбойные люди... как кочета, зарежут... Десятник-то оружной был и, будто младень, сунут за печку тюрмы...

– Поди, дедушко, буди помещиков гостей, спят в повалуше... Думать надо, што делать нам.

– Взбужу! Ума не прикину... што мне, старому черту, будет, не ведаю... ой!

Богорадной пошел.

– Погоню собрать, погоню!

– Ой, Матвевна, собрать-то мало кого можно... у кого рогатина, а у иных и тоя нет. Ужо-ко я помещиков созову...

«С глупыми старыми легко... а как ужо злые, хитрые наедут, спаси бог!» – подумала Домка.

– Ивашко Бакланов, да хоша ты и думной дворянин, грамоту и вдолбил себе, а все ж без нас, подьячишек, тебе ни плыть, ни ехать! – ворчал Томилко Уткин, вытирая у порога грязные сапоги о дерюгу. На улице в сумраке он брел грязью – был дождь.

Размашисто, по-пьяному, молился в большой угол, больше на огонь лампадки, чем на темные безликие образа. Помолясь, высморкался. От лампадок в избе разлит сумрачный свет? и воняло нехорошо. Из прируба вышла толстая баба, по волосам кумачный платок, на плечах серая рубаха и синие лямки от набойчатого сарафана.

– У, бражник! И где до сей поры шатался? – проворчала она.

Томилко ответил:

– Там, Устеха, где надо-о!

Подьячий подошел к столу в большой угол, вынул из пазухи киндяка, запоясанного тонким ремнем, тетрадь, отмотал с нее шейный плат и плат и тетрадь сунул на стол. Ворчал:

– Тоже думной... укажет государь, чего исписать... он и-испишет, да начерно... «Начисто перепиши, мне недосуг!» Навалил вот работы в ночь... добро, што хмельным угостил... пили, ели... на его писанье вапницу запрокинули... «Ништо-де, разберешь!» и-и-к, угостил... Закусить пряженины с чесноком, Устеха-а! – заорал, подняв голову, Томилко.

– Чего, неладной, гортань дерешь?: – Ква-а-су!

– Принесу! Заедино говори, еще чего?

– Свету дай! К завтраму указано: «Пиши, Томилко-о!» Баба неповоротливо ушла в прируб. На столе появилась свеча с огнем в подсвечнике с широким дном и деревянная чашка квасу.

– Пиши... да не воняй гораздо – седни от клопов лавку, где сидишь, целоком поливала...

– Лжешь. Воняю не я – солону треску завсе варишь... редьки натрешь, не жрешь, то и воняет...

В раскрытых дверях баба остановилась:

– Не пражениной ли тебя чествовать? Засиделся, вишь, в кабаке... без тебя просители были с посулами да посулы те уехали к другому...

– Посулы? Мимо не пронесут, вернутся к Томилку;, Эй, квасу, ступа еловая!

– Зрак не зрит? Щупай! Квас на столе.

– Добро, поди спи...

Томилко снял с ремня медную чернильницу, откупорил узкое горлышко, заткнутое гусиным пером, раскрыл тетрадь. Под руку лез плат, столкнул плат под стол. Сел на лавку. Хлебнув из чашки квасу, подтекая бородой и усами, придвинул ближе свечу... задумался, что-то вспомнил, полез рукой за пазуху, выволок затасканный плисовый колпак, обтер конец пера краем колпака и, помакнув снова перо, стал писать: «1668 год, марта в пятнадцатый день, на Вербное воскресенье великий государь ходил в ход за образы к празднику „вход в Иерусалим“, что на рву. А с ним, великим государем, царевич и великий князь Алексей Алексиевич... А вверху оставил государь боярина князь Григорья Сунчулевича Черкасского да окольного Федора Васильевича Бутурлина. А как великий государь...»

– Фу, черт! – залил вапой, как хошь разбери... – Томилка выпил квасу, руку с пером оставил, свободной рукой рукавом утер усы и бороду, «...и сын его царевич...» – Должно, так тут стояло? – «...пошли за вербою с Лобново места в Кремль, и от Лобново ехал на осляти святейший Иоасаф<sup>321</sup>, патриарх Московский и всея Руси. А осля вел по конец повода великий государь<sup>322</sup> царь Алексей Михайлович, самодержец, и сын его, государь царевич Алексей Алексиевич... Вел осля посередь повода, поблизку за ним государем царевичем, по указу великого государя, боярин князь Никита Иванович Одоевский, а под губу осля вели: патриарш боярин Никифор Михайлов сын Беклемишев... да патриарш казначей. А святейшие вселенские патриархи<sup>323</sup> в ходу не были. Были в то время у себя и как великий государь царь Алексей Михайлович и сын его государев великий князь Алексей Алексиевич шли за образы и святейшие вселенские патриархи в то время смотрели из своих палат и великого государя и царевича осеяли. И великий государь и сын его государев царевич посылали о спасении спрашивать боярина князь Ивана Алексиевича Воротынского...»

– Святейших кир Паисия папу и патриарха Александрийского да и Макария, патриарха Антиохии и всего Востока, Никон, сказывают, обозвал нищими! – сказал про себя Томилко... Его клонило ко сну. – Нищие и есть! Греки, а шлятся у нас да дары емлют... Святейшие, а поди таем жеребятину жрут? Скушно одно, давай испишу другое:

«Апреля с семнадцатый день на именины царевича и великого князя Симеона Алексиевича великий государь ходил в соборную церковь к обедне, а вверху оставил государь боярина князь Никиту Одоевского Ивановича...»

– Вот черт, исписать надо Никиту Ивановича, потом Одоевского... И спать клонит! Устеха поди ждет, злитца... Куда ходили они, кое мне дело?... Ух сосну пойду, ноги стынут... в утре испишу...

Царь от хождения за вербой и по монастырям, где встречали его ужинами с крепким вином, почувствовал себя нехорошо:

– Голова свинцом налита и по брюху вьет!

Велел истопить баню. В баню потребовал рудометда Артемку кровь пустить, но рудометец царский заболел на те дни. Резать себя другому царь не доверил, а приказал

---

<sup>321</sup> *Иоасаф* (ум. в 1672 г.) – патриарх, избранный в 1667 г. после суда над Никоном.

<sup>322</sup> *А осля вел... великий государь...* – «Шествие на осляти», торжественная процессия, совершавшаяся в вербное воскресенье, во время которой царь вел за повод осла, на котором сидел патриарх.

<sup>323</sup> *Вселенские патриархи.* – Для суда над Никоном в Москву прибыли александрийский и антиохийский патриархи.



парить. Парили царя три раза посменно. Из бани царь прийти не мог – его принесли в кресле. Он разболелся. Пуще разболелся, когда дьяк вычитал ему вести со всех концов Руси Великия, Малыя и Белья...

Из Ярославля дошло:

«Тюремные сидельцы забунтовали, избрали атаманом какого-то Гришку, с тюрьмы сошли и воеводу Бутурлина с собой взяли, а на бегу, должно, боярина и кончили...»

С Украины вести еще хуже:

«Ивашко Брюховецкий гетман изменил, и тебя, великого государя, место дался султану турецкому... Вор Петруха Дорошенко да с черкасы из-за порогов, да с ордой Крымской с боем отбил от Котельвы наши войска с князем и воеводой Григорием Григорьевичем Ромодановским и князь Григорий Григорьевич с боем же ушел до Путивля, сел в осаду, осадный в товарищах ему Василий княж Борятинской... Под Путивлем место чисто. Орда ушла в Крым.

У Гайворона нашу государеву рать разгромили татары в пути и воеводу, сына Ромодановского, княжича Андрея увели в полон в Крым<sup>324</sup>...»

– Не чти боле, дьяк, хватит и этого...

Царь слабо махнул рукой. Дьяк поклонился, собрал на столе бумаги, пошел. Царь прибавил:

– Пиши князь Григорью... с Путивля гонил бы до меня не медля часу... «Сам-де государь хочет знать об Украине правду...» За себя в осадных пусть оставит Борятинского.

– Исполнено будет, великий государь...

– Грамоту с гонцом шли спешно!

Дьяк ушел, а царь, катаясь по кровати, крестился и, охая, говорил:

– Встать мочи нет... лежать времени нет... К Ильинишне моей надо сходить – и не могу... надо к ей, тоже недужна... Женили... боярство дали брюхатому черту<sup>325</sup>, он нас женил на измене... Ох, что из того изойдет? Воевод побьют...

Вошел постельничий Полтев тихо, как кошка, и тихо спросил: – . Угодно ли чего великому государю?

– Мне угодно? Зажги, Федор, водолеи... лампы образные погаси, фитили зажми – масло греет воняет...

В спальне у образов замигали свечи, стало сумрачнее... На дне чашеобразных паникадил тусклым золотом светилась вода. По образам от дорогих камней в узорчатых окладах – изумрудов и яхонтов – задвигались цветные лучи и круги. Постельничий незаметно исчез. Царь задремал...

Дни шли... Сегодня на царских сенях вверху отпели заутреню. Боярин Никита Одоевский тихо, как и постельничий, прошел к царской спальне. Открыв беззвучно тяжелую дверь, просунул голову. Царь, сидя на постели, молился, читал «канон великий» Андрея Критского<sup>326</sup>. Боярин дожидался, когда царь кончит слова молитвы.

– «Откуда начнут плакати окаянного моего жития деяний, кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?...» Прервав молитву, спросил: – Чего Иванычу?

Боярин, шурша парчой ферязи, пролез к порогу спальни, запер дверь, поклонился:

– Великий государь, Ромодановского воеводу князя Григорья призывал ли?

– Гонец послан за ним – жду. Одоевского сменил Ромодановский.

---

<sup>324</sup> ...сына Ромодановского, княжича Андрея увели в полон с Крым. – Сын Г. Г. Ромодановского Андрей в 1668 г. был захвачен в плен татарами и отпущен лишь в 1681 г.

<sup>325</sup> Женили... боярство дали брюхатому черту... – В 1665 г. И. Брюховецкий был пожалован в бояре, получил большие вотчины и двор в Москве, тогда же его женили на княжне Долгорукой.

<sup>326</sup> Андрей Критский (VIII в.) – грек, создатель наиболее ранних церковных гимнов (канонов).

Князь и воевода, войдя, поясным поклоном отдал честь царю и о здоровье наведалься.

– Садись ближе, князь Григорий... Здоровье наше от твоих вестей, даст бог, лучше.

Ромодановский сел, подобрав полы станового кафтана.

Боевая служба и десять лет много изменили князя с тех пор, как он лукаво доводил Никону царское повеление: «Не писаться на грамотах великим государем», и о том, что «трапеза с царем Теймуразом грузинским обойдется и без поповского чина». Когда-то короткие, толстые ноги боярина теперь стали гораздо тоньше, казались длиннее. Русая окладистая борода разрослась за уши, в ней ключьями проступила седина. Брови нависли, полное лицо осунулось, и лоб изрезали морщины.

– По указу твоему, великий государь, в осадных воеводах на Путивле стоит князь Василий Брятинский да дьяк Мономахов, у дел же...

– То все так, вот Брюховецкий вор! Сколько он нам пакости учинил!...

– Вор... ворон! Того ворона, великий государь, заклевал другой!...

– Ой, как же так, князь?

– Когда Брюховецкой собрал свою изменничью раду в Гадяче с полковниками, такими же ворами, на раде той порешили всех наших воевод выбить с Украины... С того часу, великий государь, зачали нас теснить, а где и побивать смертно – в Прилуке, Миргороде, в Батурине воевод похватали, чернцов пожгли. Тут же Иващко, вор, собрал и наладил посланцов в Крым, Гришку Гамалею<sup>327</sup> с товарищи, звать орду на нас и его, Брюховецкого, дать султану в подданство...

– Пес поганой!

– В ту же пору Петруха Дорошенко своих послал туда же – звать орду на нас... в подданство он дался раньше. Помыслил Дорошенко, что Брюховецкой помешка ему стать гетманом обеих сторон Днепра, да и султана опасался: он-де поставит Брюховецкого над ним, Петрухой... Сговорил казацкую гольтьбу, великий государь, и она, когда Брюховецкой ехал на Котельву, в недоезде Опушного за семь верст в степи и порешила Брюховецкого – куски тела собрали, чтоб их похоронить в Гадяче...

Царь перекрестился:

– Так-то ворон ворона заклевал!

– Вот так, великий государь! Скарб Брюховецкого с женкой его Петруха велел отпустить в Чигирин...

– Добро, добро!

– И то добро, великий государь, что остался один ворон! Лют тот ворон и на мясо человеческое падох, но и его конец зрим...

Царь снова перекрестился:

– Придет ему конец, князь Григорий, и дай бог скорее!

– Я гляжу и вижу, великий государь, что когда в подданство султану Дорошенко дался, за то многие украинцы ропотят, а иные и изменником называют... Бусурманы люты к православным, немало церквей, где турчин был, стали мечетями... татарва грабит да в полон уводит людей, не глядит, что союзны...

– Вот, вот...

– Такое уж давно началось... тлеет, а коли тлеет, то огонь недалече... а тут мы...

– Надо изготовить грамоту, князь Григорий: «Так как вы люди православные, с нами одной веры, то изберите себе гетмана православного, кой бы опасал и вас, и веру православную, и народ украинский от изменников поганых... От нас же, великого государя, будут вам льготы и воинская защита...» Дальше приписать мочно: «Поборов с вас брать не будем и воеводам нашим укажем не вступаться в ваши дела!»

– Такая грамота, великий государь, будет к месту и ко времени... Они, прослышал я,

---

<sup>327</sup> Григорий Михайлович Гамалея – лубенский полковник. В 1655 г. освободил от поляков г. Корсунь, в 1664 г., руководя передовым отрядом Брюховецкого, взял Черкассы. В 1669 г. перешел на сторону гетмана Правобережной Украины Дорошенко и в его войсках не раз грабил Малороссию.

подговаривают в гетманы Демку Многогрешного.<sup>328</sup>

– Ну, и сказка вся! Упорных брать ко кресту, над изменниками чинить промысел и всячески промышленять. Шлю нынче воеводой в Брянск Григория князя Куракина, в товарищах ему даю Григория другого – Козловского... он воеводой на Вятке, а туда по него послано... вторым товарищем князь Петр Хованской... – Царь зажмурился, потом, помолчав, сказал: – Эти мне Хованские поперек горла стоят!... Старик Иван пришел за сына просить и бил челом: «Моему-де сыну с Куракиным невместно<sup>329</sup>!» А Петруха по отцу такой же бык – уперся! Ну, я старика Тараруя посадил в тюрьму, сын – сдался – сказался больной, но едет...

– В воинском деле, великий государь, без мест надо... место – поруха всему...

– Так, князь Григорий! С, тобой Петруха ехать готов и болезни не имеет, а я указал: «До Ромодановского князя Григорья тебе, Хованскому, дела нет!»

– За местничество в войну тюрьмой казнить.

– Так, Григорий-князь! И мы Украину Григориями подопрем: ты – Григорий, Григорий-князь Куракин, Козловский – Григорий, ну вот Андреем у нас каково?

Ромодановский опустил голову:

– Андрюшку, великий государь, надо выкупить, а хватит ли на то моего кошта, не ведаю».

– Скоро надо выкупить. Слышал я, да и ты знаешь, – у поганых в Бакчи-Сарае есть каменной город на горе-всех полоняников туда отводят... держат в каменной тюрьме, и чуть удумают лихо, то свергают вниз... Гора, на коей город стоит, сказали мне, высотой полтора саженей...

– За Андрюшку душой болею, великий государь! Горяч, споровать любит... от горячки в полон сел – рубился в первых рядах.

– С Путивля туда, не мешкав, оборотишь – шли в Орду. Торгуйся не гораздо... надо князенька твоего у поганых купить, деньги дам.

Ромодановский встал и низко поклонился:

– Благодарствую, великий государь!

– Тебе, князь Григорий, я несказанно благодарен, что довел о делах – и ворога убрали, и то, что за веру Украина изгонит врагов, будет наша... Эх, выпить бы нам по-старому, только дохтур Коллинс упрямо велит отдохнуть...

От хороших вестей царь почувствовал, что ожил, он задвигался на постели, спустил вниз отечные ноги. Боярин, кряхтя, нагнулся, помог царю надеть меховые чедыги.

– Дела наши больших сил и рук просят! В Ярославле воевода сгинул... Старик своевольной, но старика любил я, жаловал золотной шубой, кубком и соболями, как из Запорог вернулся... Сгинул, а о том молчать! Баклановскому<sup>330</sup> и тому не укажу писать в дворцовых сказках. Пошлю на воеводство сына... Был Бутурлин и стал Бутурлин, пушай отцову неразбериху и своевольство крепкой управой покроеет... Унковской с Царицына давно доводил, что-де «многи воры со Стенькой Разиным мимо Царицына прошли и мы по ним из пушек били», а воры целехоньки в Царицын вошли. Пошто воеводу не увели с собой – не пойму?... Шарпали хлеб, забрали оружие, снасть кузнечную и ту взяли... Из Астрахани

---

<sup>328</sup> *Многогрешный* Демьян Игнатович (ум. после 1696 г.) – активный участник Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. Гетман Левобережной Украины после Брюховецкого. В 1672 г. обвинен в тайных сношениях с Турцией, арестован, сослан в Иркутск, где содержался до 1688 г. В 1696 г. постригся в монахи.

<sup>329</sup> ...«Моему-де сыну с Куракиным невместно!» – Речь идет о местническом споре Хованских с Куракиными: отказ Хованского служить под начальством Куракина на основании своей большей знатности. Местничество удалось окончательно уничтожить лишь в 1682 г.

<sup>330</sup> *Баклановский* Иван Иванович (нач. XVII в. – 1680) – боярин, воевода, управлял приказами Пушкарским и Большой казны.

вышел воевода Беклемишев воров перенять – стрельцы ворами струги отдали, сами перешли к ворами и воеводу плетями секли. «Куда пошли?» – пишем мы, а нам Унковской ответно пишет: «Должно, на Яик! Яицкие-де их ждали...»

– Смирим Украину, великий государь, волжских воров – глазом моргнуть – кончим!

– Когда еще, князь Григорий, смирим! Пожар идет вширь... Далеко пошто ходить – под боком у меня делается такое: царица Марья Морозову Федоску стеной ограждает... раскольница упорна, умом тронулась с Аввакумовых писем... баба дикая, плетей ждет, и без плетей, дыбы с ней не кончится... Аввакумко в ереси своей окоростовел – письма шлет с Пустозерска... Его письмоношей я указал имать, пытаться, и в том мало успели...

– Большая доглядка потребна, великий государь! Зло великое – искаженная вера, за нее люди в огонь идут...

– Знаю, князь Григорий! За Морозовой в доглядчиках стоит Троекуров стольник...

Ромодановский хотел говорить и замялся: Троекурова он считал дураком. Припустив на прощанье Ромодановекого к руке, царь поцеловал его в голову, прибавил:

– Ну, князь, поезжай с богом!

С Красного крыльца дьяк Дементий Башмаков, поджимая злые, тонкие губы на худощавом лице, скрипучим голосом говорил государеву сказку окольникову Бутурлину:

– По указу великого государя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя Русин Самодержца указано тебе, окольникову Федору Васильевичу Бутурлину, неотложно ехать и перенять наместничество и воеводство Ярославское, которое за отцом твоим, боярином Васильем, было. А приехав на Ярославль, в скорости собрать тебе и пересмотреть всех воинских людей и стрельцов городовых и опросить, кто и какое оружие при себе имеет, и составить в том «городовую смету». Поднять стены, починить башни стенные и пушки, кои есть затинного ли<sup>331</sup>, альбо картаульного<sup>332</sup> боя и их укрепить и о том составить «перечневую роспись». И оные росписи послать без замотчанья в Пушкарский приказ. Дьяка тебе, Федору, нет. Указано тебе великим государем взять из приказа тайных дел подьячего Томилку Уткина в писчики. На отпуске у великого государя быть тебе, Федору, два дни помешкав, а идти к государю постельным крыльцом и на отпуске же принять грамоты от великого государя – воеводскую рядную и таможную кормовую.

Обнажив голову и поглаживая черную длинную бороду, окольниковый Бутурлин слушал государеву сказку потупясь. Когда тайных дел дьяк кончил говорить, передернул широкими плечами, поклонился не низко и шапку надел. Повернулся – ему конюх подвел коня.

Не хотелось окольникову оставлять царский двор, тащить семью на берег разбойничьей реки Волги, откуда, слышно ему, иные воеводы уж бегут. «Натворил дел, старый пес! Подымай теперь стены, гляди людей, лайся с помещиками, чтоб гнать их в Москву на государеву службу...» – подумал он про отца, об исчезновении которого Федор Васильевич уж знал.

Злился и на то окольниковый Бутурлин, что дьяк два раза пропустил величать его по отчеству и всю сказку государеву сказал, будто подьячего куда переводили...

В передней царской – царское место в углу, на возвышении малом, чтоб не мешать проходу в тронную залу, где принимают иностранных послов. Трон в передней был для тех, кто отъезжал на воеводство, а также для послов крымского хана и иных мало чтимых царьков. Царь в аксамитном охабне, подбитом соболями, сидел, ежился, он все еще чувствовал озноб после болезни. Дышал тяжело и старательно кутал полный живот в соболи мех. Сегодня стоял у него на отпуске окольниковый Федор Васильевич Бутурлин. Избранный воевода стоял перед царем, склонив голову, глядел без мысли на носки рыжих сафьянных сапог и привычно левой рукой поглаживал и без того гладкую черную бороду.

---

331 Вделанные в стену.

332 Дальнобойные стенные.

– Едешь ты, Федор Васильевич, за отца твоего место, за отца и нелюбье мое несешь... Сказку ту, что говорил тебе дьяк на проводы, не обидься! Сказка прямая и неласковая...

– Чем прогневил великого государя, не ведаю... до сей поры был справен... – Бутурлин, подняв голову, поклонился.

– Не прогневил ты... был и есть справен... но отца твоего, – царь перекрестился, – ныне, может быть, покойного, память не чу! Богатой город раскопал... стены городовые уронил, не починивал, тюрьма сгнила – не то люди, из нее и тараканы ушли бы! Сидельцев, не вем пошто, кормил хлебом с водой, не пушал по городу побираться, рвы круг тюрьмы заросли тиной... своеволил, грабил помещиков... Правда, ярославские помещики столь же своевольны... сколь пишу, на службу ко мне ни один не бывал...

– Писал покойный родитель о своевольстве дворян...

– Писал? А пошто, Федор Васильевич, ты не писал старику, чтоб порядок вел и тоже не своеволил, имени моего не ронил? Четырнадцать лет прошло, как стоял воеводой в ляцкой войне, и воевода был старательной на воинские хитрости и на дело скор... затем послан в Запороги, вольных разбойных черкас смирил и ко кресту на наше имя государево привел, а за то дарен шубой и соболями. Правда, те разбойники опять забунтовали, но они без того не живут... у них он, видно, и разбою обыкнул. А пуще вы, сыны, хороши! Кинули старика единого, он в одиночестве затосковал, забражничал... Пьяному же человеку море мерить просто – подтянул портки, и бреди, везде луды<sup>333</sup>...

– Дела, великий государь, мешали навещать его и мне, и брату Василью...

– Может быть, и дела, верю...

– Угрозно писал я ему не раз, чтобы не ширился много: «а то-де великий государь призовет тебя и судить будет!»

– И тому верю, Федор Васильевич! Так вот, поезжай, поставь город на ноги... Кирпичников и кирпичу проси у наместника костромского Якова Никитича Одоевского. Место тут не далеко, а проси моим именем – даст!

– Благодарствую, великий государь!

– Дам тебе пятьдесят стрельцов с собой, да исписали дьяки в писчики тебе подьячишку Тайного приказа Томилку, а за того Томилку Уткина Баклановской думной челом бил – оставить просит... и ты бери иного, кого любо. Стены городовые подыми неотложно-опас противу воров держи... ушли далеко, но не ровен час и оборотят. Пушки поставь... Исполнишь с этим, другое помаленьку справишь, людей огляди, кое оружие впусе лежит, раздай безоружным и в «городовую смету» впиши.

– Исполню, великий государь!

– Дворянишек погони на службу ко мне, а то гузно опарили сидевши да спились... Иностранцев пуще наших купцов устрой, у них серебро, ефимки... Нынче я послал Афанасия Ордын-Нащокина да дворянина Желябужского с послами в Курляндию договорить. С поляками мир, а кончено ли скоро с другими будет? И на все деньги дай! Иностранцы на серебро товар, а наши купцы норовят медью обернуть, то и товар на товар – меной...

– Все исправлю, сколь сил хватит, великий государь!

– Не сердись, что от лица своего изгоняю тебя! Подойди к руке... Поезжай!

Бутурлин, почтительно склонив колено, поцеловал царскую руку.

– Я чай, ты не в отца и своеволить не будешь? – улыбнулся царь. Вставая со своего места, договорил: – Грамоты на воеводство у дьяка Дементия.

Домка вздрогнула и похолодела с головы до пят, когда высокий чернобородый боярин вошел в горницу старого воеводы. Нахмураясь, скользнул взглядом по потолку и, повернувшись на иконостас, долго молился, держа шапку и трость в левой руке.

Домка молча поклонилась, но воевода новый ее как бы и не видел.

Домка подумала: «Не глядит, вишь... а теперь бы Сенькину грамоту ему дать?... Пожду».

Помолясь, боярин вернулся к дверям, неплотно запертым, сказал громко:

– Стрельцы, ведите богорадного.

– Тут я, батюшко воевода! – Старик, едва перешагнув порог, повалился в ноги воеводе.

– Чего валишься? Чем провинился?

– Много вины моей, батюшко воевода!... Перво-не углядел, как мои сторожа и стрельцы – весь караул – забражничали... Друга вина – не позвал городовых стрельцов сменить пьяных... казни, а милость твоя!

– Встань на ноги, говори толково. Богорадной поднялся, уронив шапку.

– Гришка тут, всему делу вор Гришка... вся его затея...

– За стрельцами кто глядел?

– Десятник, батюшко воевода!

– Где был десятник, когда стрельцы пили?

– Ушел... по делам, сказывал, ушел!

– Зови его ко мне!

– Убит, батюшко, десятник! В ту ночь убит – в тюрьме...

– Туда ему и дорога – не оставляй караул без глаза! Скажи, как по твоим догадкам, кто опоил караул?

– Мекаю я, батюшко воевода, не хто иной, как холопи... Схитили вино, спужались: «Чай, нас за то бить будут» – и ну поить иных сторожей перво, а вино оно, вишь, заманно: один хлебнул, другой попробовал – и пошло!

– Ты знаешь, кои холопи покрали вино?

– Как же, как же! – Сергунька да Ивашко, а на них гляючи, и иные...

– Иди, укажи стрельцам тех холопов привести.

– Сбежали они, батюшко воевода, украли коней и в ту ночь, как беде быть, и утекли...

Мекаю я, они и отца нашего, воеводу, схитили... жесток был с ними, ковать их указал, в железах сидели, а кто слобонил – не ведаю!

– Ну-у, дела же у вас... – Воевода, поставив в угол трость, сел на скамью к столу на бумажники, где сиживал и его отец. – Стряпали и ложки спрятали! Кто убит, кто бежал... В погоню родителя искать ездили, за ворами ходили?

– Погоню, батюшко воевода, наладили, да тогда лишь, когда меня с караульной спустили, а я помещиков взбудил. да оны ругались, не поехали... Тогда городные стрельцы побродили леском, никто не поймался... И где поймаешь – воры-то коней, да оружие, да платье помещичье забрали, уехали... Вон Матвевна едина ездила конно, а кого видела – спроси сам!

Воевода строго поглядел на Домку:

– Ты клюшница моего батюшки?

– Я, боярин! – Домка поклонилась.

– Та-а-а-к! – Воевода помолчал.

Домка подумала: «Моложе, а видом схож и такает, как прежний...»

– Бумаги родителя моего не разграблены?

– Ни, отец воевода! От разбойников спальню я топором отбила, а как схитили они благодетеля моего, ездила годя мало узнать, не привязан ли где, и ничего не нашла... Деньги обещала дать тому, кто скажет, где видел воеводу убитого ли, живого, и никто не явился сказать...

– Неси бумаги те, что от родителя остались.

Домка сходила в спальню, принесла, поставила перед воеводой подголовник. Воевода пересмотрел бумаги, нашел Сенькино письмо, подумал: «Привез подьячего, да ему так не писать!» Спросил, показывая Домке бумагу:

– Кто отцу это писал?

– Тот вор Гришка писал ту бумагу. Я неграмотная, а видала, как он у моего благодетеля

сидел вот ту скованной и писал...

– Тут и о тебе есть! Ты его рухледь бережешь и нынче так же?

Домка замялась, оглядываясь на богорадного. Боярин понял, сказал:

– Поди, старик, о чем не допросил, допрошу...

Богорадной торопливо пошел, забыв шапку. Воевода крикнул:

– Бери свой покров!

Крестясь и кланяясь воеводе старик, поймав на полу шапку, ушел.

– Храню, боярин, не одну рухледь... у благодетеля много паволоки<sup>334</sup>, парчи и узорочья... Еще, боярин, как и сказать не знаю, есть бумага, кою мне когда-то дал благодетель, а я забыла... неграмотна, честь не могу – пихнула за образ и нынче, как ты бумаги спросил, вспомнила...

– Неси ту бумагу! На грабеж ездил старик?

– Ездил он, боярин, и часто...

– А ты езжала? Домка побледнела, пошатнулась: не сказать – скажут иные, сказать – увезут в Москву...

– Молчишь? Значит, разбойна есть! Да-а... со стариком вы разбойники были...

– Слова его боялась... Послал-и на смерть пошла бы...

– Пишет, что ты его верная псица... скажи – в блюде он жил с тобой?

– Нет, боярин... сколь раз кусал меня в груди, а завсе говорил: «Сблудил бы, да время ушло!»

– Неси ту бумагу, кою отец тебе дал!

Когда вернулась Домка, ее худо держали крепкие ноги. Подавая бумагу, дрожали руки, она думала: «Ой, как она не ладно исписана?... И во хмелю воевода што марал, а как по ней все узнаетца?»

– Сказал покойный родитель твой – ехал он на дело, – вернись – отдашь, не вернись – покажи тем, кто за меня будет...

– Куда ехал отец?

– Грабить, боярин, Чижа дрорянина, по Костромской...

– Старик, старик!...– Погладив и расправив бороду, боярин развернул свиток и, не стесняясь, не таясь Домки, читал написанное вслух:

– «Во имя отца и сына и святого духа... се яз Василий, раб божий, Васильевич, сын Бутурлин, пишу сию духовну своим целым умом и разумом, кому мне что дати. Дати мне дом и двор и конюшни с избами, клетями и подклетями старшему моему сыну Федору Васильевичу, сыну Бутурлину, окольничему государеву, а с тем володети ему моим добром, рухледью и построем, что ежели истцы-просители по конец живота моего к ему пристанут с моими поручными записьюми, кому и как я, боярин Василий, одолжал, то дати им по записям моим безволокитно то, чем одолжал я, Василий боярин. Кто же письмом со мной не крепился, и тому не давати. А что есть в дому моем и во дворе мои люди, полные, докладные и кабальные, и те мои люди все на свободу, хто в чем ходил платье».

А тот, кто бежал и его изловят, тому дам кнута замест воли! – сказал воевода, прервав чтение. Поводил глазами по строчкам, продолжал: – «А сыну моему Федору, и жене его, и родичам его по жене до людей моих полных, докладных и кабальных дела нет. Собинно завещаю девку Домку, Матвееву дочь, мою закупную холопку...»

Скажи... рука та же... тот же вор Гришка писал это? И родитель был во хмелю?

– Кто писал письмо – не ведаю, боярин, только Гришка тот был раскован и спущен ходить по городу и за писчика родителю моему был... а боярин ежедень обретался хмельным...

– Ну, давай рухледь посмотрим!

Боярин встал. Домка впереди, боярин сзади – оба, сгибаясь, пролезли в низкую дверь

---

334 Паволока – шелка, материи.

спальни старого воеводы. Негасимая лампада освещала горенку с ковром на полу и с царским портретом над столом. Домка, крестясь, зажгла от лампы свечу, подошла, откинула стенной ковер, тайную задвижку нащупала в стене, открыла дверь на лестницу.

– Куда ведет лестница?

– Тайная она, боярин, ведет в сад.

Дверь из спальни Домка заперла, указала боярину на выступы, окруженные точеными перилами:

– Вот все дорогое и лучшее, а худшее в рухлядниках, и там много кафтанов, шуб, платьев.

Боярин разглядывал сундуки, окованные железом, крашенные под лак в темную краску. Домка из углубления в стене достала ключи, отперла со звоном замка первый сундук:

– Тут шуба золотная, сказывал благодетель мне, когда бывал во хмелю, дареная государева... тверезый о ней не говорил, забывал, и шапка горлатная на соболях... очищаю ее, чтоб тля не точила...

– Добро, – сказал боярин, – все едино, носить ее – перешивать надо. Запри!

– Тут вот, – открыла Домка второй сундук, – кубки, чаши золотые с камением, чеканные.

– Ладно, и это годится, запри!

– А тут, боярин, вот! – Домка распахнула третий сундук. При свете свечи в сундуке, доверху насыпанном, засверкали крупные изумруды, диаманты, лалы и яхонты. Боярин, зажмурясь, погладил бороду.

– В том вон гурмыцкой жемчуг и тоже доверху сыпано... Домка шагнула отпереть сундук. Боярин сказал:

– Не трогай... верю! – И подумал: «Недаром отец оборонял ее... иная бы в сумятицу покрала все да бежала...»

Они вернулись в спальню.

– Тут вот мой благодетель сидел завсе перед сном ипил хмельное... – указала боярину Домка на широкое кресло у стола. Боярин сел в кресло, полуобернулся, спросил:

– Скажи правду – эти сундуки, что мы глядели, и лестницу тайную ведает кто, кроме тебя?

– Ни, боярин! Ведал сам мой благодетель, знал ее дворецкой, да тот убит в бедовую ночь тюремщиками... я знаю, а теперь еще ты...

– Вот, Домка, родителем завещано тебе дать пятьдесят рублей и спустить на волю... Духовная путаная, ее хоть и не казать: все на меня, а о брате Василье забыто... брат наедет делить отцовское добро, без того не бывает... Холопов спущу кто в чем есть, московских моих людей много, а здешние пуцай идут... Брат Василий – скопидом, жадной... заскочит сюда скоро, и ты ему потайную лестницу не кажи. Сундуки от пожару ухороним в другое место потом... Теперь не время...

– Ой, боярин, только тебе кажу – ты чел, и я слышала, как все отказано родителем на твое имя...

– Помни: иной бы тебя в Москву в Разбойной послал... грабежные дела легко с рук не сходят... «Сыщутся», «поклепцы есть» – родитель сам в письме том пишет ко мне... Поклепцы на тебя – дворяне, им государь верит... Я тех поклепцев уйму, от пытки тебя спасу, но на волю не пуцую! Пятьдесят рублей отдам вскоре тебе. Мало мешкав, боярыня моя наедет, и ты нам служи, как отцу служила, не обидим... по-старому будешь порядню домовую вести... Помни это!

Боярин встал, пошел. Домка ему низко поклонилась, сказала тихо:

– Из дому твоего мне, боярин, уйтить придется!

– Стало быть, и заступы моей тебе не надо, и казни не боишься? – остановился боярин, теребя бороду.



– Дослушай конец...

– Ну-у?

– Покойной, а дай бог и живу сыскаться, родитель твой послал меня на грабеж... Мы остоялись в выморочной избе, а холопы, кои в поезде были – нынче они бежали с тюремщиками, – осилили меня и изнасильничали... С того я брюхата стала...

– Говори, слышу...

– Нынче мало видно, а как будет гораздо, то куда я от людей глаза скрою?

Боярин засмеялся.

– Дура ты, Домна! Всяк боярин ай помещик простой радуется, когда; холоп в его дому плодится-ужели отпустить ребенка в чужой дом? Ребенка мы окрестим, честно все будет! Думал я иное – своевольство затеяла, благо духовную тебе чел!

Боярин провел рукой по животу Домки и вышел.

Домка осталась, прислушалась. Боярин ходил по двору, отдавал приказание стрельцам. Она слышала, как он говорил богорадному сторожу:

– Чего ты, глупой, двух стариков моришь, пусти их но городу, пусть побираются...

Домка подошла к столу, встала на колени, начала молиться, шептала:

– Дай ему, господи, Семену-рабу, здоровья... спаси его от ран и смерти, укрой его от болезни лютой...

Встала с колен, оглянулась, сказала про себя шепотом:

– Как встрелись первой раз на бою, почуяла сердцем: тот он, кого мне надо...

Теперь казалось Домке, что нечего бояться.

Новый воевода прожил пять дней, но успел взбудоражить всю округу. Сегодня он еще спал, а на дворе шумели, трещало крыльцо от многих ног. Сердитые голоса и окрики будили весь дом.

Домка стояла в передней горнице у дверей в спальню. Было давно светло на улице. В горнице из-за малых окон и слюдяных был полусумрак. Светился лампадками иконостас в углу, да на столе горели в медных широкодонных подсвечниках две сальные свечи.

– Чего наехали кричать?!

– У, разбойница! Не с тобой говорить – буди воеводу...

– Мне не будить, вам не кричать...

Помещики, кто сел на лавку, а кто расхаживал, попирая ковры тяжелыми сапогами, переговаривались:

– И куда гонит?

– Бессовестной был старик, веретенник и грабитель, а нам потакал!

– Родителя новому не ровнять!

Воевода вышел из спальни одетый, но без трости и шапки, перекрестясь на иконостас в угол, сел к столу на скамью, на бумажники:

– Что понудило дворян-державцев лезть ко мне?

– Куда гонишь?

– Не гоню, приказываю – на государеву службу в Москву!

– Воевода нам не указчик!

– Вам, добрые помещики, нарядчика<sup>335</sup>, что ли, писать? Пришлют!

– Пушай нарядчика шлют!

– Слаще не будет! Малая заминка лишь, все едино ехать вам... кому на смотр, кому в жильцы – конно и оружно...

– Эво што говорит!

– Коней в твоём доме, на пиру батьки твоего, ваши разбойники холопы увели!

– Догола раздели сонных!

---

<sup>335</sup> *Нарядчик* – должностное лицо из местных дворян, выборное, иногда назначавшееся. Нарядчики следили за отбыванием службы дворянами.

– Што кафтаны – портки и те стянули!  
– Пьяных вас грабили?  
– Не кроемся, было пито, не лгем!  
– Не пейте до ума помрачения...  
– Мы вот годимся погоню за отцом наладить, а нас в Москву...  
– В Москву, на государеву службу... Отца моего покойного искать надо было давно, вы тогда не поехали.

– А я вот Чиж!... – выскочил перед воеводой низкорослый, тонконогий помещик, одетый, как писец, и похожий по острому носу и черному кафтану без запояски на вороненка, выпавшего из гнезда. – Чиж вот! Меня твой пропалой родитель разорил – пожег и ограбил в одну ночь со стариком Куманиным... Я не столь богат был, как Куманин, – у него он сундук узорочья отнял... старик спал на том сундуке... скупой... затосковал и повесился. Душу погубил – пошла в ад!

– Не я грабил тебя.  
– Ты дай справиться! С мужиков тяну, да они нищие... вишь, кафтан на мне киндяк – иного нету...

– Пожду, справься, и все же поезжай на службу... Сам наведаюсь к тебе!  
– Я Воронин, – выступил один коренастый с густой бородой и повел широкими плечами. – За три дня до смерти воевода прежний ватагу на меня пустил, не дошла, рыбаков углядели, спужались – и вспять...

– Целоможен! Значит, едешь?  
– Я уеду, ты Бутурлин тоже, а как вернусь к головням замест помещья!  
– Не оскорбляй! Поезжай, иначе стрельцы свезут, в Москве в тюрьму сядешь...  
– Ох, и несговорной ты! Уходя, помещики ругались:  
– Где ему противу батьки быть!  
– И разбойник был, да добром помянешь – орел старик!  
– Этот не орел – кочет!  
– Грабил прежний того, кто оплошился, ежели не оплошен – не трогал!  
Садясь на коней, перекликались говором:  
– Неделю-две спустит, бывало, – и пир!  
– Ества, вина, медов реки-и!  
– От этого постов жди, веселья не видать...

Махая плетями и кистенями, уехали.<sup>336</sup>  
Воевода сошел с крыльца во двор, крикнул:  
– Гей, стрельцы, идите на расправу!

По двору зашаркали лапти, поднялось облако пыли. Подходили стрельцы, проспавшие тюрьму, шли, мотая шапки в руках, с опущенными головами» с боязливymi хмурыми лицами.

– Не кони вы, чего здынули тучу песку?  
– Мы, отец воевода, лапотны!  
– Год минул, как твой родитель нам кормов и жалованья не даывал...  
– Зри, сколь обносились мы!

Воевода думал: «Строго наказать не время. Чуть шум на Волге – сойдут воровать! Знаю их норы...»

– Ну, сами знаете, что бывает за упущение караула да истрату оружия на государевой службе?

– Бей, кнута достойны!  
– Бить не буду, но и вину вашу не отдам! – Грешны много – тюрьму проспали!

---

<sup>336</sup> *Махая плетями и кистенями, уехали.* – В XVII в. дворяне всячески уклонялись от службы. В каждом походе большое количество дворян числилось в нетях, несмотря на угрозы лишиться поместий.

– Бей, отец!

– За наказание вам работа: тюремной ров углубить, мост сгнил – переменитьправилины и настил, бревна есть, починить ворота и сени тюрьмы перебрать... Пошли!

Стрельцы подняли головы, повеселели, кто-то крикнул;

– Гой-да! На работу... ищи топоры! Воевода остановил:

– Стойте! Скоро соберу с кабаков напойную казну да с таможни деньги... кормы вам выплачу и жалованье дам!

– Добро, отец, добро-о!

Солнце припекало. Песок от каждого шага пылил, хмельники в конце двора кудрявились. Пахло свежей листвой. По глубокому бездонно-синему небу проходили, меняя узоры, облака. От клетей, подклетов и холопских изб на песке перепутались тени. Воевода, идя по двору, подняв голову, поглядел в ворота на дорогу. Он ждал возки, колымагу с женой... Встретился холоп, нес на поварню воду. Воевода остановился и будто вспомнил что-то:

– Снесешь ведро, скажи своим – соберите рухледь и, кто во что одет, в том идите на свободу!

– Ой, батюшки-и! – Холоп, плеская воду, побежал. Скоро с котомками, ворохом тряпья, пахнувшего навозом и дымом, собрались холопы с женами и детьми. Иные тихо спрашивали:

– Чай, боярин-от не хмельной?

– Ни... што ты! Тверезой. Икимку повелел...

– А то... за мест воли как батогов по брюху? Бя-да!

– Молитесь за моего родителя, боярина Василья, не я – он вас спустил...

– Може, ён еще жив? Дай ему бог!

– Жив был бы, так пора весть дать! Должно быть, покойной... Будете на воле-не воруйте и на разбой не ходите! Кто работу даст – делайте честно...

– Будем, батюшко, по душе жить!

– Честно...

Боярин, пропуская мимо себя людей, троих парней остановил:

– Вы останьтесь!

– А как же иные?

– Оставляю вас, чтоб двор пуст не был... Наедут мои люди московские, и вы за другими на свободу.

Парни, кланяясь боярину, неохотно пошли во двор.

Стрельцы, чистя тюремный ров, завалили дорогу грязью и кирпичами, дорога вела мимо воеводского дома, осталась свободной из тюрьмы дорога через воеводский двор. По двору в тюремных рваных понявах медленно проходили старцы тюремные сидельцы, Лазарко и старовер. За ними – тюремный сторож, за сторожем – богорадной.

Богорадной, остановив сторожа, наказывал ему:

– Трофимко, ты гляди за ними! Милостыню пусть люди дают, а говорить им много не дай – пушай запевают стихиру какую аль бо молитву...

– Ладно, дядя Фаддей, коло их люду копиться не дам... Воевода спросил богорадного:

– За что старцы иманы в тюрьму?

Старики прошли ворота, богорадной поглядел им вслед, сняв шапку, ответил воеводе:

– Лазарко, батюшко воевода, тот, меньший видом старичонко, хулил имя великого государя и господа бога лаял всенародно... Федько же старовер церковь называл никониянским вертепом и письмо Аввакума ихнего люду давал чести...

– Та-а-ак!

– Так, батюшко... Оно, конешно, стар да младень умом схожи, и кабы великому государю про ихнюю вину исписать и про умишко худой, то была бы им немалая льгота...

– Обойдутся они без милости государевой... пускай нищebroдят и спят в тюрьме!

– Чую, батюшко воевода!

Богорадной повернул к тюрьме, а воевода, поглядывая в ворота, думал: «Дурак сторож!

Кабы царь ведал вину нищих стариков, то одного бы указал бить кнутом нещадно... другому же как церковному мятежнику, кой хулит всенародно бога, в гортань свинцу залили – и конец!»

Походил и еще подумал: «Старик родитель зло великое на царя держал... Бутурлины обид не прощают! Дан был головой Воротынскому и за местничество в тюрьму сажень<sup>337</sup>... и сам держал в тюрьме царскому имени воров. И, должно статься, самого его эти воры извели – не держи огня за пазухой!»

Прислушался и услышал одинокий старческий голос. Голос тихо удалялся:

И прилетали тут два голубя.  
Два голубя сизые...

– Эй, парень, – крикнул воевода, – бери лошадь, езжай по дороге... Там ежели углядишь возки – вороти, скажи мне!

– Я скоро, боярин, оком мигнуть...

Холоп проворно оседлал коня, вскочив в седло, скорой рысью выехал за ворота..

Издали еще слышно было с перерывами пение!

Мы летали, летали на расстаньице,  
Как душа с телом расставалась...

Дальше опять не слышно было слов, и немного спустя еще донеслось:

Ты прости-ко, тело белое...  
А и лежать тебе, тело, в сырой земле...

«Старики в тюрьму оборотят с хлебом...» – подумал воевода.

Холоп вернулся и, не слезая, сказал, удерживая перед боярином коня:

– Гонят, боярин отец, возки тамо за старым городом...

– Сколь четом?

– Десять возков, ей-бо...

– Не обчелся?

– Ни, боярин! Десять возков чел...

Воевода повернул в дом, вошел в первую горницу, крикнул:

– Домна!

– Тут я, боярин отец!

– Едет брат, стольник Бутурлин, скажи на поварне яства готовить! Убери стол...

– Иду, слушаю...

Боярин сел к столу на бумажники, снял с головы высокий плисовый колпак, обтер большой ладонью лоб от пота, погладив бороду, сказал себе: «Десять возков? Значит – стольник, а ждал боярыню... упредил, скупой... Эк его батькино добро приперло делить! Пожалуй, суну ему духовную к носу».

Подводы стольника Василья Бутурлина расставили на обширном воеводском дворе. У возка по три холопа – «указано боярином от возков не отходить!» Лошадей выпрягли, приставили к колодам, немой конюх засыпал в колоды овса. Стольник перекрестился, пошел в дом. Был он косой на левый глаз, с раздвоенной на конце черной бородой, узколицый, узкоплечий и бледный. Вошел в первую горницу с иконостасом, оглядываясь подозрительно.

---

<sup>337</sup> Дан был головой Воротынскому и за местничество в тюрьму сажень... – Поскольку местнический спор Бутурлина с Воротынским решился в пользу последнего, Бутурлин обязан был явиться на двор Воротынского с повинной, что считалось большим позором. Упорствовавших в своих отказах ожидала опала, а иногда и тюремное заключение.

За ним по пятам шел рослый холоп. Оба в тягилях: холоп – в нанковом стеганом, стольник – в шелковом сером. Холоп снял с боярина тягиляй, свернул бережно, положил на лавку. Боярин остался в чуге синего бархата, рукава чуги по локоть, но дополнялись рукавами белой рубахи, узкими к запястью. Стольник передал холопу трость и шлыкообразный бархатный колпак; подошел к иконостасу, простерся ниц, молился, пока Домка носила с поварни яства да расставляла по скатерти стола енды с медами имбирным, малиновым и переварным. Поставили в ряд кубки серебряные и ковши. Помолясь, стольник сел на лавку близ иконостаса. Он косился на малую дверь в спальню. Из спальни вышел воевода в прежнем наряде: в суконном малиновом кафтане, на кушаке с цепочкой кривой нож и две серебряные каптурги – одна справа, другая слева.

Стольник поднялся, поклонился старшему брату. Сойдясь, братья обнялись.

– Здорово ли ехал, брат Василей?

– Благодаря господу ладно, братец!

– А я тут с дворянами споровую: не верят, что государь дал мне власть их гонить в Москву на службу... нарядчика требуют.

– Нарядчик на войну гонит... без войны и воевода властен тому... Хитрят, упорствуют...

– Ну, брат, за стол с дороги!

Сели оба друг против друга, налили ковши:

– За великого государя!

– За государыни здоровье, Марии Ильинишны!

– Ну, как она? Все недужна?...

– Скорбна, скорбна, государыня, ох и скорбна!...

– А ну как преставитца? Тогда чести Милославских конец!

– Э, братец! – Стольник поднял свободную руку, сказал: – Холоп, поди, жди у возка... – Глаза его побежали: один в угол к дверям, где стоял ушедший холоп, другой метнул на дверь спальни. – Не дело сказываешь, братец! Ушей да языков сплошь натыкано...

– Сказал – так думал: век истек, другого не запасено...

– И все же молчать надо! Мне бы вот сходить на Которосль к Спасу... помолиться... свечу образу поставить... душе легота и народу зримое добро.

– Пожди, брат! Делить батькову рухледь будем, вступим в драку... побранимся, а там уж кайся... И вот духовна отца – чти!

Воевода вынул из пазухи бумагу, писанную Сенькой в конуре пономаря. Дал брату:

– Братец, да где тут правда? Все тебе, мне же ни пушинки! Воевода улыбнулся, погладил бороду, а стольник правым глазом продолжал буравить строчки грамоты, потом решительно сказал:

– Духовна виранная! Где тут правда? Одному сыну завещано, и холопей спустить!

– Спустил я всех...

– Пошто меня не подождал, братец?

– Своих людей довольно, а эти чужие мне... отца не берегли... еще и родителя завет исполнил...

– Вот и зацепка – не берегли, а потому и волю духовной рушить надо!... Какие это послухи? Иеремия – «замеет отца духовного», Солотчинского монастыря бродяга... «подьячий Казенного двора» – какого двора? Гонись за ветром в поле – ищи их!

– Брат есть подпись отца – ею покрыто все... – По виду, он хмельной писал подпись!

– Не нам его судить!

– Кому же?

– Отцу! Вот его письмо, здесь не скажешь: «был хмельным», писано ко мне... сличи и узри. – Воевода из каптурги достал письмо, приказанное Сеньке писать. – Здесь в духовной говорится: «собинно завещаю девку Домку!» В письме, ко мне писанном, подписанном родителем нашим, с знаками Бутурлина на полях письма, опять говорится: «пуще проси его за Домку, мою закупную холопку», и дальше: «Домка та – моя верная псица!»

Домка за дверями спальни стояла и слушала; как тогда во время пира, слова старого воеводы. Стольник говорил:

– Эх, братец, братец! Времени не дано тут долго жить... я бы весь город на ноги поставил и раскопал бы лжу, кою вижу в твоей духовной... Да пожди, упрошу великого государя – спустит меня сюда не на пять ден, и я привезу с собой дьяка да палача, и мы то дело просквозим!

«Вот он, худой черт», – подумала Домка и тихо ушла от дверей.

– Тогда пошто нынче делиться, когда затеваешь дело?

– Меня скоро не спустят, знаю, а что возьму, в том письмом креплюсь с тобой. Так что даешь?

– Коней дам.

– Сколько голов?

– Тебе десять, себе пять с бахматом родителя...

– Глядеть надо... бахмат, може, стоит всех, и на него жребий – кому идет!

– Конь немолодой – для памяти оставляю.

– И еще даешь что?

– Рухлядник, в ем платья – шубы, кошули, кафтаны, чедыги – все бери!

– Чай я, у отца было узорочье и шуба, даренная государем?

– Узорочья и шубы не сыскано...

– Давай, братец, еще по ковшу меду хлебнем – делиться веселее...

– Давай!

Выпили, обтерли рукавом бороды, и снова заговорил стольник, пометывая глазами в разные стороны.

Вошла Домка. Стольник стукнул кулаком по столу, сверкнув перстнями:

– Эй ты, иди к допросу!

– Тут я, боярин.

Домка подошла ближе. Стольник упер ей в лицо правый зоркий глаз:

– У отца Василья боярина было узорочье и какое?

– Если и было, боярин, узорочье у родителя твоего, а моего благодетеля, то он к ему никого не подпускал, знал он сам да дворецкой... дворецкой убит... Я ведала домом, подклетьми и рухледью...

– Та-ак! – сказал воевода, поглаживая бороду. Стольник визгливо крикнул:

– Поди на дело! Домка ушла.

– Пьем, брат Василей!

– Пьем-то пьем... Ну, пьем, братец!

Стольник, когда уходила Домка, глядел ей вслед:

– Она у тебя, братец, мало брюхата... я женок брюхатых насквозь вижу...

– Отец был старик вдовой, она у него ближняя рука и... може, отец ей брюхо привалял. – Пьем, брат Василей!

– Пьем, стучим ковшами! Привалял и духовну, а в ей подклеты да избы... этой холопке узорочье... и она то узорочье скрыла...

– И снова пьем – за твой обратный путь!

– За твое воеводство, братец! Сего отнюдь впусте не оставляю. Отпрошусь у царя, возьму дьяка да палача, стрельцов дашь – и пытку бабе, дыба ей!...

– Ты сказывал, она брюхата?

– Беспременно...

– Брюхатую на дыбу? У ней урод может изодти, в моем дому, брат Василей, уродов не надобно!

– Ну, братец Федор, ты уж тут противу закона не воевода! Мы без тебя сорудуем дело...

– От меня баба ничего не скрыла, от тебя, брат Василей, ей скрывать нечего – насилье в своем дому над слугами чинить не дам!

– Не дашь? А с дьяком приеду? Тут уж власть государева...  
– Не езд, не приму!  
– Как же ты, воевода, против царевой власти пойдешь? Ай ты батькино своевольство перенял?

– Вечереет... хочешь подобру рухледь да коней взять – так идем!

– Ну идем!

Тяжелые от хмеля, оба вышли на двор.

– И то еще, непошто, братец, спустил холопей! Вернуть бы, а? Сколь денег ушло из наших рук, ай не ведаешь? Боярин у боярина наездом и силой уводит людей, а ты? «Пошли» – и все...

– Отца покойного завет держу!

– Родителя, дай бог ему, помнить надо... о деньгах пещись пуще родни всякой... деньги не нам одним, они и детям в помин будут...

Оглядели коней, кладовые, рухлядники. В подклетах стольник увидал бочонки вина:

– Много тебе медов и вина, братец! Дай половину!

– Бери! С дьяком не езд...

– Там угляжу как!

За раскрытыми воротами двора при вечернем солнце каменным забором стали возы с кирпичом. Извозчиков было на три воза один человек.

Коротконогий, толстый подрядчик, сняв шапку, поматывал лысиной цвета красной меди, крестился на колокольный звон, плывший над лесом со стороны Спасова монастыря, и громко вместо молитвы говорил:

– Пронес бог, пронес... – Увидав во дворе бояр, шел к ним, махал снятой шапкой, кричал:

– Пронес бог, боярин, пронес!...

– Чего ты всполошился?

Воевода шагнул навстречу подрядчику. Стольник попевал за воеводой.

– Батюшко воевода, последние возы тебе доставил – кирпичники забунтовали да купца Шорина на солях ярыги, судовые Сорокина с Волги тож! Едва я с моими, и то с дракой, на паромы въехали... Лошадей бы в Волгу попускали, да вершняки подсунули, витвинами прикрутили к настилу, и, дал бог, пронесло! Надо те кирпичу, воевода, так пошли стрельцов Кострому за волохи забрать... Послушаешь, везде вытнянка, все орут и диют невесть што...

– Стрельцов без указа государя послать – самовольство чинить! Чего глядит наместник ваш!

– И, батюшко! Одоевский князь Яков завсе у великого государя... повытчики его правят, а как вытнянка та зачалась, они быдто алялюшек наголызились и напились да разбрелись...

– Пожди в людской! Брата наделю, приду – будем говорить.

Подрядчик закрыл шапкой лысину, пошел.

– Шумно тут у вас, братец Федор, не дай бог, шумно!...

У стольника побежали глаза в разные углы двора, он визгливо крикнул:

– Люди-и! Собрать подводы, впрячь коней... данную братом рухледь сносить на воза, увязать!

– Слышим, боярин! Сей ночью едем ай в утре?

– В ночь!

Воевода, делая хитрое лицо, глядя бороду, спросил:

– Что ты, брат Василей? Ночуй! В утре на богомолье сходишь, деньги твои, вишь, в Костроме забрякали, холопи поднялись, я чай? Може, и к нам будут... Ништо, постоим!

– А нет, братец Федор Васильевич, еду в ночь – шуму не терплю. Великий государь тоже, мыслю я, заждался. Мы к тебе ехали – не гнали, тихо плыли, в дороге табором подолгу стояли, за то что ямского духу дворов не терплю, люблю лесной вольной дух, душмяной...

На дворе воеводском началась суматоха, слуги стольника носили из рухлядников

платье: шубы, сапоги, кафтаны, однорядки. Иные из подклетов катали бочонки с вином и медами хмельными. Стольник, надев тягилай, помахивая тростью, не отходил, торопил, указывал, что и как уложить.

– Когда подыдем стены, башни починим, пушки наладим... спокойно в осаде посидим: я воеводой, а ты, брат Василей, в товарищах воеводы...

– Мне в осаде сидеть времени нет! То бездельным трусам всяким по нутру... – огрызнулся на насмешку стольник.

– Э, брат Василей, теперь я за тебя возьмусь не как родня, а как воевода! В товарищах сидят князья по указу великого государя, а те люди не бездельники... Если ты учинишь мне беспокойство по духовной нашей – знай, я тогда доведу царю доподлинно, как лаял ты имя товарищей воеводы.

– Шутил я... хмельной... шутил!

– За шутку такую в Даурию загоняют!

Стольник, озлясь, не простился с братом, поехал, в воротах повернулся в возке, крикнул:

– Моих по дележу коней не держи! Конюхов пришлю за ними-и...

– Шли людей – отдам! – ответил воевода и пошел в людскую к подрядчику.

Ночью на отцовском месте у стола сидел воевода перед портретом царским. При огне двух свечей писал то о Ярославле, что дал ему подьячий, делавший перепись жителей:

«В Ярославле на посаде беломестных, помещиковых и вотчинниковых людей и кирпичниковых...» – «Взять их, приставить к делу», – подумал воевода и писал: «и каменщиковых и ярославцев посадских людей тяглых – тысяча и сто и пятьдесят шесть дворов, а людей в них и у них детей, и внучат, и племянников, и суседей, и подсоседей три тысячи и семь человек. Бою у них триста пятьдесят пищалей, двести копий и бердышей. Сию „городовую смету“ шлю не мешкав. О воинских людях...»

Домка сказала, проходя:

– Доброй сон, боярин... – Она остановилась.

– Спасибо! Еще говорить хочешь?

– Думно мне поездить в ночь... Сгонять в сторону Костромы... проведать?

– Не лень, так поезди.

– Доброй ночи!

Домка ушла. Боярин писал:

«Две башни с воротами одинаковы – Никольская проездная и в ней вестовой колокол в десять пуд без двух гривенок... Железная перекладка, на коей укреплено колокольное ухо, погнулась от ржавы, и столбы осыпались вниз, где проезд. Столбы осыпались вполю<sup>338</sup>...»

Хорошо столинику ехать. Лежит на перине и пуховых подушках. Азиям было надел да снял, тягилай давно в ноги укладен, чуга забита под подушки.

Лежит Василий Бутурлин в шелковой до пят рубахе. Тепло от перины и от одеяла на лебяжьем пуху. Страхи кончились – шума нет, тишина. «Спор с братом не решен! – думает стольник. – Слово свое всегда держит,... Людей пошлю, коней даст... моих... дележных... к узорочью припустить Демку Башмакова, как отец думал? Нет, от такого, как Демка, дешево не устроишься... дьяка надо подешевле...»

Миновали новый и старый город, поехали лесом. Над головой ясное голубоватое небо, чуть начавшее мутнеть от перистых розовых облаков. В стороне за рядом сосен на болотце тюлюлюкает кулик. Вот и солнце низко, небо тускнеет, и на пространстве воздушном выцветавшего неба мелькают угловатые комки ласточек. А там? Вверху кружит видом меньше ласточки ястреб. «Поймать, обучить бить птицу... Кречет? Добро тогда... Теперь он только лишь разбойник...» – сонно мелькнуло в голове Бутурлина.

В стороне на кустах и над кустами от росы встает душистый туман, а запах в нем от



багульника. «Сладкий дух... лесной... люблю».

– Кру-кру! – пролетел над лесом ворон.

«Вор ты, а почему? Падалью живет...»

Пискнула синица – так показалось стольнику. «Птица похабная... гуляй-баба! Песня играетца, и в ней сказываетца: „Не пышно жила, пиво варивала...“ Жаль, мало живу в лесу... мало и на ловле с государем живу... все Матюшкин плут, ловчий...»

Близ дороги у опушки леса-полянка. Трава на ней, как бархат зеленый, и близ ручеек бормочет, а лес посерел, нахохлился, только над ельником высокие сосны еще тешатся закатом: их могучие ветви-и вершины будто кто посыпал тлеющими угольками. Месяц над лесом тусклый и, как кружево, по краям сквозной...

«Хмелю гораздо было... иной раз от того держаться... грудь жмет и рыгаетца с пригорчью», – думает стольник и видит, что возки стали. На дороге лесной слуги разводят огонь, распрягли лошадей, поят и на траву кодолят. «Табор? Ладно место – лучше не сыщешь...» – думает стольник, засыпая, но еще силится поднять тусклые глаза – глядит и видит: стена хмурого леса идет на него. «Что-о?» Он понимает – его возок несут ближе к лесу, и слышит говор, как из-под одеяла:

– Любит так, плотно к ветвям... спит боярин...

– От гнуса над возком запону...

– Нам дозволь тоже кибитки спустить – комар жгет...

Снится хмельному стольнику, что он у царя за трапезой прислуживает с другими стольниками. Все наряжены по правилам, в кафтаны бархатные – кто в розовом, кто в лиловом, а на груди у всех, как и подобает, шнуры и кисти жемчужные, только он, Василий Бутурлин, в одной рубахе. Царь сидит за столом, рядом с ним по левую руку Никон, борода у Никона белая... «Пошто Никон? Никон монах!» И с Никоном рядом Антиохийский патриарх с панагией на груди, черный, носатый, с лица похожий на ворона.

«Счастье! Царь меня не видит – будто и нет меня...» – думает Бутурлин. На столе перед царем много кубков с вином. Царь, как заведено, раздает их и говорит, кому нести; стольник с красным носом в зеленом колпаке по-птичьи кричит и вместо того, чтоб величать имя и чин, кому послан кубок, говорит:

– Попы стали пьяницы! А крылошана бражники – чем бы людей учить и унимать, они сами дурно творят, и простые люди живут и допьяна пьют!

«Ух, прогневитца царь!» – думает Бутурлин и видит: царь весь сделан из сахара, и шапка Мономаха на нем сахарная...

Вот опять царь дал стольнику кубок вина: «Снеси Борису!»

Стольник отходит от стола, щелкает губами, как птица клювом, передразнивает птицу чечетку и говорит:

– Чего ради жены с мужьями своими одни живут, а холостых к себе не припускают?

«Охота же ему подлюю птицу понять и пересказать!» Бутурлин прячется в толпе, чтоб его не видели... глядит, а за столом близ царя встал патриарх Антиохийский, поднял свою панагию над столом, сделал ею крест, благословляющий трапезу...

Стольник Василий подумал: «Застольную молитву будет чести», и слышит – патриарх Макарий сказал: «Воры крадут... замки ломают, живот чужой уносят, да мало им удачи бывает: как их поймают, так бьют и увечат, в Приказ отводят, а там их рвут и пытаются и в розысках жгут и мучат!» – «Где я чел... такое?...» Он подумал и увидал: царь глядит в его сторону. Подбирая рубаху, Василий Бутурлин прячется и чувствует, что кто-то крепко взял за рубаху: «Ужели палач?» Его приподняли. стало холодно... Стольник почувствовал на голове колючее, очнулся – пахнет конским потом. Начал болтать голыми ногами – по ногам бьет влажными ветвями больно и сучьем дерет. Подумал: «Сон нелепой, ужели так снитца?» Нет, он чувствует прохладу леса, слышит конскую ступь, его везут на шее лошади перегнутым, бок мозолит седлом. Увидал песок: «Дорога?»

– Очкнись, худой черт! – услышал стольник голос. С головы его сброшенное сукно чалдара легло на грудь лошади:

– Спаси бог! Кто ты?  
– Не кричи...  
– Не буду – скажи бога для?  
– Одному Бутурлину конец дали, – ты другой! Едем к моей ватаге...  
– Ой, што ты? Меня... я... чем?  
– Ты ладишь сюда везти дьяков и палача? Иметь и пытать холопов, коих твой брат на волю спустил?  
– Да нет! Ей-богу, нет! Во хмелю грозился, и то не холопов ладил искать, узорочье... Конь пылил на дороге шагом.  
– Пошлешь дьяков – тебя сыщем, кончим...  
– Никого не пошлю! Пошто мне? Получил свое... еще коней от воеводы возьму – и все...  
– Целуй на том, што говоришь, крест! Тогда не умрешь. Воин в железной шапке, в кожаной рыжей куртке, с боку из кожаной рукавицы достал медный крест, остановил коня.  
– Целуй!  
– Целую крест святой я, стольник Василий, сын Васильевич Бутурлиных! – сказал с дрожью в голосе стольник, крестясь и целуя крест, продолжал: – Даю клятву перед сим честным крестом и обещаюсь эту сторону забыть, не поминать и лиха на нее не держать... стрельцов, дьяков и палачей не наводить, не слать – аминь!  
Воин легко, как ветошку, держа за рубаху, ссадил с коня стольника, повернул лицом в сторону, откуда приехали:  
– За поворотом дороги узришь огонь – там твой табор, иди!  
Стольник никогда не ходил босой, а теперь, избавясь от смерти, торопливо, хотя и спотыкаясь, шагал по утренней прохладе и думал: «Спаси господь, у смерти в пасти был! Ну и сторона! Дива нет, что старик Василей погиб ту!»  
Дорога завернула вправо – огонь? «Огонь! Мои подводы... прикажу сниматься!»  
Стольник дрожал от страха и прохлады утра, но чуть не бегом побежал к табору, на ходу согрелся... Раннее солнце начинало золотить вершины сосен...  
Домка на воеводином дворе расседлала коня, завела в конюшню.  
Нищие, шедшие первыми к церкви, видели Домку верхом на коне, в ее наряде, сказали:  
– Знать новой-то воевода шлет же ту бабу на разбой?  
– Всем деньги радощны... а ты – молчи.

## Часть четвертая

### На Яик-реку

Когда Кирилка, отъехав с ватагой тюремных сидельцев, топил на середине Волги мешок с воеводой Бутурлиным, Сенька, простясь с Домкой, погнав коня рысью, чтоб настичь своих. Остановиться ватаге сговорено в двадцати верстах ниже Ярославля, вблизи Волги, на опушке леса. Дать отдохнуть лошадям и людям и до- ждать атамана, Сенька, простясь с Домкой и разоспавшись, забыл уговор со своими; он ехал, погоняя коня, но конь его забирал к опушке, а Сенька, опустив голову, дремал и не замечал лошадиного своеволия.

Очнулся Сенька и насторожился от звонкого свиста, подумал: «Наши свистят... становище...» Он направил коня на свист в перелесок березовый, дремота с него сошла, по лицу било душистыми ветками с клейкими молодыми листьями. «Вот тут, видно, они, – на поляне...»

Когда Сенька въехал на лесную полянку, приостановился, оглядываясь, свист повторился, и вслед за свистом из густого леса стукнул выстрел: пуля, задевая ветки, прошипела над головой Сеньки, слегка тронув шапку. Сенька хлестнул коня и крикнул: – Гой да!

Конь, зажмурясь, мотал головой, он не слушал окрика, шагом пролезал, густую опушку матерого леса. Подались вперед; едучи, Сенька оглядывался и за толстыми соснами увидел двух парней без шапок, в серых рубашках. Парни пытались зарядить пицаль. Один держал дуло пицали на колене, другой продувал ствол, топыря щеки пузырем.

– Эй, вы? По мне били?

– В кого били, того не убили! – ответил один, другой, отделив от дула губы, замаранные пороховой гарью, добавил:

– Мы процелили, зато ты цел!

– А ну-ка! Мой черед – я не процелюсь. Сенька выдернул из седла пистолет.

– Не стрели, мотри! – крикнул один, снова начиная возиться с пицалью.

Сенька удивился: «Чего глядеть? В меня били – теперь я!»

– Наш ватаман Ермилко, он тя на огне испекет!

– Да где он?!

– Тут, близ!

– Эй, парни! Кличьте атамана!

– Пошто тебе?

– Я брат ему!

– Во... брат! А не брусишь? Сенька взмахнул пистолетом:

– Кличьте! Велю, да скорее!

Парни неохотно опустили в траву тяжелую пицаль. Оба присели на корточки, и, всунув пальцы в рот, каждый по три раза свистнул.

Из глубины леса отозвались длительным свистом.

Выше подымалось солнце, тысячами золотых искр рассыпаясь в лесной заросли. Радугой отливала роса на листьях и хвое древесной. Курились туманы над кустами ивняка – из балок, заросших багульником и дикими цветами. Пахло сосновой корой и прошлогодними, не сгнившими до конца листьями.

Сеньку опять тянуло в дремоту, но он, тряхнув головой, слез с коня, стреножил, снял узду, положил на седло, снял кафтан и тоже закинул на седло. Конь жадно принялся есть влажную траву, а Сенька, сняв шапку и ероша кудри, думал: «Не лгут ли? Пожду...»

Вертя на колене заржавленную пицаль, один из парней спросил:

– Тебе пошто ватамана сюды?

– Говорю – я брат! А вы пошто стреляли?

– Мы на стороже и думали, ты от воеводы доглядчик...

– Пицаль запустела! Ржав ее изъел – киньте, – сказал Сенька.

– Любая орудия... нам и така в диво!

По лесу переливчато прокатился звук рожка. Парни, сунув в траву пицаль, надели кафтаны и шапки, подтянулись, взяли в руки рогатины. Рожок заиграл близко. Сенька силился и долго не мог разглядеть играющего. Меж деревьями маячила голубоватая даль, она заколебалась тонкими прутьями берез, и тогда лишь Сенька различил половинчатое лицо атамана – Ермилки Пестрого.

Фигура атамана, тихо ныряя меж стволами елей и сосен, была почти незаметна. Летом Ермилка носил кафтан голубовато-серый.

Властный голос атамана прозвучал сурово:

– Чья лошадь?!

– А, тут – во!

– Ен брат-де ватаману... Сенька шагнул к Ермилке.

– Что за притча! Семен! – обнялись крепко, атаман спросил парней:

– Окромя его, мимо вас шел хто?

– Пеших не было, ватаман!

– Берегом ватага на конях прошла!

– На конях?

– Да, ватаман!

– Чьи бы это люди... Давно?  
– С получасье до стрела по ему! – указал один парень на Сеньку.  
– В тебя стреляли?  
– Один раз был выстрел, – сказал Сенька. – В тебя? Обех повешу! Эй, скидай кафтаны...

Парни, сбросив шапки и сдев кафтаны, стояли потупясь. Из глубины леса шли на голос атамана иные разбойники, один за другим.

Сенька положил на плечо атамана руку:

– Ведь они, Ермил, на страже?  
– Два дурака гороховых, – да!  
– Службу несли честно, а где им знать, кто я? Не струсил, когда за пистоль взялся... пригрозили тобой. Не тронь парней – прошу...

– Пушай их, не трону на радости. Идем к становищу!

– Нет! Нынче я своих наладил по Волге... Конную ватагу парни углядели – это мои сидельцы с тюрьмы взяты, спешу догонять.

– Ужели мы встретились – и тут расстань?

– Вот, Ермил! Мой путь – с ватагой уйти к атаману Разину на Яик<sup>339</sup>... Хочешь ли заодно с нами? Путь дальний, бой, статья может, с царскими заставами! Идешь – помешкаю, не идешь – тут обнимемся, – и дороги наши врозь...

– Семен! Судьба, видно, быть вместе... Ведь не впусте стоял ты два раза перед нами в лесу у смертной двери... Пищаль ржав ископал, а то бы эти гороховики...

– Убили?

– Страшно молвить!

– Добро, Ермил, ежели идешь.

– Иду! Эй, вы, Гороховы пироги, взять коня, вести к становищу!

– Чуем, ватаман!

Сенька с Ермилом-атаманом пошли в глубь леса. Солнце пуще согревало пахучие ветки деревьев. Щелкал весело дроздриябинник, опасно и юрко перелетая. Передки сапог идущих по лесу людей покрывались мутно-желтой пылью плаун-травы, уцелевшей от прошлой осени.

– Благодать тут,, глушь лесная! – сказал Сенька.

– Кабы мирно жилось, да!... Но ежели грудь забита до горла обидой на проклятых дворян, то мой зрак пуще любит черную пыль пожарища...

– Твое и мое нелюбие, Ермил, к притеснителям сродни во всем...

– А, вот пришли! Попьем, поедим, соберу ватагу – и в поход.

– Две ватаги, Ермил, собьем в одну – мою конную и твою пешую... Людей разберем и вооружим сколь можно.

– Нынче на Кострому, Семен, в Костромские леса. В Костроме гиль идет, и та гиль пуще попов побить да кабацких голов, а мы ярыг подыдем соляных, купца Шорина да кое оружие есть в остроге и зелье заберем...

– Любо, любо, Ермил, брат!...

В лесу кругом начинало припекать и преть. В землянке атамана было прохладно и мягко от сухого мху, раскиданного по полу и широким дерновым лавкам.

– Спать бы мне! – сказал Сенька, привалась на лавке.

– Ты лежи, а я соберу народ и закусить дать велю, и харч собрать... Путь не малой, идти с пустым брюхом тяжко...

Сенька последних слов атамана не слышал – уснул.

Против Камышенки-реки рыбак перевез через Волгу Сеньку с Кирилкой. Переезжая,

---

<sup>339</sup> *Яик* – старое название реки Урал. Яик и Яицкий городок (Уральск) были переименованы Екатериной II после подавления Пугачевского восстания.

приятели спорили, как лучше попадать на Яик – ошую держаться или десную?

– Ошую-знаю я... – твердил старовер. Рыбак, получив деньги за перевоз, сказал:

– Тяжко вам, молодшие, пеше попадать степью... сгинете... – А как же нам, добрый человек?

– Мое вам правильное наставление такое: идите на Астрахань... тут вам мало ошую податься – Ахтуба-речка, по ней рыбаки угребают, они вас скоренько, минуя Волгу, в Астрахань завезут. Мало дойдете.

– А там как?

– Там просто, – на торгу купите себе еды в дорогу, сыщите рыбака, кой бы вас Болдой-рекой на взморье, Кюльзнома вывез и берегом до реки Яика доvez. Да знайте: не ходите левым берегом, там ломко, трава в человеческий рост, так, правые вверх по реке правым берегом, киргизской стороной... тем берегом песчано... убредете от реки в сторону – опас не велик, сыщите путь... Един опас – киргиз наскочет с арканом, так, зрю я, вы люди бывалые...

– Киргиза не страшно, страшно плутать...

– Под Яиком перевоз есть... перевезут. Степью же прямо идти – жажда убьет. Воды вам не сыскать.

Послушались рыбака, частью Ахтубой на нанятой лодке, частью пешком пришли в Астрахань. В городе, боясь много ходить, чтоб на караул не попасть, с утра вышли на базар к Кутуму-протоку. На Кутуме много сыскалось рыбацких лодок. Купили Сенька с Кирилкой на базаре жареной рыбы, мяса, хлеба. Рыбак, который взялся везти их взморьем до Яика-реки, охотно сходил в кабаk за водкой.

Плыли Болдой-рекой весело – пели песни и пили водку.

Когда рыбак узнал, что их направили этим путем, а не степью, похвалил, почесывая в бороде:

– Честной вам человек попал! Лихой – тот бы наладил степью прямо...

– А вот ладно ли? Велел он идти правым киргизским берегом?

– И то верно... правый берег не травяной, а песчаной... на него я вас и вывезу.

Расплатились, простились. Рыбак пожелал пути:

– Теперь не загниете, будете на Яике.

Шли день по реке, садились, отдыхали, и шли бы хорошо, да Кирилка заупрямился:

– Вишь река дугу какую гнет! А берег крутой, холмы... Пойдем прямо степью? Там ровно, травы мало,

– Пойдем! – согласился Сенька. Он спорить не любил и знал, что Кирилку трудно переспорить.

Пошли прямо, чтоб сократить дорогу. Несмотря на осень, солнце припекало, на ходьбе стало жарко. Выпили всю водку из баклаги. Воды они не запасали, река была под боком, но, когда удалились от воды, стала долить жажда.

– Ништо, брат Семен! Вон там в стороне озерко... Пошли к озерку в сторону, оно оказалось далеким, а когда подошли – солончак. Пришлось ночевать. Кое-где нашли прутьев и сухой травы, развели огонь, но от холода оба к утру дрожали. Утром рано пошли, поглядывая на встающее солнце. Над ними вились орлы, а ночью какой-то воздушный хищник, летая около, будил своим писком.

– Черт! И пустыня же тут дикая... – ворчал Кирилка. Разбрелись на речку с низкими берегами, напились, шапкой черпая. Выбрали мелкое место, перебрели неширокую воду. Сенька молча шел, Кирилка ругался:

– Дурак! Тупая башка... Сам, зри, погиб да товарища сгубил...

– Ништо... – успокоил Сенька. – Мекаю я, эти холмы перейдем, река будет.

Долго шли, к ночи попали на Яик-реку. Из последних сил нарубили сулейбой, висевшей у Сеньки под кафтаном, камыша, развели огонь. У хорошего огня, сытые, уснули.

Утром Кирилка сказал:

– Теперь, река-матушка, тебя не покинем!

Стали явственны вдали зубчатые стены Яика-городка, а старый казак-перевозчик перевез за две копейки через бурно-игривую реку. Сенька сказал:

– Кончена, Кирилл, гиблая дорога! От нее и во рту и в волосах песок. Умыться бы?

– Давай купатца?

– Ветер продувает, и река бешеная, сунешься – унесет так, что до берега не пристать!

– Аль мы впервой воду зрим? Купаемся, Семен!

Радуясь, что окончен голодный путь, оба разделись и по песку сползли с крутого берега. Сенька стал медленно мыться, натираясь мокрым песком. Кирилка прямо бросился в воду, ненадолго скрылся с головой, вынырнул, фыркнув, поплыл на ширину.

– Глади – там уклон, а за ним верту-уны! – крикнул Сенька.

Кирилка не слушал, плыл. Сизые волны с пеной набегали ему на плечи и на голову, отбивали все дальше от берега.

– Эй, пора! Вороти-и...

Кирилка послушался, он и сам почувствовал уклон, течение становилось шумным и быстрым. Есаул вытянулся во весь свой могучий рост, напрягая длинные руки, гребя большим размахом, круто повернул к берегу. Набежавшей крупной волной ударило и захлестнуло Кирилку с головой. Одна волна перекинулась через него, прошла другая, третья... и есаул, погрузясь, хлебнул воды.

Он справился с волнами, вынырнул, выплюнул часть воды, но ему захватило дыхание, а поперечные волны, не уставая.

били и несли к омутам, где вода вилась глубокими воронками. Кирилка, работая руками и ногами, казалось, лежал на одном месте, но его неуклонно относило к омутам.

– Погибнет парень!

Сенька наскоро натянул рубаху, быстро связал два кушака, побежал к месту, где боролся с водой товарищ, хотел кинуть кушаки, но Кирилка, встав на месте, как будто на землю, скрылся под водой. Его отнесло недалеко, и когда он вынырнул, Сенька кинул ему конец кушака. Есаул успел схватиться, но волны одна за другой, набежав с мутной пеной, покрыли Кирилку и не могли унести. Сенька тянул кушак и чувствовал, что Кирилка держится крепко. «Не сдал бы кушак?» – подумал Сенька, потянул сильнее, кушак лопнул. Кирилка, справясь, вынырнул, но волны не отпускали свою добычу... Есаула понесло... впереди крупный камень, волны с шумом били в препятствие на их пути и откатывались к берегу, а дальше выступ, – был на нем дуб, остался пень. Волны снова погрузили Кирилку... Там в воде он увидел могучие корни дуба, схватился за них и пополз на берег. Когда его голова показалась над водой, то Сенька увидел, что товарищ ослабел, готов сорваться. Сенька схватил есаула за косматые волосы и не отпускал, пока тот не выбрался.

Посиневший, дрожащий Кирилка, пуская воду изо рта а носа, с трудом проговорил:

– А ведь чуть не утоп!

– Сколь терпели бои? Вышли целы, а тут – на!

– Того, зри, сгиб бы... Встал было на камень, да он глобоской, и волны с ног роют, сбило, понесло будто шепу... Добро ты кушак дал – подтянулся, да еще кокорина до дна идет...

На ходьбе согрелись, разговаривая, забыли беду. Кирилка рассказывал, какие рыжие пески на дне и камни, снова прибавил:

– Кушак твой век не забуду! Быть бы в омутах под уклоном...

– Жив – и ладно! – ответил Сенька.

У города прошли надолбы, а перейдя мост, в воротах с церковью вверху на страже стояли люди Ермилки-атамана, одетые по-казацки; они узнали Сеньку, Кирилку тоже. Сняв шапки, кланяясь, заговорили:

– Ждали вас!

– Тебя, Семен, особенно! Атаман сколь раз вспоминал, с Саратова не видались...

– Чего говорить! Рад будет.

Сам атаман Ермилка Пестрый, теперь у Разина лихой есаул, слыша о Сеньке, подошел

к воротам встретить брата по делу и встречных своих людей позвал, чтоб видно было, как он любит Сеньку.

Они обнялись, назвали братьями. Сенька неговорлив был, а Ермилка и того меньше, но все же на радостях разговорился:

– Добро, Семен! Чаял, не погиб ли ты? И вот уж сколь дней поминал тебя и скучал...

– Рад и я, Ермил, брат мой. Дороги мы с Кирилкой не знали, брели куда попало, спросить некого... хлеб съели, воды нет... песок да ковыль.

Они проходили городом, и видно было, что в городе еще недавно окончен бой. Угловые башни завалены в дверях еще дымящимся обгорелым деревом. У одной из башен, недалеко от входа, – яма, в ней безголовые тела в цветных, залитых кровью кафтанах. Над ямой плаха, на ней кровь, стекая, застыла черными сосульками. На площади, где был торг, наполовину изломанные лари торговцев, от иных остались лишь столбы. С краю площади, видимо недавно, поставлены торговые скамьи. На них торгуют мясом, хлебом и калачами яички стрельцы в высоких бараньих шапках, в кафтанах бледно-зеленоватого цвета.

В середине площадь очищена от хлама досок и бревен и чисто подметена. По ширине площади наезжие башкиры торгуют лошадьми. Пахнет навозом гоняемых по кругу на аркане лошадей, потом и бараньей кислой овчиной, а со скамей доносит сжеженным хлебом. Один звонко кричал башкиру:

– Ты, косоглазой! Дорого пять, бери три рубли! – Бишь, бишь ру! Кон хорош...

– Бери три и пойдем кушать бишь-бирмак!

– Ни... ни, дошев!

– Ну, тогда иди ты в Тамуку<sup>340</sup> с конем вместе...

– Алла ярлыка!<sup>341</sup>

Сенька постоял, послушал крики торговцев. Кирилка дернул за рукав:

– Идем, Семен! С дороги отдох надо...

Идя, подошли к часовне. В глубине черного сруба виднелись такие же черные фигуры монахов, от огня свечей и раннего утра лица их казались восковыми. Часовня набита бабами и горожанами в таких же высоких, как шапки стрельцов, колпаках.

– Стой, брат, и я помолюсь!... – сказал Ермилка.

Они остановились у двери. Ермилка полез вглубь поставить свечку. Кирилка полез тоже в часовню, он занес было руку креститься, но, увидав в стороне под слюдяным окном на столе просфоры, попятился обратно, плюнул:

– Служба на пяти просвирках! Никонов вертеп... идем! Они тихо пошли, их догнал Ермилка. Перейдя широкий двор, вошли на крыльцо большой избы, гулко шумевшей хмельными голосами. Ермилка, пригнув голову, послушал:

– Тут он, батька Степан, думаю, хмельной и мало тебя познает. Поди, мы с Кириллом пождем...

Сенька, пройдя сени, вошел в распахнутую настезь избу.

Посреди избы плясал русский кудряш... Кудри, мотаясь, освещенные ранним солнцем из низких окошек, сыпали золотые искры. Кудряш плясал без топота; он иногда плавно проходил по кругу, а иногда вертелся на каблуках, и когда вертелся он, изба дрожала.

Кругом плясуна стояли разинцы, выкрикивали»

– Лихо, Ивашко!

– Гой-да! Чернойрец!

– Завсегда лихо пляшет, когда кого-нибудь побьем!

– А батько в та поры лихо пьет!

Близ дверей, головой к коняку, спал старый казак на лавке. На его ноги, положив

---

340 *В ад.*

341 *Господи, помилуй!*

баранью шапку, навалясь, спал другой, молодой, в казацком зипуне.

Сенька пролез между лавкой и густой толпой глядевших на пляску. Его глаза приковала коренастая фигура атамана под божницей в большом углу. Разин сидел в распахнутом, порванном у ворота черном кафтане, под кафтаном надето было что-то ярко-красное. Лицо атамана бледно, большие руки в засохшей крови. Подымая ковш водки, потряхивая изредка седеющими кудрями, Разин говорил, и далеко был слышен его властный голос. Разин казался пьян, но голос его не поддавался опьянению:

– Соколы! Иные из вас ропотили на меня, что летом я посекал яицких стрельцов... И вот явно вам самим стало, что прощенные мной, стговоренные подьячишкой Прозоровского<sup>342</sup> задумали у нас отнять город...

– Ништо, батько! Подьячишку я отправил в яму без головы... как тогда Ивашку Яцьгаа... – бубнил хмельной, матерый стрелец с сивой густой бородой. Он огромной окровавленной пястью косо держал на ладони ковш водки, плескал вино, норовя чокнуться с атаманом.

Разин говорил, не слушая стрельца:

– Кто не за нас – голову прочь! Вы зрели их, яицких? Вились лисицей у наших ног, а оказались волки!

– Ништо, батько! Тогда свалил я сто семьдесят голов, теперь помене, а и то...

– Помолчи, Чикмаз!

– Молчу! Пью за тебя с товарищи... Эй, хто?

– Пьем! – Разин чокнулся с Чикмазом ковшами. Выпив ковш до дна, Чикмаз опустил руки под стол и приник, его густая борода легла перед его лицом, как подушка...

– «Злодей!» – сказали про меня, когда я в Астрахань спустил стрельцов, тех же яицких, а в пути повелел догнать и убить! Я знал, что они попытают еще над нами свою силу! И вот сбылось...

Чернобородый, высокий, с карими глазами казак в яицком есаульском кафтане поднялся за столом, пригнувшись к Разину, сказал:

– Батько! Приказывал ты: «Хочу уснуть!», так опочив налажен.

– Пожду, Федор!

Сенька упрямо придвигался к столу и, навалясь животом на хмельные головы есаулов – они сидели спиной к нему, – глядел на Разина как зачарованный.

– Кто и зачем?

– Пришел служить тебе, батько! Люди мои на Яик посланы мной раньше... Сказали они...

– Федор, налея... Кто мне служит, тот от меня пьет! Чернобородый хозяин избы встал снова за столом и из деревянного жбана, зачерпнув ковш водки, поднес Сеньке:

– Жалует тебя Степан Тимофеевич ковшом вина! Сенька, держа шапку в руке, поклонясь Разину, выпил ковш не морщась.

– Пьет вино, как кровь! Лей ему еще, Федор, и дай постой...

– Добро!

Федор Сукнин налил Сеньке еще ковш, а когда тот выпил, сунул ему в руку какую-то рыбу с куском хлеба.

– Закуси, спасибо после!... Иди на крыльцо и там кликни: «Самарец! Гей, Федько...» – придет, кто надо, и даст, что надо. Прощай!

– Ладно! – Сенька вышел, и было ему весело.

– Ну, как батько?

– О батьке, Ермил, после, теперь отдых с дороги!

– Кирилку увел какой-то казак, Федором звать. Постой дам и угощу, – сказал, – а ты

---

<sup>342</sup> Иван Семенович Прозоровский – князь, астраханский воевода. Казнен С. Т. Разиным в 1670 г. после взятия Астрахани повстанцами.



пойдешь ко мне... накормлю.

– Идем! Кой раз ты меня кормишь, когда же, Ермил, я тебя угощу?

– Стой мало! Молчи.

Сенька замолк и тоже прислушался. Разин кричал, голос его покрывал все шумы и голоса:

– Мы пришли не миловать врагов, а казнить! Клин молотом бей, погнулся – давай иной... Врагов карать надо тем, кто не гнется!...

– Любое дело! Тебя благодарю, Семен, что меня сюда направил. Идем гулять и спать...

В мазанке, теплой и чистой, Сенька жил с Ермилкой. Приходил Кирилка, и все они втроем обсуждали и клялись друг другу помогать и держаться вместе. Подвыпив крепко, Ермилка, потирая низ лица, будто желая смыть с него багровое родимое пятно, пригнув голову, говорил нутряным, каким-то особым басом:

– Три таких, как мы... нас двадцать людей не одолеют!

– Я за себя стою... – вешая над столом большую волосатую голову на длинной жилистой шее, всхлипывая и двуперстно крестясь, куда-то под стол говорил Кирилка.

– Перепил! Пошто плачешь?

– Плачу я, Ермил Исаич, тому, што брат наш Семен, богатырь и ликом леп, приглядист, а душа его сгубла... сгубла душа!

– Пошто так?

– В бога он не верит... и черта, сказывает, нет! И святых отцов, бывает, што поносит матерне! Табашник – вишь курит!... вишь...

– Моя душа, Кирилл, и моя о ней забота. Брось, давай еще выпьем!

– С тобой не пью... С Ермилом, да!

– Живем – пьем, помрем – из глаз ковыль-трава прорастет... Пьем – и друга не корим, а што курить? – я тоже курю, хоша не часто...

– Зелие! Табун-трава из скверного места изошла, та трава...

Через три дня Ермилка сказал Сеньке:

– Иди, Семен, к батьке – зовет! Сенька послушно пошел.

За столом, так же как первый раз, в большом углу Сенька увидел Разина в черном бархатном кафтане, под кафтаном на атамане чуга алого атласа.

Разин был трезв, и на столе не стояло никакой хмельной браги. В просторной избе, душной от жилых запахов, сидел за столом еще хозяин избы – чернобородый Федор Сукнин. Оба – Разин и Сукнин – были, как показалось Сеньке, озабочены чем-то. Сенька наслышался, что Разина везде называют батьком, видимо, так повелось на Дону звать атаманов и старшин.

Войдя в избу, Сенька снял шапку, взглянул на божницу над головой Разина, уставленную зажженными лампадками, но на образа не молился. Он поклонился Разину, потом отдал поклон хозяину избы.

– Садись к нашей беседе! – указал на скамью Разин. Сенька, кинув шапку на лавку, сел. – Расскажи свои дела, а пуще о том, как познал меня? – Помолчал и прибавил: – По твоим делам увидим, на что ты гожд!

– Рассказ мой, батько Степан, не длинной будет...

– Назвал имя, прибавь и отечество, – Тимофеевич буду...

– Степан Тимофеевич, не длинной мой сказ, только вправду. – Не бахваль, я правду люблю!

– Тому, кто мне свой, бахвалить нечем... – Смышлен! А ну, как познал меня?

– Познал тебя, Степан Тимофеевич, я, когда сидел в железах у воеводы ярославского...

Он мне указал писать его сыну Бутурлину, окольниковому... Писавши, мы дошли до места, что-де «на Волге донские козаки<sup>343</sup> гуляют, и атаман у них Разин». Рука моя от радости по письму задрожала. Он же взял плетьтрехвостку и зачал меня бить, а я тогда цепи порвал...

---

343 В слове «козак» сохраняется авторское написание.

Разин, стукнув по столу кулаком, сверкнул глазами:

– И воеводу ты убил?

– Нет, Степан Тимофеевич! Убить его время не подошло... Убить – общее дело уронить, а дело такое, чтоб увести всю тюрьму и расковать. Воеводин бой стерпел, выждал время – тюрьму расковал, а воеводу в мешок и сунули в Волгу...

– А, так это ты? Дай руку! – Разин крепко пожал Сеньке руку. – Те сидельцы ярославские пришли ко мне с есаулом моим теперешним Ермилом?

– С ним, Степан Тимофеевич, а послал их я... Пришли не все, иные на сторону убрели, пути не вынесли... В Костроме задержались мы, зелье да орудие, кое было, взяли. Ермил к тебе пошел, а я с моим есаулом Кирилкой у Саратова остоялись – лихого барского прикащика погоняли, мужичью обиду с него взяли, только из тех мужиков мало кто захотел пристать с Ермилом... Славу твою прочили, сколь могли...

– Говори, сокол!

– Больше что сказать! Я и Кирилка пришли служить тебе вправду! Еще сказать тебе могу то, – сидя в тюрьме и слыша говор б тебе сидельцев, я порешил: «Только ему пойду служить головой... только Разин пойдет за народ!» Слышал и то – идешь в Кюльзюм-море, бери нас с Кирилкой, будем гожи...

– Добро! Сколь говорю с тобой, а имени не знаю...

– Зовусь Сенькой.

– Семен, сокол! Ты толков и смел... Почин твой не пройдет даром... Гляди, Федор! – раньше меня воеводу порешил, а я еще только собираюсь за них взяться... и какого воеводу! Хитреца, матерого волка. На Дону живя, слыхали о его хитростях, когда был он на Украине... Добро! Сокол, рукодель знаешь какую или только пысменной?

– Могу ковать келепы и сулебу...

– И ковать?...

– Учился... На Москве в Бронной есть мой приятель – бронник.

– Превеликое добро, Семен! И грамоту постиг?

– Был в стрельцах, не скидая службы, служил писцом на Троицкой площадке, а там за обиды посек двух злодеев, служак царских, и в Ярославле сел в тюрьму.

– И влазное<sup>344</sup> платил царю? – засмеялся Разин.

– Влазное не имали – моя женка посулами купила богорадного сторожа.

Разин слегка нахмурился: – Ты здесь с женкой?

– С Ярославля сбыл ее в Слободу.

– Ну, вижу, ты много смышленный... И сила, сокол, знаю я, есть у тебя, коли цепи рвешь... Будешь у меня есаулом!

– Спасибо, Степан Тимофеевич.

– По силе твоей и дело тебе дадим... Мы вот с Федором, – кивнул Разин на Сукнина, – сидели до тебя и сокрушались, думали: рук, ног и удалых голов у нас хоть мосты мости – есть богатыри, тебе не уступят силой, и силы нашей мало...

– Сила, чаю я, Степан Тимофеевич, у тебя утроится, – сказал Сенька.

– Моя сила людская мало утроится, она удесятерится... Мужик задавлен битьем и поборами, посадский люд – тоже. Где им правды искать? У царя? У воевод? У бояр или детей боярских? Нет им правды – она у меня... у нас всех! И все же мы против воинской силы царя с силой и правдой своей есть виолу. Ты, бывалой человек, московской, рассуди – почему так?

– Немчины, голландцы с рубежной выучкой нового ратного строя – то сила царская.

– Немчины и всякие иноземцы – сила не малая, но, сокол мой, новый есаул, пуще той силы у них пушки и вся армата огненного бою, и мастера бомбометного огня – вот их сила! Правда, Федор?

---

344 *Влазное* – налог с того, кто был посажен в тюрьму.

– Истинная правда, батько! – ответил Сукнин.

– У нас же – топоры, рогатины, сабли для бою впритин<sup>345</sup>, а дальней бой – луки, стрелы... Там сила, сбитая кучей, – одно, как стена... у нас сила разноязычная... Мужик калмыка чурается, татарин калмыка не любит – иной веры... Козаков горсть – у царя стена, у нас только «засека» в поле... Стрельцы? Народ, который думает только: «А как семья, не голодна ли?... А как лавка в городе – не граблена ли?» Они вполну надежны... Кто крепкой у нас? Козаки да ярыги-рабочие, но рабочих и судовых ярыг по головам счесть – мало!

Разин взглянул на Сеньку. От рассказа атамана он опустил голову.

– Эй, сокол! Не вешай головы... Еще наша сила в том, чего нет у царя и не будет! Нам жалеть нечего, а они дрожат от жалости сытого брюха... Нам и терять нечего, кроме головы. Кто стал козаком, тот закинул дом помнить... Его могила, не в монастыре у церкви... в степи широкой его могила, в ковыльтраве. И не подумай, что Разя Степан кого боится. Никого и ничего! Ни пытки огнем, ни мешка с камнями в воду, ни бога, ни черта, а куклы, посаженной боярами на стол, царя – и тем паче!

Разин помолчал, дожидаясь слова от Сеньки. Сенька молчал.

– Иным покажется зазорным, что мы, козаки, иногда той кукле в золотой шапке поклоны бьем. Но то исстари повелось, а затем повелось, чтоб шире взмахнуть на коне и крикнуть: «Пропадай царь со всем отродьем! Сарынь на кичку!»

Разин обвел глазами Сеньку и Сукнина, оба молчали. Атаман подумал, поднял руку, положил Сеньке на плечо:

– Труд на тебя, сокол мой, возложу такой, какой редкому исполнить... инако сказать – никому! Кроме тебя, иных таких не знаю...

– Спасибо, Степан Тимофеевич, труда не боюсь...

– Добро молвишь... А как голову скласть придетца?

– Умирать безвременно горько будет, Степан Тимофеевич, и не того страшно, што паду безвременно, а того страшно: увидал кому служить – и смерть!

– Есть у меня, как и ты, любимые есаулы, знают они и я – наш путь смертный... Статься может, не ты, а я тебя не увижу... Умрешь ты раньше меня, моей грозной славы и тебе хватит! Я на своем пути паду раньше тебя, не кидай, сокол, разинского пути, служи до конца дней народу!

– Тот путь, Степан Тимофеевич, давно полюбил я, а завет твой держу и держать буду!

– Гой-да! Тут и конец! А ну, Федор, прикажи поставить хмельного – любимого есаула Семена в дорогу благословить! Попы провожают молебнами, а мы брагой медовой... Зови есаулов – гуляем!

Сукнин встал и вышел из избы. Сенька молчал и думал: «Куда же пошлет меня атаман?»

Разин снова заговорил, и ему стало ясно – куда.

– Путь тебе, сокол, укажу не козацкими новыми городками, кои по пути рубили беглые... свои они нам люди, да голодны и нищи. Ни по Северному Донцу, ни по Медведице-реке, ни по Бузулуку... пойдешь прямо на Саратов... мимо Саратова, чтоб не имали, пройдешь на запад, на Борисоглебск, а там на Воронеж. В Воронеже сыщешь в остроге Микифора Веневитинова, скажешь атаману – от Рази. Меня помнит, а пуще отца моего. У атамана в остроге лавка. Ежели извелся старик, тогда иди от церкви Рождества к большой улице, к торгу, не дойдя улицы – переулоч, в нем найдешь двор Ивашки Барабаша. В том дворе сыщи Игнашку, прозвище – Татарин, примет. От меня скажись. Памятку пиши себе, кого где искать. В улице от Казанские слободы к реке Воронежу, коли треба будет, сыщи того или иного: Якимку Мещеряка альбо Трофимку Максимова, оба приют дадут, хоша двор не свой. Еще – улица от Покрова церкви к острогу в тупик, сыщи, сокол, двор, в коем затинщики живут, у них захребетники водятца, бобыли, кузнецы в том дворе есть...

Вотчины близ Воронежа знаю, – ведома мне вотчина Бабей с ухажеями лесными. Хозяин, ежели жив, – атаман Кирей, простой, приветливый старик. Неминучая загонит – сыщи Слободу беломестных атаманов, в Слободе – церквушка, тоже имени Покрова, при той церкви кельи нищих... Наше дело велит иной раз шкуру менять с бархата на вотолю.

– Добро, Степан Тимофеевич, с нищими бродил я смолоду, их повадки знаю!

– Воронеж... тебе кажу за то, что город обильной, всякой народ в ём живал... В Царегородской слободе, в мое время, были даже гулящие люди с женами... Оглядишься в Воронеже, перья расправишь-полетай, сокол, на юго-запад, Нижнедевицк... оттуда Белгород и дороги езженные... С Белагорода уходи на Борисовку, за ней Лебедино село – все на запад, там – Гадяч, Лубны и Днепр... Сторожко попадай за Днепр, у него, мыслю я, есть клятые царские заставы... Пристань к голутвенным козакам<sup>346</sup>, кои попадают за Днепр, к Петрухе Дорошенку. Попадешь в Звенигород, и тут тебе матерый атаман гетман! В Воронеже атаманы – только слово, все они козацкие старшины... Дорошенко Петруха иное, он подданный султану турецкому и гетман всей той стороне Днепра, а придет пора – зачнет быть гетманом обеих сторон, тогда царские воеводы уберут ноги к Москве. Из всех нас Петруха – пущий враг царю и панам польским... Про меня он знает... Прислужись к ему, сокол, не жалея службы, а как поверит в тебя – он удалых любит, – испиши ему грамотку от меня такую: «Мы с тобой, Петр, братья по делу ратному! Ты избиваешь царских воевод, и мы их не щадим, а будет время, ежели царские собаки нас не изорвут в разбивку, то сойдемся и Украину из польских и царских когтей вырвем! Силы народной у нас хватит. Беда наша в том, чтоб стоять крепко против врагов, голутвенных утеснителей, нет у нас арматы – без арматы дело наше некрепко... Удружи, прошу тебя, как брат, справную армату, а людей, кои ее нам прикатят на Яик, к тебе оборотим. Проесть и сапоги и кафтаны им дадим! Без арматы мы сироты, а будет она – чудеса узришь, и обнимемся братцки!» Вот так и испиши, сокол. Он – долгодум и не всякое слово наше поймет до конца. Грамоту же ему писари изочтут, слова не пропустят... Теперь же погуляем, и, не тратя время, иди... денег дадим, сухарей в дорогу да татарина с башкиром сговорим провести тебя на Саратов или близ, как им покажется лучше, да за Волгу переправить... Перевозов искать опасно... А что ж, хозяин, нешто хмельное далеко стоит? – Затрубили в рог. Разин сказал: – Судьба помешкать с пиром... Чужой кто в город наехал!

Вошел Сукнин.

– Тебя, батько, налезает посланцы с Дона, козаки – Левонтий Терентьев, сказался один, другой голоса не подал... по виду есаулы, а с ними в товарищах три козака. Сюда примешь, ай как?

– Всякую скотину в горницу манить не след! Собери, Федор, «круг», я выйду.

Забил барабан. На обширном дворе Федора Сукнина на звук барабана стали собираться разницы. На дворе у тына шумели тополя, когда Хвалынское море<sup>347</sup> пускало на город свое могучее дыхание. Сентябрь стоял на исходе, но листва на деревьях была еще зелёная, только по небу без дождя много дней набухали бурые облака.

Разин вошел в «круг», все сняли шапки, кинули к ногам на песок. Посланцы донские шапок не сняли.

Левонтий Терентьев, собутыльник на пирушках атамана Корней Яковлева<sup>348</sup>, матерый

---

<sup>346</sup> *Голутвенные казаки* – беднейший слой казачества, постоянно пополнявшийся за счет беглых крепостных крестьян.

<sup>347</sup> *Хвалынское море* – старое название Каспийского моря.

<sup>348</sup> *Атаман Корней Яковлев* – войсковой атаман донского казачества в годы разинского движения, защищавший интересы зажиточных казаков. Враждебно относился к восстанию казацкой гольтыбы и крестьянства. В 1671 г. выдал Степана Разина царскому правительству.

низовик<sup>349</sup> в малиновом кафтане, с саблей без крыжа на ремне у бока, в шапке с бараньим околышем и парчовым цветным верхом, подошел, пошевелил темной бородой, подал Разину бумагу и сказал:

– К тебе, Степан, государева грамота! Разин взял бумагу.

– Грамота? Терентьев молчал.

– Сказываешь, государева, а я по письму вижу, писали ее дьяки в Астрахани...

– Не скрою – с ведома она воеводы астраханского... Матерый низовик оробел. «Разин понял подлог», – подумал он, боком оглядывая суровые лица кругом себя, прибавил:

– Еще отписка войсковая ко всем козакам, «чтоб вы, козаки, от воровства отстали и шли бы на Дон».

– Войсковая отписка к козакам моим писана в «кругу» хрестным Корнилой, и в том «кругу» были только низовики?

– Прими, как понимаешь,... – ответил Терентьев.

Разин сурово сжал губы и метнул в лицо Терентьеву смелыми глазами:

– Не от воровства, от бунта отстанем тогда, когда царь у бояр мужиков отнимет, волю им даст, а с Дона, который вы, матерые, продаете царю, уберет воевод, коих ежегодно шлет на кормы с судом и поборами!

– То, Степан, ты измыслил впусе...

– Ну, вот! Когда от царя придет к нам подлинная грамота: «что вину нашу он нам отдает и не разнимет по дальним городам, а даст вольно жить на Дону», тогда над такой грамотой мы подумаем, как быть? Мы не робята малые, давно живем без отписок войсковых! Грамота ваша – вот! – Разин разорвал бумагу, бросил ключья и тяжелым сапогом с подковой втоптал в песок. Шевеля шапку на голове, Терентьев поклонился, сказал:

– Можно ли тебя, Степан, еще спросить?

– Степан и не пьян! Был бы во хмелю, шапкой двинул, а вы бы ногами сучили на Яицкой стене!

– «Круг» наказал мне особо спросить тебя, – куда нынче поход налаживаешь?

– Скажи Корнею и иным державцам низовикам: «Разин не спрашивает вас, сколь вы ободрали в жалованье реестровых козаков<sup>350</sup> и много ли у старшины за хлеб московских людей робит?»

– Не входи во гнев, дай еще слово...

– Сказывай...

– Велено «кругом» отдать в полон емансугских татар, коих твои козаки на улусах<sup>351</sup> погромили...

– «Круг» знать того не мог! Это тебе указал воевода астраханской? Говори!

– Так, Степан!

– Сказал ты, и я отвечу! Татар кочевых не обидим, а емансугские доводчики воеводе и царю тоже – лазутчики! Их не отдам...

– Прощай! Больше сказать нечего...

Терентьев еще раз поклонился, на этот раз сняв шапку.

– Скажи низовикам, что Дон они царю продают и барышам рады. Придет время, будут слезы лить!

Посланцы спешно удалились.

---

<sup>349</sup> *Матерый низовик* – матерые, т. е. богатые, казаки, из которых составлялась казацкая старшина, жили преимущественно в низовьях Дона, тогда как голытьба – в верховьях.

<sup>350</sup> *Реестровые казаки*. – Ошибка автора: на Дону таковых не было. Реестровыми называли зажиточных украинских казаков, занесенных в годы польского владычества в особый список – реестр.

<sup>351</sup> *Улусы* – у тюрко-монгольских кочевых народов становища-кибитки, иногда – княжества.

– Добро, батько! – закричал «круг» и замахал шапками.  
– Иной раз дай таких посланцев вешать!  
– Дам, соколы! – улыбнулся Разин и пошутил: – Эти хоть и низовики, да земляки... не ровен час привитаться случится... Гой-да, за пир! Эй, Федор!  
– Заходи в дом, батько! Все справлено, – ответил, стоя на крыльце, Сукнин.  
Сенька стоял у крыльца. Разин взял его под руку.  
– Ну, есаул, пируем нынче! А скоро пойдешь в ту сторону, куда эти черти поедут... – Он махнул рукой вслед ушедшим посланцам.

Разин, Сенька и Сукнин Федор были в избе, остальных людей атаман не указал пускать к столу.

На лавке у дверей лежала кожаная сума Сеньки, набитая в дорогу сухарями, порохом и рублеными кусочками свинца для заряда пистолетов. В ней же была малая киса с деньгами, белье и запасный небольшой турецкий пистолет особенно редкой работы. Разин подарил его Сеньке на память об их знакомстве.

– Бери, сокол! Помни наш уговор и меня не забывай. Сенька поклонился Разину в пояс, сказал:

– Завет твой, батько Степан Тимофеевич, будет жить во мне, пока моя голова на плечах сидит!

– Гой-да! А не выпить ли нам на его дорогу, а, Федор?

– Мочно, батько! Сенька мотнул кудрями.

– Вчера, Степан Тимофеевич, было пито и едено, сегодня – дорога... не пью больше...

Разин, сидя, обнял за шею Сеньку:

– Ну, так жди и гляди на нас-мы опохмелимся, а тебе указал я вожей дать.

Сукнин хлопнул в ладоши. Из прируба вышли две стройные девки, дочери Сукнина, внесли на большом деревянном подносе четыре братины с широкими горлами и узкими подставками: две золоченые серебряные братины были с выпуклыми брюшками в узорах, а две оловянные – гладкие, – на каждой из них было опрокинуто дном кверху по ковшичку.

– Вот, батько, опохмельце! – сказал Сукнин.

Девки поклонились Разину поясню и церемонно, когда поставили перед ним поднос с хмельным. Сенька хотел встать, отойти от стола. Сукнин мигнул одной девке. Девка поняла отца. Еще раз поклонилась Разину, сказала приятным, но жеманным голосом:

– Батюшко, Степан Тимофеевич, меды мы сучили и с матушкой варили, а попробовать, сколь хороши, не попробовали – дозвошь?

– Пробуй, красавица, и нам всем подноси!

Девка зачерпнула из братины ковшичек меду, слегка отведала, поклонилась отцу, сказала:

– Выручи, родимой, мед ладный, да не гоже девке пить до дна!

Разин взял у девки ковшичек.

– Прежде отца гостей надо потчевать, красавица! – Он выпил и, потянувшись, встал, поцеловал девку в щеку, зачерпнул сам такой же ковшичек, подал ей. – Теперь потчуй, кого загадаешь!

Девка взглянула на Сеньку, поклонилась ему, сказала:

– Батюшко не жених, не сват, а будет сватом – его первым попотчuem... Ты, гостюшко, в женихи гош, так уж не побрезгуй стряпней нашей... свой мед, домодельной... – и еще поклонилась.

Сенька встал, ответно поклонился девке, но слова не нашел, выпил ковшичек. Разин подал голос:

– Гей, ковши нам! Ковшичком пить – душу томить, а мы и через край налить умеем!

Обе девки еще раз поклонились Разину, отцу и Сеньке, ушли в прируб. Из прируба вышла сама хозяйка, красивая, рослая казачка, за ней шесть служанок несли подносы с тарелками, на тарелках жареное и вареное мясо, енды с водкой и медами.

Сенька подумал: «Сегодня не ход?»

– Куда лезешь, поганой?! – кричал казак на татарина, переступившего порог избы. Татарин отмахивался, бормотал:

– Киль ми! Киль ми! Китт<sup>352</sup>! Разин крикнул:

– Не троньте татарина! – Прибавил громко: – Бабай – кунак.<sup>353</sup>

– Салам алейкум, бачка! – сказал татарин, выйдя на середину избы.

– Алейкум саля! – ответил Разин, подняв ковш водки и жестом приглашая татарина. – Киряк?<sup>354</sup>

– Киряк ма<sup>355</sup>! – тряхнул головой татарин и пальцем показал на потолок, как на небо.<sup>356</sup>

Разин засмеялся:

– Дела нет мне – мулла<sup>357</sup> ты или муэдзин<sup>358</sup>, или просто поклонник Мухамеда. А вот тебе мой есаул, – показал рукой на Сеньку, – на конях проводи его степью на Саратов... Деньги тебе даны – проведешь, верни на Яик, получишь калым!<sup>359</sup>

– Якши, бачка! Якши.<sup>360</sup>

– Не пьешь и нашего не ешь – иди! Справляй коней в дорогу, товарища подбери.

– Якши, бачка! Ярар<sup>361</sup> – има башкир... Татарин, юрко поклонясь, ушел.

Сенька от горести разлуки с атаманом стоя выпил ковш водки. Разин встал, обнял его.

– Не поминай лихом, сокол! Терпи ради нашего дела тяжелой путь... и прощай!

Сенька не промолвил слова, боясь показать слезы от жалости того, что любил, нашел и оставляет. Он взял шапку и рядом с ней прихватил свою суму; не надевая шапки и не оглядываясь, спешно вышел из избы.

Разин поглядел ему вслед:

– Ух, крепкой парень! Люблю таких...

– Да, батько Степан! Не много людей, в коих сила и разум вместях живут... – ответил Сукнин.

Пока готовили лодку перевезти Сеньку за Яик, стоваривались:

– Река бешеная! Выше уклона нельзя перевозить...

– Одноконешно нельзя! О камни разобьет.

– А ниже – отнесет далече, – вертуны объехать надо... Сенька, пока готовились казаки, зашел к Ермилке. Кирилка сидел за столом, пил водку и мрачно молчал. Ермилка сказал

---

352 *Поди прочь! Уйди!*

353 *Старик – гость.*

354 *Хочешь?*

355 *Не хочу!*

356 Магометанская религия запрещает употребление вина.

357 *Мулла* – магометанский священник.

358 *Муэдзин* – служитель при мечети, обязанный провозглашать с минарета о наступлении часа молитвы (намаза).

359 *Подарок.*

360 *Хорошо.*

361 *Ладно.*

Сеньке:

– Дарил ты мне, брат Семен, шестопер – его храню! Перстень мой у тебя схитили и памяти моей нет, так вот – надень пансырь!

– Самому тебе гош. Меня спасаешь, а как бой – и ты с голой грудью?...

– Добуду новой – бери! Короткой, но он доброй, с медяным подзором.

Сенька послушно снял кафтан, натянул на плечи панцирь, сверху надел кафтан, запыялся кушаком. Суму вскинул на кафтан, а сверх всего – армяк распашной, От сумы казался горбатым. По горбу сумы Кирилка, встав из-за стола, ударил кулаком:

– Береги себя, горбач! Идешь не молясь, да мы о тебе помолимся...

Сенька молча обнял приятелей. На берегу его ждали перевозчики, но он оглянулся и удивился: татарин и башкир, как два чугунных конных истукана, чернели вправо от реки на холме.

– Пошто не едут за реку? – сказал Сенька.

– Да тебе куды, на Гурьев городок? – спросил перевозчик.

– Нет, на Саратов.

– Тогда иди к ним, не переезжай...

Сенька пошел от реки в гору. Когда подошел к конным спутникам, один ему показал оседланного коня, в балке стоял.

– Кон кароша! Татарин спросил:

– Знаишь татарски?

– Ни... – покачал головой Сенька.

– Яман<sup>362</sup>! Знаишь – кайда барасым?<sup>363</sup>

– Ни... – ответил Сенька.

– Яман!

Сенька подумал, что татарин сказал ему «хорошо», и, обращаясь к нему, прибавил:

– Идем на Саратов! – он показал пальцем на юго-запад.

– Сары тау<sup>364</sup>? Якши!

День разгулялся, из бурых облаков выплыло солнце, в степи зажелтели камни, и даль заголубела.

Сенька сел на коня, потрогал колчан у седла со Стрелами и улыбнулся: «Чем стрелять? Лука нет! Это не для меня...»

Когда двинулись степью, Сеньке показалось, что спутники сильно забирают к Астрахани; он подъехал к татарину и, тыча рукой в сторону юго-запада, сказал:

– Туда надо!

– Китт! – ответил татарин и отмахнулся; он говорил с башкиром, тот, трясая головой в бараньей шапке, что-то рассказывал татарину и часто повторял:

– Алла ярлыка! Алла...

Башкир и татарин оба были мусульмане.

Сенька больше не спорил и не настаивал на правильном пути. Он ехал впереди своих вожаков, но зорко приглядывался, как они ведут путь.

Солнце стало заметно ниже, и чувствовал Сенька, что лошади надо бы отдохнуть, но кругом пески и пески... ни ручейка, ни лужицы близ. Кое-где блестели на песке пятна, будто озерки дальние, но он знал по опыту – это соляные места. Помнил, что они с Кирилкой, идя на Яик, забрели на такое место и чуть не погибли.

Вдали замелькали островерхие шапки – счетом пять. Татарин взгляделся, сказал

---

362 Плохо.

363 Куда идешь?

364 Желтая гора?



башкиру:

– Эмансуг татар – яман!

Башкир, держа мохнатую шапку в руке, вскочил на спину коня и на ходу коня, стоя, разглядывал едущих быстро навстречу. Он сел в седло, надел шапку и, выдернув лук из мешка, стал подбирать стрелы, громко бормоча:

– Алла ярлыка!

Только Сенька беспечно ехал на скачущих к ним татар и думал: «Знают по-русски – как воду спросить, поить коня надо!»

Татары насккали на перестрел стрелы, трое из них натянули луки, пустили в них три стрелы. Стрелы прожужжали, не задев никого. Двое расправляли арканы.

– Ого! Гой-да! – крикнул Сенька и, кинув поводья на шею коня, выхватил два пистолета. Прежде чем татары справились наложить стрелы, Сенька, насккав, ударил одного в лицо пулей, сунул в колчан пустой пистолет, из другого пробил грудь второму. Третий успел направить стрелу в грудь Сеньке, но о панцирь стрела, ударив, переломилась.

Третьему Сенька, близко насккав, тоже выстрелил в лицо пониже шапки, ему снесло череп, а конь, испуганный стуком выстрела и огнем, понес запрокинутого на спину всадника в степь.

Видя, что Сенька смел и вооружен, двое оставшихся грабителей, смотав арканы, ускакали прочь, и вскоре их не стало видно.

Сенька сунул пустые пистолеты в колчан у седла, поехал наведать спутников. Они с начала боя спешили, поставили коней рядом и за конями, встав на одно колено, готовили луки.

– Якши! Батырь... яй... яй... – сказал татарин. – Эмансуг татар кудой...

– Ништо, старики! А вот лошади устали, надо воды им... Татарин стал добрее к Сеньке, он решил растолковать, как может.

– Кибытка татар будит... как вот... – он показал на солнце, сплюснув ладони сухих рук. Сенька понял, что, как сядет солнце, к тому времени они приедут куда-то.

На ходу коня Сенька продул пистолеты, оглядел кремни и зарядил. У него на кушаке, спрятанная под армяком, висела его. небольшая сулеба, кованная самим им: «Не вынесут пистолеты, возьмусь за сулебу...»

Стало темнеть. Башкир вставал два раза на круп коня и вглядывался. После третьего раза подъехал к Сеньке, тронул его за рукав, сказал:

– Коро кушил бишь-бармак!

На горизонте зачернело. Они понукали усталых лошадей, подъехали к татарскому становищу в несколько кибиток. Среди кибиток был островерхий шатер. Вдали виднелось стадо овец, кругом были кусты, и между ними неведомо откуда шел ручей и также неведомо куда скрывался.

Один из татар хорошо говорил по-русски, сказал Сеньке:

– Твои спутники хвалят тебя! Ты убил и разогнал грабителей.

– Это ништо! А вот... – он порылся в карманах, достал серебряный рубль, дал татарину, – пушай накормят и лошадей наших.

Татарин взял рубль, сказал, ломая слова:

– Это обида, что ты платишь. Кунак – по-нашему гость, гостя принимают, поят и кормят и путь ему показывают без денег.

– Для меня обида, что ем чужое, а в гости позвать вас некуда, пушай мои деньги пойдут у вас на бедных...

– Ну, добро, кунак! Добро... на бедных можно... бедным мы помогаем...

Сенька попил кумыс, поел бишь-бармак, изготовленный по просьбе башкира. Залез в пустую кибитку, снял суму и панцирь, лег под кафтаном, глядел на звезды. Ночное небо было черное, и только круги около звезд говорили, что оно темное-темное, но синее.

Слышал Сенька, что в шатре весело кричат; ему послышалось слово «батырь».

«Может быть, обо мне говорят?» – Он стал дремать, не хотелось думать, что там

впереди ждет, но до атамана за Днепр ему надо добратсья.

Кто-то шевельнулся у кибитки, заскочила девочка-подросток. Сказала звонко:

– Урус батырь! яй, яй...

Сенька приподнялся, хотел ее поймать; она тронула его мягкой тонкой рукой по кудрям:

– Батырь! ай, я-а... – и соскочила.

Свистнула, видимо, плеть, старческий голос сердито прошамкал:

– Иблис!<sup>365</sup>

Звонкий голос, знакомый Сеньке, прокричал во тьме чужие слова:

– Мин сиэны курасым ды.<sup>366</sup>

Утром рано выехали, а когда проезжали последнюю кибитку, из-за нее поднялась стройная фигурка девушки и за Сенькиным конем побежала, путаясь тонкими ногами в песке, крикнула, сорвав с головы темное покрывало:

– Урус батырь! Урус, урус!

Сенька видел, как взметнулись ее темные косы да сверкнули черные глаза.

Он только боком взглянул на нее и поскакал за вожатыми.

«Эта бы любила... да мне? Эх, ну!»

Вожатые его-татарин и башкир – забирали вправо, и Сенька только теперь понял, что прямо ехать с Яика – негде кормить и поить лошадей, да и самим отдохнуть от длинной дороги негде. Поздно ночью они были близ Волги, ночевали на опушке леса. Развели огонь, спали у огня, а когда Сенька достал из сумы деревянную баклагу, кусок мяса жареного, сунутого ему в суму хозяйкой, стал есть, то пригласил обоих спутников, но татарин сказал:

– Киряк ма!

Башкир ел мясо и пил с Сенькой налитое ему вино, говорил по-татарски: «якши!»

Татарин, глядя на башкира, плюнул и сказал;

– Бабай – шайтан!<sup>367</sup>

– Алла ярлыка! Алла... – бормотал башкир и прятал от единоверца лицо. Утром на берегу Волги они оба, как мусульмане, совершили намаз. Татарин долго вязал из камыша плот; окончив, на постромках прикрепил его недалеко от хвоста лошади. Сенька сел на плот, а татарин верхом – и они переплыли Волгу.

На берегу Сенька дал татарину еще серебряный рубль. Тот, сняв шапку, сказал:

– Спасибо... – он пробовал растолковать Сеньке, чтоб тот скорее уходил от этих мест, и твердил: – Эмансуг татар кудой! Он цар служит...

Сколько верст ниже Саратова высадили его на берег Волги, Сенька не знал, не останавливаясь, шел по берегу реки; никто не встретился. На ночь устроился под копной сена. Когда дергал сено для постели, из копны выдернул стрелу, поглядел и решил: татарская.

Еще день шел и стал скучать, подумал: «Где – так хоть кабаков много, а тут ни одного!» Стало темнеть. На берегу – больше песок, решил ночь провести в камышах. Сенька выбрал сухой бугор с камнем, наломал камыша, подостлал, на камень положил шапку и сказал себе: «Постеля, как в скиту за грехи!» Но усталость брала свое. Сенька стал дремать и в дреме услышал – трещат камыши: «Какой-нибудь зверь подбирается!» Приподнялся немного, увидал: со стороны берега из камышей ползли на него двое людей. Лиц в сумраке не видно, и лица обезображены: во рту у обоих было закусено по луку. «Татары! Ага!...»

Он вскочил на одно колено, а татарин уже сидел на нем. Сенька толкнул его с себя

---

365 *Дьявол.*

366 *Я тебя ненавижу.*

367 *Старик – черт.*

кулаком, татарин взвизгнул и, отлетев, шлепнулся в воду. Другой выплюнул лук, крикнул: «Урус шайтан!» и тут же, прыгнув, повторил то, что сделал первый: насел Сеньке на голову. Сенька поймал его за широкие штаны, сорвал с себя и кинул в воду; этот нырнул, а Сенька, выдернув пистолет, ждал, когда на темной воде появится черное пятно человека. С берега взвился аркан, петля захлестнула Сеньке шею. Он быстро обернулся, шагнул к берегу, сквозь камыши увидел фигуру черную, быстро мотающую аркан. Сенька выстрелил. Черный на берегу сел; и, слышалось Сеньке, сказал:

– Аллах!

Сенька вышел из камышей, черный сидел на корточках, аркан вился перед ним в камыши светлой полосой. Тогда Сенька вспомнил, что петля аркана на его шее, снял аркан, кинул на убитого, пошел и оглянулся. На отливающей сизой сталью воде чернели две фигуры; они плыли по течению к Астрахани, за ними недалеко от берега плыли их шапки. Увидав плывущие шапки, Сенька вспомнил свою на камне:

– Крысы напали, а я и шапку забыл!

Он вернулся к месту ночлега, под ноги ему попался лук, другой, зацепив камыши, кружился у берега... «Кто ближе был, тому меньше пришлось...» – подумал он, но решил, что спать некогда, надо уходить от опасных мест. «Сено недалеко осталось, и тут, видно, есть татарские становища».

Он спешно зашагал по берегу, хотя часто в сумраке спотыкался о пни и кочки – раз упал.

Поздняя луна подымалась медленно; от ее сияния, розового и как бы неуверенного, медленно оживал и рисовался берег. За Сенькой брела его горбатая тень, а когда ломалась в уступах, горб его подымался на бугре, а лицо Сеньки, волосатое, горбоносое, с курчавой короткой бородой, становилось огромным, носатым. Сенька, чтоб не дремать, внимательно разглядывал свою тень и думал: «Будто я Бова-богатырь! Эх меня разнесло!»

Долго он шел, решил выбрать бугор или камень, – отдохнуть, выпить водки и закусить. Ему показалось, что далекодалеко мигнул огонек. Он протер глаза. Еще мигнул и стал больше. Сенька зашагал шире и все глядел вперед, боясь, что огонь скроется, но огонь был все шире, все ярче, и стали видны даже искры.

Сенька спустился со сторка к реке, и огонь пропал. Он еще прибавил шагу, вглядываясь, а когда подошел, то слышал сквозь кустарник потрескивание сучков, а огня не видел; тогда он полез в кусты и увидал огонь...

– Черт! Думал – не огонь, а марево...

Кусты кончились. На Сеньке распахнулся армяк. На него вскинулись чьи-то глаза, и старческий голос крикнул:

– Чур меня! Чур, чур!

Тощая фигура старика, спотыкаясь, пустилась бежать к берегу. Длинная борода, заскочив на плечо, поблескивала от пламени костра.

Сенька еще из кустов видел, что у огня на деревянном гане кипел котелок, а в нем шевелилась рыба или иное что.

– Эй, раб! Уха перекипит, – крикнул Сенька. Старик выпрямился, оглянулся, спросил:

– Чаял я, ты лихой.

– Что с тебя взять?

– Взять-то? Крест да от порток пуговицу.

– Бог с тобой! Иди к огню, не бойся.

– Бога поминаешь – знать хрещеной...

Старик вернулся к огню, а Сенька подумал: «Вишь, слово, которое не люблю, – помогло...»

Старик, усаживаясь на прежнее место, заговорил:

– Вот ты какой матерой, но пуще спутался я, как из кустов полез и за поясом пистолети забрякали...

– Они брякают, только когда из них стрелят... смешной!

– Ну, а мне почудилось: забрякали – я и побег к лодке! Сенька взгляделся в берег, заметил лодку.

– Ты рыбак?

– Рыбак, да поневоле рыбак... дочка в слободе у Астрахани живет, – весть дали: помирает в родах, а она у меня единая, как свет в глазу... ну и поехал, да орудье рыбное взял...

– Добро, старик! Попутчиками будем, не знаю, сколь времени, – мне на Саратов...

– А я с-под Саратова, вместях легче, знай погребем... И мне покой дорогой, у тебя пистолы, а то татарва обижает, зачали было меня арканом ловить, так тем берегом вчера пихался...

Сенька не сказал, как он попал на татар, стал развязывать суму. Развязав суму, вынул баклагу с водкой, налил водки в крышку баклаги, сказал:

– Пей, дедушко!

Старик перекрестился, выпил водку, помешал ложкой уху и, обжигаясь, хлебнул.

– Пспела, вишь... щучья уха... – Он тоже развязал свой кошель, вынул хлеб, пожевал и, сняв котелок, стал прихлебывать, похлебав, проговорил: – Не брезгуй, ешь уху!

Сенька взял ложку, обтер ее полый кафтана, посыпал сухарей и с удовольствием ел горячее, иногда запивая водкой. Когда поели, Сенька помогал старику таскать в огонь сухие прутья, а потом у огня оба разделись. Сенька снял панцирь.

– Ну и рубаха у тебя, дружок. Как имя тебе?

– Зови Гришкой!

– Григорей... у меня брат был Григорей, помер летось...

– А твоя дочь умерла?

– Ни, Григорьюшко! Пронес бог, порадовался... внучка окрестили, и все слава создателю.

– Хорошо сошлось, не одинок ты... родня...

– Я и так не одинок, живу со старухой, а тут, вишь, корень наш – внучек, от корня того отростели пойдут...

– Добро! – Сенька стал свертывать панцирь, чтоб уложить в суму. Старик потрогал панцирь, потряс подол, отороченный медью:

– Экой груз! Я бы под такой рубахой в один день – покойник.

– А я – без этой рубахи был бы покойник!

– Во-о?... Меня Наумом звать... А ты доброй, не лихой человек, так скажи – в Саратове жить ладишь?

– Нет! На Воронеж попадаю...

– От Саратова до Воронежа идти – язык высунешь. А ты, милой, поезжай...

– Да Как? Ямскими?

– Пошто? Мы со старухой живем на усторонье... к нам ништо не ходит, а мимо нас дорога... по ней на Воронеж возы с солью ездют. Поедут люди, ты пристань к ним, подвезут...

– За постой, дедушко, буду тебе платить!

– Сочтемси-и... хи!... Микола, храни!

Они подживили огонь и улеглись вблизи костра. Сенька сказал, покрываясь кафтаном, кладя на свернутый армяк голову:

– Ночь не спал... коли засну крепко, а лихо какое заслышишь – буди!... За себя и тебя постою...

– Спасибо, дружок, послушаю... Сенька беспечно и крепко уснул.

Утром рано старик разжег ставший тусклым и густо-пепельным заглохший огонь, вскипятил воду, бормоча молитву, посолил и засыпал толокна, потрогал Сеньку, проговорил тихо:

– Григорей, умойся, поешь горячего да погребем... место не близко...

– Ладно, дедушко!

Хорошо Сеньке у старика Наума в древней избушке с соломенным двором на столбах. Седая Дарья, жена Наума, по утрам хлопочет у печки, пахнет печеным и варевом. Сеньке тогда особенно крепко спится. Его старуха зовет сынком. Сенька, чтоб не сердить верующих стариков, садясь за еду, крестился. За столом старик не раз говорил, поглядывая через выдвинутый ставень на дорогу:

- Скоро, я чай, Гришенька, пойдут и соляные обозы, редки они!
- Пождем, дед Наум! Старуха тогда ворчала:
- Чего ты, седой кот, гонишь сынка! Пущай гостит, нам не убытошно...
- Хорошо у вас, бабушка, да сколь не гости, а впереди дорога!

Сенька платил за свой постоя и даже помог Науму исполнить давно желанное-купить лошадь. Лошадь у старика издержалась. Хомут и сбруя висели в сенцах избы, затянутые паутиной, а санки с телегой в углу двора, как бы сиротливо жалуясь, стояли оглоблями вверх.

Купив лошадь, Наум, не мешкая, поехал на базар в Саратов и между делом своим исполнил Сенькину просьбу – купил водки. Сенька доверху налил водкой дорожную баклагу:

- В дороге надобна!
- Уж и как еще годится! В пути водка дороже денег. Вишь, время холодает...

Шли дожди... неделю, две, потом стало морозить, но снегу напорошило мало. С проезжей дороги, с пустырей, обложивших дальние слободы Саратова, в сторону Волги несло мерзлым песком, ветер часто разгуливался на ширине. Мерзлый песок сыпал в лицо, ел глаза. По ночам, если играла буря, песок хлестал в ставни избы. Шипело, потрескивало в ставнях и на крыше, в трубе на печи постукивал ставень. Лежа на лавке ночью, Сенька думал: «Панцирь уложил в суму... хорошо ли без него? Боюсь, что он холодить будет».

И вот однажды утром, выйдя на низкое крыльцо избы, Сенька увидал: широкое поле пустырей сплошь побелело от снега. Два дня спустя в избу Наума зашли два рослых мужика в серых жупанах, по виду один моложе и уже в плечах, другой старше и выше ростом.

Покрестились на образа в большой угол; младший сказал, кладя рукавицы с бараньей шапкой на лавку:

- К вам, древние! Будто к Адам да Еве в рай... сколь ни едем, а мимо не проедем...
- Будьте гости!
- Проездом – так гости мы коротки! Вишь, дело – нет ли у вас бражки?

Сенька с Наумом вылезли из-за стола, старуха собирала скатерть. Наум покрестился, закинув бороду на плечо, ответил:

- Не держим, проезжие, хмельных квасов, иначе головы кабацкие обижают...
- Коли нет браги, так дайте кваску – нутро промочить... Старуха вышла с ковшом в сени, из жбана нацедила квасу.

Пришлые напильсь. Старший сидел, а младший стоял, не отходя от дверей. Младшему Наум сказал:

– Ты бы сел, а то быдто бежать собрался. Мы не лихие люди! – и, трогая полу жупана у мужика, прибавил: – Шел бы к печке, вишь, одежда оледенела...

- Не так понял – просолела она!

Наум подмигнул Сеньке. Сенька раскрыл суму, выволок из нее баклагу с водкой:

- А ну, мужи, сажайтесь к столу, водку пить будем.
- Ой ли? То-то с утра в носу зудит! – пошутил младший и, шагнув, подсел к старшему мужику.

- Бабушка, дай чаши!

Дарья поставила на стол четыре оловянные кружки. Кладя кусок хлеба, проворчала:

- Мой кот тоже, я чай, в компанею сядет?
- А то как же? – ухмыльнулся Наум. Сенька налил кружки, а когда выпили, спросил:
- Кто будете?
- Обоз с солью у нас...

– Куда ладите?  
 – На Борисоглебск – а там путь в Воронеж... мы тамошние...  
 Пристал Наум:  
 – Григорей, лей им еще, да будем свататься... Сенька налил, сказал:  
 – Бабушка! Прибавь закусить.  
 Старуха бойко поставила на стол тарелку вареной рыбы, нарезала хлеба. Поправила на голове съехавший плат, нагнулась к Сеньке:  
 – Добро тратишь, сынок, а неведомо – примут тебя альбо и так уйдут...  
 – Ништо, бабушка!  
 – Тебе куды?  
 – На Воронеж мекаю, родня там... Мужики переглянулись. Старший заговорил:  
 – Кажи ж – виру иматы... кожний... Младший сказал Сеньке:  
 – В обоз пошто не принять... Едино лишь в городах, где стоим, у нас торг, и, как повелось, таможное имают... свальное<sup>368</sup> и головное<sup>369</sup> за своих платим мы, а ты чужой...  
 – Я за себя без спору плачу!  
 – Кажи ж: а колы пид шляхом жаковаты будут – побегнути треба.<sup>370</sup>  
 Сенька слушал, но не понял. Наум, допивая водку, засмеялся.  
 – Чого граешь, дид?  
 – А того! – старик похлопал Сеньку по плечу. – Супротив разбоя лучше его вам не сыскать!  
 – Як же, батько?!  
 – Зримо – паробок вежливий... – ответил старший, стряхивая с бороды крохи хлеба. – Жичити добре, абы вин ни затяговий?<sup>371</sup>  
 – Ты не из военных? – спросил младший.  
 Сенька рассмеялся, тряхнув кудрями:  
 – Вольной я, из гулящих!  
 – Борзо справляйся! Идем до воза.  
 Сенька обнял хозяев и оделся в дорогу. Когда сверх сумы накиннул армяк, младший, трогая на его спине горб, прибавил:  
 – Житло свое ложишь на воз, а по жупану очкур<sup>372</sup> шукаем!  
 Старуха плакала, провожая Сеньку.  
 – Уж очень ладной был у нас сынок! Жалко его...  
 Башкиры и калмыки – лазутчики, донесли Разину, что из Астрахани к Яику идет воевода со стрельцами.  
 Разин приказал затворить железные ворота города<sup>373</sup> и от надолбы убрать сторожей. На стене был поставлен дозор из зорких людей, чтоб вовремя известить приход воеводы. Дозор усмотрел, а потом и всем видно стало – воевода пришел со многими воинскими людьми и в версте от Яика поставил подвижной боевой городок. За городком – обоз, за

---

368 *Свальное* – налог за место, куда положен товар.

369 *Головное* – плата с головы человека, сколько у воза.

370 *Скажи: если по дороге грабить будут – помогать надо.*

371 *Лишь бы не был нанятый на военную службу.*

372 *Житло* – житье. *Очкур* – ремень.

373 *...железные ворота города...* – Приволжские и уральские крепости не имели того облика, который описывает А. Чапыгин. Эти укрепления были деревянными и не имели ни железных ворот, ни зубчатых стен.

обозом на отдельном холме – свой воеводский шатер. Разницы ждали гонца. Когда гонец подскакал к стене Яика, встал против моста, Разин вышел на стену. Гонец протрубил в медную трубу и начал кричать:

– Сдавайтесь, воры! Будем за вас бить челом великому государю – я, боевой воевода<sup>374</sup> боярин Яков Безобразов, и воевода астраханский, князь и боярин Иван Прозоровский, чтоб великий государь отдал вам вины ваши, учиненные разбоем...

Гонец замолчал, тогда Разин подал свой голос, который слышен был передовым стрельцам в полуверсте от Яика.

– Посланец воеводин! Доведи своему ватагу, что Разин Козаков не держит, а для того, чтоб пошли козаки от атамана к Астрахани, пушай ватаг ваш шлет именитых людей для уговора, мы же ворота им отчиним!<sup>375</sup>

Прошел день, настал другой, ясный и холодный, к реке с калмыцкого берега на конях подъехали двое; они слезли с лошадей и стали кричать лодку. Старый казак-перевозчик, объезжая омота, поехал за ними. Разинцы, забравшись на стену, следили, говорили между собой:

– Пошто они в город из-за реки идут?

– К Дайчину Тайше<sup>376</sup> ездили, калмыков сговаривать!

– Ни... Дайчин Тайша у горам у арыксакал... он барань ехаль делит... – сказал калмык-лазутчик.

– Все же, сдастся, они ездили к калмыкам! – сказал есаул Ермилка Пестрый. Его поддержал Кирилка:

– Свои головы жалеют у стен положить, норовят калмыцкими закласться.

– Верно, Кирилл!

Переехав реку, посланные воеводой прошли надолбы, прошли по мосту, им отворили ворота. Оба вошедшие в голубых суконных кафтанах с ворворками<sup>377</sup>, в боярских шапках, отороченных бобром с синим бархатным верхом. Оба при саблях, с пистолетами за кушаком. Выйдя на площадь, повернулись на церковь Петра и Павла в воротной башне; сняв шапки, помолились и стали ждать.

Караульный у ворот затрубил в рог; окружая пришедших, собирались разницы.

Разин с есаулами вошел в «круг». «Круг» снял шапки, только посланные воеводой оставались в шапках.

– Кто вы? – спросил Разин.

– Мы, вор, послы от воеводы астраханского и от нашего боевого воеводы – боярина Якова Безобразова!

– Послы? А чин каков?...

– Какое тебе дело до чина? Ин скажем – я голова стрелецкой, имя крещеное – Семен Янов!

Второй, седобородый, заломив на верх головы шапку и выставив правую ногу в сафьянном рыжем сапоге, прибавил;

– Я – голова, имя мое – Микифор Нелюбов!

– Добре! Говорить моим козакам посланы? – Посланы, истинно!

---

<sup>374</sup> *Боевой воевода* – т. е. воевода, назначаемый с исключительной целью предводительства в походе (здесь – против Степана Разина), в отличие от городских, осуществляющих власть на месте.

<sup>375</sup> *Отпрем.*

<sup>376</sup> *Тайша* – племенной князь у калмыков-кочевников.

<sup>377</sup> *Ворворки* – пуговицы шариками, обшитые сукном с кистями, нашивались по обе стороны полы кафтана.

– Говорите! Со мной после поговорим...

– С тобой, вор Стенька Разя, нам говорить не о чем! – сказал седой голова.

Оба они встали спиной друг к другу, опустили правую руку, каждый на рукоять пистолета, громко, поочередно, как бирючи, начали кричать:

– Донские козаки! Великий государь по моленью за вас воеводы астраханского, боярина Ивана Семеновича Прозоровского...

– Снимет с вас вины ваши и разбойные дела вам простит!...

– А вы должны покинуть воровского атамана Стеньку Разю, отдать оружие стрельцам боевого воеводы боярина Якова Безобразова и идти в Астрахань!

– А где тому порука, што царь отдаст наши вины? – крикнул есаул Ермилка Пестрый.

В ответ ему закричал старший голова:

– Порука вам – боярское слово крепкое, боярина воеводы Прозоровского!

Блестя на солнце русыми кудрями, тряся головой, громко крикнул Черноярец:

– Боярское слово нам издавна ведомо! Боярин седни надумает, а завтра передумает.

Тогда, видимо желая устрашить звонким голосом, чуть хриповатым на низких нотах, закричал младший голова:

– Козаки! Бойтесь бога и жалейте себя! Не кинете воровать, – а воевода пришел взять город Яик, – возьмет, не ждите милости!

– Мы не боимся боярской милости! Она у нас в горбах стучит... пущай попытает взять Яик – ожгется! – крикнул Ермилка Пестрый.

Старший стрелецкий голова петушиным голосом, срываясь и задыхаясь, кричал:

– Воевода возьмет город! Бойтесь! Переберет вас, закует в в железа да в Москву в Разбойной приказ пошлет...

Младший, помогая кричать старшему, закончил:

– В Разбойном вам изломают кости, жилы вытянут, а головы ваши на кольях будут ждать воронья!

– Наши головы на то идут! Раньше нас боярские сядут на частоколы! – ответил Черноярец.

– А ну, хлопцы! Дай я скажу...

– Говори, батько!

Разин шагнул ближе к посланцам:

– Добром зову вас, служилые люди! Закиньте служить царю – идите служить народу! У помещиков мужиков отберем, а вольной мужик даст вам хлеба и денег! Служить у нас вольно и весело...

Посланцы передвинулись, встали рядом, тряхнули головами, сказали:

– Крест царю целовали! Такое не слушаем...

– Вора́м служить грех!

– Царь велит вам в церковь ходить ежедневно, стоять в церкви смирно, скоморохов, ворожей в будинок<sup>378</sup> не звать, в гром на реках и озерах не купатца, с серебра не мытца, олова не лить, зерню и картами не играть!

В толпе разинцев послышался смех. Разин продолжал:

– В бабки не тешиться, медведей не водить, на свадьбах песен не играть, кулачных боев не вчинать, личин не надевать, на качелях не качаться, а кто сему царскому указу ослушен будет, того казнить смертью!

Разницы смеялись громко...

Разин спросил старшего голову:

– Правду ли я сказал?

Трепля седую бороду, голова ответил:

– Хоть ты и вор, но правда твоя – такой указ всем ведом.



– Теперь, бородатый дурак, оглянись на моих Козаков, которых хошь увести к царю, – живые они люди или мертвецы? Ведь для них царь-святоша такие указы пишет?... Вы думаете, для нас надобно лишь пьянство? У нас так: кто пляшет, а кому скушно, тот плачет, а иной на кулачки с другим бьетца... Царь сошел с глузда, с попами сидя, и мыслит всему народу рты заклепать указом, да руки-ноги живому человеку связать.

– Ты, вор, разбойник, не смей нам, служилым государевым, хульно говорить о великом государе! – крикнул седой голова.

Младший переминался с ноги на ногу, молчал.

– Вам он царь, а нам псарь!

Седой плюнул и снова заговорил с разницами:

– Козаки! Несите повинные головы к великому государю... все вам отдастся! Честно головами послужите царю, и его государеву кореню, и боярству родовитому!

– Добра ни у царя, ни у бояр не выслужили – хребтом служили, да ребер не досчитались, – крикнул опять есаул Ермилка.

Разин сказал:

– Соколы! Много воеводские псы говорили, заслужили награду, – будем судить их на горло! Они же, ведомо мне, киргизов на нас сговаривали...

– Любо, батько!

– Будем! Хотим!...

Младший голова, сняв шапку, поклонился Разину:

– Пошто грозишь, атаман? Мы не от себя, мы посланы воеводой...

Разин как бы задумался, но в это время старший голова, сорвав шапку, стукнул ею по колену, сказал:

– А знаешь ли, вор, присловье старинное: «Посла не куют, не вяжут?»

– Я бы знал то присловье, да, вишь, вы не послы, а лазутчики... – нахмурил брови, мрачно усмехнулся, двинув на голове шапку: – Послов не ковать, соколы, не вязать, а на шибеницу за горло... гой-да!

Голов подхватили, они пробовали вытащить пистолеты. У них сорвали и сабли и пистолеты, поволокли.

– Хотим еще сказать! – кричал младший, Разин крикнул:

– На зубцы стены над брамой<sup>379</sup>. Пушай воевода зрит... Крепите город – примем бой, а баб зовите «кашу<sup>380</sup>» варить на стенах и воду кипятить!

– Слышим, Степан Тимофеевич!

– Любо! Любо-о!

Воевода Яков Безобразов оправдывал свою фамилию видом и делом: с красным мясистым лицом, с серыми волосами и такой же бородой. Его крупный сизый нос низко висел над верхней безусой губой. И нравом воевода был упрям. Воюя, он никогда не осматривал сам местности, а доверял во всем лазутчикам и считал, что воинское дело знает больше всех. Кроме лазутчиков, никому не доверял, а своих воинских людей подозревал во всем худшем.

Барабанным боем призвали в шатер к воеводе стрелецких голов и полуполковника. Воевода пришедшим не указал садиться, стояли перед ним, а он сидел на подушках, покрытых ковром, в широком сером опашке, в правой руке трость.

– Город Яик приказую, служилые, у воров отбить!

– Много людей, боярин, положить придетца! – ответил бородатый голова, тряхнув снятой стрелецкой шапкой.

– Тебе пошто забота о людях? Людей нет! Есть стрельцы, есть датошные солдаты,

---

<sup>379</sup> *Брама* – ворота крепости (украинск.).

<sup>380</sup> *Каша* – горячая смола с песком. Обливали осаждающих.

рогатники, лапотники, еще калмыки... калмыков первыми в бой! Пустить же их со своей стороны через реку...

– Река бедовая, боярин, слижет людей, как щепу... проворная речка Яик... – весело проговорил длинноволосый голова Федор Носов и улыбнулся.

Воевода сдвинул брови:

– Отойди! Смеяться у меня нечему... В ближней роще, служилые, нарубить указую плотов, камышом покрыть... Камыша нам не искать – много лежит его по вражкам, водопольем накиданного. Плоты и камыш переправить на калмыцкую сторону. Взять запасные верви, чтоб из плотов мост связать... По мосту пустить стрельцов и датошных с пищальми. Калмыки по мосту не пойдут, они завсегда плавью. Туда же переплавить пушки, четом четыре-пять! И все дело! Все тут...

– А можно ли и когда ждать калмыков, боярин? – спросил, склоняя голову и запахивая синий кафтан, полуполковник.

– Прийти должны день-два годя – для стовору людей Дайчина Тайши посланы головы Нелюбов Никифорко и Янов Сенька! – воевода стукнул в пол шатра, покрытого ковром, тростью...

– Они же и к Стеньке Разе посланы? – Они и к ворам зайдут!

– Сговора с калмыками до сей поры головы не объявили? – допытывался полуполковник.

– Сговор должен быть! Сыроядцам посулы даны...

– Но ведь уже два дни истекло, а головы от Разина не вышли... – настойчиво говорил полуполковник.

– И не вернуться! – мрачно, насупив брови, сказал бородатый голова.

– Лжа! Берегись, служилой, воеводе и воинским людям говорить облыжно.

– Не вернуться, боярин! Разин их повесил на стене Яика-городка, – тряхнул бородой голова и отошел.

– Честно ли молвил?

– Правду говорю!

– Эй, служилые! Готовиться к бою... – вскочил на ноги воевода и сел. Его белесые глаза широко раскрылись. Махая тростью, приказывал: – Рубить плоты! Резать камыш, готовить верви и лестницы! Переправить пушки... Я знаю – с реки стена вполу ниже той, где воротная башня. Через мост натаскать песку, завалить рвы, подрубив частик... Лезть и бить по ворам из мушкетов, а с берега из пушек... Спереди к Яику подвижной городок подвести, делать отвод, а пущее нападение с реки – так и знать всем!

– Чаю я, боярин и воевода, река бедовая – унесет мост! – оскалил зубы тут же Федор Носов.

– Зубоскалов не терплю! Пошли на дело! Головы ушли.

– Дурак! – сказал Федор Носов.

– Пошто? Он – родовитой боярин! – пошутил кто-то.

– Нет... задумал с рекой шутить!

Вскоре, подчиняясь воеводе, застучали топоры в роще в двух верстах ниже Яика.

– Ворам стрелить нечем, а наши служилые боятся мертвых! – сказал воевода и сел писать доношение в Астрахань Прозоровскому о приступе.

В Яике готовы были принять осаду. На городские стены полезли бабы с котлами, им вкатили рабочие несколько бочек смолы да короб песку для защитной «кашки».

Ермил с Кирилкой взошли на стену, потрогали картаульную пушку:

– Чижолая, черт! Единорог<sup>381</sup>!...

Ермил погладил пушку, Кирилка обвял за брюхо картаул и обмолвился:

– А кабы зарядить ее, Ермил?

---

381 *Единорог* – пушка типа гаубицы, появилась в середине XVIII в. Упоминание их в романе – анахронизм.

- Зарядить – тогда можно из ее сбить городок, а може, и обоз воеводский?...
- Давай зарядим!
- Боюсь, атаман сердиться будет... в такую пушку много зелья пойдет...
- Простит! Головы не снимет.
- А ну, давай! Станок заржавел...

Два силача начали поворачивать тяжелый на заржавленных колесах станок. Ядер не было в пушке, порох стоял в ящике под железной крышкой. Станок скрипел и визжал громко. Пушка медленно повернулась. По стене проходил Ивашка Черноярец, сказал:

- Ух, молодцы! Пуп заболит!
- Не заболит, а мы ладим черту из Яика гостинцев послать, – пошутил Ермилка. – Ты, Иван, дай нам ключи от зелейной башни – ядер нет...
- Ключи у батьки... Просить... как ему покажется? Из этих пушек стрелять не велел, много добра потратим... Стой, парни! В Острожке, у угловой правой башни, видал я крупнорубленной свинец... Пушкарки вы худые, так для пробы гожд...

Черноярец ушел.

Кирилка с Ермилом спустились вниз, сыскали свинец. Взяв у рабочих носилки, наносили к пушке больших кусков свинцу. Набили дуло порохом, – банник лежал вдоль зубцов, пыжи сыскались у ящика с зельем. Зарядили и снова со скрипом и треском станка поставили пушку между зубцами стены. Стали целить в воеводский обоз, около обоза на карауле шагали стрельцы. При луне, яркой и крупной, белел шатер воеводы.

– Хорошо бы с повешенных голов шапку в дуло забить – весть дать воеводе, а то ждет послов! – сказал Кирилка, обрезая конец заскоружлого фитиля.

– Пыжи до цели не летят, чудак! Конец дула идет в уклон, оси у передка перержавели...

- Так што теперь?
- Тарасу<sup>382</sup> подвести, тогда ладно!...

Снова силачам работа. Тяжелый ящик на катках, срубленный из бревен, набитый доверху землей, медленно пролезал меж зубцов и поместился лишь наискосок. Оба вспотели, распоясались, расстегнули ворота рубах. Конец пушки лег плотно.

- Трави фитиль!
- Погоди, Кирилл! Надо баб прогнать вниз, а то оглохнут и завизжат.
- Эй, бабы! Стрелим мы – уходите...
- Чого? Мы козачки!
- Стрела не боимси!
- Ну, держитесь! – погрозил Кирилка.

Бабы натянули на уши платки, легли у котлов на животы.

Когда подожженный фитиль запалил порох, раздался небывало громкий выстрел, каменные зубцы стены зашатались, заволокло дымом перед стеной, а в лица пушкарей кинуло густой вонючей гарью. Пушка дернулась назад и со станком вместе подвинулась на аршин. Куски свинца с шипом и свистом хлынули на воеводский стан. Передовые стражи стрельцов выронили мушкеты и без надобности присели. Середину воеводина городка раскидало, видно было, свинец, пробив доски, разворотил центр обоза, искалечив прислугу. При луне ясным казалось, что стрельцы бежали к шатру воеводы, скатывали полотнища, а сам воевода без шапки грузно спешил сесть на подведенную лошадь. Незастегнутый на нем кафтан, мотаясь на ветре, зеленел.

Разин появился на стене, хотел обрушиться на ослушников его приказа «не стрелять», но, взглядевшись в разрушение неприятельского лагеря, подойдя, сказал:

– Соколы! Своевольство учинили, но хорошо! Больше не стрелите... в пушку зелья идет много, а воевода снялся... за ним и иные ноги уберут.

---

<sup>382</sup> Тараса – ящик на катках; его передвигали и стреляли в нападающих.

– Слушаем, батько!  
– Мы эти пушки сбросим со стены... погрузим на струги да в Кюльзюме утопим. У царских псов зелья много, они арматы<sup>383</sup> такой ищут, у нас каждая гривенка на счету, можно лишний раз мушкет зарядить... Осада станет, и при ней зелье треба...

Разин ушел. Бабы все еще лежали на стене.

– Эй, молодницы, каша кипит, вставать пора!

– А вы еще стрелите?.

– Ни, кончена песня, по-иному играть будем! – шутил с бабами Ермилка.

Одна баба, садясь и расправляя плат на голове, ехидно сказала:

– Пошто, есаул, бороды у тя мало, а рыло ладом не умыл<sup>384</sup>?

Ермилка отшутился:

– Моя борода тогда смоетца, когда твоя отрастет!

Так разошлись. Луна стала ниже, баб сменили сторожа, и огни на яицкой стене запылали ярче.

В лагере воеводы стучали топоры, рубили при огне факелов, вплоть до утра стрельцы чинили разбитый есаулами Разина подвижной городок.

Разин, стоя на стене, глядел и слушал звуки неприятельского стана, глазом и слухом определял затеи врагов. Сойдя со стены, он отдал приказ:

– Пушки подошвенного боя зарядить, соколы, зажигательными ядрами... – Призвал к себе Ермилку Пестрого с Кирилкой, указал: – Есаулы, следите за переправой, думаю – будут на реке мост наводить, чтоб легче взять низкую стену города, она стара и слаба... Когда наладят подступы, то ране времени не тамашитесь... Следите, когда встанет мост, тогда отчините водяные ворота к реке Яику... По краю рвов направьте людей на берег и будьте оружны!

– Любо, атаман!

– Бой на реке худой... Кто сорвется с моста, того кинет река черту в зубы!

Прошел день и два. Воевода не начинал бой, он посылал лазутчиков глядеть. Лазутчики сказали:

– В степи за Яиком ни конных людей, ни пеших нет!

– Без них, поганых, управимся! С богом! Вязать плоты, навести мост! Впереди на мосту будут датошные, за ними стрельцы с мушкетами, копьями, а пушкарям с берега держать наизготове пушки! Выждать ночи и начинать, при месяце по холоду бой легче!...

Ночью, при полной луне, Разин разглядел со стены Яика – подвижной городок<sup>385</sup> двинулся на осаду города.

– Огни у костров поджигать, готовить смолу, позвать людей на стену к воротам, – сказал Разин и сошел вниз. Увидел конных казаков, готовых выехать из города. – Когда надо будет, пуцу – ждите! – Пешим приказал: – Впусте из мушкета не стрелить! В ружья клейтухи<sup>386</sup> забивать куделяные, пуцай горят...

– Чуем, батько!

Стрельцы и датошные солдаты проплавили вверх реки широкие плоты с настилом. Когда конец плотов встал против города, другой конец связанных в цепь плотов река

---

383 *Пушка* (по-украински).

384 У Ермилки низ лица был темный от родимого пятна.

385 *Подвижной городок* – передвижное на платформе с колесами или составленное из нескольких щитов укрепление, применявшееся как при осадах городов, так и при обороне. В стенах таких городков были проделаны отверстия для огнестрельного оружия.

386 *Клейтухи* – пыжи (украинск.).

завернула к другому берегу. На берег пошли было датошные солдаты. Ермилка крикнул своим:

– Гой-да!

Из водяных ворот на берег, стреляя из мушкетов, побежали Ермилкины люди и Кирилка. Воеводины люди попадали в воду, заменяя передних, с криком: «Ратуй!» Побежали стрельцы, ответно стреляя из пищалей и мушкетов.

Размахивая и разя стрельцов топорами, к плотам кинулся Ермилка обок с Кирилкой, они попятити стрельцов вглубь, плоты окрасились кровью. Топоры, ударяя о стрелецкие пищали, сломались, приятели выдернули из-за кушаков келепы.

Воеводин конь лихой, он перенес боярина через реку. Сидя на коне, на высоком холме, воевода до хрипоты кричал:

– Ратуй, служилые! Не сдавай боя, государь похвалит вашу слу-ж-бу-у!

– Было бы кого хвалить! – ответно кричал Ермилка. Кирилка бился молча. Оба они так били келепами, что от их боя стрельцы кидались в воду. Плоты трещали и скрипели там, где вместо веревок были связаны ветвями. С плотов стрелять было трудно, река раскачивала дерево, но с берега Ермилкины люди из мушкетов сбили не одну удалую голову.

– Ратуй, служилые-е! – последний раз крикнул воевода и, разогнав плетью коня, переплыл на нем реку и уехал в степь.

Городок на колесах, подведенный невидимыми за деревянной низкой стеной людьми, остановился близко от главных ворот Яика и начал стрельбу на стену меж зубцов, где ютились осадные защитники.

Разин велел стрелять по городку с подошвенного боя зажигательным снарядом. От трех выстрелов городок загорелся. За городком, бросив осадные лестницы, стрельцы отступили в степь. Защитный городок пылал, потрескивая, а весенний ветер, широкий и веселый, порывами раздувал пламя. Скоро от деревянного забрала<sup>387</sup> остались одни железные скрепы да шины колес...

Не одна и не две стрелецкие головы легли под келепами Ермилки и Кирилки.

На берегу голос головы стрелецкого воззвал громко к пушкарям:

– Дай огонь! Пушка-а-ри!

Кирилка держался у берега, а Ермилка Пестрый, забыв себя, заскакивал на плоты.

Тогда стрельцы бежали назад. Видя, что Ермилка разгорячился, лезет вперед, Кирилка с берега крикнул изо всей мочи:

– Бра-а-т! Не забегай далече... пу-у-шки!

– Пущай по своим бьют!

Раздался пушечный бой из трех пушек. Дрогнул воздух. От стены яичкой посыпались осколки кирпича, черепки ядер со свистом падали в овраг.

– Брат! Молю-у, верни-и-сь!

Но есаул Ермилка Пестрый скакал по плотам и рушил келепой всякого, кто стоял на пути. В него стреляли. Прострелили шапку, пробили полы кафтана, и, может быть, пулей оцарапало тело. Есаул не замечал. Он очистил от людей три плота, кинулся на четвертый. Боясь страшного молота, стрельцы массой попятитись назад. От тяжести связь плотов лопнула, а сильное течение порвало и заднюю связь плота. Река кинула сорванный плот по течению и начала заворачивать все плоты.

Один стрелец, стоявший ближе к берегу на плоту, медленно отходил вместе с другими к калмыцкой стороне, прицелился в плывущего Ермилку:

– А, вот те, душегуб! – и выстрелил.

Пуля попала Ермилке в спину. Есаул сел на плот и уронил на грудь голову; келепа скользнула в воду.

– Пансырь отдал! Эх, брат! – крикнул Кирилка. Заплакав, он махнул рукой людям

---

<sup>387</sup> *Забрало, забороло* – вид забора на колесах (городок).

Ермилки идти в город.

Река раскидала плоты. Стрельцы отступали в гору.

Со стены Разин видел бой на реке. Сойдя вниз, крикнул конным казакам:

– Гой-да! В степь, соколы...

Сотня отборных казаков рысью промчалась в ворота... Воевать было не с кем. Плоты растащила река. Плот с есаулом Ермилкой несло и крутило в серебре сизых волн. Есаул лежал на плоту, раскинув руки, но волны, как голодные собаки, как бы нюхая его, забирались на плот и скоро стащили труп. Труп недолго чернел в серебре струй, потом исчез, только шапка одиноко плыла; отставая, она цеплялась за кусты и траву.

Отступая из-за реки, стрельцы, кто успел, уехали на перенятых плотках; на берегу покинули четыре пушки.

Боясь быть окруженным казаками и зная, что конные стрельцы – худые против казаков воины, воевода спешно отступил в степь, покинув на калмыцком берегу неуспевших переехать.

Со стены города Разин велел дать сигнал трубой, чтоб казаки вернулись в Яик. На перенятых плотках разницы перевезли сорок с лишком стрельцов. Пленные, сдав оружие, пристали к Разину. Четыре покинутые пушки также перевезли в Яик-городок.

– Пуще хлеба арматы надобны, а хлопцев похороните на берегу Яика! Добро там, где лежат козацкие кости! – приказал Разин.

Двенадцать человек Ермилкиных людей, убитых пулями стрельцов, похоронили на берегу реки. Воевода, отступая, ругал калмыков:

– Сыродцы поганые! Бой из-за них кинули... изменники!... В степи, видя, что нет погони, воевода Яков Безобразов велел раскинуть шатер, расставить обоз, кормить людей и лошадей, а также позвать к себе стрелецких голов.

Собравшимся головам и сотникам воевода сказал, постукивая тростью в ковер шатра:

– Худо, служилые! Калмыки не вышли на зов, и воры не отдали нам государев город...

– Тяжко, боярин, брать город, пока в ем Стенька сидит!

– Да как же так, служилые?

– А так, боярин! Выждать надо – и город будет наш... Заговорил старый голова, упрямо хмуря седые клочки бровей:

– Ведомо от лазутчиков, кои служат нам и им также, Разин уйдет в Кюльзюм, Яик без боя отвоят...

– Тогда и стрельцам не к кому бежать будет! – сказал стрелецкий сотник.

– Ну, добро! Идите... – сказал воевода.

Воевода Яков Безобразов ушел в Астрахань, там с воеводой астраханским Иваном князем Прозоровским они написали царю:

«У Яика-городка на осаде побито людей: два сотника, пятнадцать стрельцов»...

– А не больше, боярин? – спросил Прозоровский.

– Пусть и больше! Пишем, Иван Семеныч, пятнадцать...

– Отошлю тебя в Москву к государю, а там доводи как знаешь.

– Уеду, князь, уеду!

«Пятнадцать стрельцов и ранено девятнадцать стрельцов да солдат датошных. Ранен полуполковник, утопили с плотов четыре пушки... к воровским козакам ушли стрельцов сорок четыре человека, да в мой, В. Г., обоз воеводский из Картаула со стены воры стрелили, сожгли „заборало“ и убили десять человек караула да трех лошадей. Доводим, В. Г., особно – посланных товарищем воеводой Яковым Безобразовым для уговора воров в Яик вор Стенька Разин повесил двух голов: Семена Янова да Микифора Нелюбова».

У Сукнина в избе по-прежнему Разин пил, а Черноярец Иван плясал. С Разиным за столом сидел Кирилка пьяный и плакал горько:

– Чего, есаул, сам богатырь, а бабой стал, глаза мочишь?

– Жаль, Степан Тимофеевич! Друг-то какой был... Сам бы за него помер, да вишь, не так случилось... А сила? Ух, силен был Ермилушка!

– Кто себя в бою не помнит, гинет, как трава. Не плачь, сокол, всем нам та же дорога!  
Ну, пьем еще...

– Пьем, Степан Тимофеевич!

– Федор, завтра я соберусь в море... идешь ли с нами в шахову землю?

– Пожду, батько!

– Чего ждать? Не прежний, так иной царский пес придет на Яик... Оттого ухожу скоро – не боюсь, но людей ронить и сидеть, как ворона в гнезде, – дело мертвое... Царевы прихвисты город в покое не оставят... Уйду! Мой тебе сказ такой: сыщешь лишнее зелье – сорви у города стены...

– Пошто, батько Степан?

– Помни! Крепить город тогда, когда в ём зимовать ладишь, ушел неравно с моря, оборотить надо, а в ём царские собаки лают... Брать его – силы много положить и хитрости, – сговаривать насельников... время не ждет! До горячей поры куй топоры, а то и обухом лес рубить придется... понял?

– Понял, батько Степан! Жаль стен, но подумаю...

– Думай, мне же спать пора! Эй, соколы! По последнему ковшу пьем, – веселью край!

– Слушаем, батько-о!

Разин будто знал, – утром потеплело, солнце вышло веселое, весеннее, на тополях за теплую ночь распустились почки, и местами покрылись деревья зеленым пухом. За Яиком-рекой даль поголубела, желтые камни среди бугров и на равнине позолотились солнцем.

– Ге-ей! Го-о-й! Подводи струги-и! – кричал Черноярец, махая шапкой.

На стенах шла работа с уханьем и песнями. Много рук снимало со станков картаулы, бросало со стен. Пушки грузно рухали на землю, зарываясь в песок. С теми же песнями их погрузили на струги. На переднем большом стругу, на носу, стоял Разин. С берега ему кланялся, махал шапкой Федор Сукнин. Собравшись пестрой толпой под стенами города, простые люди говорили:

– Вольно жилось при атамане!

– Дай бог ему свет белой шире видеть!

– Не обижал простой народ!

– Торопись, Федор, с нами в путь! – крикнул Разин, снял шапку и не слышал ответа Сукнина.

Сизые волны реки подхватили струги, когда сбросили причалы.

Со стругов грянула песня:

Как во славном городе во  
Астрахани!  
Объявился незнакомый человек...  
Шибко, щепетно по городу  
похаживает,  
Он во нанковом халате  
нараспа-щечку-у!

В июне писали из Астрахани царю Прозоровский с товарищами:

«Козаки Стенька Разин с товарищи выбрались в море на четырех больших черноморских стругах, и много с ним малых стругов. Из Яицкого городка взяли наряд, зелье и пушки и картаульные со стен сняли; слышно, большие пушки Разин пометал в море...»

Идя с Украины, Сенька пришел в Воронеж, но вместо города увидел жалкие хаты, кое-где построенные на старом пожарище. В одной из хат у старой бабы попросился ночевать.

– Годуй... пити, исти нема!

– Есть свое, бабуся...

Укладываясь спать на глиняном полу, полюбопытствовал:

– Бабуся, а хто ваш город зорил?

– Як пришла година, колись злодюку москали страчували, Стенькой прозувался, та притикли инши злодюки с Гуляй-поля и пожгли, та в пекло посували воеводу Бухвиста.<sup>388</sup>

«Добро! – подумал Сенька, – по атамане поминки есть, пожар Воронежа...»

– Бабуся, а когда то было?

– Та з року ране сего...

– Значит, в году 1671?...

– Чого мовишь? Не ведаю року, Сенька заснул, а утром сказал старухе:

– Спасибо, бабуся!

Он ушел и на месте воронежского острога нашел площадь, – Щепной прозывалась, – на площади базар. На базаре Сенька купил хлеба и чесноку, а в ближнем шинке водки. Поел жареной колочей рыбы, видом, как ерш, и пошел на Борисоглебск.

По дороге его подвезли на волах, и он подремал, лежа в телеге.

В Борисоглебске на харчевом дворе закусил, ему дремалось, он прислонил голову на ладони у стола и слышал в дреме, как говорят кругом:

– Имают гораздо разинцев!

– Суда нет – прямо садят на кол!

– В Ломове у засеки бой был...

– В Танбове побольше боев!

Сенька огляделся и подумал: «Поспевать надо к Саратову! А живы ли там старик Наум с женой?»

Шел на восток... Взял немного влево, и тут ему путь пересекла река. Сыскал перевоз с паромом, перевозили лошадей, перевозчику уплатил две копейки, тот снял шапку, поклонился.

– Какая река – названье ей?...

– Ворона-матушка, доброй человек, кормилица наша!

Лошадей пастухи угнали, а Сенька пошел, оглядывая извилистую дорогу и силясь вспомнить места, где когда-то ехал с обозом соли.

«Надо попадать на Болатов!» – думал он. Ночевал в степи. Не скоро дошел до села Болатова и едва его узнал. Зимой стояли – была в нем церковь и большой харчевой двор. Теперь церковь сожжена, а двор остался пустым, и все хаты на селе покинуты и пусты. В одинокой хате заброшенного харчевого двора, в задней половине ночевал, но спал плохо. Сотни мышей лезли к Сенькиной суме. Сенька их смахивал на пол, а они снова приступали, грызли кожу. Он встал с лавки, где устроился на ночлег, повесил суму на спицу, лихась изголовья, но мыши не отступались – ползли за пазуху, чувствуя хлеб. Тьма миновала, забрезжило утро. Сенька отряхнулся, надел суму и вышел. «Дорога нудная, да теперь и Саратов не за горами!» – думал он, спешно шагая. Он так спешил уйти дальше, что не давал себе отдыха и нигде не садился. Знал Сенька, что за Болатовом, но близко к Саратову есть еще река, названье той реки ему памятно. Извозчики с солью, помогая лошадям поднять воза в гору, крепко ругали реку:

– Истинная ты медведица! Будто распутная баба, штоб тя...

– Медведица завсегда проклятая река! И летом – где бреди по колено, а где так колокольну с крестом покроет...

Шел день до реки, не дошел, уснул в степи в кустах бурьяна. Еще день шел, шел так, как будто за ним кто гнался.

С Болатова проезжий мужик посадил Сеньку позвезти. Сенька, давая ему немного денег, спросил:

– На Саратов эта дорога доведет?

---

<sup>388</sup> В Воронеже в 1670 г. сидел воевода Бухвостов.



– Ни... – мотнул головой мужик, неторопливо вытряхивая пыльную шапку о колено, показал влево. – Шуйцу забирай, выбредешь на Покровки, Десную ударишь – в гору пойдешь, оно и не круто, да тебе не гоже – там селище Мордовско... Саратова с пути не увидишь, он едино будто в котле.

Дорога загнула. Сенька сошел. Мужик еще раз крикнул:

– Ошуйцу забирай!

Сенька шел давно, устал, да без дороги идти сомнительно.

В дырья сапог набивалось песку. Сел в бурьян отдохнуть, увидел конного татарина: у седла аркан, саадак, в саадаке колчан стрел и лук. Сенька вскочил, крикнул:

– Э-э-й!

– Урус, чо-о?

– Ка-а-к луч-ше идти на Саратов?

Татарин выдернул лук из саадака, погрозил им. Сенька из-за пазухи показал дуло пистолета. Татарин засмеялся, махнул левой рукой и еще левее показал, чем мужик:

– Сары тау! О-о!

Идя, Сенька разбрелся на старую дорогу, заросшую бурьяном, местами занесенную кучами песку. Она вилась, минуя Болатозо, по виду – на северо-запад. В Воронеже кто-то говорил Сеньке, что мимо Волги встарь гоняли с Астрахани царю лошадей. «Замест Саратова по этой дороге убредешь в Танбов», – подумал Сенька.

Идя к Саратову, если назад оглянуться, будет между Аткарском и Болатовом, – подошел гулящий к реке Медведице и не нашел перевоза. У берега он встретил человека, по виду охотник. Кафтан рядной, рукава оборваны выше локтей, через плечо на бечевке колчан, в колчане пук стрел, в руках старинный лук, тетива из бычьих кишок крученая.

– Эй, человеце?!

– Чого те?

– Перевоз где?

– Дорога дале к югу – там и перевоз!

– Далеко идти?

– С версту подайся, будет село Копены, так не доходя села... ежели пойдешь берегом, уток наглядишь – кинь камнем!

– Добро! Увижу, кину!...

Сенька рад был перевозу, хотя село и недалеко, а вечер близится, и солнце стало красное, как опущенное в кровь. «Село? Неведомо, кто есть! А ну как Болатове пусто?»

Он сел в лодку, перевозчику тут же дал алтын, тот, раньше чем взять весла, перекрестился, сказал:

– Спасибо! Спаси ты бог! Последний ты – больше перевозу нет...

Он спешно высадил Сеньку на другой берег, и по лицу, так показалось Сеньке, перевозчик чего-то боялся, а может быть, и жалел кого...

Сенька не стал спрашивать перевозчика. В воздухе темнело и похолодало.

За Медведицей Сенька продолжал идти по берегу на юг, прошел село Копены, молчаливое и будто вымершее; оно стояло теперь за рекой перед дубовой рощей, которая клином рослых деревьев упиралась в реку. По тропе – она вела по берегу реки – Сенька пришел в деревню и тут решил поискать ночлега. Войдя в деревню, огляделся. Избы как бы притаились и присели к земле, нигде ни звука, только в дальнем конце деревни, в крайней избе, плакал ребенок. Женский голос уговаривал:

– А ну! А ну, не плачь... Сенька заглянул в избу.

– Бабо, дай приют на ночь!

– Поди, поди! Боюсь я, хозяина воры увели в засеку, а ты – приют...

– Где засека?

– Да близко, тут за леском, у рощи, на той стороне реки...

– Каких людей?

– Ой, каких! А ты из каких? Не стрелец царской?

– Ни, я прохожий...

– Прохожий? Ну, уж сказала про хозяина, так и дальше скажу – разинцев засека. И... и, беда наша! Убьют хозяина, тоды помирать нам с Микешкой... А ну, не плачь...

Ребенок, увидав чужого, перестал плакать. «Переехал, и назад нельзя... перевоз кончен, а то бы сесть в засеку за правду атаманову...» – думал Сенька.

– Кой те приют надо? Тут наши сена под горой... сена довольно– заройся да и спи!

– Мышей боюсь, к хлебу лезут... в пазуху тож. И глаза колет...

– Поди коли в гумно на зады – сена нет, есть солома да мелка кормина... Мягко спать, а у меня младень соснуть не даст.

Ребенок, помолчав немного, снова начал плакать.

Сенька ушел. Темнело скоро. Он постоял над рекой, на берегу увидел черные большие ряды стогов сена, но не пошел к ним, пошел в гумно, хотя идти было дальше. Сума за плечами с пистолетами, панцирем и баклагой грузила, от нее ныла спина, хотелось спать, так как, спеша дойти до Саратова, он почти не ел и худо спал.

Гумно с одностворными воротами покрыто только наполовину от реки, также со стороны реки шли закоренки. Два из них пустые, в дальнем от деревни набито доверху мелкой корминой. Сенька залез в мелкую солому, перемешанную с умолотом. Лицом он прилачился к стене и, погрузясь, зарылся с головой. Снизу из стены продувало. Сенька там нащупал отверстие и, еще немного углубившись, увидел щель широкую между бревнами. Он пожалел, что не поел на гумне, здесь пить и есть было невозможно. За рекой слышал говор и стук топоров, потом вспыхнул огонь. Сенька прилачился к щели, отломив кусок гнилой щепы, мешавшей глядеть на реку, и теперь ясно увидел косматую засеку, видимо поверх окопа нагроможденную из телег и неокорзанных деревьев. Окоп плотно примыкал к роще одной стороной, другой шел вдоль берега. Деревья рощи росли к самой воде, иные купали в воде, наклонясь, пространные ветки. Роща дальним концом прямо упиралась в лес, а левее были степи.

Люди из засеки близ самой реки развели костер, кипятили котлы с кушаньем. Выходили из засеки с рогатинами, топорами и луками. Переговаривались, заглядывая в котлы, но шуток и песен Сенька не слышал. «Ждут? – подумал Сенька. – Плохо, ребята! Луки, топоры, рогатины и поди ни одной пушки, а у царских псов всего довольно...» И как бы в ответ на Сенькины мысли за засекой заржала лошадь. «Видно, и козаки есть? Чего же у огня их не вижу...»

Глаза Сеньки стали слипаться, кормина грела, как одеяло; он загнул под грудь суму и заснул. От громкого голоса и конского топота проснулся.

– Воевода-князь Юрий<sup>389</sup>! Вон они, воры, – их обоз... Проснулся Сенька, было утро.

«Перебираться в засеку поздно!» Он глянул на берег реки и на засеку. Светало скоро. Огонь у реки чуть дымил, и ни одного человека на виду не было.

К реке на рыжем коне подъехал, видимо, сам воевода, в старом сером кафтане, с саблей у бедра. На седле не было пистолетов. Борода у воеводы полуседая, лопатой, от его заросшего грязной щетиной лица шел дым. Воевода, к удивлению Сеньки, курил трубку, и Сенька, вспомнив, щупал свою в кармане штанов, но ее не вынул. «Закурить – можно сжечь гумно».

Воевода медленно разъезжал взад и вперед по берегу. Когда поравнялся с засекой, оттуда прожужжала стрела, она высоко взметнулась над головой воеводина коня. Воевода не шевельнулся в седле – курил и за реку не глядел, он как будто считал копны сена. За ним в малиновом кафтане, в стрелецкой с красным верхом шапке ездил боярский сын.

Воевода остановил коня, сказал громко:

---

<sup>389</sup> *Воевода, князь Юрий...* – Юрий Никитич Бярятинский, командовавший правительственными войсками в борьбе с восстанием Разина. В октябре 1670 г. разбил разинское войско под Симбирском, в декабре взял Саранск. В районах восстания осуществлял жестокие карательные операции, уничтожались целые селения. За расправу над Разиным пожалован в бояре.

– Кличь стрельцов!

Боярский сын, повернув лошадь, ускакал.

Далеко за гумном, где лежал Сенька, забил барабан. Стал слышен многий конский топот. Топот ближе и ближе. Сенька видел только передний десяток стрельцов: в желтых кафтанах, на черных конях, с саблями и мушкетами.

– Палена мышь! Переход ладьте – надо измерить воду... Два стрельца въехали в воду, вода по брюхо лошади. Из засеки выстрелили. Один из стрельцов упал в воду мертвый, другой спешно выбрался обратно на берег, за ним выскочила и лошадь убитого.

Воевода как бы не заметил, что убили стрельца, сказал:

– Какой переход, палена мышь, лучше?

Стрелецкий десятник в кафтане мясного цвета, в новой стрелецкой шапке, тронув плетью коня, подъехал к воеводе.

– Дозволь говорить, воевода?

– Ну, палена мышь?

– Думно мне-раскидать деревню по бревну, с бревен, досок мост собрать!

– И первого тебя, палена мышь, в новой шапке голым гузном поволочь по тому мосту?!

Стрельцы, окружая воеводу, смеялись.

Воевода, молча набив трубку, закурил от трута, поданного одним стрельцом, закурил, сказал еще:

– В бревнах кони ноги поломают, а иные на гвозди напорются... Гнилье, доски тоже не мост, а помеха... сорви башку! Ей, стрельцы! Ройте в воду сено, хватит забучить реку!

Сказал и отъехал в сторону гумна. Сенька видел, что когда воевода курил, то слюни текли по бороде, падая на гриву коня.

Стрельцы спешились, на берегу закипела работа, копны опрокидывали в воду.

Воевода крикнул:

– Стрельцов убрать, звать бучить реку датошных солдат... Стрельцов сменили датошные в лаптях, в мужицком платье солдаты.

Сенька глядел, и кулаки его бесцельно сжимались; он чувствовал себя так же, как в Коломенском во время Медного бунта: бессильным, одиноким против громадной силы.

К воеводе, увидал Сенька, полубегом подошла баба с ребенком на руках, кинулась перед конем воеводским на колени и завопила слезно:

– Не губи, батюшко-о! Милостивец, помилуй бедных! Сенька узнал бабу, где просился на ночлег.

– Чего тебе, палена мышь?

– Сено-то, сено! Ой, батюшко! Без сена скот изведетца, робят поморим! Без сена-то... ба-а...

– Деревня ваша на слом! Бунтовщики! Ведомо... мужья в засеке сидят, а вы плачете?... Робят в воду – дети бунтовщиков!

Сенька выволок из сумы пистолет, но стрелять нельзя, низко; он стал проковыривать дулом пистолета шире щель, а в голове была мысль: «Убью черта! Живой в руки не дамся – и конец пути!»

Но баба взвизгнула, вскочила на босые ноги, крикнула звонко:

– Ирод ты! Каменная душа! Штоб тебе на том свету котел смоляной, к сатане тебе в когти окаянному!

Воевода ткнул коня каблуком рыжего сапога в бок, отъехал, и Сеньке не видно его стало, только слышал голос:

– Стрельцы! Киньте бабу с отродьем в воду – река, палена мышь, станет мельче.

Баба бросилась бежать. Сенька ее не видал, но где-то слышался ее голос:

– Ой, родные! Ой, бедные мы!

Сено грузили, и река на другом берегу, видел Сенька, затопила место, где вчера разинцы разводили огонь...

– Эй, палена мышь! Двинь к реке пушки... – услышал Сенька. – Бей зажигательными

ядрами по роще!

Задрожала земля, видимо, волокли пушки. За рекой где-то всплыло солнце, но свет его тускнел от выстрелов, из засеки и с берега – от стрельцов. Услыхал Сенька – ударила пушка, потом еще и еще... Огненные клубы, роняя деревья, зажигали кусты, и скоро от примет огненных загорелся край рощи. Из засеки, видимо, выстрелили из старой пушки по датошным солдатам, таскавшим в воду сено, но огонь пушки пошел вверх столбом. Воевода закричал:

– Палена мышь! У воров пушку разорвало. Гей, стрельцы, ра-а-туй!

На конях через реку, стреляя из мушкетов, направились стрельцы; иные падали в воду от выстрелов, пораженные стрелами и пулями, в воде барахтались раненые лошади и люди. С реки на Сеньку потянуло запахом гари и крови.

Зажигательные пушки почти не смолкали, лес горел, ветер шел с севера, деревья падали на засеку.

Все новые и новые сотни стрельцов переходили на конях реку, и Сенька по цветам кафтанов видел, какого приказа стрельцы: прошли стрельцы мясного цвета кафтаны – головы Александрова; прошли светло-зеленые – приказа Артамона Матвеева, Андрея Веригина – багровые кафтаны, ими река будто кровью покрылась; они приостановились, иные упали с лошадей, раненые, кинув коней, брели на берег обратно. Из засеки по чьей-то команде отчаянно били из ружей, а стрелами близко поражали наступавших стрельцов в лицо.

– Палена мышь! Ратуй! – кричал воевода, не подъезжая близко к берегу. – Страшного боярам вора в Москве на колья по частям розняли, этих, сорви башку, живых на колья взденем! Ратуй, государевы люди-и!

Столетние дубы и платаны, рощи, подожженные ядрами, падали на засеку, а ветер шел на нее же, раздувая пожар. В дыму, в огне, в треске и грохоте пушек и ружей люди на берегу бились впритин, мелькали среди горевших телег и деревьев дымящиеся бойцы с топорами, рогатинами, и бой был жестокий. Стрельцы первым натиском не могли взять берег, но огонь был пуций враг разинцев, на них загоралось платье, и рухнувшие деревья с пылающими сучьями убивали хуже пушек.

Кто-то громко крикнул, и над засекой пронеслось и за реку отдалось роковое слово:

– Эй, мужики! Отступи из огня и не сдавай боя-а!

От огня рухнула вся засека. Сенька увидел сотню или меньше конных казаков, скакавших от засеки мимо леса в степь.

Мужицкие повстанцы сгрудились. Храбрые бились насмерть. Слабые бросали топоры и рогатины, кричали:

– Челом бьем – сдаемся воеводе!

– Не бейте нас, государевы люди-и!

– Милуйте, сдаемси-и!

– Палена мышь! Мы вас помилуем!

Кто-то просил у воеводы. Сенька не видел ни того ни другого.

– Воевода князь Юрий, вели запалить воровскую деревню!

– Переходи, палена мышь! Запалить надо село Копены!

– Там церква, воевода князь!

– Палена мышь! Образа вытаскать, а церква пуцай горит. Поп – бунтовщик, сидит в засеке.

– Любо, воевода-князь!

– А ну и я, сорви им башку, еду суд бунтовщикам навести...

Сенька видел, как грузный конь воеводы медленно, но прямо переносил через запруженную трупами людей и лошадей реку сутулую фигуру в выцветшем стрелецком кафтане.

– Пушки переноси-и! – крикнул воевода, полуобернув волосатое лицо.

– Любо, князь Юрий!

Пожар лесной углублялся в даль рощи, на реку несло гарью кустов и валежника. И еще раз слышал Сенька за рекой голос воеводы:

– Сорви башку! Заводчика, попа копеновского, вести ко мне! Атамана донского Мурза-кайка имать конным стрельцам!

– Лю-у-бо-о!

Сенька выждал на гумне, когда вся воинская переправа Юрия Борятинского ушла за село Копены. Копены горели. Искры и головешки мелкие ветер кидал на другую сторону реки Медведицы. В этом месте Медведица верст за пятнадцать была узка и мелка. Сухое лето еще более высушило реку; осень начиналась, но дождей было мало.

«Нашлись головы засеку в узком месте заломить. На рощу надеялись и не чаяли, что от рощи вся беда!» – думал Сенька, сидя на верхнем бревне закоренка. Он выпил водки, съел все, что было куплено по дороге. Закурил, еще подумал: «Теперь до Саратова дойду и впроголодь...» Разделся, снял кафтан, натянул на плечи панцирь. Надевая панцирь, вспомнил Ермилку Пестрого: «Где-то он, удалая голова, ходок? Никакого пути не боялся».

По кафтану подтянул кушак, всунул за кушак пистолеты, трогая пальцем кремни. Маленький пистолет, третий, «дар Разина», всунул в пазуху: «Ты будешь со мной, пока голова цела! Эх, батько! Послал за ветром, не дал за себя постоять!» Надел суму, отряхнув, накинул армяк. Из стены переруба посреди гумна (парасуток) выдернул дубовый кол. Раньше чем выйти, осторожно огляделся, пошел, чуть уклоняясь влево.

Сенька почувствовал силы, когда поспал. С колом в руке идти было легче, хотя он шел, избегая дороги. Навстречу ему попадали кусты, иногда перелески, редко озерки. Перелесками, чтобы не сбить путь, шел прямо, мокрое надо было обходить. Сенька иногда щупал пистолет за пазухой: «Нападут многие, бой станет не под силу, так есть чем кончить себя...»

Он решил в день одолеть путь до Волги, но захватила ночь, вышел месяц, и по месяцу Сенька видел, что идет к Волге.

Чаще стали попадаться кусты, о кусты и кокорья вконец изодрал сапоги. Торчали портянки, а когда шел песчаным путем – набивалось песку, разъедало ноги, но сильному человеку все казалось нипочем – лишь бы достигнуть желанного...

В одном месте, среди кустов, Сенька разошелся на полянку, сухую, ровную, с мелкой травкой.

– Это место для меня! – сказал он довольный, сел и решил отдохнуть. Не снимая армяка, столкнул с плеч суму и, вынув баклагу, выпил водки полную крышку. Порылся в суме, нашел краюху хлеба – «И последний, да доем!» – решил прилечь и вытянуть ноги, чтоб потом легче было идти. Подложил под голову суму, от водки и ходьбы разогретому приятно было протянуться на холодной траве. Уснул почти незаметно, держа правую руку в пазухе у пистолета.

В дороге Сенька привык чутко спать. Теперь сквозь сон ему послышался говор и даже как будто лошадь фыркнула. Сенька открыл глаза. При ярком свете месяца увидел – к нему из кустов шел стрелец, рослый, широкоплечий, в знакомом полтевском кафтане.

– Эй, раб! – крикнул стрелец.

– Тебе чего, белой кафтан?

– Поспал, будет – едем с нами!

– Куда? – снова спросил Сенька.

– Куда – увидишь по дороге... ну же, черт!

Стрелец, широко шагнув, закинул руку на рукоять сабли.

У Сеньки с годов мальчишества была одна привычка, которой отец Лазарь и брат Петруха удивлялись: стрелять из пистолета. От матери Секлетеи за стрельбу попадало батоном, так как Сенька стрелял куда попало и наострил, не целясь, попадать почти без промаха.

Сенька сел на траве, в правой его руке быстро мелькнул пистолет, раздался выстрел, и стрелецкая шапка с верхом черепа мелькнула в воздухе. Стрелец не охнул, только вскинул

руками и рухнул навзничь. Сенька сунул в пазуху оружие, вскочил на ноги, выдернул другой пистолет и выстрелил поверх куста. За кустом на лошадях сидели еще три стрельца, при луне белея кафтанами. Один из них держал на поводу лошадь убитого.

От выстрела Сеньки средний уронил голову на седло. Двое, повернув лошадей, поскакали, видимо, к дороге, туда, откуда шел Сенька. Они уводили лошадь убитого и того другого, тоже не то убитого, не то тяжело раненного. Сенька быстро зарядил разряженный большой пистолет. Заряжая, он ждал – не вернуться ли его имать, но стрельцы за ближним перелеском пропали из вида.

Сунув за кушак заряженный пистолет, Сенька подошел и оглядел убитого; лица убитого было не наглядеть, но стрелец казался сильным человеком, с длинными руками и ногами. На кушаке кафтана – сабля и ременная плеть, а сверх кушака, обогнув корпус, вилась тонкая веревка.

«Дозор-ловить разинцев?» – подумал Сенька и, нагнувшись, пястью руки примерил рыжий стрелецкий сапог. Сбросив армяк, присел на траву, сдернул свои изношенные сапоги, снял сапоги с убитого, переобулся, поднял с земли суму, накиннул армяк, сказал:

– Спи, стрелец! Больше от тебя ничего не надо...

Сапоги пришлись впору: «Туги в голенищах немного... – думал Сенька, – и в том беда, что по ногам меня иной примет за беглого стрельца...»

Он спешно пошел и, побаиваясь погони, стал сильнее забирать влево.

В голову лезли неотвязно мысли: «Дойдут воеводу, пошлет имать! Думаю, не скоро дойдут воеводу, с расправой далеко ушел...»

Сенька шагал и в такт своих шагов шептал: «Спать некогда, спать не время!...»

Шел, не разбирая мелких болотцев, в одном месте провалился выше колена. Узкие голенища сапог выручили, воды в сапог не налилось. Сенька не знал нрава воеводы Борятинского. Если б стрелец сказал ему: «Воевода князь Юрий, вор убил двух стрельцов, дай взять людей – имать того вора!» – Борятинский бы крикнул: «Становись в ряд, палена мышь, рубить буду, двух убил вор, а двух трусов я убью!»

Сенька заметил, что к утру он попал на распаханые пустоши.

– Эге, Семен! Саратов близко... – сказал и рассмеялся, хотя и не любил смеяться. – Пистолы не все заряжены? – С удовольствием выбрал место на краю заросшей сухой канавы, скинул армяк и суму, зарядил «дар Разина», сунул за пазуху и чувствовал, что против его воли ноги дрожат. «Худо ел, и все тут!...»

Он ошибся, что скоро Саратов; только к вечеру, когда восток, где всходит месяц, зажелтел под голубым облаком, Сенька по гумну с плоской крышей, на которое всегда глядел, когда выходил на сарай избы старика Наума, догадался, что там, вдали за Волгой, Покровки. Пошел и чуть не сел на радостях отдыхать, выйдя на знакомую дорогу.

«Тут мы ехали с солью!» – И вдруг ему стало тоскливо: «Чего я радуюсь? А как нет стариков?... Опять ходи по чужим, ищи подворья». Когда подумал так, то почувствовал тяжесть всего пройденного пути и устало двинулся по дороге в сторону Волги. Он глядел на пустыри – там за ними в низине изба – и чуть не запел от радости: в окнах избы Наума мигал огонь...

Сенька на радостях, что нашел огонь в знакомой избе, распахнул дверь, шагнул и захлопнул так, что в пазах избы затрещало.

Перед огнем печи на скамье старик Наум дремал; он вздрогнул и зашевелился:

– Тут кто, крещеной?!

– Я, – сказал Сенька.

Сунул на лавку сброшенный армяк, под него загнел пистолеты; с сумой за плечами подошел к огню...

– Не наш, чижейей, вишь... – ворчал старик, разжигая лучину, лежавшую на шестке; огонь в руке старика дрожал. Осветил лицо Сеньки:

– Григорьюшко-о, ты ли?!

– Я, дедушко.

– Ну, слава богу! Три старика, к ним молодой в придачу...  
– Ты не один живешь?  
– Не один... время поздает, они же, старые козлы, бродят – прибрдут ужо...  
По-здорову ли ездил?

– О том после!  
– И то после... боле солевары те ко мне не заходили, а ты скидайся, отдохни с дороги. Сенька сбросил суму на лавку, из сумы вынул оловянную баклагу с водкой.  
– Для свиданья выпьем!  
– Выпьем, храни Микола! Помянем мою старуху...  
– Ой, померла бабуся?  
– Сороковуст справил... ушла, меня ждет.  
– Боялся, что обоих вас нет, думал, когда шел...  
– Ништо... помаялась, и будет! Ну, у бога не горит, так поминки справлять – на стол свечу...

Наум, кряхтя, влез на лавку за столом, в углу из-за образа вытащил пачку церковных свечей. Лучину он не гасил; она, дымясь, горела. Старик подтаял четыре свечи, прилепил к крышке стола и все зажег.

Сенька поставил баклагу на стол.

– Водки много, а хлеба ни куска!  
– Хлеба сыщем! – проворчал старик и, отойдя, в углу порылся, принес на стол четыре чашки, пошел туда же, кинул по дороге деревянный огонь в печь, принес хлеба, огурцов, чесноку пучок и сушеной мелкой рыбы. Сенька не спросил, почему много чашек, в две он налил водки, одну подвинул Науму, с другой чашкой в руке встал, сказал:

– Если б отец родной был на твоём месте, дед Наум, я бы не больше радовался!

– Чего сказать? А я нынче с праздником! Желанный сынок вернулся...

Сенька был голоден, он жадно ел принесенное на стол. Наум не ел, но пробовал налить из баклаги водки и не мог:

– Ну и грузна твоя посудица!

Сенька налил, а когда выпили, вынув из пазухи «Разина дар», распоясался, сбросил кафтан на лавку, где сума, пистолет также запрятал в ружьядь. При огне за столом на нем засверкали кольцами панцирь.

– Уж опять на тебе эта рубаха!

– Снять ее пора! – Сенька стащил с плеч подарок друга Ермилки; снимая, говорил: – Нынче, Наумушко, без этой рубахи нельзя... везде имают разинцев...

– Проклятые они! От царя ездют и будто разбойники... Всякого имают, гожего и прохожего к воеводе тащат, а из слободы так в земскую избу... Иных, не дотащив, оберут и убьют, – ищи, хто убил...

– У тебя, дед Наум, есть ли где схорониться, ежели надо будет?...

– Ужель ты забыл? А под избой, спаси Микола, места у меня больше, чем в избе... Недаром век живу – худых людей знаю...

В сенях хлопнула дверь, и завозились шаги. Сенька встал:

– Пойду к своему скарбу!

– Сиди, сынок! По шагам слышу – наши... твои шаги забыл, а то бы не спужался.

В избу вошли двое, оба поставили в угол дорожные батоги. Один в бараньей шапке, в лаптях, борода длинная, седая. У другого борода покороче, он в манатке монашеской, на голове черная скуфья. Мирянин, кинув шапку, проговорил негромко:

– С отцом-чернцом во всех кабаках заутреню пели, да кадила нет, подают мало... Хозяин наш не служит и не тужит, а водку пьет.

Чернец бормотал, усаживаясь за стол:

– Дошла моя голова – черного куколя, да нынче и молитва не кормит, плясать велют, а мне помеха есть – чин андельский... Налейте, православные!

Сенька налил, и все четверо выпили.

– Спляшешь, отец! Не попусту на стол принес я четыре чаши... Лей еще, сынок!  
Старик-мирянин, выпив, сходил в сени, принес старую домру и мешок, из мешка на стол вывалил жареный бараний бок, из пазухи достал каравай белого хлеба.

– Пируем до утра! – вскричал Наум.

Сенька видел, что хозяин избы захмелел, решил попытаться, пока не поздно:

– В Борисоглебске дорогой я, дед Наум, спросил людей да узнал, что на Саратове воевода стольник Глебов.

– Мишка Глебов! Тебе, сынок, он зачем?

– Слышал я, Глебов хитрой и злой воевода...

– Добрых, сынок, воевод нет! Кузька Лутохин матерой волк был, да Разин-атаман его с нашей шеи в воду стряхнул!

– У воеводы, дед, поди и ярыги земские есть?

– Есть, да ты, сынок, не бойся!

– Дед Наум, я ничего не боюсь, но когда расправа случится – не было бы тебе худо...

Чернец сказал:

– Нынче время настало – куда дворяна, туда и миряна... не истцы, так и мужики привяжутся, все кинулись царю служить, о воле забыли... в Астрахани-таки шумят разницы...

– В Соловках начинают пушки отпевать<sup>390</sup>... – сказал старик мирянин. – Водой кропят!

Дверь в сени закрипела, видимо, два человека шатались за дверью, шаря скобу избы. Вошли двое, оба с виду хмельные; один в синем кафтане, за поясом ремнем, высокий, длинноротый, другой маленький, в нагольном полушубке, под полушубком синий с нашивками кафтан, на ремне медная чернильница, заткнутая гусиным пером.

Высокий, походя, перекрестился, подошел к столу, спрятав мягкую меховую шапку в карман кафтана. Сказал:

– Вот и пить будем! – Сел.

Маленький медлил, он был, видимо, богомольный: встал на колени, перекрестился на образ, стукнул лбом в пол, полежал на земном поклоне недолго, встал, смахнул с лица пыль и тоже шагнул к столу.

– Место земскому подьячему! – крикнул он властно. Чернец сказал:

– Дадут дураку честь, так не знает, где и сесть!

– Ты чего там?

– Я не с тобой, власть!

Сенька вышел из-за стола, уступив место подьячему, подошел к лавке, где лежали его вещи, и незаметно сунул в карман штанов пистолет «дар Разина». Он отошел, сел к окну на лавку против устья печи. Печь, потрескивая, дотапливалась. Все молчали. Подьячий сказал Науму:

– Лей хмельного, а закуска есть!

– Погоди, служилой, чаши подам.

– Добро – неси.

Наум принес еще две чашки.

– Молодший! Налей – твое вино! – сказал старик-мирянин. Сенька налил всем, все выпили, он сам не пил.

– Чего не пьешь? – спросил подьячий. – Много пил – теперь закурю!

Сенька набил трубку, лучиной достал из печи огня, закурил и сел на прежнее место. Подьячий пил, бормотал:

– Добро, сто раз добро! Шли по следам и на огонь разбрелись, где запоздалой огонь, тут пожива...

---

<sup>390</sup> В Соловках начинают пушки отпевать... – Речь идет об антифеодалном восстании в Соловецком монастыре под лозунгом борьбы за старую веру. «Соловецкое сидение» – осада – началось в 1668 г. и длилось почти восемь лет. В январе 1676 г. восстание было подавлено.



Высокий, видимо, был неразговорчив. Пил молча, закусывая, широко раскрывал рот под жидкими усами и громко чавкал.

Наум, как показалось Сеньке, заметно протрезвился, он заговорил, привстав в конце стола:

– К нищему старику непошто пожаловали такие знатные гости... Вино и то, вишь, у меня чужое...

Высокий промычал:

– М-м-да-а... Маленький ответил Науму:

– Надобно опросить твоих постояльцев... Ну, вы, рабы божьи, сказывайте, кто каков есть? Да не лгите... в земской избе<sup>391</sup> сыщется, чем языки развязать!

– Я гулящий человек, кормлюсь игрой на домре, живу тем, што мир дает... вологженин, – сказал мирянин-старик, – звать Порфурком.

– Добро! А ты? – уставился краснеющими глазами на Сеньку допросчик.

– Имя Гришка, гулящий тож.

– Каких мест будешь, чей сын?

– Мать родила – не корова! Мест всяких, где можно кормиться...

– Староста! Этого в земскую взять...

– М... м... – кивнул высокий.

– А ты, чернец?

– Иеромонах Кирилло-Белозерского монастыря.

– Далеко забрел! Староста, и этого в земскую, нарядить понятых и волочь! У чернцов имя в миру одно – в монастыре другое... Зримо, бредет из Соловков в Астрахань, манить туда бунтовщиков... Соловки шумят...

– М-м-о-жно! – прожевав закуску, сказал староста.

– Ну, выпьем, да «объездную» буду писать, а то запоздало время. Эй, ты, Гришка, лей не жалеи!...

– Сами хозяева – лейте! – ответил Сенька.

Пробовали поднять тяжелую баклагу, но она гладко отполировалась в суме Сеньки за время походов, выскальзывала из пьяных рук.

– Вот черт! У воды без хлеба, – сказал подьячий. Заговорил старик-мирянин:

– Мы вас, служилые, в кабаке с отцом-чернцом угощали честно, а вы пришли нам бесчестье чинить!... Где же ваша совесть?

– Ту, ту-у, друг, большая брада... Мы пили, а думу думали – куда пойдете?...

– В миру едите, да где спите? Так вот! Соберем мы вам поголовное – с головы по три алтына, еще водкой угостим, – и подите-ка своей дорогой...

– И впрямь! Оставьте вы нас, что за корысть вязаться к странникам, нашу добрую беседу рушить? – пристал Наум.

– Те деньги передайте вот ему, старосте, он же ими купит заплечного, штоб вам в земской избе было легче стоять... Мы посулов не берем! – ответил подьячий.

Сенька вынул трубку изо рта, сказал громко:

– Пушай идут к чертовой матери! Какие им деньги – пили, ели, того будет...

Всем еще казалось, что земские власти спьяну зашли пошутить и попугать, но подьячий спросил старосту:

– Книга доездная у тебя?

– М-м-да-а!

– Подай!

Староста, расстегнув ворот кафтана, вытащил из пазухи толстую тетрадь, на ней на черном переплете было наклеено белое и на белом крупно написано: «Доезды».

Сенька встал, стал ходить по избе, подошел к столу, сказал подьячему:

---

391 *Земская изба* – канцелярия местных должностных лиц, орган земского самоуправления.

– На тетради «Доезды», а вы находом пришли, какие вы доездчики? По правилам надо делать!

– Нам, гулящий, всяко делать указано! – Ответив, подьячий выволок из поясной чернильницы перо, рукавом полушубка обтер столовую доску и, разложив тетрадь с росчерками, немного косыми, начал:

«Стольника и воеводы Михаила Ивановича Глебова подьячий земской избы Куземка Петров да староста той же расправной избы Панфил Усачев были в избе старого мужика Наумка Пестохина, что на Пустырях за Саратовом, и сыскали на подворье у него троих пришлых людей: гулящего человека, Порфуркой сказался, да чернец Кирилло-Белозерской обители, имя не сказано и не опознано, да гулящий же сказался Гришкой... За поздним часом понятых не звали, допрашивали, как могли, когда ободняет и возьмем мы понятых, приведем сысканных людей в земскую избу на допрос к тебе, стольнику и воеводе Михаилу Ивановичу Глебову. А доезд сей писал подьячий земской избы Куземка Петров».

– Эй, рабы божьи, подпишитесь! – крикнул подьячий.

– Все бесписьменны! – ответил мирянин-старец.

– И иеромонах?

– Не угораздил господь! – сказал чернец.

Подьячий встал. Староста, видимо, ждал на дороге выпивки. Сенька подошел, налил ему водки две чашки. Одну староста выпил, стал закусывать, а подьячий, спрятав в пазуху тетрадь, привычно став на колени, крестился в угол, где сидели, но когда он поклонился в землю, Сенька шагнул, наступил тяжелым сапогом на шею лежащего на полу. Полушубок заерзал по полу, ноги носками сапог застучали в половницы. Сенька еще крепче надавил, и подьячий перестал биться под его тяжелой пятой.

Староста, пригнувшись, полез из-за стола.

Сенька придвинулся к столу, сказал:

– Сядь!

– Не-е хо-чу!

В руках Сеньки сверкнул пистолет:

– Сядь!

– Ку-у-зе-мка-а!

Староста, раскинув руками, сел. – А-а-а!

В широко раскрытый рот земского Сенька сунул конец пистолета.

– Молчи! Куземка убит.

Староста протрезвился неожиданно и задрожал, таращил глаза, зубы стучали по железу.

Сенька вынул изо рта старосты дуло.

– Крест честной целую, робятушки, не я... – Он заревел телячьим голосом, слезы застлали глаза.

– Будем говорить! Перестань!

Земский, всхлипывая, теребил мокрую бороду.

– Один убит, а ты хочешь умереть?

– Бесценные, родные, не убивайте!... Не я вел к вам, он.

– Ты власть! Не убить – пойдешь меня искать? Соберешь понятых?

– Святой иконой Одигитрии-матушки клянусь! Все скрою, где были!

– Скроешь – жив будешь... Скроешь ли, куда делся подьячий?

– Скрою, да никто не видал, куда мы шли!

– Того мало! Обещай в эту избу, пока жив старик Наум, возить бесплатно дрова!

– Обещаю – привезут! Дрова – не вино... сполню, робятушки, выболи мои глаза! И вот на в: ем том икону святую дайте целовать...

Сенька снял старый образ Николы, дал поцеловать земскому. Тот, крестясь, поцеловал икону, встав с лавки, сказал:

– Вот, робятушки, меня слушайте – кляузного черта убили, так не роите его в землю,

суньте в Волгу – и молчок! С земли его собаки выволокут, а тут и Глебов воевода привяжется, пойдет сыск – беда! Этот подьячий глебовский истец – шепотник... Он и нас загонял в земской избе – ни дня, ни ночи покоя, особливо нынче разинцы...

– Исполним! Будет в Волге, – ответил Сенька и прибавил:– Помни, староста, ежели клятвы не сдержишь, то я примусь за тебя: соберу людей, их много, тогда мы тебя повесим на воротах твоей земской избы!

– Не думай... вы не скажете, а от меня и во сне не узнают!

– Дай, дед Наум, лучины пук, зажги – пушай идет на дорогу!

Старосте зажгли лучину, он принял дрожащими руками огонь и, забыв шапку в кармане, ушел.

– Живой ушел, а мертвого в сени до зари выкинули! – сказал старик-мирянин.

– Печь доской прихлопнул, Микола храни, а неладные гости помянуть старуху помешали!

– Водки еще довольно, святые и свечи в углу – так давай заново панафиду петь! – предложил монах.

– Вы, старые козлы, на хвосте приволокли земскую пакость! – проворчал Наум, заменяя догоревшие свечи.

– Шли-то они, мекали стариков к допросу волочь, да вишь оплошились молодшего... Они бы по-иному тогда!...

– Давайте пить и гулять! – сказал Сенька. – Думаю, теперь другие не забредут!

– Гуляем!

– А все же заметом двери закину! – сказал Наум и вышел в сени. Вернувшись, садясь к столу, прибавил: – Один волк в сенях лежит, и то добро!

– Легко бит – головы не нашли! – пошутил монах. Сенька налил водки. Когда выпили и закусили, старик-домрачей стал рассказывать:

– Сидел я, дитятки, у купца в лавке, купец и кричит: «Сыграй, игрец!» Я-таки домрушку свою пощипал и отвечаю: «Голоден, руки не ходют!» Тут мне и вынесли праженинки, поел, да заиграл, да петь зачал:

### Про сокола и горы – камни подсамарския...

За эту песню на Москве меня хотели в Разбойной уволочь, да удалой паренек случился – не дал! А было то, старцы мои, в окаянной день, когда изрубали бояре сокола Степана Тимофеевича...

Старик еще выпил и, чтоб развеять грусть, стал щипать струны домры.

– А как его казнили, дедушко?

– Ух, страшно, сынок, казнили! Руки, ноги розняли, все посажали на колья, головушку удалую на пуший кол! Мы-таки в ночь подобрались к ней, головушку атамана сдернули с кола, насадили другую, а ту – вечно дорогую народу... я закопал с молитвой...

Сенька сидел, опустив голову, и оттого ли, что прошел далекую и страшную дорогу, заплакал...

– Будет еще панихида по атамане! – крикнул он и стукнул о стол кулаком. Свечи подпрыгнули, погасли. Наум в жаратке выдул огня, зажег свечи.

– Будет, дитятко! – сказал дед-домрачей. – И вот я иду на Дон-реку поклониться местам, кои дали такую удалую головушку... пойду, буду песни про атамана играть...

– А нынче нам сыграй! – приказал старик Наум.

– Пожду... отец-чернец ладит плясать.

– Выпьем за память о Степане Тимофеевиче! – предложил Сенька.

– Выпьем!

Выпив, старик начал перебирать струны все чаще и чаще, играя плясовую. Чернец скинул манатью. Тощий, на длинных ногах, в изорванной рясе, гнусаво припевая, заходил по избе:

Со отцами, со духовными,  
Со владыками церковными  
На полатах в кабаке лежал,  
Пропил требник, крест пропить жадал!  
На полатах да с ярыжными,  
С горя пьяницами ближними.

- Худо идет! Выпить надо-о...
- Пей да уймись! – крикнул Наум. – Пушай споет дед-мирянин.
- Эх, ну! Как у водки не разинешь глотки? Чернец выпил и сел.  
Домрачей спросил Сеньку:
- Видно, и ты знавал батюшку-атаманушку?
- Знал... служил ему. По его велению ходил на Украину голову терять, да, вишь, живой вернулся, а его уж нет!
- Думаешь еще беду народную на плечи сдвинуть?
- Думаю – не отступлюсь от правды атамановой!
- Не отступайся, дитятко! И мало мы с тобой успеем, а все же иной нас и добром помянет... Ну, чуй! Спою про дело таких, как мы с тобой.  
Старик настроил домру и негромко, хрипловатым голосом запел:

Шел дорогой не окольной, прямоезжею...  
С шелепугой, клюкой шел дубовою...

- Эй, налейте-ка игрецу для веселья! – крикнул старик, приостановив игру.  
Сенька встал и налил всем водки.

А сказала калика таковы слова:  
«Ты поди, куды шел, не сворачивай,  
Да сумы не шевели, не поворачивай,  
Об нее запнешься близко на расстаньце».

- Це-це-це... – звенела домра.  
Монах захмелел, сидел, опустив голову, и вдруг запел:

На гагарьем-то озере...  
Избы малы – не высокие,  
Воронцы у них далекие,  
Сковороды те глубокие!

- Стой, отец-чернец! Служи потом, дай пареньку о судьбине сыграю...  
Домра опять зазвучала, старик запел:

Взял суму богатырь – приросла к земле,  
И подумал добрый молодец:  
«Подыму едино, кину за ракитов куст!»  
Понатужился, посупорился да поднял  
Тут суму лишь на малу пядь...  
Во сердцах вскипело, головой тряхнул:  
«Коли браться, – сказал, – то по-ладному».  
И задынул ту суму брюха донизу...  
Тут учял – в костях его хряст пошел,

По грудям богатырским огнем прожгло...  
А стоит доброй молодец, супорится,  
А от смертной ноши не спускаетца.

Монах вдруг заговорил, пьяно мотая головой:

– Царь, а што он указывает? Дурак! «Вдовам да попам не давать благословения в мирских домах жить и службы служить!»

– Молчи, отец-чернец, дай хозяина тешить...

– Тешь, а у меня свое болит! Домрачей, подыгрывая, запел:

Он глядит, зарылся в землю по головушку...  
И неведомо, чьим голосом,  
Как медяным, кой в набат гудит,  
Было сказано ему извещеньице:  
«Та сума – беда народная!  
Доля черная, проклятая,  
Изнабита костью ломаной  
Злой судьбой мужицкой волюшки!  
Не поднять ее единому...  
Ту суму поднимет сам народ,  
Но поднимет он тогда суму,  
Как разгонит вечных ворогов!  
Князей, идолов поганных,  
Да бояр с детьми боярскими,  
Со дьяками да тиунами,  
С чернецами, псами черными!»  
На том богатырю конец пришел...

Монах снова забормотал:

– Службы служить... «Многие-де попы и монахи упиваются безмерно вином, живут беззаконно и церковные требы совершают пьяные». А царские попы? Те же пьяные псы!

– Ты бы, отец-чернец, опочив приискал! – сказал мирской старец, кладя на лавку домру. – Мне с утра поможешь подьячего в Волгу сунуть... камушков пособрать ему на дорогу в пазуху...

– По-омогу-у! Спать не лягу.

– Сон долит всех! Григорей наш еще и путь большой прошел.

Сенька лег на лавку на свой армяк. Хозяин, кряхтя, устроился на печи, а домрачей на полу. Один монах, придвинувшись к столу, упрямо не хотел лечь.

Свечи догорели до столовой доски, фитили утонули в талом воске. В хмельном воздухе запахло церковным.

Монах, сидя, раскачиваясь, захрапел в темноте.

Утром до света старик Наум затопил печь. По курной избе пошел дым. Дверь в сени приоткрыли, и вместе с холодом в избу потянуло едким запахом захода.

Печь, разгораясь, медленно вбирала вонь сеней и жилые запахи перегара водки.

Наум, закинув седую бороду на плечо, в большой деревянной чашке, кряхтя, сучил мутовкой, пригоршнями подсыпая в чашку из плетеного лукошка муку. Ворчал:

– Волочи грехи... Доможирь, коли бог хозяйку прибрал... У стола похмельные, взьерошенные, оба худо спавшие, утирая глаза от дыма, спорили старики-постояльцы:

– Не все тебе, отец-чернец!

– Позри! Кину колпак, падет вершком кверху – все пью, книзу вершком – ин и твоя доля пития есть...

– Спаси, Микола! Эй, козлы старые, хозяин водки – Григорей, встанет он – все будем

пить!

А по игрищам душа много хаживала,  
И под дудочки-гудочки много плясывала!

– Замест винного дележа ты бы, отец-чернец, сплясал...  
пра-ааа!...

Самого сатану воспотешивала...  
Расскакалась, провалилась в преисподний ад!

Сеньку разбудило дымом, да и пьяницы неумно бубнили. Он встал. В избе сумеречно, только часть стены против печи пылала отблесками, когда Наум уходил за дровами. В окна холодно поблескивала лимонно-бледная заря.

Сенька пошел на берег Волги. Сойдя к воде, увидел лодку, а в лодке лапотные следы, песчаные. Смахнув песок с лавочки, кинул на нее платье, знобило голое тело ветром, но он с наслаждением смыл с ног мозоли и грязь.

На горе, куда упер взгляд, далеко в сторону – город, а в нем церковь деревянная, распахнутая. Скупно за дверями теплились огоньки. Близ церковных дверей на желтых столбах висели чугунные доски. Юрко двигаясь, черный, как жук, пономарь колотил в доски чем-то длинным и, видимо, железным. Хриплый звон призывал богомольцев. По кривым улицам к Волге торопливо шаркали шаги людей. Выше и дальше церкви, на берегу Волги с обрывистой желтобокой горы, из помещения с круглой крышей на столбах кричал караульный стрелец:

– Э-э-й! Гля-а-ди-и...

Голос уплывал далеко в заволжские просторы. Еще дальше за горой, с другого берега Волги, из-за городской стены на крик караульного будто эхо откликалось:

– Жу-у-у!

За церковью, ближе к берегу, сыпалась и вздрагивала земля. Протяжная песня обрывалась, когда раздавался стук «бабы». Ватага рабочих, переноса копры, била сваи... Тут же, немного ниже, другая ватага копала рвы, вколачивая частокол.

Сенька поглядел за Волгу против города на Покровки. Гумно, которое видел он с сарая старика Наума, вблизи показалось ему огромным. Теперь гумно было покрыто вместо соломы крышей из теса. У гумна, ближе к Волге, лари, забросанные древесной корой, и тут же торговые скамьи. Кругом скамей толпились люди...

«Торгуют, а чем? Кому тут продавать?...» – подумал Сенька.

За большим островом на Волге увидел Сенька подведенный насад с мачтой без паруса, а дальше в сторону города, окруженного стеной, заметил еще другой. Рабочие на палубе насада, скручивая, подбирали парус. Сенька подумал радостно: «Попутчая мне к Астрахани!»

Он обернулся в избу. Наум ворчал на стариков:

– Водку лакать борзы, как псы к молоку, а дело – руки, вишь, зазябли! Поди, неладные, мертвого не топили, кинули?

Наум нашел в сенях колпак убитого, ругаясь, пихал на ухвате в огонь. Домрачей, утирая бороду, ответил:

– Не пекись, Наумушко! Един мешок с сараю пошел ему на гроб. Доброму крючкотворцу замест напутствия церковна тетрадь кляузных дел приложили... камешков ему туда же. Вывезли с отцом и за великим островом спихнули... порато, милой, пузыри пушал...

– Ужо сам огляжу, а то вы сказки горазды сказывать да пить.

– Эй, отец-чернец, присловь хозяину, покрой меня добрым!

– Будь здоров! И окунь на закуску – я испил...

– Ах, неладной, пожди причащаться... Скажи хозяину, чуешь?  
– За наши грехи и Ерему в дьяки! Хозяин доброй! Покойник с татарской царицей Кокшаной на дне Волги «доезды» пишет. Закон толкует... Она ему колдует: «Быть-де царству казанскому под Ямгурчей-ханом!» – У, скоморохи!

Песни ватаги да стук копров долетали и до избы Наума.

– Спаси, сохрани – дуют как! – беря домру и шапку с лавки, сказал домрачей...

– Дива нет, козел старой! Дуют, новой Саратов крепят...

– А где же старый, дедушко Наум?

– За рекой, Гришенька, у речки Саратовки, там, где стены... Ешь-ко горячие! – Наум подвинул Сеньке чашку с горячими лепешками. – В нашем только слобода была, теперь две, да воевода прежний церковей нарубил, а из старого города от церкви Троицы образ Спаса сюда перевез... Нынче расправные избы, дом воеводы да кабаки... Ну, бревен плавят много – строят Саратов...

Монах шарил в углу свой батог, ворчал:

– Возжаждала душа винного ковша. Пристал домрачей-старик:

– Время, отец! Винопийцы давно отзвонили...

Сенька ел, поглядывая на стариков в угол. Они нашли свои батоги.

Сенька сказал:

– А я свой батог с возней стрельцов на полянке забыл!

– Тебе он пошто, батог?

– В дорогу, дед Наум...

– Не печаль старика, сынок, погости... Да как не крепок ты, а железная рубаха поди грудь, плечи намяла?

– Плечи ноют – верно... Сон долит.

Старики, опохмелясь, уходя, балагурили. Наум крикнул вдогонку:

– Хвост не марать, грязи приказной, как вчера, за собой не волокчи!

Монах ответил Науму:

– Маланья грядет не на гулянье – бычка искать!

– Экие ведь языкоблуды! Кушай, дитятко, а я, спаси Микола, гляну, потопили ли старики убитого?...

Наум сходил на берег Волги. Вернулся спешно, успокоил Соньку:

– Спи по-доброму! Спроворили пьяницы, страх убрали, а помешкали бы день, тогда тащи тело по берегу... вишь, насады стают у острова, будет людно... что ни год, под Саратовом астраханские суда зимуют.

– Видал я, Наумушко, те насады и думал: «Возьмут меня в Астрахань к атаману Ваське Усу<sup>392</sup>?»

– Возьмут, дружок, да весной – нынче пути в Астрахань кончены...

– Там за Волгой, в Покровках у гумна, какие люди, дедушко, торг ведут?

– Слобода за Покровками есть, а гумен нету, сынок! Може, Покровки ты и признал гумном?

– Мне казалось гумно... тесом крыто.

– Оно и есть! Весной, осенью таже, в ем кроются пришлые люди, судовые ярыги... там печь, полати... Купец Васька Шорин там, за Покровками, часовню срубил... Как наймутца пихать насады, служба тогда в часовне... Да и то, шток Христа не забыли, вишь, за Слободой, близ Покровок, калмыцкое мольбище и Поганое поле...

Наум постучал пальцами по Сенькиной баклаге:

– Козлы старые, все испили досуха!

---

<sup>392</sup> Ус Василий Родионович (ум. в 1671 г.) – донской казак, сподвижник Степана Разина. Еще в 1666 г. возглавил поход голытьбы к Москве и под Тулой разбил лагерь, куда сбегались крестьяне и холопы. В 1670 г. присоединился со своим отрядом к Разину. После взятия Астрахани управлял городом вместе с Федором Шелудяком.

– Вот деньги, дед, надо еще вина добыть!

– Сброжу за вином, были бы гроши, кабаков не занимать! Наум задвинул дымовой ставень, оделся, взял суму и ушел. Сеньку после купанья сильно клонило ко сну: он лег на лавку.

Видимо, была уже глубокая ночь. Сенька вскочил с лавки – кто-то тяжелый придавил ноги.

Старик-домрачей у стола при огне церковных свечек играл плясовую, а по избе расхаживали чужие люди; они, подвыпив, плясали, один из них и сел Сеньке на ноги.

Наум, пьяный, как все, был у стола, на столе вино в заржавленных ендовах и закуска – жареная и соленая рыба, складенная на оловянные тарелки. Плясуны утомонились, а Сенька постоял, шагнул к столу.

– Сынку Гришеньке пития! – закричал Наум, а когда Сенька выпил, Наум сказал еще: – Вот, сынок, поговори с парнями. Насады, кои видал у острова, идут в Астрахань за государевой рыбой и солью – с ними вот!

Рыжебородый мохнатый мужик, в дерюжном кафтане, без шапки, широкоплечий, с корявыми руками будто в рукавицах, жуя после выпивки рыбу, кидая кости под стол, сказал, не глядя ни на кого:

– Работная сила надобна. Лишний парень на судне – наш капитал... Берем!

– Ладно, лисый, я могу ковать, багры и якоря чинить! – сказал рыжему Сенька.

– А то еще краше! Берем в Астрахань...

– Когда снимаетесь с якорей?

– Сниматься не будем!

– Как же вы?

– Теперво сниматься толку нет!

Пристал монах:

– Толк рабам господь в голову склал, а кой в бока толкут, тот зоветца мукой-наукой...

– Теперево к Астрахани поехать – она самая и будет – мука!

– Пошто так?

– Васька У с-атаман Астрахань запер, ходу в нее нет.

– Скажи ему, Микола, – пристал еще мужик, худенький, в вотоляном кафтанишке, в лаптях, – скажи, колико нынче ехать, то в пути насад обмерзнет, а еще и царские заставы приставать зачнут...

– И зачнут! – сказал рыжий.

– По Волге, по нагорной стороне теперь ни кабака, ни двора харчевого, а виселиц не перечтешь... разинцев имают... – продолжал маленький мужик.

– Как же быть нам в Астрахани? – не унимался Сенька.

– Весной, молодец кузнец. Нынче зимуем... насады еще подойдут сюда... плавить по широкой воде зачнем караваном. Сказ весь... Наливай, старцы! – крикнул рыжий.

– Судьба, сынок, не кидать старика Наума! Пей, ешь да кости расправь... Ну, выпьем за твое долгое стоянье! – Наум налил Сеньке медный ковшичек вина.

– Пьем, дедушко!

Широко перед Саратовом острова покрыло водой. Волга угнала с берега от Покровок людей и торговые лари к Слободе в сторону Погана поля. Само строенье Покровок залило до половины срубов, а часовню за ним покрыло до креста.

По большой воде насады подвели к берегу Нового Саратова<sup>393</sup>. На берегу днем и ночью огни. Песни хмельных и трезвых людей круглые сутки не смолкают. До поздней ночи запах смолы, звон топоров по гвоздям, бьющим в доски, глухой стук конопаток. Крики судовых ярыг и голос рыжего мужика, начальника каравана:

---

<sup>393</sup> *Новый Саратов* – Саратов основан в конце XVI в. на правом берегу Волги, затем в 1610–1613 гг. перенесен на левый берег. При царе Алексее Михайловиче город снова стал строиться на правом берегу и стал называться среди местного населения Новым Саратовом.



– Шевели работу – весна не спит!

По ночам у огней, ложась вздремнуть, бормочут и кричат труженики, пропивающие в кабаках Саратова скудный задаток, на кабальных условиях взятый за путь до Астрахани.

– Пьем! Не все нам горевать, а боярам пировать...

– Играй, портки, – рубаха в кабаке пляшет!

Сенька у огня в землянке на берегу Волги чинил багры, наваривал лезвия и обухи топоров, исправлял якоря-кошки, которыми с отмели стаскивают суда. Задатка он не брал, и рыжий мужик в дерюжном кафтане и красной рубахе часто, закинув под кафтан на спину руки, любуясь на Сенькину работу, говорил:

– Этакие руки с нищими пропадали, а?!

Насады подшили свежими досками, осмолили. Исправили железные скрепы, тогда Сенька сказал начальнику каравана, рыжему:

– Бери, хозяин, Наума и домрачей-старика!

– Куда им, и далеко ли?

– Науму в Астрахань к дочери, а иному старцу до Камышина.

– Скажи, пушай соберутся – завтра плавим караван!

Рано с зарей караван отчалил с песнями, со скрипом уключин. На головном насаде были Сенька, Наум и домрачей-старик. Домрачей тренькал на домре, припевая:

Вишь, кровь на полу —  
Голова на колу.!  
Руки, ноги врозь —  
Все хабары брось!

Рыжий подошел и властно крикнул:

– Брось играть такую! На стороны глянуть страшно, а ты еще...

Караван проходил мимо горы Увек. У подножия горы стояли четыре рели<sup>394</sup>, на них по два трупа разинцев, из-под черного отрепья, когда-то бывшего платьем, белели кости повешенных скелетов.

– Нажми, товары-щи-и! – крикнул рыжий, и по Волге отдавалось эхо: ми-и-щи-и-и...

Караван спешно угребал мимо горы, а Наум говорил, сидя на палубе насада:

– Увек-гора... сказывали старики, будто был тут в стародавние времена город татарской<sup>395</sup>... богатой, золотые деньги свои ковал, палаты имел каменные. Воевали – разрушили тот город, а нынче царские воеводы виселиц наставили... Борятинской черт!

– Не лги, старец! – оборвал рыжий Наума. – Не Борятинской, а Юрий Долгорукой... Поди-ко, вот, коли дрова да каши нам сварил!

– Худые работнички! Не успели за дело взяться – кормить надо... – проворчал Наум и встал...

Домрачей, пощипывая струны, напевал:

Понедельник – он бездельник,  
День я пролежала-а...  
А во вторник-междворник  
Сто снопов нажала-а...  
Уж я в среду возила.  
В четверг молотила-а...

---

394 *Рель* – виселица об одном столбе.

395 ...*город татарской*... – Увек, существовавший в Поволжье во времена Золотой Орды (XIII—XV вв.). Сохранилось городище с кладбищем и следами окраинных построек и мастерских.

Во субботу мерила,  
В барыши не верила-а!  
В воскресенье продала,  
Все до гроша пропила-а,  
Зелено вино пила,  
Буду еще пить.  
Била мужа старого,  
Буду еще бить!

Растопырив дерюжинный кафтан, держа руки сзади под кафтаном, рыжий мужик похвалил домрачей:

– Вот это ладная песня! Только в одном лжет старой, что баба била мужа.

Проплыли село Мордово. Через шесть верст караван встал близ горы Ахматовой на отдых. Все собрались в кружок на носу, кто сел на чурбан, а кто и прямо на палубу. Наум сказал:

– Вдали опять рели чернеют, все атамана Разина работнички.

Рыжий, сидя на чурбане, расправляя заскочившую кверху красную рубаху, косясь на виселицы, покрестился, ответил Науму:

– А ты, кашевар, не гляди, а гряди и не суди; висят – значит, отработали. Скажи, о горе этой што слышал?

– Слышал, хозяин, я от стариков, был на горе город татарской, хан Ахмат сидел в ем, промышлял разбоем. Юрьи-двое их, воеводы, клятой Борятинской да Долгорукой с Казани, – тут нынче кровью землю поливают, мекают, красной мак произрастет. Перевешали на релях народную волю, а то много на сей горе удалых хоронилось.

– Пушай лучше домрачей сказку скажет, а ты пожди! Эй, песельник! Играть не хошь, солги чего, мы послушаем.

Домрачей сел, подогнул под себя ступни:

– Ну, так чуйте! Жил богатей, – заговорил старик хриповатым голосом.

– Немало их! Примерно, наш Васька Шорин, гость, на Камереке все пристани за ним, – подтвердил рыжий.

– Богатей, браты, и едва лишь на небе заря проглянет, а на дворе богатея бой, крик и плач идет! Воют кабальные люди, бьют их слуги богатея по ногам палками.

– Тоже, я смыслю, не веселая будет твоя сказка, – вставил слово рыжий.

– Чур, не мешать! Он же, богатей, поглаживая бороду, с крыльца глас испушает: «Робята, бейте их, да с ног не сбивайте, лентяев немало, собьете с ног – ляжет, платить не будет и работать тоже».

– Хитрой, вишь!

– Худо спит богатей! Снятся вору – в окно лезут, а раз, браты мои, пришла сама Скалзубка – смерть, значит. Молвила: «Много ты народу обидел, да не подумал, что скоро приду, вытряхну из тебя душу, как пыль из мешка!»

Спужался Скалзубки богатей и до свету рано пошел к баальнице, дал ей денег много ли мало и сон поведал.

Баальница отыскала ему корешок да наказала: «Сунь корешок в калиту спереди и в лес поди заповедной, а выстанет тот лес перед тобой, как пойдешь... поди зимой, ночью, когда падера снег вьет по сугробам. Корешок тебе путь укажет, а в лесу выстанет поляна, на ней негла<sup>396</sup> стоит, а под неглой ключ бьет. У ключа сторож, и ты того сторожа сговори да испей той воды – и смерти тогда не бойся». Избрал богатей вьюжную ночь, повязал калиту с корешком. Как повязал, то и лес увидал и тропу в него. Лес сумрачной, филин кричит, волки воют, дрожит богатей– зверя боится, а сам пуший зверь!

Все слушали молча, только Сенька побил кресалом на трут и закурил да рыжий, отмахиваясь от табачного дыма, ворчал:

– И где ты, парень, проклятую табун-траву берешь?

– Звезды над лесом будто лампадки от ветра мотаются, зыряют и светят пуще месяца. Наглядел поляну богатей и неглу, в небо сучьями уперлась, а у матки тоя деревины, хребтом привалась, стоит великан великий. В десной руке шелепуга с рост человека. Сам весь синей от ночного снегу, в бороде до коленей ледяные сосули на ветру позванивают. У ног великана великого из огня меледит серебром ручеек и в снег уходит...

– Не сварить ли, спаси Микола, нам каши, – сказал Наум, – вишь, побасень долгая, поди все есть захотели?

Сказочник замолчал, пережидая, что другие скажут, но никто Науму не ответил.

– Воззрился богатей на великана великого и увидал: очи ти стража воды живой замкнуты-темной он. Тут богатей окорач встал да ползью ползти удумал: «Изопью-де воды живой, не узрит». А великан ему шелепугой путь заломил и возговорил тако: «Вода моя от смерти пасет, едино лишь пить ее тому человеку, кой мозоли на руках имет. Тем, у кого пясть в мозолях от зепи с золотом, таковым воду мою пить не можно – утроба каменеет. Дай твою пясть шупать, каков ты есте человек?»

Спужался богатей, побег из лесу к дороге и корешок кинул, а как кинул путевой корень, тут ему и лес заповедной невидим стал.

– Скаредная твоя сказка, старик! – сказал рыжий. – Нам, мизинным людям<sup>397</sup>, без богатеев и робить нечего...

– Купил я, хозяин, даром и продаю, паси богородица, ни за грош... не нравитца кому, тот не слушает!

– Эй, Наум, дедко, вари кашу– едим да спим!

Утром погребли рано, а по берегу рели, и на них по два, по три разинца повешены...

– Обрадовались дьявола! Русь повесят – на калмыках пахать будут, – проворчал домрачей и, настроив домру, хриповатым голосом запел:

Недолго калики думу думали,  
Пошли ко городу ко Киеву.  
А и будут в городе Киеве,  
Среди двора княженецкого.  
Клюки-посоха в землю потыкали,  
А и сумочки исповесили,  
Да подсумочья рыта бархата,  
Скричат калики зычным голосом —  
С теремов верхи повалилися,  
А с горниц охлопья попадали,  
В погребах питья всколебалися.  
Становились калики во единый круг...

Не доезжая Камышина пяти верст, караван, идущий близко берега, обогнал богатый струг. На мачте развевался флаг с образом Спаса. Палуба с кормы до половины струга была покрыта яркими коврами. Края ковров свешивались за борта струга. В гребях сидели стрельцы, по бортам стояли стрельцы в кафтанах мясного цвета приказа головы Александра.

На корме, в глубоком кресле с тростью в руке, сидел, видимо, воевода, в малиновом бархатном кафтане, в шапке шлыком, на бархатном красном шлыке шапки белели жемчуга. Воевода что-то сказал негромко, гребцы подняли весла. Струг придвинулся ближе к идущим

---

<sup>397</sup> Мизинные люди – беднота.

насадам.

Стрелецкий сотник помахал вынудой сверкнувшей на солнце саблей и крикнул головному насаду:

– Куда-а? Чьи люди-и?!

Рыжий мужик, наскоро запахнув кафтан, сняв шапку, ответил:

– Тарханные, служилой, московского гостя Василья Шорина с рыба села наемные-е!

– Куда-а и с чем?!

– В Астрахань, служи-ло-ой, за государевой царевой и великого князя Алексея Михайловича ры-бо-й!

– До-о-бро! Плавь-те-е!

Гребцы на струге опустили весла, и струг опять быстро поплыл.

– Зримо, на смену Милославскому боярину? Тот плыл мимо Саратова на многих стругах со стрельцы, песни играли весело, а этот, вишь, молчит, должно Борятинской... – сказал старик Наум.

– Глазами туп стал? – ответил рыжий, снова распахивая кафтан, и, надевая шапку, прибавил: – Начальника Разбойного приказа не узнал – наместника Костромского.

– Ужли Одоевский князь?

– Ен! Яков Микитич. Скуластой и долгой, по жидкой бороде вижу. Эй, на-д-дай, това-ры-щи-и!

У Камышенки остоялись. На берегу торчало шесть релей, повешено двенадцать разинцев.

– Навстрет мне все батьки-атамана работнички! Спасибо и то им не скажешь... – сказал домрачей.

– Прощай и с такими словами убирайся в лодку! – крикнул рыжий.

– Ухожу! Тебя-то, лисый, не жаль кинуть, а вот обчего сынка обнять надо. Прости-ко, Гришенька. – Старик обнял Сеньку.

– Прощай, дедушко. Видаться ли?

– Где уж, сынок! Путь наш один, да расстаней много. Наум, привычно закинув бороду на плечо, поцеловал уходившего:

– Не поминай, спаси Микола, лихом! Звал иножды козлом, забудь, то не от сердца было...

– Прости, Наумушко. Пути розны, а то бы еще почудасили. Рыжему старик поклонился, сказал:

– Спасибо, хозяин, за корм и плавь!

– Поди с богом.

Домрачей, сняв с лысой головы баранью шапку, помахал ею судовым ярыгам.

– Работнички, прощайте!

– Про-ща-а-й, деду-шко-о! – закричали ярыги ближние и дальные.

Старик, взяв с палубы под мышку домру, спустился в лодку.

– Разбойной, зрю я, старец был, – вздохнул рыжий.

Летом 1671 года царя несказанно обрадовали матерые низовики-донцы – атаман Корнило Яковлев с товарищи. Они, как драгоценную кладь, привезли в Москву на земской двор царскую грозу – Разина. После казни «друга гольтьбы» царь стал крепче спать. К нему теперь ежедневно шли грамоты от главных воевод Юрия Борятинского и Долгорукого. Тот и другой, не сговариваясь, менялись местами по Волге и за Волгой. То с правой стороны один, то с левой другой, и обратно, смотря ио сакмам<sup>398</sup> – куда прошли преследуемые ими мужики, холопы и посадские гилевщики.

Как один, так и другой Юрий поочередно доходили почти до Уральских гор, а на запад и юг до Бела-города, где сидел Григорий князь Ромодановский. Дальше воеводы

---

398 *Сакмы* – воинские дороги.

Ромодановского не шли – им было указано: «В чужие дела не вступаться». Воеводы Борятинской и Долгорукой, а также подручные им стрелецкие головы разбивали бунтовские засеки, жгли деревни ушедших на гиль мужиков, равняли с землей становища татар и немирных калмыков, гнали мордву и чувашей, четверговали, вешали, сажали на кол. Царь знал, читая утешные грамоты воевод: «Не один-де Арзамас и Нижний Ломов, а многие города текут не по один день кровяными ручьями».

Царь и без воевод понимал, что после казни Разина те заводчики бунтов, по подговору которых мужики садятся в засеку, будут переловлены, пожар бунтовской зальется кровью, а крыша бунтов на его глазах по его приговору рухнула. Знал царь и то, что воеводы, творя его царскую волю «жесточи несказанной», спасают от беды его трон и свою боярскую власть над народом. Царь улыбался и думал: «Они заставят мужика пахать, платить налоги, а инородцев собирать на меня ясак».

Да, гроза прошла!

Царская радость возросла всячески. У царя родился сын Петр Алексеевич.

По городам, целым и разоренным, по монастырям погнали скоро «жильцы» объявлять о царской радости да петь молебны. Милославская Марья Ильинична умерла в 1669 году, а вместе с ней и царевич Симеон. Умер Алексей, Федор с самого рождения болел цингой, Иван Алексеевич был скуден разумом, его втихомолку прозвали слепым: он не был слеп, но веки закрывали глаза. Не шли в пользу царю обильные кормы. Царь не унывал, упивался, объедался и «ходил» – ездил часто на богомолье. «В 1673 году одиннадцатого сентября был у государя стол по Грановитой палате, а ели у государя царевичи: «Касимовской царевич Василий Арасланович, Сибирские царевичи Петр да Алексей, да власти митрополичьи – всего семь человек, а у стола были бояре и окольнічий и думные люди, все без мест. Полковники и головы московских стрельцов, да войска запорожского гетмана Ивана Самойловича<sup>399</sup> два сына».

В том же 1673 году «декабря в 31 день пришли к великому государю, к Москве, Свейского короля великие и полномочные послы: Граф Густав Оксенстерн, думной Ганс Эндрих фон Тизенгаузен, земской думной Готфарт Яган фон Будберхт. А встреча была послам за городом, за Тверскими вороты за Тонною слободою; а на выезде, по указу В. Г., были против Свейских послов ближние люди и стольники, и стряпчие, и дворяне московские. А в сотнях у голов знамен государевых не было, ехали со своими значками. А послы сидели в карете. А шли послы Тверскою улицею в Неглиненские ворота, Красною площадью и Ильинским крестцом и в Ильинские ворота, Покровскою улицею на Посольский двор, что был двор немчина Давыда. А как шли послы в Неглиненские ворота, и в то время послов на Неглиненских воротех изволил смотреть великий государь, царь Алексей Михайлович».

Смотря послов, царь простудился, а послам надо было дать пир, и послы ели у царя в той же Грановитой палате. Царь принимал от послов поздравления и сам их поздравлял, много пил, а после того пира слег, так как всегда отекал ногами, – теперь же отек гораздо.

Весной, когда миновала большая вода, к царю пригнал с Терков князь Петр Семенович Прозоровский.

– Пошто, князь и воевода, без указу государева пожаловал? Великий государь недужен, – сказал воеводе думный дьяк Дохтуров. Думный дьяк был при царе для неотложных дел и отписок.

– Нужа великая, дьяче, повлекла – на воеводстве товарищи сидят, а великому государю скажу «слово и дело».

Дохтуров осведомил царя, и царь ответил:

– Ослушниками чинятца воеводы – и этот пригнал без указу, но прими. Принимал в

---

<sup>399</sup> Иван Самойлович Самойлович (ум. в 1690 г.) – гетман Левобережной Украины с 1672 по 1687 г. Вел длительную борьбу с гетманом Правобережной Украины ставленником Турции П. Дорошенко. С 1674 г. гетман и Правобережной Украины. В 1687 г. обвинен в измене Мазепой, арестован и сослан в Тобольск, где и умер.

ложнице Ромодановского, князю Петру хватит чести и места. Ты, дьяче, будь близ, надобен станешь – позову.

Воевода терский, князь Петр, от ужасов астраханских, близких Теркам, и от удалства есаулов атамана Разина и теперешних недавних, Васьки Уса с товарищи, совсем потерял воеводский вид: он казался сухоньким, русым, с проседью, мужичком лет за полсотни, только золотный кафтан, не по плечу просторный, да шапка с куньим околышем, глубоко сидящая на голове, показывали, что не простой это человек.

Войдя к царю, князь Петр шапку держал в руке, а посоха у воеводы не было. Зеленые чедыги на каблуках стоптаны, один каблук стучал, другой шаркал.

Князь, войдя, помолился многим образам царской «спальной»; перестав мотаться перед образами, поклонился земно государевой кровати, где царь на взбитых подушках, лежа спиной, укрывал тучное тело золотистым бархатным одеялом. Царь, равнодушный к поклонам, ждал, когда заговорит князь, но воевода, отбив поклон, разогнулся, тоскливым голосом пожелав многолетия царю, встал и замолчал.

– Коли пригнал без указа – садись, князь Петр, только так, чтоб тебя видно было.

Неловко цепляясь за скамью, обитую бархатом, воевода сел.

– Гляжу на тебя, князь Петр, и кажется мне, – хоть вид у тебя не боевой, но будто ты в дороге боярина какого ободрал?

– Такой порухи за мной, великий государь, не бывало.

– Знаю, но огляди себя! Кафтанишко с чужого плеча, правда зарбафной, сапоги – на богомолье ходить, и то в дальний путь не годятца. Шапка, я чай, как накроешься, до низу носа сядет. – Царь улыбнулся.

Воевода осмелел, и на лице его метнулось в глазах и губах скупое со злым вперемешку:

– Не я шарпал, великий государь, меня шарпали, челом буду бить о рухледи...

Воевода, встав, поклонился.

– Челобитье мог бы переслать! Говори «слово», ради которого пригнал без указа. – Лицо царя стало хмурым, голос звучал сурово. Воевода, снова встав, поклонился царю, торопливо заговорил, часто моргая белесыми глазами.

– Сижу я – не далеко место от Астрахани, слух ко мне идет, как колокольный звон по воде. Слух тот испытывал я через товарищей своих, – не прогневишь на меня, великий государь, слушая.

– Говори смело! Всякий слух о затеях моих супостатов мне угоден.

– Милославского Ивана Богданыча<sup>400</sup> послал ты, великий государь, брать Астрахань, и он в нее вошел.

– О том ведаю!

– Так вот, великий государь, Иван Богданович чинил расправу над изменниками не ладно. Пущих воров и бунтовщиков, заводчиков кровей великих, принял в свой двор и головам стрелецким и иным указал принимать их и кабалу на них брать.

– То, о чем говоришь, князь Петр, мне было слышно, но доподлинно неведомо, нынче направил я сменить Милославского, а на смену ему послал Одоевского князь Якова.

– Среди иных воров во дворе Ивана Богдановича кроетца такой убоец православных христиан, как Федька, поповский сын. Сам поп Здвиженский у Стеньки Разина, вора, был и его знамена и литавры воровские кропил святой водой... И те есть у него во дворе, кто убивал преосвященного Иосифа<sup>401</sup> митрополита.

– Да... воровство великое! Боярин стал становщиком... Добро! Пошлем туда указ. Ну

---

<sup>400</sup> Милославский Иван Богданович – один из родственников царицы, боярин, воевода. Был осажден войсками Разина в Симбирске, в 1671 г. был назначен наместником в Астрахани.

<sup>401</sup> Иосиф (1598—1671) – митрополит Астраханский и Терский, после взятия Разиным Астрахани был оставлен в живых, но после поражения разинцев под Симбирском стал агитировать восставших подчиниться московскому правительству, за что по решению казачьего круга был казнен.

твое челобитье, князь, где?

Воевода встал и, наклонясь, уронив шапку на пол, рылся в пазухе нижнего полукафтаныя.

– Списано у меня... где оно завалилось?

– Пожди искать бумагу! Зови, князь Петр, дьяка, – сказал громко царь. На голос царя без зова воеводы вошел дьяк. – Герасим, прими от князя челобитье, чти, о чем он бьет челом.

– Вот, нашел! – Воевода подал челобитье, дьяк, встав сзади князя Петра, читал:

– *«Великому...»*

– Отмени величанье имени моего, чти, о чем просит!

– *«Роспись животам стольника и воеводы Петра Семеновича Прозоровского, что взяли у него воры, есаулы Васьки Уса: Васька Кабан, Стенька Шибанов, Калинка Кормицик, Васька Онбарев, Митька Каменной:*

*Орчак черкасское дело – сафьянной.*

*Буздуган<sup>402</sup> железной, оправной.*

*Сабля булатная.*

*Лук и два гнезда стрел.*

*Ожерелье жемчужное, пристежное.*

*Ожерелье жемчужное, женское.*

*Бархат персицкой, серебряной.*

*Колпак отласной, шит золотом.*

*Кафтан турецкой, обьяринной.*

*Часы боевые, зепные<sup>403</sup>, золоченые.*

*Всего на четыреста сорок шесть рублей».*

Воевода снова земно поклонился царю.

– Не все тут исписано, великий государь, я чай, вполю не исписано, а думал, токо сыщут воров на Астрахани, у пытки скажут мое достальное.

– Думаю я вот как, князь Петр! Племянник твой Петр Иванович бил ко мне челом и в своей челобитной указывал, что животы его отца, Ивана Семеновича, коего Разин спихнул с раската, пограблены Васькой Усом. Васька Ус умер: «А моиде животы нынче за его женкой Оленкой, и когда-де ее приведут в Приказную палату, она-де скажет все». Думаю, князь Петр, и твои животы у той Васькиной Оленки сыщутся. Поезжай на Терк немешкатно, а за извет на Милославского боярина Ивана – спасибо!

– Многолетия великому государю желаю!

Воевода еще раз поклонился земно; кланяясь, прихватил оброненную шапку свою; встав, помолился образам и вышел. Царь сказал:

– Совсем как в мале ума князь! Какой это воевода? Надо направить на Терки Каркадинова.

Дьяк молчал, почтительно склонив голову; царь приказал: – Пиши, Герасим, в Астрахань князю и воеводе Одоевскому указ, чтоб допросил он боярина Ивана Богдановича, прежнего воеводу, полито он стал становщиком воров и разбойников астраханских.

В Астрахани Белый город перед кремлем, а в нем гостиный русский двор с анбарами разных чинов торговых людей. Построен русский двор тридцатью русскими купцами. По сказке дьяков: «Они, купцы, в тех анбарах и торгуют», да еще прибавлено по писцовым книгам: «Строенье торговых людей на гостине русском дворе – в анбарах из тридцати двенадцать мест пустых анбарных. Еще две избы, меж ими сени да две караульни, и то все строение избное государевы казны». Еще в том дворе значится: «Полатка каменная

---

<sup>402</sup> *Буздуган* – булава. *Оправный* – украшенный золочеными узорами.

<sup>403</sup> *Боевые, зепные* – карманные, с боем.

астраханского гостя Григорья Микитникова<sup>404</sup> да к ней восемь дворов всяких чинов людей и богадельня – живут в ней нищие и убогие люди».

В атаманство Васьки Уса гостинный русский двор считался заповедным, его не грабили, так как жена Васьки Уса имела тут «анбар торговый».

Перед Астраханью, закинув, как всегда, седую бороду на плечо, уходя с насада, Наум, обнимая Сеньку, плакал:

– Дитяtko, сынок Григорюшко! Спаси, Микола, ожились мы, срослись сердцами, а нынче вот живое от живого отдирать приходится... боль слезная, да што делать! Прости-ко!

Они поцеловались.

– Больше, сынок, на низком месте у Лысой горы в Саратов не бывать мне! У дочки останусь!...

– Прощай, дедушко! То житье с тобой век не забуду, – сказал Сенька.

Рыжий, слушая их, прибавил от себя:

– Всяко бывает... случится, и свидитесь, а нам вот на гостии двор поспевать надо в Астрахань!

Наум, взяв свой сундучок с рухлядью, высадился и побрел в Слободу, а насады припихались к Астрахани, встали близ Болды-реки.

Всех ярыг рыжий мужик, начальник каравана, а также и Сеньку привел в гостинный двор в избу, сказал дворнику-татарину, который глядел и за избой и за анбарами; – То мои работники! Пущай в избах живут, избы пусты...

– Якши! Акча барбыс?

– Если и нет денег, то будут! Платить тебе станем...

– Якши, якши!

Было жарко, солнечно. От легкого ветра крутилась в воздухе едкая, серая пыль. По городу сильно воняло соленой рыбой, а в закоулке, куда заглядывал Сенька с затаенной мыслью встретить Чикмаза, лежали пригребенные к заборам кучи мусора и нечистот. Тут же, почти на каждом дворе, были протянуты бечевки с нанизанной на них рыбой. Тучи жирных мух с нечистот и обратно садились на рыбу, но отлетали с шумом – рыба была натерта солью. Сенька знал, что спрашивать о Чикмазе опасно. Вместе с атаманом Васькой Усом Гришка Чикмаз немало срубил дворянских голов. На площади у Пречистенских ворот, недалеко от Бела-города, Сенька зашел в харчевой шалаш; отмахиваясь от мух, сел к столу, заказал еды. Он ждал, глядел в узкое окно без стекла на площадь, слыша треск дерева. Шел ряд стрельцов – человек десять. Стрельцы ломали на площади лари и торговые скамьи; сломав, иногда шутили:

– Этим местом печь топить!

– Гой-да! Принимаись!

Хозяин харчевого шалаша, смуглый, черноволосый и потный, утирая лицо грязным фартуком, ставя Сеньке еду, ворчал, не чисто выговаривая:

– Милославку хароши, лубил нас... Одоевски рушит и нас кушит – абаси берет, а не торгуй...

Сенька догадался, что по примеру Москвы в Астрахани чистят площадь.

В шалаше было тесно от народа, скамьи и столы уставили все проходы.

На столах кто ел, а иные и водку пили, закусывая вяленою рыбой. Водку тянули из горлышка посуды. Хозяин ковшей не давал, оттого что кабацкими головами в харчевых запрещалось пить водку.

Неожиданно Сеньку толкнули в спину, он услышал над головой знакомый голос:

– Схоже как медведь! Тот, коли ест, так ничего не зрит и не слышит.

За Сенькин стол, раздвигая скамьи, пролез и сел Кирилка.

– Здорово, Большой! – старовер подал руку.

---

<sup>404</sup> Григорий Микитников – Никитников, московский гость, крупнейший купец 60—70-х годов XVII в.



– Как поживает мой брат Маленькой?

– Ништо! Нищему и под сумой тепло.

– Давно ли кочуешь в Астрахани?

Кирилка оглянувшись, пригнувшись к Сеньке, заговорил тихо:

– С тех ден, как никониянина Оську, митрополита здешнего, царского богомольца, с раската пихнули... – и еще тише прибавил:– Как Васька Ус от худой болести извелся, рухнул, то и разинщина в урон пошла. Началась измена, шли с города на вылазку, людей, зрю, идет с четь... остатние в городе сидят. Мы тогда клязьбу взяли со всех – грамоту, кровью подписанную, сладили: «Стоять всем астраханским и донским козакам противу изменников бояр, побивать их, а город боярам не сдавать». Да сошлось не по-нашему. Астраханцы изменники засов у ворот сбили и Милославского завели с крестами да образами. Тьфу! – Кирилка плюнул.

– Худо вышло... несговорно, что теперь умыслил?

– Надо поспешать, брат, в Соловки, постоять за старую веру!

– Не знаешь ли, где Чикмаз?

– Знаю, в Слободе живет.

– Чикмаз, Кирилл, горы знает, сговорим его – уйдем к лезгинам... В горах народ вольной, царю непослушной.

– Бусурманы! Псы! К своим хочу, веру спасать!

– Опаси голову – вера потом.

– Вера мне дороже головы. Стой! Чего ты ешь без питья? – Кирилка из пазухи выволок стклянку. – Тяни горлом, ковшей не дают, пей – я после.

Сенька потянул из посуды, остаток водки передал старOVERу. Кирилка допил, передохнув, заговорил:

– Путь далек, как содти? По берегам имают. Степью бежать – пропадешь...

– Сговорю Чикмаза, и ежели в горы пойдет, то я с ним, а тебя замест себя пихать насад до Ярослава. Скажу – возьмут.

– Вот бы добро!

– Приходи, Кирилл, к нам на гостиный двор, тут близ, будешь спать в избе.

Кирилка покачал большой головой на длинной шее.

– Не, Семен! В избах глаза – сонного, гляди, заберут, как куря. За Астраханью на учугах, в камышах – место широко!

– Комары, мухи... какой там сон!

– Муха не клещи палача... крови пьет мало, а те укусят – грабонешь по боку, ребра нет.

Они пошли городом. На перекрестках улиц висели крупные писанные воззвания:

*«От великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, Самодержца всея России, ко всем астраханским татаровьям и тем, кои кочуют близ Астрахани, указ:*

*В 1672 году наш большой боярин Григорий Сенчулевич Черкасской отпущен был нами, В. Г., по его челобитью, в подмосковные свои вотчины, и октября с 14 на 15 числом учинилось известно, что князя и боярина Григория под его селом Саврасовым в недоезде убили насмерть боярские дворовые татаровья Батыриша с товарищи. Пожитки князя и его лошадей захватив, побежали. И ныне, ведомо нам, В; Г., что те воры побежали в крымские и ногайские улусы, а тебе бы, воеводе боярину князю Якову Никитичу Одоевскому, приказать от нас, В. Г., тех убийцов Батыришу с товарищи, всего тринадцать человек, изловить и прислать к Москве, за поимку убийцов обнадежить поимщиков и сыщиков нашим, В. Г., жалованием, а дано им будет золотых тысяча или две».*

Сенька читал написанное вслух, кругом люди разных чинов и простые говорили:

– Степи широки!

– Поди-ко, возьми их голыми руками!

– Вот берись! Царские очи увидишь и золота пригоршни получишь, – сказал Сенька Кирилке, когда они пошли дальше.

– Тьфу, сатана! Убили одного царского шепотника, и то добро!

Они прошли до задней стены Астрахани, вышли в средние ворота. Отойдя подальше от караульных стрельцов, Кирилка показал Сеньке на Слободу.

– Посередке Слободы... иди по шуйце стороне, третий двор, в глуби двора хатка, и в ней Ивашко Чикмаз.

– Он же Гришка?

– У атамана был Гришкой, а нынче Ивашко.

– Пойдем вместе к нему?

– Нет, брат Семен! Лишний раз на глаза пасть астраханцу не хорошо...

– На пытку возьмут – оговорит?

– Да... так! Они расстались.

В кремле зазвонили к вечерне. Сенька отыскал Чикмаза.

Чикмаз жил в маленькой хатке, в конце пустынного двора у тына. В тыне заметны были воротца, выходявшие в узкий переулок. В хате, куда, сгибаясь, вошел Сенька, в большом сумрачном углу, под зажженной лампадой, Чикмаз сидел за столом, на столе – ендова водки. Чикмаз черпал малым ковшиком из ендовы, пил и закусывал. сушеной рыбой, закуска потрескивала на крепких зубах разница.

Тут же у стола возились два малыша русских, лет трех. Они поочередно залезали на колени к Чикмазу, теребили его сивую пышную бороду. Чикмаз не мешал ребятишкам возиться с бородой. Он был хмур и хмелен: видимо, какая-та упорная дума гнездилась в голове бывшего есаула. Кроме малышей и мух, в избе никого не было, но в хате чисто вымыто, и на полу лежали тканые половики.

К одному из сумрачных окошек были в угол придвинуты широкие скамьи, на них два бумажника, а сверху перина, покрытая синей набойкой. Много подушек в голубых наволочках, на двух низких окнах запоны, тоже синие набойчатые. Над головой Чикмаза образ Спаса на красках, с басмой по краям, и венец на образе серебряный, лампада медная на цепочках.

Сенька, пригнувшись, постоял у порога, оглядывая жильё Чикмаза.

– Кой есть человек ты? – мрачно глянув, спросил Чикмаз.

– Ближний твой – у атамана на Яике вместе были... – сказал Сенька.

– Дальше што?

– Забыл? Напомню – перед его уходом в Кизылбаши.

– Садись! Пью я – пей ты. Сенька шагнул ближе, сел.

– Разин называл тебя Григорьем, я тоже Григорий.

– Ш-ш-ш, гость! Об атамане слов не надо! – Чикмаз вынул из ящика стола ковш. Из большой ендовы черпая для Сеньки водку, продолжал: – Быто – пито, булатной иглой много шито, а ныне забыто.

– Забыты худые, смиренные, слезно-покорные; я и ты, Григорий, не таковы – мы на чет вписаны дьяками Разбойного приказа.

– Григорья кинь! Иван я – не Григорей... а таже каркать брось.

Он пошевелил мокрыми усами, видимо желая улыбнуться, понизив голос, прибавил, подымая ковшик с водкой:

– Пей! Мы хитрее... Сенька молчал, пил, выжидая.

– Нас боярин Иван Богданович шапкой-невидимкой кроет да думной дьяк Ларивон Иванов... во, хто! Посулы им за ту шапку: боярину дано, от Фефилки Колокольника шапка лисья, горлатная да перстень с камнем. От Митьки Яранца принят пансырь, юшлан – пластины наведены золотом. Ивашка Красуля саблю дал оправную с большим камением, князь Семена Льво ва – шубу, камкой крыту, соболью. От меня дано – скажу потом! Записаны мы под того царского родственника Милославского боярина в вечные холопы и к ему во двор в «деловые люди». Много нас! Иные боярином уж в работу посланы по вотчинам. Я поручусь, Гришка, и ты впишись, а нынче не думай, пей!

– Пьем, Иван! – они чокнулись. Сенька подумал, ответил:

– Ведомо тебе, боярин нам и малой обиды не простит... ты же чинил им великую –

головы рубил.

– Быто – булатной иглой шито!

Сенька встал, потому что он долго и трудно думал, по привычке давней; когда он был в затруднении, ставил правую ногу на скамью, упирал локтем в колено, а пястью руки в подбородок, глядел всегда в окно, будто в нем хоронились его мысли. Теперь встал так и заговорил.

– Дела наши, Иван, сам знаешь, в правде атамановой, а та правда прямая: смерть боярам! Так и Степан Тимофеевич думал и... знать мы должны ежедневно – от бояр нам, кроме жесточи, искать нечего!

– Сними копыто со скамьи! Сядь и пей.

Сенька сел, выпил, погрыз жесткую рыбу, заговорил снова:

– Пришел я к тебе, Иван, за великим делом: прошу тебя, уйдем в горы к вольным кумыкам или лезгинам. С гор видно далеко, увидим, как дальше служить правде атамановой.

– Поди, не держу, коли мне не веришь! Пьем еще.

– Выпьем, Иван! Тебе я верю. Не верил, то и не искал бы тебя, но боярину, будь он того добрее, – не верю!

Вечернее солнце красными пятнами, неведомо откуда прокравшись, упало на полу и на стенах у кровати. Ребятишки полезли на кровать ловить солнце, но оно скоро исчезло, а ребятишки, обнявшись, растянулись на кровати и, повозясь немного, уснули. Чикмаз молча пил, и Сенька молчал. Медленно выпив свой ковш, Чикмаз одной рукой обтер усы, другой, длинной и могучей, повел в сторону кровати:

– Видишь?

– Ребят? Вижу!

– С ними я радость познал, с этой радостью не расстанусь вовек!... Лгать не люблю! Говоришь верно – в горах, как нынче татарина Батыршу в степях ищут – черт найдет... Но в горы я не пойду – огруз! Путь обскажу, иди один.

– Нет, Иван! Без тебя идти – погибнуть дело прямое...

– Пьем, а я не пойду! Диво – не огадился, а женился – обабился, сажу и сидеть буду, аки в крепости. Куда мне от них? Душа изноет – и радости конец!

Сенька встал.

– Сиди! Свой ты.

– Дай руку, Иван!

– Не сидишь? Прощай!

– Да, прощай! Помни, Иван Чикмаз, пока бояра живы да род их подпирает царя, висеть тебе на дыбе и не видать радости в детях! Не видать и жены, которую познал и полюбил. Не идешь со мной – берегись, пойдешь на дыбу!

– Уйди, ворон окаянной, не каркай! – закричал Чикмаз, вскочил за столом и изо всей силы ударил кулаком в стол. На столе расплескалась водка, ковши упали на пол. Дети проснулись, заплакали.

– Я тебя не боюсь, а ребят напрасно пугаешь! – сказал Сенька, шагнув к порогу.

– Уйди, сатана! – ревел Чикмаз. – Ежели я на дыбе буду – приходи тогда, не бойсь, не оговорю-у!

– Приду! – ответил гулящий и ушел.

В кремле, против Троицкого монастыря, в воеводском доме, после смещенного Милославского сидел воевода князь Яков Никитич Одоевский. Было темно в Астрахани и душно. В воеводской верхней горнице запахнуты окна, в окнах на рамах натянута бумажная сатынь<sup>405</sup> замест запон, оттого что одолевали комары.

На столе перед воеводой, на ковровой скатерти горели, оплывая салом, четыре свечи. В глубоких поддонах шандалов сало, оплывая, воняло и не стыло, воевода не замечал запаха,

---

<sup>405</sup> *Сатынь* – бумажная ткань лоснящаяся, но была и домотканая, матовая, редкослойная.

не замечал и слуги, тихо шагавшего по коврам. Слуга время от времени съемцами снимал нагар свечей. На изрубленной саблей стене, с отвороченными кусками обивки голубого бархата, поблескивал серебряный шарик с шипами воеводского буздугана, а рядом блестела золоченая рукоять сабли князя. Воевода сидел перед развернутой книгой<sup>406</sup>. Толстые листы книги бесшумно ложились вперед, назад, но воевода остановил свой взгляд на странице, где стояло писанное крупно дьяками:

«Глава вторая. О государственной чести и как его государственное здоровье оберегать!»

Одоевский вздохнул, сказал про себя: «Вот, Иван Богданыч, тут тебе петля сказана, ежели ты словами приятеля не вразумишься».

Воевода закрыл книгу, разогнулся, провел рукой по черным волосам с малой проседью, без надобности отряхнул жидкую недлинную бороду. Костлявой рукой взял колоколец, стоявший близ, позвонил.

Вошел тот же слуга.

– Тихон, справь братину с романеей да с поварни чего принеси, – устало приказал воевода.

– Сполним, князь Яков Микитич!

Так же неслышно вошли в горницу четверо слуг – один перовой метелкой опахнул ковровую скатерть, другой постлал, не касаясь книги, белую хамовую скатерку, третий поставил серебряную братину с вином и большой кубок. Четвертый снял нагар со свечей.

– Кубок поставьте еще.

– Слышим, князь!

– Когда приедет прежний воевода, его коня заведите в конюшню – на дворе муха ест.

– Исполним...

Милославский, войдя в горницу, помолился темным образам иконостаса, поставил у дверей гибкую трость – она ему служила и плетью, – поклонился Одоевскому низко, но не трогая пальцами пола. Колпак красного бархата, сплошь сверкавший малым камением, из руки не выпускал, пока хозяин не сказал гостю:

– Садись, Иван Богданыч!

Тогда Милославский, небрежно сунув на лавку колпак, не сводя острых глаз с Одоевского, шагнул к столу и сел. Был он высок, сутуловат, усат и волосом черен.

– Благодарствую, Яков Никитич, как здоров воеводакнязь?

– Ништо, здоров... устал много. Вонь здешняя тоже тягостна. – Помолчал, прибавил: – Будем пить и о делах судить.

– Поговорим, князь Яков... поговорим.

Одоевский налил кубки, покосился к дверям – слуги стояли не шелохнувшись. Воевода махнул им рукой. Слуги ушли.

– Пей, Иван Богданыч, и я за твое здоровье выпью.

– За здоровье князя и воеводы!

– Закуси пряхенинки.

– Краше будет коврижкой заесть. Вижу, князь Яков Никитич, ты хозяин матерый на воеводстве.

– Как приметил?

– На стене буздуган турецкой, он и подобает истинному воеводе.

– Власть мою, боярин, без булавы знают, а кто не знает – будет знать! Жезл военачалия наш родовой, Одоевских, родителя Никиты благословение. Ну, пьем еще!

– С кем другим – с тобой, князь Яков, всегда готов и пить и жить. Позвал дружески, говорить буду по душе,

– Незачем лгать мне, князь Иван!

– Не лгу я, нет!

---

406 ...перед развернутой книгой. – Воевода читает «Соборное уложение» 1649 г.

– Лгешь, князь Иван Богданыч, потому, что есть у меня отписка головы московских стрельцов...

– Кая та отписка, князь Яков?

– Слово в слово не помню, а что удержалось в голове моей – скажу. В сводные воеводы ты со мной не пожелал идти?

– Не пожелал, князь Яков Никитич! Обида моя на то, что город взял я, а ты с товарищи присланы к расправным делам.

– Не от себя явились, по указу великого государя. Так вот скажу отписку: «Боярин и воевода князь Яков Одоевский приказал голове московских стрельцов Давыдку Баранчеву дело великого государя, и он, Давыдка, указу великого государя ослушался и приказу воеводы князя Одоевского не послушал же, сказал: „Слушать ему не велел того указу боярин Иван Богданович Милославский, а сказал ему: он-де того Федьку сего числа не пошлет, пошлет, когда увидит у боярина Одоевского статьи, которые присланы с Москвы“. И вот, боярин Иван Богданыч, буду я тебе мало честь из этой книги...

– «Уложение» государево?

– Да... Всякий воевода знает законы, но, зная, по своевольству заменяет иными. Ты служи себе сам, наливай, пей и кушай.

– А ты чти, боярин!

Одоевский раскрыл книгу, не громко, но внятно прочел:

– «Кто с недруги царского величества учнет дружитца и советными грамотами ссылатца и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом по его ссылке московским государством завладеть или кое дурно учинить, и про то на него кто известит и по тому извету сыщется про тое его измену допряма...»

– Это, князь Яков Никитич, до меня не идет.

– Я же думаю, Иван Богданыч, такое к тебе подходит. Милославский, потупясь, молча тянул вино, Одоевский продолжал:

– Были времена, когда ты, боярин, дружил мне, оберегал меня от наветов, теперь пришла пора сделать тебе добро.

– Спасибо, князь Яков!

– Сам знаешь, боярин, пошто спрашивать, кого ты укрыл в своем дворе и кого указал своим стрельцам и полковникам принять! Многих в кабалу вписали, разослали по вотчинам, и гляди – стены вопиют о их делах! Кто изрубил бархат булатом? Да те, кого ты и иные укрыли.

Милославский молчал. Молчал и воевода, закидывая застешки «Уложения» на переплет. Милославский, выпив вина, передохнул, обтер усы рукавом бархатного кафтана, заговорил:

– Правду скажу! Думал и делал с тем укрытым народом так. Русь избитая, обескровленная, разорена... Без рукодельных людей брошена. Какой прок в бобылях да пастухах? С такой Руси и поборов не искать, и нам, боярам, стать тощими, с нищими междудворниками живя.

– Не внятно, что думал ты, боярин, одно скажу – царям кровь не страшна, им за власть страшно. Оттого взятого на дыбу и не сысканного в воровстве приказано «краше убить, но не отпустить».

– Знаю я, князь Яков, тех, кого принял: народ грамотной, рукодельной, крепкой народ, такой может налоги платить.

– Да, верю! Но тот же народ с раската пихнул хозяина этих хором. Прозоровского кровь едва дождями смыло, туда же и они же Иосифа-митрополита сволокли. Царь указал, а мы, бояре, приговорили<sup>407</sup> – «Разина рассечь на куски», устрашая чернь, и много ли успели? В том же году, осенью, царского ближнего боярина Григория убили под Москвой

---

<sup>407</sup> Царь указал, а мы, бояре, приговорили – формула постановлений боярской думы.

его же холопи. С царским указом приехал я в Астрахань и тот указ объявил на площадях бирючами, потом и указ развесил на рощах, но Батыршу-убойца и по сей день не сыскали.

– К черкасскому Каспулату-князю посылал ли, боярин?

– Смерть Григория Каспулату радость. Григорий крещен, Каспулат мухамеданин, оба – родня, но враги, не едет искать.

– А люди Аюки Тайши?

– Тех не сговоришь и не поймешь, знаешь сам Иван Богданыч, как Юрий Борятинской да Долгорукой города кровью полощут – разинщину изводят, чернь устрашают. А вот прочту тебе челобитье дворян из-за Оки. Таких челобитий несть конца.

Из-под шелкового голубого опашня из каптурги с пояса воевода вынул мелко исписанный листок:

– «В. Г., бьют челом холопи твои заоцкие помещики и вотченники: люди наши крестьяня, заворовав и побив и пожегши многих нас, помещиков, бегают в малороссийские города и живут там за епископы и козаками в деревнях, городах и на посадах. Мы с твоим, В. Г., указом к ним туда ездили, а епископы и козаки беглых наших крестьян нам не выдают. По дорогам же нас грабят, а иных и побивают смертно. А те, беглые крестьяне, осмелев, что за рубежом украинным их боронят козаки – вертают к нам и наших остальных людей сговаривают к бегству с собой, скот у нас угоняют, нас же, в домах подперши, палят огнем и зорят вконец! Великий государь, смилуйся!» – прочел Одоевский и прибавил: – А государь и по сей день не ведает, что и как с тем чинить.

Милославский погладил усы, скользнув рукой по пышной бороде, хитро метнул глазами на воеводу:

– Ты, Яков Никитич, князь и воевода свой, ближний у государя, скажи – это с дворянами и теперь ведетца?

– По сей день так! Колыхнул окаянный крестопреступник Стенька Русью – идут круги.

– А так! То пять людей, правда, иные замараны, ничего не убавят и не прибавят...

Одоевский помолчал, выпил вина, усталым голосом заговорил:

– Зачем мне было трудиться, Богданыч, честь тебе «Уложение» и челобитье заоцких дворян? Думал – вразумится, ты же упорен, – знай, сбегут твои укрытые с Астрахани к кумыкам в горы, да и перская граница – рукой двинуть – оглянешься, и новые бунты от них.

– Клянутся они, боярин, не воровать!

– Боярская клятва ломаетца, ежели царь велит, а разбойничья – сказать в посмех. Теперь доведу последнее, оно тебя вразумит. Если бы не было в твоём деле поклепа, еще оно бы ништо.

– Уж и поклеп?!

– Не подумай на меня; хотя и обидел ты, не идя со мной в сводные воеводы, но не я на тебя доводчик. Думаю, Терской воевода Петр – он спешно на Москву угнал, а я получил указ.

– Указ?

– Указ по твоему делу с укрытыми.

– А можно тот указ, Яков Никитич, мне ведать?

– Ты, боярин, должен его ведать!

Воевода встал, прошел в угол к иконостасу Прозоровского с ободранными ризами, отодвинул образ Иоанна-крестителя, изза образа достал бумагу и вернулся к столу.

– Не буду читать от кого, то тебе и без меня внятно. Одоевский читал, Милославский, теребя бороду, сидел молча.

– «Гулящего человека Федьку Тихонова, сына Попова, взять в Приказную палату и расспросить накрепко: как они были в воровстве и кто с ними иные боярские люди в том же воровском заводе были и чьих дворов? И для чего они пошли во двор служить к боярину Ивану Богдановичу Милославскому и к иным и кто кроме их такие же воры служат у него или у иных у кого в Астрахани во дворах? И на кого скажут и тех людей взять и

расспрашивать и, расспрося и сыскав вины их, будут доведутца смерти, велеть вешать, будет не доведутца – прислать к Москве. А боярина и воеводу Ивана Богдановича и иных, к кому такие боярские люди пошли, допросить и взять у них сказки за руками, для чего они таких воров во двор к себе принимали: забыв великого государя прежние указы и не дождавсь на тех воров за их воровство великого государя указу?»

– Вот тут тебе, Иван Богданыч, «Уложение», статья вторая, или боярин и воевода будет ждать, когда возьмутся за его голову?

– Нет, князь Яков Никитич, не буду ждать, а как быть? Вижу поклеп, и от него не уйдешь...

Милославский побледнел, встал, поклонился воеводе:

– Пиши, Богданыч, отписку, ту отписку я с пытошными речами пошлю царю и припишу: «Воеводой Иваном Богдановичем Милославским переданных мне всех поголовно астраханских бунтовщиков буду допрашивать, а кто доведетца смерти – казнить!» Ты же, Богданыч, пиши царю свое: «Астраханских-де воров, В. Г., принял я в свой двор и другим велел принимать, не дожидаясь твоего, В. Г., указу потому, что место у нас широко – море и горы близ, а глядеть за ворами силы было мало, так чтоб не побегли куда, деля иных разбойных дел, а нынче отдаю на допрос и расправу».

– Теперь выпьем разъездную, садись! Потом поезжай и готовь отписку.

– Ух, тяжело, князь, рушить княжеское слово!

– А голову потерять легко? И не сговаривал бы я тебя, Богданыч, столь долго, ежели бы ты мне врагом был, ты бы заупрямился, а тут поклеп прямой и скорый.

– Спасибо, князь Яков Никитич!

– Пей! Вот так, и я. пью, потом спать. В утре пришлю к тебе стрелецкого голову Владимира Воробьина со стрельцы, а тот – кого направит в Приказную палату, иных прямо на Пожар к ларям на Болдинскую косу, будем с ними расправу чинить, – как они чинили всенародно, так и мы.

– Прощай, князь Яков Никитич. Делай! Милославский ушел.

Астрахань спала. В черном, душном воздухе кто-то ухал. Пели пьяные, выйдя с кружечного двора, хлопали и скрипели двери питейных изб. Перекликались сторожа в гостином дворе у Пречистенских ворот на площади. Слышался стук их колотушек в доски. Где-то визжала женщина:

– Ой, роди... уби-и-л...

– Гля-ди-и-и!

– Гляди-и-и-и!

То слышались окрики караульных стрельцов у стен города. Еще темно было, пропел первый петух. Прозвучал тонкий звон колокола: это на вышке собора сторож отбивал часы. Чикмаз не спал, пил. После ухода Сеньки тяжело выбрел на двор, склонив голову, бодая темноту, вслушивался, но в голове разница шумело, в ушах будто кузнецы били по железу.

Вернулся, при огне лампы стукнул на колени у кровати, тяжелыми, как чугун, руками обняв сонную жену. Она проснулась, сняла его руки, прошептала ему на ухо:

– Робят сполошишь, усни, Иван! Ваня, усни! Погладила его косматую голову, Чикмаз бормотал: —

– Пришел, сатана!

– Кто пришел, Ваня?

– При-и-шел! – Шатаясь, Чикмаз вскочил, шагнул к столу и, наливая водки в ковш, продолжал: – Из самого пекла адского вполз, заронил в душу мою уголь каленый! Бросить? Да разве, без них не все мне едино, што будет? Хо... хо! Черт! – Выпил водки; царапая стену хаты, снова выбрел на темный двор, слушал, но слышал лишь свою тревогу – она била в нем в барабан, звонила в колокол. Это она кричит:

– Эй, гля-ди-и, ра-туй, держи-и!

Чикмаз вернулся к столу, потянулся к водке, но упал и, распластавшись на полу

могучим телом, головой под стол, уснул.

В полусумраке желтела длинная рубаха, моталась у стола светловолосая плотная женщина, пытаясь поднять пьяного, но и одной руки от полу не могла отделить.

– Пьет мертвую... – шептала женщина. – То хвалитца, что все худое покрыто, то ругаетца, боитца и опять пьет... Господи, помилуй!

Баба перекрестилась, легла и дремала с полузакрытыми глазами. Чуть рассвело, она услышала бой барабана. Жена Чикмаза торопливо оделась, прикрыла наглухо детей одеялом, вышла на двор, пробралась за ворота и полубегом вернулась. Едва растолкала сонного мужа:

– Иван! Иван! Ставай борзо! Худое творитца в городе... Иван!

Чикмаз с хрустом костей потянулся и вдруг вскочил на ноги.

– Что-о?! – глухо спросил он.

– Разинцев имают. Слышу – воют бабы, а их ведут стрельцы... за воротами сказали – у Милославского на дворе взяли всех!

Чикмаз шагнул, нагнулся, выдвинул из-под кровати сундук:

– Женка, бери деньги – все! Рухледь мягкую, лучшую пихай в суму. Уводи робят, и бегите на митрополий учуг – родня укроет.

– А ты? Ой, Ваня, Ваня!

– Прощай! Делай, бери робят!

Баба быстро собралась, поцеловала мужа, вскинула на плечи суму, взяла за руку ребят, и не двором, а воротцами в переулочок они ушли.

Чикмаз из-под кровати выволок тяжелый мушкет, продул его, подсыпал на полку пороху, забил в дуло кусок свинца, сел к дверям на лавку. В щель сквозь двери оглядывал двор. Скоро у его двора послышался стук барабана, по двору к хате Чикмаза пошли стрельцы:

– Эй, Чикма-а-з!

– По указу великого го-о-о... Чикмаз ответил выстрелом.

С весны ранней на Болдинской косе сожжены старые, поломанные шалаши, место выгорело кругом на тридцать сажен – называлось Пожаром. На Пожаре уцелела одна скамья, на ней раньше торговали бузой, квасом и сбитнем. Была скамья видом как стол, а рядом с ней для пьющих сбитень – скамья малая.

Воевода князь Яков Одоевский здесь приказал быть пытке. Перед торговой скамьей шагах в десяти плотники врыли два высоких столба, наложили верхнее бревно, и люди, какие смотрели на работу плотников, сказали:

– Дыбу поставили!

В стороне от дыбы плотники вкапывали рели, а иные из них острили дубовые колья. К месту казни подъехал на гнедом коне сам воевода, за ним товарищи: князь Каркадинов и Пушечников. Лошадей воеводских приняли стрельцы приказа Кузьмина в алых кафтанах, они же, перед тем как сесть воеводам, скамью большую покрыли малиновым ковром, на другую, малую, разложили два бумажника.

Воевода сел за пытошный стол в середину, справа – Каркадинов князь, слева – Пушечников. Пришли два палача, по кафтанам опоясанные длинными плетьюми ременными, с ними два дюжих помощника в красных рубахах, рукава помощников засучены выше локтей, на плечах у помощников отточенные топоры, у палачей в руках две крученые крепкие веревки, веревки палачи закинули на дыбу. Плотники к приходу палачей под дыбу внесли нетолстое бревно, а другое бревно подволокли одним концом к пытошному столу. В него помощники палача воткнули топоры.

Одоевский, сняв голубой колпак с жемчугами, поставил его на стол, обтер потный лоб костлявой рукой; зажмурив усталые глаза, подул перед собой, отдувая душный воздух, пахнувший потом и человеческим навозом, сказал вяло и тихо:

– Плотники!

Стрельцы громко повторили:

– Эй, плотники!



– Гайда к воеводе!

Подошел рябой черноволосый плотничий десятник, без шапки, встал перед столом, молчал, ждал.

– Рели копайте глубже, а делайте их против того, как глаголь буква. Кои у вас поделаны буквой твердо, те переладьте.

– По указу справим, воевода князь!

– Бревно от стола уволоките к дыбе, на нем головы рубить станут, кровь падет, замазает пытошные письма.

– Слышу, воевода-князь!

– Колья от середки к концу тешите сколь можно острее, тупой кол крепко черева рвет, саженой должен жить дольше.

– Сполним, князь Яков Микитич!...

– Эй, робята, сволоки бревно к дыбе! – отходя, крикнул своим плотник.

Товарищ воеводы Каркадинов, в голубом кафтане, в синем высоком колпаке, с виду веселый и беспечный человек, спросил Одоевского:

– Пошто, Яков Никитич, указал переделывать рели? На таких больше повесить можно.

Одоевский молча косился на площадных подъячих с длинными лебяжьими перьями за ухом; они примащивались к концам стола на обрубки, шепотом переругивались.

– Для пытошных дел готовьте бумагу! – строго сказал подъячим воевода, тем же строгим голосом ответил Каркадинову: – Затем, князь, переделать рели, что буква твердо схожа на недоделанный крест. На кресте господь был распят, а мы нынче чиним казнь государевым супостатам – иной возмнит несказуемые словесы.

Не доходя места казни, остался большой харчевой шалаш, в него приводили пойманных разинцев. Кругом шалаша стрельцы в голубых кафтанах, Петра Лопухина приказу, с отточенными бердышами на плече.

Стрельцы ждали, кого воевода велит дать на пытку. Тут же плакали бабы, жалея мужей. Толпились горожане, астраханцы и посадские. В толпе и Сенька стоял, но близко в сторону стола дыбы не выдвигался. Он помнил хорошо, что князь Яков Одоевский, давний начальник Разбойного приказу в Константиновской башне в Москве, сказал ему: «Гуляй, стрелец! Завтра приказ на запор!» И Сенька загулял, да так, что если б Одоевский хоть мало знал о нем, то приказал бы искать и взять. «Глаз у него сонной, да памятливей». Стрельцы, так как шум голосов и причитание баб мешали им слушать приказ воеводы, задумали гнать народ.

– Чего глядеть? Попадете на пытку – все увидите! Эй, уходите!

– Уходите да волоките прочь женок!

Одоевский желтой рукой призывно помахал стрелцкому сотнику. Тот, поклонясь, подошел.

– Семен, скажи дуракам стрельцам, чтоб народ опять не гнали, – все должны казни видеть.

– Слышу, князь Яков!

Сотник отошел к стрельцам, прогнанный народ опять окружил Пожар и шалаш с разнищами.

Каркадинов снова спросил Одоевского:

– Может статья, князь Яков Никитич, стрельцы дело делают – гонят народ? На пытке, я чай, будут кричать слова хульные на великого государя.

– Всяк, кто идет в могилу, может сказать хулу на бога и государя... Он тут же мукой и концом жизни отвечает за свою хулу!

– А все же хула есть хула! Пошто давать ее слушать черни?

На лице Одоевского показалась скука, он провел по лицу ладонью, и лицо стало другое. Не ответив товарищу воеводе, повышая голос, спросил:

– Здесь ли голова московских стрельцов Андрей Дохтуров?

– Тут, воевода-князь Яков!

К пытошному столу шагнул высокий светло-русый голова в алом кафтане, поклонился, не снимая стрелецкой шапки.

– За теми, кого не прислал боярин Иван Богданович Милославский, ходили?

– Ходил я, воевода-князь Яков, к Ивану Богданычу боярину брать остальных у него воров – Федьку, поповского сына, с женкой и иных.

– Что молвил боярин?

– Иван Богданыч сказал: «По росписи-де подьячих и иных людей сказкам воеводе Якову Никитичу Одоевскому с товарищи в Приказную палату пошлю завтра». Про попа Здвиженского сказал: «Сидит-де на Митрополье дворе». А который астраханского митрополита привел и с роскату пихнул, астраханского стрельца Ивашки и Митьки митрополичья человека, не сказал: «Тех-де людей у меня нет».

– Поди, Андрей! Не спешит боярин! Мы пождем, время есть, и спрос наш к нему милостивой... Не ровен час, сам государь позовет в малую тронную да допросит своими дьяками. Оттуда, гляди, и на Житный двор<sup>408</sup> недалеко, – сказал Одоевский громко.

Заговорил Каркадинов:

– Иван Богданыч не опасаетца гнева государева! Другой Иван есть на Москве<sup>409</sup>, у государя дядьчить за него будет.

– Божией волей государыни Марии Ильиничны не стало. Нынче Милославских честь вполну, у государя новая родня в чести, – ответил Одоевский и дал приказ: – Стрельцы, ведите Корнилку Семенова!

Приказание воеводы быстро исполнили – из шалаша выпустили высокого русобородого человека лет под сорок, с узким загорелым лицом, с родимым пятном у правого глаза. Человек встал перед столом со связанными за спиной руками, без рубахи, в одних посконных толстых портках, волосатый, с кудрями.

– Развяжите ему руки!

Руки подведенному к столу развязали.

Каркадинов проговорил громко, не обращаясь ни к кому:

– Я бы лихим у пытки и допроса рук велеть распутывать не указал!

– Не бойсь, князь! На пароме лошадь не лягнет, – ответил Одоевский.

Второй товарищ Одоевского, Пушечников, кидая на стол снятую бархатную шапку, смеясь, сказал:

– Правду молвил, князь Яков! Приведенного на пытку Одоевский тихо спросил:

– Кто, из каких ты, где гулял?

– Московский стрелец! Имя Кормушка, прозвище Семенов. С Москвы я сбег в Астрахань, служил конным стрельцом. Сшел в Царицын в гулящие люди, а к нам Разин Стенька пришел. С ним я пошел на стругу вверх.

– Весело шли?

– Весело было, боярин! Песни играли, вино пили... – И города палили?

– Тогда ничего не жгли. Зимовал в Синбирском, по весне нанялся на государев насад в работу, сплыл в Царицын, а там Разин, и я пристал к нему. Пошли под Астрахань, город взяли.

– Взяли и воеводу кончили?

– Кончили, воевода-князь! И тут я женился на Груньке, она шла за меня волею, поп венчал.

– Та женка – твоя смерть. Пошто женился?

– Много понравилась бабенка, воевода-князь! Не лгу, ни...

– Она сказала: «Женился на мне Кормушка насильством!»

---

<sup>408</sup> *Житный двор* – одно из мест пыток в Москве.

<sup>409</sup> ...*Другой Иван есть на Москве...* – Речь идет об Иване Михайловиче Милославском.

– Тогда все, князь воевода, женок себе воровали, и я ее украл, а то убили бы. Времена шумели.

– Кот, когда сметану ворует, и тут его бьют крепко! Кого убивал?

– Митрополита Осипа не убивал я, был на Учуге, рыбу ловил.

– То знаю... Дуван имал?

– Денежной имал! При боярине Иване Богданыче Милославском стал в стрельцы, Давыда Баранчеева полк.

– Грунька сказала: «Придет-де в Астрахань князь Яков Одоевский, сбегу на Дон, соберу голытьбу – Козаков, и мы придем, Астрахань пожжем и возьмем!»

– То она, сука, ложью на меня! Поклеп, князь воевода. А вот как приехал ты, меня тогда неведомо пошто без вины Давыд Баранчеев посадил за караул.

– Посадил, знал за што! Гулял и служил, грабил, жег и опять служил. Иди на пытку!

От допросного стола Корнилка повернулся, шагнул к палачам и покорно дал руки. Руки завернули за спину, скрутили и спиной к столу вздернули на дыбу. Руки, поднятые вверх, хрустнули и вывернулись из предплечья. Палач снял с себя плеть, размахнулся, сильным ударом резнул плетеной кожей по спине. По спине Корнилки пошли вниз кровавые бахромы. Он замотал ногами.

– Крепкой бить да грабить, а ногами вьешь, как теленок хвостом? Свяжите ему ноги, положьте деревину! – приказал воевода.

Корнилке связали ноги, меж ног всунули бревно, затрещали суставы разинца.

– Еще шесть боев, тогда снимите!

С окровавленной спиной Корнилку сняли с дыбы; шатаясь, он подошел к столу, из прокушенной от боли губы по русой бороде текла кровь.

– Что прибавишь к тому, о чем спрашивал я, и ты сознался? Корнилка заплетающимся языком говорил то же, о чем рассказывал раньше.

– Видно, парень, тебе еще висеть на дыбе, не говоришь всего!

– Не знаю дальше сказать.

Воевода махнул рукой, Корнилку снова связали и вздернули. Бревна между ног не клали, воевода не указал.

– Бейте крепче! Писцы, чтите бои. Каких воров астраханских знаешь? Назови!

– Митьку Яранца, Ивашку Красулю, иных, князь, много было, но с ними не дружил я.

– Бейте еще! Впадет на ум!

Куски мяса срывала со спины плеть, а Корнилка твердил одно:

– Иных имян не знаю!

– Снимите! Пытки ему довольно, завтра и совсем не надо.

– Ужели кончат меня? Скажи, князь?!

– Конец скажем.

– За что же?!

– Много ходил да плавал по Волге! Эй, дайте Груньку, женку Кормушки Семенова!

Из шалаша стрелец привел к столу Груньку. На бабе пестрый домотканый шугай, расстегнутый, под ним белая рубаха. Сарафан такой же пестрый, голубое с белым, как и шугай. Ноги босы. На голове повязка из куса коричневой зуфи. В повязку плотно спрятаны волосы.

– Ходила домой ты, Грунька?

– Ходила, воевода князь, со стрельцы! – Баба земно поклонилась.

– Принесла тетрадь, о чем говорила в Приказной палате на пытке?

Баба достала из-за ворота рубахи небольшую, завернутую в грязную кожу тетрадь, подала на стол.

– Стрельцы, отведите Кормушку Семенова за дыбу, пусть ждет. А ты говори!

Из голубых больших глаз бабы хлынули слезы.

– Замарал он меня, батюшко воевода, несчастной пес! Как его взяли стрельцы, и ён,

Кормушка, тую тетрадь кинул в сених под мост<sup>410</sup>, завсе играл зернью и карты, все животы проигрывал, а меня в жены имал насильством.

– Пошто за него шла?

– Не подти – убьют! Ходют с саблями, голову ссечь им – как таракана убить.

– Пошто не довела на такого вора?

– Кому доведешь? Ивашке Красуле ай Ивашке Чикмазу?

– Милославскому боярину, когда пришел в город, пошто не довела?

– Когда боярин Иван Богданович Астрахань растворил, то Кормушка стал в стрельцы.

Пришла бы с челобитьем – ему, Кормушке, ништо, а мне от него бой смертной.

– Подвинься прочь, дай мужу место! Иди, Корнилка, скажи, где имал эту воровскую заговорную тетрадь?!

Корнилка подошел к столу. Лицо его подергивалось и было бледно, ноги после пытки дрожали. Он кинул взгляд на стол, где лежала кожаная тетрадь; ужас мелькнул в глазах, заговорил сбивчиво:

– Воевода, боярин-князь! Те письма, что сыскала Грунька, мне под Синбирским дал козак Гришка...

– Ты и под Синбирском с ворами был?

– Был, воевода-князь!

– Говори дальше.

– Гришка прочел мне одно воровское письмо, а я грамоте не умею, ни...

– Где нынче тот Гришка?...

– Убит ён под Синбирским.

– А может, жив, и ты его покрываешь?

– Убит ён, боярин, в Синбирском остроге, как воевода Борятинской острог громил. Я грамоте не умею и писем не чту, взял, вина моя, чаял, от них будет спасенье с заговоров.

– Покрышку искал своих лихих дел?

– Чаял, боярин!

– За Гришкину вину ответишь ты! По главе первой государева «Уложения» – будешь сожжен как колдун.

– Ой, боярин, противу бога из тетради тот Гришка мне не чел, ни...

– Во всех колдовских заговорах кроетца хула на бога, ибо господь поминаетца там рядом с диавольскими словесы! То и конец твой!

– Да пошто так? Грамоте не умею – не ведал я того.

– Стрельцы! Возьмите Корнилку Семенова подале – к Болде-реке, чтоб смороду к нам не несло. Накладите огню, связанного спалите.

Кормушку окружили стрельцы, увели. Боярин воевода, махнув рукой, призвал стрелецкого десятника, приказал:

– Аким! Погляди, чтоб по правилам жгли.

– Слышу, воевода-князь Яков!

– Грунька! Иди к столу. Грунька придвинулась к воеводе.

– Велю тебя вдругоряд пытать!

– Ой, головушка победная! За што же ище меня, отец! Ой, головушка-а!

– Терпи больше, плачь меньше – учим терпенью! Заплечные, разденьте бабу!

Баба сама скинула на землю прямо с волос зуфь. Темные волосы хлынули по ней, как вода, и скрыли до пят.

– Рубаху, князь Яков, сволочь ли?

– Рубаху, юбку ей оставьте – скрозь рубаху плеть берет. Помощник заплечного возьмет на хребет к себе, подержит.

Высокий, с красным лицом, к пытошному столу шагнул палач; не кланяясь воеводе,

---

410 *Под мост* – под пол. На севере до сих пор пол – мост.

мотнул на сторону заросшей, как куст, головой, сказал:

– Пошто бабу на плечи брать, Яков Микитич? Ей бы каленым титьки припечь – все скажет!

Одоевский желтой рукой поднял снизу вверх жидкую бороду, устало взглянул на палача:

– Всем естеством ты заплечный мастер, как конь, и в голове у тебя сено! Непошто уродовать бабу! Ее грехи не вольны, чаять надо, государь простит.

Палач, идя к дыбе, хмурился. Помощник палача взял Груньку за подол сарафана, держа подол, повернулся к бабе спиной, нагнулся, и мигом Грунька повисла с прижатыми волосами и головой на чужой крепкой спине. Ее рубаха, оголив ноги выше подколенок, задралась. Воевода приказал:

– Одерни, заплечной, рубаху, спихни волосы прочь. А ты не сучи ногами, жилы перервут – будешь убогая. Бей, бои чем!

– Родные-е-е! О-о-ой! – И Грунька заголосила. После трех редких ударов смолкла. Держащий Груньку на спине сказал:

– Огадила, стерво!

– Скинь с себя, оплесни ей лицо, – указал Одоевский. Палач, обиженный у стола боярином, бил плетью так, что каждый удар прорезал Груньке рубаху, как ножом. Воевода заметил это, но промолчал.

В лицо Груньке плеснули из ведра, где палачи после пытки мыли руки. Она, всхлипывая, пришла в себя, открыла глаза, шатаясь, встала, одернула сарафан, ей накинули на плечи сдернутый шугай. Шугай она надела в рукава, подобрала волосы и, как пьяная, присев с трудом, поймала с земли втопанную зуфь, накрыла голову.

– Ведите ее к столу!

Груньку подхватили помощники палача, поставили перед воеводой.

– Правда ли, что муж твой Кормушка норовил бежать на Дон?

– Отец воевода, грозился он таким, когда в шумстве был, пьяной.

– Говори правду! Твой Кормушка-разбойник нынче сожжен. Берегись лгать, его душа будет приходить к тебе, ежели оговорила.

– Уй, батюшко воевода, правду говорю!

– Не было ли у него иных воровских заговорных, писем?

– Што принесла – та тетрять!

– С кем из воров астраханских водился Кормушка?

– Отец воевода! Ходили к нему Ивашко Красуля, Митька Яранец и редко вхож был Федько Шелудяк<sup>411</sup>. Иных не было.

– И эти воры знатные! Спускаем тебя, Грунька, домой без караула, не помысли утечи – в Москву увезут. Дело твое у великого государя с иными.

– Пошто мне бежать?

– Москвы не пугайся. Говори, как говорила: «Насильством имана замуж. Довести было некому. Когда боярин Милославский зашел в город, тогда муж Кормушка ушел в стрельцы, служил, пока не взяли».

Грунька с трудом, но поклонилась земно; встав, убрела в толпу горожан.

Одоевский стал отдуваться, тяжело дышать. Солнце подымалось выше. Жгучие лучи упали на пытошный стол. Ветер вместо прохлады навевал удушливые запахи, бьющие в нос. Одоевский проворчал:

– Надо бы отставить пытку до тех мест, как спадет жара.

– Такое не можно, Яков Никитич! – сказал черноусый Пушечников; он плотнее натянул на себя суконный стрелецкий кафтан и шапку надел.

– Пошто не можно, князь?

---

<sup>411</sup> *Под мост* – под пол. На севере до сих пор пол – мост.

– Указал я привести Чикмаза.  
– Чего мешкают с ним?  
– Далеко живет Чикмаз, а пождать беглого стрельца, разбойника, надо! – подтвердил второй товарищ воеводы.

Обратясь к Одоевскому, Каркадинов спросил:

– Честно ли нам, князь Яков Никитич, указывать битым на пытке тому, как говорить в Москве?

– Кроме великого государя, ответов по делам своим никому не даю!

– Да я поучиться лишь желаю!... Сижу по разбойным делам внове.

– Служу государю довольно! Сидеть нам еще тут год, быть статья, и больше. Неотложно сыскать всех воров на Царицыне, Саратове и иных городах, а чтоб был прок от нашей службы великому государю, должны мы быть в правде и не корыстоваться. По делу нашему мы и так, князь, милости имеем мало, а жесточи во всех нас довольно, и жесточь наша не всегда к правде приводит!...

– Свечка сатане, князь Яков Никитич, поставлена. Кормушка грамоте не умеет, да сожжен!

– Письмо воровское – подход к Корнилку Семенову: бегун, переметчик. Бабу насильством довел до дыбы.

Заволновался народ, поднялась высоко серая пыль – стрельцы на Пожар привели Чикмаза.

Чикмаза привели в одних синих крашенинных штанах – ни рубахи, ни шапки на нем не было. Могучие руки скручены веревками за спиной. Лицо в синяках, в кровавых ссадинах, на груди запеклись полукружия наподобие сапожных подков. Раньше чем подвести Чикмаза к столу, подошел стрелецкий десятник в голубом кафтане Лопухина; утирая шапкой потное лицо, спросил:

– Воевода-князь Яков Микитич, дозволишь ли сказать?

– Говори.

– Ивашко Чикмаз, воевода, князь, хожалых к нему наших стрельцов троих убил!

– Убил?

– Из мушкета, а двух из пистолей, и мы все же, храня указ воеводы Василия Пушечникова, от вора не отступились, а он за топор гребся, топор не сыскал, кинулся в проулок, и тут ему, не убоясь быть убитым, Васька-стрелец в ноги пал, подплел, и Чикмаз пал. Стали мы по нем в сердцах сапогами топтать, а как ён беспамятству дался, скрутили и привели.

– Вижу все, дайте вора!

Чикмаза стрельцы подвинули к столу.

– Имя как?

– Звали зовуткой – у надолбы будкой.

– Писцы! Времените писать, вор норовит басни нам сказывать. Где жена твоя, вор?

– Со мной жена, за плечами.

– Имя ей?

– Смерть!

– Добра не будет. Эй, возьмите Ивашку на дыбу!

– Не знал, что и ты дурак! Имя знаешь, а спрашиваешь.

– В умные к тебе не прошусь! Эй, заплечные!

– Берем, князь Яков!

Чикмаза подвели к дыбе. Открутили веревки с рук, чтоб внове скрутить дыбным хомутом.

Помощник палача, упершись Чикмазу коленом в поясницу, силился загнуть его правую руку за спину, Чикмаз вывернул руку и наотмашь так ударил будущего палача, что тот, отскочив, упал навзничь, а Чикмаз сказал громко:

– На тот свет иду! Не мусори дорогу! Невозмутимо спокойным голосом заговорил

Одоевский:

– Не спеши, мы тебя еще не скоро отпустим на тот свет.

– Знаю, кресты да молитвы на спине впишете!

– И на-брюхе тоже.

Заплечные с помощниками загнули Чикмазу руки, надели дыбиный хомут:

– Гой-да-а!

Страшной, всклокоченной головой Чикмаз лицом к воеводе повис на дыбе.

– Скажи, вор Ивашка Чикмаз, кому сек головы в Астрахани и других городах?

– Быто – булатной иглой шито

– Кому рубил головы?

– Кому што отсек, те не сидят с тобой за столом. Сто семьдесят голов снес в один вечер на Яике в службу батьке Степану Тимофеевичу.

– А еще?

– Трех стрельцов нынче в Слободе, а жаль – топориска не подвернулось, снес бы половину тех, кои вели.

– Замышлял ли утечи куда, и кто манил за ким воровским делом?

– Были добрые, грозили пыткой, но чаял я – за твоим столом сидеть будет боярин Иван Богданыч, и зрю: ты, как худой поросенок, в чужое корыто влез!

– Для нас, бояр и воевод, чужих мест нет! Все места государевы – один сошел, другой сел.

– Тебе мы шуб кунных, шапок бобровых да и перстеньев дорогих не дарим – ему дано!

– Хищенное своим не зовут, дарили ворованное, грабленное.

– Наши головы не дешевле ваших! За што головы легли – то наше.

– Ну, будет! Заплечные, бейте вора по хребту и брюху враз.

От свистящих ударов забрызгала кровь. Ключки мяса, оторванные плетью, падали на стол. Воеводы надели колпаки. Подъячие свернули пытошные записи, держали под столом.

– Князь Яков Микитич! Не можно бои честь, – сказал один подъячий.

– Писать, что говорил вор, не надо и чести также – бои ему бесчетны.

Когда палачи сменили плети, но выбились из сил, Одоевский махнул рукой:

– Поговорим! Передохните!

Весь в сплошной крови сзади и спереди, Чикмаз, нахмурясь изуродованным лицом, молчал, его сивая, пышная борода свалаялась в ком, по лицу вместе с кровью тек пот.

– Кого назовешь в товарищех?

Чикмаз выплюнул кровавую слюну. Заговорил гробовым, но спокойным голосом:

– Когда был палачом и на Москве одного, в Астрахани другого – двух дворян убил на козле кнутом, а у тебя и палачей подобрать ума не хватило!

– Жара одолела, товарищи, и я устал с этим дьяволом!

– Дела его ведомы, и сообщники до него взяты – чего тут с ним? – сказал воевода Василий Пушечников.

– Больше от такого вора, князь Яков Никитич, нечего ждать, – прибавил другой воевода, Иван Каркадинов, – вершить надо.

– Добро! Заплечные, несите дубовый кол, приберите тот, что острее и дольше. С дыбы спускайте вора Ивашку Чикмаза прямо на кол, а когда деревина прободет ему черева, несите к Болдереке, где жгли Корнилку. Кол с вором Ивашкой вroyте и отопчите место в утолочь.

– Слышим, князь Яков!

– А вы, писцы, впишите: «Вор Ивашко на Яике для Стеньки Разина срубил голову Ивана Яцына и иных, сто семьдесят голов».

Воеводам подвели коней.

– Ух, надо в прохладе отдохнуть! – сказал воевода стольник Иван Каркадинов.

Одоевский и Пушечников поехали молча.

Садилось солнце, но у дыбы ни палачей, ни воевод не было; ушли и писцы.

У шалаша, куда днем привозили разинцев, стоял один стрелец с бердышем на плече. На

сторке у Болды-реки, где еще дымились головешки костра да валялся человеческий череп с обгорелыми волосами, недалеко, в пяти шагах, на коле умирал Чикмаз. Был он облеплен мухами с головы до ног, а ноги только носками сапог упирались в землю. Штаны от крови взмокли, съехали на голенища сапог.

Стрельцы двое, посторожив, ушли:

– Не убежит, некуда бегать!

Из толпы Сенька видел всю пытку над Чикмазом. Он не проклинал никого, но его готовность идти против царя и бояр здесь еще более подтвердилась и окрепла.

«Жаль, не пошел Чикмаз! Батько любил его, а дела сколько бы с таким богатырем наделать можно было!»

Когда толпа разбрелась, Сенька огляделся, пошел к Болдереке. Шел осторожно берегом реки. Слушал, не стонет ли Чикмаз, и не слышал стонов. Поднялся на сторок, подошел. Голова Чикмаза висела. Сенька пригнулся к уху товарища, сказал:

– Иван!

Чикмаз не поднял головы. Сенька, оглянувшись, щупая за кушаком под кафтаном пистолет, повторил громко:

– Чикмаз!

Кол дернулся, Чикмаз медленно поднял голову. Глаза слиплись от крови, но он силился глядеть.

– Ты ли?

– Я, Иван! Тот, что приходил...

– Тебя, милой, прости, сатаной... ру... Сенька ответил:

– Вот она, вера боярскому слову!

– Что есть – видишь... дай, ты куришь!

Сенька отошел к реке, закурил и, покуривая, подошел снова, всунул в запекшийся рот трубку. Чикмаз потянул дым в себя, и трубка упала. Он стал откашливать густым черным. Сенька поднял, спрятал трубку. Голова Чикмаза повисла, как и тогда, когда подошел Сенька. Чикмаз бормотал, и Сенька, нагнувшись, слушал.

– Со-о-окол, о во-о-ле поговорить... еще не умру... при-припри-хо...

Сенька ушел.

Насады нагрузили белой мукой, солью и рыбой. Рыжий начальник каравана сказал Сеньке «спасибо» и денег дал, а спасибо Сенька получил за то, что привел Кирилку.

От Астрахани они отъехали ночью.

В воеводском доме, в той же горнице Прозоровского с изрубленным бархатом на стенах, воевода князь Одоевский сидел и писал:

«Астраханского Троицкого монастыря приказываю в светлице розыскать: старца Гаврилу. И еще розыскать в Астрахани старцы, попы и дьяконы и их расспросить: как были в Астрахани воры козаки Стенька Разин с товарищи и они, старцы и попы, к воровским записям и к иным всяким воровским письмам руки прикладывали ль?»

Никольский поп Родивон Васильев, Рождества Христова, поп Иван Косторин, первые к допросу! И еще: деревянного города попы: церкви Михаила-архангела поп Андрей Кузьмин, церкви Воскресения Христова поп Федор Иванов, церкви Богоявления господня поп Никита Тимофеев. Из Шиловой Слободы, от Николы, поп Константин Иванов – сыскать потому ж!»

Одоевский положил перо, разогнулся, сказал себе: «А ну, сегодня поработано довольно!» Почесал ногтем в бороде, встал. Оглядел свои желтые руки, подумал: «Кабы посулы имал, руки были бы дороднее, да не к лицу Одоевским посулы иметь... родителю Никите царь от себя на кафтан дал, столь обнищал боярин». Заложив руки за спину, подошел к окну; бодая лицом сквозную сатынь запоны, нюхая ночной воздух, сказал: «Провоняли город рыбой! И еще буду строить русский двор по указу государя – прикажу заодно поделывать в городе отходники, чтоб не кастили на дворах!»

Одна сальная свеча на столе, подтаяв, упала. Воевода подошел, снял свечу, иные, изогнутые теплом, выпрямил. Взял со скатерти колоколец, позвонил. Вошел с поклоном



слуга.

– Зови подьячего!

Слуга ушел, вместо него вошел бородатый подьячий в потертом плисовом полукафтаны, поклонился так же, как слуга.

– Давай писать, служилой!

– Слышу, князь-воевода, готов к письму.

– Садись, поправь огонь, пиши!

Воевода встал среди горницы, поднял властно руку и, сжав ее в кулак, заговорил, как проповедь:

– «А которых воровских людей»... – написал? – Говори князь-воевода, поспею писать.

– «...надо послать к Москве с женами и детьми, тех исписать на росписи поименно... написав, отдать те имена с росписью голове московских стрельцов. Отпущены будут те изменничьи жены и дети в Москве с боярином и воеводой Иваном Богдановичем Милославским и везти их с великим береженьем, чтоб никто с дороги не ушел!»

– То, что написал, отдай дяку для росписи поименно, а я подпишу. Иди!

Насады прошли Кострому. В полдень все расселись на корме, кашевар вынес варево. Из ближнего ручья на лодке к насаду пригреб мужик, взмолился, сняв шапчонку:

– Добрые государевы работнички, не дайте живу душу смерти, помираю голодом!

Рыжий поглядел на него и, отложив ложку, сказал:

– Свой конь не везет – на нашем ладишь доехать? Лазь на борт!

Мужик привязал к насаду лодку, влез, заговорил:

– Жорницы по ручьям становил да соснул мало на солнышке, а кой бес у меня тоды хлеб покрал – басота! Остался без еды, пихаться до Ярослава – помрешь.

– Садись к нам, ешь! – Мужик дали ложку.

– Откедошной?

– Мало не тутошной, с Тверицкой я, рыбак! – Поев, мужик повеселел, а был он по виду разговорчивый.

Рыжий заметил это, стал расспрашивать:

– Слыхал я, по Московской дороге разбои гораздо пошли, государь стрельцов высылал чистить лес, а тут на воде у вас нет явных убойцев?

– Явных воров у нас, хозяин, нету, ватаги не ходют, а мелкие тати есть: лодки хитят, хлеб, а коли справной кто попадетца да сплосал – того убойствуют.

Пообедав, покрестились. Сенька стал курить, а рыжий, спрятав веснушчатый кулак в косматую бороду, подумав, сказал:

– Ну, у нас есть молочшие, мелких воров разгоним, – Он, взглянув на Сеньку, спросил: – Правда ли, Григорий?

– Истина, хозяин! Не боимся.

– Ище скажу, – начал мужик. – Бутурлин, ярославской воевода, удумал с насадов снимать всех гулящих людей, кои взяты в Астрахани.

– Эво, черт! – выругался рыжий. – Федька Бутурлин всегда затейной, пошто ему государевым насадам лихо чинить?

– Мужикам, хозяин, воеводских затей не понять!

Сняв кафтан, рыжий сунул его под голову, лег на палубе, приставшему мужику сказал:

– И ты подремли, ночью на вахту станешь.

– Спасибо, устраюсь...

Кроме тех, кто был на парусе или на руле и в греблях, все легли спать. Лег и Сенька. К нему подвалился Кирилка, шепнул:

– Уходить нам, брат Семен!

– Пошто?

– Ушми скорбен, што ли? Ай ты в Ярославе опять в тюрьму хошь? Нынче, брат, сядешь – так прямо в петлю, вишь, воевода имает!

– Надо будет – уйдем.

– Ты со мной в Соловки не идешь?  
– Батько Степан попов не жаловал, и я поповского дела не люблю.  
– Ну, лжешь! Батько не жаловал, а на Царицыне у старца Арона в монастыре и пил и ел.

– Знаю – заводчиков и бродячих попов любил атаман.  
– Пойдем, брат, станем грудью за старую Русь и веру, против латынщины!  
– Не люблю, Кирюха, твоего небольшого попа Аввакума. Сам без меры гонение возлюбил и иных учит терпеть, смиряться да идти в огонь, лишь бы кукишом не молиться. По-моему, молись хоть ногой – лишь бы вера была, а нет, так и двоеперстие не поможет...

– Тьфу, сатана! Злодей ты мне, не брат.

Глубоким руслом близ берега шли насады, на берегу дикий лес смешанный, на серой стене елей иногда розовела могучими ветками сосна или вековая разросшаяся осина, тревожно, почти без дыхания ветра трепетала листьями. Где-то в глуши лесной кричала надсадным криком желна.<sup>412</sup>

Кирилка поднялся, потянулся во весь свой огромный рост, передернул широкими, могучими плечами, нагнулся и с палубы поднял свой багор. Старовер, как играючи, воткнул багор близ берега и, изменив шаг на бег, на багре поднялся на воздух. Под тяжестью тела багор затрещал, но не сломался.

– Дурак! Хлеба возьми! – сказал Сенька.

Вместо ответа Кирилка выдернул багор, кинул его на насад поперек палубы. Рыжий приподнялся на локте, сонно спросил:

– Куда его черт понес? – И снова лег, посапывая в бороду. Сенька лежа глядел, как Кирилка шагал по берегу, наглядывая дорогу в лес: «Упрямой... к монахам попадет...»

Перед Ярославем рыжий сказал Сеньке:

– Давай-ка, Григорей, мы тебя закидаем мешками, лазь в трюм.

– Ладно, хозяин! – Сенька влез.

Рыжий позвал ярыг. Сеньку скрыли. Не доезжая Медвежьего оврага, у быка на устье Которосли и Волги насад остановили стрельцы, всех их счетом десять, с десятником стрелецким. Десятник был расторопный, с хитрыми глазами. Он то и дело шевелил на голове новую стрелецкую шапку, как будто желая показать всем, что шапка не простая, а с бархатным верхом.

– Проворно – станови караван! Кинь якори, не копайся! Рыжий упрямо заявил:

– Пошто, служилой, якори, мы тут становать не будем,

– Становь караван!

Гребцы перестали грести, иные ярыги с головного насада зацепили баграми бык, полуобвалившийся от разливов. Стрельцы, серея кафтанами, поблескивая лезвиями бердышей, перебрались на головной насад. Десятник стрелецкий, приказа Пушечникова, в темно-зеленом кафтане, шевеля шапку, сказал рыжему:

– Куды едете?

– Тарханные мы, гостя Василия Шорина с Рыбна села – туды едем, с Астрахани в Рыбно.

– Гоже, давай роспись людей!

Рыжий знал правила, роспись была у него за пазухой – подал.

Десятник оглядел роспись, велел стрельцам пересчитать людей. Сосчитали. Ткнул пальцем в роспись, тронув шапку, спросил:

– Укрытых нет?

– Нету иных, служилой!

– А этот мужик?

– Присталой до Ярослава, нынче угребет. Десятник крикнул стрельцам:

– Робята! Сведите мужика на нос кормы!  
Стрельцы подхватили мужика, он испуганно заговорил:  
– Чего вам, служилые? Я Тверицкой, тутошный!  
– Тутошного, стало быть, нам и надо! На нос насада подошел десятник.  
– Рыбу ловил, мужик?  
– Жорницы, служилой, становлю по ручьям... кои с берегов в Волгу...  
– Знаешь ли ты, как великого государя отец, блаженной памяти Михаил Федорович, на царство в Москву шел и стоял в Спасском монастыре? С тех пор воды по Волге от Которослиреки почесть до Костромы даны монахам в ловлю Спасскому монастырю.  
– Где мне знать, служилой! Я мужик темной, грамоте не умею... Ловлю не неводом, едино што жорницы становлю, и то по ручьям.  
Десятник сощурил хитрые глаза, потрогал шапку:  
– Вот што, рыбак! Ежели скажешь, кого тот рыжий укрыл и где – его словам я не верю, – тогда садись, гребь к дому, не скажешь – будет иное: пойдешь с нами на спрос к воеводе. Воевода нынче не дома, так мы тебя, покеда он вернетца, в тюрьму кинем. Дашь влазное в тюрьму – две деньги богорадному сторожу.  
– Граблен я, ни гроша в кармане.  
– Тогда на правез поставим, будем бить! Еще то – воевода даст тебя монастырю головой, а власти Спасского всем ведомы – обдерут до нитки.  
– Вот как из человека пса делают! Поклеп мой неволя велит: есть у хозяина насада един молочший, в трюм мешками зарыт...  
Десятник радостно сдернул с головы шапку, ударил ею себя по колену.  
– Есть? Я так и знал! Веди! Мужик показал трюм.  
Стрельцы откидали мешки, а Сеньке сказали:  
– Вылезай – приехал! Сенька вышел, крикнул:  
– Хозяин! Дай мою суму и прощай.  
– Прощай, Гришенька! Сума твоя вот. А ты, – показал мужику веснушчатый кулак рыжий, – за хлеб-соль навозом платить – сволочь!  
– Неволя велела, хозяин! Угребу, не серчай. – Мужик спустился в лодку.  
Сенькину суму взял стрелец:  
– Эво набита чем? Хребет сломишь,  
– Пущай несет сам! – приказал десятник.  
Сенька принял суму. В голове мелькнуло: «Не вынуть ли пистолеты? Много бою, иные набегут? Краше из тюрьмы уйду!»  
Рыжий, когда стрельцы ушли, выругал их матерно и крикнул так, что в берегах отдалось:  
– Снимай караван, товарищ-и! Проклятое место!  
Идя от Которосли мелким лесом, Сенька видел вдали восемь высоких башен и в двух – два вестовых колокола. Подумал: «Этот Бутурлин поднял город, поди и из тюрьмы легко не уйдешь? Как там Домка, цела ли?»  
Стрельцы, держа Сеньку на виду, говорили свое:  
– И сила, братья, у Волги!  
– А чего?  
– Бык долиной двадцать и восемь саженцов да в широту три, сваи биты, рублен в лапу, землей снутри засыпан, а во – обвалилси!  
– Из веков сила несусветная, волжская вода!  
– Ена бы и Ярослав смыла, да Медвежий овраг спасает, много воды берет!  
На воеводском дворе встретил Сеньку седой старик, богорадной сторож, оглядел, развел руками, воскликнул:  
– Да ужели опять Гришка к нам попал?!  
– Правда, богорадной. Начальник каравана, где он плыл, звал его Гришкой! – сказал стрелецкий десятник, шевеля новую свою шапку.

– Оброс, посутулился малость, а все ж, сдаетца мне, он тот!  
– Вот радость нам. С воеводой допытаем ужо, куды девали разбойники старого боярина?

Сенька молчал. Думал: «Пытки не миновать, коли жив этот пес!»

Богорадной постучал в двери подклета близ поварни:

– Эй, Матвевна, выди-ко, гостя привели.

Отворилась дверь, неторопливо вышла Домка. Стрелец сдернул с Сеньки суму, передал ей, сказал:

– Принимай гостинцы! Кажы воеводе!

Домка приняла суму, кинула за дверь, откуда вышла, оглянулась на Сеньку. Он стоял молча. Богорадной радостно задвигался.

– Огляди его, Матвевна! От годов я не зёрок деюсь, – быдто этот былой у нас разбойник Гришка?

– Воевода сыщет, старик, от его не укроетца, – сурово сказала Домка.

– Так вы, служилые, гостя дорогого ведите-ка ко мне в тюрьму! – суетился богорадной.

– Погоди, дедушка! Федор Васильич снятых с насадов гулящих не велит в тюрьму водить.

– А как с им, Матвевна?

– Вот так! Отпирать тюрьму, вкинуть да вынимать – опасно. И время лишне идет. Ближе есть место, под рукой. К допросу скорее. Вот тут, анбар каменной – из него и без желез не уйти.

– Ты, Матвевна, норов воеводин ближе ведаешь! Сажайте, служилые, в анбар, а я за замком сбегаяю.

– Лишне, не трудись, дедушка! Замков не занимать! Домка ушла, вернулась быстро с замком. – Сажайте!

Амбар был пустой; распахнув его, Сеньку ввели стрельцы. Богорадной туда заглянул, перекрестился, говорил:

– Вот, вот, слава богу! Ну, кабы тот Гришка.

Домка, запирая амбар, накидывая поперечный замет и вешая замок, сурово, громко сказала:

– Не тамашись, гулящий! Не будешь смирен – уйдем!

– Уйдем, Матвевна!

Богорадной прощупал стены амбара и оглядел кругом – впрямь до воеводы места лучше не искать! Богорадной и стрельцы ушли.

За домом воеводы в сумраке чернеют у забора в конце двора вековые деревья. Хмельники разрослись в целую зеленую рощу. Это наскоро видел Сенька, когда Домка осторожно выпустила его из амбара. На дворе тишина, спать ложились рано, только за воротами сторож, расхаживая, пробил раз и два в деревянную доску, да караульные за тыном и мостом у тюрьмы изредка перекликались.

– Гляди-и!

– Гляжу-у!

За хмельниками в курятнике пропел первый петух.

Воздух помутнел. Волга дыхнула туманом. Домка на амбар навесила замок, как и был. Сеньку провела в подклет. Заперла подклет изнутри, велела ему раздеться и умыться.

– Скинь рубаху, порты, одежду чистое.

В обширном подклете было прохладно, и в нем – ни мух, ни комаров. Подклет освещен только лампадкой. Домка послушала в оконце звуки двора, потом оконце задвинула изнутри ставнем.

На столе среди подклета был ужин. Сенька поел и водки выпил. Домка, когда он кончил есть, взяла его за руку, повела в угол к двум сонным мальчишкам, они спали в тени под широкой божницей. Свет лампадки не касался их лиц, дети спали крепко. Домка сказала:

– Оба наши, и ни один не схож – волосом черны, быдто мой дедушка. Лихой был, за

разбой умучен насмерть палачами. Не знала его, мать сказывала.

– Жива мать?

– Моя мать давно умерла.

– Пойдем, Домна, сядем.

– Не любишь глядеть малых робят?

– И любил бы... только бывает, когда гуляющий полюбит ребят, а ему и смерть.

– Пойдем, ляжем, постеля на полу.

– Краше будет – посидим. Мысли ровнее. Когда сели, Сенька спросил:

– Как быть со мной?

– Перво – в леса утечем, а там, може, в Москву,

– И ты со мной ладишь?

– Скучна я по тебе, Семен! Сколь годов изошло, и сердце ныло, ныло. А тут как привели, да глянул ты, и я едва от радости не закричала.

– Менять тебе жизнь на бродячую, я чай, не легко? Не мыслю я, что воевода за гулящего к тебе бы приступил крепко. Мои грехи тьмой крыты.

– А богорадной! Забыл? Он доведет воеводе, и воевода стал не тот, не прежний.

– А лесных людей ты знаешь?

– Знаю, Семен! Готовила место утечи, потому что воевода завел и сыщиков и шепотников.

– Убить бы нам его, Домна, гнездо воеводино сжечь и тогда наутек от этих мест!

– Того, Семен, не можно! Не потому, што стрельцы, сторожа и горожана за воеводу, а по-иному нельзя. Царь много любит этого Бутурлина и нынче вызвал его видеть и семью указал в Москву перевезти, должно, и его с воеводства снимет, к себе возьмет. Убьем, озлитца, мекаю я, царь! У царя, вестимо, руки цепкие.

– Пожалуй, правда твоя! Богорадного не убивать – была моя правда до нынешних дней, теперь твоя. Видал я в Астрахани указ царя: «Имать убойцев князя Черкасского».

– Ну, вот! Воевода будет имать нас, не царь – легче много. Они легли. Домна, обнимая гулящего, тихо говорила:

– День сиди здесь, к анбару не приступят, ключи у меня. Робят увезу за Волгу к тетке, тетка любит меня, денег дам, робят упасет от лиха.

– Добро!

– День пролежишь тихо, на подклет замок навешу, а как с Волги оборочу, в ночь уедем. Уехать беспрременно мне, воевода звереет, еще бы помешкал, и не могла бы скрыть тебя, – што ни день, воевода все стрельцам власть дает, а мне еще мирволит, помня службу отцу. Со мной в воротах пропустят, а то у воеводы порядня: «В ночь из города без его указу не спускать!» К полудню Домна вернулась, расседлала лошадь, поставила в конюшню. Немой конюх знал Домку, знал, что она берегла и не обижала лошадей.

У подклета Домку встретил богорадной, спросил, кланяясь:

– Куды это, Матвевна, ездила?

– Ездила, дедушко, робят свезла к бабушке в гости в Тверицкую... Ну, как там в анбаре тот злодей?

– Слушал, Матвевна! Тих, в оконце глядел, и ништо не увиделось, как и нет его.

– Спит в углу. Подала хлеба да воды – едва принял.

– Боитца, што узнают его.

– Боитца, дедушко.

Старик ушел на тюремный двор. Из караульной избы вышел стрелецкий десятник, сказал:

– Гляди, старик, тюрьму будешь спускать, кандалов не снимай с сидельцев. По городу пойдут, чтоб стрельцы были с ними. Досматривай, а я навешу расправную избу. Ночью вернусь, караулы огляжу.

– Поди, робятко, поди!

Домка собирала свою суму, Сеньке сказала:

- Боюсь, как бы богорадной не полез ко мне, давай уведу тебя в воеводину спальню.
- Давай уйдем!
- Разуйся!

Сенька разулся и лестницей из подклета прошел вслед за Домкой в спальню боярина с негасимой лампадой, сел в кресло воеводы, оглядел царский портрет над столом, подумал: «Когда ты лопнешь от мужицкой крови, пес?»

Здесь Сенька не боялся, что увидят: сквозь узорчатые образцы слюдяных окон скупно проникал дневной свет.

Домка принесла еды. Сенька поел, она открыла для воздуха в сад выходящее окно.

– Сквозь деревья ништо увидят! Вались, спи – легче ждать! – Ушла.

Сенька лег на лавку, заснул крепко, его разбудило пенье комаров. Вместе с прохладой ночной комары налетели из сада в раскрытое окно.

Пришла Домка, одетая воином: в железной шапке. Сенька надел кафтан, а под кафтан панцирь. Пистолеты были заряжены, на кушак Домка дала ему нацепить саблю, взяла со стола воеводы кожаную калиту с золотом.

– Годитца нам!

– Бери лучше пистолы – деньги есть! Домка помолилась образу Спаса.

– Худо, Семен, што ты не молишься.

– Не молюсь! Мало меня милует!

Они вышли тайной лестницей в сад, садом – на пустырь. У тына привязаны две лошади, оседланные для дороги, с притороченными сумами, в сумам – пистолеты.

Вскочили, но поехали не рысью, а шагом. Когда миновали пустырь, направились берегом Медвежьего оврага к мосту. Едва переехали мост, навстречу стрелецкий десятник.

– Куда?! – крикнул он, узнав с Домкой Сеньку. Сунул руку к кушаку за пистолетом.

Сенька выстрелил. Десятник, роняя с головы новую шапку, задвигал руками и ногами, сел на дороге.

Сенька соскочил с коня, схватил убитого и с силой кинул в овраг под мост. Убитый, шаркая по кустам, скрылся в глубине оврага.

– Так их, воеводиных шепотников! – сказала Домка. Сенька молча сунул разряженный пистолет в суму у седла, взял другой. В воротной проездной башне пушкарь отворил Домке ворота.

– Куды это, Матвевна, на ночь глядя?

– В Москву – воевода зовет! Ездогого взяла, штоб не грабили в дороге.

– Ну, счастливо!

– И тебе здорово сторожить.

Перед дорогой в лес в слободах было сонно и тихо. Где-то далеко, должно быть на Волге, сзади Сеньки с Домкой всхлипывала в воздухе ночном, белесом и туманном, чайка. Две-три звезды над туманами высоко-высоко поблескивали. Когда въехали в лес, Домка из пазухи достала детскую шапку, небольшую темную, прижала к глазам, заплакала и спрятала обратно.

– Чего ты, Домна?

– Робяток вспомнила, Сеня.

– Живы будем, налюбujemyся!

– Эх, все так, да сердце матерне ноет!

– Одно потеряла, другое нашла.

– Давай, Семен, подгонять! Я резвых коней оседлала, да ехать не близко к Берендееву.

В одном месте слезли, стреножили коней, дали им подкормиться.

Сенька, сидя на пне у дороги, сказал:

– Нехорошо! Лошади потные пьют в канаве с жадностью, хрипеть будут.

– Ништо! В лес на них не поедем, в обрат отпустим, отгуляютца дорогой.

У Берендеева болота, не переезжая гати, когда сквозь деревья засветилось, рассыпаясь искрами звездистыми и радужными, раннее солнце, Домка и Сенька остановили взмыленных

лошадей. Домка из сумы у седла вынула медный рог и протяжно затрубила два раза.

Справа от гати дорожной, в стороне болота ответили свистом. Скоро на дорогу вышли в армяках и валяных шапках три лапотных бородатых мужика. Домка сказала:

– В гости к вам, товарищи!

– Любо, Домнушка!

– Любо нам! С товарищем пришла, добро!

– Снимите с коней сумки, уздечки, а коней в обрат! Вышедшие из леса бойко поснимали с коней сумы, уздечки и седла. Повернули лошадей головами к дому и свистнули.

Лошади радостно отряхнулись, пошли было шагом, и вдруг, заржав, понеслись в сторону Ярославля.

От гати с версту тропка шла по краю болота мокрая, потом поднялась на косогор и спустилась снова в низину, а когда вывела на косогор, то пропала, и перед идущими встала стена непролазного ельника, заломленного буреломом.

– Вот тут надо ползком мало, а там разогнемся! – сказал передний и, поблескивая берестом мокрых лаптей, пополз. За ним ползли все, отгибая от земли свисавшие колючие ветки густого ельника.

Долго ползли; когда миновала густая заросль, подхватила березовая роща, по роще шли не прямо, а по редким зарубкам на стволах, потом шли ельником и вышли на обширную поляну, ровную и сухую. Здесь открылся Берендеев бугор, в боку его были вырыты землянки и закрывались деревянными дверями.

Под землянками врыты в землю деревянные таганы, стояли скамьи, вместо ножек у скамей были обрубленные ветви сосен, и сами сосны колоты пополам и тесаны.

– Гей, ватаман, примамай гостей!

Сенька и Домка сняли сумы, сели перед таганом, а мужики-поводыри, скинув шапки, остались стоять. Из одной землянки открылась дверь, вышел коренастый, обросший черными кудрями и такой же бородой мужик, в черном плисовом полукафтаны, обшитом золотыми галунами.

За кушаком пистолет, из голенища правого сапога торчала роговая рукоятка ножа.

– Ну, здорово, Домна Матвевна! – сказал он, подходя к Домне, прибавил: – Давно пора боярину служить закинуть.

Атаман подал Домку руку, взглянул на Сеньку, спросил:

– А этот с тобой?

– Со мной мой муж, Григорий.

– Вот не знал, што ты мужня жена! Ну, тепер давайте пить, гулять, а коли время сыщется – и забавляться. Эй, робята, огню!

Трое поводырей, скинув кафтаны, натаскали валежника, сыскали топоры, в сухом воздухе скоро понесло дымом.

Сенька сказал:

– А не боитесь, что из чужих кто на огонь придет? Атаман сел на скамью близ Сеньки, засмеялся:

– Пушай придет, примем! Вы подите в землянку – крайняя вам, лишнее скиньте с себя.

Сенька и Домка пришли в землянку. Там была постель на козлах, а другая помещалась на земле – от пола в аршин, было в горе вырыто углубление со сводами. Сенька снял кафтан, потом и панцирь.

– Добро, Семен! Кабы не тоска по робенкам, то и жить можно...

– Спасла мужа, потеряла детей. Не спасла бы, тогда на детей любовалась, – улыбнулся Сенька.

– Пустое говоришь. – Домка вынула из сумы одеяло и тканую мягкую простыню. Устроила постель. Постель была из медвежьих шкур, положенных одна на другую. – Жестко будет нынче, а там излажу.

У огня они все трое – Сенька, атаман и Домка – выпили водки, закусили жареным мясом; когда пали сумерки по лесам и по небу, стали собираться гулящие. Было их с

атаманом, сосчитал Сенька, тридцать три человека.

– Сколь у нас оружия, атаман?

– Пистолей с полусоток есть, справные все, три пищали, два мушкета, топоры, кистени, рогатины, капканы. Еще три короба рогулек железных.<sup>413</sup>

– В прямой бой идти нельзя!

– Нам пошто в прямой? Петли ставим, капканы, а где плотно, коли опас большой, мы железный чеснок кинем, мохом запорошим сверху, тогда не пройдешь тут и не проедешь.

Сенька был спокоен и доволен. Домка погрустила о детях и тоже успокоилась на том, что ее «приголубник», кого и видеть не чаяла, тут живет с ней.

Ночью, радостные, уснули. Перед тем как разоспаться, Сенька сказал:

– Узнай, Домнушка, все ли гулящие меж собой и с атаманом сговорны? Глядеть надо зорко, чтоб кто по злобе ли, аль неразумью ватагу не погубил!

– Спи, родной, все проведу...

Утром к богорадному прибежал поваренок. Старик выпускал из тюрьмы закованных сидельцев<sup>414</sup>, чтоб ходили собирать себе корм.

Поваренок ждал. Когда сидельцы ушли, ушли и двое стрельцов сопровождать гремучую нищую братию тюремщиков, коих сидело в тюрьме ярославской восемь человек, старик спросил поваренка:

– Пошто пришел? Провизия твоя у клюшницы Матвевны! – Не за тем я, дедушка; послал повар к Домне Матвевне, а там и подклет пустой... и нету ее, ни пушиночки...

– Да што ты! Ой, малой, ой, лжешь! И куда она подевалась? Караулы десятник тоже не менял, стрельцы ропчут. Ой, пойдем, пойдем!

Старик шел и разводил руками. Ходил по дому, хрипло покрикивал:

– Матвевна, а Матвевна! – И вдруг стукнул себя по лбу кулаком, вышел спешно из боярского дома к тюрьме, позвал из караульной двух стрельцов: – А ну, робята, бейте замок анбара, бейте!

Стрельцы бердышами вывернули пробои.

– Вот те, матку ее пинком! Не вертца, да видно утекла с разбойником?!

Пока богорадной бился с амбаром, на воеводский двор стрельцы принесли мертвого десятника. Глаза вороны выклевали, а ворот разорван и грудь изъедена собаками.

– Ух, дьяволица! Ух, ух! Беда, робятки.

– Беда большая, старик!

– В ночь пушкарь Микитка сказывал, выпускал из города Домку воеводину с ездовым.

– Ну, так!

– Много ты ей верил, сам не доглядывал гулящего в анбаре.

– Не я один верил, она правая рука у Федора Васильича! Думать тут много не надо – иду к дьяку в съезжую избу!

Старик богорадной спешно ушел со двора.

Вечером в Москву направились с вестью к воеводе Бутурлину пятнадцать конных стрельцов. Одиночно стрельцы по Московской дороге не ехали: разбой участился гораздо!

На московском дворе воеводы Бутурлина наехавшие рано утром с Ярославля конные стрельцы подняли пыль.

– Спешитесь! – приказал седобородый стрелецкий пятидесятник, и сам первый слез с коня, отвел его к тыну. – Не шумите, я чай, боярин еще почивает.

Так же к тыну и иные стрельцы привязали бьющихся от мух коней, покрикивали на

---

<sup>413</sup> Род проволочного заграждения того времени – четыре изогнутых рожка, на концах рожков острые зазубрины. Они же чеснок.

<sup>414</sup> *Старик выпускал из тюрьмы закованных сидельцев...* – чтобы не кормить арестантов за казенный счет, их выпускали со сторожами побираться по городу; обычное явление в XVII в.



лошадей негромко:

– Бейся! Гляди!

Дворецкий вышел к стрельцам, седой сказал ему:

– Нам воеводу – спешно!

– Наехали, боярин, зовут!

– Безвременно? Ужели что стряслось? – спросил воевода. Сверх голубого зипуна дворецкий одел боярина в летний шелковый кафтан песочного цвета.

– Запахнись, не надо запояски!

В мягких зеленых чедыгах вышел на крыльцо. Седой пятидесятник, шевеля высокую шапку на голове, с цветным верхом начальника, подошел к крыльцу.

– Пошто безвременно город оставили?

– В городе, боярин, все в добром порядке.

– Что же не в порядке?

– Да, вишь, спешили, дьяк даже отписки не дал: «Скажите на словах». Домка бежала, боярин.

Боярин побледнел, сделал по крыльцу шаг к верхней ступени:

– Покрала дом, сожгла?

– В дому и рухледи искал богодарной, сказал: «Не тронута!» Худшее учинила она...

– Говори скоро, что учинила?

– А вот! Стрелецкий десятник Пастухов Мишка снял по указу твоему с насада гулящего, звать Гришкой, и как доводил при мне дьяку съезжей избы богорадной, тот Гришка в недавние годы родителя твоего, боярина Василья, убил!

– Оковать надо было того вора да в тюрьму взять!

– Не дала она в тюрьму вести, заперла в анбар и ключи взяла, а в ночь выняла его и, захватив лошадей, бежали. По дороге городом десятника Мишку убили, кинули в Медвежий вражек.

– У ней робята были, взять их!

– Робят она до побегу схоронила!

– Разыскали ли, куда бежали разбойники?

– Стрельцы в догоню гоняли да по лесу шарили, сказали: «Должно, к Берендееву болоту угнали».

– За Волгу они, в Костромские леса не ушли?

– Копыто лошадино показывает на Московскую дорогу.

– Недоглядка великая упустить таких воров, но ежели за Волгу не ушли, то в этих лесах скоро сыщем. Вам скажу: подкормите лошадей, сами справьтесь да гоните в ночь к Александровской слободе. Там в Успенском монастыре под колокольной, что скосилась, и под шатровой есть конюшни для вас, кельи есть же. Монахини прокормят: «За прокорм-де боярин наедет, сочтется», меня знают!

– Любо, боярин!

– Стой еще: до Александровской и по Серне-реке в лесах чищено от разбойников. Государь посылал стрельцов, а если кои и ухоронились, то не большое дело. Те воры, Гришка и Домка, надо полагать, дальше Берендеева не откинутся. Устройте лошадей и идите на поварню да в людскую избу.

– Добро, боярин, благодарствуем!

Стрельцы разбрелись, а боярин спешно оделся и поехал к царю.

Душно стало в городе, но царь жил в Кремле и не думал уезжать в Измайлово или Коломенское. Изредка лишь ездил на богомолье – и то в ближние монастыри. В кровати лежал мало, больше сидел в мягком кресле, обложенный подушками, под ноги ему тоже клали подушки. Цветные окна и так мало давали света, а от солнца, по приказу царя, еще и завешивались тонкими запонами. Из сводчатых палат с расписными по золоту узорами, с раскрытыми настежь дверями несло прохладой, и эту прохладу и сумрак любил теперь царь. Любил и тишину. Кругом дворца и во дворце было тихо. Бояре указали никаких дел, ни

кляузных, ни расправных, на Ивановой площади не чинить. Все дела и просьбы перевести на Троицкую площадь.

Царь сидел на кресле под образом Спаса, только одна лампада у образа освещала скуным огнем сумрачную палату, сияющую по стенам мутно-золотыми узорами. Вошел спальник Полтев, поправил огонь лампады. Царь дремал, открыл на сером лице строгие глаза с большим трудом. Веки припухли. Раньше в глазах царя часто искрились смех или веселость, теперь он глядел, редко мигая, и глаза круглились.

– Федор! Есть кто там в прихожей? Я слышу, – хрипло сказал царь.

– Есть, великий государь, но ежели тебе надобно опочивать, то подождет.

– Кто есть там?

– Бутурлин, Федор Васильич.

– Ему нынче боярство сказано, а новые бояре гораздо спесивы, да Федора люблю я, скорый, огненный – везде сам, свой глаз везде, – таких немного у меня... зови да накажи ему, чтоб не стучал и говорил не во весь голос.

Неслышно ушел спальник, и так же неслышно, в расшитых жемчугом красных чедыгах, в зарбафном кафтане вошел Бутурлин.

– Желаю великому государю здоровья и счастья на многие годы. – Низко сгибаясь, Бутурлин поклонился.

– Счастья, Федор Васильич, у меня довольно, здоровья мало, а ежели нет здоровья, то счастье, как прогорклое масло – с виду казисто, внутри же отрыгает и жжет. За делом ко мне, боярин?

– Пришел, великий государь, просить указ – идти имать разбойников.

– Боярское ли то дело? Стрельцы управят, лес мы чистили вглубь далеко – ведомо тебе?

– Ведомо, великий государь, но тут разбойник опричной, мой домовый.

Царь молчал. Бутурлин, подождав, продолжал:

– Из дома моего, великий государь, бежала холопка за разбойным делом.

Царь пухлой рукой приподнял набухшее правое веко, поглядел на боярина, сказал:

– Вот кого на дыбе хотел бы увидеть – бабу и разбойницу.

– Бывают такие, великий государь!

– Чего не бывает, да я-то не видал таких.

– Бежала, великий государь, в леса, что стоят у Переславля-Залесского.

– Покрала?

– Такого худа за ней не бывало, ничего не потрогала.

– Так и пушай себе тешится! Все одно в слуги тебе не годится, а за разбой ответит по «Уложению».

– Великий государь, не до конца я сказал, боясь прибавить тебе тягости многословием.

– Говори, Федор Васильич! Слушаю, затейно даже!

– По указу Одоевского князя Якова из Астрахани: гулящих людей снимать с астраханских насадов и допрашивать – без меня был снят стрельцами разбойник, явный разинец, имя Гришка, тот Гришка при родителе моем, боярине Василье, увел всю тюрьму из Ярославля к Стеньке Разину.

– То дело я знаю, боярин! Да и самого воеводу воры взяли с собой в попутчие?

– Взяли и кончили, великий государь!

– Так нынче где тот Гришка?

– Не тая ничего, как на духу, перед тобой, великим государем, должен я сказать: та Домка у родителя моего с его попущения разбоем промышляла.

– А где тот Гришка?

– Гришку она схоронила, и оба они утекли нынче.

– Видишь ли, Федор Васильич, а я вижу – та Домка Гришке-вору и родителя твоего предала.

– Не думал того, великий государь, теперь вижу – истинно так!

– И ты, боярин, садясь на воеводство, не мог не знать за той Домкой разбойного дела?

Бутурлин потупился, помолчал, сказал:

– Сокрыл ее ради памяти родителя... Завещано было им письменно ту Домку спустить на волю.

– Не дал разбойницу на расправу, пожни, боярин, что посеял, а родитель твой прежде тебя пожал оное.

– Святая правда, государь!

– Ты сядь, подвинь скамью, мне вверх глядеть тяжело, Бутурлин сел.

– Обманул царя боярин, а бог его и покарал. Теперь сыскивать с тебя, Федор Васильич, не буду, но ты таких воров имай сам, стрельцам меньше верь, они таких и спустят. Чай, у них деньги есть?

– У Домки, великий государь, деньги должны быть!

– Тут Одоевский из Астрахани робят да женок воровских шлет с Милославским, а Милославский и князь, да на посулах проворовался... Видишь, в разбойничьем деле бояре воруют, не то стрельцы!

– Не все бояре, великий государь, таковы. Одоевского Якова Никитича не купят да и меня также!

– Это я знаю... Наедут с Милославским воры и воришки, от них ко мне пойдут челобитных короба. Отступить не можно, а слушать скушно! Бери, Федор Васильич, стрельцов, воров удалых этих, Домку и Гришку, поймай и мне покажи. Люблю глядеть, как разбойников на пытках ломают, да еще и бабу!

– И баба, великий государь, отменная, богатырка, матерая баба!

– Вот и послушаю, как запоеет она! Прощай, иди... устал я.

На дворе воеводе Бутурлину конюх подвел оседланного коня. Воевода в боевой справе, в панцире под зеленым кафтаном, занес ногу в стремя. В сенях распахнулись резные ставни, в окне на солнце заиграли радуги. Сама боярыня высунула нарумяненное лицо, в кике богатой с цветным камением, махая пухлой белой рукой, крикнула:

– Боярин, Федор Васильич, береги себя! Опасна буду за твоё здоровье. Буду молиться!

– Молись, боярыня Настасья Дмитриевна! А обо мне не печалься, не на войну иду, а еду воров скрутить, чинить великому государю и себе угодное!

О Домке Федор Васильевич не говорил. Домку очень любила боярыня.

Боярин воевода поднялся на седло.

– Скажи хоть, где стоять будешь?

– Стоять в Александровской слободе, в Успенском, куда покойная царица на богомолье ездила!...

– Приеду, сама огляжу-у! Не блазнись, Васильич, черницей ка-к-кой!

– Не езд, боярыня-а! Мы откинемся в лес к бо-о-ло-ту! – кричал боярин, уже выезжая из ворот.

– По-о-добру! С бо-о-гом!

В окне перестало сверкать драгоценными камнями, а по улице стучали копыта лошадей стрельецких. Впереди гордо ехал боярин Бутурлин.

Утром у огня атаман сидел на скамье без шапки, черные густые кудри были ему шапкой. Сидел в своем черном нарядном кафтане. Гулящие стояли кругом, иные лежали на земле. Обычно на этот день атаман давал приказание:

– Как всегда, други, я буду здесь хранить наше становище от неганных пришлых людей. Мало их забродит к нам, а все же опас надобен. Стрельцов, подступающих на нас, мы извели по-тонку: в полдень и в жару они не опасны – спят, оводов боятся, и кои лошади есть у них – бесятца. Вы же, кто удалее, пятнадцать четом, сбросьте с себя кистени и пистолы, запояштесь на сей день уздечками и лес окружите, возьмите справный трут и кресало, а к вечеру от залесской дороги лес подожгите. Стрельцы устроились станом за болотом на поляне, там и шатер воеводы Бутурлина.

– Ватаман, отец!

– Ну?!

– Омелька Хромой бежал от нас!

– Куда?

– Надо мекать, перешел гать к Александровской, должно, ладит на Москву!

– Изъян не велик! На дело не гожд кашевар, сыщется иной на то дело.

Вышел из землянки Сенька. В кафтане за кушаком – пистолеты. Атаман, взглянув на Сеньку, продолжал:

– Семен – есаул, он возьмет двенадцать молодцов с пистолетами, проберетца низинами да ельником в балку, балка выведет на дорогу к Ярославу с версту от гати. Слух есть, што Бутурлин едет к дому набирать ярославских стрельцов, так помешку штоб боярину учинить и тут его в балке караулить.

Сенька поклонился атаману; выбрав людей, увел в лес. Другие запрятали оружие в землянку, а оттуда вынесли уздечки. – Запояштесь уздечками, штоб не брякали.

– Пошто нам обороти, ватаман?

– Когда кой из вас встренет стрельцов, скажет: «Лошадь ищущ».

– Оно верно!

– Ладно так!

– Идите! Тем, хто остался, дело дам: они с вами пойдут к Клещеву озеру<sup>415</sup> и в лодках на устье Трубежа перевезут. Одни останутся у лодки с нашей стороны в заломе, другие за болотом, и лодка штоб в кустах. Сбираться всем к Трубежу, а хто к дороге ближе, тому через гать и в залом.

Получив поручение, гулящие ушли. Из землянки вышла Домка в кожаной куртке, в железной шапке.

– А, Матвевна! День твой любезной. Домка подала атаману руку, сказала:

– Атаман! Ежели воевода нам в полон дастся, то его не убить. Выкуп возьмем, уговор и спустим, царь нас не будет тогда гораздо теснить. Убьем Бутурлина – и от царя нам ждаться много беды, озлитца царь! Так мекаю я.

– Пусть будет по-твоему, Домна Матвевна! Куды наладилась?

– С тобой посижу, а там видно станет.

– Ладно, Матвевна, поберегем становище, и мне веселее. Домна села рядом с атаманом на скамью к огню, налетели оводы, солнце поднялось над лесом, палило жарко. Огней оводы боялись – к сидящим в дыму не приступали. Атаман закурил трубку.

На лесную поляну к полотняному шатру воеводы стрельцы привели хромого разбойника, взяли на дороге – пробирался к Александровской слободе. Был он одет в серый рядной кафтанишко, в лаптях. При обыске ни ножа у него, ни пистолета не сыскано, худую шапку держал в руке.

Воевода стоял у шатра, строго спросил:

– Куда шел?

Разбойник упал перед воеводой земно.

– Встань, говори!

– Неволей, батюшко боярин, ворами в разбой иман! Давно лажу уттить от их и милости твоей прошу – никого я не грабил, не убийствовал. Обретался кашеваром.

– Все простим, коли нам послужишь! И ты нас поведешь в разбойничий стан, укажешь, как их тайные тропы сыскать и не запутаться. Как обойти болото? Говори!

– Не надобно, боярин, болото обходить! Долго, ломко и путано гораздо, а вот отселе недалече в сторону, прямо через болото есть лаз.

– Хорошо, если есть!

Разбойник поглядел на солнце, заговорил:

---

<sup>415</sup> *Клещевое*, или Клещино-озеро, – древнее название Плещеева озера, на берегу которого стоит город Переславль-Залесский.

– ...и ежели в сей час иттить, то и самого ватамана взять мочно: у становища в полдень он завсегда один. Возьмешь его – и все разбойники сдадутца, без его они едино как слепцы.

– А новые, пришлые там есть?

– Есть, батюшка боярин, на днях двое притекли с Ярослава: женка матерая такая да мужик большой, ватаман того мужика поставил в есаулы.

– Они! – топнул ногой воевода. – Возьмем – и походу нашему конец. Гей, стрельцы!

Воевода запахнул свой зеленый кафтан, подтянул кушак, глаза заискрились, когда он из шатра вынес и пихал за кушак пистолеты. Стрельцы в розовых кафтанах Кузьмина собирались к шатру воеводы с бердышами, с мушкетами, саблями.

– Я, батюшко воевода, с болота ход знаю прямо к становищу.

– Идем прямо!

– Токо, бояринушко, грузу с собой много не бери, бери пистолы на одного человека, и с пистолы ладно. Пищалей не треба, налегке штоб. От груза по болоту ключи будут оползать, а иттить должно с оглядкой – ямы водяные, бездонные.

– Это ты верно! Шестеро стрельцов да я – и управимся. Гей, стрельцы! Сабли, мушкеты не брать, брать пистолы. Шестеро пойдут со мной... Готовьтесь, да не тамашитесь долго.

Стрельцы разошлись, чтоб собраться снова.

Все гулящие, переведенные за Трубеж, пошли в сторону Переславля-Залесского дороги, а двое берегом болота. Один бойкий парень, русый, подобрался, залег в заросль недалеко, сзади шатра воеводы.

Прослушав часть речи хромого перед воеводой, он спешно уполз к болоту и почти бегом прибежал к атаману.

Парень был потный, до пояса мокрый, один лапоть с ноги у него сполз, держался на оборках, мокрые русые волосы прилипли прядями к красному лицу. С разбегу кинулся к огню, упал, споткнувшись за валежину, и спешно, задыхаясь, заговорил, сбрасывая с себя уздечку:

– Ватаман батюшко! Омелька стрельцов ведет... дребью, прямо!

– Стрельцов!

Атаман сбросил на скамью свой нарядный кафтан, в одной рубахе кинулся в землянку, мигом вывернулся в кафтанишке, за кушаком четыре пистолета, как был без шапки, сунулся в заросль; найдя тропу, пригибаясь, скрылся. В заросли был неведомый чужим коридор, будто большая нора, из этой норы атаман пролез в густой куст матерого можжевельника. Там он зорко оглядел болото. По болоту медленно и осторожно, на зыбучих местах, в зеленых высоких сапогах, в зеленом кафтане с пистолетами за кушаком шел, видимо, сам воевода – лоснилась черная с проседью борода, плюсовый колпак от жары был сбит на затылок, на упрямом лице сурово сдвинуты густые брови. За воеводой, прихрамывая и отставая, с колом в руке, в рядне без шапки прискакивал Омелька, что-то покрикивая сзади идущим стрельцам, ярко-розовым при свете солнца. Стрельцы шли, боязливо оглядывая трясины и глядя себе под ноги. Только один стрелец поспевал за Омелькой, а боярин опередил всех, иные отстали.

Атаман просунул дуло пистолета так, чтоб не мешали ветки целить, и выстрелил. Омелька, хватаясь за бок, метнулся в сторону, упал в ключ, и голубая равнина быстро проглотила его. Идущий за Омелькой стрелец схватился за пистолет, а атаман снова выстрелил, и стрелец, крикнув: «Това-ры-ы...» – тоже исчез в трясины. Далеко идущие стрельцы приостановились, потом быстро повернули обратно.

Воевода решил не стрелять там, где от выстрела можно оборваться в бездонные окна, зияющие на пути. Воевода, прыгнув с ключа на край болота, кинулся прочь от места перехода он прошел шагов двадцать. Никто больше не стрелял. Тогда боярин оглянулся на стрельцов и крикнул:

– Гей, стрельцы! Ратуй!

На болоте, в голубом мареве и зеленой высокой траве с кое-где торчащими редкими деревцами не видно было признака человека.

– Стой, Бутурлин! Как же так? – сказал сам себе воевода. – Видно, надо оборотить, сыскать стрельцов, а где переход?

Воевода тут только спохватился, что не заметил, откуда стреляли и где он из болота встал на твердое место. Берег и кусты можжевельника были однообразны, сзади стена бурелома завалила весь берег. Бутурлин попробовал шагнуть в болото и в двух шагах, мокрый до кушака, едва выбрался обратно.

– Черт! – сказал он, вылез и сел на валежину. – Пуцав хоть бы выстрелили!

Оглядел страшную заросль и никого не увидел, даже ни один сучок не ворохнулся, а между тем из болота налетели кучей оводы и как огнем жгли руки, лицо, шею.

– Вот всегда так! Стрельцы-трусы и изменники... Может быть, придут меня выручать? И покуда мешкают, те, кто стрелял с берега, убьют меня! Черт! Стой, воевода... Плещеево озеро, надо полагать, там? Туда не идти, стена бурелома запрокинулась в болото... в болоте ключи, из них и река Трубеж падает в озеро... Проклятые... съедят живьем! – отмахнулся от оводов воевода и продолжал, как бы убеждая себя: – Так! Дорожная гать, полагать надо, будет там? Да, туда идти! И как случилось? Поспешил! Все упрямяство и борзость – вот они! И ты из веков такой, борзой и упрямой...

Воевода встал и тяжело побрел в сапогах зеленого хоза. Чавкала вода, голенища раскисли, оседали. Он шел долго, устал, сел на толстое, бурей сломанное голое дерево. Марая руки в перстнях в зеленую краску раскисших сапог, непривычно переобувался. Голые ноги обжигали укусами оводы. «Съедят, думать надо! Встречусь с разбойниками – придетца, вместо грозы на них, с ними же договариватца».

Он попробовал двинуться в глубь заросли и в страхе вернулся: «Сатана пролезет! Пойду берегом этого проклятого места, буду вести путь к гати!»

Оводы не давали покоя, воевода нашел среди деревьев тесное место, скорчился, сел, повернул колени и лицо в сторону болота, оводы отстали. Когда он ворочался, в пазухе у него зазвенело железо. Воевода переложил дорогие пистолеты – один в правую пазуху, другой в левую. Пистолеты с кушака, тяжелые и большие, сунул в заросль. «Двух хватит!» Посидел, зажмуря глаза, отдыхая от шума оводов и их укусов, стал думать: «Как же так? Разбойник убил поводыря, стрельца убил, а меня не тронул, я же был ближе? Испугался убить воеводу? Тот злодей, что с Домкой утек, взятый по наказу Одоевского с насада, тот бы не испугался, убил! Эх, водки бы выпить! Выду на гать, да не наглядят стрельцы, отощаю... Идти к Александровской восемнадцать верст... ух!» Тело воеводы ныло во всех суставах, но он задремал, оводы не приставали, и тишина была мертвая. Сквозь дрему услышал треск за болотом, будто рушилась деревянная башня, потом закричали люди, и понесло запахом гари. Воевода очнулся: «Пожар? Теперь внятно мне, пошто не пошли стрельцы. Пожар! Разбойники подпалили шалаши!»

Пожар ширился, и солнце и день померкли. Оводы тоже исчезли. Воевода вылез, чтоб размять усталые члены. Он почувствовал, что бесконечно устал, и лег лицом вниз на сломанное бурей толстое дерево, обхватив его руками и ногами. «Посплю, и как быть? Не знаю...»

Атаман пришел к становищу, кинул близ огня худой кафтан и пистолеты, надел свой нарядный, сел и закурил. Домка вышла из землянки, куда ушла от жары дневной. Она не знала тревоги, которую испытал атаман. Он же был, как всегда, спокойный. Выкурил трубку, набил другую. Домка села близ него, атаман сказал:

– Не убил, Домка, твоего боярина, а рука-таки зудила убить! Спасай его, коли хошь, – никуда не денется с берега, а ты тропы знаешь. Едино лишь – не води к становищу, а то глаза вязать ему придетца.

– Где он?

– Там, на берегу болота, буреломом бродит.

– Не сказывай про него Семену!

– Как велишь, так будет.

Утром Домка оделась воином, пошла в бурелом на берег трясины.

В серых болотистых испарениях всю ночь дрожал воевода, не спал, а полубредил. Утром, когда встало солнце, красное от лесного пожара, поднялся с дерева злой и угрюмый; он пинал валежник, который мешал идти, сам за него запинаясь и падал. Долил голод, лег, попил воды из болота, плюнул и пошел, как казалось ему, в сторону гати.

– Тут мне, видно, конец! Прощай, боярыня. Не послал впереди стрельцов, все сам, везде сам, и вот! Жена, жена!

Путь становился все уже между болотом и буреломом. Устал воевода, сел под толстую сосну, она корнями уползала в болото. Привалился спиной к стволу, и в отчаянии даже думать не хотелось. Сзади его будто затрещали сучки. Воевода сунул руку за пазуху, взвел курок пистолета: «Зверь?»

Знакомый голос над ним сказал:

– Пойдем, боярин!

Воевода вскинул глаза. У сосны, сзади него, стоял рослый воин в железной шапке.

– Ты, Домка?

Домка не ответила, помогла воеводе встать, они пошли.

– Вот куда завела ты меня, псица, и дом мой разорила.

– Дом не тронут, боярин!

– Пошто утекла?

– Мужа от тебя схоронила.

– Того гулящего Гришку? Злодня? Того, кой моего родителя решил?

– Его, боярин!

– Видно, все! Уйди, псица, один выберусь на гать!

– Не выведу – не уйдешь, боярин!

Они помолчали, прошли еще, и Домка по толстым сучьям, как по лестнице, полезла вверх, подала руку Бутурлину, и он полез. Между косогором и стеной бурелома было пространство. Домка сказала:

– Не оборвись! Тогда смерть!

Оба они перебрались на косогор, заросший густым ельником. Домна наглядывала деревья со старыми, едва заметными затесами, вела в низину:

– Береги глаза!

Боярин шел и уклонялся от колючих ветвей; когда подхватила тропа, он заговорил:

– Пусть будет так! Что сделано – не вспоминать, его не вернешь. Иди со мной и верь слову Бутурлина Федора воеводы. Мстить твою поруху не буду.

– Муж сказал: слову боярина не верь.

– То сказал разбойник, а я говорю: «Слову Бутурлина верь!»

– Он сказал: бояре бьют нас нашими же руками! Наши руки бить перестанут – боярские отваятца!

– Слову Бутурлина не веришь, псица?

– Нет, боярин! Больше боярскому слову не верю. Вон твоя дорога, прощай!

– Надолго! Да!

По тропе боярин шел впереди, он извернулся и выстрелил Домке в лицо. Домка раскинула руки, упала на колени, изуродованным лицом ткнулась в лесной хлам.

Бутурлин не оглянулся, кинул пистолет и вышел на дорогу.

– Отвечай за разбой так!

Скользя и спотыкаясь, воевода перешел гать за гатью, по дороге было жарко и душно от лесного пожара. Деревья, подгорев, падали, заломляя путь. Бутурлин спешил из последних сил.

– Задушит или убьет! – со страхом шептал он.

Долила жажда, кружилась голова. В одном месте, перелезая обгорелый хлам, на дорогу упало дерево, и Бутурлин получил вскользь удар суком в спину между лопаток; он скатился на дорогу в сторону, в мох, и лишился сознания.

К ночи, исполняя приказание воеводы, ярославские стрельцы направлялись домой. Они

подняли воеводу, и двое, отделившись, вернулись, отвезли Бутурлина в Александровскую слободу в Успенский монастырь. Монахини обмыли воеводу и привели в чувство. Воевода плевался кровью и долго не мог ни говорить, ни думать. Когда заговорил, сказал:

– Пущай стрельцы привезут ко мне боярыню мою...

Потом позвал пятидесятника стрелецкого, от него узнал: «Обгорели и искалечились двадцать стрельцов да столько же кинулись от огня в болото и выбраться обратно не могли – засосало с головой». Воевода застонал, призвал подьячего, указал писать:

– Пиши, служилой, государю, не крася ничего, как было. Обо мне пиши так:

«Нынче же, великий государь, как хворость моя хоть мало спадет, уеду наладить город, и если здоровье мое сыщется, наберу стрельцов, буду искать злодеев, воров от Переславля-Залесского, а разбойницу Домку я убил!»

Стало вечереть, вернулся Сенька и девять человек гулящих людей. Из землянки вышел атаман, обычно без шапки, сел на скамью, приказал поджечь огонь. Собирались другие люди, ватаги от Плещеева озера, сбрасывали с себя уздечки, ложились кругом огня и на поляне. Атаман набил трубку. Сенька сказал:

– Прошли конно-ярославские стрельцы, воеводы, атаман, меж ними не было. Стрельцов пропустили, бою много, а прибыли нам, кроме урону в людях, никакой – не задевали их. Трое караулят в балке, ждут – не поедет ли?

Атаман распорядился:

– Оборотить из балки караул! Сходи, кто может. Эй, люди! – Бородатый молодец встал с земли, он молча скрылся в лесу.

– Я бы, Григорий, шутя порешил воеводу, пришел к становищу, да воли мне не было.

– Пошто, атаман, упустил зверя?

– Матвевна не указала – уважаю ее и слушаю... Нынче нам воеводы не видать! Поди угнал иных стрельцов сбивать, прежние с поляны от огня раскочились, мекаю я.

– Сам налез – и убить бы черта!

Сенька сидел, не раздевался, под распахнутым кафтаном, розовея от огня, поблескивал панцирь. Он сбросил с потной головы только шапку.

– Каким же путем пробирался воевода к становищу?

– Через дробь! Предатель сыскался, пес, кашевар хромой, я того убил, и путь воеводе пресек.

– Где теперь Домна, атаман?

– Ушла она, Григорий, боярина выводить на гать, да штото долго ходит! Ужели пес боярин увел бабу?

– Не уведет он ее... А долго ходит она не к добру, верит злодею напрасно.

Сенька нахмурился, посутулился на скамье и, тоже нашарив в кармане трубку, набил ее и закурил. Молчали долго, как бы ожидая чего-то... Люди снесли в землянку оружие, убрали уздечки, нарубили дров, сыскался кашевар, стал варить еду. Люди смеялись у своего огня, шутили. Атаман не спрашивал: «Как подходили? Как жгли лес?» Пожар лесной сделал свое, теперь за болотом на бору он снизился и затих, но по дороге к Александровской слободе пожар еще бушевал, и деревья падали, заломляя дорогу.

– Долго ходят люди, зримо, пошли глядеть – не горит ли гать?

Но вот из лесу, со стороны гати показались четыре человека, на плечах они несли что-то тяжелое. Подошли к огню атамана, молча сняли с плеч убитую Домку. У Домки пулей разворочен череп, железная шапка, глаза затекли кровью.

Атаман покосился на мертвую и снова набил трубку:

– Смерть своих ежедень вижу, а на эту смерть глядеть не хотел бы, душа мрет!

– Чутьем знал такое... и не верил! – сказал Сенька, встал, приказал: – Несите, други, мое горе в землянку.

Домку подняли с земли, перенесли, положили в землянке на постелю в углубление стены. Уложив убитую, перекрестились, попятись и, неплотно притворив дверь, ушли молча.



Сильные руки Сеньки дрожали, глаза слезились, он зажег факел и крепко устроил его в земляной стене. Склонив голову, сел у постели убитой на скамью, сидел молча, глядел, почти не отрываясь, на труп, только к утру задремал. Факел померкнул, трещал и совсем погас, над головой прожужжала зеленая муха, потом другая. За дверями землянки было светло и тихо, сквозь вершины деревьев, догорая, светилась заря.

Распахнув дверь, Сенька вышел, громко сказала

– Товарищи!

Из своей землянки шагнул атаман. Скоро собрались все люди, они не надевали шапок. Сенька еще сказал:

– Сыщите лопаты!

– Куда укроем Матвевну, Григорий?

– Там, атаман, где древнее строение.

– Несите! – махнул рукой атаман.

Домну вынесли из землянки, поднялись на бугор и вырыли могилу в обломках старого постройки. Когда подложили веревки, чтоб опустить в глубь земли, Сенька, махнув рукой, остановил, он расстегнул куртку убитой, из-под рубахи достал детскую синюю шапку, ею закрыл лицо Домки:

– Спи! Вспомню тебя – придет время.

Домку зарыли. Сенька из землянки вместе с кожаной сумой вынес свою баклагу. В ней была водка. Баклагу Сенька поставил близ огня атамана.

– Сыщите чашки! Горе мое запьем, помянем дивную женку – она два раза спасла мою жизнь!

– Два раза? Вот...

Когда кончили пить, Сенька указал на землянку, где жили:

– В землянке, братья, все ваше, а я ухожу!

– Куда, Григорий? – спросил атаман. Сенька поднял голову, сказал громко и твердо:

– Иду на царя и его род!

– Што ты!

– На царя?!

– Страшно молвишь!

Кричали кругом, только атаман молчал.

– Други мои! Все звери державцы! От изгони которых вы утекли в леса и болота, кинув детей и женок, все те злодеи воеводы царем ставлены и Бутурлин-убийца также!

– Эх, не уходил бы ты, Григорий! – сказал атаман. – Я знаю, тяжело тебе.

– Надо мне быть ближе к делу, атаман! И сколь во мне есть ума и силы – орудовать, завет Степана Тимофеевича по разуму моему исполнить!

Сенька надел суму.

– Брат Григорий, каким путем идешь?

– Через дробь, атаман!

– Тяжел ты, и в пансыре, я чаю, опасно?

– Иду!

– А ну! Воля его, проводим, други, в путь товарища. Тайным ходом через залом полезли гулящие люди на берег болота. Атаман приказал:

– Сыщите ему кол подольше!

Сеньке дали длинный еловый кол. Солнце стояло над лесом, голубая сверху, снизу зеленая равнина Берендеева болота, в синих и белых отсветах, заколебалась под ногами Сеньки. Пока он был в виду, кричали:

– Мекай по солнцу-у! Вдоль не наладь!

– Не на край, норови на середку клоча!

– Воро-но-ок бере-гись!

– Они в Трубеж вьют по-о-д-земноо! Атаман последний раз покрыл все голоса:

– Гарью пойдешь – ям бере-ги-сь, не сго-оори!

Сенька скрылся в голубом мареве болота.

## Словарь устаревших слов

### А

*Абазур* – обманщик.

*Абазуриться* – освоиться.

*Абие* – тотчас.

*Адамант* – алмаз.

*Азям* – мужская верхняя одежда до колен, с узкими рукавами.

*Аksamит* – бархат с узорами золотого и серебряного шитья.

*Алтын* – 3 копейки, или 6 денег.

*Альбо* – или.

*Аржанина* – ржаная солома.

*Афендр* – зад.

### Б

*Бабить* – принимать роды, быть повивальной бабкой.

*Базенький* – хорошенький, красивый.

*Бажило* – от бажилить – клянчить, канючить.

*Бакулы* – пустые слова.

*Балясина* – точеный столбик в перилах крыльца.

*Банник* – шест со щеткой для чистки пушечного ствола на одном конце и с утолщением для забивания зарядов на другом.

*Басота* – красота.

*Бахарь* – болтун, фантазер, сказочник.

*Белец* – житель монастыря, не постриженный в монахи.

*Бердыш* – оружие стрельцов, род секиры.

*Бзырять* – метаться.

*Бирюч* – глашатай, объявляющий на площадях царские указы.

*Божедом* – житель богадельни.

*Братина* – большая чаша для вина без ручки и носика.

*Брашно* – еда.

*Брусить* – говорить вздор, чепуху.

*Буза* – густой напиток вроде кваса.

*Бурмицкий жемчуг* – ценный вид жемчуга, добываемого в Персидском (Бурмицком или Гурмыжском) заливе.

### В

*Вабить* – призывать, приглашать.

*Важня* – помещение для весов на торговых площадях.

*Ватаг* – атаман.

*Велий* – великий.

*Венечные деньги* – плата за венчание.

*Вехть* – мочало, тряпка.

*Веретенник* – скупец, скряга.

*Видок* – свидетель.

*Виноград* – сад.  
*Витвина* – вица, скрученная древесная ветвь.  
*Вирать* – швырять, разбрасывать.  
*Власяница* – одежда из колючей козьей шерсти, как и вериги, носилась в знак особого благочестия.  
*Водчий* – поводырь.  
*Вож* – проводник.  
*Возгряк* – сопляк.  
*Волосник* – сетка для волос с обшивкой, иногда украшенной.  
*Воронец* – широкая полка в избе вдоль верхней части стены.  
*Воротник* – сторож у ворот.  
*Вретище* – грубая одежда, рубище.  
*Вчинать* – зачинать.  
*Выжлец* – гончая собака.  
*Вытнянка* – вытье.

## Г

*Гайтан* – шнурок.  
*Глуздо* – ум, рассудок.  
*Голубец* – намогильный столбик с кровелькой.  
*Горлатные шапки* – меховые высокие шапки, надевавшиеся боярами на торжества.  
*Гугниво* – гнусаво, косноязычно.  
*Гузно* – зад.

## Д

*Деля* – для.  
*Деньга* – полкопейки.  
*Десную* – справа.  
*Доезжачий* – слуга, обучающий гончих собак.  
*Долонь* – ладонь.  
*Домовище* – гроб.  
*Дондеже* – доколе, покуда, пока.  
*Достакан* – кувшин, ендова.  
*Досюльный* – старый.  
*Дребь* – заросль, чаща.  
*Дробницы* – драгоценные украшения в виде блесток.

## Е

*Евхаристия* – обряд причащения.  
*Елень* – олень.  
*Емлить* – брать.  
*Ендова* – большой открытый сосуд для напитков с носиком и ручкой.  
*Епанча* – длинный и широкий плащ без рукавов.  
*Епитимья* – церковное наказание.  
*Епитрахиль* – облачение священника, надеваемое на шею, под ризой.

## Ж

*Железа* – кандалы.

*Животишки* – имущество.  
*Жолв* – нарыв.  
*Жом* – пресс, тиски, ловушка.  
*Жорлица* – жерлица, рыболовная снасть.  
*Жуковина* – перстень с печатью.  
*Жупан* – теплая верхняя одежда.

### З

*Забоец* – убийца.  
*Загалить* – выкинуть.  
*Залом* – препятствие на дороге из нагроможденных деревьев, на реке – из льдин.  
*Замет* – поперечная перекладина для запора дверей.  
*Замотчание* – промедление.  
*Зане* – потому что, ибо.  
*Запона* – занавес, покров.  
*Затинщик* – стрелок из крепостной (затинной) пищали.  
*Здыниться* – подняться.  
*Зелейная башня* – место хранения пороха.  
*Зернь* – азартная игра в кости (зерна).  
*Зерцало* – латы, надевавшиеся поверх кольчуги.  
*Зобелька* – кузовок, корзинка.  
*Зор* – зрение.  
*Зырить* – глядеть, смотреть.

### И

*Изгиляться* – глумиться.  
*Изженить* – изгнать...  
*Инде* – в ином месте.  
*Иршаны* – замшевые рукавицы.  
*Источники* – три полосы на архиерейской мантии, идущие вниз от скрижали (нагрудника).

### К

*Кабат* – царская одежда, сшитая по типу облачения высшего духовенства.  
*Казить* – искажать, уродовать.  
*Калики* – нищие странники, распевавшие духовные стихи.  
*Калугер* – монах, отшельник.  
*Камилавка* – бархатный головной убор священников.  
*Камкосиный* – из камки, шелковой ткани с примесью бумаги.  
*Канитель* – тонкая витая золотая или серебряная нить для золотошвейных работ.  
*Каптана* – зимняя повозка, карета.  
*Каптур* – теплая шапка, меховая или стеганая.  
*Каразея* – редкая ткань из грубой шерсти.  
*Кардамон* – растение, семена которого употребляются как пряность.  
*Кармазинный* – темно-красный.  
*Керста* – могила.  
*Кика* – головной убор замужних женщин.  
*Кичка* – нос судна.  
*Киндяк* – бумажная набойчатая ткань.

*Киновия* – монастырь.  
*Киса* – мешочек, сумка.  
*Кистень* – плеть с тяжелым металлическим яблоком на конце; надевался на кисть руки.

*Клепать* – звонить в *клепало*, металлическую доску.  
*Клескать* – хлопать.  
*Клопец* – вышивальный узор в один, два, три стежка.  
*Клоч* – болотная кочка.  
*Коган* – хан.  
*Кокорина* – корневище.  
*Котораться* – спорить.  
*Котыга* – верхняя одежда.  
*Кошуля* – заячья или овчинная шуба, покрытая недорогой тканью.  
*Кошуна* – сказка, басня.  
*Кратер* – сосуд для напитков вроде вазы.  
*Крашенина* – крашеный холст.  
*Кресало* – огниво.  
*Крестец* – уличный перекресток.  
*Кропанный* – заплатанный.  
*Кружечный двор* – кабак.  
*Крыж* – католический крест; крестовина на рукояти сабли или меча.  
*Крылошана* – церковнослужители; богоносцы, несущие образ Христа при крестном ходе.

*Куделя* – пучок льна или пеньки для пряжи.  
*Куим* – глухонемой.  
*Куколь* – монашеский головной убор.  
*Кунтуш* – верхняя мужская одежда со шнурами и откидными рукавами.  
*Кунит* – гравированная картина.  
*Куфа* – чан, бочка.

## Л

*Лава* – наплавной мост.  
*Лавица* – скамья.  
*Лал* – рубин, красный яхонт.  
*Лепота* – красота.  
*Лестовка* – кожаные четки староверов.  
*Литургисать* – служить литургию.  
*Лицевая книга* – книга с рисунками.  
*Ложница* – спальня.  
*Лядва* – бедро.

## М

*Малмазья* – мальвазия, сорт вина, привозившегося из Западной Европы.  
*Манатья* – мантия.  
*Матица* – потолочная балка.  
*Межень* – середина лета.  
*Меледить* – медлить, мешкать, путаться под ногами.  
*Мерник* – ведро.  
*Мизинные люди* – беднота.  
*Митра* – головной убор епископа во время службы.

*Морх* – ворс.  
*Мост* – пол.  
*Мохряк* – оборванец.  
*Мухтояровый* -из бухарской бумажной ткани с шерстью или с шелком.

## Н

*Налога* – поборы, вымогательства.  
*Намаз* – магометанская молитва.  
*Наперсный крест* – крест, жалуемый в награду.  
*Напойная казна* – выручка кабаков.  
*Нарамники* – наплечные украшения.  
*Нарядчик* – должностное лицо, следившее за отбыванием дворянами службы.  
*Насад* – речное плоскодонное судно с высокими бортами.  
*Небасовито* – некрасиво.

## О

*Обапол* – около.  
*Обарный* – забродивший, хмельной.  
*Обороть* – уздечка.  
*Обьярь* – шелковая ткань с золотыми или серебряными волнистыми узорами с виде струек.  
*Овый* – иной.  
*Однорядка* – долгополый кафтан без воротника.  
*Озам* – крестьянский длиннополый кафтан из грубого домашнего сукна.  
*Окончины* – оконные стекла, Оле – ах, увы.  
*Олкан* – сорт вина.  
*Оньже* – тот самый.  
*Опашень* – широкий долгополый кафтан с широкими короткими рукавами.  
*Опрахтельй* – гниющий.  
*Опрично, опричь* – особо, кроме.  
*Орарь* – длинная лента, носимая через плечо дьяконами во время богослужения.  
*Орлец* – тканый круг с изображением орла, подножие архиерея во время богослужения.  
*Орчак* – часть седла, его остов.  
*Ослоп* – дубина, рогатина.  
*Охабень* – верхняя одежда с прорезами под рукавами и четырехугольным воротником.  
*Очелье* – передняя часть кики, кокошника.  
*Ошую* – слева.

## П

*Падера* – вьюга.  
*Панагия* – нагрудная икона, носимая высшим духовенством.  
*Паникадило* – церковная люстра.  
*Парсуна* – портрет.  
*Переденный* – вчерашний.  
*Передовой крест* – крест, носимый перед патриархом.  
*Перцата* – перчатка.  
*Петь* – опять.  
*Повалуша* – спальня.

*Повойник* – женский головной убор.  
*Подклет* – чулан или кладовая, в нижней части строения.  
*Полть* – полтуши мяса или птицы.  
*Поприще* – путевая мера: суточный переход.  
*Порато* – сильно, очень.  
*Портомоя* – стирка.  
*Послух, послушь* – свидетель.  
*Посолонь* – по ходу солнца.  
*Прати* – мыть; вести прения. В романе слово употребляется в обоих значениях.  
*Привитать* – гостить.  
*Пристрастия* – пытки.  
*Продажа* – убыток, урон, штраф, конфискация.  
*Проести* – издержки на дорогу, запасы провизии.  
*Промыта* – взыск, пеня.  
*Просодия* – правила стихосложения.  
*Протазан* – парадное копьё с широким клинком, симметричными отростками и шелковой кистью.  
*Протори* – расходы, издержки.  
*Протосингел* – чин монаха, прислуживающего патриарху.  
*Пружить* – напрягать, расpirать.  
*Пряженный* – жареный.  
*Пшено сарачинское* – рис.  
*Пядница* – икона размером в пядь (четверть аршина).

## Р

*Распашиница* – женская легкая одежда с широкими рукавами и украшениями.  
*Рассольник* – глубокое блюдо.  
*Растурюкать* – рассеять, разогнать.  
*Романя* – итальянское или французское вино.  
*Руга* – жалованье священнику и притчу.  
*Рудометец* – лекарь, пускающий кровь (руду).  
*Рундук* – мощное возвышение со ступенями, площадка крыльца; ларь, крытая лавка с крышкой. В романе слово употребляется в обоих значениях.  
*Рухло, рухлядь* – всякое мелкое движимое имущество; одежда.  
*Рушник* – полотенце.  
*Рынды* – царские телохранители, стоявшие во время торжественных приемов по обе стороны трона.  
*Ряднина* – грубый редкотканый деревенский холст.

## С

*Саадак* – чехол для лука и колчана со стрелами.  
*Саккос* – парадное облачение высшего духовенства.  
*Сарынь* – толпа; «Сарынь на кичку!» – клич при нападении на судно.  
*Светец* – металлическая подставка с зажимами для лучин.  
*Семо-овамо* – туда – сюда.  
*Сермяга* – толстое, грубое сукно.  
*Синодик* – поминальный список.  
*Сице* – так.  
*Скарлатный* – из французского алого сукна.  
*Скомнать* – болеть, ныть, щемить.

*Скорбный* – больной.  
*Скрин* – сундук в форме шкафчика.  
*Скрижали* – нагрудник на архиерейской мантии.  
*Скуфья* – небольшая шапочка, головной убор священников.  
*Собинный* – собственный, личный.  
*Соврулина* – шарик на шнурке или тесьме.  
*Сотский* – выборный староста от сотни – административной единицы городского населения.

*Спороватый* – любитель спорить.  
*Срочица* – сорочка.  
*Становица* – содержательница разбойничьего притона.  
*Стень* – тень.  
*Стихарь* – дьяконское облачение во время богослужения.  
*Стихира* – церковное песнопение.  
*Страдник* – крестьянин.  
*Стяг* – мясная туша.  
*Су* – сокращение слов: сударь, государь.  
*Сугревный* – милый, сердечный.  
*Суды* – посуда, домашняя утварь.  
*Сукман* – кафтан из домашнего крестьянского сукна.  
*Супороват* – упорен.  
*Супостат* – враг.

## Т

*Таже* – потом.  
*Тамга* – таможенная пошлина.  
*Тать* – вор.  
*Терлик* – узкий кафтан с перехватом в талии и короткими рукавами.  
*Титло* – надстрочный знак в старинном письме, указывающий на сокращение слова.  
*Травы* – узор на ткани в виде стеблей и листьев.  
*Требник* – книга, описывающая совершение церковных обрядов.  
*Троеморх* – ткань с тройным ворсом.  
*Туга* – скорбь, печаль.  
*Тулумбас* – бубен, барабан.  
*Тьма тем* – бесчисленное множество.  
*Тягилый* – толстая стеганка с короткими рукавами и стоячим воротником.

## У

*Убрусец* – полотенце.  
*Уды* – члены.  
*Узорочье* – дорогие узорчатые ткани, драгоценности.  
*Укатистый* – гладкий.  
*Улусы* – становища кочевых народов.  
*Упряг* – заданный отрезок работы, урок.  
*Утеклец* – беглец.  
*Утор* – нарезка для вставки дна в бочках.  
*Ухожеи* – лесные уголья (звероловные, бортнические).

## Ф



*Фелонь* – риза священника.  
*Ферязь* – верхняя мужская одежда без воротника и пояса с длинными, суживающимися к запястью рукавами.  
*Финьян* – фимиам, ладан.  
*Фряжский* – французский, итальянский.

## Х

*Хамовый* – полотняный.  
*Харатея* – грамота, написанная на пергаменте.  
*Харлужный* – булатный.  
*Харя* – маска.  
*Хоз* – выделанная козловая кожа, сафьян.

## Ч

*Частик* – частокол.  
*Чедыги* – высокие башмаки.  
*Черевистый* – пузатый.  
*Червчатый* – ярко-малиновый.  
*Четь* – четверть, мера сыпучих тел.  
*Чуга* – узкий кафтан с короткими рукавами.  
*Чуть* – слышать, узнавать, понимать.

## Ш

*Шадровитый* – рябой.  
*Шандал* – подсвечник.  
*Шарпать* – шарить, грабить.  
*Шестопер* – булава с головкой, разделенной на шесть долек.  
*Шибеница* – виселица.  
*Ширинка* – полотенце.  
*Шиш* – сыщик, шпион, соглядатай.  
*Шишак* – высокий шлем с конусообразной тульей.  
*Шлык* – колпак.  
*Шпынь* – дерзкий насмешник, шут.  
*Шуйца* – левая рука.  
*Шумство* – опьянение.  
*Шушун* – женский короткий кафтан.

## Э

*Эпигонатия* – четырехугольный набедренник в одеянии высшего духовенства.

## Ю

*Ю* – ее.

*Юшлан* – кольчуга с крупными пластинами, вставленными между колец.

## Я

*Ярыга* – низший полицейский служащий; наемный работник из мелкого посадского люда.

*Ясак* – подать.